

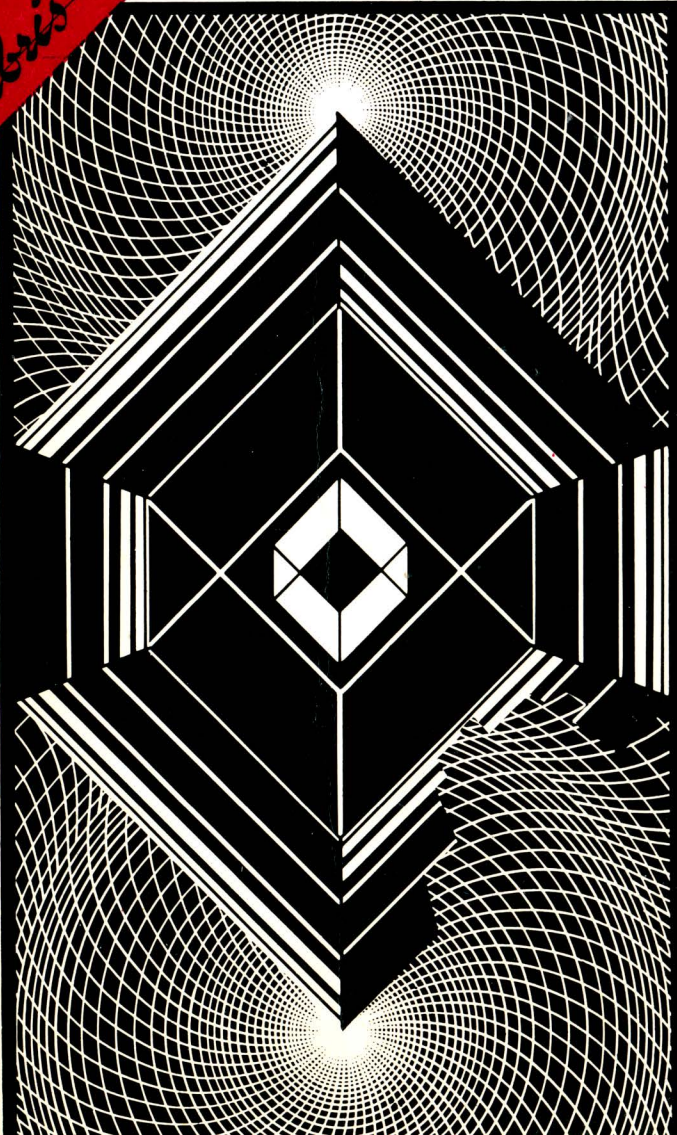
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Ex Libris

БОРХЕС

Ex Libris

Коллекция



Коллекция

БОРХЕС

EXEC



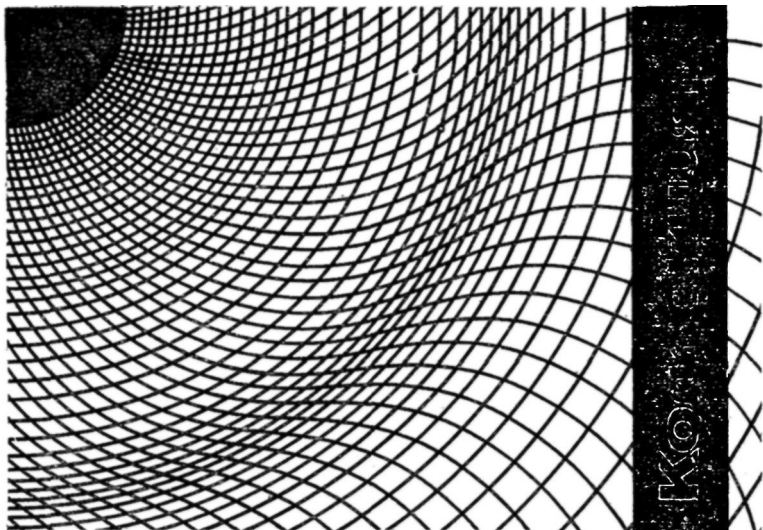


Музыка

• Северо-Запад •

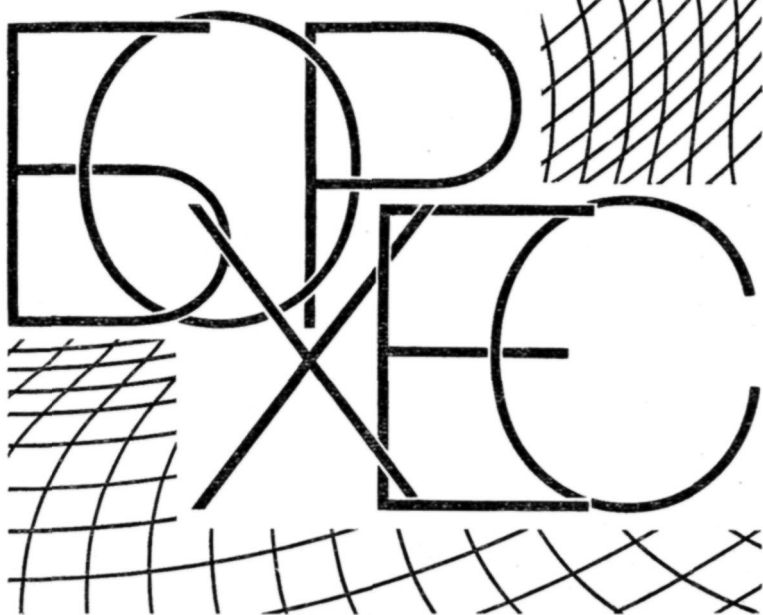
Санкт-Петербург

1992



КОО
ЛЛЕКЦИЯ

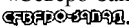
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС



- Борхес Х. Л.**
Б83 Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения:
Пер. с исп. / Сост., вступ. ст. Вс. Багно; Ком-
мент., аннот. указ. имен Б. Дубина. — СПб.:
Северо-Запад, 1992. — 639 с.
ISBN 5-8352-0020-X

В сборник произведений выдающегося аргентинца Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986), неистощимого автора самых фантастических вымыслов и замечательного эрудита, включены избранные рассказы, стихотворения и эссе из различных книг, вышедших в свет на протяжении долгой жизни писателя.

*Перепечатка отдельных глав
и всего произведения в целом — запрещена.
Всякое коммерческое использование данного произведения
возможно исключительно с ведома издателя.*

© Вс. Багно, состав, 1992
© «Северо-Запад», оформление, 1992
® . Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется законом.

ISBN 5-8352-0020-X

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДНО ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ

То, к чему я стремлюсь, —
недостижимо и будет сопутство-
вать мне до конца дней моих, за-
гадочное, как творение или как я,
ученик.

Х. Л. Борхес

От идеи о цикличности времени, судеб и культуры, которую выстрадал век XIX, до идеи о воплощении всей полноты истории и человеческой культуры в самой, казалось бы, заурядной, затерянной во времени судьбе или самом заурядном событии — один шаг. Этот шаг уже в XX веке сделал Хорхе Луис Борхес (1899—1986), великий аргентинец, на протяжении всей своей долгой жизни окруженный двойственным, но неизменно заинтересованным вниманием собратьев по перу, преклонявшихся перед чародеем слова и при этом нередко отказывавших ему в праве считаться латиноамериканским писателем.

Как и все мы, не только писатели, Борхес многим был обязан книгам, прочитанным в детстве: «Тысяча и одна ночь», Честертон, Стивенсон, «Дон Кихот». Однако была в его детских читательских пристрастиях одна особенность, которая научила его подчинять вымысел строгому плану: пристрастие к энциклопедиям. Сочетание на одной странице несочетаемых загадочных цивилизаций, народов, языков, растений, видов оружия волновало его воображение куда больше, чем систематическое изложение авантюрных историй. В сущности, это была библиотека в миниатюре, однако вмещавшая в себя весь мир, расположенная в алфавитном порядке. Это пристрастие привило ему вкус к лаконизму, малой прозаической форме, обостренный интерес к звучанию слова, коль скоро законы алфавита, иерархия букв управляют целым миром. (Оно же, кстати, внушало и трогательную тревогу за буквы, ее отзвук мы находим в рассказе «Алеф», герой которого в детстве удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются и не теряются.) Да и филоло-

гическая оснащенность рассказов Борхеса, как отмечали исследователи, напоминает статьи в его любимой Британской Энциклопедии ¹.

Библиотека отца имела для него настолько решающее значение, что в конце жизни в эпилоге к «Истории ночи» (1977) он признавался, что, в сущности, так из нее и не выходил. Если он из нее и вышел, то лишь затем, чтобы войти в свои собственные книги, да еще, пожалуй, в Национальную библиотеку, директором которой он станет — ирония судьбы, — когда совершенно ослепнет. «Писатель-библиотекарь» — так назвал статью о нем его соконтинентный собрат по перу Джон Апдайк. Подобно другим крупнейшим писателям Латинском Америки — Астуриасу, Карпентьеру, Кортасару, — он долгие годы провел в Европе, оттачивая стиль, проникаясь новыми литературными идеями. Однако в отличие от них он был (и в прямом, и в переносном смысле) не журналистом, а библиотекарем, и поэтому книги его несут разноголосицу не окружающего мира, а перекрестков мировой культуры. Свою роль, бесспорно, сыграла и подступающая слепота. В лекции «Слепота» Борхес вспоминал великих слепых — Гомера, Мильтона, Джойса, — в творчестве которых зримая поэзия уступала место звучащей. Сам же он, как бы подсознательно предчувствуя постепенную утрату зрения, заменял мир видимый миром культуры.

При всей невероятной широте читательских интересов Борхеса, ошеломляющей пестроте имен и произведений, населяющих страницы его книг, круг постоянно цитируемых авторов, вечных его спутников, которым он как писатель был многим обязан, не столь уж велик. Постоянными его и нашими — его читателей — собеседниками являются Честертон, Шопенгауэр, Де Куинси, Кафка, Шоу, Стивенсон, Э. По, Уэллс, Л. Блуа, Лейбниц, Спиноза, Валери, Кэрролл, Кеведо. Интерес Борхеса к самым различным писателям и философам, казалось бы невозможный, объяснялся, по-видимому, тем, что его влекло к тем из них, не обязательно близким ему по духу, которые являли собой для него некую творческую загадку. Так, притягательным и загадочным для него всегда был Леон Блуа, несмотря на то, что слишком многое в нем должно было его отталкивать: расизм, фанатичная религиозность, англофобия, многословие многотомного дневника. Однако все это в глазах Борхеса искупалось парадоксальным складом пытливого ума французского «ересиарха».

Устойчивый творческий интерес Борхеса к ересиархам и мистикам прошлого и настоящего — Иоанну Скоту Эриугене, Каббале, Сведенборгу, Блейку, Л. Блуа, равно как и ко всякой, с точки зрения здравого смысла, «нечисти» — чернокнижникам, алхимикам, магам,

¹ См. напр.: P e l l i c e r D o m i n g o R. «Historia universal de la infamia» en la obra de J. L. Borges // Borges y la literatura: Textos para un homenaje. Murcia, 1989. P. 154-155.

астрологам, — чрезвычайно важная особенность мировидения аргентинского писателя. И автор, и читатели, по его убеждению, нуждаются в них, ибо только они способны на чудо, по крайней мере, всегда открыты чуду. Борхеса — библиофила, комментатора, «головного» писателя — неодолимо влекла красота всех мистических учений, когда-либо существовавших на земле. Да и метод Борхеса, ход его рассуждений, в сущности, идентичен с ходом рассуждений средневековых мистиков и чернокнижников. С той лишь разницей, что у первых их метод — это путь постижения истины, а у него он служит лишь эстетической задаче.

Симпатия Борхеса к мистикам и ересиархам прошлого имеет и другие корни. Все они были великими читателями. Поэтому и Каббала, столь притягательная для Борхеса на протяжении всей жизни, была для него не столько философией или литературой, сколько искусством чтения. Наукой чтения, искусством чтения и апологией чтения является и творчество Хорхе Луиса Борхеса. «Писание предшествует чтению, занятию более цивилизованному, более благородному, более интеллигентному», — заявил Борхес в первой из своих прозаических книг — «Всемирная история бесчестья» (1935). Более того: «Хвалиться принято собственными книгами; // Я же горжусь прочитанными». Эти строки из стихотворения «Читатель» свидетельствуют отнюдь не о чрезмерной скромности Борхеса. Прочитанными книгами Борхес гордился как писатель. Предложенный им критерий универсален: скажи мне, какие книги ты прочитал, и я скажу тебе, какой ты писатель.

Как и можно предположить, не было недостатка в обвинениях Борхеса в космополитизме, всеядности, «антикварности» интересов и пристрастий, равнодушии к животрепещущим проблемам Аргентины. Однако прислушаемся к выдающемуся мексиканскому романисту, попытавшемуся ответить на вопрос, для чего нужны Борхесу чужие страны и культуры: «Поэтому глупо обвинять Борхеса в том, что он «преклоняется перед иностранщиной» или что он «европеист»: может ли быть что-нибудь более аргентинское, чем эта потребность словесно заполнить пустоты, прибегнуть ко всем библиотекам мира, чтобы заполнить пустую книгу Аргентины»¹. Основу писательской индивидуальности Борхеса (а не только универсальности его интересов и «всекультурности») составила редкая открытость его духовного мира самым, казалось бы, взаимоисключающим ветрам из миров искусства. Она была заложена в детстве и юности перемещением с континента на континент, в Европе из страны в страну (Швейцария, Италия, Испания), языковой восприимчивостью (позволявшей ему в оригинале читать англичан, французов, немцев, итальянцев, португальцев, в какой-то мере даже исландские саги), особой предрасположенностью к игре фантазии, пристрастившей его к роскошным вымыслам Востока.

¹ Ф у э н т е с К. Новый латиноамериканский роман // Писатели Латинской Америки о литературе. М., 1982. С. 118.

Любопытным свидетельством широты интересов Борхеса, подчиненных в то же время строгому внутреннему отбору, являются книги, написанные им в соавторстве с кем-либо из друзей, учеников или коллег: «Антология фантастической литературы» (совместно с А. Бьой Касаресом и С. Окампо, 1940), «Лучшие детективные рассказы» (совместно с А. Бьой Касаресом, 1943), «Антология германских литератур» (совместно с Д. Инхеньерос, 1951), «Короткие и невероятные истории» (совместно с А. Бьой Касаресом, 1955), «Руководство по фантастической зоологии» (совместно с М. Герреро, 1967), «Введение в английскую литературу» (совместно с М. Э. Васкес, 1965), «Книга о воображаемых существах» (совместно с М. Герреро, 1967), «Введение в литературу США» (совместно с Э. Самбарин де Торрес, 1967), «Что такое буддизм» (совместно с А. Хурадо, 1977), «Краткая антология англосаксонской литературы» (совместно с М. Кодама, 1978) и так далее.

Очевидно, что внимание Борхеса в необозримых библиотечных лабиринтах привлекало далеко не все. Герои Борхеса — люди, стремившиеся во все времена к невозможному, пытавшиеся разгадать тайну бытия и запечатлеть ее в слове. Основная, если не единственная, тема Борхеса — томления духа на протяжении всей истории человечества, во все времена и во всех странах. Неоспоримое, безусловное значение творчества, духовного поиска — вне зависимости от результата — таков этический урок, выносимый из творчества аргентинского писателя. При этом литературная (не человеческая) позиция Борхеса бесстрашна, примерно так же, как бесстрашна позиция Флобера. С той лишь разницей, что материал Флобера — человеческие страсти, а материал Борхеса — история культуры. Хрестоматийный пример этой бесстрашности — описание одного из сочинений Пьера Менара: «Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устроив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество».

Борхес попытался вскрыть литературный потенциал философии и теологии. Он взглянул как художник, с эстетической точки зрения, остро и заинтересованно, но бесстрашно на духовные, этические, религиозно-философские искания человечества. С эстетической точки зрения на этические учения, на поиски истины, каждое из которых для их адептов — единственно возможное. Для него же — одно из многих, соперничающее с бесчисленным множеством иных в красоте, занимательности, оригинальности и парадоксальности. Но главное — в красоте. И увидел, кстати, сколь много общего в этих учениях, концепциях и доктринах, сторонники которых сжигали друг друга на кострах за малейшие отклонения от их буквы. «Геология вполне может быть художественным произведением, — писал в связи с рассказом «Богословье» Хайме Алацраки, — поскольку, согласно Борхесу, у нее есть эстетический аспект и она проникнута чудом. Тем самым рассказ выполняет функцию зеркала, выявляя чудесную грань «истин» теологии, или, точнее, перетряхивает эти истины, чтобы продемонстри-

ризовать их художественную сущность»¹. Ранее на той же особенности своего друга и учителя настаивал А. Бьой Касарес: «Борхес, подобно философам Тлена, вскрыл литературные возможности метафизики»². Можно лишь добавить, что речь идет не только о литературных возможностях метафизики, но об авантюрно-беллетристическом потенциале культуры в целом. Да и у самого Борхеса немало признаний, дающих читателю искомый ключ. «Вымыслы, на которые способна философия, бывают не менее фантастичны, чем в искусстве», — читаем в эссе «Скрытая магия в „Дон Кихоте“». Ветвью фантастической литературы считали метафизику обитатели Тлена. Вполне естественно поэтому, что не любая философская или религиозная доктрина, не любое «томление духа» сохраняет свое значение для современности, а лишь эстетически полноценное, художественно выразительное. Отсюда один из излюбленных Борхесом жанров — «оправдания»: оправдание Каббалы, Василида, «Бувара и Пекиоше». Еще в 1930-е годы, сотрудничая в литературно-критическом отделе журнала «Эль Огар», Борхес сформулировал столь значимые для него тезисы оправдания художественно полноценной, хотя и безнадежно устаревшей в своем прямом смысле, философской системы. В заметке, посвященной великому каталонскому средневековому мыслителю Рамону Льюлю, он писал: «В качестве инструмента философского познания логическая машина абсурдна, чего не скажешь о ней же, как об инструменте литературном и поэтическом. ... Поэт, подыскивающий эпитет к слову «тигр», в точности напоминает эту машину»³.

В сущности, Борхес навсегда остался верен не только книгам и авторам, прочитанным в юности, но и своей юношеской поэзии, своим ультраистским экспериментам. Будучи ультраистом, приверженцем литературного течения, промелькнувшего, подобно многим другим, по пестро и густо населенному поэтическому небосклону Европы 20-х годов, он утверждал, что метафора — основа и цель поэзии. Не этот ли самый принцип — ряд парадоксальных, поражающих воображение уподоблений, основанных на внешнем или глубинном сходстве или сродстве идей, концепций, доктрин, — лежит в основе его рассказов-эссе? Жанр новелл-эссе или эссе-новелл, созданный Борхесом, — это синтез тех двух более привычных жанров, через которые он как художник прошел до этого: интеллектуальной поэзии и литературного обзора в журнале. Для «тотального поэтического эффекта», которого, по его собственному признанию, он добивался, подходит лишь малая прозаическая форма, особенно самая малая — одна-две страницы. Поэтому, чем лаконичнее рассказ, тем он художественно

¹ A l a z r a k i J. Versiones, inversiones, reversiones: El espejo como modelo estructural del relato en los cuentos de Borges. Madrid, 1977. P. 62-63.

² Jorge Luis Borges. Madrid, 1976. P.56

³ B o r g e s J. L. Textos cautivos: Ensayos y reseñas en «El Hogar» (1936-1939). Barcelona, 1986. P. 178.

полноценной. Относительно большие по объему знаменитые новеллы ранних сборников «Вымысль» (1944) и «Алеф» (1949) замечательны, однако насколько совершеннее миниатюры поздних сборников: «Парабола дворца», «Inferno, I, 32», «Борхес и я». Борхес-поэт никогда не писал поэм, Борхеса-прозаика никогда не тянуло к жанру романа, Борхес-эссеист не оставил нам ни одного трактата. Лаконизму Борхеса научил, как это ни парадоксально, Данте, автор необъятной «Божественной комедии». Вспомним, о чем нам поведал сам писатель в «Семи вечерах». Чтобы познакомить с героем, которых у него множество, Данте достаточно мгновения. Персонаж живет у него в одном слове, одном действии; его великая, вечная, полная событий, неисчерпаемой глубины и трагизма жизнь укладывается в несколько терцин. Открытие заключалось в том, что главный момент должен быть представлен как знак всей жизни. Там же — в «Семи вечерах» — Борхес пишет об использовании этого открытия великого флорентийца в своих прозаических миниатюрах.

Встрече поэта и литературного критика и рождению Борхеса-новеллиста предшествовал трагический инцидент. Поднимаясь в 1938 году по темной лестнице, уже и тогда плохо видевший Борхес ударился лицом о стекло полуоткрытого окна. Проведенные в бреду три недели завершились более или менее успешной операцией. Впоследствии Борхес вспоминал, что у него возникло опасение, не потерял ли он способность писать. И тогда он решил попробовать свои силы в новом для него жанре рассказа. Ибо в случае неудачи можно было убедить себя в том, что причиной ее послужила неопытность. Так возникли первые рассказы сборника «Вымысль».

Жизнь, всецело отданная книгам и служению культуре, — всемирная известность. Но был у этой состоявшейся так, а не иначе жизни — неторопливой и не богатой тем, что принято называть событиями, не взвихренной страстями, — и некий невидимый подбой. «Томительные будни и удавка книг», — напишет Борхес в одном из поздних своих сонетов, доверив классической поэтической форме то настроение, которому был заказан путь в новеллы или эссе о ересиархах далекого прошлого или головорезах недавнего. Так что ощущения полной безмятежности, гармонии и согласия с самим собой не было, но поэтика Борхеса отторгала все слишком личное.

Между двумя полюсами, двумя циклами в творчестве Борхеса — «мифологией окраин» и «играми со временем и пространством» — очень много общего. Уже хотя бы потому, что первые освящены прихотливой фантазией их автора, а вторые, в сущности, представляют собой апологию мужества, решительности, отваги — умственной, интеллектуальной, духовной, — восхищение способностью человека дойти в поиске ответов на загадки бытия до последней черты — и переступить ее. Во всех без исключения ощутима своеобразная библиофильская подкладка. Давно было замечено, что все рассказы Борхеса, даже такие «стихийные», «почвенные», как «Мужчина из Розо-

вого кафе», имеют некую «литературную» основу. Всеми оттенками библиофильских интересов играют фантастические и детективные новеллы. Разница между фантастикой Борхеса и научной фантастикой состоит в том, что, согласно И. А. Тертерян, «его машина времени» — книга, его «гиперпространство» — история культуры, его «пришельцы» — художественные метафоры, философские гипотезы, вековые образы»¹. Сложное, хотя и ненавязчивое для читателя, переплетение различных текстов характерно и для детективных историй. Так Луис Антесана Хуарес описывает соотношение «текста, написанного ранее», «текста сада» и «текста интриги» в блистательном, читаемом на одном дыхании рассказе «Сад расходящихся тропок».

Подобно тому, как Достоевский, сравнивая своего героя с тем или иным знаменитым литературным персонажем, избавлял себя от необходимости давать ему пространную характеристику, Борхес также подчас характеризует своих героев не непосредственно, а сугубо «книжными» средствами. «Библиография сочинений Пьера Мена-ра, — по тонкому наблюдению А. Бьей Касареса, — это отнюдь не прихотливый или плоско-сатирический список; это также не иронический пассаж для понимающих что к чему литераторов; это история пристрастий Мена-ра, сжатая биография писателя, самая краткая и точная характеристика»². Что же касается обилия цитат, которые могут привести в ужас неподготовленного читателя, то они не только не разрушают цельности стиля, не только участвуют в действии, но, собственно, действием подчас и являются. В некоторых из рассказов-эссе Борхеса цитаты выполняют функцию персонажей. И тогда именно цитатами определяется ход рассказа, как ход шахматной игры — ходами шахматистов. Некоторые же из этих «ходов» эрудиции имеют такое же решающее — победное — значение, как и в шахматах. Отметим попутно, что несомненное сходство между литературным творчеством и составлением шахматных задач видел и Набоков, с которым Борхеса нередко сравнивали. Так, Дж. Штайнер высказал предположение, что другая общая особенность Борхеса и Набокова — обилие ложных цитат и отсылок — имеет общим источником «Буvara и Пекюше» Флобера³.

Главной своей задачи — доказать читателям, что мир не так прост, как им кажется, что вполне реальной жизнью живут не только люди и вещи, но и символы, созданные людьми⁴, — Борхес добивал-

¹ См.: Тертерян И. А. Человек, мир, культура в творчестве Хорхе Луиса Борхеса // Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1984. С. 15.

² Jorge Luis Borges. Madrid, 1976. P. 58.

³ Там же. С. 242.

⁴ См.: Левин Ю. И. Повествовательная структура как генератор смысла: Текст в тексте у Х. Л. Борхеса // Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. XIV. С. 56.

ся как бы играя. Его творчество — это и увлекательная игра в литературу и философию, и руководство по этой игре.

В прозаических книгах Борхеса нас ожидает также встреча с причудливыми эссе, глоссами, основанными на культурном материале, однако проникнутыми детективным духом, загадочными миниатюрами, доносящими до нас вымышленные, а точнее, сконструированные по типу коллажей свидетельства исчезнувших цивилизаций и духовных поисков европейцев. Одной из самых характерных особенностей творчества является обилие аннотаций, справок, «фрагментов», «цитат», комментариев к ненаписанному. Сам Борхес прекрасно прокомментировал (еще одно «оправдание»?) эту свою особенность в Предисловии к сборнику «Сад расходящихся тропок»: «Нелеп и расточителен кропотливый труд по созданию пухлых томов, труд по растягиванию на пятьсот страниц идей, которые с успехом можно изложить в двух словах в считанные минуты. Разумнее всего предположить, что эти книги уже существуют, и дать их резюме, краткое изложение». Присмотримся внимательнее к некоторым рассказам Борхеса. «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» — примечание к несуществующей Энциклопедии; «Приближение к Альмутасиму» — примечание к несуществующему роману; «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» и «Анализ творчества Герберта Куэйна» — комментарии к литературному наследию вымышленных писателей. Ни с чем не сравнимая игра ума и магия библиофильских интересовак заключены уже в столь любимых Борхесом перечнях несуществующих книг, например в «Вавилонской библиотеке»: «Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита». В Предисловии к собранию своих предисловий Борхес с увлечением пишет о задуманной им книге предисловий к несуществующим книгам: «Некоторые сюжеты более соответствуют праздной игре фантазии, чем кропотливому литературному труду»¹. И посему человеческая культура только обогатится, если они найдут место именно в предисловиях, избавляющих читателя от необходимости читать сами книги, а писателей — долго и мучительно сочинять их.

Научность, «академичность» Борхеса, конечно же, не должна вво-

¹ B o r g e s J. L. Prólogo de Prólogos // B o r g e s J. L. Prólogos. Buenos Aires, 1975. P. 9.

дять в заблуждение. Она отчасти напоминает ту курьезную классификацию, играющую всеми оттенками парадоксальности, фантазии и остроумия, которую мы находим в рассказе «Аналитический язык Джона Уилкинса» и которая якобы извлечена из древнекитайской энциклопедии: «Животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегущих, как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) издали похожих на мух».

Проблема подложного автора — столь притягательная для современной науки о литературе — в творчестве Борхеса оказывается малосущественной, ибо, с одной стороны, потребность писателя в мистификации переходит все дозволенные границы, когда теряется само понятие границы, а с другой — все вымышленные авторы, средневековые ересиархи и обитатели иных миров щедро и откровенно одарены автором его собственными идеями, убеждениями и гипотезами. Достаточно в этом смысле сопоставить рассказ «Вавилонская библиотека» и эссе «Сфера Паскаля», рассказ «Анализ творчества Герберта Куэйна» и эссе «По поводу классиков». В первых двух зеркально отражаются размышления о сферичности мироздания, во вторых — представление о том, что красоту может таить в себе любой уличный диалог.

Рассказы Борхеса построены по законам научных исследований и подчинены их логике, эссе подчинены логике художественного творчества и построены по законам сюжетной прозы. Трудно сказать, что на первых порах воспринималось как большая неожиданность, как непросто догадаться, чему суждено оставить более глубокий след в истории литературы. При всей кажущейся вторичности, литературности, элитарности творчества Борхеса оно удивительным образом смыкается как по своим внутренним закономерностям, так и по занимательности, по способности увлекать не слишком искушенного читателя с такими популярными жанрами, как детектив и фантастика. Пожалуй, особенно неожиданным оказывается применение законов детективного жанра в литературно-критической и философской эссеистике. В творчестве Борхеса — библиофила-детектива — нас ждет встреча с философскими загадками библиофильского сыска. Открытие писателя состояло в том, что он применил законы и методы детектива и авантюрного романа к книговедческим штудиям с культурологической перспективой. Во многих сборниках аргентинского писателя, особенно в «Новых расследованиях» (1952), перед нами типичный поиск скрытых мотивов, выявление связи событий, поиск тайной пружины происшествия (зарождение и бытование в мировой

культуре книги, идеи, образа). Да простится такое кощунственное сравнение, но творчество Борхеса, объективно популяризируя средствами детективного, фантастического и приключенческого жанров великие, но подчас темные философские и религиозные доктрины прошлого, носит по отношению к ним рекламный характер, обогащая тем самым людей, ничего, кроме беллетристики, не читающих.

Пафос творчества Борхеса в том, что критик, переводчик и даже читатель — а, следовательно, все мы — такой же творец, как и писатель, а иногда и лучше первого. С предельной откровенностью эта мысль высказана в рассказе «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“», но, в сущности, все творчество аргентинского писателя является доказательством *de facto* этого тезиса. Действительно, что такое все наши цитаты из литературных памятников прошлого и настоящего, как не попытка «написать» эти фразы? Каждая из них и равна и абсолютно не равна себе, принадлежит и автору и нам, поскольку мы вкладываем в нее уже новый смысл, необходимый нам в данную минуту, который, естественно, никак не мог входить в задачи автора. Поскольку каждый из нас читает книги не в той последовательности, в которой они были в разные эпохи и в разных странах написаны, а в произвольной, каждый — в своей, то между книгами и вообще элементами культуры в сознании и душе каждого читателя возникают свои связи, своя система. Поэтому Кафка, прочитанный до Сервантеса, оказывает влияние на «Дон Кихота», а «Улисс» Джойса, прочитанный до «Одиссеи» Гомера, — на древнегреческий эпос.

Вполне естественно, что наша творческая способность по отношению к культуре прошлого имеет особое значение для писателей. Программным манифестом прозвучал основной вывод эссе «Кафка и его предшественники»: «Ведь каждый писатель создает своих предшественников. Написанное им преображает наше понимание прошлого, как преображает и будущее».

С обостренным интересом к культурологическим парадоксам Борхеса отнеслись французские структуралисты. «Такова дивная утопия, — писал, например, Ж. Женетт, — которую таит в себе, согласно Борхесу, литература. Да будет дозволено мне увидеть в этом мифе больше правды, чем во всех истинах литературной «науки». Литература — это настолько пластичная сфера, настолько гибкое пространство, что в ней на каждом шагу нас подстерегают самые неожиданные встречи и самые парадоксальные сближения». И далее: «Тем самым Борхес утверждает или подтверждает мысль о том, что поэзия создается всеми, а не кем-то одним. Пьер Менар является автором «Дон Кихота» уже хотя бы потому, что им является каждый читатель (каждый истинный читатель). Все авторы суть один автор, ибо все книги — это одна книга, а, следовательно, одна книга в той же мере

является всеми и «мне известны такие, которые наряду с музыкой для всех нас заключают в себе все»¹.

Воспользовавшись известной метафорой Стендаля — «кристаллизация любви»², — можно усмотреть в предложенной Борхесом концепции теорию кристаллизации культуры. Ход истории, смена, а точнее, накопление литературных стилей, напластование интерпретаций бесконечно обогащают художественное произведение, заставляют его играть все новыми оттенками смысла. Улыбка Борхеса (текст Мена-ра бесконечно более богат по содержанию; Сервантес писал как Бог на душу положит, а Менар ощущал таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман) не должен вводить в заблуждение. Речь, по словам Г. В. Степанова, в сущности, идет о том, что «один и тот же текст, проходя сквозь реальные „возможные миры“, становится более многомысленным в восприятии современного читателя: возрастает его ассоциативная насыщенность, время подтверждает или отрицает этическую ценность некогда добытых истин, прежние открытия обретают новую перспективу или превращаются в расхожие тривиальные истины. Судьба произведения искусства „записана“ в нем самом»³.

Судьбе по нраву повторения, варианты, переклички — в биографиях людей, философских системах, поэтических метафорах. Чем значимее то или иное явление, тем вероятнее его повторяемость. Борхес не только был убежден в этом, но свое назначение видел в том, чтобы выявлять эти сцепления и переклички. Через все его творчество проходит идея об ограниченном числе историй, циклов, метафор. И назначение человека и культуры в целом — без конца пересказывать их заново, на свой лад, со своей, новой, интонацией. «Историй всего четыре, — писал Борхес в 1972 году, когда за плечами его были тысячи прочитанных книг и сотни прозаических и поэтических „вымыслов“. — И сколько бы времени нам ни осталось, мы

¹ Genette G. L'utopie littéraire // Genette G. Figures I. Paris, 1966. P. 131-132.

² Эту стэндалевскую метафору следующим образом характеризует Х. Ортега-и-Гассет: «Если в соляные копи Зальцбурга бросить веточку и вытащить ее на следующий день, то она окажется преобразенной. Скромная частица растительного мира покрывается ослепительными кристаллами, вязь которых придает ей дивную красоту. Согласно Стендалю, в душе, наделенной даром любви, происходят сходные процессы. Реальный образ женщины, запав в душу мужчины, мало-помалу преобразается вязью наслаиваемых фантазий, которые наделяют бесцветный образ всей полнотой совершенства» (Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 367.

³ Степанов Г. В. Поучительный эксперимент Хорхе Луиса Борхеса // Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. М., 1988. С. 212.

будем пересказывать их в том или ином виде». Своя, неповторимая интонация при произнесении метафоры — уже в этом, согласно Борхесу, подвиг поэта и его неоспоримая победа.

Как человек является неким повторением, неточной копией, эхом своего отца, деда, предка, так и книга, образ, метафора — суть отголоски уже бывшего в культуре. Это, конечно же, не значит, что каждое новое произведение искусства не имеет, по Борхесу, своей неповторимой и невозвратимой ценности. Ибо если бы, подобно поступкам и мыслям троглодитов, героев рассказа «Бессмертный», все новое в культуре было лишь отголоском старого, то она перестала бы волновать. Философия эха в культуре — одно из основных откровений аргентинского писателя. Поскольку культуру хранит и продолжает прежде всего письменность, эхо реализуется переводами (адаптациями, переложениями, интерпретациями) из эпохи в эпоху, из цивилизации в цивилизацию, из религиозной доктрины в литературу, из творческой индивидуальности в творческую индивидуальность. В произведениях Борхеса мы находим как свод, или даже генеалогию метафор всемирной истории и мировой культуры (например, вечные метафоры сна и смерти, женщины и цветка в эссе «Метафора»), так и развитие, «перезвучивание» им самим в разные периоды творчества нескольких ключевых тем и мотивов: книга как парабола Вселенной («Сад расходящихся тропок», «Парабола дворца»), тема предателя в мировой истории и культуре («Форма сабли», «Тема предателя и героя», «Три версии предательства Иуды»), идея бесконечной книги («Вавилонская библиотека», «Книга песка»). Иногда парабола Борхеса, воскрешая древние мифы, заставляют увидеть взаимное отражение произведений, вряд ли воспринимаемых как звенья единого цикла. Так, историей одной страсти — зависти — предстает библейская легенда об Авеле и Каине в рассказе «Богословы», увиденная сквозь призму «Моцарта и Сальери» Пушкина и «Авеля Санчеса» Унамуно. В «Злодейке» слышны отзвуки «Идиота» Достоевского, в «Deutsches Requiem» — «Книги Иова».

Философия эха, подтверждений которой немало в человеческих судьбах, в истории и в культуре, нашла отражение и в рассказах цикла «мифологии окраин», и в лирике Борхеса. В новелле «Мужчина из Розового кафе» женщина принадлежит вначале самому смелому из мужчин округа. Потом она достается чужаку, еще более отчаянному, чтобы наконец, уже добровольно, прийти к тому, кто его одолеет и смоем позор с селения. Другой вечной теме посвящен сонет «Ewigkeit»; бренности бытия, которую поэт готов был бы воспеть, если бы не сознавал, что все, едва исчезнув, тотчас обволочется вечностью. Одним из самых ярких воплощений идеи о вечном возвращении, параболах уже бывшего в жизни людей и цивилизаций является «Ульрика» — редкая у Борхеса проникновенная новелла о любви. Ничего не меняется, ничего не происходит, время стоит на месте, ибо

люди и отношения между людьми остаются все теми же. Иные и прежние герои — колумбиец и норвежка — встречаются в Йорке в наши дни, но и в ту пору, когда Англия принадлежала норвежцам, которые, кстати говоря, впервые открыли Америку. Поэтому-то колумбиец он или нет, происходят события в наши дни или в средние века, разделяет меч героев или нет — «вопрос верь», как отвечает Хавьер (он же Сигурд) на вопрос Ульрики (она же Брунхильда), что значит быть колумбийцем.

В эссе «Четыре цикла» Борхес упоминает четыре основных истории, эхом которых до сих пор полнится культура: о падении города, о возвращении героя, о поиске и о самопожертвовании Бога. Мы без труда обнаружим их и в творчестве самого Борхеса, не нужно лишь забывать об авторской «интонации», на которой писатель настаивал. Эта интонация может заключаться и в перенесении акцента. С судьбы города — на судьбу людей, с судьбы одного героя — на судьбу другого, с осуждения — на оправдание, с самопожертвования — на принесение в жертву. И тогда первую из этих историй мы обнаруживаем в новелле «Злодейка». «Падения города» в ней не происходит, ибо женщина — причина соперничества — приносится в жертву. За Бога могут принять рассказчика. И тогда версией вечной темы о самопожертвовании — вынужденном — может стать Евангелие от Марка. Крахом, как и в других, современных версиях, может завершиться поиск в «Смерти и буссоли». Впрочем, поиск героя «Ундра» завершается классическим обретением. Иногда, чтобы помочь читателю, Борхес сам дает ему в руки ключ определения цикла. Так, в рассказ о долгом пути героя новеллы «Бессмертный» — к смерти, к способности быть смертным — Борхес вводит упоминание Аргуса, старого умирающего пса из «Одиссеи».

В отношении Борхеса к культуре, литературе, сюжетам, метафорам, чужому творчеству есть что-то фольклорно-патриархальное, нечто от мировидения гаучо, людей «окраин», близких природе, стихийно выражающих общечеловеческие порывы, неизменно повторяющиеся на протяжении веков. Определяя свое место в культуре, вглядываясь в свое и в то же время в чужое — литературное — лицо, Борхес писал: «Охотно признаю, что кое-какие страницы ему удалось, но и эти страницы меня не спасут, ведь в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции». Тем самым в этой поздней миниатюре — «Борхес и я» — с предельной откровенностью высказано давнее его убеждение, что каждый получает необъятную культуру прошлого с рождением и владеет ею наряду с другими, внося в нее свой посильный вклад, свою, дай Бог, неповторимую интонацию.

«Я знаю, кто я», — вслед за Дон Кихотом с сознанием собственного достоинства мог бы сказать Борхес, неустанно повторявший, что все, что им сделано, было уже у Э. По, Стивенсона, Уэллса, Честер-

тона и некоторых других. Ни грани самоуничтожения в этих призываниях не было. Если новое произведение искусства представляет собой новое прочтение старых текстов и неожиданная комбинация старых мотивов способна дать жизнь новому, оригинальному замыслу, — то не напоминает ли понятый таким образом литературный труд достойную всяческого восхищения работу садовника по выведению новых видов цветов и плодовых деревьев? Борхес на практике доказывал то, что утверждали французские структуралисты, а ранее — русские формалисты. Согласно Р. Барту, литература — ничто иное, как язык, где новизна возникает из комбинации слов, а не в новом сообщении. Нередко в творчестве аргентинского писателя видели подтверждение многих тезисов (отвергаемых отнюдь не только вульгарными социологами) русских формалистов. «Методы и приемы сюжетосложения, — утверждал в 1929 году В. Шкловский, — сходны и в принципе одинаковы с приемами хотя бы звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют из себя плетение звуков, артикуляционных движений и мыслей»¹. В сущности, и для Борхеса мастерство писателя было сродни исполнительскому мастерству музыканта. Литература тем самым воспринималась им как некий уже существующий, хотя и неисчерпаемый, бездонный текст, который каждый новый писатель играет по-своему.

Круг разрабатываемых Борхесом на протяжении всей жизни парабол, ассоциаций и метафор достаточно ограничен, но невероятно вариативен и богат по оттенкам. «Стихотворение с вариантами, — писал современник Борхеса П. Валери, — настоящий скандал для сознания обыденного и ходячего. Для меня же — заслуга. Сила ума определяется количеством вариантов»². С неизбежностью многое утрачивая, переводы имеют некоторые уникальные неоспоримые преимущества, которые мы не всегда осознаем. Как и любой писатель, Борхес постоянно возвращался к одним и тем же ключевым для него темам, персонажам, ситуациям. Отсюда — повторы, самоцитирование. Заметнее всего это в эссеистике, однако с таким же успехом можно признать различными версиями одних и тех же неизменно волновавших авторов прозаических, драматических или поэтических ситуаций и романы Достоевского, и пьесы Островского, и стихи Федора Сологуба. Переводы самоповторов Борхеса, осуществленные различными переводчиками, позволяют придать им чуть большую вариативность. В то же время, по закону сдвинутого эквивалента, отдельные стилистические или смысловые оттенки, утрачиваемые в одном переводе, компенсируются, позволяя приблизиться к более адекватному отражению важнейших для Борхеса текстов.

Одна из основных метафор, привлекавших внимание Борхеса в

¹ Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 62.

² Валери П. Об искусстве. М., 1976. С. 586.

мировой культуре и послужившая основой многих его произведений, — это метафора Вселенной (она же Сад и Дворец) как Книги (она же Библиотека или Слово). Подчас эта метафора разворачивается у него в ряд взаимоотражающихся зеркал. Слово как парабола Книги, Книга как парабола Библиотеки, Библиотека как парабола Дворца или Сада, Сад и Дворец как парабола Мироздания. Вместе с тем Сад — это парабола Рая, а Книга — это Лабиринт и в то же время Книга — это Время. Покорившее воображение Борхеса философское сближение действительно универсально и зародилось оно в недрах древнейших цивилизаций. Д. С. Лихачев пишет «Сад — это подобие Вселенной, книга, по которой можно „прочсть“ Вселенную. Вместе с тем сад — аналог Библии, ибо и сама Вселенная — это как бы материализованная Библия. Вселенная своего рода текст, по которому читается божественная воля. Но сад — книга особая: она отражает мир только в его доброй и идейной сущности»¹. (Именно поэтому, кстати говоря, неизбывны боль и усталость Ю Цуна, убившего китаиста Стивена Альбера, который разгадал связь между садом и книгой, завещанными человечеству Цюй Пэном, а не только потому, что Цюй Пэн был его прадедом.)

Вполне понятной оказывается верность аргентинского писателя тем мыслителям прошлого и настоящего, которых, как и его, недолжимо влекла загадка взаимоотражения Свитка Писания и Свитка Творения. Так, в эссе «О культе книг» он развивает идею Бэкона о том, что значение для нас имеют не столько эти сближения сами по себе, сколько тот факт, что вторая книга — ключ к первой. В той же мере заслуживают внимания и размышления кабаллистов о мире как алфавите и человеке, который по нему учится грамоте. С несомненным сочувствием в «Зеркале загадок» он цитирует Де Куинси («Даже бессвязные звуки бытия представляют собой некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших») и Л. Блуа («История — это нескончаемый литургический текст, в котором йоты и точки не менее значимы, чем стихи или же целые главы, однако смысл тех и других никому не ведом и глубоко сокрыт»).

В мире книжных загадок Борхеса как гармония Свитка Писания, так и несовершенство Свитка Творения (коль скоро они далеко не во всем и не всегда зеркально отражают друг друга) способны вызывать и восхищение, и тревогу. Вспомним рассуждение в рассказе «Вавилонская библиотека» о человеке как о несовершенном библиотекаре, который мог быть порождением злых гениев в отличие от Вселенной, оснащенной «изысканными полками, загадочными томами, нескончае-

¹ Л и х а ч е в Д. С. Поэзия садов. Л., 1982. С. 17.

ными лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря», что могло быть только творением Бога. Совсем другую книгу — книгу как лабиринт и как время — бессвязный роман, который был «садом расходящихся тропок», — создал некогда китаец Цюй Пэн, а англичанин Стивен Альбер разгадал эту загадку. Его Книга — это нескончаемый, но и неискаженный образ мира, в котором нас ждут бесчисленность временных рядов, растущая, головокружительная сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен.

Книга стихов, строка, Слово, вмещающие в себя всю Вселенную, могут быть внушены свыше («Мне голос был»), особенно во сне. Этот старый взгляд, «согласно которому евангелисты и пророки суть писари, бездумно воспроизводящие то, что диктует Бог» (и который находит отражение в эссе «Оправдание Каббалы»), был подхвачен романтиками и затем символистами. У Борхеса он является ответвлением главной темы и нашел отражение в таких рассказах и эссе, как «Письмена Бога», «Ундра», «Зеркало и маска», «Сон Колриджа», «Парабола дворца»¹. Далеко не случайно гибнут те, кому открылось единственное Слово. Они вольно или невольно посягнули на Тайну, дерзнули узнать то, что сокрыто от человека, и преуспели в этом. Гибнет поэт в «Параболе дворца», кончает самоубийством поэт в «Зеркале и маске». Однако совсем иной исход имело открытие жреца в рассказе «Письмена Бога», примирившегося в конце концов со своей участью пленника: «И пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать «тигр» — значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на божьем языке эту бесконечную перекличку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно, и не поочередно, а разом». Точно так же остается жив и герой «Ундра», познавший тайну искусства, узнавший, что Слово, вмещающее в себя все остальные и все остальное, существует, и для каждого оно — свое. Знаменательно, что он разгадал тайну искусства, ночуя на берегу реки, впадавшей в море. Поэзия — это сущность каждого человека, которую только он способен выразить и которая у каждого своя, несмотря на то, что вместе мы составляем человечество, а искусство принадлежит всем.

В сущности, Борхес при всей обманчиво-скромной оценке собственных достижений попытался совершить и совершил невозможное — создал мировую культуру в миниатюре. Если представить себе,

¹ Всю цепочку связанных единым мотивом произведений Борхеса, отталкиваясь от «Параболы дворца», приводит и тонко анализирует М. Бланко (Blanco M. La parabole et les paradoxes // Poétique. Paris, 1983, sept. Vol. 55. P. 259-261.)

что от всех письменных памятников всех цивилизаций и религий мира не уцелело ничего, то только по его творчеству можно получить о них достаточно емкое и яркое представление.

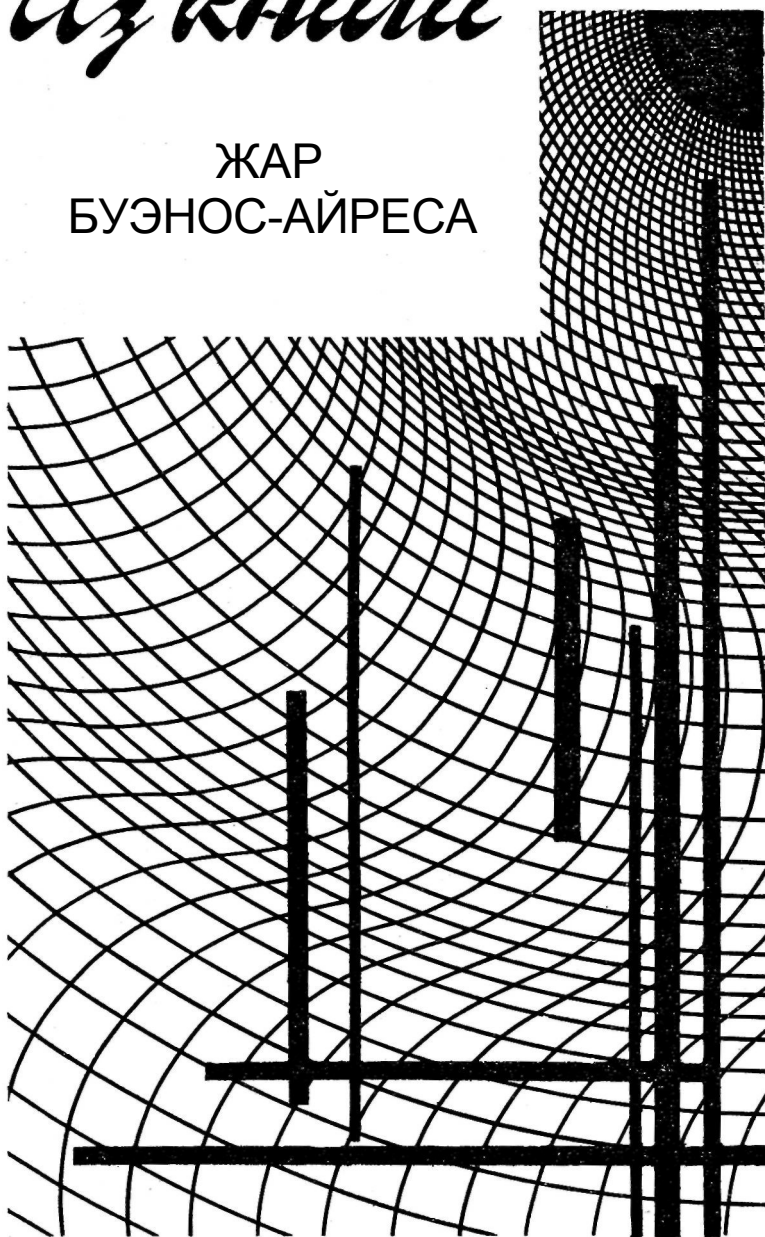
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

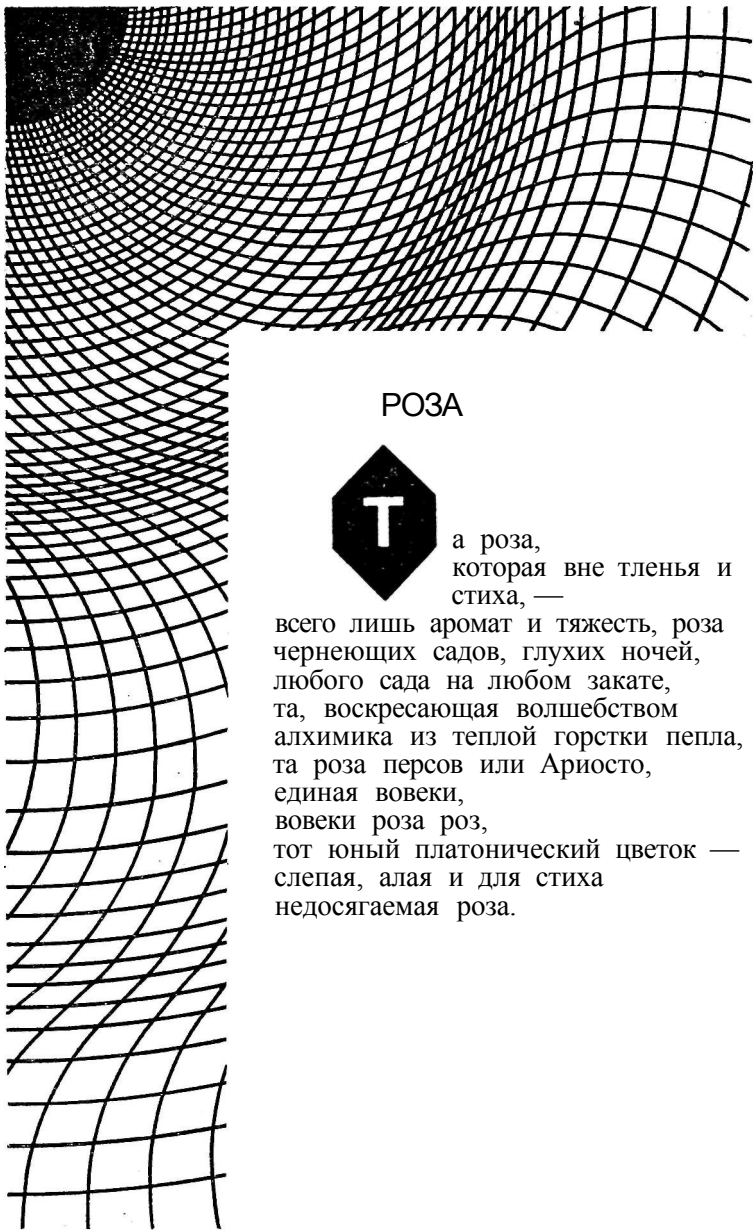
Хорхе Луису Борхесу было бы недостаточно просто восхититься этими строками Мандельштама. Не менее сладок ему был и миг узнавания в них и мысли Платона о том, что всякое знание не что иное, как воспоминание, и знаменитого стиха Книги Экклесиаста: «...и нет ничего нового под солнцем», и, наконец, избитого трюизма: всякое новое — это хорошо забытое старое. Тем более сладок нам миг узнавания полуугаданных некогда тайн человеческого предназначения в неповторимых вымыслах Борхеса.

Вс. Багно

Из книги

ЖАР
БУЭНОС-АЙРЕСА





РОЗА



а роза,
которая вне тленья и
стиха, —
всего лишь аромат и тяжесть, роза
чернеющих садов, глухих ночей,
любого сада на любом закате,
та, воскресающая волшебством
алхимика из теплой горстки пепла,
та роза персов или Ариосто,
единая вовеки,
во веки роза роз,
тот юный платонический цветок —
слепая, алая и для стиха
недосягаемая роза.

КОНЕЦ ГОДА

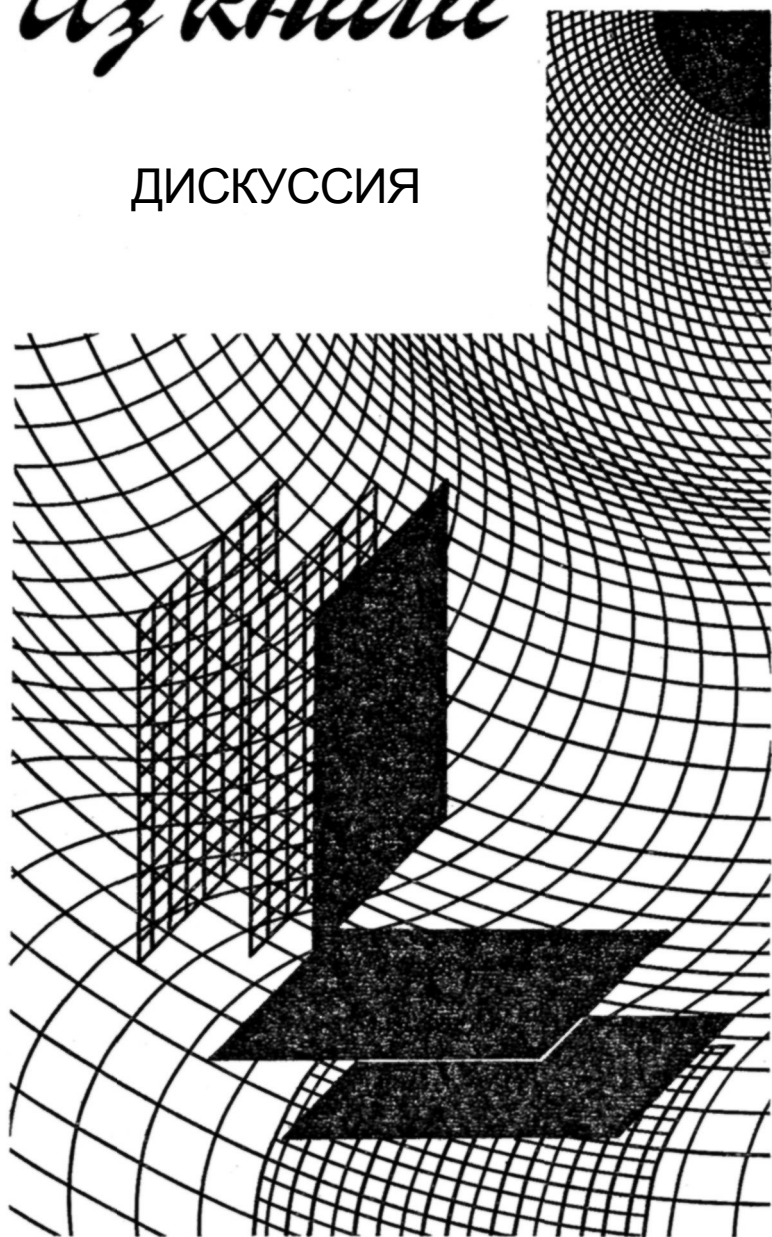
Не символическая
смена цифр,
не жалкий троп,
связующий два мига,
не завершение оборота звезд
взрывают тривиальность этой ночи
и заставляют ждать
тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная:
всеобщая и смутная догадка
о тайне Времени,
смятение перед чудом —
наперекор превратностям судьбы
и вопреки тому, что мы лишь капли
неверной Гераклитовой реки,
в нас остается нечто
несокрушимое.

ПРОСТОТА

Садовая калитка
откроется сама,
как сонник на зачитанной странице,
и незачем опять
задерживаться взглядом на предметах,
что памятны до мелочи любой.
Ты искушен в привычках и сердцах,
и красноречье недомолвок тонких —
как паутинка общности людской.
А тут не нужно слов
и мнимых прав:
всем, кто вокруг, ты издавна известен,
понятны и ущерб твой, и печаль.
И это — наш предел:
такими, верно, и предстанем небу —
не победители и не кумиры,
а попросту сочтенные за часть
Реальности, которая бесспорна,
за камень и листву.

Из книги

ДИСКУССИЯ





СУЕВЕРНАЯ ЭТИКА ЧИТАТЕЛЯ



Ищета современной словесности, ее неспособность по-настоящему увлекать породили суеверный подход к стилю, своего рода псевдо-чтение с его пристрастием к частностям. Страдающие таким предрас-судком оценивают стиль не по впечатлению от той или иной стра-ницы, а на основании внешних при-емов писателя, его сравнений, звуча-ния фразы, особенностей синтаксиса и пунктуации. Подобным читателям безразлична сила авторских убежде-ний и чувств. Они ждут искусностей (по выражению Мигеля де Унаму-но), которые бы точно сказали, до-стойно ли произведение их интереса или нет. Эти читатели слышали, что эпитеты не должны быть тривиаль-ными, и сочтут слабым любой текст, где нет новизны в сочетании прила-гательных с существительными, да-

же если главная цель сочинения успешно достигнута. Они слышали, что краткость — несомненное достоинство, и нахваливают того, кто написал десять коротких фраз, а не того, кто справился с одной длинной. (Образчиками такой вполне шарлатанской краткости, этой неистощимой сентенциозности могут служить изречения славного датского придворного Полония из «Гамлета» или нашего родного Полония по имени Бальтасар Грасиан.) Они слышали, что соседство похожих слогов рождает какофонию, и старательно делают вид, что их мутит от подобной прозы, хотя то же явление в стихах доставляет им удовольствие (по-моему, в равной мере притворное). Короче, таких читателей занимает не действительность механизма, а его строение. Они подчиняют чувства этике, точнее — общепринятому этикету. Упомянутый подход оказался столь распространен, что читателей как таковых почти не осталось — одни потенциальные критики.

Суеверие пустило-таки свои корни: уже никто не смеет и заикнуться об отсутствии стиля там, где его действительно нет, тем паче если речь о классике. По этой логике все хорошие книги — непрменные образцы стиля; ведь без одного никому не обойтись — разве что самому автору. Обратимся, например, к «Дон Кихоту». Поскольку успех здесь не подлежал сомнению, испанские критики даже не взяли на себя труда подумать, что главное и, пожалуй, единственное бесспорное достоинство романа — психологическое. Сочинению Сервантеса стали приписывать стилистические достоинства, для многих так и оставшиеся загадкой. Но прочтите два-три абзаца из «Дон Кихота», и вы почувствуете: Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем, слухоусладительном, смысле слова). Судьбы Дон Кихота и Санчо слишком занимали автора, чтобы он позволил себе роскошь заслушиваться собственным голосом. «Остроумие, или Искусство изощренного ума» Бальтасара Грасиана, неистощимое в похвалах повествовательной прозе (например, «Гусману де Альфараче»), не осмеливается даже упомянуть о «Дон Кихоте». Кеведо сочиняет на его смерть насмешливую эпитафию и тут же забывает о нем. Мне возразят, что оба примера — отрицательные. Что ж, Леопольдо Лугонес, уже

наш современник, выносит недвусмысленный приговор: «Стиль Сервантеса — его самое слабое место, и ущерб, нанесенный его влиянием, неизгладим; бедность красок, шаткость композиции, одышливые периоды, которые, завиваясь бесконечной спиралью, так и не могут дотянуть до конца, утомительные повторы и отсутствие соразмерности — таково наследство Сервантеса в глазах тех, кто, видя наивысшее воплощение бессмертного замысла лишь в форме, долго грызли шероховатую скорлупу, но так и не обнаружили вкусного и сладкого плода» («Империя иезуитов», с. 59). А вот что говорит наш Грусак: «Называя вещи своими именами, признаем, что добрая половина романа небрежна и слаба по форме, и это с лихвой оправдывает упрек в «бедности языка», брошенный Сервантесу его противниками. Я имею в виду не только и не столько словесные несуразицы, скучные повторы, неудачные каламбуры, удручающие риторические пассажи, но прежде всего общую вялость этой прозы, пригодной исключительно для чтения после обеда» («Литературная критика», с. 41). Но именно эта проза после обеда, для разговора, а не для декламации и нужна Сервантесу, и никакая другая. То же, думаю, можно сказать о Достоевском, Монтене или Сэмюэле Батлере.

Тщеславная жажда стиля перерастает в еще более патетическое тщеславие, в опустошительную жажду совершенства. Нет такого ничтожного и жалкого стихотворца, который бы не изваял (словечко из его собственного лексикона) образцового сонета — крошечного памятника, охраняющего вероятное бессмертие пиита от превратностей и ударов судьбы. Речь идет о сонете без словесных «затычек», который, однако, сам и есть такая «затычка», иначе говоря, вещь надуманная и бесполезная. Рецепт этой ошибки честолюбия (например, «Um Burial»¹ сэра Томаса Брауна) был когда-то составлен и рекомендован Флобером: «Правка, в высоком смысле этого слова, оказывает такое же действие на мысль, как воды Стикса на тело Ахилла: придает крепость и неуязвимость» («Correspondance»², II, p. 199). Суждение, разумеется, очень смелое, но, боюсь, мне не

¹ «Погребальная урна» (англ.).

² «Письма» (фр.).

найти примера в подтверждение его правоты. (О тонирующем эффекте стигийских вод я не осведомлен, да и вообще их inferнальное упоминание — не аргумент, а красивая фраза.) Лучшая страница, страница, в которой нельзя безнаказанно изменить ни одного слова, — всегда наихудшая. Изменения языка стирают побочные значения и смысловые оттенки слов; «безупречная» страница хранит все эти скромные достоинства и именно поэтому изнашивается с необыкновенной легкостью. Напротив, страница, обреченная на бессмертие, невредимой проходит сквозь огонь опечаток, приблизительного перевода, неглубокого прочтения и просто непонимания. В стихах Гонгоры, по мнению его публикаторов, нельзя изменить ни единой строчки, а вот «Дон Кихот» посмертно выиграл все битвы у своих переводчиков и преспокойно выдерживает любое, даже самое посредственное переложение. Гейне, который ни разу не слышал, как этот роман звучит по-испански, прославил его навсегда. Даже немецкий, скандинавский или индийский призраки «Дон Кихота» куда живее словесных ухищрений стилиста.

Не поймите мои слова как призыв к отчаянию или нигилизму. Я вовсе не одобряю небрежности и не верю в мистическую силу нескладной фразы и стертого эпитета. Просто я искренне убежден, что возможность опустить два-три неброских приема: зрительную метафору, приятный ритм, удачное междометие или гиперболу и т. д. — лишний раз доказывает, что писателя ведет избранная тема. И в этом все дело. Резкость тона столь же безразлична для настоящей литературы, как и нарочитая мягкость. Подсчет слогов столь же чужд искусству, как орфография, чистописание или пунктуация. Вот истина, которую тщательно скрывали от нас риторика, чьи истоки в суде, и песня, чья основа — музыка. Последние слова, слова, преисполненные божественной или ангельской мудрости либо требующие решимости, которая превосходит человеческие силы — «единственный», «никогда», «навечно», «всё», «совершенство», «законченный», — теперь в ходу у любого писателя. И однако ясно одно: сказать о чем-нибудь лишнее — все равно, что не сказать ничего, а чрезмерное преувеличение, по сути, та же бедность. Читатель чувствует это безоши-

бочно. А злоупотребление подобными средствами в конце концов обесценивает язык. Скажем, французское *je suis navré*¹ стало обозначать «Я не буду пить с вами чай», а *aimer*² опустилось до простого «нравиться». Эта же французская привычка к преувеличениям видна и в литературе. Герой упорядочивающей ясности Поль Валери приводит несколько редких и забытых строк Лафонтена, защищая его от чьих-то нападок так: «*Ces plus beaux vers du monde*»³ (*Variété*⁴, 84).

А теперь позвольте мне напомнить не о прошлом, а о будущем. Уже сейчас встречается чтение про себя — добрый знак. Есть уже и те, кто читает про себя стихи. А путь от этой загадочной способности до чисто идеографического письма — прямой передачи опыта, а не звука, — конечно, труден, но все-таки он куда короче нашего неведомого будущего.

Подытоживая свои малоутешительные рассуждения, добавлю: я не знаю, может ли музыка наскучить музыке, а мрамор устать от мрамора. Но литература — это искусство, которое может напророчить собственную немоту, выместить злобу на самой добродетели, возлюбить свою кончину и достойно проводить свои останки в последний путь.

ОПРАВДАНИЕ КАББАЛЫ

Оно не первый раз предпринимается и не последний раз кончается ничем, однако в моем случае два обстоятельства заслуживают внимания. Первым является мое почти полное незнание еврейского, второе заключается в том, что оправдывать я намерен не доктрину, а герменевтические и криптографические приемы, которые она использует. К этим приемам, как известно, относится чтение священных текстов по вертикали, чтение, называемое *bouestrophedon* (одна строка читается справа налево, а следующая — слева направо), осуще-

¹ Я удручен (*фр.*).

² Любить (*фр.*).

³ Эти прекраснейшие стихи в мире (*фр.*).

⁴ Смесь (*фр.*).

ствляемая по определенному принципу замена одних букв алфавита другими, подсчет количества букв и т. д. Легче всего отнестись к этим манипуляциям с иронией; я попытаюсь в них разобраться.

Очевидна обусловленность этих штудий представлением, что в создании Библии решающей была роль нания. Взгляд, согласно которому евангелисты и пророки суть писари, бездумно воспроизводящие то, что диктует Бог, с особой резкостью заявлен в Formula consensus helvetica, которая претендует на неоспоримую авторитетность в отношении согласных букв Священного Писания и даже диакритических знаков, отсутствовавших в древнейших версиях. (Подобное неукоснительное осуществление человеком сочинительских устремлений божества проявляется в виде воодушевления и восторга, что еще точнее было бы назвать иступленностью.) Мусульмане идут еще дальше, утверждая, что Коран в своем доподлинном виде — мать Книги, — это одно из проявлений Бога, подобно Его Милосердию, Его Ярости, а, следовательно, он предшествовал и языку, и Творению. Встречаются и лютеранские теологи, которые не решаются признать сотворенность Писания и видят в нем воплощение Духа.

Итак, Духа. Здесь близки мы к разгадке тайны. Не абсолютным божеством, а лишь третьей ипостасью божества внушена была Библия. Представление это общепринято. Бэкон писал в 1625 году: «Повествуя о радости Соломона, перо Духа святого не так замедляло свой бег, как при описании скорби Иова»¹. Ему вторит его современник Джон Донн: «Дух Святой наделен даром красноречия, даром могучим и щедрым, но сколь далек он от пустословия, от словесной нищеты и избыточности».

Дать определение Духу невозможно, как невозможно отмахнуться от пугающей природы триединства, частью которого он является. Мирянам-католикам она видится неким триединым телом, в равной мере вызывающим восхищение и скуку; прогрессистам — никчемным цер-

¹ В переводе я следую латинской версии: *diffusius tractavit Jobi afflictiones*. Точнее, пожалуй, была английская: *hath laboured more*. (Примеч. автора.)

бером теологизма, предрассудком, который помогут изжить успехи цивилизации. Истинная сущность Троицы неизмеримо сложнее. Если зримо представить себе сведенных воедино отца, сына и нечто бесплотное, то перед нами предстанет монстр, порожденный больным сознанием, жуткий гибрид, сродни чудовищам ночных кошмаров. Пожалуй, это так, но зададимся вопросом, не производит ли жуткого впечатления все то, что недоступно нашему пониманию. Эта общая закономерность выступает еще рельефнее благодаря непостижимости самого явления.

Вне учения об искуплении догмат о единстве в трех лицах представляется малосущественным. Если видеть в нем всего лишь непреложность, вытекающую из веры, то, обретая большую определенность и действенность, он не становится менее загадочным. Мы понимаем, что, отвергая идею о Боге в трех лицах — в сущности, даже и в двух, — мы неизбежно отводим Христу роль случайного посланца Господа, непредвиденно вошедшего в историю, а не вечного, недремлющего судьи нашего благочестия. Не будь Сын одновременно Отцом, и в искуплении не было бы Божьего промысла; если он не вечен, то не вечно и самоуничтожение до участи человека, умирающего на кресте. «Ни на что, кроме безбрежного совершенства, грешная душа на безбрежные годы не согласится», — утверждал Иеремия Тейлор. Так догмы обрастают доказательствами, несмотря на то, что постулаты о порождении Отцом Сына и об исхождении Духа от них обоих наводят на еретическую мысль о предшествовании, не говоря уже об их весьма предосудительной метафорической сущности. Теология, настаивающая на их различиях, утверждает, что для путаницы нет оснований, ибо в первом случае речь идет о Сыне, а во втором — о Духе. Блистательное решение предложил Иринеи — вечное порождение Сына и вечное исхождение Духа; то есть некое вневременное деяние, обделенный *zeitloses Zeitwort*¹, с которым — подобострастно или скептически — мы обязаны считаться. Ад обрекает на муки одно наше тело, в то время как неразрешимая загадка трех лиц наполняет ужасом душу, являя собой теснящую кажущуюся бесконечность, подобную взаимоотражающим

¹ Безвременной глагол времен (нем.).

зеркалам. Данте представил их в образе прозрачных, разного цвета кругов, отражающих друг друга; Донн — сплетением дивных змей. «*Toto coruscat trinitas mysterio*», — писал Святой Павлин («объята таинством, сияет Троица»).

Если Сын — это примирение Бога с миром, то Дух — это освящающее начало, ангельская сущность, согласно Афанасию, а по мнению Македония, главное в нем — быть связующим началом между нами и Богом, растворенным в сердцах и душах. (По мнению социнианцев — боюсь, что весьма близких к истине. — перед нами лишь персонифицирующая формула речи, метафора божественного промысла, впоследствии многократно повторенная и перетолкованная.) Чем бы ни было это смутное третье лицо единосущей Троицы — скромной синтаксической конструкцией или чем-то большим, — но ему приписывается авторство Священного Писания. В той главе своего труда, где речь идет об Исламе, Гиббон приводит список сочинений о Духе Святом, по самым скромным подсчетам насчитывающий более сотни наименований; меня в данном случае интересуют истоки: содержание каббалы.

Каббалисты, подобно немалому числу нынешних христиан, были убеждены в божественной сути этой истории, убеждены в том, что она была задумана и осуществлена высшим разумом. А этим обстоятельством, в свою очередь, было обусловлено многое другое. Рассеянное поглощение расхожего текста — к примеру, столь недолговечных газетных статей — предполагает изрядную толику случайного. Сообщают — навязывая его — некий факт: информируют о том, что вчерашнее происшествие, как всегда непредвиденное, имело место на такой-то улице, таком-то углу, в такое-то время дня — перечень ни для кого ничего не значащий — и, наконец, что по такому-то адресу можно узнать подробности. В подобных сообщениях протяженность абзацев и их звучание являются фактором второстепенным. Совершенно иначе обстоит дело со стихами, незыблемым законом которых является подчиненность смысла эфоническим задачам (или прихотям). Второстепенным является не мелодия стиха, а содержание. Таковы ранний Теннисон, Верлен, поздний Суинберн: они стремились запечатлеть настроение чарующими и капризными переливами звуков. Присмотримся к третьему типу писателя — интеллектуалу. Обращаясь к прозе (Валери,

Де Куинси) или к поэзии, он не исключает полностью случайного, однако настолько, насколько возможно, ограничивает этот неизбежный союз. Он уже ближе к Творцу, для которого зыбкий элемент случайности попросту не существует. К Творцу, всепроблагодарному Богу телологов, которому изначально ведомы — *uno intelligendi actu*¹ — не только все происходящее в этом многообильном мире, но также те события, которые при слегка ином стечении обстоятельств были бы возможны, — в том числе неосуществимые.

Представим теперь этот астральный творческий тип, проявивший себя не в описании монархий, разрушительных войн или птиц, а в истолковании написанных слов. Представим себе также, в соответствии с предавгустинианскими взглядами об устном внушении, что Бог диктует слово за словом все, что он задумал сказать². Суть допущения (на котором основывались каббалисты) сводилась к представлению о Священном Писании как об абсолютном тексте, в котором доля случайности практически равна нулю. Прозрение замысла Писания чудом ниспослано тем, кто заполняет его страницы. Книга, в которой нет места случайному, формула неисчислимых возможностей, безупречных переходов смысла, ошеломляющих откровений, напластований света. Можно ли удержаться от соблазна снова и снова на все лады перетолковывать ее, подобно тому, как это делала каббала?

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МАГИЯ

Поэтика романа анализировалась редко. Историческая причина такой немногословности — в господстве других жанров. Но основополагающей причиной была все же уникальная сложность романских средств, с трудом отделимых от сюжета. Изучающий элегию или пьесу имеет в распоряжении разработанный словарь и легко подыщет цитаты, говорящие сами за себя. Но

¹ Единым свершением мысли (*лат.*).

² Ориген усматривал в словах Священного Писания три смысла: исторический, нравственный и мистический, соответствующие в человеке его телу, душе и духу; Иоанн Скот Эриугена — неисчислимое множество смыслов, подобное переливам оперения павлина.

если речь идет о романе, исследователь не находит под рукой подходящих терминов и не может проиллюстрировать свои доводы живыми, убедительными примерами. Поэтому я прошу читателя быть снисходительным к изложенному ниже.

Рассмотрим для начала романские черты в книге Уильяма Морриса «The Life and Death of Jason»¹ (1867). Поскольку я занимаюсь литературой, а не историей, то не стану исследовать или делать вид, что исследую древнегреческие истоки поэмы. Напомню только, что древние — и среди них Аполлоний Родосский — не раз воспевали в стихах подвиги аргонатов. Упомяну и более близкую по времени книгу-посредник 1474 года «Les faits et prouesses du noble et vaillant chevalier Jason»², которую, естественно, нельзя найти в Буэнос-Айресе, но которая вполне доступна английским комментаторам.

Смелый замысел Морриса заключался в правдоподобном повествовании о чудесных приключениях Ясона, царя Иолка. Нарастающий восторг — главное средство лирики — невозможен в поэме, насчитывающей более десяти тысяч строк. Потребовалась убедительная видимость правды, способной разом заглушить все сомнения, добившись эффекта, составляющего, согласно Колдриджу, основу поэтической веры. Моррису удается пробудить эту веру. Попробую показать, как.

Возьму пример из первой книги. Старый царь Иолка Эсон отдает сына на воспитание живущему в дебрях кентавру Хирону. Трудность здесь — в неправдоподобии кентавра. Моррис легко разрешает ее, пряча кентавра среди имен других редких животных. «Where bears and wolves the centaur's arrows find»³, — как ни в чем не бывало говорит он. Первое беглое упоминание подкрепляется через тридцать стихов другим, подготавливающим описание. Царь велит рабу отнести малолетнего Ясона в чашу у подножия гор. Там раб должен протрубить в рог слоновой кости и вызвать кентавра, который, предупреждает Эсон, «хмур лицом и телом мощен». Как только он появится, рабу надлежит пасть на колени. Дальше идут другие приказы, а за ними — третье упоминание, на первый — обманчивый —

¹ «Жизнь и смерть Ясона» (англ.).

² «Деяния и подвиги благородного и отважного рыцаря Ясона» (фр.).

³ «Где медведи и волки встречали стрелы кентавра» (англ.).

взгляд, отрицательное. Царь советует рабу не бояться кентавра. И затем, печалься о расставании с сыном, пытается вообразить его жизнь в лесу среди quick-eyed centaurs¹, оживляя этих существ эпитетом, отсылающим к их славе метких лучников². Крепко прижимая ребенка, раб скачет верхом всю ночь и под утро достигает леса. Привязав коня и бережно неся Ясона, он входит в чашу, трубит в рог и ждет. Звучит утренняя песня дрозда, но сквозь нее все отчетливее слышится стук копыт, вселяя в сердце раба невольный трепет, смягченный лишь видом ребенка, тянувшегося к блестящему рогу. Появляется кентавр. Читателю сообщают, что раньше шкура Хирона была пятнистой, а теперь она бела, как и его седая шевелюра. Там, где человеческий торс переходит в конский круп, висит веночек из дубовых листьев. Раб падает на колени. Мимоходом заметим, что Моррис может и не передавать читателю свой образ кентавра, да и нам нет нужды его видеть — достаточно попросту сохранять веру в его слова, как в реальный мир.

Тот же метод убеждения, хотя и более постепенного, используется в эпизоде с сиренами из книги четырнадцатой. Первые, подготавливающие образы — само очарование. Безмятежное море, душистое, как апельсин, дуновение бриза, таящая опасность мелодия, которую вначале считают колдовством Медеи, проблески радости на лицах безотчетно слушающих песню моряков и проскользнувшая обиняком правдоподобная деталь, что сперва нельзя было различить слов:

And by their faces could the queen behold
How sweet it was, although no tale it told.
To those worn toilers o'er the bitter sea³, —

все это предвещает появление чудесных существ. Но сами сирены, хоть и замеченные в конце концов аргонавтами, все время остаются в некотором отдалении, о чем говорится опять-таки вскользь:

for they were near enow
To see the gusty wind of evening blow

¹ Быстроглазых кентавров (англ.).

² См. стих: Cesare armato, con gli occhi grifagni (*Inferno*, IV, 123). (И хищноокий Цезарь, друг сражений (итал., пер. М. Лозинского)).

³ И по их лицам могла королева понять,
До какой степени это пение трогало сердца,
Хотя оно ни о чем не рассказывало,
Волнуя тяжких тружеников соленого моря (англ.).

Long locks of hair across those bodies white
With golden spray hiding some dear delight¹.

Последняя подробность — золотые брызги (то ли от волн, то ли от плескания сирен, то ли от чего-то еще), таящие желанную отраду, тоже несет побочный смысл — показать привлекательность этих чудесных созданий. Та же двойная цель просматривается и в другой раз, когда речь идет о слезах страсти, туманящих глаза моряков. (Оба примера — того же порядка, что и венки из листьев, украшающий торс кентавра.) Ясон, доведенный сиренами² до отчаяния и гнева, обзывает их «морскими ведьмами» и просит спеть сладкоголосого Орфея. Начинается состязание, и тут Моррис с замечательной скромностью предупреждает, что слова, вложенные им в нецелованные уста сирен и в губы Орфея, — лишь бледный отголосок их подлинных древних песен. Настойчивая детальность в обозначении цветов (желтая кайма берега, золотая пена, серая скала) сама по себе трогает читателя, словно речь идет о чуде сохранившемся предании глубокой старины. И сирены поют, преодолевая счастье, быстротечное, как во-

¹ Ибо они находились достаточно близко,
Чтобы почувствовать порывы вечернего бриза,
На их белоснежную грудь спадали длинные локоны,
Смоченные золотой росой, скрывающей какое-то дивное
очарование (англ.).

² За веком век сирены меняют обличье. Их первый историограф, рапсод двенадцатой песни «Одиссеи», вообще не упоминает о том, как они выглядят. У Овидия — это птицы с розоватыми перьями и девичьим ликом. У Аполлона Родосского верхняя часть их тела — женская, нижняя — птичья, у несравненного Тирсо де Молины, как и в геральдике, сирены — «полуженщины, полурыбы». Не меньше спорят и о природе сирен. Тирсо называет их нимфами. Классический словарь Лэмпира тоже причисляет их к нимфам, а словарь Кишера — к чудовищам, тогда как, по словарю Грималея, они — демоны. Обитают сирены на одном из западных островов неподалеку от острова Кирки, однако останки одной из них были найдены в Кампанье. Звали ее Пантеопа, что дало имя знаменитому городу (ныне — Неаполь). Географ Страбон был на ее могиле и описал гимнастические игры и бег с факелами, которые время от времени устраивали в ее честь. «Одиссея» утверждает, что сирены завлекали и губили своим пением моряков. Поэтому Улисс, желая услышать их песню и вместе с тем остаться в живых, залепил воском уши гребцов, а себя велел привязать к мачте крепкой веревкой. Искушая Улисса, сирены сулили ему знание обо всем на свете:

«Здесь ни один не проходит с своим кораблем мореходец, Сердцеусладного пеня на нашем луту не послушав; Кто же нас слышал, тот

да: «Such bodies garlanded with gold, so faint, so fair»¹; и, споря с ними, Орфей воспевает надежные земные удачи. А сирены — бескрайнее подводное небо, «roofed over by the changeful sea» — «под кровлею изменчивого моря», как повторил бы две с половиной тысячи — или только пятьдесят? — лет спустя Поль Валери. Сирены поют, и толика их угрожающих чар незаметно закрадывается в целительную песнь Орфея. Аргonautы минуют опасный участок, но уже на порядочном отдалении от острова, когда состязание позади, высокий афинянин, метнувшись между рядами гребцов, внезапно бросается в море.

Перейду теперь к другому примеру — к «Narrative of A. Gordon Pym»² (1838) Эдгара По. Тайный двигатель романа — чувство омерзения и страха перед всем белым. По выдумывает некие племена, живущие у Южного Полярного круга, рядом с бескрайней родиной этого цвета, и много лет назад подвергшиеся ужасному нашествию белокожих людей и снежных буранов. Все белое — проклятие для этих племен, а также (вплоть

в дом возвращается, многое сведав. Знаем мы все, что случилось в троянской земле и какая Участь по воле бессмертных постигла троян и ахейя; Знаем мы все, что на лоне земли многодарной творится».

(Одиссея, XII)

Одно из преданий, собранных мифологом Аполлодором в его «Библиотеке», гласит, что Орфей, плывший на корабле аргonautов, спел настолько слаще сирен, что они бросились в море и обратились в скалы; повинувшись собственному закону, сирены должны были погибнуть, если кто-то оставался неподвластным их чарам. Напомним, что и сфинкс кинулся в пропасть, когда его загадку разгадали.

В VI веке на севере Уэльса местные жители поймали сирену и окрестили ее. Под именем Мурган она упоминается в старинных сборниках как святая. Другая в 1403 году проскользнула сквозь брешь в плотине, попала в Харлем и прожила там до своей смерти. Никто ее не понимал, однако она выучилась пряхть и, словно по наитию, поклонялась кресту. Хронист XVI века решил, что это была не рыба, а иначе она не научилась бы пряхть, но и не женщина, поскольку могла жить в воде.

Английский язык различает классических сирен (Siren) и сирен с рыбьим хвостом (mermaids). Последних описывают по аналогии с тритонами, божествами из свиты Посейдона.

В десятой книге «Республики» восемь сирен ведают вращением восьми небесных сфер.

«Сирена — вымышленное морское животное», — гласит зоологический словарь.

¹ «Эти тела, украшенные чистым и нежным золотом» (англ.).

² «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (англ.).

до последней главы) и для вдумчивого читателя. В книге Два сюжета: один — непосредственный — отдан морским приключениям, другой — неотвратимый, скрытый, нарастающий — проясняется только в конце. Кажется, Малларме заметил: «Назвать какой-то предмет значит уничтожить три четверти удовольствия от поэмы, основанного на счастье угадывать. Его прообраз — сон». Сомневаюсь, чтобы столь разборчивый в словах поэт действительно настаивал на этих безответственных трех четвертях. Сама идея, однако, вполне в его духе и блистательно разворачивается в описании заката:

«Victorieusement fut le suicide beau,
Tison de gloire, sang par écume, or, tempête!»¹

несомненно навеянном «Narrative of A. Gordon Pym». Сама безличность белого — в духе Малларме. Думаю, По предпочитал этот цвет из тех же интуитивных соображений, которые Мелвилл позднее приводит в главе «The whiteness of the whale»² своего великого сновидения «Моби Дик». Разумеется, пересказать или проанализировать весь роман возможности нет. Сошлюсь лишь на одну существенную деталь, подчиненную, как и остальные, упомянутому тайному сюжету. Я имею в виду темнокожих дикарей и речки населяемого ими острова. Сказать, что вода в них была розовой или голубой, значило резко снизить вероятность какого-либо намека на белизну. Обогащая наше восприятие, По решает эту задачу так: «Сначала мы отказались ее попробовать, предположив, что она загрязнена. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, она не казалась прозрачной, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. На ровном месте она по плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь не была бесцветной, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как пере-

¹ Самоубийца был победоносно прекрасен,

Словно пылающий уголек славы, пенящаяся кровь, золото, буря!

(фр.).

² «О белизне кита» (англ.).

ливаются тона у шелка. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различных струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, и что они не смешивались. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сошлись, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга и сливались вместе лишь спустя некоторое время».

Из сказанного ясно, что основная задача романа — построение причинной связи. Одна из разновидностей жанра — неповоротливый роман характеров — включает или намеревается включить в сюжет такое сочетание причин и следствий, которое в принципе не должно отличаться от реального. Но это отнюдь не закономерность. Такого рода мотивировки совершенно неуместны в приключенческом романе, как, впрочем, и в коротком рассказе или в бесконечных голливудских кинороманах с их посребренными *idola*¹ в исполнении Джоан Кроуфорд, которыми после просмотра зачитываются обыватели. Тут правит совсем иной, однозначный и древний порядок — первозданная ясность магии.

Все магические процедуры или претензии первобытных людей Фрезер подвел под общий закон симпатии, которая предполагает неразрывные связи между далекими друг от друга вещами (либо в силу их внешнего сходства — и тогда это подражательная, или гомеопатическая, магия, либо в силу их прежней пространственной близости — тогда это магия заразительная). Образец последней — целительный бальзам Кенельма Дигби, которым смазывали не рану, а нанесшую ее преступную сталь; рана же, понятно, зарубцовывалась сама собой, безо всякой варварской медицины. Примеры первой — бесчисленны. Так, индейцы Небраски надевают хрусткие бизоньи шкуры, а после денно и нощно отплясывают в прерии бешеный танец, вызывая этим бизонов. Колдуны Центральной Австралии глубоко ранят себя в предплечье, чтобы по сходству и небо изошло обильным, наподобие крови, дождем. Полуостровные малайцы подвергают унижениям и пыткам фигурки из воска, чтобы покарать изображения врагов.

¹ Идолы (лат.).

Бесплодные женщины, желая придать своим чреслам способность плодоносить, баюкают и наряжают деревянных кукол. По принципу аналогии имбирный корень считается надежным средством от желтухи, а настой крапивы успешно лечит крапивную лихорадку. Исчерпать все эти ужасные и в то же время смешные примеры не хватит ни сил, ни времени. Но, думаю, я привел их достаточно, чтобы утверждать: магия — это венец и кошмар причинности, а не отрицание ее. Чудо в подобном мире — такой же редкий гость, как и во вселенной астрономов. Им управляют законы природы плюс воображение. Для суеверного есть несомненная связь не только между убитым и выстрелом, но также между убитым и расплюсченной фигуркой из воска, просыпанной солью, расколотым зеркалом, чертовой дюжиной сотрапезников.

Та же угрожающая гармония, та же неизбежная и неистовая причинность правит и романом. Мавританские историки, по чьим образцам доктор Хосе Антонио Конде писал свою «Историю арабского владычества в Испании», никогда не говорили, что такой-то правитель или калиф умер. Нет, он «удостоился высших почестей», «заслужил милосердие Всемогущего» или «дождался свершения своей судьбы через столько-то лет, лун и дней». Надеяться, что грозного события избежишь его замалчиванием в реальном хаосе азиатского мира, глупо и бесполезно. Другое дело, в романе, который как раз обречен быть обдуманной игрой намеков, параллелей и отголосков. В мастерском повествовании любой эпизод отбрасывает тень в будущее. Так, в фантазмагории Честертона один незнакомец бросается на другого, чтобы не попасть под грузовик. Это неизбежное, хотя и угрожающее жизни, насилие предвещает финальный поступок героя — объявить себя сумасшедшим, чтобы избежать казни за совершенное преступление. В другой его фантазмагории широкий и опасный заговор, который единственный человек разыграл, используя накладные бороды, маски и псевдонимы, со зловещей точностью предвосхищается таким двустушием:

As all stars shrivel in the single sun,
The words are many, but The Word is one ¹.

¹ И все звезды потускнели при свете одного солнца, Слов много, но Слово лишь одно (англ.).

Впоследствии оно, с перестановкой больших букв, расшифровывается так:

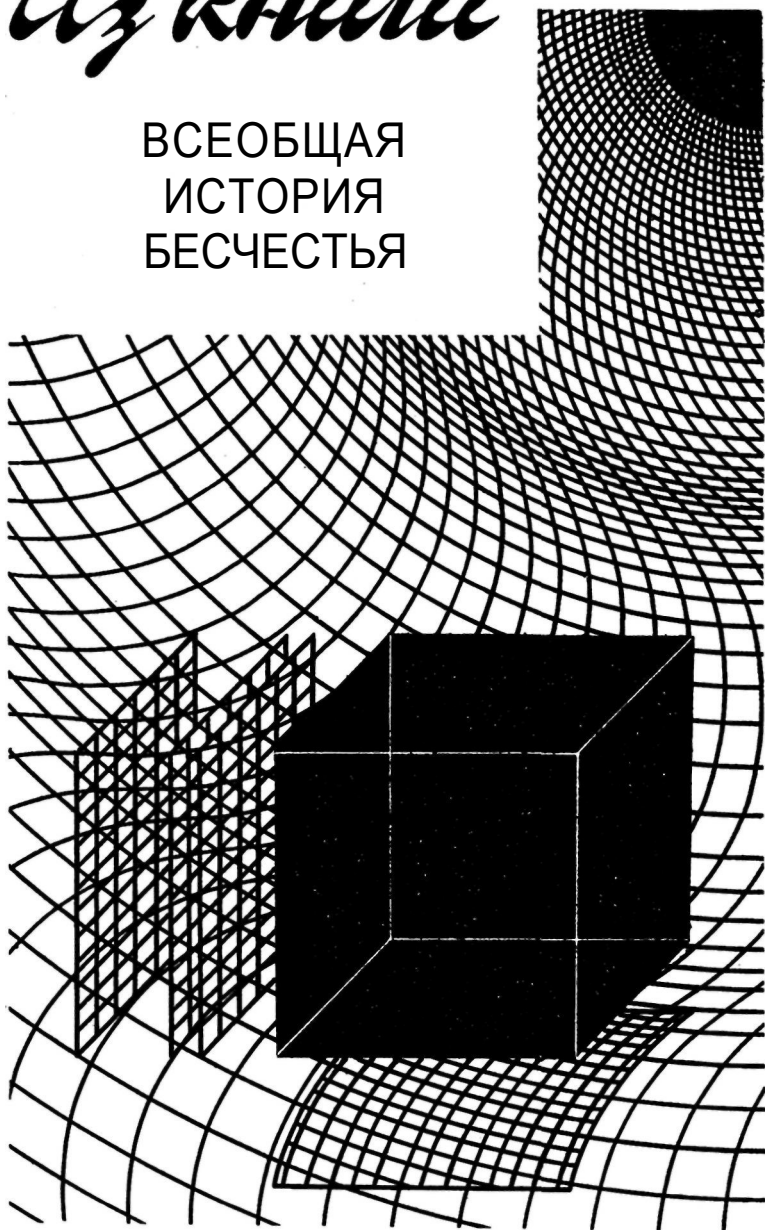
The words are many, but the word is One.

Исходный «набросок» третьей — простое упоминание об индейце, бросившем нож во врага и убившем его на расстоянии, предвосхищает и необычный ход основного сюжета: человек на вершине башни в упор закалывает своего ближайшего друга стрелой. Летящий нож, закалывающая стрела... У слов долгое эхо. Однажды я уже говорил, что первое же упоминание театральных кулис заранее делает картины утренней зари, пампы и сумерек, которыми Эстанислао дель Кампо прослоил своего «Фауста», призрачными и нереальными. Такой же телеологией слов и сцен пронизаны хорошие фильмы. В начале картины «С раскрытыми картами» («The Showdown») несколько мошенников разыгрывают в карты свою очередь спать с проституткой — в конце один из них ставит на карту любимую женщину. «Воровской закон» открывается разговором о доносе, а первая сцена представляет собой уличную перестрелку. Позднее выясняется, что именно эти мотивы предсказывают главный сюжет фильма. Фильм, называвшийся на наших экранах «Судьба» («Dishonored»), весь построен на повторяющихся мотивах клинка, поцелуя, kota, предательства, винограда, пианино. Но лучший пример самодовлеющего мира примет, переключек и знамений — это, конечно, фатальный «Улисс» Джойса, достаточно обратиться к комментариям Гилберта или, за их отсутствием, к самому головокружительному роману.

Подведем итоги. Я предложил различать два вида причинно-следственных связей. Первый — естественный: он — результат бесконечного множества случайностей; второй — магический, ограниченный и прозрачный, где каждая деталь — это предзнаменование. В романе, по-моему, допустим только второй. Первый оставим симулянтам от психологии.

Из книги

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
БЕСЧЕСТЬЯ





ХАКИМ ИЗ МЕРВА,
КРАСИЛЬЩИК
В МАСКЕ

*Посвящается
Анхелике Окампо*



Если не ошибаюсь, первоисточники сведений об Аль Моканне, Пророке Под Покрывалом (или, точнее, В Маске) из Хорасана, сводятся к четырем: а) краткое изложение «Истории Халифов», сохраненной в таком виде, Балазури; б) «Учебник Гиганта, или Книга Точности и обозрения» официального историографа Аббасидов, Ибн Аби Тахира Тайфура; в) арабская рукопись, озаглавленная «Уничтожение Розы», где опровергаются чудовищные еретические положения «Темной Розы», или «Сокровенной Розы», которая была канонической книгой Пророка; г) несколько монет без всяких изображений, найденных инженером

Андрусовым при прокладке Транскаспийской железной дороги. Монеты были переданы в нумизматический кабинет в Тегеране, на них начертаны персидские двустишия, резюмирующие или исправляющие некоторые пассажи из «Уничтожения». Оригинал «Розы» утерян, поскольку рукопись, обнаруженная в 1899 году и довольно легкомысленно опубликованная в «Morgenlandisches Archiv»¹, была объявлена апокрифической сперва Хорном, затем сэром Перси Сайксом.

Слава Пророка на Западе создана многословной поэмой Мура, полной томлений и вздохов ирландского заговорщика.

Пурпур

Хаким, которому люди того времени и того пространства дадут впоследствии прозвище Пророк Под Покрывалом, появился на свет в Туркестане в 120 году Хиджры и 736 году Креста. Родиной его был древний город Мерв, чьи сады и виноградники и луга уныло глядят на пустыню. Полдни там белесые и слепящие, если только их не омрачают тучи пыли, от которых люди задыхаются, а на черные гроздья винограда ложится беловатый налет.

Хаким рос в этом угасавшем городе. Нам известно, что брат его отца обучил его ремеслу красильщика, искусству нечестивцев, поддельвателей и непостоянных, и оно вдохновило первые проклятия его еретического пути. «Лицо мое из золота (заявляет он на одной знаменитой странице «Уничтожения»), но я размачивал пурпур, и на вторую ночь окунал в него нечесаную шерсть, и на третью ночь пропитывал им шерсть расчесанную, и повелители островов до сих пор спорят из-за этих кровавых одежд. Так я грешил в годы юности и извращал подлинные цвета тварей. Ангел говорил мне, что бараны отличаются цветом от тигров, но Сатана говорил мне, что Владыке угодно, чтобы бараны стали подобны тиграм, и он пользовался моей хитростью и мо-

¹ «Восточный архив» (нем.).

им пурпуром. Ныне я знаю, что и Ангел и Сатана заблуждались и что всякий цвет отвратителен».

В 146 году Хиджры Хаким исчез из родного города. В его доме нашли разбитые котлы и красильные чаны, а также ширазский ятаган и бронзовое зеркало.

Бык

В конце месяца шаабана 158 года воздух пустыни был чист и прозрачен, и люди глядели на запад, высматривая луну рамадана, оповещающую о начале умерщвления плоти и поста. То были рабы, нищие, барышники, похитители верблюдов и мясники. Чинно сидя на земле у ворот караван-сарая на дороге в Мерв, они ждали знака небес. Они глядели на запад, и цвет неба в той стороне был подобен цвету песка.

И они увидели, как из умопомрачительных недр пустыни (чье солнце вызывает лихорадку, а луна — судороги) появились три фигуры, показавшиеся им необычно высокого роста. Все три были фигурами человеческими, но у шедшей посредине была голова быка. Когда фигуры приблизились, те, кто остановился в караван-сараях, разглядели, что на лице у среднего ма-ска, а двое других — слепые.

Некто (как в сказках 1001-й ночи) спросил о причине этого странного явления. «Они слепые, — отвечал человек в маске, — потому что увидели мое лицо».

Леопард

Хронист Аббасидов сообщает, что человек, появившийся в пустыне (голос которого был необычно нежен или показался таким по контрасту с грубой маской скота), сказал — они здесь ждут, мол, знака для начала одного месяца покаяния, но он принес им лучшую весть: вся их жизнь будет покаянием, и умрут они позорной смертью. Он сказал, что он Хаким, сын Османа, и что в 146 году Переселения в его дом вошел человек, который, совершив омовение и помолясь, отсек ему голову ятаганом и унес ее на небо. Покоясь на правой ладони того человека (а им был архангел Гав-

риил), голова его была явлена Господу, который дал ей наказ пророчествовать, и вложил в нее слова столь древние, что они сжигали повторявшие их уста, и наделил ее райским сиянием, непереносимым для смертных глаз. Таково было объяснение Маски. Когда все люди на земле признают новое учение, Лик будет им открыт, и они смогут поклоняться ему, не опасаясь ослепнуть, как ему уже поклонялись ангелы. Возвестив о своем посланничестве, Хаким призвал их к священной войне — «джихаду» — и к мученической гибели.

Рабы, попрошайки, барышники, похитители верблюдов и мясники отказались ему верить; кто-то крикнул: «Колдун!», другой — «Обманщик!»

Один из постояльцев вез с собою леопарда — возможно, из той поджарой, кровожадной породы, которую выращивают персидские охотники. Достоверно известно, что леопард вырвался из клетки. Кроме пророка в маске и двух его спутников, все прочие кинулись бежать. Когда вернулись, оказалось, что зверь ослеп. Видя блестящие, мертвые глаза хищника, люди упали к ногам Хакима и признали его сверхъестественную силу.

Пророк под покрывалом

Официальный историограф Аббасидов без большого энтузиазма повествует об успехах Хакима Под Покрывалом в Хорасане. Эта провинция — находившаяся в сильном волнении из-за неудач и гибели на кресте ее самого прославленного вождя — с пылкостью отчаяния признала учение Сияющего Лика и не пожалела для него своей крови и своего золота. (Уже тогда Хаким сменил бычью маску на четырехслойное покрывало белого шелка, расшитое драгоценными камнями. Эмблематичным цветом владык из дома Бану Аббаса был черный. Хаким избрал себе белый — как раз противоположный — для Защитного Покрывала, знамен и тюрбанов.) Кампания началась успешно. Правда, в «Книге Точности» знамена Халифа всегда и везде побеждают, но, так как наиболее частым следствием этих побед бывали смещения генералов и уход из неприступных крепостей, разумный читатель знает, как это надо понимать. В конце месяца раджаба 161 года славный город Нишапур открыл свои железные ворота

Пророку В Маске; в начале 162 года так же поступил город Астарабад. Участие Хакима в сражениях (как и другого, более удачливого Пророка) сводилось к пению тенором молитв, возносимых к Божеству с хребта рыжего верблюда в самой гуще схватки. Вокруг него свистели стрелы, но ни одна не поранила. Казалось, он ищет опасности — как-то ночью, когда возле его дворца бродило несколько отвратительных прокаженных, он приказал ввести их, расцеловал и одарил серебром и золотом.

Труды правления он препоручал шести-семи своим приверженцам. Сам же питал склонность к размышлениям и покою; гарем из 114 слепых женщин предназначался для удовлетворения нужд его божественного тела.

Жуткие зеркала

Ислам всегда относился терпимо к появлению доверенных избранников Бога, как бы ни были они нескромны или свирепы, только бы их слова не задевали ортодоксальную веру. Наш пророк, возможно, не отказался бы от выгод, связанных с таким пренебрежительным отношением, однако его приверженцы, его победы и открытый гнев Халифа — им тогда был Мухаммед аль Махди — вынудили его к явной ереси. Инакомыслие его погубило, но он все же успел изложить основы своей особой религии, хотя и с очевидными заимствованиями из гностической предыстории.

В начале космогонии Хакима стоит некий призрачный Бог. Его божественная сущность величественно обходится без родословной, а также без имени и облика. Это Бог неизменный, однако от него произошли девять теней, которые, уже снизойдя до действия, населили и возглавили первое небо. Из этого первого демиургического венца произошел второй, тоже с ангелами, силами и престолами, и те в свою очередь основали другое небо, находящееся ниже, симметрическое подобие изначального. Это второе святое сборище было отражено в третьем, а то — в находящемся еще ниже, и так до 999. Управляет ими владыка изначального неба — тень теней других теней, — и дробь его божественности тяготеет к нулю.

Земля, на которой мы живем, — это просто ошибка, неумелая пародия. Зеркала и деторождение отвратитель-

ны, ибо умножают и укрепляют эту ошибку. Основная добродетель — отвращение. К нему нас могут привести два пути (тут пророк предоставлял свободный выбор): воздержание или разнузданность, ублажение плоти или целомудрие.

Рай и ад у Хакима были не менее безотрадны. «Тем, кто отвергает Слово, тем, кто отвергает Драгоценное Покрывало и Лик (гласит сохранившееся проклятие из «Сокровенной Розы»), тем обещаю я дивный Ад, ибо каждый из них будет царствовать над 999 царствами огня, и в каждом царстве 999 огненных гор, и на каждой горе 999 огненных башен, и в каждой башне 999 огненных покоев, и в каждом покое 999 огненных лож, и на каждом ложе будет возлежать он, и 999 огненных фигур (с его лицом и его голосом) будут его мучить вечно». В другом месте он это подтверждает: «В этой жизни вы терпите муки одного тела; но в духе и в воздаянии — в бесчисленных телах». Рай описан менее конкретно: «Там всегда темно и повсюду каменные чаши со святой водой, и блаженство этого рая — это особое блаженство расставаний, отречения и тех, кто спит».

Лицо

В 163 году Переселения и пятом году Сияющего Лица Хаким был осажден в Санаме войском Халифа. В провизии и в мучениках недостатка не было, вдобавок ожидалась скорая подмога сонма ангелов света. Внезапно по осажденной крепости пронесся страшный слух. Говорили, что, когда одну из женщин гарема евнухи должны были удушить петлею за прелюбодеяние, она закричала, будто на правой руке пророка нет безымянного пальца, а на остальных пальцах нет ногтей. Слух быстро распространился среди верных. На высокой террасе, при ярком солнце Хаким просил свое божество о победе или о знамении. Пригнув головы — словно бежали против дождевых струй, — к нему угодливо приблизились два его военачальника — и сорвали с него расшитое драгоценными камнями Покрывало.

Сперва все содрогнулись. Пресловутый лик Апостола, лик, который побывал на небесах, действительно поражал белизною — особой белизною пятнистой про-

казы. Он был настолько одутловат и неправдоподобен, что казался маской. Бровей не было, нижнее веко правого глаза отвисало на старчески дряблую щеку, тяжелая бугорчатая гроздь изъела губы, нос был нечеловечески разбухший и приплюснутый, как у льва.

Последней попыткой обмана был вопль Хакима: «Ваши мерзкие грехи не дают вам узреть мое сияние...» — начал он.

Его не стали слушать и пронзили копьями.

МУЖЧИНА ИЗ РОЗОВОГО КАФЕ

Энрике Амориму

Вы, значит, хотите узнать о покойном Франсиско Реле. Давно это было. Столкнулся я с ним не в его округе — он ведь обычно шатался на Севере, там, где озеро Гуадалупе и Батерия. Всего раза три мы с ним встретились, да и то одной ночью, но ту ночь мне вовек не забыть, потому как тогда в мое ранчо, ко мне, пришла Луханера, а Росендо Хуарес навеки покинул Аррожо. Ясное дело, откуда вам знать это имя, но Росендо Хуарес по прозвищу Грешник был верховодом в нашем селении Санта-Рита. Он заправски владел ножом и был из парней дона Николаса Паредеса, который служил Морелю. Умел щегольнуть в киломбо¹, заявляясь туда на своем вороном в сбруе, украшенной серебряными бляхами. Мужчины и собаки его уважали, и женщины тоже. Все знали, что на его счету двое убитых. Носил он на своей сальной гриве высокую шляпу с узенькими полями. Судьба его, как говорится, баловала. Мы, парни из этого пригорода, души в нем не чаяли, даже сплевывали, как он, сквозь зубы. И вот одна-единственная ночь показала, каков Росендо на деле.

Поверьте мне, все затеялось в ту жуткую ночь с приезда чертова, битком набитого людьми фургона с красными колесами. Он то и дело застревал на наших немощеных улочках между печами с чернеющими дырами для обжига глины. Двое в черном как сумасшедшие брэнчали на гитарах, парень, развалившийся на козлах, кнутом хлестал собак, брехавших на коня; а по-

¹ Публичный дом (*исп. arg.*).

середине сидел безмолвный человек, закутавшись в темное пончо. Это был Резатель, все его знали, и ехал он драться и убивать. Ночь была свежая, словно благословение божие. Двое других приезжих тихо лежали сзади, на скатанном тенте фургона, словно бы одиночество вслед тащилось за балаганом. Таково первое событие из всех, нас ожидавших, но про то мы узнали позже. Местные парни уже давно топтались в салоне Хулии — большом цинковом бараке, что на развилке дороги Гауны и реки Мальдонадо. Заведение это всякий мог издали приметить по свету, который отбрасывал бесстыжий фонарь, да и по шуму тоже. Хотя дело было поставлено скромно, Хулия — хозяйка усердная и услужливая — устраивала танцы с музыкой, спиртным угощала, и все девушки танцевали ладно и лихо. Но Луханера, принадлежавшая Росендо Хуаресу, не шла ни в какое сравнение. Она уже умерла, сеньор, и, бывает, годами я о ней не думаю, но надо было видеть ее в свое время — одни глаза чего стоили. Увидишь — и не уснешь.

Канья ¹, милонга ², женщины, ободряюще бранное слово Росендо, его хлопок по плечу, который мне хотелось считать похвалой, — в общем, я был счастлив сверх меры. Подруга в танцах попала мне чуткая — угадывала каждое мое движение. Танго делало с нами все, что хотело, — и подстегивало, и пьянило, и вело за собой, и отпускало, и опять захватывало. Всех кружило веселье, ровно как хмель, но в какой-то миг мне почудилось, будто музыка стала громче — это к ней примешались звуки гитар с фургона, который подкатывал ближе. Тут ветер, донесший брэнчанье, утих, и я опять подчинился приказам танца, и своего тела, и тела своей подруги. Однако вскоре раздался сильный стук в дверь, и властный голос велел открыть. Потом тишина, грохот распахнутой двери — и вот человек уже в помещении. Человек походил на свой голос.

Для нас он пока еще был не Франсиско Реаль, а высокий и крепкий парень, весь в черном, со светло-коричневым шарфом через плечо. Остроскулым лицом своим, помнится, смахивал на индейца.

Когда дверь распахнулась, она меня стукнула. Я опешил и тут же невольно хватил его левой рукой по ли-

¹ Водка из сахарного тростника.

² Аргентинский танец.

цу, а правой взялся за нож, спрятанный слева, в разрезе жилета. Но недолго я воевал. Пришелец сразу дал всем понять, что он малый не промах: вмиг выбросил руки вперед и откинул меня, как щенка, который путается под ногами. Я так и остался сидеть, засунув руку в жилет, сжав рукоятку ненужного оружия. А он пошел как ни в чем не бывало дальше. Шел, и был выше всех тех, кого отстранял и кого словно бы и не видел. Сначала-то первые — сплошь итальянцы-раззявы — веером перед ним раздавались. Так было сначала. А в следующей группе уже наготове стоял Англичанин, и раньше, чем чужак его оттолкнул, он плашмя ударил того клинком. Стоило видеть этот удар, тут и все распустили руки. Заведение было несколько вар в длину, и чужака прогоняли словно сквозь строй из конца в конец — били, плевали, свистели. Поначалу пинали ногами, потом, видя, что сдачи он не дает, стали просто шлепать ладонью или похлестывать шарфом, словно бы издеваясь над ним. И еще словно бы сохраняя его для Росендо, который меж тем не трогался с места и молча стоял, привалившись спиной к задней стенке барака. Он спешно затягивался сигаретой, будто уже видел то, что открылось нам позже. Резатель, окровавленный, но как бы окаменелый, был вынесен к нему волнами шутейной потасовки. Освистанный, исхлестанный, заплеванной, он начал говорить только тогда, когда узрел перед собой Росендо. Уставился на него, отер лицо рукой и сказал:

— Я — Франсиско Реаль, пришел с Севера. Я — Франсиско Реаль по прозвищу Резатель. Мне не до этих заморышей, задиравших меня, — мне надо найти мужчину. Ходят слухи, что в ваших краях есть отважный боец на ножах, душегуб, и зовут его люди Грешник. Я хочу повстречаться с ним да просить показать мне, безрукому, что такое смельчак и герой.

Так он сказал, не спуская глаз с Росендо Хуареса. Теперь в его правой руке сверкал большой нож, который он, наверное, хоронил в рукаве. Те, кто гнал его, отступили и стали вокруг, и все мы глядели в полном молчании на них обоих. Даже морда слепого мулата, пилившего скрипку, застыла в тревоге.

Тут я слышу, сзади задвигались люди, и вижу в проеме двери шесть или семь человек — людей Резателя. Самый старый, с виду крестьянин, с седыми усами и словно дубленой кожей, шагнул ближе и вдруг

засмутился, увидав столько женщин и столько света, и уважительно скинул шляпу. Другие настороженно ждали, готовые влезть в драку, если игра будет нечистой.

Что же между тем случилось с Росендо, почему он не бьет, не пинает этого наглого задаваку? А он все молчал, не поднимая глаз на того. Сигарету, не знаю, то ли он сплюнул, то ли она сама от губ отвалилась. Наконец выдавил несколько слов, но так тихо, что в другой стороне барака никто не расслышал, о чем была речь. Франсиско Реаль его задирает, а он отговаривался. Тут мальчишка — из чужаков — засвистел. Луханера зло на него поглядела, тряхнула косами и двинулась сквозь гущу девушек и гостей; она шла к своему мужчине, и сунула руку ему за пазуху, и вынула нож, и подала ему со словами:

— Росендо, я верю, ты живо его усмиришь.

Под потолком вместо оконца была широкая длинная щель, глядевшая прямо на реку. В обе руки принял Росендо нож и осмотрел его, словно бы не узнал. Вдруг распрямылся, подался назад, и нож вылетел в щель наружу и затерялся в реке Мальдонадо. Меня точно холодной водой окатили.

— Мне противно тебя потрошить, — сказал Резатель и замахнулся, чтобы ударить Росендо. Но Луханера его удержала, закинула руки ему за шею, глянула на него колдовскими своими глазами и с гневом сказала:

— Оставь ты его, он не мужчина, он всех нас обманывал.

Франсиско Реаль замер, помешкал, а потом обнял ее — ровно как навеки — и велел музыкантам играть милонгу и танго, а всем остальным — танцевать. Милонга что пламя степного пожара охватила барак, от одного конца до другого. Реаль танцевал старательно, но без всякого пыла — ведь ее он уже получил. Когда они оказались у двери, он крикнул:

— Шире круг, веселее, сеньоры, она пляшет только со мной!

Сказал, и они вышли, щека к щеке, словно бы опьянев от танго, словно бы танго их одурманило.

Меня кинуло в жар от стыда. Я сделал пару кругов с какой-то девчонкой и бросил ее. Наплел, что мне душно неважно, и стал пробираться вдоль стенки к выходу. Хороша эта ночка, да для кого? На углу улицы стоял пустой фургон с двумя гитарами-сиротами на козлах. Взгрустнулось мне при виде их, заброшенных,

будто и сами мы ни к черту не годимся. И злость взяла при мысли, что нас считают подонками. Схватил я гвоздику, заложенную за ухо, швырнул ее в лужу и смотрел на нее с минуту, чтобы ни о чем не думать. Мне хотелось бы оказаться уже в завтрашнем дне, хотелось выбраться из этой ночи. Тут кто-то задел меня локтем, а мне от этого даже легче стало. То был Росендо; он один уходил из поселка.

— Всегда под ноги лезешь, мерзавец, — ругнул он меня мимоходом; не знаю, душу себе облегчить захотел или просто так. Он направился в самую темень, к реке Мальдонадо. Больше я его никогда не видел.

Я стоял и смотрел на то, что было всей моей жизнью, — на небо, огромное, дальше некуда; на речку, бьющуюся там, внизу, в одиночку; на спящую лошадь, на твердую землю улицы и на печки для обжига глины — и подумалось мне: видно, и я из той сорной травы, что разрослась на свалке меж старых костей вместе с «жабым цветком». Да и что могло вырасти в этой грязи, кроме нас, пустозвонов, робеющих перед сильным. Горлодеры и забияки, всего-то. И тут же подумал: нет, чем больше мордуют наших, тем мужественнее надо быть. Мы — грязь? Так пусть кружит милонга и дурманит спиртное, а ветер несет запах жимолости. Напрасно была эта ночь хороша. Звезд наверху насеяно — не сосчитать, одни над другими; голова шла кругом. Я старался утешить себя, говоря, что происшедшее никакого касательства ко мне не имеет, но трусливость Росендо и нестерпимая смелость чужака слишком сильно задели меня за живое. Даже лучшую женщину смог на ночь с собой увести долговязый. На эту ночь и на многие, а может быть, и на веки вечные, потому как Луханера — дело серьезное. Бог знает, куда они делись. Далеко уйти не могли. Видно, милуются в ближайшем овраге.

Когда я наконец возвратился, все танцевали как ни в чем не бывало.

Проскользнув незаметно в барак, я смешался с толпой. Потом увидал, что многие наши исчезли, а пришельцы танцуют танго рядом с теми, кто еще оставался. Никто никого не трогал и не толкал, но все были настороже, хотя и соблюдали приличия. Музыка словно дремала, а женщины лениво и нехотя двигались в танго с чужими.

Я ожидал событий, но не таких, какие случились.

Вдруг слышим, снаружи рыдает женщина, а потом голос, который мы уже знали, но очень спокойный, даже слишком спокойный, будто какой-то потусторонний, ей говорит:

— Входи, входи, дочка, — а в ответ снова рыдание. Тогда голос стал злым: — Отворяй, говорю тебе, подла девка, отворяй, сука!

Тут дверь боязливо открылась и вошла Луханера, одна. Вошла спотыкаясь, будто кто-то ее подгонял.

— Ее подгоняет чья-то душа, — сказал Англичанин.

— Нет, дружище, покойник, — ответил Резатель. Лицо у него было словно у пьяного. Он вошел, и мы расступились, как раньше; сделал, качаясь, три шага — высокий и будто слепой — и бревном повалился на землю. Кто-то из его приятелей положил его на спину, а под голову сунул скаток из шарфа и при этом измазался кровью. Тут мы увидали, что у Резателя рана в груди; кровь запеклась, и пунцовый разрез почернел, чего я вначале и не заметил, так как его прикрывал темный шарф. Для перевязки одна из женщин принесла крепкую каню и жженые тряпки. Человек не в силах был говорить. Луханера, опустив руки, уставилась на умирающего сама не своя. Все вопрошали друг друга глазами и ответа не находили, и тогда она наконец сказала: мол, как они вышли с Резателем, так сразу отправились в поле, а тут словно с неба свалился какой-то парень, и полез как безумный в драку, и ножом нанес ему эту рану, и что она готова поклясться, что не знает, кто это был, но это был не Росендо. Да кто ей поверил?

Мужчина у наших ног умирал. Я подумал: нет, не дрогнула рука у того, кто проткнул ему грудь. Но мужчина был стойким. Как только он грохнулся оземь, Хулия заварила мате¹, и мате пошел по кругу, и, когда наконец мне достался глоток, человек еще жил. «Лицо мне закройте», — сказал он тихо, потому как силы его уже истощились. Осталась одна только гордость, и не мог он стерпеть такого, чтобы люди глазели на предсмертные судороги. Ему на лицо положили черную шляпу с высокой тульей. Он умер под шляпой, без сто-на. Когда грудь перестала вздыматься, люди осмелились открыть лицо. Выражение было усталое, как у всех

¹ Название «парагвайского чая» (йерба мате), а также сосуда, где его заваривают.

мертвецов. Он был один из самых храбрых мужчин, какие были тогда, от Батерии на Севере до самого Юга. Как только я убедился, что он мертвый и бессловесный, я перестал его ненавидеть.

— Живем для того, чтобы потом умереть, — сказала женщина из толпы, а другая задумчиво прибавила:

— Был настоящий мужчина, а теперь нужен одним только мухам.

Тут чужаки пошептались между собой, и двое крикнули в один голос:

— Его убила женщина!

Кто-то рывкнул ей прямо в лицо, что это она, и все ее окружили. Я позабыл, что мне надо остерегаться, и молнией ринулся к ней. Сам опешил и людей удивил. Почувствовал, что на меня смотрят многие, если не сказать все. И тогда я насмешливо крикнул:

— Да поглядите на ее руки. Хватит ли у нее сил да духа всадить в человека нож!

И добавил с таким ухарством:

— Кому в голову-то взбредет, что покойник, который, говорят, сам убивал у себя в поселке, найдет смерть, да такую лютую, в наших дохлых местах, где ничего не случается, если не кончил его неизвестно кто и неизвестно откуда взявшийся, чтобы нас позабавить, а потом уйти восвояси?

Эта байка пришлась всем по вкусу.

А меж тем в тишине мы услышали цокот конских копыт. Приближалась полиция. У всех были свои причины — у кого большие, у кого меньшие — не вступать с ней в лишние разговоры, и потому порешили, что самое лучшее — выбросить мертвое тело в речку. Помните вы ту длинную прорезь вверх, в которую вылетел нож? Через нее ушел и мужчина в черном. Его подняло множество рук, и от мелких монет и от крупных бумажек его избавили эти же руки, а кто-то отрубил ему палец, чтобы взять перстень. Досталось им, сеньор, вознаграждение от сирого бедняги-упокойника, после того как его кончил другой — мужчина еще почище. Один мощный бросок, и его приняли бурные, все повывавшие воды. Не знаю, хватило ли времени вытащить из него кишки, чтобы он не всплыл, — я старался не глядеть на него. Старик с седыми усами не сводил с меня глаз. Луханера воспользовалась суетой и сбежала.

Когда сунули к нам нос представители власти, все опять танцевали. Незрячий скрипач заиграл хабанеры, каких теперь не услышишь. На небесах занималась заря. Столбики из ньяндубая вокруг загонов одиноко маячили на косогоре, потому как тонкая проволока между ними не различалась в рассветную пору.

Я спокойно пошел в свое ранчо, стоявшее неподалеку. Вдруг вижу: в окне огонек, который тут же погас. Ей-богу, как понял я, кто меня ждет, ног под собой не почуял. И вот, Борхес, тогда-то я снова вытащил острый короткий нож, который прятал вот здесь, под левой рукой, в жилете, и опять его осмотрел, и был он как новенький, чистый, без единого пятнышка крови.

СМЕРТЬ БОГОСЛОВА

Ангелы уведомили меня, что когда Меланхтон скончался, ему в мире ином предоставили дом совсем такой, как на земле. (Так бывает почти со всеми, пожаловавшими в вечность, и поэтому они не считают себя мертвыми.) Обстановка тоже была такая же: стол обеденный, письменный стол с выдвижными ящиками, книги. Когда Меланхтон очнулся в этом месте, он взялся за свои литературные труды так, словно он и не покойник, и за несколько дней написал об оправдании верой. По обыкновению он ни словом не обмолвился о милосердии. Ангелы заметили упущение и послали к нему спросить об этом. Меланхтон сказал посланцам: «Я неопровержимо доказал, что можно обойтись без милосердия и чтобы попасть на небо, достаточно верить». Говорил он это надменно, а сам не знал, что уже мертв и место его вовсе не на небе. Когда ангелы услышали эти слова, они его оставили.

Спустя несколько недель вся обстановка, за исключением кресла, стола, стопки бумаги и чернильницы, начала истаявать и в конце концов сделалась невидимой. Кроме того, на стенах жилища проступили пятна сырости, пол украсился желтыми разводами. Одежда тоже стала проще и грубее. А так как он продолжал писать и настаивать на ненужности милосердия, то его поместили в подземелье, где содержались такие же, как он, богословы. Там он просидел несколько дней и начал сомневаться в своем тезисе, и тогда ему разрешили возвратиться. Теперь его одежды были из задубелых

кож, но он принудил себя думать, что ему все показалось, и продолжал прославлять веру и поносить милосердие. Однажды вечером ему стало холодно. Он обошел дом и увидел, что его жилье уже совсем не такое, как на земле. Одно помещение было завалено какими-то непонятными орудиями, другое сделалось таким маленьким, что в него нельзя было войти, еще одно не поменялось, но теперь его окна и двери выходили на большую песчаную косу. Комната в глубине дома была полна людей, которые превозносили его и твердили, что такого ученого богослова еще никогда не бывало. Похвала его обрадовала, но часть этих людей была безлика, а другие походили на мертвецов, и он из-за этого проникся к ним недоверием и неприязнью. И тогда он решил написать похвалу милосердию, но страницы, написанные им сегодня, назавтра оказывались чистыми. Происходило так потому, что писал он их неискренне.

К нему приходили многие из тех, кто недавно умер, но ему было стыдно за такое убогое жилище. И для того, чтобы все уверились, что он на небесах, он уговорился с одним колдуном, обитавшим в помещении в глубине дома, и тот слепил приходивших обманным блеском. Едва все уходили — а иногда еще и до их ухода, — снова проступали пятна сырости и нищета.

В последних сообщениях о Меланхтоне говорится, что колдун и один из безликих уволокли его на косу, и там он прислуживает бесам.

ПАПАТА С ФИГУРАМИ

В самом начале был в андалусийском королевстве город, где жительствоваали короли, прозывавшийся Лебтитом, или Сеутой, или Хаэном. В городе этом была мощная башня, в двустворчатые двери которой никто никогда не входил и назад из них не выходил, потому что были они заперты. Каждый раз, как умирал один король и на высокий трон всходил другой, он своей рукой вешал на входных дверях еще один замок, и так стало их двадцать четыре, по одному на короля. И вот случилось, что один недобрый человек, сторонний королевскому дому, захватил власть и вместо того, чтобы повесить на дверях новый замок, пожелал снять двадцать четыре прежних и взглянуть на то, что хранилось

в той башне. Визирь и эмиры умоляли его не делать этого и спрятали связку ключей, сказав ему, что повесить один замок легче, чем сбить двадцать четыре, но он твердил с удивительным упрямством: «А я хочу знать, что там, в этой башне». Тогда они предложили ему все, что у них было: стада, христианских идолов, серебра и золота, но он не пожелал отступить и собственноручно (да отсохнет его рука) отпер двери.

Внутри были фигуры арабов из дерева и металла, арабы восседали на быстроногих верблюдах и скакунах, на спины им ниспадали чалмы, на перевязи висели кривые сабли, в правой руке они держали копья. Все это было наяву, фигуры отбрасывали на пол тень, слепой мог удостовериться в том, что они есть, ощупав их, причем передние копыта лошадей не касались пола, удерживаясь в воздухе, словно лошади встали на дыбы. Фигуры, исполненные так мастерски, привели царя в ужас, но еще больше ужаснули его полный порядок и безмолвие — все они смотрели в одну сторону, на запад, и не слышалось ни звуков человеческого голоса, ни рожка. Вот что было в первой палате башни. Во второй стоял выточенный из цельного изумруда стол Сулеймана, сына Дауда, — мир им обоим! — изумруд же, как известно, зелен и обладает несказанной и сокровенной силой унимать бури, уберегать хозяина от соблазнов, спасать от поноса и злых духов в кишечнике, способствовать благоприятному решению тяжб и помогать при родах.

В третьей были две книги: одна, черная, толковала о полезных свойствах металлов, про талисманы, и какие дни что значат, и еще про способы приготовления ядов и противоядий; другая была белой, и о чем она толковала, понять не удалось, хотя все слова были написаны четко. В четвертой они нашли карту поднебесной с королевствами, городами, морями, замками и подстерегавшими путешественника опасностями, и у всего было свое название и точные очертания.

В пятой нашли круглое зеркало работы Сулеймана, сына Дауда, — мир им обоим! — цена которому немалая, потому что изготовлено оно было из различных металлов и тот, кто смотрелся в него, видел лица своих отцов и детей начиная с Адама и кончая теми, кому суждено услышать трубы Страшного Суда. В шестой был эликсир, одной капли которого хватало на превращение трех тысяч унций серебра в три тысячи унций

золота. Седьмая выглядела пустой и была такой длинной, что стрела, пущенная самым искусным лучником, не долетела бы до ее конца. На задней стене они увидели страшную надпись. Взглянув на надпись, царь понял ее смысл, вот что в ней говорилось: «Если чья-нибудь рука отворит двери этой башни, воины во плоти, похожие на тех, из металла, которые стоят у дверей, завладеют царством».

И случилось это на восемьдесят девятом году хиджры. И года не истекло, как Тарик завладел этой башней, сверг короля, увел в полон женщин и детей и опустошил земли. Так попали арабы на земли андалусийского королевства с его фиговыми деревьями и поливными лугами, на которых не ведают жажды. А что до сокровищ, то молва гласит, что Тарик, сын Зи-ада, отдал их калифу, своему господину, а тот спрятал сокровища в пирамиду.

ИСТОРИЯ О ДВУХ СНОВИДЦАХ

Арабский историограф Эль Исхаки так говорит об этом: «Рассказывали верные люди (но только один все-милостивый Аллах всеведущ и всемогущ и бдит), что был в Каире некий человек, большой богач, но такой щедрый и мягкосердый, что все свое богатство, кроме отцовского дома, он растерял и пришлось ему самому зарабатывать себе на хлеб. Он так много трудился, что однажды сон сморил его прямо в саду под фиговым деревом, и увидел он во сне человека, с одежд которого стекала вода. Вытащил человек изо рта золотую монету и сказал: «Твое счастье в Персии, в Исфахане, отправляйся на поиски его». Наутро он проснулся и отправился в долгий путь и преодолел моря и пустыни, пересек реки, унес ноги от пиратов и идолопоклонников, от диких зверей и людей. Прибыл он в конце концов в Исфахан и, раз застала его ночь уже в черте города, расположился на ночлег во дворе одной мечети. А возле мечети стоял дом, и случилось так, что по воле Все-могущего забралась через мечеть в дом шайка разбойников и все, кто там спал, повскакивали от шума и стали звать на помощь. По соседству тоже закричали, на шум прибежал начальник стражи со стражниками, и налетчики убежали по плоской крыше. Начальник стражи приказал осмотреть мечеть, и, найдя там человека из Каира,

стражники так поколотили его бамбуковыми палками, что он едва жив остался. Через два дня он пришел в себя в каталажке. Начальник стражи послал за ним и сказал ему: «Кто ты таков и откуда?» И тогда он сказал: «Я из славного города Каира, а зовут меня Мохамед Эль Магреби». Тогда спросил начальник стражи: «Что привело тебя в Персию?» И тогда он решил сказать правду и сказал: «Явился мне во сне человек и велел отправляться в Исфахан, потому что там мое счастье. И вот я в Исфахане и вижу, что обещанное мне счастье и есть те самые палки, которыми ты меня так щедро наградил».

Услышав эти слова, расхохотался начальник стражи во все горло, а насмеявшись вдоволь, сказал ему: «О легковверный и сумасбродный человек, три раза мне снился дом в Каире, в котором есть сад, в саду солнечные часы, позади часов фиговое дерево, за деревом фонтан, под фонтаном сокровище. Я несколько не поверил этому вздору. А ты, порождение дьявола и ослицы, скитаешься по городам только из-за того, что тебе что-то привиделось во сне. Чтобы тебя больше не было в Исфахане! Возьми эти деньги и убирайся».

Человек взял деньги и возвратился к себе домой. В саду под фонтаном (тем самым, который приснился начальнику стражи) он нашел сокровище. Вот как Господь благословил его, вознаградил и укрепил в вере. Милостив Господь, и неисповедимы пути Его.

ОТСРОЧКА

Жил в Сантьяго некий настоятель, которому очень хотелось обучиться искусству колдовства. Прослышал он, что дон Илиан из Толедо, как никто, сведущ в нем, и отправился в Толедо.

Приехав, он напрямик пошел к дону Илиану, коего застал в уединенном покое за чтением. Тот радушно принял пришельца, попросив не торопиться с делом, которое его привело, и для начала поесть с дороги. Потом он предоставил ему прохладный покой и сказал, что очень рад гостю. Насытившись, настоятель поведал о причине своего приезда и попросил обучить его науке колдовства. Дон Илиан сказал, что догадался, что перед ним настоятель, человек с положением и видами на будущее, но опасается, как бы его услуга не была потом

позабыта. Настоятель клятвенно пообещал, что никогда не позабудет оказанной ему милости и не останется в долгу. Когда они договорились, дон Илиан сказал, что искусство колдовства постигается только в уединенном месте, и, взяв гостя за руку, отвел в смежную комнату с большим железным кольцом в полу. А служанке он велел приготовить на ужин жаркое из куропаток, но не начинать, пока не прикажут. Вдвоем они потянули за кольцо и по гладкой каменной лестнице сошли так глубоко вниз, что настоятелю показалось, что Тахо течет у них над головами. Лестница вела в подземелье, в котором были келья, библиотека и что-то похожее на кабинет с орудиями колдовства. Они стали разглядывать книги, но в это время вошли два человека с письмом для настоятеля от епископа, в котором тот извещал, что очень болен и велел поторапливаться, если настоятель хочет застать его в живых. Такие события очень озадачили настоятеля: то ли ехать к дяде, то ли продолжать обучение. Он решил написать письмо с извинениями и отослал его епископу. Спустя три дня прибыли несколько человек в траурных одеяниях с письмом к настоятелю, в котором было написано, что епископ скончался и ему выбирают преемника и что, будет на то Божья воля, выберут его. Еще там говорилось, чтобы он не заботился о приезде, потому что гораздо лучше, если выбирать будут без него.

Спустя десять дней прибыли два нарядных оруженосца, которые бросились ему в ноги, облобызали руки и приветствовали нового епископа. Когда дон Илиан это увидел, он с великой радостью отправился к новому прелату и сказал ему, что благодарен Богу за такие хорошие вести и за то, что случилось это у него в доме. А потом попросил освободившееся место настоятеля для одного из своих сыновей. На это сказал ему епископ, что приготовил это место для своего брата, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Сантьяго.

Поехали они все втроем в Сантьяго, где их встретили с почестями. Спустя шесть месяцев принял епископ посланцев Папы, который предлагал ему место архиепископа в Тулузе, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда дон Илиан об этом узнал, он напомнил про стародавнее обещание и попросил этот титул для своего сына. Архиепископ уведомил его, что приготовил место епископа для дяди, брата отца, но раз обещал он

ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Тулузу. У дон Илиана не было другого выхода, как согласиться.

Поехали они все втроем в Тулузу, где их встретили с почестями и отслужили мессу. Спустя два года принял архиепископ посланцев Папы, который предлагал ему кардинальскую шапочку, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда дон Илиан об этом узнал, он напомнил про стародавнее обещание и попросил сан архиепископа для своего сына. Кардинал уведомил его, что подготовил это место для дяди, брата матери, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Рим. У дон Илиана не было другого выхода, как согласиться. Поехали они все трое в Рим, где их встретили с почестями, отслужили мессу и устроили крестный ход. Спустя четыре года умер Папа и наш кардинал был избран на папство. Когда дон Илиан об этом узнал, он облобызал туфлю Его Святейшества, напомнил стародавнее обещание и попросил кардинальство для сына. Папа пригрозил ему тюрьмой, заявив, что всегда знал, что тот всего лишь колдун и обучал в Толедо искусству колдовства. Несчастный дон Илиан сказал, что возвращается в Испанию, и попросил еды на дорогу. Но Папа не дал. Тогда дон Илиан — чье лицо странно помолодело — сказал твердо:

— Что ж, придется поесть куропаток, которых я велел приготовить сегодня на ужин.

Вошла служанка, и дон Илиан велел приготовить жаркое. При этих словах Папа очутился в подземелье в Толедо, снова став настоятелем из Сантьяго, и ему было стыдно за свою неблагодарность, что он не знал, как вымолить прощение. Дон Илиан сказал, что хватит с него испытаний, не стал предлагать жаркого, проводил до дверей, учтиво попрощался и пожелал счастливого пути.

ЧЕРНИЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО

Сведущие в истории знают, что самым жестоким правителем Судана был Якуб Болезный, предавший страну несправедливым поборам египтян и скончавшийся в дворцовых покоях 14 дня месяца бармахат 1842 года. Некоторые полагают, что волшебник Абдуррахман Эль Мапсуди (чье имя означает «Слуга Всемилостивого») прикончил его кинжалом или отравил, хотя естественная

смерть все же более вероятна — ведь недаром его прозвали Болезным. Тем не менее капитан Рикардо Франсиско Буртон в 1853 году разговаривал с этим волшебником и рассказывает, что тот поведал ему следующее: «В самом деле я был посажен в крепость Я кубом Болезным из-за заговора, который замыслил мой брат Ибрагим, бездумно доверившись вероломным черным вождям: они же на него и донесли. Голова моего брата скатилась на окровавленную плаху правосудия, а я припал к ненавистным стопам Болезного и сказал ему, что я волшебник и что, если он дарует мне жизнь, я покажу ему такие диковинные вещи, каких не увидишь с волшебной лампой. Тиран потребовал немедленных доказательств. Я попросил тростниковое перо, ножнички, большой лист венецианской бумаги, рог чернил, жаровню, несколько семечек кориандра и унцию росного ладана, потом разрезал лист на шесть полосок, на первых пяти написал заклинания, а на оставшейся — слова из славного Корана: «Мы совлекли с тебя покровы и взор твой пронзает нас». Затем я нарисовал на правой руке Якуба магический знак, попросил его собрать пальцы в пригоршню и налил в нее чернил. Я спросил его, хорошо ли он видит свое отражение в лунке, и он отвечал, что да. Я велел ему не отрывать взгляда, воскурил кориандр и росный ладан и сжег на жаровне заклинания, а потом попросил назвать то, что ему хотелось бы увидеть. Он подумал и сказал мне, что хотел бы увидеть дикого жеребца, лучшего из всех пасущихся на лугах у края пустыни. Посмотрев, он увидел привольный зеленый луг, а потом проворного, как леопард, жеребца с белой звездой на лбу. Он попросил показать ему на горизонте большое пыльное облако, а за ним табун. Я понял, что жизнь моя спасена.

Едва светало, двое солдат входили ко мне в тюрьму и отводили меня в покои Болезного, где уже ждали ладан, жаровня и чернила. Он высказывал пожелания, и я показывал ему все, что ни есть в мире. В пригоршне ненавистного было собрано все, что довелось повидать уже усопшим и что зрят ныне здравствующие: города, жаркие и холодные страны, сокровища, скрытые в земных глубинах, бороздящие моря корабли, орудия войны, инструменты врачевания и музыки, пленительных женщин, неподвижные звезды и планеты, краски, которыми пользуются неверные, когда пишут свои мерзкие картины, растения и минералы со всеми их сокровенными

замечательными свойствами, серебряных ангелов, чей хлеб — хвала и превознесение Господа, раздачу наград в школах, фигуры птиц и царей, хранящиеся в самом сердце пирамид, тень быка, на котором покоится земля, и рыбы, на которой стоит бык, пустыни Всемилового Бога. Он увидел вещи неопишуемые, такие, как улицы, освещенные газовыми рожками, и кита, который умирает при звуках человеческого голоса. Однажды он велел мне показать ему город, который называется Европа. Я показал ему главную улицу и полагаю, что именно тогда в этом многоводном потоке людей, одетых в черное, и нередко в очках, он впервые увидел Закутанного.

С того времени эта фигура — иногда в костюме суданца, иногда в военной форме, но всегда с лицом, закутанным тканью, — присутствовала в видениях. Он бывал там всегда, но мы не догадывались, кто это. Со временем видения в зеркале, поначалу мгновенные и неподвижные, стали более сложными: мои требования исполнялись незамедлительно, и тиран это прекрасно видел. Под конец мы оба очень уставали. Жестокость виденного утомляла. Это были бесконечные расправы, виселицы, членосечения, услады лютого палача.

Так нас застало четырнадцатое утро месяца бармахат. На ладони начерчен чернилами круг, ладан брошен на угли, заклинания сожжены. Мы были вдвоем. Болезный велел мне показать ему настоящую казнь, без помилования, потому что душа его в то утро жаждала лицезреть смерть. Я показал ему солдат с барабанами, расстеленную бычью шкуру, людей, алчущих зрелища, палача с мечом правосудия. Он восхитился палачом и сказал мне: «Это Абу Кир, казнивший твоего брата Ибрагима, это тот, кто пресечет твой удел, когда мне будет дарована наука вызывать эти фигуры без твоей помощи». Он попросил привести осужденного. Когда его привели, он онемел, ибо это был тот самый загадочный человек, закутанный в белое полотно. Он велел мне приказать, чтобы перед казнью с него сняли покрывало. Я бросился ему в ноги со словами: «О царь времен и всего сущего, о смысл дней, этот образ не таков, как остальные, ведь нам не ведомо ни имя его, ни кто его родители, ни из каких он краев, и я не осмеливаюсь снять с него покрывало, чтобы не совершить то, за что придется держать ответ». Засмеялся Болезный и поклялся, что, если содеянное окажется грехом, возьмет он грех на себя. Он поклялся в этом на мече и Коране. Тогда я велел раздеть приговоренного, бросить его на расстелен-

ную бычью шкуру и сорвать покрывало. Всё так и сделали. Ошеломленному взору Якуба предстало наконец лицо, которое было его собственным. Его охватил безумный страх. Я недрогнувшей рукой сжал его дрожащую правую руку и повелел ему смотреть на свою смерть. Он был целиком во власти зеркала и даже не попытался отвести взгляд или вылить чернила. Когда меч в представшем ему видении обрушился на повинную голову, он вскрикнул — голос этот не смягчил моего сердца — и замертво рухнул на пол.

Слава Предвечному, тому, у кого в руках ключи безмерной Милости и беспредельной Кары.

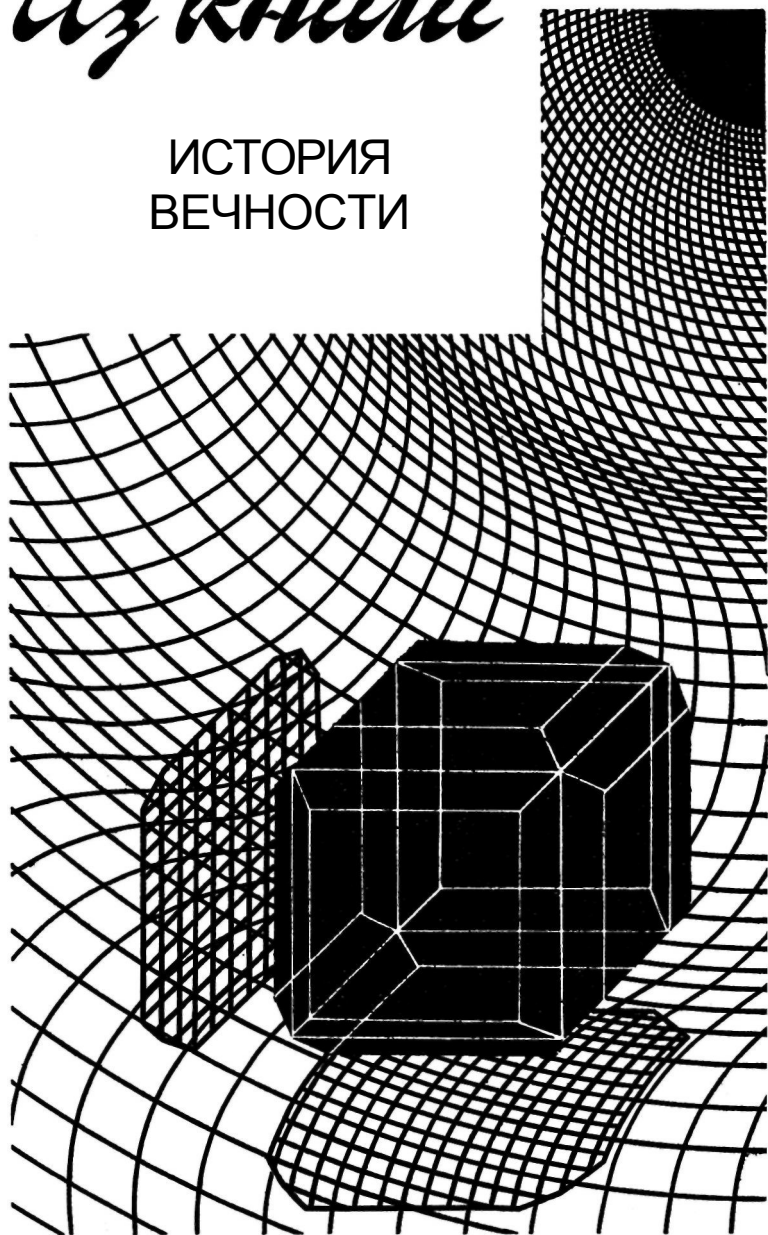
ДВОЙНИК МАГОМЕТА

Поскольку в умах мусульман образ Магомета и вера неразрывно связаны воедино, Господь Бог распорядился, чтобы на Небесах их всегда представлял дух в роли Магомета. Этот представитель не всегда один и тот же. Както раз некий саксонец, которого захватили в плен алжирцы и он обратился в ислам, возложил эти обязанности на себя. А так как он был христианином, он заговорил об Иисусе и сказал, что тот был вовсе не сыном Иосифа, но сыном Божьим. Его пришлось заменить. Этот представляющий Магомет лучезарен, но видят сияние только мусульмане.

Зато настоящий Магомет, который составил Коран, своим последователям не виден. Мне рассказали, что прежде он над ними начальствовал, но оказался слишком крут, и его отправили в южные края. Одна мусульманская община по дьявольскому наущению объявила Магомета богоравным. Чтобы уладить раздоры, Магомета извлекли из преисподней и всем показали. Как раз тогда я его видел. Этот телесный обличьем дух был без всякого понятия и к тому же темен ликом. Он только и смог сказать: «Я ваш Магомет» — и снова погрузился в преисподнюю.

Из книги

ИСТОРИЯ
ВЕЧНОСТИ





ПРИБЛИЖЕНИЕ К АЛЬМУТАСИМУ



Филипп Гедалья пишет, что роман «The Approach to Al-Mutasim»¹ адвоката Мира Бахадура Али из Бомбея — «это весьма неуклюжее сочетание (a rather uncomfortable combination) исламских аллегорических поэм, обычно более всего интересующих их переводчика, и детективных романов, в которых уж непременно превзойден Джон Х. Уотсон и которые смягчают ужас человеческого существования в аристократических пансионах Брайтона». М-р Сесил Робертс еще раньше изобличил в книге Бахадура «неправдоподобное двойное влияние — Уилки Коллинза и знаменитого персидского поэта двенадцатого века Фарид-ад-дина Аттара»; это спокойное замечание Гедалья повторяет без удивления, но с холерическим запалом. По существу оба писателя схо-

¹ «Приближение к Альмутасиму» (англ.).

дятся: оба указывают на детективное построение романа и его мистическое undercurrent¹. Эта «водяная» метафора может побудить нас вообразить какое-то сходство с Честертоном; ниже мы докажем, что такового нет.

Editio princeps² «Приближения к Альмутасиму» появилось в Бомбее в 1932 году. Бумага в книге была почти газетная, обложка извещала покупателя, что речь идет о первом детективном романе, написанном уроженцем города Бомбея. За несколько месяцев публика проглотила четыре издания по тысяче экземпляров каждое. «Бомбей кварталы ревю», «Бомбей газет», «Калькутта ревю», «Индустан ревю» (в Алахабаде) и «Калькутта инглишмен» расточали дифирамбы. Тогда Бахадур выпустил иллюстрированное издание, которое он назвал «The Conversation with the Man Called Al-Mutasim»³, с изящным подзаголовком «A Game with Shifting Mirrors» («Игра с движущимися зеркалами»). Это издание недавно воспроизведено в Лондоне Виктором Голланцем с предисловием Дороти Л. Сейерс, но, видимо из милосердия, без иллюстраций. Оно у меня перед глазами; первое раздобыть не удалось, но чувствую, что оно было намного лучше. В этом убеждает меня приложение, отмечающее существенное различие между первым изданием 1932 года и последующим, 1934-го. Прежде чем приступить к рассмотрению этого различия — и к критике его, — надо хотя бы вкратце изложить основную нить повествования.

Протагонист — видимый, но чье имя ни разу не называется — студент права в Бомбее. Он кощунственно отошел от ислама, религии своих родителей, однако на исходе десятой ночи месяца мухаррама оказывается в гуще потасовки между мусульманами и индусами. В ночном мраке гремят барабаны, слышны выкрики молящихся, большие бумажные балдахины мусульманской процессии движутся посреди враждебной толпы. С какой-то крыши летит кирпич, брошенный индусом, кто-то вонзает кому-то кинжал в живот, кто-то — мусульманин или индус? — падает замертво, и его затапывают. Три тысячи человек дерутся, палка про-

¹ Подводное течение (*англ.*).

² Первое издание (*лат.*).

³ «Беседа с человеком по имени Альмутасим» (*англ.*).

тив револьвера, ругательство в ответ проклятию, Бог невидимый против многих богов. Студент-вольнодумец, пораженный всем этим, вмешивается в борьбу. Безоружный, он в отчаянной драке убивает (или ему кажется, что убивает) индуса. Но вот, оглушительно крича, появляется верхом на лошадях заспанная полиция и принимается хлестать всех подряд. Студент убегает, чуть ли не из-под конских копыт. Он добирается до самых окраин города, переходит два железнодорожных пути или дважды — один и тот же путь. Перелезши через ограду, оказывается в одичалом саду, в глубине которого — башня. Свора собак с шерстью лунного цвета, а *lean and evil mob of mooncoloured hounds*¹, выскакивает из чернеющих розовых кустов. Преследуемый ими студент ищет спасения в башне. По железной лестнице, на которой не хватает нескольких ступенек, он взбегает на плоскую крышу с зияющим колодцем в центре и натывается на изможденного человека — при лунном свете, сидя на корточках, тот мочится. Человек признается, что его занятие — красть золотые зубы завернутых в белое полотно трупов, которые парсы оставляют в башне. Рассказывает он и другие мерзкие вещи и между прочим вспоминает, что уже четырнадцать ночей не совершал очищения буйволовым навозом. С явной злобой говорит он о каких-то конокрадах из Гуджарата: «Пожиратели собак и ящериц, а в общем, такие же подлецы, как мы с тобой». Светает, в воздухе низко кружат жирные стервятники. Студент, обессилив, засыпает; когда же он пробуждается, солнце уже стоит высоко, и он видит, что вор исчез. Исчезли также несколько трипурских сигарет и серебряных рупий. Вспоминая об ужасах минувшей ночи, студент решает затеряться в просторах Индии. Он размышляет о том, что оказался способен убить идолопоклонника, но не способен сказать с уверенностью, что мусульманин более прав, чем идолопоклонник. Его преследует название Гуджарат, а также имя некоей «малка-санси» (женщины из касты воров в Паланпуре, на которую особенно обрушивались проклятия и злоба грабителя трупов). Сту-

¹ Тощая и злобная свора собак цвета луны (*англ.*).

дент делает вывод, что злоба столь беспредельно гнусного человека равна похвале. И он решает — без особой надежды — разыскать женщину. Помолясь, студент неторопливо и уверенно пускается в дальний путь. Так заканчивается вторая глава романа.

Пересказать перипетии остальных девятнадцати глав невозможно. Тут выступает головокружительное множество *dramatis personae*¹, уж не говоря о жизнеописании героя, которое словно бы должно исчерпать все мыслимые движения человеческого духа (от подлости до математических рассуждений), и о странах, охватывающих обширную территорию Индостана. История, начавшаяся в Бомбее, продолжается на низменностях Паланпура, на один вечер и одну ночь задерживается у каменных ворот Биканера, повествует о смерти слепого астролога в предместье Бенареса, герой становится участником заговора в лабиринтах дворца в Катманду, молится и блудит среди чумного зловония Калькутты, на Мачуа-Базаре, наблюдает рождение дня на море из конторы в Мадрасе, наблюдает умирание дня на море с балкона в штате Траванкор, колеблется и убивает в Индауре и замыкает орбиту километров и лет в том же Бомбее, в нескольких шагах от сада с собаками лунной масти. Краткое содержание таково: некий человек, неверующий и сбежавший с родины студент, с которым мы познакомились, попадает в общество людей самого низкого пошиба и приспособливается к ним в своеобразном состязании в подлости. Внезапно — с мистическим ужасом Робинзона, видящего след человеческой ноги на песке, — он замечает какое-то смягчение подлости: нежность, восхищение, молчание одного из окружающих его подонков. «Как будто в наш разговор вмешался собеседник с более сложным сознанием». Студент понимает, что негодяй, с ним разговаривающий, не способен на такой внезапный взлет; отсюда он заключает, что в том отразился дух какого-то друга или друга друга друга. Размышляя над этим вопросом, студент приходит к мистическому убеждению: «Где-то на земле есть человек, от которого этот свет исходит; где-то на земле есть человек, тождественный этому свету». И студент решает посвятить свою жизнь поискам его.

¹ Действующих лиц (*лат.*).

Общее направление сюжета уже просматривается: насыщенные поиски души по слабым отблескам, которые она оставила в других душах: в начале легкий след улыбки или слова; в конце — разнообразное и яркое свечение разума, воображения и добра. По мере того как расспрашиваемые люди оказываются все более близко знавшими Альмутасима, доля его божественности все увеличивается, но ясно, что это лишь отражение. Здесь применима математическая формулировка: насыщенный событиями роман Бахадура — это восходящая прогрессия, конечный член которой и есть явленный в предчувствии «человек по имени Альмутасим». Непосредственный предшественник Альмутасима — необычайно приветливый и жизнерадостный перс-книготорговец; предшественник книготорговца — святой... После многих лет студент оказывается в галерее, «в глубине которой дверь и дешевая циновка со множеством бус, а за нею сияние». Студент хлопает в ладоши раз, второй и спрашивает Альмутасима. Мужской голос — неопишуемый голос Альмутасима — приглашает его войти. Студент отодвигает циновку и проходит. На этом роман заканчивается...

Если не ошибаюсь, разработка подобного сюжета требует от писателя двух вещей: изобретательности в описании различных черт идеального человека и чтобы образ, наделенный этими чертами, не был чистой условностью, призраком. Первое требование Бахадур удовлетворяет вполне, второе же — не берусь сказать, в какой мере. Другими словами, не услышанный нами и не увиденный Альмутасим должен произвести впечатление реального характера, а не набора пустых превосходных степеней. В варианте 1932 года сверхъестественные нотки не часты: «человек по имени Альмутасим» имеет нечто от символа, однако не лишен и своеобразных, личных черт. К сожалению, автор не удержался в границах литературного такта. В варианте 1934 года — том, что лежит передо мной, — роман впадает в аллегорию: Альмутасим — это символ Бога, а этапы пути героя — это в какой-то мере ступени, пройденные душой в мистическом восхождении. Есть и огорчительные детали: чернокожий иудей из Кошина, рассказывая об Альмутасиме, говорит, что у него кожа темная; христианин описывает его стоящим на башне с распростертыми объятиями; рыжий лама вспоминает, как он сидел, «подобно фигуре из жира яка, которую я

слепил и которой поклонялся в монастыре в Ташильхунпо». Эти заявления должны внушать идею о едином Боге, приспособляющемся к человеческим различиям. Мысль, на мой взгляд, не слишком плодотворная. Не скажу этого о другой: о предположении, что и Всемогущий также занят поисками Кого-то, а этот Кто-то — Кого-то еще высшего (или просто необходимого и равного), и так до Конца — или, вернее, до Бесконца — Времени либо в циклическом круговращении. Альмутасим (имя восьмого Аббасида, который был победителем в восьми битвах, родил восьмерых сыновей и восьмерых дочерей, оставил восемь тысяч рабов и правил в течение восьми лет, восьми месяцев и восьми дней) этимологически означает «Ищущий крова». В версии 1932 года тем фактом, что целью странствий был странник, естественно объяснялась трудность поисков; а в версии 1934 года он служит предлогом для упомянутой мною экстравагантной теологии. Мир Бахадур Али, как мы видим, оказался не в силах избежать самого банального из таящихся в искусстве соблазна: желания быть гением.

Перечитывая написанное, чувствую опасение, что недостаточно показал достоинства книги. В ней есть черты очень высокой культуры — например, спор в главе девятнадцатой, где мы предчувствуем друга Альмутасима в одном из спорящих, не опровергающем софизмы другого, «чтобы в своей правоте не быть чересчур победоносным».

Полагают, что для всякой современной книги почетно восходить в чем-то к книге древней, ибо (как сказал Джонсон) никому не нравится быть обязанным своим современникам. Частые, но незначительные переключки «Улисса» Джойса с Гомеровою «Одиссеей» неизменно вызывают — мне никогда не понять почему — изумление и восторги критики; точки соприкосновения романа Бахадура с почтенной «Беседой птиц» Фарид-аддина Аттара удостоились не менее загадочных похвал в Лондоне и даже в Алахабаде и в Калькутте. Словом, нет недостатка в источниках. Один исследователь нашел в первой сцене романа ряд аналогий с рассказом Киплинга «On the City Wall»¹. Бахадур их признал, но оп-

¹ «На городской стене» (англ.).

равдывается тем, что было бы просто неестественно, если бы два описания десятой ночи мухаррама в чем-то не совпадали... Элиот с большим основанием вспоминает семьдесят песен незавершенной аллегории «The Faerie Queen»¹, в которой героиня, Глориана, не появляется ни разу — как отмечает в своей критике Ричард Уильям Черч. Я со своей стороны могу смиренно указать отдаленного, но возможного предшественника: иерусалимского каббалиста Исаака Лурию, который в XVI веке сообщил, что душа предка или учителя может войти в душу несчастного, дабы утешить его или наставить. «Иббур» — так называется эта разновидность метемпсихозы².

¹ «Королева фей» (англ.).

² Работая над этой заметкой, я заглядывал в «Мантик-аль-Тайр» («Беседу птиц») персидского мистика Фарид-ад-дина Абу Талиба Мухаммада бен Ибрагима Аттара, которого убили солдаты Толюя, сына Чингисхана, при разграблении Нишапура. Пожалуй, будет не лишним изложить содержание этой поэмы. Прилетевший издалека царь птиц Симуург роняет в центре Китая великолепное перо; птицы, уставшие от извечной анархии, решают отправиться на его поиски. Они знают, что имя царя означает «Тридцать птиц», знают, что его дворец стоит на Кафе-горе, кольцом опоясывающей землю. Они пускаются в почти бесконечный путь: преодолевают семь долин или морей; название предпоследнего «Головокружение», последнего — «Уничтожение». Многие из странников дезертируют, другие погибают. Пройдя очищение в трудностях, лишь тридцать вступают на гору Симурга. Наконец они его узрели, и тут им становится ясно, что они и есть Симуург и что Симуург — это каждая из них и все они вместе. (Так же Плотин — «Эннеады», V, 8, 4 — возвещает блаженное расширение принципа тождества: «В умопостигаемом небе все есть повсюду. Каждая вещь есть все вещи. Солнце есть все звезды, и каждая звезда — это все звезды и солнце».) Поэма «Мантик-аль-Тайр» была переведена на французский Гарсеном де Тасси, на английский — Эдвардом Фитцджеральдом; для этой заметки я пользовался десятым томом «1001 ночи» Бертон и монографией «The Persian Mystics: Attar» — «Персидские мистики: Аттар» (1932) Маргарет Смит.

Точек соприкосновений этой поэмы с романом Мира Бахадура Али не так уж много. В двадцатой главе несколько слов, приписываемых Альмутасиму персом-книготорговцем, возможно, развивают сказанное прежде героем; эта и другие туманные аналогии могут означать тождество искомого и ищущего, могут также означать, что последний влияет на первого. В другой главе содержится намек на то, что Альмутасим и есть тот «индус», которого студент, как ему кажется, убил. — *Примеч. автора.*

ИСТОРИЯ ВЕЧНОСТИ

I

В одном отрывке из «Эннеад», где задается вопрос о времени и его природе, говорится, что прежде времени надо знать, что такое вечность, ибо она, как известно, есть модель и прообраз времени. Это предупреждение, если принять его всерьез, очень существенно, потому что, похоже, оно исключает возможность какого бы то ни было взаимопонимания с человеком, это написавшим. Время для нас — проблема, проблема жгучая и настоятельная и, возможно, во всей метафизике самая жизненно актуальная, вечность же — игра и докучливая мечта. У Платона в «Тимее» мы читаем, что время — это текучий образ вечности, мнение, ничуть не поколебавшее всеобщее убеждение, что именно вечность соткана из времени. Историю вечности, этого неуклюжего слова, вокруг которого столько разнотолков, я и намерен описать.

Выворачивая наизнанку метод Плотина — единственный способ им воспользоваться, — я начну с того, что припомню все темное и невразумительное, что связано со временем, этой естественной метафизической тайной, которая стоит прежде вечности — детища людей. Одно из таких мест, не самое темное, но и не самое ясное, касается направления времени. Все считают, что оно течет из прошлого в будущее, но вполне вероятно и обратное, то, о чем пишет испанец Мигель де Унамуно: «В сумерках река времени струится из вечного завтра...»¹

И то и другое одинаково правдоподобно и одинаково непроверяемо. Брэдли отвергает обе концепции и выдвигает свою собственную: будущее следует изъять, оно всего лишь выражает наши чаяния, а «актуальное» — представить как распад исчезающего в прошлом настоящего. Этот уход в прошлое обычно соответствует периодам упадка и засилья пошлости, тогда как всякое энергическое действие мы соотносим с устремленностью в будущее...

¹ Сходное понятие времени у схоластов, которые представляли его движением из потенциального в актуальность. Ср. вечные объекты Уайтхеда, конституирующие «царство возможного» и вступающие во время.

Брэдли отрицает будущее, одна из философских школ Индии отрицает настоящее, считая его неуловимым. «Апельсин или вот-вот сорвется с ветки, или он уже на земле, — утверждают эти странные вульгаризаторы. — Никто не видит, как он падает».

Есть и другие трудности. Одна из них и, возможно, наибольшая — как сочетать личное время каждого с общим математическим временем — вызвала много толков в связи с релятивистским бумом, и все это помнят или помнят, что совсем недавно помнили. По крайней мере мне эта проблема представляется так: если время у нас в голове, то как оно может быть одним и тем же в головах тысяч или хотя бы у двух людей? Другая трудность описана элеатами в связи с отрицанием движения. Ее можно изложить так: четырнадцать минут не пройдут за восемьсот лет, потому что до того, как пройдут четырнадцать минут, должны пройти семь, а до семи — три с половиной минуты, а до того — минута и три четверти и так до бесконечности, так что четырнадцать минут никогда не пройдут. Рассел оспаривает этот довод, утверждая, что бесконечные числа реальны и что в них нет ничего необычного, но что они, по определению, даются сразу, а вовсе не как «предел» беспредельного процесса исчисления. Эти огромные величины Рассела удачно предвосхищают ту вечность, которая образуется не через прибавление частей.

Ни одна из придуманных людьми вечностей — ни вечность номинализма, ни вечность Ириней или Платона — не соединяет механически прошлого, настоящего и будущего. Она и проще, и чудеснее, это одновременность всех этих времен. Язык современности и тот поразительный словарь, dont chaque edition fait regretter la precedente¹, похоже, проходят мимо этого, но именно так полагали метафизики. «Вещи в душе располагаются последовательно: сначала Сократ, потом лошадь, — читаю я в пятой книге «Эннеад», — всегда отдельная вещь воспринимается, а тысячи вещей теряются, но Божественный Промысел объемлет все вещи. И прошлое находится в настоящем в точности, как грядущее. Ничто не проходит в этом мире, все вещи пребывают, и удел их — спокойствие и безмятежность».

¹ Каждое издание которого вызывает сожаление о предыдущем (фр.).

Я перехожу к рассмотрению той вечности, из которой развились все последующие. Действительно, ее первооткрыватель не Платон — в одном платоновском тексте говорится о «древних и священных философах», предшественниках Платона, — но он с блеском углубляет и сводит воедино все, сделанное до него. Дейссен сравнивает платоновский труд с закатом: тот же пронзительный свет в предчувствии конца. Все греческие концепции вечности вошли в тексты Платона и были им либо отвергнуты, либо изложены в духе трагедии. Поэтому я и ставлю Платона прежде Ириния с его второй вечностью, увенчанной тремя разными и непостижимо одинаковыми фигурами.

Вот что так пылко говорит Плотин: «Всякая вещь на умопостигаемых небесах есть небо, и земля там тоже небо, как и животные, растения, люди и море. И зрят они мир нерожденный. Все смотрится в иное. И нет в сем царстве вещи непрозрачной, нет ничего непроницаемого, мутного, но свет сталкивается со светом. Все везде и все — это все. Каждая вещь есть все вещи. И солнце — это все светила, и всякое светило — это все светила и солнце. И никому тот мир не чужбина». Этот слаженный универсум, этот апофеоз уподобления и согласия еще не вечность, но прилегающее к ней небо, не вполне свободное от чисел и пространства. К созерцанию вечности, мира универсальных форм призывает и следующий отрывок из пятой книги: «Пусть люди, зачарованные здешним миром, его мощью, красотой, упорядоченностью непрерывного движения, богами видимыми и невидимыми, в нем обитающими, демонами, деревьями и животными, вознесутся мыслью к Реальности, ибо все это лишь ее отражение. И увидят они там умопостигаемые формы, не заемные у вечности, но истинно вечные, и узрят ее предводителя, чистый Ум, и недостижимую Мудрость, и истинный век Хроноса, чье имя Полнота. Все бессмертные вещи в нем. Всякий ум, всякий бог и всякая душа. Он везде, зачем ему куда-то идти? Он счастлив, для чего ему перемены и превратности? И то, что потом он обрел, было у него вначале. Все ему принадлежит в единой вечности — той вечности, которой вторит время, кружа вокруг души, всегда бегущей от прошлого, всегда стремящейся в будущее».

Частое употребление множественного числа в пре-

дыдущих абазцах может ввести в заблуждение. Идеальный универсум, в который нас приглашает Плотин, не так тяготеет к изменчивости, как к исполненности, в нем все тщательно отобрано, нет никаких повторов и плеоназмов. Это недвижимое и страшное собрание платоновских архетипов. Не знаю, видели ли этот мир когда-нибудь глаза простого смертного — я не говорю о мистических откровениях и кошмарах, — или это был плод воображения изобретшего его грека, но есть в нем что-то от музея: что-то застывшее, монструозное, разложенное по полочкам. Это, впрочем, личное впечатление, которым читатель может пренебречь, но из-за этого не стоит пренебрегать основными сведениями о платоновских архетипах или первозданных причинах и идеях, которые населяют и составляют вечность.

Здесь не место детальному обсуждению платоновской системы, сделаю только несколько замечаний предварительного порядка. Для нас последняя реальность вещей заключается в том, что они суть материя, вращающиеся электроны, пробегающие целые галактики вокруг атомов. Для тех, кто мыслит как платоник, это вид, форма. В третьей книге «Эннеад» мы читаем, что материя нереальна, что она чистая и полая пассивность, принимающая любые универсальные формы, как их принимает зеркало, формы будоражат материю, не меняя ее сущности. Ее наполненность — это именно наполненность зеркала, прикидывающегося наполненным, но на самом деле оно пусто, это призрак, который не исчезает, потому что ему недостает сил даже на то, чтобы перестать быть. Главное же — формы. О них, вторя Плотину, но много позже Малон де Чайде говорит следующее: «Чтобы постичь действия бога, вообразите, что у вас есть восьмигранная золотая печать, на одной стороне которой вычеканен лев, на другой — лошадь, на третьей — орел и так подряд. И вот вы на одном куске воска отпечатываете льва, на другом — орла, на третьем — лошадь... конечно, все, что есть на воске, есть и на золоте, и нельзя отпечатать того, чего не было вычеканено на печати. С одним отличием: то, что есть на воске, всего лишь воск и ничего не стоит, а то, что на золоте, есть золото и стоит дорого. В тварном мире добродетели конечны и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они

суть сам Бог». Отсюда можно заключить, что материя — это ничто.

Как ни плох этот критерий, как ни туманен, мы постоянно им пользуемся. Отрывок из Шопенгауэра — это не бумага лейпцигской конторы, не печать, не утонченная графика готического шрифта, не совокупность звуков, составляющих слова, не даже наше мнение о нем. Мириам Хопкинс сотворена из Мириам Хопкинс, а не из азотистых соединений или минералов, водных растворов углерода, алкалоидов и жиров, образующих преходящую субстанцию этого неуловимого серебристого привидения или умопостигаемой сущности Голливуда. Этот рассудительный ход мыслей побуждает нас отнести к платоновскому тезису более примирительно. Мы его сформулируем так: индивиды и вещи существуют в той мере, в которой они причастны виду, который их составляет и является их непреходящей реальностью. Вот удачный пример: птица. Ее привычка к стае, маленькие размеры, неизменность внешнего вида, издревле идущая связь с двумя зорями — утренней и вечерней, то обстоятельство, что птиц мы чаще слушаем, чем смотрим на них, все это вынуждает нас отдать предпочтение виду и ни во что не ставить индивид как таковой¹. Китс очень недалек от истины, когда полагает, что чарующий его соловей — тот самый соловей, которого слышала Руфь, «бредущая по чуждому жнивью». Стивенсон поклоняется одной-единственной птице — соловью, пожирателю времени. Шопенгауэр тоже вносит свою лепту — изображение о чистой телесности, в которой живут животные, их неведении смерти и памяти. Он не без улыбки присовокупляет: «Если я скажу вам, что играющий во дворе серый кот — тот самый, который прыгал и проказничал пятьсот лет назад, вы вольны думать обо мне, что угодно, но еще большая нелепость полагать, что это какой-то другой кот». И далее: «Удел львов требует львиности, которая во времени предстает как некий бессмертный лев, живущий за счет непрестанно воспроизводящихся индивидов, их рождение и смерть

¹ Живущий, Сын Того, Кто Бдит, невероятный метафизический Робинзон из повести Абубекра Ибн Туфейля ест только те плоды и ту рыбу, которых на острове в достатке, всегда памятуя о сохранности вида, о том, что вселенная не должна обеднеть по его вине.

не что иное, как биение пульса этого непреходящего льва». И до того: «Некая бесконечность предшествовала моему рождению. Так кем же я был тогда? С метафизической точки зрения можно было бы сказать: я — всегда был «я», иными словами, все, кто в то время говорил «я», были мной».

Мне почему-то кажется, что читатель одобрительно отнесется к вечной Львиности, что он испытает какое-то торжественное облегчение перед этим многократно отразившимся в зеркалах времени уникальным Львом. Зато от понятия вечной Человечности я этого не жду, я знаю, что наше «я» ее отвергает, предпочитая бесстрашно распространять ее на чужие «я». Скверно, что Платон предлагает нам еще более недоступные универсальные формы. Такие, как Стольность, или устроившийся на небесах Умопостигаемый Стол, этакий четырехархетип, мечта каждого столяра. Начисто отрицать стольность я, конечно, не могу — без идеального стола нам не добраться до конкретных столов. А то еще Треугольность: пресловутый многоугольник с тремя сторонами, расположенный вне пространства и не снисходящий до равносторонности, разносторонности и равнобедренности. Ну что ж, против азов геометрии тоже сказать нечего. Но вот что касается Необходимости, Разума, Отсрочки, Отношения, Рассмотрения, Размера, Порядка, Медлительности, Положения, Заявления, Беспорядка, то об этих умственных конструктах я не знаю, что и подумать, полагаю, их никто и представить себе не может, разве что у него агония, жар или ум за разум зашел. Впрочем, я совсем позабыл о главном архетипе, том, что объемлет все упомянутые выше и всех так воодушевляет: о вечности, чье разбитое отражение есть время.

Не знаю, достаточно ли моему читателю оснований для того, чтобы перестать доверять платоновскому учению, у меня их полным-полно: во-первых, Платон предполагает несовместимые родовые и абстрактные понятия, сосуществующие в мире архетипов; далее, он умалчивает о способе, которым вещи приобщаются к универсальным формам, да и подверженность этих стерильных архетипов инфекции множественности и разнообразия тоже подозрительна. Проблемы эти, впрочем, можно решить. Ведь архетипы не менее туманны, чем временные вещи. Созданные по образу ве-

щей, они страдают теми самыми недостатками, которые им предлагалось устранить. Вот Львиность. Как изъять из нее Надменность, Рыжесть, Гривастость, Когтистость? На этот вопрос нет и не может быть ответа. Не стоит ждать от слова «львиность» чего-то особенного, чего нет в слове «лев»¹.

Возвращаюсь к Платиновой вечности. Пятая книга «Эннеад» включает самый общий перечень составляющих ее сущностей. Здесь и Справедливость, и Числа (до которого?), и Добродетели, и Деяния, и Движение, но нет там ни ошибок, ни дурных слов, ибо они суть недуги материи, до которой пала форма. Есть Музыка, но в виде Гармонии и Ритма, а не мелодии. У патологии и агрономии нет архетипов, потому что в них нет нужды. Ничего не говорится и о хозяйстве, стратегии, риторике и искусстве правления; впрочем, как явления временные, они, возможно, соотносятся с архетипами Красоты и Числа. Там нет индивидов и нет никакой первозданной формы ни для Сократа, ни для Человека Высокого Роста, ни для Императора, а есть только общее понятие Человек. Напротив, все геометрические фигуры представлены. Из цветов есть только основные: ни Пепельного, ни Пурпурного, ни Зеленого в этой вечности нет. Иерархия важнейших архетипов по восходящей линии такова: Различие, Тожество, Движение, Покой и Бытие.

¹ Не хотелось бы расставаться с платонизмом, какой он ни замороженный, не сделав еще одного замечания, которое желательно принять к сведению. Родовое может быть более насыщенным, чем конкретное. Примеров предостаточно. Когда я был маленьким и жил летом на севере, меня очень занимали бескрайняя равнина и люди, пившие в кухне мате; каков же был мой восторг, когда я узнал, что эта бескрайность и есть «пампа», а эти люди — «гаучо». То же самое происходит с мечтательными людьми, когда они влюбляются. Общее (без конца повторяемое имя, определенный тип, отчизна и приписываемая ей завидная судьба) берет верх над индивидуальными чертами, с которыми приходится мириться во имя прекрасного образца.

Крайнее выражение этого — влюбляющийся понаслышке, персонаж, весьма распространенный в персидской и арабской литературе. Услышать описание прелестей царицы, чьи власы — ночь разлуки, лицо краше райского дня, грудь затмевает свет луны и словно выточена из слоновой кости, чья походка приводит в отчаяние антилоп и устыжает гибкие ивы, чьи бедра клонят к земле, а ступни узки, как наконечник копья... услышать и влюбиться в нее до смерти и умопомрачения — одна из традиционных тем 1001 ночи. См. историю Бадра Басима, сына Шахрамана, или Ибрахима и Джмили.

Мы рассмотрели вечность, которая беднее мира. Нам остается разобрать, как ее освоила церковь, превратив в источник богатства, неизмеримо большего, чем то, которое добывает время.

II

Лучшее документальное свидетельство первой вечности — пятая книга «Эннеад», второй или христианской вечности — одиннадцатая книга «Исповеди» Св. Августина. Первую вечность нельзя себе представить вне платоновского учения об идеях, вторую — без тайны Троиинства и споров вокруг предназначения и воздаяния. Пятьсот страниц ин-фолио не исчерпали темы, полагаю, две-три странички ин-октаво не покажутся расточительством.

Можно утверждать с большой степенью вероятности, что «нашу» вечность учредили несколько лет спустя после того, как хроническое кишечное недомогание свело в могилу Марка Аврелия, и что местом, где произошло это головокружительное событие, была балка Фурвьер, прежде называемая Форум Ветус, а ныне знаменитая своей базиликой и фуникулером. Эта учрежденная епископом Иринеем всеобъемлющая вечность была не просто новой сутаной, в которую облеклась церковь, не была она и каким-то доктринальным изыском, ей пришлось стать сознательной позицией и оружием. Слово рождается Отцом, и Дух Святой исходит от Отца и от Сына, на основании этих двух бесспорных фактов гностики приходят к заключению, что Отец был раньше Сына и оба предшествовали Духу. Такой вывод разьединял Троицу. Иринеи разъяснил, что оба события — рождение Сына Отцом и исхождение Духа от них обоих — осуществляются не во времени, но разом охватывают прошедшее, настоящее и будущее. Эта точка зрения возобладала, сейчас она — догма. Так была провозглашена вечность, таившаяся прежде в тени какого-то безвестного платоновского текста. Неслиянность и нераздельность трех ипостасей Господа ныне представляется слишком незначительным вопросом для того, чтобы на него серьезно отвечать, и, однако, не приходится сомневаться в том, что этот вопрос имел первостепенное значение, поскольку с его решением

связывались определенные надежды: «Aeternitas est merum hodie, et immediata et lucida fruitio rerum infinitarum»¹. Идеологическое значение полемики вокруг Троицы также сомнению не подлежит.

Сейчас в светских католических кругах к Троице относятся как к чему-то само собой разумеющемуся, безупречно верному и беспредельно архаичному. Меж тем в кругах либералов ее рассматривают как воплощение изживающей себя церковной догмы, подлежащей устранению по мере развития демократии. Конечно, троичность не умещается в эти представления. Внезапную идею объединить в одно целое Отца, Сына и призрак можно счесть интеллектуальным извращением, она как чудовище из ночного кошмара, ведь если ад представляет собой физическое насилие как таковое, то сплетение трех фигур — это какой-то интеллектуальный ужас, некая зарканенная вечность, уловленная при помощи двух повешенных друг против друга зеркал. У Данте она изображена в виде разноцветных прозрачных кругов, совпадающих друг с другом. У Донна это толстые змеи, обвившиеся одна вокруг другой. «Toto coruscet trinitas mysterio», — написал Св. Павлин («Окутанная непроницаемой тайной сияет Троица»).

Идея соединения трех лиц в одном, взятая сама по себе, отдельно от концепции искупления, должна показаться странной. Оттого что мы будем рассматривать ее как вынужденную меру, тайна Троицы не станет менее загадочной, правда, может выявиться ее назначение. Нетрудно понять, что отказ от Троичности или, по крайней мере, от Двоичности превращает Иисуса из вечного мерила нашей веры в какого-то случайного посланца Господа, некий исторический факт, которого могло и не быть. Если Сын — не Отец, искупление — не дело рук Бога, а если Он не вечен, не вечна и жертва вочеловечения и крестных мук. «Только беспредельное совершенство может спасти навеки падшую душу», — указывает Иеремия Тэйлор. Так получает оправдание догма, хотя представление о рождении Сына Отцом и Духа обоими не снимает вопроса о приоритете, не говоря уже вообще об ущербности всякой метафоры. Погрязшие в спорах о Троичности богосло-

¹ «Вечность есть чистое настоящее, а также безраздельное наслаждение бесконечностью» (лат.).

вы приходят к выводу, что для путаницы нет оснований: в одном случае речь идет о рождении Сына, в другом — о рождении Духа. Рождение Сына вечно, исхождение Духа вечно, таков высокомерный вердикт Иринея, выдумавшего деяние вне времени, какое-то искореженное *zeitloses Zeitwort*, которое можно отвергнуть, можно превознести, только нельзя обсуждать. Ириной решил спасти чудовище, и ему это удалось. Известно, что он был ненавистником философов, и сражаться с ними философским оружием ему, вероятно, доставляло особенное удовольствие.

Для христианина первый миг времени и первый миг Творения совпадают: так себе и представляешь, как Бог на досуге сматывает века в клубок «отошедшей» вечности. Что-то в этом роде не так давно было описано Валери. А Эмануэлю Сведенборгу («*Vera Christiana religio*»¹, 1771) привиделась у пределов небесной сферы фигура, пожирающая тех, кто в безрассудстве своим силится узнать, что же это делал Бог до сотворения мира.

Открытая Иринеем христианская вечность с самого начала отличалась от вечности александрийской. В качестве отдельного мира христианская вечность заняла место одного из девятнадцати атрибутов божественного ума. Выставленным на обозрение толпы архетипам грозила участь быть превращенными в божества или ангелов. Их реальность признавалась большей, чем реальность вещей тварного мира, с тем отличием, что теперь они в качестве вечных идей были включены в Творящее Слово. Альберт Великий разрабатывает понятие *universalia ante res*², утверждая, что эти универсалии вечны и предшествуют вещам тварного мира как их прообразы или формы. Он тщательно разграничивает их с *universalia in rebus*³, которые по сути те же самые понятия божественного ума, но уже получившие разнобразное временное воплощение, и больше всего заботится о том, чтобы их не смешивали с *universalia post res*⁴, формируемыми индуктивным мышлением. Временные универсалии отличаются от божественных только тем, что им недостает творящей способности; у

¹ «Истинная христианская религия» (лат.).

² Универсалии прежде вещей (лат.).

³ Универсалии внутри вещей (лат.).

⁴ Универсалии после вещей (лат.).

схоластов не возникает и тени сомнения, что категории божественного ума совпадают с категориями латыни... Впрочем, я, кажется, забегаю вперед.

Богословы не слишком утруждают себя вечностью. Обычно они ограничиваются указанием на то, что это исчерпывающее переживание всех фрагментов времени как актуальных, и мусолят Священное Писание в поисках подтверждения собственным измышлениям, при этом складывается впечатление, что Дух Святой так и не сумел толком выразить то, что так внятно говорит комментатор. Потому-то им так нравится это свидетельство то ли великолепного презрения, то ли просто долголетия: «Один день перед Господом как тысяча лет, и тысяча лет как один день», или великие слова, услышанные Моисеем и составлявшие имя Бога: «Я есмь Сущий», или те, что услышал до и после видений стеклянного моря, багряного зверя и птиц, пожирающих трупы тысяченачальников, Св. Иоанн Богослов с Патмоса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец»¹. И еще они ссылаются на определение Бозция, сформулированное им в тюрьме накануне гибели от руки палача: «Aeternitas est interminabilis vitae tota et perfecta possessio»², которое мне еще больше нравится в прочувствованной интерпретации Ханса Лассена Мартенсена: «Aeternitas est merum hodie, est immediata et lucida fructio rerum infinitarum». И напротив, богословы предпочитают умалчивать о темных речах стоявшего на море и на земле Ангела (Откровение, 10:6): «И клялся Живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». По правде говоря, в последнем стихе имеется в виду не столько время, сколько отсрочка.

В итоге вечность осталась атрибутом беспредельного Божественного ума, и хорошо известно, что целые поко-

¹ Представление о том, что человеческое время несоизмеримо с божественным, можно встретить в одной из исламских традиций цикла мирадж. Известно, что Пророк, унесенный на седьмое небо сверкающей кобылицей Ал Бурак, на небесах беседовал с населявшими их патриархами и ангелами и что потом, когда пришлось ему пересекать сферу Единого, длань Господня коснулась его плеча, оледенив холодом его сердце. Отрываясь от земли, Ал Бурак задела копытом и опрокинула кувшин с водой, но когда на обратном пути Пророк его поднял, кувшин оказался полон.

² «Вечность есть всецелое и совершенное обладание беспредельной жизнью» (лат.).

ления богословов были заняты созиданием этого Божественного ума по своему образу и подобию. Живейшим стимулом к такой деятельности была дискуссия о предопределении *ab aeterno*¹. Через четыреста лет после крестной смерти Спасителя английского монаха Пелагия посетила крамольная мысль о том, что невинные младенцы, умершие без крещения, могут спастись². Августин, епископ Гиппона опроверг его с негодованием, которым и по сей день восхищаются издатели. Указав на еретическую сущность этого учения, которое по праву не приемлют мученики и праведники, он отметил, что оно отрицает постулат, согласно которому в лице Адама согрешили и пали все люди, подчеркнул, что оно предаст возмутительному забвению положение о преемственности греха, и к тому же пренебрегает кровавым потом, муками и стоном Того, Кто умер на кресте, отвергает таинство благодати и ограничивает Божественную волю. А когда дерзкий британец воззвал к справедливости, Св. Августин отвечал ему, как всегда вежливо и патетически, что если речь зашла о справедливости, то все мы достойны геенны огненной, но что если Богу угодно кого-то из нас спасти, то, стало быть, есть на то Его неисповедимая воля, как много лет спустя безапелляционно скажет Кальвин: «А вот так, и все» (*quia voluit*). Спасутся избранные. Лицемерные богословы закрепили избранность за праведниками. Избранных на муки быть не может, это правда, что не удостоившиеся благодати идут в геенну огненную, но ведь Бог их не осуждает. Он просто о них умалчивает... Все эти доводы значительно обогатили концепцию вечности.

Но известно, что поколения язычников жили без всякого слова Божия. Было бы слишком большой смелостью считать, что они могут попасть в рай, но не меньшей смелостью полагать, что некоторых славных своими добродетелями мужей туда могли бы не допустить. (Цвингли, 1523, уповает на то, что рядом с ним на небесах окажутся Геркулес, Тесей, Сократ, Аристид,

¹ Вечно (*лат.*).

² Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Само собой разумеется, Пелагия обвинили в том, что он вклинивается между Христом и детьми, уготовляя им тем самым ад. Его имя, как и имя Афанасий (Сатанасий), располагало к каламбурам: всякий твердил, что Пелагий (*Pelagius*) значит «море зла» (*pelagus* — море).

Аристотель и Сенека.) Затруднение было устранено при помощи расширенного толкования девятого атрибута Господа (который говорит о всеведении). Всезнание распространялось на все вещи: как те, которые есть, так и те, которые могут быть. Стали искать какое-нибудь место в Писании, которое бы подтвердило это безграничное толкование, и нашли целых два: то место в первой книге Царств, где Бог говорит Давиду, что жители Кеиля предадут его, если он останется в городе, и он уходит, и второе — в Евангелии от Матфея, где проклинаются два города: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они покалялись во вретнице и пепле». Так с опорой на эти цитаты со- слагательное наклонение глагола вступает в вечность: Геркулес пребывает на небесах рядом с Ульрихом Цвингли, потому что Бог знает, что он скрупулезно соблюдал бы религиозные обряды. А Лернейская гидра ввергнута в преисподнюю, потому что не пожелала бы креститься. Это мы воспринимаем то, что есть, и во- ображаем то, что может быть, или то, что будет, меж- тем в Боге этих свойственных временному миру раз- личий нет. Его вечность одновременно схватывает (*uno intelligendi actu*) не только все события этого изо- бильного мира, но и все то, что могло бы случиться, произойди самое призрачное из них иначе, и те, кото- рые случиться не могли, тоже. Эта комбинаторная то- чечная вечность много богаче вселенной.

В отличие от платоновских вечностей, рискующих оказаться невзрачными, этой вечности угрожает опас- ность уподобиться последним страницам «Улисса», и точнее, предпоследней главе книги, этому нескончаемо- му вопроснику. Августин с его величавой сдержанно- стью укрощает буйство. Кажется, что его учение никого не обрекает на проклятие, ведь Господь, покоя свой взор на избранных, лишь пренебрегает отверженными. Бог знает все, он только предпочитает иметь дело с праведниками. Иоанн Скот Эригена, придворный фило- соф Карла Лысого, блестяще преобразует эту идею. Он полагает, что для Бога не существует определений, что Бог безразличен ко греху и ко злу. Он очерчивает сфе- ру, в которой обитают платоновские архетипы, пропо- ведует обожение, окончательное и бесповоротное припа- дение вещей тварного мира, включая черта и время, к

изначальному единству в Боге. «Divina bonitas consummabit malitiam, aeterna vita absorbebit mortem, beatitudo miseriam». Эта эклектичная вечность, включающая, в отличие от платоновских вечностей, судьбу каждой вещи и, в отличие от ортодоксии, не признающая никакого несовершенства и ущербности, была осуждена синодами Валенсии и Лангра. «De divisione naturae, libri V»¹, трактат, излагавший еретическое учение об этой вечности, был публично сожжен. Эта своевременная мера пробудила среди библиофилов интерес к учению Эригены и позволила его книге дойти до наших дней.

Вселенной потребна вечность. Богословы хорошо знают, что если Бог хоть на миг оставит своим вниманием мою руку, выводящую эти строки, она обратится в ничто, словно пожранная темным огнем. Потому-то они и говорят, что пребывание в этом мире есть постоянное творение и что глаголы «пребывать» и «творить», так враждующие здесь, на небе — одно и то же.

III

Такова изложенная в хронологическом порядке всеобщая история вечности. Точнее, вечностей, ибо каждая вечности человечество грезило двумя последовательно противоположными грезами с этим наименованием: грезой реалистов — странным томлением по незыблемым архетипам вещей, и грезой номиналистов, отрицающей истинность архетипов и стремящейся совместить в едином миге все детали универсума. Одна греза построена на реализме, доктрине, настолько нам сейчас чуждой, что я не верю в истинность любой интерпретации, включая и мою собственную, вторая, связанная с номинализмом, утверждает истинность индивидуума и условность родовых понятий. И ныне мы все, как растерянный и ошеломленный комедийный герой, который случайно обнаруживает, что говорит прозой, исповедуем номинализм *sans le savoir*². Это как бы общая предпосылка нашего мышле-

¹ О разделении природы, в 5-ти книгах (лат.).

² Не зная того (фр.).

ния, аксиома, которою мы так удачно обзавелись. А раз речь идет об аксиоме, и говорить здесь не о чем.

Такова изложенная в хронологическом порядке история вечности, предмет долгой тяжбы и споров. Бородастые мужи в епископских шапках излагали ее с амвона и кафедры, дабы посрамить еретиков и отстоять соединение трех лиц в одном, но на самом деле ее проповедовали для того, чтобы остановить утеkanie времени. «Жить — это терять время: ничего нельзя ни оставить себе, ни удержать иначе, чем в форме вечности», — читаю я у эмерсонянца испанского происхождения Сантаяны. Стоит сопоставить эти слова с гнетущим отрывком из Лукреция о тщете совокупления:

Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться
И не находит воды, чтоб унять свою жгучую жажду,
Ловит он призрак ручья, но напрасны труды и старанья:
Даже и в волнах реки он пьет и напиться не может, —
Так и Венера в любви только призраком дразнит влюбленных:
Не в состоянье они, созерцая, насытиться телом,
Выжать они ничего из нежного тела не могут,
Тщетно руками скользя по нему в безнадежных исканьях,
И наконец, уже слившись с ним, посреди наслаждений
Юности свежей, когда предвещает им тело восторги,
И уж Венеры посев внедряется в женское лоно,
Жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною,
Дышат друг другу в лицо и кусают уста в поцелуе.
Тщетны усилия их: ничего они выжать не могут,
Как и пробиться вовнутрь и в тело всем телом проникнуть¹.

Архетипы и вечность — вот два слова, сулящих наиболее устойчивое обладание. Конечно, всякая очередность безнадежно убога, а истинный душевный размах домогается всего времени и всего пространства разом.

Известно, что личность становится сама собой благодаря памяти и что ее утрата приводит к идиотии. То же самое можно сказать о вселенной. Без вечности, без этого сокровенного и хрупкого зеркала, в котором отражается то, что прошло через души людей, всеобщая история — утраченное время, в котором утрачена и наша личная история, и все это превращает жизнь в какую-то странную химеру. Чтобы закрепить ее, мало граммофонных пластинок и всевидящего глаза кинокамеры, этих отображений отображений, идолов других идолов. Вечность еще более диковинное изобретение. Это правда, что ее нельзя себе представить, но ведь и

¹ Перевод Ф. Петровского.

скромная временная последовательность тоже непредставима. Утверждать, что вечности нет, предполагать, что время, в котором были города, реки, радости и горести, полностью изымается из обращения, так же неоправданно, как и верить в то, что все это можно удерживать.

Откуда же взялась вечность? Об этом у Св. Августина ничего не говорится, он только подсказывает, что частички прошлого и будущего имеются во всяком настоящем, ссылаясь на конкретный случай — чтение стихов на память. «Это стихотворение во мне еще до того, как я начал его читать, как только я кончил его читать, оно ушло в память. Пока я его произношу, оно растягивается, то, что уже сказано, уходит в память, то, что еще надо сказать, ждет своего часа. И то, что происходит со всем стихотворением, происходит и с каждым стихом и с каждым слогом. И то же самое я скажу о вещах, длящихся дольше, чем чтение стихотворения, о судьбе каждого, слагающейся из целого ряда действий, и о человечестве, слагающемся из ряда судеб». Это доказательство тесной взаимосвязи различных времен времени все равно предполагает их последовательность, что не согласуется с образом единовременной вечности.

Я думаю, что все это идет от ностальгии. Так мечтатель и изгнанник перебирает в памяти счастливые дни, и они видятся ему *sub specie aeternitatis*¹, и он совершенно упускает из виду, что, осуществившись одна-единственная мечта, другие пришлось бы отложить на время или навсегда. Эмоциональная память тяготеет к вневременности, совмещая все радости былого в едином образе. Розовые, багряные и красные закаты, на которые я каждый день смотрю, в воспоминании окажутся одним-единственным закатом. То же самое с нашими надеждами: самые несовместимые чаяния в них беспрепятственно сосуществуют. Иными словами, желание говорит на языке вечности. И похоже на то, что именно ощущение вечности — *immediata et lucida fruitio rerum inflnitarum* — и есть причина того особого рода удовольствия, которое вызывают у нас перечисления.

¹ С точки зрения вечности (*лат.*).

IV

Мне остается изложить читателю свою собственную теорию вечности. Это бедная вечность, в ней нет ни Бога, ни вообще никакого властителя, ни архетипов. Я описал ее в 1928 году в книге «Язык аргентинцев». Здесь я воспроизвожу то, что было напечатано тогда, страницы эти носили подзаголовок «Лицом к смерти».

«Я хочу рассказать о том, что случилось со мной несколько дней тому назад. Безделица эта была слишком эфемерной и экстатической, чтобы назвать ее происшествием, слишком эмоциональной и темной, чтобы записать в идеи. Речь идет об одной сцене и тексте к ней. Текст я уже произнес, хотя до конца и полностью еще его не прочувствовал. Перехожу к описанию сцены со всеми теми временными и пространственными аксессуарами, в которых она мне предстала.

Мне припоминается это так. Накануне вечером я был в Барракасе, в месте, для меня не очень знакомом, сама удаленность которого от тех окраин, по которым мне потом довелось прогуляться, придала всему этому дню особую окраску. У меня не было никаких дел, и, так как вечер выдался мягкий и тихий, я после ужина пошел побродить и подумать. Мне не хотелось идти куда-то в определенное место, и я не стал себя ограничивать каким-то конкретным направлением, чтобы не маячила перед моим внутренним взором одна и та же картина. Я решил отправиться, как говорится, куда глаза глядят. Я намеренно держался вдали от проспектов и широких улиц, а во всем остальном положился на неисповедимую и темную волю случая. И все же, словно к чему-то родному, влекло меня в сторону кварталов, чьи названия я не имею никакой охоты забывать и преданность которым хочу сохранить в сердце. Впрочем, эти названия у меня связываются не столько с самим кварталом и местами, где прошло мое детство, но скорее с теми таинственными окрестностями, округой близкой и незапамятно далекой, над которой я полностью властвовал в уме, но не в реальности. Обратной стороной всем известного, его изнанкой — вот чем были для меня эти окраинные улицы, неведомые мне так же, как нам неведом врытый в землю фундамент собственного дома или собственный скелет. Я оказался на каком-то углу и вдохнул ночь, неслышно размышляя. Картина, очень безыскусная, оттого что я

устал, выглядела еще непритязательнее. Сама заурядность открывшегося вида делала его призрачным. Улица с низкими домами на первый взгляд казалась бедной, но вслед за впечатлением бедности рождалось ощущение счастья. Она была очень бедной и очень красивой. Все глухо молчало. На углу смутно темнела смоковница. Навесы над дверными проемами разрывали вытянутую линию стен и казались сотканными из бесконечной материи ночи. Крутая пешеходная тропинка обрывалась на улицу. Все из глины, первозданной глины еще не завоеванной Америки. Осыпавшийся проулок светился выходом на Мальдонадо. Похоже было, что на темно-бурой земле розовая глиняная стена не столько впитывала лунный свет, сколько источала свой собственный. Можно ли сыскать точнее название нежности, чем этот розовый цвет?

Я смотрел на эту смиренность. И мне подумалось, наверняка вслух: «То же самое, что и тридцать лет назад...» Я прикинул, что значит тридцать лет... Для иных стран это недавно, а для этой непостоянной части света уже давно. Кажется, пела какая-то птица, и я почувствовал к ней любовь, крохотную, как сама птичка. Точно помню, однако, что в запредельной этой тишине не слышалось ничего, кроме тоже вневременного треска цикад. Сразу пришедшее на ум «Я в тысяча восемьсот таком-то» перестало быть горсточкой неточных слов, начало облекаться плотью. Я ощутил, что я умер, я ощутил, что я сторонний наблюдатель всего того, что происходит, и почувствовал неопределенный, но отчетливый страх перед знанием, который являет собой последнюю истину метафизики. Нет, я не добрался до пресловутых истоков Времени, но мне почудилось, что я владею ускользающим или вообще несуществующим смыслом непредставимого слова «вечность». Только позже мне удалось выразить в словах свое впечатление.

Вот что это такое. Это чистое соположение однородных вещей — тихой ночи, светящейся стены, характерного для захолустья запаха жимолости, первобытной глины — не просто совпадает с тем, что было на этом углу столько лет назад, это вообще никакое не сходство, не повторение, это то самое, что было тогда. И если мы улавливаем эту тождественность, то время — иллюзия, и чтобы ее развеять, достаточно вспомнить о неотличимости призрачного вчера от призрачного сегодня.

Совершенно очевидно, что число таких состояний не

бесконечно. Самые элементарные из них — физическое страдание и физическое удовольствие, миг сильного душевного напряжения и душевной опустошенности, когда засыпаешь и когда слушаешь музыку, — более всего безличны. А отсюда следует вывод: жизнь слишком бедна, чтобы не быть бессмертной. Но и в бедности нашей мы не можем быть совершенно уверены, коль скоро время, легко опровергаемое нашими чувствами, не так-то просто опровергнуть разумом, в самой основе которого заложена идея временной последовательности. В итоге нам ничего не остается, кроме раздумья над забавным сюжетом, в который отлилась история одной туманной идеи, и мигом провидения вечности и восторга, на которые не поскупилась эта ночь».

МЕТАФОРА

Историк Снорри Стурлусон, чем только в своей путанной жизни не занимавшийся, составил в начале XII века толковый словарь традиционных оборотов исландской поэзии, из которого, к примеру, можно узнать, что «чайка вражды», «коршун крови» и «кровавый (или красный) лебедь» обозначают ворона¹, «дом кита» или «снизка островов» — море, а «обитель зубов» — рот. Сплетаясь в стихах и держась стихом, эти метафоры вызывали (точнее — должны были вызывать) радость удивления, мы же теперь не находим в них живого чувства и считаем усложненными и излишними. Приемы символистов или последователей Марино постигла, уверен, та же участь.

Бенедетто Кроче мог обвинять барочных поэтов и проповедников XVII столетия в «душевной холодности» и «не слишком остроумном остроумии»; мне же в перифразах, собранных Снорри, видится своего рода *reductio ad absurdum* *любой* попытки изобрести новые метафоры. Лугонес или Бодлер потерпели в этом, подозреваю, такой же крах, как придворные поэты Исландии.

¹ Ср. «орел с тремя крыльями» — метафорическое обозначение стрелы в персидской литературе (Browne «A literary history of Persia», II, 262 — Браун «История персидской литературы»).

В третьей книге «Риторики» Аристотель заметил, что всякая метафора возникает из ощущения сходства между различными вещами. По Мидлтоу Мерри («Countries of the Mind»¹, II, 4), это сходство бесспорно, просто мы его до поры не замечали. Как видим, для Аристотеля метафора коренится в реальности, а не в языке; обороты же, сохраненные для нас Снорри, рождены (или кажутся) работой ума, занятого не отысканием сходства, а соединением слов: какие-то (скажем, «красный лебедь» или «коршун крови») могут впечатлять, но и в них нет ни открытия, ни сообщения. Это, если будет позволено так выразиться, вещи из слов — особые и самодостаточные, как зеркало или серебряное кольцо. В самом деле: грамматик Лакофрон называет бога Геракла львом трех ночей, поскольку ночь, когда он был зачат Зевсом, длиною равнялась трем, — выражение, как ни старались толкователи, врезается в память, но, увы, не соответствует требованию Аристотеля.

В трактате «Ицзин» одно из имен мироздания — Десять Тысяч Существ. Помню, лет тридцать назад меня со сверстниками поразило, до чего же поэты пренебрегают бесчисленными сочетаниями, таящимися в этом растворе, с маниакальным упорством сосредоточиваясь на нескольких знаменитых парах: звезды и глаза, женщина и цветок, время и вода, старость и вечер, сон и смерть. Представленные (а вернее сказать — обобранные) в таком соседстве, эти сочетания свелись к обыкновенным штампам; впрочем, лучше покажу это на нескольких конкретных примерах.

В Ветхом Завете (1 Цар, 2:10) сказано: «И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом». Терпя крушение, дунайские корабельщики на тонущем судне молились: «Дай мне уснуть, а проснувшись, взяться за весла»². Братом Смерти именуют Сон в «Илиаде» Гомера — родство, засвидетельствованное, по Лессингу, на многих надгробьях. Обезьяной смерти (Affè des Todes) звал его Вильгельм Клемм, поэтому написавший: «Смерть — это первая спокойная ночь человека». Однако

¹ «Местожителства духа» (англ.).

² До нас дошла молитва и финикийских мореходов: «Мать Карфагена, возвращаю тебе весло». Судя по монетам II в. до Р. Х., под матерью Карфагена надо понимать Сидон.

до него уже Гейне говорил: «Смерть — прохладной ночи тень, жизнь — палящий летний день...» Ночью земли называл смерть де Виньи; старым креслом-качалкой (old rockingchair) зовется она в блюзах — последний сон, последний полуденный отдых негра. Не раз сравнивает смерть со сном и Шопенгауэр, приведу лишь эти слова («Welt als Wille»¹, II, 41): «Сон для человека — то же, что смерть для рода человеческого». Читатель, разумеется, уже вспомнил реплику Гамлета: «Умереть, уснуть и видеть сны, быть может», — и его страх перед беспощадностью сновидений в этом смертном сне.

Сравнение женщины с цветком — еще один образчик вечности (или банальности), вот лишь несколько примеров. «Я нарцисс Саронский, лилия долин», — говорит Суламифь в Песни песней. В сказании о Мэт, четвертой «ветви» гальского эпоса «Мабиногион», правитель ищет женщину иного мира, и кудесник «с помощью заклятий и чар создает ее из цветов дуба, цветов дрока и цветов ясеня». В пятой аванюре «Nibelungenlied»² Зигфрид впервые видит Кримхильду, о которой нам тут же сообщают, что лицо ее сверкало румянцем розы. Ариосто, вдохновленный Катулло, сравнивает девушку с сокровенным цветком («Orlando»³, I, 42); красноклювая птичка в Армидиных садах советует влюбленным поторопиться, чтобы этот цветок не увял напрасно («Jerusalemme»⁴, XVI, 13—15). В конце XVI столетия Малерб, пытаясь утешить друга, потерявшего дочь, шлет ему знаменитые слова: «И роза отцвела в срок, отведенный розам». Шекспир восхищается в саду глубоким багрецом роз и белизною лилий, но вся их прелесть для него лишь бледная тень возлюбленной, которой нет рядом (Sonnets⁵, XCVIII). «Бог вместе с розами слепил меня», — роняет царица Самофракийская на одной из страниц С инберн. Перечню, я чувствую, не будет конца⁶, поэтому поставлю точку на сце-

¹ «Мир как воля» (нем.).

² «Песнь о Нибелунгах» (нем.).

³ «Орландо» (ит.).

⁴ «Иерусалим» (ит.).

⁵ Сонеты (англ.).

⁶ Добавлю еще тонкий образ из знаменитых стихов Мильтона о похищении Прозерпины (P. L., IV, 263—271) и вот эти строки Дарио: «Но я, как время ни сурово, // ищу любви, седоволос, // и нынче замираю снова // у входа в сад твой, полный роз».

не из «Wire of Hermiston»¹, последней книги Стивенсона, где герой хотел бы знать, есть ли у Кристины душа «или она всего лишь розовощекий зверек»,

Сначала я сопоставил десять примеров, потом — девять; быть может, их внутреннее единство не так бросается в глаза, как внешние различия. Кто бы, на самом деле, мог заранее сказать, что кресло-качалка и почивший с отцами своими Давид восходят к общему истоку?

Первому памятнику европейской литературы — «Илиаде» — уже около трех тысяч лет; почему не предположить, что за этот огромный промежуток времени все возможности глубокого и неотвратимого сходства (сновидения и жизни, сна и смерти, бегущих рек и дней и т. п.) так или иначе исчерпаны и запечатлены? Это отнюдь не значит, будто запас метафор пришел к концу: способность обнаруживать (или воображать) тайное сродство понятий, как бы там ни было, неистожима. Сила и слабость этих находок коренится в самих словах, и поразительная строчка Данте («Purgatorio»¹, I, 13), где он сравнивает небо Востока с восточным камнем, незамутненным камнем, в чьем имени, по счастливой случайности, опять-таки скрыт Восток («Dolce color d'oriental zaffiro»), прекрасна, чего не скажешь о стихе Гонгоры («Поэмы одиночества», I, 6) «В сапфирном поле звездные стада», который — на мой, разумеется, вкус — попросту груб и напыщен².

Когда-нибудь напишут историю метафор, и мы пойдем, сколько истин и заблуждений таили в себе эти догадки.

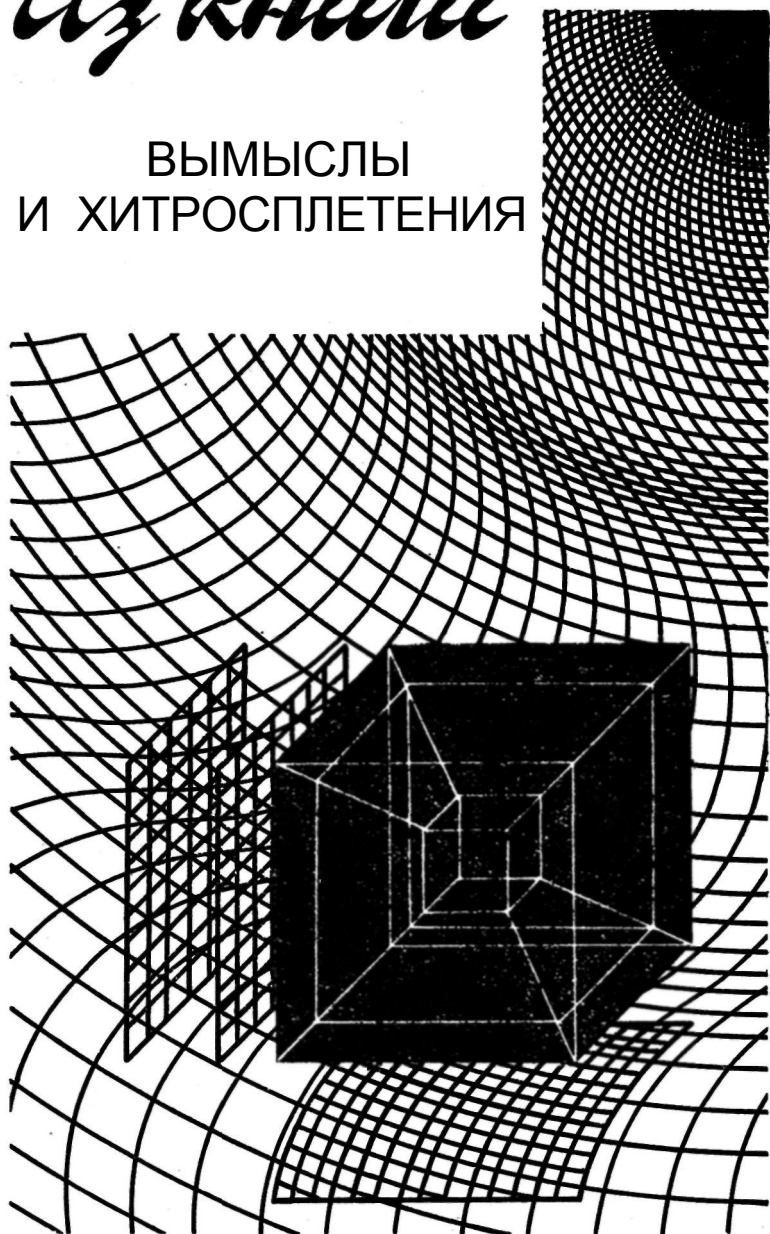
¹ «Наследник Гермистона» (англ.).

² «Чистилище» (ит.).

³ Оба стиха восходят к Писанию: «И видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх, 24:10).

Из книги

ВЫМЫСЛЫ
И ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ





ТЛЁН, УКБАР, ORBIS TERTIUS ¹



Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии. Зеркало тревожно мерцало в глубине коридора в дачном доме на улице Гаона в Рамос-Мехиа; энциклопедия обманчиво называется *The Anglo-American Cyclopaedia* (Нью-Йорк, 1917) и представляет собою буквальную, но запоздалую перепечатку *Encyclopaedia Britannica* 1902 года. Дело было лет пять тому назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес, и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволили бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жесто-

¹ Третий мир (*лат.*).

кую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью подобные открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое. Тогда Бьой Касарес вспомнил, что один из ересиархов Укбара заявил: зеркала и совокупление отвратительны, ибо умножают количество людей. Я спросил об источнике этого достопамятного изречения, и он ответил, что оно напечатано в *The Anglo-American Cyclopaedia*, в статье об Укбаре. В нашем доме (который мы сняли с меблировкой) был экземпляр этого издания. На последних страницах тома XXVI мы нашли статью об Упсале; на первых страницах тома XXVII — статью об «Урало-алтайских языках», но ни единого слова об Укбаре. Бьой, слегка смущенный, взял тома указателя. Напрасно подбирал он все мыслимые транскрипции: Укбар, Угбар, Оокбар, Оукбар... Перед уходом он мне сказал, что это какая-то область в Ираке или в Малой Азии. Признаюсь, я кивнул утвердительно, с чувством некоторой неловкости. Мне подумалось, что эта нигде не значащаяся страна и этот безымянный ересиарх были импровизированной выдумкой, которою Бьой из скромности хотел оправдать свою фразу. Бесплодное разглядывание одного из атласов Юстуса Пертеса укрепило мои подозрения.

На другой день Бьой позвонил мне из Буэнос-Айреса. Он сказал, что у него перед глазами статья об Укбаре в XXVI томе Энциклопедии. Имени ересиарха там нет, но есть изложение его учения, сформулированное почти в тех же словах, какими он его передал, хотя, возможно, с литературной точки зрения менее удачное. Он сказал: «Copulation and mirrors are abominable»¹. Текст Энциклопедии гласил: «Для одного из этих гностиков видимый мир был иллюзией или (что точнее) неким софизмом. Зеркала и деторождение ненавистны (mirrors and fatherhood are hateful), ибо умножают и распространяют существующее». Я совершенно искренне сказал, что хотел бы увидеть эту статью. Через несколько дней Бьой ее принес. Это меня удивило — ведь в подробнейших картографических указателях «*Erdkunde*»² Риттера не было и намека на название «Укбар».

¹ «Совокупление и зеркала — отвратительны» (англ.).

² «Землеведение» (нем.).

Принесенный Бьомом том был действительно томом XXVI Anglo-American Cyclopaedia. На суперобложке и на корешке порядковые слова были те же (Тор — Урс), что и в нашем экземпляре, но вместо 917 страниц было 921. На этих-то дополнительных четырех страницах и находилась статья об Укбаре, не предусмотренная (как читатель наверняка понял) словником. Впоследствии мы установили, что никаких других различий между томами нет. Оба (как я, кажется, уже говорил) — перепечатка десятого тома Encyclopaedia Britannica. Свой экземпляр Бьом приобрел на аукционе.

Мы внимательно прочли статью. Упомянутая Бьомом фраза была, пожалуй, единственным, что там поражало. Все прочее казалось весьма достоверным, было по стилю вполне в духе этого издания и (что естественно) скучновато. Перечитывая, мы обнаружили за этой строгостью слога существенную неопределенность. Из четырнадцати упомянутых в географической части названий мы отыскивали только три — Хорасан, Армения, Эрзерум, — как-то двусмысленно включенные в текст. Из имен исторических — лишь одно: обманщика и мага Смердиса, приведенное скорее в смысле метафорическом. В статье как будто указывались границы Укбара, но опорные пункты назывались какие-то неизвестные — реки да кратеры да горные цепи этой же области. К примеру, мы прочитали, что на южной границе расположены низменность Цаи-Хальдун и дельта реки Акса и что на островах этой дельты водятся дикие лошади. Это значилось на странице 918. Из исторического раздела (страница 920) мы узнали, что вследствие религиозных преследований в тринадцатом веке правоверные скрывались на островах, где до сих пор сохранились их обелиски и нередко попадаются их каменные зеркала. Раздел «Язык и литература» был короткий. Одно привлекало внимание: там говорилось, что литература Укбара имела фантастический характер и что тамошние эпосы и легенды никогда не отражали действительность, но описывали воображаемые страны Млехнас и Тлён... В библиографии перечислялись четыре книги, которых мы до сих пор не отыскивали, хотя

третья из них — Сайлес Хэйзлем: «History of the Land Called Uqbar»¹, 1874 — значится в каталогах книжной лавки Бернарда Куорича². Первая в списке «Lesbare und lesenwerthe Bemerkungen uber das Land Ugbar in Klein Asien»³ имеет дату 1641 год и написана Иоганном Валентином Андрее. Факт, не лишенный интереса: несколько лет спустя я неожиданно встретил это имя у Де Куинси («Writings»⁴, том тринадцатый) и узнал, что оно принадлежит немецкому богослову, который в начале XVII века описал вымышленную общину розенкрейцеров — впоследствии основанную другими по образцу, созданному его воображением.

В тот же вечер мы отправились в Национальную Библиотеку. Тщетно ворошили атласы, каталоги, ежегодники географических обществ, мемуары путешественников и историков — никто никогда не бывал в Укбаре. В общем указателе энциклопедии Бьоя это название также не фигурировало. На следующий день Карлос Мастронарди (которому я рассказал об этой истории) заметил в книжной лавке Корриентеса и Талькауано черные, позолоченные корешки «Anglo-American Cyclopaedia»... Он зашел в лавку и спросил том XXVI. Разумеется, там не было и намек на Укбар.

II

Какое-то слабое, все более угасающее воспоминание о Герберте Эше, инженере, служившем на Южной железной дороге, еще сохраняется в гостинице в Адрогге, среди буйной жимолости и в мнимой глубине зеркал. При жизни он, как многие англичане, вел существование почти призрачное; после смерти он уже не призрак даже, которым был раньше. А был он высок, худошав, с редкой прямоугольной, когда-то рыжей бородой и, как я понимаю, бездетный вдовец. Через каждые несколько лет ездил в Англию поглядеть там (сужу по

¹ «История страны, именуемой Укбар» (англ.).

² Хэйзлем также опубликовал «A General History of Labiriths» («Всеобщую историю лабиринтов»). — *Примеч. автора.*

³ «Приятные и достойные прочтения сведения о стране Укбар в Малой Азии» (нем.).

⁴ «Сочинения» (англ.).

фотографиям, которые он нам показывал) на солнечные часы и группу дубов. Мой отец с ним подружился (это, пожалуй, слишком сильно сказано), и дружба у них была вполне английская — из тех, что начинаются с отказа от доверительных признаний, а вскоре обходятся и без диалога. Они обменивались книгами и газетами, часто сражались в шахматы, но молча... Я вспоминаю его в коридоре отеля, с математической книгой в руке, глядящим на неповторимые краски неба. Как-то под вечер мы заговорили о двенадцатиричной системе счисления (в которой двенадцать обозначается через 10). Эш сказал, что он как раз работает над перерасчетом каких-то двенадцатиричных таблиц в шестидесятиричные (в которых шестьдесят обозначается через 10). Он прибавил, что работу эту ему заказал один норвежец в Риу-Гранди-ду-Сул. Восемь лет были мы знакомы, и он ни разу не упомянул, что бывал в тех местах.¹ Мы поговорили о пастушеской жизни, о «капангах»,¹ о бразильской этимологии слова «гаучо», которое иные старики на востоке еще произносят «гаучо» и — да простит меня Бог! — о двенадцатиричных функциях не было больше ни слова. В сентябре 1937 года (нас тогда в отеле не было) Герберт Эш скончался от разрыва аневризмы. За несколько дней до смерти он получил из Бразилии запечатанный и проштемпелеванный пакет. Это была книга ин-октаво. Эш оставил ее в баре, где — много месяцев спустя — я ее обнаружил. Я стал ее перелистывать и вдруг почувствовал легкое головокружение — свое изумление я не стану описывать, ибо речь идет не о моих чувствах, а об Укбаре и Тлэне и Орбис Терциус. Как учит ислам, в некую ночь, которая зовется Ночь Ночей, распахиваются настезь тайные врата небес и вода в кувшинах становится слаще; доведись мне увидеть эти распахнутые врата, я бы не почувствовал того, что почувствовал в этот вечер. Книга была на английском, 1001 страница. На желтом кожаном корешке я прочел любопытную надпись, которая повторялась на суперобложке: «A First Encyclopaedia of Plön, vol. XI. Hlaer to Jangr»². Год и место издания не указаны. На первой странице и на листке папиросной бумаги, прикрывавшем одну из цветных таблиц, напечатан голубой овал со следующей надписью: «Orbis

¹ Бандитах (*порт.*).

² «Первая Энциклопедия Тлэна. Том XI. Хлаер-Джангр» (*англ.*).

Tertius». Прошло уже два года с тех пор, как в томе некоей пиратски изданной энциклопедии я обнаружил краткое описание вымышленной страны, — ныне случай подарил мне нечто более ценное и трудоемкое. Ныне я держал в руках обширный, методически составленный раздел со всей историей целой неведомой планеты, с ее архитектурой и распрями, со страхами ее мифологии и звуками ее языков, с ее властителями и морями, с ее минералами и птицами и рыбами, с ее алгеброй и огнем, с ее богословскими и метафизическими контроверсиями. Все изложено четко, связно, без тени намерения поучать или пародийности.

В Одиннадцатом Томе, о котором я рассказываю, есть отсылка к предыдущим и последующим томам. Нестор Ибарра в статье в «N. R. F.»¹, ставшей уже классической, отрицает существование этих других томов; Эсекиель Мартинес Эстрада и Дриё ла Рошель опровергли — и, вероятно, с полным успехом — его сомнения. Однако факт, что покамест самые усердные розыски ничего не дают. Напрасно мы перевернули библиотеки обеих Америк и Европы. Альфонсо Рейес, устав от этих дополнительных трудов детективного свойства, предлагает всем нам сообща приняться за дело воссоздания многих недостающих пухлых томов: *ex ungue leonem*². Полушутя, полусерьезно он подсчитал, что тут хватит одного поколения «тленистов». Этот смелый вывод возвращает нас к основному вопросу: кто изобретатели Тлэна? Множественное число здесь необходимо, потому что гипотеза об одном изобретателе — этаким бесконечном Лейбнице, трудившемся во мраке неизвестности и скромности, — была единодушно отвергнута. Вероятней всего, этот *brave new world*³ — создание тайного общества астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геометров... руководимых неизвестным гением. Людей, сведущих в этих различных науках, есть множество, однако мало есть способных к вымыслу и еще, меньше способных подчинить вымысел строгому, систематическому плану. План этот так обширен, что доля участия каждого бесконечно мала. Вначале полага-

¹ «Нувель Ревю Франсез».

² По когтю — льва (обычно эта латинская поговорка переводится «по когтю узнаем льва»). *Здесь в смысле «по когтю воссоздать льва».*

³ Прекрасный новый мир (*англ.*).

ли, будто Тлён — это сплошной хаос, безответственный разгул воображения; теперь известно, что это целый мир и что сформулированы, хотя бы предварительно, управляющие им внутренние законы. Кажущиеся противоречия Одиннадцатого Тома — это, могу уверить, краеугольный камень доказательства существования и других томов — такая явная, четкая упорядоченность соблюдена в его изложении. Популярные журналы, с извинительным для них увлечением, сделали общим достоянием зоологию и топографию Тлёна — думаю, что прозрачные тигры и кровавые башни, пожалуй, не заслуживают постоянного внимания *всех* людей. Попрошу лишь несколько минут, чтобы изложить концепцию мира в Тлёне.

Юм заметил — и это непреложно, — что аргументы Беркли не допускают и тени возражения и не внушают и тени убежденности. Это суждение целиком истинно применительно к нашей земле и целиком ложно применительно к Тлёну. Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык и производные от языка — религия, литература, метафизика — предполагают исходный идеализм. Мир для них — не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временная, а не пространственная последовательность. В предполагаемом Ursprache¹ Тлёна, от которого происходят «современные» языки и диалекты, нет существительных, в нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». «Луна поднялась над рекой» звучит «хлёр у фанг аксаксакс млё», или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунело».

Вышесказанное относится к языкам южного полушария. В языках полушария северного (о праязыке которых в Одиннадцатом Томе данных очень мало) первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем наклонения прилагательных. Не говорят «луна», но «воздушное-светлое на темном-круглом» или «нежном-оранжевом» вместо «неба» или берут любое другое

¹ Праязыке (нем.).

сочетание. В избранном нами примере сочетания прилагательных соответствуют реальному объекту — но это совершенно необязательно. В литературе данного полушария (как в реальности Мейнонга) царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств — видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих: солнце и вода против груди пловца; смутное розовое свечение за закрытыми веками, ощущения человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими; с помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен. Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором «поэтический объект». Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В языках северного полушария Тлена есть все имена существительные индоевропейских языков — и еще много сверх того.

Можно без преувеличения сказать, что классическая культура Тлена состоит всего лишь из одной дисциплины — психологии. Все прочие ей подчинены. Я уже говорил, что обитатели этой планеты понимают мир как ряд ментальных процессов, развертывающихся не в пространстве, а во временной последовательности. Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления; в Тлене никто бы не понял противопоставления первого (характерного лишь для некоторых состояний) и второго — являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря: они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей.

Этот тотальный монизм, или идеализм, делает всякую науку неполноценной. Чтобы объяснить (или определить) некий факт, надо связать его с другим; такая связь, по воззрениям жителей Тлена, является последующим состоянием объекта, которое не может изменить

или пояснить состояние предшествующее. Всякое состояние ума ни к чему не сводимо: даже простой факт названия — *id est*¹ классификации — приводит к искажению. Отсюда можно было бы заключить, что в Тлэне невозможны науки и даже просто рассуждение. Парадокс заключается в том, что науки существуют, и в бесчисленном количестве. С философскими учениями происходит то же, что с существительными в северном полушарии. Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая *Philosophie des Als Ob*², способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером. Метафизики Тлэна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего. По их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы. Они знают, что всякая система есть не что иное, как подчинение всех аспектов мироздания какому-либо одному.

Даже выражение «все аспекты» не годится, ибо предполагает невозможное сочетание мига настоящего и мигнов прошедших. Также недопустимо и множественное число — «миги прошедшие», — ибо этим как бы предполагается невозможность иного представления... Одна из философских школ Тлэна пришла к отрицанию времени: по ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем³. Другая школа заявляет, что уже «все время» прошло и наша жизнь — это туманное воспоминание или отражение — конечно, искаженное и изувеченное — необратимого процесса. Еще одна школа находит, что история мира — а в ней история наших жизней и мельчайших подробностей наших жизней — записывается неким второстепенным богом в сговоре с демоном. Еще одна — что мир можно сравнить с теми криптограммами, в которых не все знаки наделены значением, и истинно только то, что происходит через каждые триста ночей. Еще одна — что, пока мы спим

¹ То есть (лат.).

² Философия Как Если Бы (нем.).

³ Рассел («The Analysis of Mind» («Анализ мышления»), 1921, с. 159) предполагает, что наша планета создана всего несколько минут тому назад и населена жителями, которые лишь «вспоминают» иллюзорное прошлое. — *Примеч. автора.*

здесь, мы бодрствуем в ином мире, и, таким образом, каждый человек — это два человека.

Среди учений Тлёна ни одно не вызывало такого шума, как материализм. Некоторые мыслители сформулировали и его — скорее пылко, чем ясно, — в порядке некоего парадокса. Чтобы легче было понять сие непостижимое воззрение, один ересиарх одиннадцатого века¹ придумал софизм с девятью медными монетами, скандальная слава которого в Тлёне сравнима с репутацией элеатских апорий. Есть много версий этого «блестящего рассуждения», в которых указываются различные количества монет и находений; привожу самую распространенную.

«Во вторник X проходит по пустынной дороге и теряет девять медных монет. В четверг Y находит на дороге четыре монеты, слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя. В пятницу Z обнаруживает на дороге три монеты. В ту же пятницу утром X находит две монеты в коридоре своего дома». Ересиарх хотел из этой истории сделать вывод о реальности — *id est* непрерывности бытия — девяти найденных монет. Он утверждал: «Абсурдно было бы думать, будто четыре из этих монет не существовали между вторником и четвергом, три монеты — между вторником и вечером пятницы и две — между вторником и утром пятницы. Логично же думать, что они существовали — хотя бы каким-то потаенным образом, для человека непостижимым, — во все моменты этих трех отрезков времени».

Язык Тлёна был не пригоден для формулирования этого парадокса — большинство так и не поняло его. Защитники здравого смысла сперва ограничились тем, что отказались верить в правдоподобие анекдота. Они твердили, что это-де словесное жульничество, основанное на необычном употреблении двух неологизмов, не закрепленных обычаем и чуждых строгому логическому рассуждению, а именно глаголов «находить» и «терять», заключающих в себе предвосхищение основания, ибо они предполагают тождество первых девяти монет и

¹ В двенадцатиричной системе «век» — это период в сто сорок четыре года. — *Примеч. автора.*

последующих. Они напоминали, что всякое существительное (человек, монета, четверг, среда, дождь) имеет только метафорическое значение. Изобличалось коварное описание «слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя», где предполагается то, что надо доказать: непрерывность существования четырех монет между вторником и четвергом. Объяснилось, что одно дело «подобие» и другое — «тождество», и было сформулировано некое *reductio ad absurdum*¹ или гипотетический случай, когда девять человек девять ночей подряд испытывают сильную боль. Разве не нелепо, спрашивали, предполагать, что эта боль всегда одна и та же?² Говорили, что у ересиарха была лишь одна побудительная причина — кощунственное намерение приписать божественную категорию «бытия» обычным монетам — и что он то отрицает множественность, то признает ее. Приводился аргумент: если подобие предполагает тождество, следовало бы также допустить, что девять монет — это одна-единственная монета.

Невероятным образом эти опровержения были еще не последними. Через сто лет после того, как проблема была сформулирована, мыслитель, не менее блестящий, чем ересиарх, но принадлежавший к ортодоксальной традиции, высказал чрезвычайно смелую гипотезу. В его удачном предположении утверждается, что существует один-единственный субъект, что неделимый этот субъект есть каждое из существ вселенной и что все они суть органы или маски божества. X есть Y и Z. Z находит три монеты, так как вспоминает, что они потерялись у X; X обнаруживает две монеты в коридоре, так как вспоминает, что остальные уже подобраны... Из Одиннадцатого Тома явствует, что полная победа этого идеалистического пантеизма была обусловлена тремя основными факторами: первый — отвращение к солипсизму; второй — возможность сохранить психологию

¹ Сведение к абсурду (*лат.*).

² В настоящее время одна из церквей Глёна платонически утверждает, что данная боль, данный зеленоватый оттенок желтого, данная температура, данный звук суть единственная реальность. Все люди в головокружительный миг совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, суть Уильям Шекспир. — *Примеч. автора.*

как основу наук; третий — возможность сохранить культ богов. Шопенгауэр (страстный и кристально ясный Шопенгауэр) формулирует весьма близкое учение в первом томе «Parerga und Paralipomena»¹.

Геометрия Тлёна состоит из двух слегка различающихся дисциплин: зрительной и осязательной. Последняя соответствует нашей геометрии и считается подчиненной по отношению к первой. Основа зрительной геометрии — не точка, а поверхность. Эта геометрия не знает параллельных линий и заявляет, что человек, перемещаясь, изменяет окружающие его формы. Основой арифметики Тлёна является понятие бесконечных чисел. Особая важность придается понятиям большего и меньшего, которые нашими математиками обозначаются с помощью $>$ и $<$. Математики Тлёна утверждают, что сам процесс счета изменяет количество и превращает его из неопределенного в определенное. Тот факт, что несколько индивидуумов, подсчитывая одно и то же количество, приходят к одинаковому результату, представляет для психологов пример ассоциации идей или хорошего упражнения памяти. Мы уже знаем, что в Тлёне объект познания единствен и вечен.

В литературных обычаях также царит идея единственного объекта. Автор редко указывается. Нет понятия «плагиат»: само собой разумеется, что все произведения суть произведения одного автора, вневременного и анонимного. Критика иногда выдумывает авторов: выбираются два различных произведения — к примеру, «Дао Дэ Цзин» и «1001 ночь», — приписывают их одному автору, а затем добросовестно определяют психологию этого любопытного *homme de lettres*...²

Отличаются от наших также их книги. Беллетристика разрабатывает один-единственный сюжет со всеми мыслимыми перестановками. Книги философского характера неизменно содержат тезис и антитезис, строго соблюдаемые «про» и «контра» любого учения. Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной.

Многие века идеализма не преминули повлиять на реальность. В самых древних областях Тлёна нередки

¹ «Афоризмы и максимы» (*греч., нем.*).

² Литератора (*фр.*).

случаи удвоения потерянных предметов. Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются «хрёнир», и они хотя несколько менее изящны, зато более удобны. Еще до недавних пор «хрёниры» были случайными порождениями рассеянности и забывчивости. Трудно поверить, что методическое их создание насчитывает едва ли сто лет, но так утверждается в Одиннадцатом Томе. Первые попытки были безрезультатны. Однако *modus operandi*¹ заслуживает упоминания. Комендант одной из государственных тюрем сообщил узникам, что в старом русле реки имеются древние захоронения, и посулил свободу тем, кто найдет что-нибудь стоящее. За несколько месяцев до начала раскопок их познакомили с фотоснимками того, что они должны найти. Эта первая попытка показала, что надежда и жадность могут помешать: после недели работы лопатой и киркой не удалось откопать никакого «хрёна», кроме ржавого колеса, из эпохи более поздней, чем время эксперимента. Эксперимент держали в секрете, а затем повторили в четырех колледжах. В трех была полная неудача, в четвертом же (директор которого внезапно скончался в самом начале раскопок) ученики откопали — или создали — золотую маску, древний меч, две или три глиняные амфоры и зеленоватый, увечный торс царя с надписью на груди, которую расшифровать не удалось. Так обнаружилась непригодность свидетелей, знающих про экспериментальный характер поисков... Изыскания в массовом масштабе производят предметы с противоречивыми свойствами; предпочтение ныне отдается раскопкам индивидуальным, даже импровизированным. Методическая разработка «хрёниров» (сказано в Одиннадцатом Томе) сослужила археологам неоценимую службу: она позволила спрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт: в «хрёнирах» второй и третьей степени — то есть

¹ Способ действий (*лат.*).

«хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна», — отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти подобны ему: «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» — предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой. Великолепная золотая маска, о которой я говорил, — яркий тому пример.

Вещи в Тлёне удваиваются, но у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали, когда люди про них забывают. Классический пример — порог, существовавший, пока на него ступал некий нищий, и исчезнувший из виду, когда тот умер. Случалось, какие-нибудь птицы или лошадь спасали от исчезновения развалины амфитеатра.

Сальто-Ориенталь, 1940

Постскрипtum, 1947. Я привожу вышеизложенную статью в том виде, в каком она была напечатана в «Антологии фантастической литературы» в 1940 году, без сокращений, кроме нескольких метафор и своего рода шуточного заключения, которое теперь звучит легкомысленно. Столько событий произошло с того времени!.. Ограничусь кратким их перечнем.

В марте 1941 в книге Хинтона, принадлежавшей Герберту Эшу, было обнаружено написанное от руки письмо Гуннара Эрфборда. На конверте стоял почтовый штемпель Оуро-Прето; в письме полностью разъяснялась тайна Тлёна. Начало этой блестящей истории было положено в некий вечер первой половины XVII века — не то в Люцерне, не то в Лондоне. Было основано тайное и благорасположенное общество (среди членов которого был Дальгарно, а затем Джордж Беркли) с целью выдумать страну. В туманной первоначальной программе фигурировали «герметические штудии», благотворительность и каббала. К этому раннему периоду относится любопытная книга Андрее. После нескольких

лет совещаний и предварительных обобщений члены общества поняли, что для воспроизведения целой страны не хватит одного поколения. Они решили, что каждый из входящих в общество должен избрать себе ученика для продолжения дела. Такая «наследственная» система оказалась эффективной; после двух веков гонений братство возродилось в Америке. В 1824 году в Мемфисе (штат Теннесси) один из участников заводит разговор с миллионером-аскетом Эзрой Бакли. Тот с некоторым презрением дает ему высказаться — и высмеивает скромность их плана. Бакли говорит, что в Америке нелепо выдумывать страну, и предложил выдумать планету. К этой грандиозной идее он прибавил вторую, плод своего нигилизма¹: обязательно хранить гигантский замысел в тайне. В то время как раз были выпущены двадцать томов Encyclopaedia Britannica; Бакли предлагает создать методическую энциклопедию вымышленной планеты. Пусть себе описывают, сколько хотят, золотоносные горные хребты, судоходные реки, луга с быками и бизонами, тамошних негров, публичные дома и доллары, но с одним условием: «Это произведение не вступит в союз с обманщиком Иисусом Христом». Бакли не верил в Бога, но хотел доказать несуществующему Богу, что смертные люди способны создать целый мир. Бакли умер от яда в Батон-Руж в 1828 году; в 1914 году общество вручает своим сотрудникам — а их было триста — последний том Первой Энциклопедии Тлёна. Издание это тайное: составляющие его сорок томов (самое грандиозное сочинение, когда-либо затеянное людьми) должны были послужить основой для другого, более подробного, написанного уже не на английском языке, но на одном из языков Тлёна. Этот обзор иллюзорного мира предварительно и был назван Orbis Tertius, и одним из его скромных демиургов был Герберт Эш — то ли как агент Гуннара Эрфьорда, то ли как член общества. То, что он получил экземпляр Одиннадцатого Тома, как будто подкрепляет второе предположение. Ну а другие тома? В 1942 году события разыгрались одно за другим. С особенной четкостью вспоминается мне одно из первых, и, по-моему, я отчасти почувствовал его пророческий характер. Про-

¹ Бакли был вольнодумец, фаталист и поборник рабства. — *Примеч. автора.*

изошло оно в особняке на улице Лаприда напротив светлого, высокого, выходявшего на запад балкона. Княгиня де Фосинья Люсенж получила из Пуатье свою серебряную посуду. Из обширных недр ящика, испещренного иностранными печатями, появлялись изящные неподвижные вещи: серебро из Утрехта и Парижа с угловатой геральдической фауной, самовар. Среди всего этого живой, мелкой дрожью спящей птицы таинственно трепетал компас. Княгиня не признала его своим. Синяя стрелка устремлялась к магнитному полюсу, металлический корпус был выпуклый, буквы на его округлости соответствовали одному из алфавитов Тлёна. Таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный. Странно тревожное совпадение сделало меня свидетелем и второго случая. Он произошел несколько месяцев спустя в харчевне одного бразильца в Кучилья-Негра. Аморим и я возвращались из Санта-Аны. Разлив реки Такуарембо вынудил нас испытать (и вытерпеть) тамошнее примитивное гостеприимство. Хозяин поставил для нас скрипучие кровати в большой комнате, загроможденной бочками и винными мехами. Мы улеглись, но до самого рассвета не давал нам уснуть пьяный сосед за стенкой, который то долго и вычурно ругался, то, завывая, распевал милонги — вернее, одну милонгу. Мы, естественно, приписывали эти нестихавшие вопли действию жгучей тростниковой водки нашего хозяина... На заре соседа нашли в коридоре мертвым. Его хриплый голос ввел нас в заблуждение — то был молодой парень. Из пояса пьяницы выпало несколько монет и конус из блестящего металла диаметром в игральную кость.

Напрасно какой-то мальчуган пытался подобрать этот конус. Его с трудом поднял взрослый мужчина. Я несколько минут подержал его на ладони; вспоминаю, что тяжесть была невыносимая, и когда конус забрали, ощущение ее еще длилось какое-то время. Вспоминаю также четко очерченный кружок — след, оставшийся на ладони. Маленький предмет такой невероятной тяжести вызывал неприятное чувство отвращения и страха. Один из местных предложил бросить его в их быструю реку. За несколько песо Аморим его приобрел. О мертвом никто ничего не знал, кроме того, что он «с границы». Эти маленькие, тяжеленные конусы (из металла,

на земле неизвестного) являются символами божества в некоторых религиях Тлена.

Здесь я заканчиваю лично меня касающуюся часть повествования. Остальное живет в памяти (если не в надеждах или страхах) всех моих читателей. Достаточно лишь напомнить или назвать следующие факты — в самых кратких словах, которые емкая всеобщая память может дополнить и развить. В 1944 году некто, изучавший газету «The American» (Нэшвилл, штат Теннесси), обнаружил в библиотеке Мемфиса все сорок томов Первой Энциклопедии Тлёна. До нынешнего дня продолжается спор, было ли то открытие случайное или же с соизволения правителей все еще туманного Orbis Tertius. Правдоподобнее второе. Некоторые невероятные утверждения Одиннадцатого Тома (например, размножение «хрёниров») в мемфисском экземпляре опущены или смягчены, можно предположить, что эти исправления внесены согласно с планом изобразить мир, который бы не был слишком уж несовместим с миром реальным. Рассеивание предметов из Тлёна по разным странам, видимо, должно было завершить этот план...¹ Факт, что мировая печать подняла невероятный шум вокруг «находки». Учебники, антологии, краткие изложения, точные переводы, авторизованные и пиратские перепечатки Величайшего Произведения Людей наводнили и продолжают наводнять земной шар. Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить. Десять лет тому назад достаточно было любого симметричного построения с видимостью порядка, — диалектического материализма, антисемитизма, нацизма, — чтобы заморозить людей. Как же не поддаться обаянию Тлёна, подробной и очевидной картине упорядоченной планеты? Бесполезно возражать, что ведь реальность тоже упорядочена. Да, возможно, но упорядочена-то она согласно законам божественным — даю перевод: законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть. Тлён — даже если это лабиринт, зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нем разбирались люди.

¹ Естественно, остается проблема «материальности» некоторых объектов. — *Примеч. автора.*

Контакты с Тлёном и привычка к нему разложили наш мир. Очарованное стройностью, человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы «первоначальный язык» (гипотетический) Тлёна, уже преподавание гармоничной (и полной волнующих эпизодов) истории Тлёна заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством; уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем — даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, в фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения... Рассеянная по земному шару династия ученых-одиночек изменила лик земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через сто кто-нибудь обнаружит сто томов Второй Энциклопедии Тлёна.

Тогда исчезнут с нашей планеты английский, и французский, и испанский языки. Мир станет Тлёном. Мне это все равно, в тихом убежище отеля в Адроге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо (печатать его я не собираюсь) «Погребальной урны» Брауна.

ПЬЕР МЕНАР, АВТОР «ДОН КИХОТА»

Посвящается Сильвине Окампо

Зримые произведения, оставленные этим романистом, можно легко и быстро перечислить. Непростительны поэтому пропуски и прибавления, сделанные мадам Анри Башелье в ее недостоверном каталоге, который некая газетка, чье «протестантское» направление отнюдь не секрет, легкомысленно рекомендовала своим жалким читателям — пусть их и немного и они кальвинисты, если не масоны или обрезанные. У истинных друзей Менара каталог этот вызвал тревогу и даже скорбь. Всего лишь вчера мы собирались у могильного мрамора, среди траурных кипарисов, и вот уже Ошибка пытается очернить его Память... Нет, решительно необходимо написать краткое опровержение.

Я понимаю, что мой скудный авторитет совсем трудно оспорить. Надеюсь все же, что мне не запретят привести два высокочтимых свидетельства. Баронесса де

Бакур (на чьих незабываемых пятницах я имел честь познакомиться с оплакиваемым нами поэтом) соизволила одобрить ниженаписанное. Графиня де Баньореджо, славившаяся среди самых утонченных умов княжества Монако (а ныне — Питсбурга, штат Пенсильвания, после недавнего брака с международным филантропом Симоном Каучем, — увы! — столь бесстыдно оклеветанным жертвами его бескорыстных операций), отказалась «ради истины и смерти» (таковы ее слова) от аристократической сдержанности, ее отличающей, и в открытом письме, опубликованном в журнале «Люкс», также выражает мне свое одобрение. Этих высоких рекомендаций, полагаю, достаточно. Я уже сказал, что «зримые» произведения Менара легко перечислить. Тщательно изучив его личный архив, я убедился, что он состоит из следующих материалов:

а) Символистский сонет, дважды печатавшийся (с вариантами) в журнале «Ла Конк» (номера за март и октябрь 1899).

б) Монография о возможности создания поэтического словаря понятий, которые были бы не синонимами или перифразами слов, образующих обычный язык, «но идеальными объектами, созданными по взаимному согласию и предназначенными для сугубо поэтических нужд» (Ним, 1901).

в) Монография об «определенных связях или родстве» мыслей Декарта, Лейбница и Джона Уилкинса (Ним, 1903).

г) Монография о «*Characteristica universalis*»¹ Лейбница (Ним, 1904).

д) Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество.

е) Монография об «*Ars magna generalis*»² Раймунда Луллия (Ним, 1906).

ж) Перевод с введением и примечаниями «Книги свободного изобретения и искусства игры в шахматы» Руй Лопеса де Сегуры (Париж, 1907).

з) Черновики монографии о символической логике Джорджа Буля.

и) Обзор основных метрических законов француз-

¹ «Универсальная символика» (лат.).

² «Великое искусство» (лат.).

ской прозы, иллюстрированный примерами из Сен-Симона («Ревю де лангаж роман», Монпелье, октябрь 1909).

к) Ответ Люку Дюртену (отрицавшему наличие таких законов), иллюстрированный примерами из Люка Дюртена («Ревю де лангаж роман», Монпелье, декабрь 1909).

л) Рукопись перевода «Компаса для культистского плавания» Кеведо, озаглавленная «La boussole des grésieux»¹.

м) Предисловие к каталогу выставки литографий Каролуса Уркада (Ним, 1914).

н) Книга «Les problèmes d'un problème»² (Париж, 1917), рассматривающая в хронологическом порядке решения знаменитой задачи об Ахиллесе и черепахе. На сегодняшний день существуют два издания этой книги — на втором в качестве эпиграфа стоит совет Лейбница: «Ne craignez point, monsieur, la tortue»³, и в нем несколько обновлены главы, посвященные Расселу и Декарту.

о) Подробное исследование «синтаксических привычек» Туле (N. R. F.⁴, март 1921). Менар там — напоминая — заявлял, что осуждение или похвала — это проявления сантиментов, не имеющие ничего общего с критикой.

п) Переложение александрийскими стихами «Cimetière marin»⁵ Поля Валери (N. R. F., январь 1928).

р) Инвектива против Поля Валери в «Страницах, уничтожающих действительность» Жака Ребуля. (Эта инвектива, кстати сказать, представляет собою точно вывернутое наизнанку подлинное его мнение о Валери. Последний так это и понял, и старая дружба обоих не подверглась никакой опасности.)

с) «Определение» графини де Баньореджо в «победоносном томе» — выражение другого его участника, Габриэле Д'Аннунцио, — который ежегодно издает эта дама, дабы исправлять неизбежные ошибки прессы и

¹ «Компас жеманниц» (фр.).

² «Проблемы одной задачи» (фр.).

³ «Не надо бояться черепахи, сударь» (фр.).

⁴ «Нувель Ревю Франсез».

⁵ «Морское кладбище» (фр.).

представить «миру и Италии» правдивый свой образ, столь часто страдающий (именно по причине ее красоты и деятельности) от ошибочных или слишком поспешных суждений.

т) Цикл превосходных сонетов, обращенных к баронессе Бакур (1934).

у) Написанные от руки стихи, эффект которых в пунктуации¹.

До сих пор речь шла (без каких-либо пропусков, кроме нескольких незначительных сонетов на случай — «гостеприимному», или «жадному» — из альбома мадам Анри Башелье) о «зримых» произведениях Менара в хронологическом порядке. Теперь перехожу к другим: к творчеству подспудному, безмерно героическому, несравненному. Но также — о, жалкие возможности человеческие! — незавершенному. Это произведение — пожалуй, наиболее показательное для нашего времени — состоит из девятой и тридцать восьмой глав первой части «Дон Кихота» и фрагмента главы двадцать второй. Знаю, что подобное утверждение может показаться нелепостью; дать пояснение этой «нелепости» и будет первой задачей моей заметки².

Замысел Менара возник под влиянием двух текстов неравного достоинства. Один из них — филологический фрагмент Новалиса (тот, что значит за номером 2005 в дрезденском издании), где намечена тема «полного отождествления» с неким определенным автором. Другой текст — одна из тех паразитарных книг, которые помещают Христа на парижский бульвар, Гамлета на Каннебьер или Дон Кихота на Уолл-стрит. Как всякий человек с хорошим вкусом, Менар питал отвращение к этим бессмысленным карнавалам, пригодным лишь на то — говаривал он, — чтобы возбуждать плебейское удовольствие анахронизмом или (еще хуже!) мочорить нас примитивной идеей, будто все эпохи

¹ Мадам Анри Башелье упоминает также французский перевод с испанского перевода «Introduction a la vie dévote» («Введение в благочестивую жизнь») святого Франциска Сачьского, сделанного Кеведо. В библиотеке Пьера Менара нет и следа подобного произведения. Наверно, то просто была плохо расслышанная шутка нашего друга. — *Примеч. автора.*

² Было у меня также тайное намерение начертить образ Пьера Менара. Но могу ли я посметь состязаться с золотыми страницами, которые, говорят мне, готовит баронесса де Бакур, или с изящным и точным карандашом Каролуса Уркада? — *Примеч. автора.*

одинаковы, либо будто все они различны. Более интересной, хотя по исполнению противоречивой и поверхностной, считал он блестящую мысль Доде: соединить в «одной» фигуре, то есть в Тартарене, Хитроумного Идальго и его оруженосца... Люди, намекавшие, что Менар посвятил свою жизнь сочинению современного «Дон Кихота», клеветают на его светлую память.

Не второго «Дон Кихота» хотел он сочинить — это было бы нетрудно, — но именно «Дон Кихота». Излишне говорить, что он отнюдь не имел в виду механическое копирование, не намеревался переписывать роман. Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали — слово в слово и строка в строку — с написанными Мигелем де Сервантесом.

«Моя цель совершенно необычна, — писал он мне 30 сентября из Байонны. — Конечный пункт всякого теологического или метафизического доказательства — внешний мир, Бог, случайность, универсальные формы — столь же избит и всем известен, как этот знаменитый роман. Единственное различие состоит в том, что философы в увлекательных книгах публикуют промежуточные этапы своей работы, а я решил их пропустить». И действительно, не осталось ни одного черновика, который отразил бы его многолетний труд.

Вначале он наметил себе относительно простой метод. Хорошо изучить испанский, возродить в себе католическую веру, сражаться с маврами или с турками, забыть историю Европы между 1602 и 1918 годами, «быть» Мигелем де Сервантесом. Пьер Менар тщательно обдумал этот способ (я знаю, что он достиг довольно приличного знания испанского языка семнадцатого века), но отверг его как чересчур легкий. Вернее, как невозможный! — скажет читатель. Согласен. Но ведь само предприятие было заведомо невозможным, и из всех невозможных способов осуществить его этот был наименее интересным. Быть в двадцатом веке популярным романистом семнадцатого века Менар счел для себя умалением. Быть в той или иной мере Сервантесом и прийти к «Дон Кихоту» он счел менее трудным путем — и, следовательно, менее увлекательным, — чем продолжать быть Пьером Менаром и прийти к «Дон Кихоту» через жизненный опыт Пьера Менара. (Это убеждение, замечу кстати, побудило его опустить автобиографическое вступление ко второй части «Дон Ки-

хота». Включить это вступление означало бы создать еще одного персонажа, Сервантеса, но также означало бы представить «Дон Кихота» производным от этого персонажа, а не от Менара. Разумеется, этот легкий путь он отверг.) «Мое предприятие, по существу, не трудно, — читаю я в другом месте его письма. — Чтобы довести его до конца, мне надо было бы только быть бессмертным». Признаться ли, что я часто воображаю, будто он его завершил и будто я читаю «Дон Кихота» — всего «Дон Кихота», — как если бы его придумал Менар? Недавно ночью, листая главу XXVI — за которую он никогда не брался, — я узнал стиль нашего друга и как бы его голос в этой необычной фразе: «речные нимфы, скорбная и влажная Эхо». Это впечатляющее сочетание эпитетов, обозначающих моральные и физические качества, привело мне на память стих Шекспира, который мы как-то вечером обсуждали:

Where a malignant and a turbaned Turk...¹

Но почему же именно «Дон Кихот»? — спросит наш читатель. У испанца такой выбор не был бы загадочен, но он бесспорно загадочен у символиста из Нима, страстного поклонника По, который породил Бодлера, который породил Малларме, который породил Валери, который породил Эдмона Тэста. Цитированное выше письмо отвечает на этот вопрос. «Дон Кихот, — объясняет Менар, — меня глубоко интересует, но не кажется мне, как бы это выразить, неизбежным. Я не могу вообразить себе мир без восклицания По:

Ah! Bear in mind this garden was enchanted!² или без «Le bateau ivre»³, или без «The Ancient Mariner»⁴, но чувствую себя способным вообразить его без «Дон Кихота». (Естественно, я говорю о своей личной способности, а не об историческом резонансе этих произведений.) «Дон Кихот» — книга случайная, «Дон Кихот» вовсе не необходим. Я могу представить себе, как его написать, могу написать его, не рискуя впасть в тавтологию. Читал я его в двенадцать или тринадцать лет, и, вероятно, целиком. Впоследствии я внимательно перечитывал отдельные главы, те, к которым пока не буду подступать-

¹ Где злобный и тюрбаноносный турок... (англ.).

² Ах, не забудь, что сад был зачарован! (англ.).

³ «Пьяный корабль» (фр.).

⁴ «Старый моряк» (англ.).

ся. Изучал я также интермедии, комедии, «Галатею», «Назидательные новеллы», бесспорно злосчастные «Странствия Персилеса и Сехизмунды» и «Путешествие на Парнас»... Общее мое впечатление от «Дон Кихота», упрощенное забывчивостью и равнодушием, можно вполне приравнять к смутному предварительному образу еще не написанной книги. Приняв как предпосылку этот образ (существование которого в моем уме никто по совести не может отрицать), остается признать, что моя задача гораздо труднее, чем задача Сервантеса. Мой покладистый предшественник не уклонялся от помощи случая: он сочинял свое бессмертное произведение немного *a la diable*¹, увлеченный инерцией языка и своей фантазией. Мною же руководит таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман. Моя игра в одиночку будет подчинена двум полярно противоположным правилам. Первое разрешает мне пробовать любые варианты формального или психологического свойства; второе требует жертвовать ими ради «оригинального» текста и обосновать непреложными доводами их уничтожение... К этим искусственным путям надо прибавить еще одно родственное им ограничение. Сочинить «Дон Кихота» в начале семнадцатого века было предприятием разумным, необходимым, быть может, фатальным; в начале двадцатого века оно почти неосуществимо. Не напрасно ведь прошли триста лет, заполненных сложнейшими событиями. Среди них — чтобы назвать хоть одно — самим «Дон Кихотом».

Несмотря на эти три препятствия, фрагментарный «Дон Кихот» Менара — произведение более тонкое, чем у Сервантеса. Сервантес попросту противопоставляет рыцарским вымыслам убогую провинциальную реальность своей страны; Менар избирает в качестве «реальности» страну Кармен в век Лепанто и Лопе. Сколько всяких испанских штучек подсказал бы подобный выбор Морису Барресу или доктору Родригесу Ларрете! Менар — что совершенно естественно — их избегает. В его произведении нет ни цыганщины, ни конкистадоров, ни мистиков, ни Филиппа Второго, ни аутодафе. Местным колоритом он пренебрегает или запрещает его себе. Это пренебрежение указывает историческому

¹ Наудачу (*фр.*).

роману новый путь. Это пренебрежение — безапелляционный приговор «Саламбо».

Не меньше поражают отдельные главы. Рассмотрим, например, главу XXXVIII первой части, «где приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености». Известно, что Дон Кихот (как Кеведо в аналогичном и более позднем пассаже из «Часа воздаяния») решает дело в пользу военного поприща, а не учености. Сервантес — старый воин, его приговор понятен. Но чтобы Дон Кихот у Пьера Менара — современника «*La trahison des clercs*»¹ и Бертрана Рассела — снова вдавался в эти туманные софистические рассуждения! Мадам Башелье усмотрела в них разительное и очень типичное подчинение автора психологии героя; другие (отнюдь не проищательные!) — просто «копию» «Дон Кихота»; баронесса де Бакур — влияние Ницше. К этому третьему толкованию (на мой взгляд, неопровержимому), сам не знаю, решусь ли прибавить четвертое, вполне согласующееся с почти божественной скромностью Пьера Менара — его грустной или иронической манерой пропагандировать идеи, являющиеся точной противоположностью тех, которых придерживался он сам. (Напомним еще раз о его диатрибе против Поля Валери на страницах эфемерного сюрреалистического журнальчика Жака Ребуля.) Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию. (Более двусмыслен, скажут его хулители; но ведь двусмысленность — это богатство.)

Сравнивать «Дон Кихота» Менара и «Дон Кихота» Сервантеса — это подлинное откровение! Сервантес, к примеру, писал («Дон Кихот», часть первая, глава девятая):

«...истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

Написанный в семнадцатом веке, написанный «таллантом-самоучкой» Сервантесом, этот перечень — чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет:

«...истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого,

¹ «Предательство клерков» (*фр.*).

пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

История — «мать» истины; поразительная мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая истина для него не то, что произошло, она то, что, как мы полагаем, произошло.

Заключительные слова — «пример и поучение настоящему, предостережение будущему» — нагло прагматичны.

Столь же ярок контраст стилей. Архаизирующий стиль Менара — иностранца как-никак — грешит некоторой аффектацией. Этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи.

Нет такого интеллектуального упражнения, которое в итоге не принесло бы пользы. Любое философское учение — это сперва некое правдоподобное описание вселенной; проходят годы, и вот, оно всего лишь глава — если не абзац или не одно имя — в истории философии. В литературе подобное устаревание еще более явно. «Дон Кихот», говорил мне Менар, был прежде всего занимательной книгой; ныне он — предлог для патристических тостов, для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных изданий. Слава — это непонимание, а может, и того хуже.

В этих нигилистических выпадах нет ничего нового — удивительно решение, к которому они привели Пьера Менара. Он вознамерился стать выше тщеславия, подстерегающего человека во всех его трудах, он затеял дело сложнейшее и заведомо пустое. Всю свою добросовестность и часы бдения он посвятил тому, чтобы повторить на чужом языке уже существующую книгу. Черновикам не было счета, он упорно правил и рвал в клочки тысячи исписанных страниц¹. Он никому не позволял взглянуть на них и позаботился, чтобы они его не пережили. Я пытался их восстановить, но безуспешно.

И вот я размышляю над тем, что «окончательного» «Дон Кихота» надо было бы рассматривать как своего

¹ Вспоминаю его тетради в клеточку, его помарки черными чернилами, его особые корректорские знаки и мелкие, как мошкара, буковки. Он любил в сумерки гулять по окраинам Нима — каждый раз брал с собою тетрадь и разводил веселый костер. — *Примеч. автора.*

рода палимпсест, в котором должны сквозить контуры — еле заметные, но поддающиеся расшифровке — «более раннего» почерка нашего друга. К сожалению, лишь некий второй Пьер Менар, проделав в обратном порядке работу своего предшественника, сумел бы откопать и воскресить эту Трою...

«Думать, анализировать, изобретать (писал он мне еще) — это вовсе не аномалия, это нормальное дыхание разума. Прославлять случайный плод подобных его функций, копить древние и чужие мысли, вспоминать с недоверчивым изумлением то, что думал doctor universalis, — означает признаваться в нашем слабосилии или в нашем невежестве. Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет».

Менар (возможно, сам того не желая) обогатил кропотливое и примитивное искусство чтения техническим приемом нарочитого анахронизма и ложных атрибуций. Прием этот имеет безграничное применение — он соблазняет нас читать «Одиссею» как произведение более позднее, чем «Энеида», и книгу «Le jardin du Centaure»¹ мадам Анри Башелье, как если бы ее написала мадам Анри Башелье. Этот прием населяет приключениями самые мирные книги. Приписать Луи Фердинанду Селину или Джеймсу Джойсу «О подражании Христу» — разве это не внесло бы заметную новизну в эти тонкие духовные наставления?

В КРУГУ РАЗВАЛИН

And if he left off dreaming about you...
*Through the Looking-Glass, IV*²

Никто не видел, как он приплыл в литой темноте; никто не видел, как бамбуковый челнок погружался в священную топь, но уже через несколько дней все вокруг рассказывали, что молчаливый человек прибыл с юга и родился в одной из бесчисленных деревушек вверх по реке, на безжалостных кручах, где язык зенд не затронут греческим и редко встретишь проказу. А на

¹ «Сад Кентавра» (*фр.*).

² И если он прекратит грезить о вас... («В Зазеркалье», IV.) (*англ.*).

самом деле седой человек пал на топкую кромку, вскарабкался по склону, не отводя (и, видимо, не замечая) раздиравших тело колючек, и, шатаясь и кровоточа, доташился до круглого сооружения, когда-то цвета пламени, а теперь — пепла, которое венчала каменная фигура то ли тигра, то ли коня. Здание было храмом, чьи стены изуродовали давние пожары и осквернили болотные заросли, а божество уже много лет не принимало людских почестей. Чужак рухнул у цоколя. Разбудило его высоко стоявшее солнце. Он безучастно убедился, что раны зарубцевались, прикрыл поблекшие глаза и снова уснул — не по слабости плоти, но усилием воли. Теперь он знал, что именно этот храм и нужен для его несокрушимого замысла, знал, что бессчетные деревья вниз по реке все-таки не стерли развалин другого подходящего для его целей храма, чьи боги тоже обуглены и мертвы; знал, что первейшая забота сейчас — сон. Глубокой ночью его разбудил безутешный крик птицы. По следам босых ступней, смоквам и кувшину рядом он понял, что окрестные жители с почтением следили за сном пришельца, ища его покровительства или опасаясь колдовства. Он похолодел от страха и, отыскав в щербатой стене погребальную нишу, залез в нее и укрылся неизвестными листьями.

Ведший его замысел был хоть и сверхъестественным, но не безнадежным. Он намеревался создать во сне человека: создать во всей филигранной полноте, чтобы потом приобщить к действительности. Этот колдовской план поглощал его целиком: поинтересуйся кто-нибудь его именем или какой-то деталью из прежней жизни, и он бы, пожалуй, не сразу ответил. Разрушенный и безлюдный храм вполне устраивал чужака, как и соседство земледельцев, взявшихся удовлетворять его скромные аппетиты. Подношений из риса и плодов с избытком хватало телу, отданному единственной задаче — спать и грезить.

Вначале сны были сумбурными и лишь понемногу обрели связность. Пришелец видел себя посреди круглого амфитеатра, чем-то напоминавшего сожженный храм: тысячи учеников томили ряды скамей, лица последних проступали в бесконечной дали и на высоте звезд, но рисовались в мельчайших подробностях. Он читал лекции по анатомии, космографии, магии; они усердно слушали и старались отвечать толково, словно

понимая важность испытания, которое освободит одного из них от бесплодного и призрачного удела, включив в реальность. И во сне, и наяву наставник взвешивал ответы своих видений, не позволяя плутам себя провести и угадывая в замешательстве иных пробуждающийся разум. Он искал душу, достойную причащения к миру.

Ночей через девять-десять он не без горечи признался себе, что от учеников, покорно впитывающих уроки, ждать нечего, — надеяться можно лишь на тех, кто время от времени решается ему осмысленно возражать. Первые, хоть и заслуживают любви и тепла, никогда не поднимутся до уровня личности, последние сумеют несколько больше. Однажды вечером (вечера теперь тоже отводились снам, а бодрствованию — лишь час-другой поутру) он навсегда распустил свою огромную призрачную школу и остался с единственным питомцем. Это был молчаливый, смуглый, порою упрямый мальчик с тонким лицом, напоминающим самого сновидца. Внезапное исчезновение однокашников не обескуражило его; успехи, заметные уже после нескольких частных уроков, поразили наставника. Но крах приближался. Однажды человек выкарабкался из топкой пустыни сна, увидел бессмысленный луч заката, который на миг спутал с рассветом, и понял, что не спал. Всю ночь и весь следующий день его изводила невыносимая ясность бессонницы. Он попробовал углубиться в чашу, выбиться из сил, но едва сумел найти в зарослях цикуты несколько минут некрепкого забытья с беглыми, полужащачочными видениями. Все было бесполезно. Он попробовал вновь собрать свою аудиторию, но не успел сложить и нескольких поучительных слов, как лица расплылись и стерлись. Почти не смыкаясь, его стариковские глаза горели от злых слез.

Он понял, что придать форму бессвязному, мутящему разуму веществу, из которого созданы наши сны, — самая трудная среди задач, выпадающих на долю человека, даже если он постиг все тайны неба и земли; это труднее, чем вить веревку из песка или чеканить бесплотный ветер. Понял, что первый провал был неизбежен. Сновидец поклялся стереть из памяти исполинское наваждение, с самого начала сбившее его с пути, и стал искать другой подход. Но прежде он посвятил месяц восстановлению сил, растрченных в пустом бре-

ду. Он выбросил из головы даже мысль о сновидениях и тут же впал в забытие на добрую часть дня. В редкие минуты, когда сны ему все-таки снились, он старался на них не задерживаться. Чтобы вернуться к замыслу, он дождался полнолуния. На закате омылся в водах реки, почтил небесных богов, произнес заветные звуки всемогущего имени и уснул. Тут же ему представилось бьющееся сердце.

Он видел его — живое, крохотное, затаенное, размером с кулак и цвета коралла — в полутьме человеческой плоти без лица и пола; раз за разом он с терпением и любовью воспроизводил его четырнадцать безоблачных ночей. И с каждой ночью сердце проступало все подробней. Он не касался его рукой, лишь находя, окидывая и порой подправляя глазами. Он обрисовывал, обживал его взглядом, поворачивал то так, то этак, то приближаясь, то отходя. Только через две недели он обвел пальцем легочную артерию и все сердце целиком, изнутри и снаружи. Создатель остался доволен. Он прервал свой труд на одну ночь, а потом снова представил себе сердце, испросил благословение звезд и принялся за другие части тела. К концу года он дошел до костяка, до глазниц. Самыми трудными оказались неисчислимые волоски на коже. И вот перед ним был весь человек разом — юноша, пока еще недвигающийся, не говорящий и не открывающий глаз. Ночь за ночью сновидец любовался им, спящим.

В космогониях гностиков творящие силы замешивают из красной глины Адама, который не держится на ногах; таким же нескладным, грубым и безыскусным, как тот, глиняный, был и этот сновиденный Адам, сработанный кудесником ночь за ночью. Однажды вечером создатель чуть было не разбил свое творение, но удержался. (И напрасно.) Принеся благодарственные жертвы божествам земли и воды, он пал к изножью фигуры то ли тигра, то ли коня и взмолился о его неведомой поддержке. Тем же вечером изваяние приснилось ему — живое, движущееся: не чудовишный выродок тигра и коня, нет, оба этих диких существа разом, а кроме того, бык, роза и ураган. Многоликий Бог рассказал, что его земное имя — Огонь, что в этом круглом храме (и других таких же) ему воздавались почести и приносились жертвы и он в силах своим волшебством оживить сновиденный призрак так, что

все, за вычетом сновидца и самого Огня, будут видеть в нем человека из плоти и крови. Он наказал обучить создание обрядам и отправить его в другой разрушенный храм, чьи пирамиды еще сохранились вниз по реке, дабы хоть один голос славил Бога в обезлюдевшем святилище. На этом призрак, приснившийся спящему, очнулся.

Кудесник исполнил наказ. Он посвятил положенный срок (составивший два года) тому, чтобы приобщить новорожденного к таинствам мира и культу огня. В душе он уже страдал от будущей разлуки. Под предлогом учебы день за днем продлевал часы, отведенные сну. Взялся переделывать у своего творения правое плечо, как будто не совсем удачное. Иногда его посещало странное чувство, словно все это уже было... И все-таки дни наполняла радость; он закрывал глаза и говорил себе: «Сейчас я встречаюсь с сыном». А порой: «Зачатый мною сын ждет и не может жить без меня».

Мало-помалу он приучал его к реальности. Однажды приказал ему водрузить флаг на отдаленной вершине. Поутру флаг полыхал над ней. Устраивал он и другие похожие опыты, раз от разу все рискованней. С горечью он признался себе, что сын готов явиться в мир — и как можно скорей. Той же ночью сновидец впервые поцеловал его и отправил в другой храм, чьи развалины белели вниз по реке, далеко за непроходимой чащей и топью. Но прежде (чтобы тот никогда не догадался, что он лишь призрак, и считал себя обычным человеком) создатель начисто стер из его памяти годы ученичества.

Его удовлетворение и спокойствие перемежались хандрой. В сумерках поутру и на закате он склонялся перед каменным изваянием, воображая, что его призрачный сын, наверное, исполняет эти же обряды в кругу других развалин вниз по реке; ночью ему не снилось ничего или то же, что всем на свете. Звуки и краски окружающего делались все глуше: как будто далекий сын поглощал крупички его души. Цель жизни была достигнута, он коротал дни в странном самозабвении. Через какое-то время, которое одни рассказчики измеряют в годах, а другие — в пятилетиях, его разбудили среди ночи двое приплывших по реке: лиц он не разглядел, а услышал лишь рассказ о человеке из Северного храма, способном ходить по костру, не об-

жигаясь. Кудесник тут же вспомнил слова Бога. Вспомнил: среди всего, населяющего землю, только Огонь знает, что его сын — призрак. Воспоминание сначала успокоило, а потом вдруг пронзило его. Он испугался, как бы сын не стал размышлять о своем необыкновенном отличии и ненароком не понял, что он — простая подделка. Быть не человеком, а всего лишь отражением чьего-то сна — какая обидная, мутящая разум участь! Каждый отец беспокоится о детях, которых в замешательстве или радости произвел (а точнее — допустил) родиться на свет; стоит ли удивляться, что кудесник тревожился о будущем сына, жилка за жилкой и черта за чертой созданного им за тысячу и одну затаенную ото всех ночь.

Конец раздумий наступил внезапно, хотя были и предвестья. Сначала (после долгой засухи) — отдаленное, легкое, как птица, облачко над вершиной; потом — небо к югу, тронутое розовым, будто десны леопарда; еще позже — клубы дыма, проржавившего сталь ночей, и, наконец, паническое бегство животных. Так повторялось случившееся много веков назад. Развалины храма, посвященного Богу Огня, были вновь сметены огнем. Утром — без единой птицы — кудесник увидел, что он — в кольце стен, охваченных пламенем. На миг он заколебался, не укрыться ли в реке, но сказал себе, что смерть пришла увенчать его старость и освободить от трудов. И шагнул навстречу огненным ключьям. Но те не ужалили тела — они приласкали, и обняли его, не опаяя и не пепеля. С облегчением, с покорностью он понял, что и сам — лишь призрак, снящийся другому.

ЛОТЕРЕЯ В ВАВИЛОНЕ

Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом; изведаль я и всемогущество, и позор, и темницу. Смотрите, на правой руке у меня нет указательного пальца. Смотрите, сквозь дыру в плаще видна красная татуировка на животе — это вторая буква, «бет». В ночи полнолуния она дает мне власть над людьми, чей знак буква «гимель», но подчиняет меня людям с «алефом», которые в безлунные ночи должны покоряться людям с «гимелем». В предрассветных сумерках, в подземелье, я убивал перед черным камнем

священных быков. В течение лунного года я был объявлен невидимым: я кричал, и мне не отвечали, воровал хлеб, и меня не карали. Я познал то, чего не знают греки, — неуверенность. В медной камере, в виду платка безмолвного душителя, меня не покидала надежда; в потоке наслаждений — панический страх. Как сообщает с восхищением Гераклид Понтийский, Пифагор вспоминал, что он был Пирром, а прежде Эвфорбием, а еще прежде каким-то другим смертным; мне, чтобы припомнить подобные превратности, вовсе не требуется призывать на помощь смерть или хотя бы обман.

Жестокой этой изменчивостью моей судьбы я обязан одному заведению, которое в других государствах неизвестно либо же действует скрыто и несовершенно: лотерее. Ее историей я не занимался; знаю, что маги не могут прийти к согласию, знаю, что о ее грандиозных целях мне известно столько же, сколько человеку, не сведущему в астрологии, известно о луне. Я уроженец умопомрачительной страны, где над жизнью всех господствует лотерея; до нынешнего дня я думал о ней не больше, чем о непостижимом поведении богов или своего сердца. Теперь же, вдали от Вавилона и его милых нравов, я с некоторым удивлением размышляю о лотерее и о кощунственных догадках, о которых бормочут в сумерках люди в масках.

Отец мой рассказывал, что в древности — речь идет о веках или о годах? — лотерея была в Вавилоне игрою плебеев. Он говорил (правда ли это, не знаю), будто цирюльники в обмен на новые монеты давали квадратики из кости или пергамента с начертанными на них знаками. Разыгрывали их при полном свете дня: счастливыцы получали, по чистому произволу случая, чеканные серебряные монеты. Как видите, процедура была самая простая.

Естественно, что подобные «лотереи» потерпели неудачу. У них не было никакой моральной силы. Они не были обращены ко всем чувствам человека, только к надежде. Из-за общественного равнодушия дельцы, учредившие эти торгашеские лотереи, стали терпеть убытки. Кто-то попробовал внести новшество: включить в список счастливых жребиев несколько несчастливых. Благодаря этой реформе покупатели нумерованных квадратиков получали двойной шанс — либо выиграть некую сумму, либо уплатить штраф, иногда немалый.

Эта небольшая опасность (на каждые тридцать счастливых номеров приходился один проигрышный), как и следовало ожидать, оживила интерес публики. Вавилоняне увлеклись игрой. Того, кто не приобретал квадратов, считали трусом, малодушным. Со временем это вполне оправданное презрение пошло по двум путям. Презирали того, кто не играл, но также презирали проигравших, которые платили проигранное. Компании (так ее стали тогда называть) приходилось защищать интересы выигравших, ибо те не могли получить свои выигрыши, если в кассе не было денег почти на всю сумму проигрышей. Стали подавать на проигравших в суд: судья присуждал их к выплате основного штрафа плюс судебные расходы или к нескольким дням тюрьмы. Чтобы надуть Компанию, все выбирали тюрьму. Бравата немногих стала причиной всемогущества Компании, ее религиозной, метафизической власти.

Прошло немного времени, и в сообщениях о жеребьевках уже не содержалось списка денежных проигрышей, а только указывалось количество дней тюрьмы на каждый несчастливый номер. Эта лаконичность, в свое время почти не замеченная, имела важность необыкновенную. *Так в лотерее впервые появились элементы, не связанные с деньгами.* Успех был огромный. Под давлением тех, кто играл, Компании пришлось увеличить количество несчастливых номеров.

Всем известно, что народ Вавилона весьма привержен логике и даже симметрии. То, что счастливые номера получали выражение в кругленьких монетах, а несчастливые — в днях и ночах тюремного заточения, представлялось несообразностью. Некоторые моралисты выразили мнение, что обладание монетами не всегда обеспечивает блаженство и что другие формы удачи, возможно, дают более прямой эффект.

В плебейских кварталах ширилась тревога иного рода. Члены жреческой коллегии умножали ставки и наслаждались всеми превратностями и страха и надежды; бедняки (с понятной и неизбежной завистью) понимали, что они исключены из этих бурных, столь восхитительных переживаний. Справедливое стремление к тому, чтобы все — и бедные, и богатые — равно участвовали в лотерее, привело к волнениям, память о коих не изгладили годы. Некоторые упрямы не понимали (или притворялись, будто не понимают), что речь

идет о новом порядке, о необходимом историческом этапе... Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать его по велению судьбы... Начались беспорядки, произошло прискорбное кровопролитие, но в конце концов вавилонский народ настоял на своем вопреки сопротивлению богачей. Народ достиг полного осуществления своих благородных целей. Прежде всего он добился того, чтобы Компания взяла на себя всю полноту власти. (Эта централизация была необходима ввиду сложности нового способа действий.) Во-вторых, он добился, чтобы лотерея была тайной, бесплатной и всеобщей. Продажа жребиев за деньги была упразднена. Всякий свободный человек, пройдя посвящение в таинства Бела, автоматически становился участником священных жеребьевок, которые совершались в лабиринтах этого Бога каждые шестьдесят ночей и определяли судьбу человека до следующей жеребьевки. Последствия были непредсказуемы. Счастливый розыгрыш мог возвысить его до Совета магов, или дать ему власть посадить в темницу своего врага (явного или тайного), или даровать свидание в уютной полутьме опочивальни с женщиной, которая начала его тревожить или которую он уже не надеялся увидеть снова; неудачная жеребьевка могла принести увечье, всевозможные виды позора, смерть. Иногда один и тот же факт — убийство в кабаке некоего А, таинственное возвышение некоего Б — был остроумным соединением тридцати или сорока жребиев. Подобное комбинирование — дело нелегкое, но надо напомнить, что члены Компании были (и продолжают быть) всемогущи и хитроумны. Во многих случаях сознание того, что дарованные тебе блага — это простая игра случая, умалило бы их власть; дабы устранить эту нежелательную возможность, агенты Компании пользовались внушением и магией. Их действия, их маневры держались в тайне. Чтобы выведать заветные надежды и заветные страхи каждого, пользовались услугами астрологов и шпионов. Имелись некие каменные изваяния львов, имелось священное отхожее место, именовавшееся «Кафека», имелись трещины в заброшенном,

пыльном водопроводе, которые, по всеобщему убеждению, *сообщались с Компанией*: злобные или благорасположенные люди приносили в эти места свои доносы. Эти сведения, неравноценные по своей правдивости, хранились в архиве, распределенные в алфавитном порядке.

Трудно поверить, но некоторые роптали. Компания, с присущей ей сдержанностью, не отвечала прямо. Ее деятели предпочли набросать на отходах мастерской по изготовлению масок краткую отповедь, которая ныне фигурирует среди священных текстов. Сей догматический фрагмент гласил, что лотерея есть интерполяция случая в миропорядок и что наличие ошибок не противоречит случаю, но, напротив, укрепляет его. Также там говорилось, что и львы, и священная клоака, хотя и не дезавуируются Компанией (которая не отказывается от права обращаться к ним), однако функционируют без официальной гарантии.

Это заявление успокоило тревогу общества. Кроме того, оно имело и другие последствия, авторами, возможно, не предвиденные. Оно глубоко изменило дух и операции Компании. Я очень спешу — нас предупредили, что корабль готовится сняться с якоря, — однако попытаюсь это объяснить.

Как ни покажется невероятным, но до той поры никто не пытался создать общую теорию игр. Вавилонянин не склонен к умозрительным операциям. Он читит приговоры случая, препоручает им свою жизнь, свою надежду, свой панический страх, однако ему в голову не приходит исследовать ни запутанные закономерности случая, ни движение вращающихся шаров, которые его нам открывают. И все же вышеупомянутое официальное заявление возбудило много споров юридически-математического характера. В одном из них возникло следующее предположение: если лотерея является интенсификацией случая, периодическим введением хаоса в космос, то есть в миропорядок, не лучше ли, чтобы случай участвовал во всех этапах розыгрыша, а не только в одном? Разве не смехотворно, что случай присуждает кому-либо смерть, а обстоятельства этой смерти — секретность или гласность, срок ожидания в один час или в один год — неподвластны случаю? Эти столь

справедливые сомнения вызвали в конце концов значительную реформу, сложности которой (усугубленные вековым опытом) доступны лишь немногим специалистам, но я все же попробую их изложить вкратце, хотя бы схематически.

Вообразим первую жеребьевку, при которой кому-то выпала смерть. Для исполнения приговора прибегают ко второй жеребьевке, в которой предлагается (к примеру) участие девяти возможных исполнителей. Из этих исполнителей четверо могут затеять третью жеребьевку, которая укажет имя палача, у двоих прежнее неблагоприятное решение может смениться счастливым (нахождением клада, к примеру), еще один должен будет сделать смерть более мучительной (то есть прибавить к ней позор или украсить ее пытками), другие могут отказаться свершить казнь... Но это только схема. В действительности число жеребьевок бесконечно. Ни одно решение не является окончательным, все они разветвляются, порождая другие. Невежды предположат, что бесконечные жеребьевки требуют бесконечного времени; на самом же деле достаточно того, чтобы время поддавалось бесконечному делению, как учит знаменитая задача о состязании с черепахой. Эта бесконечность изумительно согласуется с причудливым чередованием чисел Случая и Небесным Архетипом лотереи, которому поклоняются платоники... Искаженное эхо наших ритуалов, кажется, отозвалось на берегах Тибра: Элий Лампридий в «Жизнеописании Антонина Гелиогабала» сообщает, что этот император писал на раковинах участь, которую он предназначал своим гостям, так что один получал десять фунтов золота, а другой — десять мух, десять сурков, десять медведей. Следует напомнить, что Гелиогабал воспитывался в Малой Азии, среди жрецов Бога-эпонима.

Бывают также жеребьевки безличные, по целям неопределенные: по одной требуется бросить в воды Евфрата сапфир из Тапробаны; по другой — стоя на башне, отпустить на волю птицу; по третьей — убирать (или прибавлять) каждые сто лет песчинку в бесчисленном их количестве на морском берегу. Последствия порой бывают ужасными.

При благотельном воздействии Компании наша жизнь полна случайностей. Купивший дюжину амфор дамасского вина не удивится, если в одной из них окажется талисман или гадюка; писец, записывающий контракт, не преминет вставить неверную дату; я сам, в этом поспешном сообщении, кое-где подбавил блеску, кое-где — жестокости. А может быть, и некоего таинственного колорита... Наши историки, самые пронциательные в мире, придумали способ исправлять влияние случая; ходят слухи, что их действия по этому методу достойны доверия (в общем), хотя, разумеется, разглашаются они не без толики лжи. Впрочем, нет ничего более зараженного вымыслом, чем история Компании... Палеографический документ, откопанный в храме, может оказаться продуктом вчерашней жеребьевки или жеребьевки столетней давности. Ни одна книга не издается без разночтений в каждом из экземпляров. Переписчики приносят тайную клятву пропускать, интерполировать, исказить. Применяется также прямой обман.

Сама Компания, соблюдая скрытность божества, избегает всякой рекламы. Вполне понятно, что ее агенты — все тайные: приказы, издаваемые ею постоянно (а может быть, и непрерывно), не отличаются от тех, которые распространяются обманщиками. Да и кто может похвалиться, что он просто обманщик? Пьяница, вдруг сочинивший нелепый указ, человек, внезапно проснувшийся и душащий своими руками спящую рядом с ним женщину, — не исполняют ли они часом тайное решение Компании? Эта бесшумная деятельность, сопоставимая с действиями Бога, возбуждает всевозможные догадки. Одна из них внушает чудовищную мысль, будто уже много веков Компания не существует и будто священный беспорядок в нашей жизни — чисто наследственный, традиционный; согласно другой, Компания вечна и будет существовать до последней ночи, когда последний Бог уничтожит мир. Еще одна версия гласит, что Компания всемогуща, но влияет только на ничтожные явления: на крик птицы, на оттенки ржавчины и пыли, на утреннюю дремоту. Другая, высказываемая устами маскирующихся ереси-

архов, состоит в том, что Компания *никогда не существовала и не будет существовать*. Еще одна, не менее гнусная, убеждает нас, что совершенно безразлично, подтверждаем мы или отрицаем реальность этой таинственной корпорации, ибо весь Вавилон — не что иное, как бесконечная игра случайностей.

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ГЕРБЕРТА КУЭЙНА

Герберт Куэйн скончался в Роскоммоне; я убедился — без особого удивления, — что «Литературное приложение» к «Таймс» уделило ему лишь полколонки некрологического сожаления, в котором нет ни одного хвалебного эпитета, не приглушенного (или же сурово приструненного) наречием. «Спектейтор» в соответствующем номере, бесспорно, не столь лаконичен и, пожалуй, более сердечен, однако он приравнивает первую книгу Куэйна, «The God of the Labyrinth»¹, к одной из книг м-с Агаты Кристи, а другие — к книгам Гертруды Стайн; в упоминании этих имен, право же, не было никакой нужды, и оно вряд ли обрадовало бы покойника. К стати сказать, он никогда не мнил себя гением, даже в перипатетические ночи литературных бесед, когда человек, уже заставивший потрудиться печатные станки, непременно разыгрывает из себя либо месье Тэста, либо доктора Сэмюэля Джонсона... Он вполне отдавал себе отчет в экспериментальном характере своих книг — возможно, примечательных по новизне и по особой лаконической прямоте, однако не поражающих силой страсти. «Я — как оды Каули, — писал он мне из Лонгфорда шестого марта 1939 года. — Я принадлежу не искусству, а одной лишь истории искусства». По его мнению, не было науки, стоящей ниже истории.

Я упомянул одну из черт скромности Герберта Куэйна; скромностью этой, естественно, его мысль не исчерпывается. Флобер и Генри Джеймс приучили нас ду-

¹ «Бог лабиринта» (англ.).

мать, что произведения искусства встречаются не часто и требуют больших трудов; шестнадцатый век (вспомним «Путешествие на Парнас», вспомним жизнь Шекспира) не разделял этого безнадежного мнения. Так же и Герберт Куэйн. Он полагал, что хорошая литература вовсе не редкость и что почти каждый уличный диалог поднимается до нее. Еще он полагал, что эстетический факт не может обойтись без элемента удивления и что удивляться только памяти мало кто способен. С улыбочивым чистосердечием он сетовал на «рабскую и упорную приверженность» к старым книгам... Не знаю, можно ли счесть убедительной его довольно-таки расплывчатую теорию; но мне ясно, что его книги чересчур стремятся удивить.

Очень сожалею, что дал когда-то почитать одной даме — безвозвратно! — первую из опубликованных им книг. Я уже говорил, что речь идет о детективном романе «The God of the Labyrinth»; я благодарен издателю за то, что он пустил ее в продажу в последние дни ноября 1933 года. В первых числах декабря Лондон и Нью-Йорк были уже поглощены увлекательными и сложными интригами «Тайны сиамских близнецов»; предпочитаю приписывать этому роковому совпадению неуспех романа нашего друга. Но также (буду уж искренен до конца) — несовершенству исполнения и пустой, холодной пышности некоторых описаний моря. По прошествии семи лет я уже не в состоянии восстановить детали действия, но вот его план в обедненном (но и очищенном) моей забывчивостью виде: на первых страницах излагается загадочное убийство, в середине происходит неторопливое его обсуждение, на последних страницах дается решение. После объяснения загадки следует длинный ретроспективный абзац, содержащий такую фразу: «Все полагали, что встреча двух шахматистов была случайной». Эта фраза дает понять, что решение загадки ошибочно. Встревоженный читатель перечитывает соответственные главы и обнаруживает *другое* решение, правильное. Читатель этой необычной книги оказывается более проницательным, чем *детектив*.

Еще больше ереси в «регрессивном и разветвленном» романе «April March»¹, третья (и единственная) часть которого опубликована в 1936 году. В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру; да будет мне дозволено заметить, что и автор никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры: симметрию, произвольность правил, скуку». Даже в названии есть легкий каламбур: оно не означает «Апрельский марш», но буквально — «Апрель март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна; сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам — ране, а рана — удару («Appearance and Reality»², 1897, стр. 215)³.

Миры, представленные в «April March», не являются регрессивными, регрессивен способ изложения. Регрессивен и разветвлен, как я уже сказал. Произведение состоит из тринадцати глав. В первой приводится двусмысленный диалог двух неизвестных на перроне. Во второй излагаются события, происшедшие накануне действия первой. Третья глава, также ретроспективная, излагает события *другого* возможного кануна первой главы; четвертая глава — события третьего возможного кануна. Каждый из трех канунов (которые друг друга полностью взаимоисключают) разветвляется еще на другие три кануна, совершенно различные по типу. В целом произведение состоит из трех длинных глав по три новеллы в каждой. (Первая глава, разумеется, об-

¹ «Апрель март» (англ.).

² «Видимость и реальность» (англ.).

³ Немного стоит эрудиция Герберта Куэйна и его ссылка на страницу 215 книги 1897 года! Уже один из собеседников в Платоновом «Политике» описал подобную регрессию у земнорожденных, или автохтонов, которые под влиянием обратного вращения космоса переходили от старости к зрелости, от зрелости к детству, от детства к исчезновению, к ничто. Так же Феопомп в своей «Филиппике» говорит о неких северных плодах, вызывающих в том, кто их отведал, подобный же ретроспективный процесс... Более интересно вообразить обратное движение Времени — такое состояние, при котором мы бы вспоминали будущее и не знали бы, или едва предчувствовали бы, прошлое. Ср. десятую песнь «Ада», стихи 97—102, где сравниваются пророческое видение и дальнзоркость. — *Примеч. автора.*

щая для всех прочих.) Из этих новелл одна имеет характер символический, другая — сверхъестественный; третья — детективный; еще одна — психологический и т. д. Понимание этой структуры, возможно, облегчит следующая схема:

			x	1
	Y	1	x	2
			x	3
			x	4
Z	Y	1	x	5
			x	6
			x	7
	Y	1	x	8
			x	9

О структуре же можно повторить то, что сказал Шопенгауэр о двенадцати Кантовых категориях: здесь все принесено в жертву страсти к симметрии. Как можно предвидеть, некоторые из девяти рассказов недостойны пера Куэйна; лучший — не тот, что был задуман первым, а именно x 4, но рассказ фантастического характера x 9. Другим вредят скучные шутки и ненужные псевдоподробности. Те, кто станет их читать в хронологическом порядке (например: x 3, y 1, Z), не почувствуют особый смак этой странной книги. Два рассказа — x 7, x 8 — не имеют самостоятельной ценности, их эффект обнаруживается при сопоставлении... Не знаю, следует ли упоминать о том, что, уже опубликовав «April March», Куэйн разочаровался в троичной системе и предсказал, что будущие его подражатели изберут систему двоичную:

			x	1
	Y	1	x	2
Z				
			x	3
	Y	2	x	4

а демиурги и боги — бесконечную: бесконечные, бесконечно разветвляющиеся, истории.

Совсем иная — но также ретроспективная — героическая комедия в двух актах «The Secret Mirror»¹. В рассмотренных выше произведениях формальная сложность тормозила воображение автора; здесь оно развертывается более свободно. Действие первого акта (самого длинного) происходит в загородном доме генерала Трейла, С. I. E.², вблизи Мелтон-Маубрей. Невидимый центр драмы — мисс Ульрика Трейл, старшая дочь генерала. Несколько диалогов рисуют нам ее как надменную амазонку; мы подозреваем, что литературой она не интересуется; газеты объявляют о ее помолвке с герцогом Ретлендом; газеты опровергают слух о помолвке. Ульрику обожает драматург Уилфред Куорлс, которому она подарила несколько мимолетных поцелуев. Действующие лица — люди знатные, с большим состоянием; страсти — благородные, хотя и бурные; диалог как бы балансирует между пышным пустословием Булвер-Литтона и эпиграммами Уайльда или м-ра Филиппа Гедальи. Есть там и соловей, и ночь; есть тайная дуэль на террасе. (Кое-где проглядывают то забавное противоречие, то какие-то грязные подробности.) Персонажи первого акта снова появляются во втором — под другими именами. «Драматург» Уилфред Куорлс — теперь коммивояжер из Ливерпуля; его настоящее имя Джон Уильям Куигли. Мисс Трейл — та существует; Куигли никогда ее не видел, однако с болезненной страстью коллекционирует ее портреты из «Тэтлера» или «Скетча». Куигли — автор первого акта. Неправдоподобный или невероятный «загородный дом» — это преображенный им и возвеличенный еврейско-ирландский пансион, где он живет... Сюжеты обоих актов параллельны, но во втором все немного мерзко, все снижено, опошлено. После премьеры «The Secret Mirror» критика называла имена Фрейда и Жюльена Грина. Упоминание первого, на мой взгляд, совершенно неоправданно.

О пьесе «The Secret Mirror» пошла слава как о фрейдистской комедии; это благоприятное (и ложное) тол-

¹ «Тайное зеркало» (англ.).

² Companion of Indian Empire — кавалер ордена Индийской империи (англ.).

кование определило ее успех. К сожалению, Куэйн тогда уже исполнилось сорок лет, он привык к атмосфере неудач и не мог так просто примириться с переменной климата. Он решил отомстить. В конце 1939 года он опубликовал «Statements»¹ — возможно, самую оригинальную из своих книг, но, бесспорно, меньше всего снискавшую похвал и самую загадочную. Куэйн любил говорить, что читатели — это вымершая порода. «Нет такого европейца, — рассуждал он, — который не был бы писателем, потенциальным или действительным». Он также утверждал, что величайшее счастье, которое может доставить литература, заключается в возможности изобретать. Так как не всем это счастье дано, многим-де придется довольствоваться его подобием. Для таких «не вполне писателей», коим имя легион, Куэйн сочинил восемь рассказов книги «Statements». В каждом намечен или обещан хороший сюжет, умышленно автором испорченный. В одном — не лучшем — подсказаны два сюжета. Читатель, в порыве тщеславия, думает, будто он их изобрел. Из третьего рассказа, «The Rose of Yesterday»², я, ничтоже сумняшеся, взял сюжет «В кругу развалин», одного из рассказов книги «Сад расходящихся тропок».

БАВИЛОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

By this art you may contemplate the variation of the 23 letters...
*The Anatomy of Melancholy, part 2, sect. II, mem IV*³

Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой — состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа — до бесконечности. Устройство галерей неизменно: двадцать полок, по пять длинных полок на

¹ «Утверждения» (англ.).

² «Вчерашняя роза» (англ.).

³ Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из двадцати трех букв... — «Анатомия Меланхолии», ч. 2, разд. II, м. IV (англ.).

каждой стене; кроме двух: их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Налево и направо от коридора два крохотных помещения. В одном можно спать стоя, в другом — удовлетворять естественные потребности. Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что Библиотека не бесконечна (если она бесконечна на самом деле, зачем это иллюзорное удвоение?); я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность... Свет дают округлые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет.

Как все люди Библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно каталога каталогов; теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух; мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющее конца падение. Я утверждаю, что Библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранные помещения — это необходимая форма абсолютного пространства или, во, всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольная или пятиугольная комната непостижимы. (Мистики уверяют, что в экстазе им является шарообразная зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам; их свидетельства сомнительны, речи неясны. Эта сферическая книга есть Бог.)

Пока можно ограничиться классическим определением: Библиотека — это шар, точный центр которого находится в одном из шестигранников, а поверхность — недосыгаема. На каждой из стен каждого шестигранника находится пять полок, на каждой полке — тридцать две

книги одного формата, в каждой книге четыреста страниц, на каждой странице сорок строчек, в каждой строке около восьмидесяти букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это несоответствие, я знаю, когда-то казалось таинственным.

Прежде чем сделать вывод (что, несмотря на трагические последствия, возможно, и есть самое главное в этой истории), я хотел бы напомнить некоторые аксиомы.

Во-первых: Библиотека существует ab aeterno. В этой истине, прямое следствие которой — грядущая вечность мира, не может усомниться ни один здравый ум. Человек, несовершенный библиотекарь, мог появиться в результате случая или действия злых гениев, но вселенная, оснащенная изящными полками, загадочными томами, нескончаемыми лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря, может быть только творением Бога. Чтобы осознать, какая пропасть разделяет божественное и человеческое, достаточно сравнить каракули, нацарапанные моей неверной рукой на обложке книги, с полными гармонии буквами внутри: четкими, изысканными, очень черными, неподражаемо симметричными.

Во-вторых: число знаков для письма равно двадцати пяти¹. Эта аксиома позволила триста лет назад сформулировать общую теорию Библиотеки и удовлетворительно разрешить до тех пор неразрешимую проблему неясной и хаотической природы почти каждой книги. Одна книга, которую мой отец видел в шестиграннике пятнадцать девяносто четыре, состояла лишь из букв MCV, повторяющихся в разном порядке от первой строчки до последней. Другая, в которую любили заглядывать в этих краях, представляет собой настоящий лабиринт букв, но на предпоследней странице стоит: «О время, твои пирамиды». Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится

¹ В рукописи отсутствуют цифры и заглавные буквы. Пунктуация ограничивается запятой и точкой. Эти два знака, расстояние между буквами и двадцать две буквы алфавита составляют двадцать пять знаков, перечисленных неизвестным. — *Примеч. издателя.*

тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. (Мне известен дикий край, где библиотекари отказались от суеверной и напрасной привычки искать в книгах смысл, считая, что это все равно, что искать его в снах или в беспорядочных линиях руки... Они признают, что те, кто изобрел письмо, имитировали двадцать пять природных знаков, но утверждают, что их применение случайно и что сами по себе книги ничего не означают. Это мнение, как мы увидим, не лишено оснований.)

Долгое время считалось, что не поддающиеся прочтению книги написаны на древних или экзотических языках. Действительно, древние люди, первые библиотекари, пользовались языком, сильно отличающимся от теперешнего, действительно, несколькими милями правей говорят на диалекте, а девяноста этажами выше употребляют язык совершенно непонятный. Все это, я повторяю, правда, но четыреста десять страниц неизменных MCV не могут соответствовать никакому языку, даже диалектному, даже примитивному. Одни полагали, что буква может воздействовать на стоящую рядом и что значение букв MCV в третьей строчке страницы 71 не совпадает со значением тех же букв в другом порядке и на другой странице, но это туманное утверждение не имело успеха. Другие считали написанное криптограммой, эта догадка была всюду принята, хотя и не в том смысле, который имели в виду те, кто ее выдвинул.

Лет пятьсот назад начальник одного из высших шестигранников¹ обнаружил книгу, такую же путаную, как и все другие, но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку бродячему расшифровщику, который сказал, что текст написан по-португальски, другие считали, что на идиш. Не прошло и века, как язык был определен: самоедско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического.

¹ Раньше на каждые три шестигранника приходился один человек. Самоубийства и легочные заболевания нарушили это соотношение. Невыразимо грустно вспомнить, как иногда я странствовал много ночей подряд по коридорам и ажурным лестницам, ни разу не встретив библиотекаря. — *Примеч. автора.*

Удалось понять и содержание: заметки по комбинаторному анализу, иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон Библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов: расстояния между строками и буквами, точки, запятой, двадцати двух букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками: *во всей огромной Библиотеке нет двух одинаковых книг*. Исходя из этих неоспоримых предположений, я делаю вывод, что Библиотека всеобъемлюща и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков (число их, хотя и огромно, не бесконечно) или все, что поддается выражению — на всех языках. Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментариев к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита.

Когда было провозглашено, что Библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы — личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения в каком-либо из шестигранников. Вселенная обрела смысл, вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорилось об Оправданиях: книгах апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные проклятия,

душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдаленных областей. Некоторые сходили с ума... Действительно, Оправдания существуют (мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно не вымышленным), но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое Оправдание или какой-то его искаженный вариант равна нулю.

Еще в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества: происхождения Библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так: если недостаточно будет языка философов, многообразная Библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка.

Вот уже четверста лет, как люди рыщут по шестигранникам... Существуют искатели официальные, *инквизиторы*. Мне приходилось видеть их при исполнении обязанностей: они приходят, всегда усталые, говорят о лестнице без ступенек, на которой чуть не расширились, толкуют с библиотечарем о галереях и лестницах, иногда берут и перелистывают ближайшую книгу в поисках нечестивых слов. Видно, что никто не надеется найти что-нибудь.

На смену надеждам, естественно, пришло безысходное отчаяние. Мысль, что на какой-то полке в каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги и что эти книги недосыгаемы, оказалась почти невыносимой. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски и заняться перетасовкой букв и знаков, пока не создадутся благодаря невероятной случайности эти канонические книги. Власти сочли нужным принять суровые меры. Секта перестала существовать, но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запыленном стакане, тщетно имитируя божественный произвол.

Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в шестигранники, показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали

на уничтожение целые полки. Их гигиеническому, аскетическому пылу мы обязаны бессмысленной потерей миллионов книг. Имена их преданы проклятью, но те, кто оплакивает «сокровища», погубленные их безумием, забывают о двух известных вещах. Во-первых: Библиотека огромна, и поэтому любой ущерб, причиненный ей человеком, будет ничтожно мал. Во-вторых: каждая книга уникальна, незаменима, но (поскольку Библиотека всеобъемлюща) существуют сотни тысяч несовершенных копий: книги, отличающиеся одна от другой буквою или запятой. Вопреки общепринятому мнению я считаю, что последствия деятельности Чистильщиков преувеличены страхом, который вызывали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги Пурпурного Шестигранника: книги меньшего, чем обычно, формата, всемогущие, иллюстрированные, магические.

Известно и другое суеверие того времени: Человек Книги. На некоей полке в некоем шестиграннике (полагали люди) стоит книга, содержащая суть и краткое изложение *всех остальных*: некий библиотекарь прочел ее и стал подобен Богу. В языке этих мест можно заметить следы культа этого работника отдаленных времен. Многие предпринимали паломничество с целью найти Его. В течение века шли безрезультатные поиски. Как определить таинственный священный шестигранник, в котором Он обитает? Кем-то был предложен регрессивный метод: чтобы обнаружить книгу А, следует предварительно обратиться к книге В, которая укажет место А; чтобы разыскать книгу В, следует предварительно справиться в книге С, и так до бесконечности. В таких вот похождениях я растратил и извел свои годы. Мне не кажется невероятным, что на какой-то книжной полке вселенной стоит всеобъемлющая книга¹; молю неведомых богов, чтобы человеку — хотя бы одному, хоть через тысячи лет! — удалось найти и про-

¹ Повторяю, достаточно, что такая книга может существовать. Я лишь отвергаю невозможность этого. Например: ни одна книга не может быть в то же время лестницей, хотя, без сомнения, есть книги, которые оспаривают, отрицают и доказывают такую возможность, и другие, структура которых соответствует структуре лестницы. — *Примеч. автора.*

честь ее. Если почести, и мудрость, и счастье не для меня, пусть они достанутся другим. Пусть существует небо, даже если мое место в аду. Пусть я буду погран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя бы в одном существе твоя огромная Библиотека будет оправдана.

Безбожники утверждают, что для Библиотеки бессмыслица обычна, а осмысленность (или хотя бы всего-навсего связность) — это почти чудесное исключение. Ходят разговоры (я слышал) о горячечной Библиотеке, в которой случайные тома в непрерывном пасьянсе превращаются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось, как обезумевшее божество.

Слова эти, которые не только разоблачают беспорядок, но и служат его примером, явно обнаруживают дурной вкус и безнадежное невежество. На самом деле Библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые допускают двадцать пять орфографических символов, но отнюдь не совершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга многих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром», другая называется «Гипсовая судорога» и третья — «Аксаксаксас млё». Эти названия, на первый взгляд несвязные, без сомнения, содержат потаенный или иносказательный смысл, он записан и существует в Библиотеке.

Какое бы сочетание букв, например:

д х ц м р л ч д й —

я ни написал, в божественной Библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл. А любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать могущественное имя Бога. Говорить — это погрязнуть в тавтологиях. Это мое сочинение — многословное и бесполезное — уже существует в одном из тридцати томов одной из пяти полок одного из бесчисленных шестигранников — так же, как и его опровержение. (Число n возможных языков использует один и тот же запас слов, в некоторых слово «библиотека» допускает верное определение: «всеобъемлющая и постоянная система шестигранных галерей», но при этом «библиотека» обозначает «хлеб», или «пирамиду», или

какой-нибудь другой предмет, и шесть слов, определяющих ее, имеют другое значение. Ты, читающий эти строчки, уверен ли ты, что понимаешь мой язык?)

Привычка писать отвлекает меня от теперешнего положения людей. Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки. Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы. Эпидемии, еретические раздоры, паломничества, неизбежно вырождающиеся в разбойничьи набеги, уменьшили население раз в десять. Кажется, я уже говорил о самоубийствах, с каждым годом все более частых. Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род — единственный — близок к угасанию, а Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполозная, нетленная, таинственная.

Я только что написал *бесконечная*. Это слово я поставил не из любви к риторике; думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры, и лестницы, и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться, — такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы: *Библиотека безгранична и периодична*. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком: Порядок). Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество¹.

¹ Летисия Альварес де Толедо заметила, что эта огромная Библиотека избыточна: в самом деле, достаточно было бы одного тома обычного формата, со шрифтом кегль 9 или 10 пунктов, состоящего из бесконечного количества бесконечно тонких страниц. (Кавальери в начале XVII в. говорил, что твердое тело представляет собой бесконечное количество плоскостей.) Этот шелковистый *вадемукум* был бы неудобен в обращении: каждая страница как бы раздваивалась на другие такие же, а непостижимая страница в середине не имела бы обратной стороны.

САД РАСХОДЯЩИХСЯ ТРОПОК

Виктории Окампо

На двадцать второй странице «Истории мировой войны» Лиддел Гарта сообщается, что предполагавшееся на участке Сер-Монтобан 24 июля 1916 года наступление тринадцати британских дивизий (при поддержке тысячи четырехсот орудий) пришлось отложить до утра двадцать девятого. По мнению капитана Лиддел Гарта, эта сама по себе незначительная отсрочка была вызвана сильными дождями. Нижеследующее заявление, продиктованное, прочитанное и подписанное доктором Ю Цуном, бывшим преподавателем английского языка в Hoch Schule¹ города Циндао, проливает на случившееся неожиданный свет. В начале текста недостает двух страниц.

«...я повесил трубку. И тут же узнал голос, ответивший мне по-немецки. Это был голос капитана Ричарда Мэддена. Мэдден — на квартире у Виктора Рунеберга! Значит, конец всем нашим трудам, а вместе с ними — но это казалось или *должно было казаться* мне второстепенным — и нам самим. Значит, Рунеберг арестован или убит². Солнце не зайдет, как та же участь постигнет и меня. Мэдден не знает снисхождения. А точнее, вынужден не знать. Ирландец на службе у англичан, человек, которого обвиняли в недостатке рвения, а то и в измене, — мог ли он упустить такой случай и не возблагодарить судьбу за эту сверхъестественную милость: раскрытие, поимку, даже, вероятно, ликвидацию двух агентов Германской империи? Я поднялся к себе, зачем-то запер дверь на ключ и вытянулся на узкой железной койке. За окном были всегдашние крыши и тусклое солнце шести часов вечера. Казалось невероятным, что этот ничем не примечательный и ничего не предвещавший день станет днем моей неотвратимой смерти. Я, оставшийся без отца, я, игравший ребенком в симметричном хайфынском садике, вот сейчас умру.

¹ Высшая школа (нем.).

² Нелепый и сумасбродный домысел. Прусский агент Ганс Рабнер, он же Виктор Рунеберг, бросился с пистолетом на капитана Ричарда Мэддена, явившегося к нему с ордером на арест. При самозащите капитан ранил Рунеберга, что и повлекло за собой смерть последнего. — *Примеч. издателя.*

Но тут я подумал, что ведь и все на свете к чему-то приводит сейчас, именно сейчас. Века проходят за веками, но лишь в настоящем что-то действительно совершается: столько людей в воздухе, на суше и на море, но единственное, что происходит на самом деле, — это происходящее со мной. Жуткое воспоминание о лошадином лице Мэддена развеяло мои умствования. С чувством ненависти и страха (что мне стоит признаться теперь в своем страхе: теперь, когда я перехитрил Ричарда Мэддена и жду, чтобы меня скорей повесили) я подумал: а ведь этот грубый и, должно быть, упивающийся счастьем солдафон и не подозревает, что я знаю Тайну — точное название места в долине Анкра, где расположен новый парк британской артиллерии. По серому небу черкнула птица и представилась мне самолетом, роем самолетов над Францией, громящих своими бомбами артиллерийский парк. О, если бы раньше, чем рот мне разнесет пулей, я смог выкрикнуть это известие так, чтобы его расслышали в Германии... Мой человеческий голос был слишком слаб. Как сделать, чтобы он дошел до слуха шефа? До слуха этого слабогрудого, ненавистного человечка, который только и знает обо мне и Рунеберге, что мы в Стаффордшире, и понапрасну ждет от нас известий в своем унылом берлинском кабинете, день за днем изучая газеты... «Бежать», — подумал я вслух. Я бесшумно поднялся, стараясь двигаться так тихо, словно Мэдден уже подстерегал меня. Что-то — наверно, простое желание убедиться в ничтожности своих ресурсов — подтолкнуло меня осмотреть карманы. Там нашлось только то, что я и думал найти. Американские часы, никелевая цепочка с квадратной монетой, связка уличающих и уже бесполезных ключей от квартиры Рунеберга, записная книжка, письмо, которое я собрался тут же уничтожить, но так и не уничтожил, крона, два шиллинга и несколько пенсов, красно-синий карандаш, платок, револьвер с одной пулей. Я зачем-то сжал его и, придавая себе решимости, взвесил в руке. Тут у меня мелькнула смутная мысль, что выстрел услышат издалека. Через десять минут план был готов. По телефонному справочнику я разыскал имя единственного человека, способного передать мое известие: он жил в предместье Фэнтон, с полчаса езды по железной дороге.

Я не из храброго десятка. Могу сознаться в этом сейчас — сейчас, когда довел до конца замысел, кото-

рый вряд ли сочтут смелым. Но я-то знаю: его осуществление было ужасно. И сделал я это не ради Германии, вовсе нет. Я ничуть не дорожу этой варварской страной, принудившей меня унизиться до шпионажа. И потом, я знал в Англии одного человека, простого человека, который значит для меня не меньше Гёте. Я с ним и часа не проговорил, но в тот час он был равен самому Гёте... Так вот, я исполнил свой замысел потому, что чувствовал: шеф презирает людей моей крови — тех бесчисленных предков, которые слиты во мне. Я хотел доказать ему, что желтолицый может спасти германскую армию. И наконец, мне надо было бежать от капитана. Его голос и кулачища могли вот-вот загреметь за дверь. Я бесшумно оделся, на прощанье кивнул зеркалу, спустился, оглядел улочку и вышел. Станция была неподалеку, но я предпочел воспользоваться кебом. Убедил себя, будто так меньше рискую быть узнанным на пустынной улице: мне казалось, что я отовсюду заметен и абсолютно не защищен. Помню, я велел кебмену остановиться, не доезжая до центрального входа в вокзал, и сошел с нарочитой, мучительной неторопливостью. Ехал я до местечка под названием Эшгроув, но билет взял до более дальней станции. Поезд отправлялся через несколько минут, в восемь пятьдесят. Я ускорил шаг: следующий отходил только в половине десятого. Перрон был почти пуст. Я прошел по вагонам: помню нескольких фермеров, женщину в трауре, юношу, углубившегося в Тацитовы «Анналы», забинтованного и довольного солдата. Вагоны наконец дернулись. Человек, которого я не мог не узнать, слишком поздно добежал до конца перрона. Это был капитан Ричард Мэдден. Уничтоженный, дрожащий, я скорчился на краю сиденья, подальше от страшного окна.

Но сознание собственного ничтожества скоро перешло в какую-то утробную радость. Я сказал себе, что поединок завязался и я выиграл первую схватку, пусть лишь на сорок минут, пусть милостью случая опередив нападающего противника. Я уверил себя, что эта маленькая победа предвещает окончательную. Уверил себя, что она не так уж мала: не подари мне расписание поездов бесценного разрыва во времени, я был бы теперь за решеткой, а то и мертв. Подобными же софизмами я внушил себе, что моя удачливость труса доказывает, будто я способен довести предприятие до

благополучного конца. В этой слабости я почерпнул силы, не покинувшие меня позднее. Я предвижу время, когда людей принудят исполнять день за днем и более чудовищные замыслы; скоро на свете останутся одни вояки и головорезы. Мой им совет: *исполнитель самого чудовищного замысла должен вообразить, что уже осуществил его, должен сделать свое будущее непреложным, как прошлое.* Так я и поступил, а в моих глазах — глазах мертвеца — тем временем отражалось течение, возможно, последнего в моей жизни дня и медленное смешение его с ночью. Поезд мягко бежал мимо ясеней, потом остановился, казалось — прямо в поле. Названия станции никто не объявил. «Это Эшгроув?» — спросил я у мальчишек на перроне. «Эшгроув», — отозвались они. Я сошел.

Платформу освещал фонарь, но лица ребят оставались в темноте. Один из них спросил: «Вам к дому доктора Стивена Альбера?» Другой сказал, не дожидаясь ответа: «До дома неблизко, но вы не заблудитесь: ступайте вот этой дорогой налево и сворачивайте влево на каждой развилке». Я бросил им последнюю монету, спустился по каменным ступенькам и вышел на безлюдную дорогу. Она полого вела вниз. Колея была грунтовая, над головой сплетались ветки, низкая полная луна словно провожала меня.

На миг мне показалось, будто Ричард Мэдден как-то догадался о моем отчаянном плане. Но я тут же успокоил себя, что это невозможно. Указание сворачивать всякий раз налево напомнило мне, что таков общепринятый способ отыскивать центральную площадку в некоторых лабиринтах. В лабиринтах я кое-что понимаю: не зря же я правнук того Цюй Пэна, что был правителем Юньнани и отрекся от брэнного могущества, чтобы написать роман, который превзошел бы многолюдьем «Сон в красном тереме», и создать лабиринт, где заблудился бы каждый. Тринадцать лет посвятил он двум этим трудам, пока не погиб от руки чужеземца, однако роман его остался сущей бессмыслицей, а лабиринта так и не нашли. Под купами английских деревьев я замечтался об этом утраченном лабиринте: нетронутый и безупречный, он представился мне стоящим на потаенной горной вершине, затерявшимся среди рисовых полей или в глубинах вод, беспредельным — не просто с восьмигранными киосками и дорожками, ве-

душими по кругу, но с целыми реками, провинциями, государствами. Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который охватывал бы прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю Вселенную. Поглощенный призрачными образами, я забыл свою участь беглеца и, потеряв ощущение времени, почувствовал себя самым сознанием мира. Я попросту воспринимал это смутное, живущее своей жизнью поле, луну, последние отсветы заката и мягкий спуск, отгонявший даже мысль об усталости. Вечер стоял задушевный, бескрайний. Дорога сбегала и ветвилась по уже затуманившимся лугам. Высокие, будто скандируемые ноты то вдруг наплывали, то вновь отдалялись с колыханием ветра, скраденные листвой и расстоянием. Я подумал, что врагами человека могут быть только люди, люди той или иной земли, но не сама земля с ее светляками, звуками ее языка, садами, водами, закатами. Тем временем я вышел к высоким поржавелым воротам. За прутьями угадывалась аллея и нечто вроде павильона. И тут я понял: музыка доносилась отсюда, но что самое невероятное — она была китайская. Поэтому я и воспринимал ее не задумываясь, безотчетно. Не помню, был ли у ворот колокольчик, звонок или я просто постучал. Мелодия все переливалась.

Но из дома за оградой показался фонарь, в луче которого стволы то выступали из тьмы, то снова отшатавались, бумажный фонарь цвета луны и в форме ливана. Нес его рослый мужчина. Лица я не разглядел, поскольку свет бил мне в глаза. Он приоткрыл ворота и медленно произнес на моем родном языке:

— Я вижу, благочестивый Си Пэн почел своим долгом скрасить мое уединение. Наверное, вы хотите посмотреть сад?

Он назвал меня именем одного из наших посланников, и я в замешательстве повторил за ним:

— Сад?

— Ну да, сад расходящихся тропок.

Что-то всколыхнулось у меня в памяти и с необъяснимой уверенностью я сказал:

— Это сад моего прадеда Цюй Пэна.

— Вашего прадеда? Так вы потомок этого прославленного человека? Прошу.

Сырая дорожка вилась, как тогда, в саду моего детства. Мы вошли в библиотеку с книгами на восточных

и европейских языках. Я узнал несколько переплетенных в желтый шелк рукописных томов Утраченной Энциклопедии, изданием которой ведал Третий Император Лучезарной Династии и которую так и не отпечатали. Граммофон с крутящейся пластинкой стоял возле бронзового феникса. Помню еще вазон розового фарфора и другой, много древнее, того лазурного тона, который наши мастера переняли у персидских горшечников...

Стивен Альбер с улыбкой наблюдал за мной. Был он, как я уже говорил, очень рослый, с тонким лицом, серыми глазами и поседевшей бородой. Чудилось в нем что-то от пастора и в то же время от моряка; уже потом он рассказал мне, что был миссионером в Тенчуне, «пока не увлекся китаистикой».

Мы сели: я — на длинную приземистую кушетку, а он — устроившись между окном и высокими круглыми часами. Я высчитал, что по крайней мере в ближайший час мой преследователь Ричард Мэдден сюда не явится. С непреложным решением можно было повременить.

— Да, судьба Цюй Пэна воистину поразительна, — начал Стивен Альбер. — Губернатор своей родной провинции, знаток астрономии и астрологии, неустанный толкователь канонических книг, блистательный игрок в шахматы, прославленный поэт и каллиграф, он бросил все, чтобы создать книгу и лабиринт. Он отрекся от радостей деспота и законодателя, от бесчисленных наложниц, пиров и даже от всех своих познаний и на тринадцать лет затворился в Павильоне Неомраченного Уединения. После его смерти наследники не обнаружили там ничего, кроме груды черновиков. Семья, как вам, конечно же, известно, намеревалась предать их огню, но его душеприказчик-монах — то ли даос, то ли буддист — настоял на публикации.

— Мы, потомки Цюй Пэна, — вставил я, — до сих пор проклинаем этого монаха. Он опубликовал сущую бессмыслицу. Эта книга попросту невразумительный ворох разноречивых набросков. Как-то я проглядывал ее: в третьей главе герой умирает, в четвертой — он снова жив. А что до другого замысла Цюй Пэна, его лабиринта...

— Этот лабиринт — здесь, — уронил Альбер, кивнув на высокую лаковую конторку.

— Игрушка из слоновой кости! — воскликнул я. — Лабиринт в миниатюре...

— Лабиринт символов, — поправил он. — Незримый лабиринт времени. Мне, варвару англичанину, удалось разгадать эту нехитрую тайну. Через сто с лишним лет подробностей уже не восстановишь, но можно предположить, что произошло. Видимо, однажды Цюй Пэн сказал: «Я ухажу, чтобы написать книгу», а в другой раз: «Я ухажу, чтобы построить лабиринт». Всем представлялись две разные вещи; никому не пришло в голову, что книга и лабиринт — одно и то же. Павильон Неомраченного Уединения стоял в центре сада, скорее всего запущенного; должно быть, это и внушило мысль, что лабиринт материален. Цюй Пэн умер; никто в его обширных владениях на лабиринт не натолкнулся; сумбурность романа навела меня на мысль, что это и есть лабиринт. Верное решение задачи мне подсказали два обстоятельства: первое — любопытное предание, будто Цюй Пэн задумал поистине бесконечный лабиринт, а второе — отрывок из письма, которое я обнаружил.

Альбер поднялся. На миг он стал ко мне спиной и выдвинул ящик черной с золотом конторки. Потом он обернулся, держа листок бумаги, когда-то алой, а теперь уже розоватой, истончившейся и потертой на сгибах. Слава Цюй Пэна — каллиграфа была заслуженной. С недоумением и дрожью вчитался я в эти слова, которые тончайшей кисточкой вывел некогда человек моей крови: *«Оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок»*. Я молча вернул листок. Альбер продолжал:

— Еще не докопавшись до этого письма, я спрашивал себя, как может книга быть бесконечной. В голову не приходило ничего, кроме циклического, идущего по кругу тома, тома, в котором последняя страница повторяет первую, что и позволяет ему продолжаться сколько угодно. Вспомнил я и ту ночь на середине «Тысячи и одной ночи», когда царица Шахразада, по чудесной оплошности переписчика, принимается дословно пересказывать историю «Тысячи и одной ночи», рискуя вновь добраться до той ночи, когда она ее пересказывает, и так до бесконечности. Еще мне представилось произведение в духе платоновских «идей» — его замысел передавался бы по наследству, переходя из поколе-

ния в поколение, так что каждый новый наследник добавлял бы к нему свою положенную главу или со смиренной заботливостью правил страницу, написанную предшественниками. Эти выдумки тешили меня, но ни одна из них, очевидно, не имела даже отдаленного касательства к разноречивым главам Цюй Пэна. Теряясь в догадках, я получил из Оксфорда письмо, которое вы видели. Естественно, я задумался над фразой: *«Оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок»*. И тут я понял, что бессвязный роман и был «садом расходящихся тропок», а слова «разным (но не всем) будущим временам» натолкнули меня на мысль о развилках во времени, а не в пространстве. Бегло перечитав роман, я утвердился в этой мысли. Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отменяя остальные; в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся. Отсюда и противоречия в романе. Скажем, Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть, и так далее. Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало новым развилкам. Иногда тропки этого лабиринта пересекаются: вы, например, явились ко мне, но в каком-то из возможных вариантов прошлого вы — мой враг, а в ином — друг. Если вы извините мое неисправимое произношение, мы могли бы прочесть несколько страниц.

При ярком свете лампы лицо его было совсем старческим, но проступало в нем и что-то несокрушимое, даже вечное. Медленно и внятно он прочитал два варианта одной эпической главы. В первом из них воины идут в бой по пустынному нагорью. Под страхом обвала, среди ночного мрака жизнь немногочисленных воинов стоит, они не думают о себе и без труда одерживают победу. Во втором те же воины проходят по дворцу, где в разгаре праздник; огни боя кажутся им продолжением праздника, и они снова одерживают победу.

Я с надлежащей почтительностью слушал эти древние истории. Но, пожалуй, куда удивительнее их самих

было то, что они придуманы когда-то моим предком, а воскрешены для меня теперь, во время моей отчаянной авантюры, на острове в другом конце света, чело- веком из далекой империи. Помню заключительные слова, повторявшиеся в обоих вариантах как тайная за- повесть: *«Так, с ярыми клинками и спокойствием в не- сравненных сердцах, сражались герои, готовые убить и умереть».*

Тут я почувствовал вокруг себя и в самом себе ка- кое-то незримое бесплотное роение. Не роение расходя- щихся, марширующих параллельно и в конце концов сливающихся войск, но более неуловимое, более пота- енное движение, чьим смутным прообразом были они сами. Стивен Альбер продолжал:

— Не думаю, чтобы ваш прославленный предок по- просту забавлялся на досуге подобными вариациями. Посвятить тринадцать лет бесконечному риторическому эксперименту — это выглядит малоправдоподобно. Ро- ман в вашей стране — жанр невысокого пошиба, а в те времена и вовсе презираемый. Конечно, Цюй Пэн — замечательный романист, но сверх того он был литера- тором, который навряд ли считал себя обыкновенным романистом. Свидетельства современников — а они подтверждаются всей его жизнью — говорят о метафи- зических, мистических устремлениях Цюй Пэна. Фило- софские контroversы занимают немалое место и в его романе. Я знаю, что ни одна из проблем не волновала и не мучила его так, как неисчерпаемая проблема вре- мени. И что же? Это единственная проблема, не упо- мянутая им на страницах «Сада». Он даже ни разу не употребляет слово «время». Как вы объясните это упор- ное замалчивание?

Я предложил несколько гипотез — все до одной не- убедительные. Мы взялись обсуждать их; наконец Сти- вен Альбер спросил:

— Какое единственное слово недопустимо в шараде с ключевым словом «шахматы»?

Я секунду подумал и сказал:

— Слово «шахматы».

— Именно, — подхватил Альбер. — «Сад расходя- щихся тропок» и есть грандиозная шарада, притча, ключ к которой — время; эта скрытая причина и за- прещает о нем упоминать. А постоянно чураться како- го-то слова, прибегая к неуклюжим метафорам и наро-

читым перифразам, — это и есть, вероятно, самый выразительный способ его подчеркнуть. Такой окольный путь и предпочел уклончивый Цюй Пэн на каждом повороте своего нескончаемого романа. Я сличил сотни рукописей, выправил ошибки, занесенные в текст нерадивыми переписчиками, вроде бы упорядочил этот хаос, придал — надеюсь, что придал, — ему задуманный вид, перевел книгу целиком — и убедился: слово «время» не встречается в ней ни разу. Отгадка очевидна: «Сад расходящихся тропок» — это недоконченный, но и не искаженный образ мира, каким его видел Цюй Пэн. В отличие от Ньютона и Шопенгауэра ваш предок не верил в единое, абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. И эта канва времен, которые сближаются, ветвятся, перекрещиваются или век за веком так и не соприкасаются, заключает в себе все мыслимые возможности. В большинстве этих времен мы с вами не существуем; в каких-то существуете вы, а я — нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба. В одном из них, когда счастливый случай выпал мне, вы явились в мой дом; в другом — вы, проходя по саду, нашли меня мертвым; в третьем — я произношу эти же слова, но сам я — мираж, призрак.

— В любом времени, — выговорил я не без дрожи, — я благодарен и признателен вам за воскрешение сада Цюй Пэна.

— Не в любом, — с улыбкой пробормотал он. — Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего. В одном из них я — ваш враг.

Я снова ощутил то роение, о котором уже говорил. Мне почудилось, будто мокрый сад вокруг дома полон бесчисленных призрачных людей. Это были Альбер и я, только незнакомые, умноженные и преобразенные другими временными измерениями. Я поднял глаза, бесплотный кошмар рассеялся. В изжелта-черном саду я увидел лишь одного человека, но этот человек казался несокрушимым, как статуя, и приближался к нам по дорожке, и был капитаном Ричардом Мэдденом.

— Будущее уже на пороге, — возразил я, — и все же я — ваш друг. Позвольте мне еще раз взглянуть на письмо.

Альбер поднялся во весь рост. Он выдвинул ящик

высокой конторки и на миг стал ко мне спиной. Мой револьвер был давно наготове. Я выстрелил, целясь как можно тщательней: Альбер упал тут же, без единого стога. Клянусь, его смерть была мгновенной, как вспышка.

Остальное уже нереально и не имеет значения. Ворвался Мэдден, я был арестован. Меня приговорили к повешению. Как ни ужасно, я победил: передал в Берлин название города, где нужно было нанести удар. Вчера его разбомбили: я прочитал об этом в газетах, известивших Англию о загадочном убийстве признанного китаиста Стивена Альбера, которое совершил некий Ю Цун. Шеф справился с этой загадкой. Теперь он знает, что вопрос для меня был в том, как сообщить ему о городе под названием Альбер, и что мне, среди грохота войны, оставалось одно — убить человека, носящего это имя. Он только не знает — и никому не узнать, — как неизбывны моя боль и усталость».

ФУНЕС, ЧУДО ПАМЯТИ

Я его помню (я не вправе произносить это священное слово, лишь один человек на земле имел на это право, и человек тот скончался) с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое за белеющей сигаретой. Помню (так мне кажется) его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками — мате с гербом Восточного берега, помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос — неспешный, неприязненный, с носовым тембром, голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более трех раз, последний — в 1887 году... Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем; мое свидетельство, возможно, будет самым кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я не способен расточать дифирамбы — жанр обязательный в Уругвае, когда темой является уругваец. «Писателишка»,

«столичный франт», «щелкопер»! Фунес не произнес этих оскорбительных слов, но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро Ипуче писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека: «Некий самородный, доморощенный Заратустра»; спорить не стану, но не надо забывать, что Ипуче — его земляк из Фрай-Бентоса и страдает неисправимой ограниченностью.

Первое мое воспоминание о Фунесе очень четкое. Я вижу его в сумерки мартовского или февральского дня восемьдесят четвертого года. В том году отец повез меня на лето в Фрай-Бентос. Вместе с кузеном Бернардо Аэдо мы возвращались из усадьбы Сан-Франсиско. Ехали верхом, распевая песни, но не только это было причиной моего счастливого настроения. После душевного дня небо закрыла огромная грозовая туча аспидного цвета. Ее подгонял южный ветер, деревья уже буйствовали; я боялся (и надеялся), что проливной дождь застанет нас в открытой степи. Мы как бы гнались взапуски с грозой. Вскоре мы скакали по улочке, пролегавшей между двух очень высоко поднятых кирпичных тротуаров. Вдруг стемнело, я услышал наверху быстрые и словно крадущиеся шаги; я поднял глаза и увидел парня, бежавшего по узкому красному тротуару, как по узкой красной стене. Помню шаровары, альпартгаты, помню сигарету, белевшую на жестком лице, — и все это на фоне уже безгранично огромной тучи. Бернардо неожиданно окликнул его: «Который там час, Иренео?» Не взглянув на небо, не останавливаясь, тот ответил: «Без четырех минут восемь, дружок Бернардо Хуан Франсиско». Голос был высокий, насмешливый.

Я человек рассеянный, и вышеприведенный диалог не привлек бы моего внимания, если бы кузен не повторял его потом, движимый (как я полагаю) своего рода местным патриотизмом и желанием показать полное свое безразличие к насмешливому величанию его всеми тремя именами.

Он рассказал, что повстречавшийся нам парень — это Иренео Фунес, известный своими странностями — например, тем, что он ни с кем не дружит и всегда точно знает, который час, как по часам. Он добавил, что Фунес сын здешней гладильщицы Марии Клементины Фунес и что одни говорят, будто его отец — вращ с солильни, ан-

гличанин О'Коннор, а другие называют укротителя лошадей или мясника из департамента Сальто. Живет он со своей матерью на окраине, за усадьбой «Лавры».

В годы восемьдесят пятый и восемьдесят шестой мы проводили лето в Монтевидео. В восемьдесят седьмом снова поехали в Фрай-Бентос. Я, естественно, стал расспрашивать о всех своих знакомых и наконец дошел до «хронометрического Фунеса». Мне ответили, что его сбросил наземь необъезженный конь в усадьбе Сан-Франсиско и теперь он парализован — похоже, навсегда. Вспоминаю странное ощущение чего-то магического при этой весте: единственный раз, когда я его видел, мы ехали на лошадей из Сан-Франсиско, а он бежал поверху; сам факт, сообщенный устами кузена Бернардо, очень походил на сон, сложившийся из уже прожитых фрагментов. Мне сказали, что Фунес не встает с постели, все лежит и глядит на кактус во дворе или на какую-нибудь паутину. Вечером он разрешает подвинуть себя к окну. Гордыня его доходит до того, что он притворяется, будто постигшая его беда оказалась для него благотворной... Я дважды видел его за оконной решеткой, которая словно подчеркивала его положение вечного узника; в первый раз он сидел неподвижно с закрытыми глазами; во второй тоже был неподвижен, но сосредоточенно смотрел на душистый стебель сантонины.

В то время я не без доли тщеславия взялся за систематические занятия латынью. В моем чемодане лежали «De viris illustribus»¹ Ломона, «Thesaurus»² Кишера, «Комментарии» Юлия Цезаря и один из томов «Historia naturalis»³ Плиния, превосходивший (и сейчас превосходящий) мои скромные возможности в латинском. В маленьком городке все становится известно; Иренео, в своем отдаленном ранчо, не замедлил узнать о прибытии этих необыкновенных книг. Он прислал мне торжественное, цветистое письмо, в котором упоминал о нашей встрече — к сожалению, мимолетной — «с седьмого февраля восемьдесят четвертого года», восхвалял достославные услуги, которые мой дядя, дон Грегорио Аэдо, скончавшийся в том же году, «оказал обеим родам в своем отважном путешествии в Итусайнго», и

¹ «О знаменитых мужах» (лат.).

² «Сокровищница» (лат.).

³ «Естественная история» (лат.).

просил меня одолжить ему какую-нибудь из книг вместе со словарем, «чтобы я мог понять оригинальный текст, потому что латинского я пока не знаю». Он обещал возвратить книги в хорошем состоянии и очень скоро. Почерк был великолепный, очень четкий; орфография того типа, за который ратовал Андрес Бельо: *i* вместо *u*, *j* вместо *g*. Сперва я, естественно, испугался, что это издевка. Мои кузены уверили меня, что нет, что это вполне в духе Иренео. Я не знал, чему приписать — наглости, невежеству или глупости — его идею, что труднейший латинский язык не требует ничего, кроме словаря; дабы вполне рассеять его иллюзии, я послал ему «*Gradus ad Parnassum*»¹ Кишера и книгу Плиния.

Четырнадцатого февраля мне телеграфировали из Буэнос-Айреса, чтобы я немедленно приехал, так как мой отец чувствует себя «не очень хорошо». Да простит меня Бог, но тщеславное сознание, что срочная телеграмма адресована мне, желание поведать всему Фрай-Бентосу, что мягкая ее формулировка не согласуется со смыслом этих двух наречий, соблазн драматизировать свою скорбь, изображая мужественный стоицизм, вероятно, помешали мне почувствовать настоящее горе. Укладывая чемодан, я заметил, что не хватает «*Gradus*» и первого тома «*Historia naturalis*». «Сатурн» должен был отчалить утром следующего дня, и я вечером, после ужина, отправился к Фунесу. Меня удивило, что духота ночью была не меньшая, чем днем.

В чистеньком ранчо меня встретила мать Фунеса.

Она сказала, что комната Иренео — в глубине дома и чтобы я не удивлялся, если там будет темно; Иренео, сказала она, часами не зажигает свечу. Я прошел мощный каменными плитами патио и по небольшому коридору вышел во второй патио. По стенам висел виноград, темнота показалась мне полной. Вдруг я услышал высокий, насмешливый голос Иренео. Голос этот произносил латинские фразы с угрюмым удовольствием, голос этот (исходивший из мрака) декламировал не то речь, не то молитву, не то гимн. В немощном патио звучали латинские слова, моему страху они показались непонятными, нескончаемыми; позже, в нескончаемо долгом разговоре этой ночи, я узнал, что то был

¹ «Ступень к Парнасу» (лат.).

первый абзац двадцать четвертой главы седьмой книги «*Historia naturalis*». Тема этой главы — память: последние ее слова: *ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum*¹.

Ничуть не меняя голоса, Иренео предложил мне войти. Он лежал на кровати и курил. Мне кажется, что лица его я не видел до самого рассвета, вспоминается лишь слабое мерцание сигареты. В комнате слегка пахло сыростью. Я сел, повторил историю про телеграмму и про болезнь отца.

Теперь я подхожу к самой трудной части своего рассказа. В нем (пора уже читателю об этом узнать) нет другого сюжета, кроме этого диалога полувековой давности. Я не буду пытаться воспроизвести слова, теперь уже невозстановимые. Предпочитаю со всей точностью передать смысл того многого, что я услышал от Иренео. Непрямая речь отдаляет и ослабляет эффект, я знаю, что приношу в жертву красочность рассказа; пусть мои читатели вообразят себе поток прерывающихся периодов, который обрушился на меня в ту ночь.

Иренео начал с перечисления — на латыни и на испанском — случаев удивительной памяти, указанных в «*Historia naturalis*»: Кир, персидский царь, знавший по имени всех солдат своих армий; Митридат Евпатор, вершивший правосудие на двадцати двух языках своей империи; Симонид, изобретатель мнемотехники; Метродор, славившийся умением точно повторять единожды услышанное. Вполне искренне Иренео удивлялся тому, что подобные вещи могут удивлять. Он сказал мне, что до того дождливого вечера, когда его сбросил белый жеребец, он был таким же, как все смертные: слепым, глухим, пустоголовым, беспамятным. (Я попытался было намекнуть на его точное чувство времени, на удивительное запоминание собственных имен — он меня не слушал.) Девятнадцать лет он прожил как во сне: он смотрел и не видел, слушал и не слышал, все забывал, почти все. Упав с коня, он потерял сознание; когда же пришел в себя, восприятие окружающего было почти невыносимым — настолько оно стало богатым и отчетливым, но также ожили самые давние и

¹ Так что не может быть ничто передано слуху теми же словами (лат.).

самые незначительные воспоминания. Немного спустя он узнал, что его парализовало. Этот факт почти не взволновал его. Он решил (почувствовал), что неподвижность — ничтожная плата. Теперь его восприятие и память были безошибочны.

Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кебрачо. Воспоминания эти были непростыми — каждый зрительный образ сопровождался ощущениями мускульными, тепловыми и т. п. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные видения. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню; при этом у него не было ни малейших сомнений, только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. Он сказал мне: «У меня больше воспоминаний, чем было у всех людей в мире, с тех пор как мир стоит». И еще: «Мои сны — все равно что ваше бодрствование». И еще, уже на рассвете: «Моя память, приятель, — все равно что сточная канава». Окружность на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб — все эти формы мы вполне можем вообразить; так же мог вообразить Иренео спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющиеся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение долгого траурного бдения. Не знаю, правда, сколько звезд видел он на небе.

Вот что он мне рассказал: ни тогда, ни потом я не сомневался в правдивости его слов. В те времена не было кинематографа, не было фонографов; и все же вполне очевидно, хотя и невероятно, что никто не попытался провести с Фунесом хоть какой-нибудь опыт. Да, все мы живем, откладывая на потом все, что можно отложить; вероятно, в глубине души мы все знаем, что мы бессмертны и что рано или поздно каждый человек сделает все и будет знать все.

Из темноты голос Фунеса продолжал говорить.

Он сказал мне, что в 1886 году придумал оригинальную систему нумерации и что в течение немногих

дней перешел за двадцать четыре тысячи. Он ее не записывал, так как то, что он хоть раз подумал, уже не стиралось в памяти. Первым стимулом к этому послужила, если не ошибаюсь, досада, что для выражения «тридцать три песо» требуются две цифры или три слова, вместо одного слова или одной цифры. Этот нелепый принцип он решил применить и к другим числам. Вместо «семь тысяч тринадцать» он, например, говорил «Максимо Перес»; вместо «семь тысяч четырнадцать» — «железная дорога»; другие числа обозначались как «Луис Мелиан Лафинур», «Олимар», «сера», «трефи», «кит», «газ», «котел», «Наполеон», «Агустин де Ведиа». Вместо «пятисот» он говорил «девять». Каждое слово имело особый знак, вроде клейма, последние большие числа были очень сложны... Я попытался объяснить ему, что этот набор бессвязных слов как раз нечто совершенно противоположное системе нумерации. Я сказал, что, говоря «365», мы называем три сотни, шесть десятков, пять единиц — делаем анализ, которого нет в его «числах», вроде «негр Тимотео» или «взбучка». Фунес меня не понимал или не хотел понять.

В XVII веке Локк предположил (и отверг) возможность языка, в котором каждый отдельный предмет, каждый камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя; Фунес тоже пытался придумать аналогичный язык, но отказался от него, найдя, что он будет слишком обобщенным, слишком двусмысленным. В действительности Фунес помнил не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь семьюдесятью тысячами воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его: сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства.

Два упомянутых проекта (бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел, бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов) — безумны, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фунеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не спосо-

бен к общим Платоновым идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм; ему не нравилось, что собака в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа пятнадцать минут (видимая анфас). Собственное его лицо в зеркале, собственные руки каждый раз вызывали в нем удивление. Свифт рассказывает, что император Лилипутии видел движение минутной стрелки; Фунес непрерывно видел медленное развитие всякой порчи, кариеса, усталости. Он замечал проникновение смерти, сырости. Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, переходящего и почти невыносимо отчетливого мира. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое; однако никто в этих кишачих людьми башнях или на этих мятущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и ночью на бедного Иренео в его убогом южно-американском предместье. Ему было очень трудно уснуть. Уснуть — значит отвлечься от мира; лежа на спине в своей постели, Фунес в темноте представлял себе каждую трещину и каждый выступ на стенах соседних домов. (Повторяю, что даже самое незначительное из его воспоминаний было более точным и ярким, чем наше ощущение физического удовольствия или физического страдания.) В восточной стороне города лежал еще не вполне застроенный участок с новыми, неизвестными домами. Фунес воображал их себе сплошь черными, состоящими из однородной тьмы; чтобы уснуть, он поворачивался лицом в их сторону. И еще он представлял себе, что находится в реке и течение его колышет и растворяет.

Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить — значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные.

Робкий утренний свет проник из немошеного патио в комнату.

Тогда я увидел лицо, от которого исходил голос, звучавший всю ночь. Иренео было девятнадцать лет, он

родился в 1868 году; он показался мне неким монументом, бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды. Я подумал, что каждое из моих слов (каждый из моих жестов) останется навсегда в его беспощадной памяти; страх удерживал меня от бесполезных движений.

Иренео Фунес скончался в 1889 году от воспаления легких.

ФОРМА САБЛИ

Его лицо уродовал лютый шрам: пепельный, почти совершенный серп, одним концом достававший висок, другим — скулу. Его настоящее имя не имеет значения. В Такуарембо все называли его «Англичанин из Ла-Колорады». Хозяин этих мест, Кардосо, не хотел продавать усадьбу, но, как говорили, англичанин прибегнул к неожиданному средству: поверил ему тайну своего ранения. Англичанин приехал с границы, из Риу-Гранди-ду-Сул. Ходили слухи, что там, в Бразилии, он занимался контрабандой. Здесь были заросшие травой поля, высохшие водопои. Англичанин, наводя порядок, работал наравне со своими пеонами. Говорят, он был суров до жестокости, но и в мелочах справедлив. Говорят также, что он сильно пил. Дважды в год запирался в мансарде и появлялся спустя два-три дня словно после баталии или бурной качки: бледный, трясущийся, беспокойный, но все такой же деспотичный. Я помню его холодные глаза, мускулистую худобу, серые усики. Он ни с кем не общался — правда, его испанский был плох и перемешан с бразильским. Иной почты, кроме коммерческих писем или проспектов, ему не носили.

Во время моей последней поездки по департаментам Севера бурный разлив речки Карагуата побудил меня искать ночлег в «Ла-Колораде». Я сразу же заметил, что мое появление не слишком желательно, и решил ублажить англичанина, апеллируя к самой слепой из наших страстей — патриотизму. Я сказал, что необорима страна, где господствует английский дух. Мой собеседник кивнул, но добавил с усмешкой, что он вовсе не англичанин. Он ирландец из Дангарвана. Сказал и запнулся, будто выдал секрет.

После трапезы мы с ним вышли взглянуть на небо. Оно прояснилось, но из-за Южных холмов наполнили, горбясь и рассекаясь молниями, новые темные тучи. В скромной столовой пеон, накрывавший ужин, подал нам бутылку рома. Мы пили долго и молча.

Не знаю, который был час, когда я заметил, что захмелел. Не знаю, что на меня нашло, но, то ли от возбуждения, то ли от скуки, я завел разговор о шраме. Англичанина передернуло; был момент, когда мне подумалось, что он вышвырнет меня из дому. Но он проговорил своим обычным голосом:

— Я расскажу вам историю своей раны с одним условием: не упущу ни единой мелочи, ни одного обстоятельства, приведших к позору.

Я был согласен. Вот эта история, рассказанная им на английском вперемежку с испанским и португальским:

«В 1922-м в одном из городков Кэннота я среди многих тайно сражался за независимость Ирландии. Некоторые из моих оставшихся в живых товарищей ныне заняты мирным трудом, другие — не парадокс ли? — сражаются на море и в пустыне под английским флагом. Один, наиболее достойный, погиб во дворе казармы, расстрелянный на рассвете еще не проспавшими солдатами. Иные (отнюдь не самые несчастные) отдали жизнь в безымянных, почти никому не известных битвах гражданской войны. Мы были республиканцы, католики; были, наверное, романтики. Ирландия воплощала для нас не только прекрасное будущее и нестерпимое настоящее, но и горечь любимых преданий, круглые башни и бурые болота, ненависть к Парнеллу и страсть к пространным эпопеям, повествующим о похищении быков, которые перевоплощались то в героев, то в рыб и горы... Однажды на исходе дня, которого я не забуду, к нам прибыл из Мюнстера некий Джон Винсент Мун, числившийся в наших рядах.

Ему было лет двадцать. Худой и хилый, он производил неприятное впечатление некоего беспозвоночного существа. С пылом и неизменным вниманием штудировал он страницу за страницей какой-то коммунистический учебник, но диалектический материализм служил ему лишь для того, чтобы прерывать дискуссии. Причины, по которым один человек может любить или ненавидеть другого, бесчисленны. Мун же сводил миро-

вую историю к банальным экономическим противоречиям. Утверждал, что триумф дела революции предопределен. Я сказал, что только «джентльмены» могут посвящать себя делу, сулящему проигрыш... Была ночь. Мы продолжали полемизировать в коридоре, на лестницах, потом на безлюдных улицах. Суждения Муна не производили на меня такого впечатления, как его безапелляционный, менторский тон. Новый соратник не спорил, он просто сообщал свое мнение, пренебрежительно и раздраженно.

Когда мы добрались до последних домов, нас оглушил резкий ружейный выстрел. (До или после того мы шли вдоль глухой стены фабрики или казармы.) Мы бросились в какой-то темный переулок. Солдат, огромный на фоне пламени, выскочил из подоженного домика, громогласно велел нам остановиться. Я ускорил шаги, мой товарищ не шел за мною. Я обернулся. Джон Винсент Мун стоял неподвижно, как замороженный или окаменевший от ужаса. Я возвратился, одним ударом сшиб с ног солдата, тряхнул Винсента Муна, выругал и приказал следовать за собою. Но пришлось взять его под руку — им овладел смертный страх. Мы бежали в ночи, разрываемой огнями пожаров. Ружейный выстрел настиг нас, пуля обожгла Муну локоть. Когда мы петляли меж сосен, он охал и всхлипывал.

В ту осень 1922-го я нашел для себя прибежище на вилле генерала Беркли. Хозяин виллы (я его никогда не видел) в ту пору занимал какой-то административный пост в Бенгалии. Дому еще не минуло и века, а он уже был обшарпан и запущен, изобиловал несуразными коридорами и никому не нужными холлами. Музей и огромная библиотека занимали весь первый этаж: вздорные, противоречащие друг другу книги представляли в какой-то степени историю XIX века; ятаганы Нишапура, в застывших полукружиях которых, казалось, таились вихрь и натиск сражения. Мы вошли (как мне помнится) через черный ход. Мун трясущимися сухими губами пробормотал, что наши ночные приключения были весьма интересны. Я перевязал его, подал чашку чая. И убедился, что не рана у него, а царапина. Он вдруг с изумлением промямлил:

— Вы, однако, подвергали себя немалому риску.

Я попросил его не беспокоиться. (Традиции гражданской войны обязывали меня поступить так, а не

иначе; кроме того, арест хотя бы одного участника мог погубить все наше движение.)

На следующий день к Муну вернулся бывший апломб. Он взял предложенную сигарету и подверг меня строгому допросу об «экономических ресурсах нашей революционной партии». Его вопросы попадали в цель. Я сказал (и это истинная правда), что положение очень тяжелое. Грохот винтовочных выстрелов сотрясал весь Юг. Я сказал Муну, что нас ожидают товарищи. И вышел за пальто и револьвером в свою комнату. Вернувшись, увидел, что Мун с закрытыми глазами лежит на софе. Он сообщил, что у него лихорадка, и сетовал на острую боль в плече.

Тут я понял, что его трусость неизлечима. Смущенно посоветовал ему беречься и распрощался. Мне было так стыдно за этого человека, словно трусом был я, а не Винсент Мун. Ведь к тому, что делает один человек, словно бы причастны все люди. Поэтому трудно считать несправедливым, если бы послушание в одном саду пало проклятием на весь род человеческого; трудно считать несправедливым, если бы распятие одного еврея стало спасением всех людей. Может быть, и прав Шопенгауэр: я — это другие, любой человек — это все люди. Шекспир в каком-то смысле тот же несчастный Джон Винсент Мун.

Дней девять мы жили на огромной вилле генерала. Об ужасах и светлых днях войны не буду говорить. Цель моя — рассказать вам о шраме, позорящем меня. Все эти девять дней у меня в памяти слились в один, за исключением предпоследнего: тогда мы ворвались в казарму и отомстили за шестнадцать — не больше и не меньше — наших товарищей, расстрелянных из пулемета в Элфине. Я выскользнул из дому на заре, в мутной дымке рассвета. К сумеркам возвратился.

Мой сотоварищ ждал меня наверху, рана мешала ему спуститься на первый этаж. Я словно вижу его, листающего книгу по стратегии — Ф. Н. Моуда или Клаузевица. «Из всех видов вооружения предпочитаю артиллерию», — признался он мне как-то ночью. Он постоянно выведывал наши планы и с удовольствием критиковал их или корректировал. Обычно порицал «наши жалкие материальные ресурсы» и предрекал с мрачной уверенностью трагичный финал. «C'est une

affaire flambée!»¹ — шипел он. И старался мне доказать, что его трусость — пустяк в сравнении с его явным умственным превосходством. Так прошли, худо-бедно, все девять дней.

На десятый город полностью оказался в руках Black and Tans². Рослые молчаливые всадники патрулировали улицы. Ветер нес пепел и гарь. На каком-то углу я видел распластанный труп, но гораздо упорнее в памяти сохранилось другое: манекен, по которому бьют солдаты, упражняясь в стрельбе среди площади...

Я ушел из дому, когда занималась заря; к полудню успел возвратиться. Мун разговаривал с кем-то в библиотеке. Я понял, что говорит он по телефону. Затем услышал свое имя, затем — что вернусь я к семи, затем — просьбу, чтобы схватили меня в саду возле дома. Мой мудрый друг очень мудро меня предавал. Я слышал, как он требовал для себя гарантии безопасности.

Здесь повествование мое спутывается и кончается. Знаю только, что бежал за предателем по сумрачным адским коридорам и по крутым жутким лестницам. Мун знал виллу прекрасно, много лучше меня. Раз или два я терял его из виду. Но догнал его раньше, чем меня взяли солдаты. Со стены, из генеральской оружейной коллекции выхватил короткую саблю. Этим стальным полумесяцем я навеки оставил на его лице полумесяц кровавый. «Борхес, вас я не знаю и потому рассказал все как есть. Так мне легче вынести ваше презрение».

Рассказчик умолк. Я заметил, что у него дрожат руки. — А Мун? — спросил я.

— Получил иудины деньги и уехал в Бразилию. Перед отъездом, на площади, он видел, как пьяные солдаты расстреливают манекен.

Я напрасно ждал продолжения истории. Наконец спросил, что же дальше.

Тогда у него вырвался стон, тогда он робким и мягким жестом указал на свой бледный кривой рубец.

— Вы мне не верите? — бормотал он. — Или не

¹ Пропащее дело (*фр.*).

² Черные и коричневые (*англ.*); здесь: части английской армии, формировавшиеся из жителей колоний Великобритании (*Примеч. пер.*).

видите у меня на лице эту печать моего бесчестья? Я намеренно запутывал свой рассказ, чтобы вы дослушали его до конца. Я предал человека, спасшего мне жизнь, я — Винсент Мун. А теперь презирайте меня».

ТЕМА ПРЕДАТЕЛЯ И ГЕРОЯ

So the Platonic Year
Whirls out new right and wrong,
Whirls in the old instead;
All men are dancers and their tread
Goes to the barbarous clangour of a gong.
*W. B. Yeats. The Tower*¹

Под явным влиянием Честертона (изобретателя и разгадчика изящных тайн) и надворного советника Лейбница (придумавшего предустановленную гармонию) я вообразил себе нижеследующий сюжет, который, возможно, разовью в свободные вечера, но который и в этом виде в какой-то мере оправдывает мое намерение. Мне недостает деталей, уточнений, проверок; целые зоны этой истории от меня еще скрыты; сегодня, 3 января 1944 года, она видится мне так.

Действие происходит в некоей угнетаемой и упрямой стране: Польше, Ирландии, Венецианской республике, каком-нибудь южно-американском или балканском государстве... Вернее сказать, происходило, ибо, хотя рассказчик наш современник, сама-то история произошла в начале или во второй четверти XIX века. Возьмем (ради удобства изложения) Ирландию; возьмем год 1824-й. Рассказчика зовут Райен, он правнук юного, героического, красивого, застреленного Фергюса Килпатрика, чья могила подверглась загадочному ограблению, чье имя украшает стихи Браунинга и Гюго, чья статуя высится на сером холме посреди рыжих болот.

¹ Вот так Платонов Год,
Свершая круг, добро и зло прогонит вон
И к старому опять вернется;
Все люди — куклы; хоровод несется,
И нить их дергает под дикий гонга звон.
У. Б. Йитс. «Башня» (англ.)

Килпатрик был заговорщиком, тайным и славным вождем заговорщиков; подобно Моисею, который с земли моавитской видел вдали землю обетованную, но не смог ступить на нее, Килпатрик погиб накануне победоносного восстания, плода его дум и мечтаний. Близится дата первого столетия со дня его гибели; обстоятельства убийства загадочны; Райен, посвятивший себя созданию биографии героя, обнаруживает, что загадка убийства выходит за пределы чисто уголовного дела. Килпатрика застрелили в театре; британская полиция убийцу так и не нашла; историки заявляют, что эта неудача отнюдь не омрачает ее славу, так как убийство, возможно, было делом рук самой полиции. Райена смущают и другие грани загадки. Они отмечены элементами цикличности: в них словно бы повторяются или комбинируются факты из разных отдаленных регионов, отдаленных эпох. Так, всем известно, что сбиры, произведшие осмотр трупа героя, нашли нескрытое письмо, предупреждавшее об опасности появления в театре в этот вечер; также Юлий Цезарь, направляясь туда, где его ждали кинжалы друзей, получил донесение с именами предателей, которое не успел прочитать. Жена Цезаря Кальпурния видела во сне, что разрушена башня, которой Цезаря почтил сенат; ложные анонимные слухи накануне гибели Килпатрика разнесли по всей стране весть о пожаре в круглой башне в Килгарване, что могло показаться предзнаменованием, ибо Килпатрик родился в Килгарване. Эти аналогии (и другие) между историей Цезаря и историей ирландского заговорщика приводят Райена к предположению об особой, нам неведомой форме времени, об узоре, линии которого повторяются. Ему приходит на ум десятичная схема, изобретенная Кондорсе; также морфологии истории, предложенные Гегелем, Шпенглером и Вико; человечество Гесиода, вырождающееся в движении от золотого века к железному. Ему приходит на ум учение о переселении душ, которое окружало ужасом кельтские письмена и которое сам Цезарь приписывал британским друидам; он думает, что Фергюс Килпатрик, прежде чем быть Фергюсом Килпатриком, был Юлием Цезарем. Из этого циклического лабиринта выводит

Райена одно любопытное совпадение, но такое совпадение, которое тотчас заводит его в другие лабиринты, еще более запутанные и разнородные; слова какого-то нищего, заговорившего с Фергюсом Килпатриком в день его смерти, были предсказаны Шекспиром в трагедии «Макбет». Чтобы история подражала истории, одно это достаточно поразительно; но чтобы история подражала литературе, это и вовсе непостижимо... Райен обнаружил, что в 1814 году Джеймс Алегзандер Нолан, самый старый друг героя, перевел на гаэльский главные драмы Шекспира, и среди них «Юлия Цезаря». Он также нашел в архивах рукопись статьи Нолана о швейцарских «Festspiele»¹, многочасовых кочующих театральных представлениях, которые требуют тысяч актеров и повторяют исторические эпизоды в тех же горах и горах, где они происходили. Другой неизданный документ открывает ему, что Килпатрик, за несколько дней до кончины, председательствуя на своем последнем заседании, подписал смертный приговор предателю, чье имя было зачеркнуто. Такой приговор никак не согласуется с милосердным нравом Килпатрика. Райен исследует дело (его исследования — один из пробелов в сюжете), и ему удается разгадать тайну.

Килпатрика прикончили в театре, но театром был также весь город, и актеров там был легион, и драма, увенчавшаяся его смертью, охватила много дней и много ночей. Вот что произошло:

2 августа 1824 года состоялась встреча заговорщиков. Страна созрела для восстания, однако что-то все же не ладилось: среди заговорщиков был предатель. Фергюс Килпатрик поручил Джеймсу Нолану найти предателя. Нолан поручение исполнил: при всех собравшихся он заявил, что предатель — сам Килпатрик. Неопровержимыми уликами он доказал истинность обвинения; заговорщики присудили своего вождя к смерти. Он сам подписал свой приговор, но просил, чтобы его казнь не повредила родине.

Тогда у Нолана возник необычный замысел. Ирландия преклонялась перед Килпатриком; малейшее подо-

¹ «Праздничные действия» (нем.).

зрение в измене поставило бы под угрозу восстание; по плану Нолана казнь предателя должна была способствовать освобождению родины. Он предложил, чтобы осужденный погиб от руки неизвестного убийцы при нарочито драматических обстоятельствах, которые врежутся в память народную и ускорят восстание. Килпатрик дал клятву участвовать в этом замысле, который предоставлял ему возможность искупить вину и будет подкреплён его гибелью.

Времени оставалось мало, и Нолан не успел сам изобрести все обстоятельства сложного представления: пришлось совершить плагиат у другого драматурга, у врага-англичанина Уильяма Шекспира. Он повторил сцены «Макбета», «Юлия Цезаря». Публичное и тайное представление заняло несколько дней. Осужденный приехал в Дублин, беседовал с людьми, действовал, молился, негодовал, произносил патетические слова, и каждый из его поступков, которые затем подхватит слава, был предусмотрен Ноланом. Сотни актеров помогали игре протагониста; у некоторых роль была сложной, у других — мимолетной. Их слова и дела запечатлены в исторических книгах, в пылкой памяти Ирландии. Килпатрик, увлеченный этой тщательно разработанной ролью, которая его и обеляла, и губила, не однажды обогащал текст своего судьи импровизированными поступками и словами. Так развертывалась во времени эта многолюдная драма вплоть до 6 августа 1824 года, когда в ложе с траурными портьерами, предвещавшей ложу Линкольна, долгожданная пуля пробила грудь предателя и героя, который, захлебываясь кровью, хлынувшей из горла, едва успел произнести несколько предписанных ролью слов.

В произведении Нолана пассажи, подражающие Шекспиру, оказались *менее* драматичны; Райен подозревает, что автор вставил их, дабы в будущем кто-нибудь угадал правду. Райен понимает, что и он также является частью замысла Нолана... После долгих раздумий он решает о своем открытии умолчать. Он издает книгу, прославляющую героя: возможно, и это было предусмотрено.

СМЕРТЬ И БУССОЛЬ

*Посвящается
Мандие Молина Ведиа*

Из многих задач, изощрявших дерзкую проникаемость Лённрота, не было ни одной столь необычной — даже вызывающе необычной, — как ряд однотипных кровавых происшествий, достигших кульминации на вилле «Трист-ле-Руа» среди неизбежного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лённроту не удалось предотвратить, но несомненно, что он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ярмолинского, зато угадал таинственную систему преступного цикла и участие Реда Шарлаха, имевшего кличку Шарлах Денди. Этот преступник (как многие другие) поклялся честью, что убьет Лённрота, но тот никогда не давал себя запугать. Лённрот считал себя чистым мыслителем, неким Огюстом Дюпенем, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока.

Первое преступление произошло в «Отель дю Нор» — высоченной призме, господствующей над устьем реки, воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню (так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид) третьего декабря прибыл делегат из Подольска на Третий конгресс талмудистов, доктор Марк Ярмолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему «Отель дю Нор»; он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести три года войны в Карпатах и три тысячи лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер на этаже R, напротив suite¹, который не без шика занимал тетрарх Галилеи. Ярмолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в placard² большое количество своих книг и весьма мало одежды и еще до полуночи

¹ Номер из нескольких комнат (*фр.*)

² Стенной шкаф (*фр.*)

погасил свет. (Таково свидетельство шофера тетрарха, спавшего в соседнем номере.) Четвертого декабря в 11 часов 3 минуты утра ему позвонил по телефону редактор «Идише цайтунг»; доктор Ярмолинский не ответил; его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голого под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходившей в коридор, его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Тревиранус и Лённрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство.

— Нечего тут мудрить и строить догадки, — говорил Тревиранус, величественно потрясая сигарой. — Всем нам известно, что у тетрарха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то наверно по ошибке забрался сюда. Ярмолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете?

— Это правдоподобно, но это не интересно, — ответил Лённрот. — Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной. А я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин, и я предпочел бы чисто раввинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя.

Тревиранус с досадой ответил:

— Меня не интересуют раввинские объяснения, меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому не известного.

— Не такого уж неизвестного, — поправил Лённрот. — Вот полное собрание его сочинений. — Он указал на полку стенного шкафа, где стояли высокие тома: «Оправдание каббалы», «Обзор философии Роберта Фладда», буквальный перевод «Сефер Йецира»¹, «Биография Баал-Шема», «История секты хасидов», монография (на немецком) о Тетраграмматоне² и другая монография — о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на

¹ «Книга творения» (*др.-евр.*).

² Четырехбуквие (*греч.*).

них со страхом, чуть не с отвращением. Потом рассмеялся.

— Я всего лишь жалкий христианин, — сказал он. — Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях.

— Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий, — пробормотал Лённрот.

— Как и христианство, — осмелился дополнить редактор «Идише цайтунг». Он был близорук, очень робок и не верил в Бога. Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой:

«Прознесена первая буква Имени».

Лённрот и не подумал улыбнуться. Внезапно став библиофилом, гебраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали, и унес их в свой кабинет. Отстранясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг (большой ин-октаво) познакомила его с учением Исраэля Баал-Шем-Това, основателя секты благочестивых; другая — с могуществом и грозным действием Тетраграмматона, каковым является непроносимое Имя Бога; еще одна — с тезисом, что у Бога есть тайное имя, в котором заключен (как в стеклянном шарике, принадлежавшем, по сказаниям персов, Александру Македонскому) его девятый атрибут, вечность — то есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает девяносто девять имен Бога, гебраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами, хасиды же делают отсюда вывод, что этот пробел указывает на существование сотого имени — Абсолютного Имени.

От этих ученых штудий Лённрота через несколько дней отвлекло появление редактора «Идише цайтунг». Редактор хотел поговорить об убийстве, Лённрот предпочел порассуждать об именах Бога; затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Лённрот занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Лённрот, привыкший к газетным упоминаниям, не возмутился. Один из тех коммерсантов,

которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов».

Второе преступление произошло ночью третьего января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старой красильни человека в пончо. Затвердевшее лицо было, как маской, покрыто кровью; грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене, над желтыми и красными ромбами, было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал... Под вечер Тревиранус и Лённрот направились на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет: все огромней становился небосвод, и дома все меньше привлекали внимание, зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу: окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Асеведо, человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах, — сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях, он опустился до ремесла вора и даже доносчика. (Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Асеведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером.) Мелом были написаны следующие слова:

«Произнесена вторая буква Имени».

Третье преступление произошло в ночь на третье февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Тревирануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что зовут его Гинзберг (или Гинзбург) и что он готов, за должное вознаграждение, сообщить факты, касающиеся обоих убийств — Асеведо и Ярмолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что это шутка (как-никак была пора кар-

навала), Тревиранус установил, что с ним говорили из «Ливерпуль-хауз», таверны на Рю-де-Тулон, злачной улице, где сосуществуют косморама и молочная, публичный дом и продавцы Библии. Тревиранус позвонил хозяину таверны. Хозяин (Блэк Финнеген, ирландец и бывший преступник), огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец, некий Грифиус, и что он только недавно вышел с приятелями. Тревиранус немедленно отправился в «Ливерпуль-хауз». Хозяин сообщил следующее: неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром; у него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное; Финнеген (предназначавший это помещение для других целей, о чем Тревиранус догадался), запросил явно чрезмерную плату; Грифиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужинает и обедает у себя в комнате, в баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнегена, в это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два арлекина — оба невысокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. Под вой рожков они ввалились в контору Финнегена, кинулись обнимать Грифиуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно; они обменялись несколькими словами на идиш — он низким, гортанным голосом, они фальшивыми, высокими голосами — и все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились, очень веселые. Грифиус шатался и был с виду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся, он шел между двумя арлекинами в масках. (Женщина из бара вспомнила желтые, красные и зеленые ромбы на их одежде.) Грифиус дважды споткнулся. Оба раза арлекины его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним арлекин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу.

Тревиранус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила:

«Произнесена последняя буква Имени».

Затем он осмотрел комнатку Грифиуса-Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови, в углах валялись окурки сигарет венгерской марки, в шкафу стояла книга на латинском языке «*Philologus hebraeograecus*»¹ (1739) Лейсдена с несколькими от руки сделанными пометками. Тревиранус негодуяще поглядел на нее и послал за Лённротом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречивших друг другу свидетелей предполагаемого похищения. В четыре часа оба вышли. На извилистой Рю-де-Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Тревиранус сказал:

— А если происшествие нынешней ночи — просто симуляция?

Эрик Лённрот усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж (им подчеркнутый) из тридцать третьего рассуждения «*Philologus*»:

— *Dies Judaeorum incipit ad solis occasu usque ad solis occasum diei sequentis.* Это значит, — добавил он, — у евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня.

Его спутник попытался съязвить:

— И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли?

— Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом.

Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторявшиеся убийства. «Крест на Мече» противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем Конгрессе отшельников; Эрнст Паласт в «Мученике» осудил «недопустимую медлительность подпольного, жалкого погрома, которому понадобилось три месяца для ликвидации трех евреев»; «Идише цайтунг» отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, «хотя многие проникательные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны»; самый знамени-

¹ «Еврейско-греческий филолог» (лат.).

тый из наемных убийц Юга, Денди Ред Шарлах, поклялся, что убийства такого рода в его районе никогда не совершались, и обвинил комиссара Франца Тревирануса в преступной халатности.

Вечером первого марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его: в нем было письмо с подписью «Барух Спиноза» и подробный план города, явно выданный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что третьего марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна на Рю-де-Тулон и «Отель дю Нор» были «идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника»; красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Тревиранус безропотно прочитал это доказательство *de more geometrico*¹ и отослал письмо и план Лённроту домой — такую беллиберду только ему и разбирать.

Эрик Лённрот внимательно изучил присланное. Три указанные точки действительно находились на равных расстояниях. Симметрия во времени (3 декабря, 3 января, 3 февраля), симметрия в пространстве... Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и буссоль. Он усмехнулся, произнес слово «Тетраграмматон» (недавно усвоенное) и позвонил комиссару.

— Благодарю, — сказал он, — за равносторонний треугольник, который вы мне вчера прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать.

— Стало быть, они четвертое убийство не замышляют?

— Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны. — И Лённрот повесил трубку.

Час спустя он ехал в поезде Южных железных дорог на направлении к заброшенной вилле «Трист-ле-Руа». На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей с мутной, глинистой ВОДОЙ, пол-

¹ Геометрическим способом (лат.).

ной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Лённрот усмехнулся при мысли, что самый знаменитый из них — Ред Шарлах — все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Асеведо был дружкой Шарлаха. Лённрот предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг... В принципе он задачу решил; конкретные обстоятельства, факты (имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности) его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять, хотелось отдохнуть после трех месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл, он даже покраснел, что ухлопал на нее сто дней.

Поезд остановился на тихой товарной станции. Лённрот вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Лённрот зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи вонючую воду. Уже темнело, когда вдаль показался четырехугольный бельведер виллы «Трист-ле-Руа», почти такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Лённрот подумал, что всего лишь один рассвет и один закат (извечная заря на востоке и другая заря на западе) отделяют его от часа, желанного для искателей Имени.

Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь на то, что удастся войти, Лённрот обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально просунул руку меж прутьями и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота.

Лённрот пошел по аллее между эвкалиптами, топча многие поколения жестких красных листьев. Вблизи вилла «Трист-ле-Руа» поражала бессмысленной симмет-

рией и маниакальной повторяемостью украшений: ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана; одному балкону как бы служил отражением другой балкон; два марша парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с двумя лицами. Лённрот обошел кругом весь дом, как прежде — усадьбу. Он осмотрел все, и под высокой террасой заметил узкую штору.

Лённрот отвел штору: за нею было несколько мраморных ступеней, ведущих в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лённрот предположил, что в противоположной стене подвала будут такие же ступени. Он и впрямь их нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл крышку люка и вышел.

Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно: желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лённрот обследовал дом. Через прихожие и галереи он выходил в одинаковые патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад; мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, и их тарлатан обволакивала паутина. В одной из спален он задержался, в этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял один-единственный цветок; при первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем и последнем этаже дом показался Лённроту беспредельным и все разрастающимся. «Дом не так уж велик, — подумал он. — Это только кажется из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности, непривычной обстановки, пустынности».

По винтовой лестнице он поднялся на бельведер. Вечерняя луна светила сквозь ромбы окон — они были желтые, красные и зеленые. Лённрот остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием.

Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых набросились на него и обезоружили; третий, очень высокий, церемонно поклонился и сказал:

— Вы весьма любезны. Вы сберегли нам одну ночь и один день.

Это был Ред Шарлах. Те двое связали Лённроту руки. Он наконец обрел дар речи.

— Неужто, Шарлах, это вы ищете Тайное Имя?

Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер Лённрота. Но вот он заговорил; Лённрот услышал в его голосе усталую удовлетворенность победой, ненависть, безмерную как мир, и печаль, не менее огромную, чем ненависть.

— Нет, — сказал Шарлах. — Я ищу нечто более бренное и хрупкое, я ищу Эрика Лённрота. Три года тому назад в притоне на Рю-де-Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. Девять дней и девять ночей я умирал в этой безлюдной симметрической вилле; меня сжигала лихорадка, ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело, мне чудилось, что два глаза, две руки, два легких — это так же чудовищно, как два лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову, он твердил мне изречение «гоим»¹: «Все дороги ведут в Рим». Ночью я бредил этой метафорой, я чувствовал, что мир — это лабиринт, из которого невозможно бежать, потому что все пути — пусть кажется, что они идут на север или на юг, — в самом деле ведут в Рим, а Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат, и виллой «Трист-ле-Руа». В эти ночи я поклялся богом, который видит двумя лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его, и сложен он крепко: материалом послужили убитый ересиолог, буссоль, секта XVIII века, одно греческое слово, один нож, ромбы на стене красильни.

Первый элемент ряда был мне подброшен случайно. С несколькими товарищами (среди них был Даниэль

¹ Неевреев (*иврит*).

Асеведо) я задумал украсть сапфиры тетрарха. Асеведо нас предал: на деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился; около двух ночи забрел в номер Ярмолинского. Тот, мучимый бессонницей, сидел и писал. Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об Имени Бога; он как раз написал слова: «Произнесена первая буква Имени». Асеведо приказал ему молчать; Ярмолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле; Асеведо нанес ему только один удар ножом — в грудь. Это было почти инстинктивным движением; пятьдесят лет насилия научили его, что самое легкое и надежное — это убить... Через десять дней «Идише цайтунг» сообщила, что в писаниях Ярмолинского вы ищите ключ к гибели Ярмолинского. Я прочитал «Историю секты хасидов» и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести Имя Бога, породил учение, что Имя это всесильно и облечено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого Тайного Имени доходили до убийств... Я понял, что, по вашему предположению, раввина убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки.

Марк Ярмолинский был убит ночью третьего декабря; для второго «жертвоприношения» я выбрал ночь третьего января. Он погиб в северной части города; для второго «жертвоприношения» надо было найти место в восточной. Требовавшейся мне жертвой стал Даниэль Асеведо. Он заслуживал смерти: он был необуздан, он был предатель, его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших; чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал над ромбами красильни: «Произнесена вторая буква Имени».

Третье «преступление» произошло третьего февраля. Как и угадал Тревиранус, это была чистая симуляция. Грифиус-Гинзберг-Гинзбург — это я; я провел бесконечную неделю (приклеив редкую фальшивую бородку) в этом развратном вертепе на Рю-де-Тулон, пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе «Произнесена последняя буква Имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было три. Так и поняли все в горо-

де; но я несколько раз намекнул для вас, мыслитель Эрик Лённрот, что их должно быть четыре. Одно чудо на севере, два других на востоке и на западе требуют для полноты четвертого на юге; в Тетраграмматоне, Имени Бога, JHVH — это ведь четыре буквы; арлекины и вывеска красильщика внушали мысль о четырех элементах. Я подчеркнул в труде Лейсдена одно место: в этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката; эта фраза подсказывает, что убийства происходили четвертого числа каждого из трех месяцев. Я послал Тревиранусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит правильный ромб, точку, которая установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Лённрот, чтобы заманить вас в безлюдную «Трист-ле-Руа».

Лённрот отвел глаза от взгляда Шарлаха. Он посмотрел на деревья и на небо, расчерченные на мутно-желтые, зеленые и красные ромбы. Ему стало зябко и грустно, грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело, из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лённрот в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей.

— В вашем лабиринте три лишних линии, — сказал он наконец. — Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что не мудрено было запутаться простому детективу. Шарлах, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте (или совершите) одно убийство в пункте А, затем второе убийство в пункте В, в 8 километрах от А, затем третье убийство в пункте С, в четырех километрах от А и В, на середине расстояния между ними. Потом ждите меня в пункте D в двух километрах от пункта А и пункта С, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте D, как сейчас убьете в «Трист-ле-Руа».

— Когда я буду убивать вас в следующий раз, — ответил Шарлах, — я вам обещаю такой лабиринт, ко-

торый состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный.

Он отступил на несколько шагов. Потом очень сосредоточенно выстрелил.

ТАЙНОЕ ЧУДО

...И умертвил его Аллах на сто лет,
потом воскресил. И сказал:
«Сколько ты пробыл?» Тот ответил:
«День или часть дня».

Коран, II, 261

Проживающему в Праге на Цельтнергассе Яромиру Хладику, автору неоконченной драмы «Враги», труда «Опровержение вечности» — исследования об иудейских рукописях, косвенно повлиявших на Якоба Бёме, при-
снилась в ночь на четырнадцатое марта 1939 года долгая шахматная партия. Первенство оспаривали не два шахматиста, а два знатных рода; игра длилась века; сумму награды никто уже не помнил, однако ходили слухи, что она огромна, даже неисчислима; доска с фигурами была установлена в тайной башне. Яромир (во сне) оказался первенцем одного из враждующих родов. Звон часов отмечал время каждого хода; сновидец бежал под дождем по песку пустыни, тщетно пытаясь припомнить правила игры и назначение фигур. Хладик проснулся. Шум дождя и звон ужасных часов исчезли. С улицы доносился ровный неумолкающий гул, перекрываемый словами команды. Светало. Бронированный авангард третьей империи входил в Прагу. Девятнадцатого поступил донос, девятнадцатого же вечером Яромира арестовали. Водворили в хирургически чистую комнату на том берегу Влтавы. Предъявленные обвинения были неопровержимы: фамилия по матери — Ярославски, в жилах течет еврейская кровь, еврействующая работа о Бёме, на последнем протесте против Аншлоса красуется его подпись. В 1928 году он перевел «Сефер Йецира» для издательства Германа Барнсдорфа. Рекламный каталог в коммерческих интересах раздул реноме переводчика. Этот-то каталог и попался на

глаза Юлиусу Роте, гестаповцу, в чьих руках находилась судьба Хладика. Нет человека, который (вне рамок своей профессии) не был бы легковерным. Нескольких восторженных эпитетов, напечатанных готическим шрифтом, оказалось достаточно, чтобы убедить Юлиуса Роте в незаурядности Хладика и приговорить обвиняемого к смерти *pour encourager les autres*¹. Казнь назначили на девять утра двадцать девятого. Эта отсрочка (важность ее читатель еще поймет) вызывалась стремлением уподобиться в административной размерности и беспристрастности планетам и растениям.

Вначале Хладик ощутил только ужас. Он подумал, что виселица, удушение, обезглавливание не утрашили бы его, но расстрел казался невыносимым.

Напрасно он внушал себе, что страшна лишь сама смерть, а не ее конкретные обстоятельства. Он неустанно представлял себе эти обстоятельства в нелепой надежде исчерпать их. Бессчетное число раз мысленно проходил весь путь от предутренней бессонницы до мистического зала. И до срока, назначенного Юлиусом Роте, умирал сотнями смертей во двориках, чьи формы и углы утомили бы даже геометрию; его расстреливали разные солдаты; иногда издали, иногда в упор; число солдат тоже было разным. Хладик встречал эти воображаемые казни с подлинным страхом (а может, с подлинным мужеством). Каждое видение длилось несколько секунд. Круг замыкался, и Яромир, трепеща, вновь возвращался в преддверие своей смерти. Потом он подумал, что действительность обычно не оправдывает предчувствий, и, следуя извращенной логике, заключил, что, если воображать подробности, они не сбудутся.

Подчинившись этой убогой магии, стал измышлять ужасы, чтобы они не свершились; а кончилось, естественно, тем, что увидел в них пророчество. По ночам несчастный пытался хоть как-то удержаться в ускользящей субстанции времени — знал, что оно стремится к рассвету двадцать девятого. «Сейчас ночь на двадцать второе, — рассуждал он вслух, — покуда длится эта ночь (и шесть последующих), я неуязвим и бессмертен». Открыл, что

¹ Чтоб ободрить прочих (*фр.*).

сны — это глубокие темные воды, в которые можно погрузиться. И порой уже с нетерпением ждал казни — по крайней мере она избавит его от бесплодного труда воображать. Двадцать восьмого, когда последний закат отсвечивал на высоких решетках, Хладик отвлекся от этих унижительных мыслей, вспомнив о своей пьесе «Враги».

Хладиду было за сорок. Если не считать нескольких друзей и множества привычек, его жизнь составляло весьма проблематичное занятие литературой. Подобно всякому писателю, он судил о других по их произведениям, но хотел, чтобы о нем судили по замыслам. Собственные книги вызывали в Хладике горькое чувство неудовлетворенности: в своих работах о Бёме, Ибн Эзре и Фладде он видел всего лишь прилежание; в переводе «Сефер Йецира» — небрежность, вялость, неточность. И лишь к «Опровержению вечности» был снисходительнее: в первом томе прослеживалась история различных теорий вечности, от вечного и неизменного бытия Парменида до модифицирующегося прошлого Хинтона. Во втором, вслед за Фрэнсисом Брэдли, отрицалась мысль о том, что все явления Вселенной можно измерить во времени, и доказывалось, что число возможных вариантов человеческого опыта не бесконечно и достаточно одного «повторения», чтобы понять: время — обман...

К сожалению, не менее ложны и доказательства этого обмана. С какой-то презрительной неловкостью вспоминал их Хладик. Он написал еще цикл экспрессионистских стихотворений, которые — увы! — вошли в одну из антологий 1924 года, и каждая последующая обязательно их воспроизводила. Из всего этого бесцветного и пустого прошлого хотелось оставить лишь «Врагов», драму в стихах (Хладик предпочитал стихи, так как они не дают зрителю забыть о вымысле, без которого нет искусства).

В драме соблюдались три единства: место действия — Градчаны, библиотека барона Ремерштадта, время — один из вечеров на исходе XIX века. В первой сцене в замок являлся незнакомец (часы бьют семь, последние неистовые лучи воспламеняют стекла, ветер доносит знакомые звуки бравурной венгерской мелодии). Следуют другие визиты; барон не знает, кто эти

докучные гости, но у него тревожное чувство, будто он их уже видел — возможно, во сне. Все безудержно ему льстят, но постепенно становится ясно — сперва зрителям, потом самому барону, — что это тайные враги, сговорившиеся его уничтожить. Ремерштадту удастся расстроить и высмеять их сложную интригу. Заходит речь о его невесте, Юлии де Вейденау, и некоем Ярославе Кубине, который когда-то докучал ей своей любовью. Этот Кубин будто бы впал в безумие и воображает себя бароном Ремерштадтом... Опасности нарастают. В конце второго акта барон вынужден убить одного из заговорщиков. Начинается третий акт, последний. Необразности множатся; вновь появляются персонажи, которые, казалось, уже вышли из игры, — например, человек, убитый Ремерштадтом, возвращается. Кое-кто замечает, что время остановилось: на часах по-прежнему семь, в стеклах — закатные лучи, доносится браурная венгерская музыка. Появляется первый гость и повторяет свои слова из первой сцены первого акта. Барон отвечает ему не удивляясь. Зритель понимает, что барон и есть несчастный Ярослав Кубин. Никакой драмы не было. Это круговорот бреда, в котором Кубин постоянно пребывает.

Хладик никогда не спрашивал себя, была ли эта трагикомедия ошибок безделкой или шедевром, набором случайностей или цепью последовательно связанных явлений. «В контурах драмы, которые я набросал, чувствовалась не только изобретательность, способная скрыть недостатки и блеснуть достоинствами, здесь была попытка в символической манере выразить самое основное в жизни». Хладик закончил первый акт и часть третьего; стихотворная форма позволяла ему, воспроизводя в памяти гекзаметры, видеть текст, не имея перед глазами рукописи. Хладик подумал, что скоро умрет, а еще двух актов не хватает. Во тьме он обратился к Богу: «Если я не одна из твоих ошибок и повторений, если я существую на самом деле, то существую лишь как автор «Врагов». Чтобы окончить драму, которая будет оправданием мне и тебе, прошу еще год. Ты, что владеешь временем и вечностью, дай мне этот год!» Наступила последняя ночь, самая страшная, но через десять минут сон затопил его, как темная вода.

Под утро ему приснилось, что он блуждает в коридорах библиотеки Клементинума. Библиотекарь в чер-

ных очках спросил его: «Что вы ищете?» — «Бога», — ответил Хладик. Библиотекарь сказал: «Бог находится в одной из букв одной из страниц одной из четырехсот тысяч книг библиотеки. Мои отцы и отцы моих отцов искали эту букву; и я сам ослеп в поисках ее». Он снял очки, и Хладик увидел мертвые глаза. Какой-то читатель вошел, чтобы вернуть атлас. «Этот атлас бесполезен», — сказал он и отдал его Хладику. Тот раскрыл наугад и увидел карту Индии. И с неожиданной уверенностью, чувствуя, что земля уходит из-под ног, коснулся одной из маленьких букв. Раздался голос: «Время для твоей работы дано». Здесь Хладик проснулся.

Он вспомнил, что сны посылаются человеку небом. И, как утверждает Маймонид, если слова в сновидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, проносит их Бог. Потом оделся, в камеру вошли два солдата и велели следовать за ними.

Хладик предполагал, что за дверью лабиринт переходов, лестниц и комнат. Действительность оказалась более скромной — они спустились по железным ступеням во дворик. Группа солдат — некоторые в расстегнутых мундирах — переговаривались, осматривая мотоцикл. Сержант взглянул на часы — восемь сорок четыре. Предстояло ждать до девяти. Хладик, чувствуя себя скорее ненужным, чем несчастным, присел на поленицу. Заметил, что солдаты избегают смотреть на него. Чтоб скрасить ожидание, сержант протянул ему сигарету. Хладик не курил, но взял — то ли из вежливости, то ли из смирения. Прикуривая, он увидел, что пальцы дрожат. Стало пасмурно. Солдаты говорили тихо, словно при покойнике. Хладик тщетно пытался припомнить женщину, которую изобразил в Юлии Вейденау...

Солдаты построились. Хладик, став у стены казармы, ожидал залпа. Кого-то обеспокоило, что кровь может замарать стену. Осужденному приказали сделать несколько шагов вперед. Нелепо, но это напомнило Хладику приготовления фотографов перед съемкой. На висок ему упала тяжелая капля дождя и медленно поползла по щеке. Сержант выкрикнул слово команды.

И тут окружающий мир замер. Винтовки были направлены на Хладика, но люди, которые должны были убить его, не шевелились. Рука сержанта окаменела в незавершенном жесте. На каменной плите застыла тень

летающей пчелы. Ветер тоже замер, словно на картине. Хладик пытался крикнуть, шепнуть, двинуть рукой. И понял, что парализован. Ни единого звука не доходило из оцепеневшего мира. Он подумал: «Я мертв, я в аду». Потом: «Я сошел с ума». Потом: «Время остановилось». Затем сообразил, что в таком случае мысль его тоже должна остановиться. Решил проверить: повторил (не шевеля губами) загадочную четвертую эклогу Вергилия. Быть может, с отодвинувшимися куда-то солдатами происходит то же самое? Захотелось спросить у них. Странно, но усталость прошла, не кружилась голова после долгой неподвижности. Через какое-то время он заснул. Проснувшись, нашел мир таким же неподвижным и беззвучным. На щеке была та же капля, на плите — тень от пчелы, дымок брошенной им сигареты так и не растаял.

Прошел еще «день», прежде чем Хладик понял: он просил у Бога целый год для окончания драмы — всемогущий отпустил ему этот год. Господь совершил для него тайное чудо: немецкая пуля убьет его в назначенный срок, но целый год протечет в его сознании между командой и ее исполнением. От растерянности Хладик перешел к изумлению, от изумления — к смирению, от смирения — к внезапной благодарности. Он мог рассчитывать только на свою память: запоминание каждого нового гексаметра придавало ему счастливое ощущение строгости, о которой не подозревали те, что находят и тут же забывают случайные строки.

Он трудился не для потомства, даже не для Бога, чьи литературные вкусы были ему неведомы. Недвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт. Дважды переделал третий акт. Выбросил слишком очевидную символику — бой часов, музыку. Ничто ему не мешало. Он опускал, сокращал, расширял. Иногда останавливался на первоначальном варианте. Ему стали нравиться дворик, казарма; лицо одного из солдат изменило представление о характере Ремерштадта. Он обнаружил, что пресловутые какофонии, так тревожившие Флобера, — явления визуального порядка, недостатки и слабости слова написанного, а не звучащего... Он закончил свою драму. Не хватало лишь

одного эпитета. Нашел его. Капля покатила по щеке. Хладик коротко вскрикнул, дернул головой, четыре пули опрокинули его на землю.

Яромир Хладик умер двадцать девятого марта в девять часов две минуты утра.

ТРИ ВЕРСИИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ

There seemed a certainty in degradation.

*T. E. Lawrence
Seven Pillars of Wisdom¹*

В Малой Азии или в Александрии, во втором веке нашей религии, когда Василид заявлял, что космос — это дерзновенная или злокозненная импровизация ущербных ангелов, Нильс Рунеберг с его исключительной интеллектуальной страстностью, вероятно, возглавлял бы какую-нибудь из гностических общин. Данте, возможно, предназначил бы ему огненную могилу; его имя удлинено бы списки младших ересиархов, став между Саторнилом и Карпократом; какой-нибудь фрагмент из его проповедей, обрамленный поношеньями, сохранился бы в апокрифической «*Liber adversus omnes haereses*»² или бы погиб, когда пожар какой-нибудь монастырской библиотеки пожрал бы последний экземпляр «*Syntagma*»³. Вместо всего этого Бог назначил ему в удел XX век и университетский город Лунд. Там в 1904 году он опубликовал первое издание «*Kristus och Judas*»⁴, там же в 1909 году вышла его главная книга — «*Den hemlige Frälsaren*»⁵. (Последняя имеется в немецком переводе, выполненном в 1912 году Эмилем Шерингом, и называется «*Der heimliche Heiland*»⁶.)

Прежде чем приступить к обзору этих безрассудных книг, необходимо напомнить, что Нильс Рунеберг, член

¹ «В деградации была как бы некая надежность». — Т. Э. Лоуренс. «Семь столпов Мудрости» (англ.).

² «Книга против всех ересей» (лат.).

³ «Синтагма» (лат.).

⁴ «Христос и Иуда» (швед.).

⁵ «Тайные спасители» (швед.).

⁶ «Тайный спаситель» (нем.).

Национального евангелического общества, был искренне религиозен. Где-нибудь в литературном кружке Парижа или даже Буэнос-Айреса какой-нибудь литератор мог бы без опасений вытащить на свет тезисы Рунеберга; тезисы эти, изложенные в литературном кружке, были бы легкомысленным, праздным занятием для равнодушных или кощунственных умов. Для Рунеберга же они были ключом к разгадке главной тайны богословия, были предметом медитации и анализа, исторических и филологических контроверз, предметом гордости, ликования и ужаса. Они стали в его жизни оправданием ее и погибелью. Читателям этой статьи следует также помнить, что в ней приведены лишь выводы Рунеберга, но нет его диалектических рассуждений и его доказательств. Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал «доказательствам». Но кто же стал бы искать доказательств тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован?

Первое издание «Kristus och Judas» было снабжено категорическим эпитафием, смысл которого в последующие годы будет чудовищно расширен самим Нильсом Рунебергом: *«Не одно дело, но все дела, приписываемые традицией Иуде Искарियोу, — это ложь»* (Де Куинси, 1857). Имея тут предшественником одного немца, Де Куинси пришел к заключению, что Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима; Рунеберг же предлагает оправдание Иуды метафизического свойства. Весьма искусно он начинает с убедительной мысли о том, что поступок Иуды был излишним. Он (подобно Робертсону) указывает, что для опознания учителя, который ежедневно проповедовал в синагоге и совершал чудеса при тысячном стечении народа, не требовалось предательства кого-либо из апостолов. Однако оно совершилось. Предполагать в Писании ошибку недозволительно; не менее недозволительно допустить случайный эпизод в самом знаменательном событии истории человечества. Ego¹, предательство Иуды не было случайным; оно было деянием предопределенным, занимающим свое таинственное место в деле искупления. Рунеберг продолжает: Слово, воплотившись, перешло из вездесущности в ограниченное простран-

¹ Следовательно (лат.).

во, из вечности — в историю, из безграничного блаженства — в состояние изменчивости и смерти; было необходимо, чтобы в ответ на подобную жертву некий человек, представляющий всех людей, совершил равноценную жертву. Этим человеком и был Иуда Искариот. Иуда, единственный из апостолов, угадал тайную божественность и ужасную цель Иисуса. Слово опустилось до смертного; Иуда, ученик Слова, мог опуститься до предателя (самого гнусного преступления, какое ведомо подлости) и до обитателя геенны огненной. Миропорядок внизу — зеркало миропорядка горнего; земные формы соответствуют формам небесным; пятна на коже — карта негленных созвездий; Иуда, неким таинственным образом, — отражение Иисуса. Отсюда тридцать сребреников и поцелуй, отсюда добровольная смерть, чтобы еще верней заслужить Проклятие. Так разъяснил Нильс Рунеберг загадку Иуды.

Все христианские богословы отвергли его доводы. Ларс Петер Энгстрём обвинил его в незнании или в умолчании о единстве ипостасей; Аксель Борелиус — в возрождении ереси докетов, отрицавших человеческую природу Иисуса; язвительный епископ Лунда — в противоречии с третьим стихом двадцать второй главы Евангелия от Луки.

Разнообразные эти анафемы возымели действие — Рунеберг частично переработал раскритикованную книгу и изменил свои взгляды. Он оставил своим противникам область богословия и выдвинул косвенные доказательства нравственного рода. Он согласился, что Иисус, «располагавший необозримыми средствами, которые дает Всемогущество», не нуждался в одном человеке для спасения всех людей. Затем он опроверг тех, кто утверждал, будто мы ничего не знаем о загадочном предателе; мы знаем, говорил он, что он был одним из апостолов, одним из избранных возвещать царство небесное, исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять бесов (Матфей, 10: 7-8; Лука, 9:1). Муж, столь отличный Спасителем, заслуживает, чтобы мы толковали его поведение не так дурно. Приписывать его преступление алчности (как делали некоторые, ссылаясь на Евангелие от Иоанна, 12:6) означает примириться с самым низменным стимулом. Нильс Рунеберг предлагает противоположный стимул: гипертрофированный, почти безграничный аскетизм. Аскет, ради вящей славы Божией, оскверняет и умер-

швляет плоть; Иуда сделал то же со своим духом. Он отрекся от чести, от добра, от покоя, от царства небесного, как другие, менее героические, отрекаются от наслаждения¹. С потрясающей ясностью он заранее продумал свои грехи. В прелюбодеянии обычно участвуют нежность и самоотверженность; в убийстве — храбрость; в профанациях и кощунстве — некий сатанинский пыл. Иуда же избрал грехи, не просветленные ни единой добродетелью: злоупотребление доверием (Иоанн, 12:6) и донос. В его поступках было грандиозное смирение, он считал себя недостойным быть добрым. Павел писал: «Хвалящийся хвалится Господом» (1 Коринфянам, 1:31); Иуда искал Ада, ибо ему было довольно того, что Господь блажен. Он полагал, что блаженство, как и добро, — это атрибут божества и люди не вправе присваивать его себе².

Многие постфактум обнаружили, что во вполне допустимых первых шагах Рунеберга уже заключался экстравагантный финал и что «Den hemlige Frälsaren» — это просто извращение или доведение до края книги «Kristus och Judas». В конце 1907 года Рунеберг завершил и отредактировал рукописный текст; прошло почти два года, прежде чем он отдал его в печать. Книга появилась в октябре 1909 года с предисловием (туманным до загадочности) датского гебраиста Эрика Эрфьорда и с таким коварным эпиграфом: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» (Иоанн 1, 10). Содержание в целом не слишком сложно, хотя заключение чудовищно. Бог снизошел до того, чтобы стать человеком, рассуждает Нильс Рунеберг, ра-

¹ Борелиус насмешливо вопрошает: «Почему он не отрекся от отречения? Почему не отрекся от отречения отречения?» — *Примеч. автора.*

² Экулидис да Кунья в книге, Рунебергу неизвестной, замечает, что для ересиарха из Канудуса, Антониу Консельейру, добродетель была «почти нечестивостью». Аргентинский читатель тут вспомнит аналогичные пассажи в произведениях Альмафуэрте. В символистском журнале «Шю инсегель» Рунеберг опубликовал трудоемкую описательную поэму «Потаенные воды»; в первых строфах излагаются события бурного дня; в последних описан случайно найденный ледяной пруд; поэт дает понять, что существование этих безмолвных вод умеряет наши бессмысленные метания и в какой-то мере их дозволяет и искупает. Поэма заканчивается так: «Воды в лесу блаженны; а нам дозволено быть злыми и страдать». — *Примеч. автора.*

его нелепой и вымученной богословской игрой; богословы отнеслись с пренебрежением. В этом экуменическом равнодушии Рунеберг усмотрел почти чудесное подтверждение своей идеи. Бог повелел быть равнодушию; Бог не желал, чтобы на земле стала известна Его ужасающая тайна. Рунеберг понял, что еще не пришел час. Он почувствовал, что на его голову обрушиваются все древние проклятия господни; он вспомнил Илью и Моисея, которые на горе закрыли себе лица, чтобы не видеть Бога; Исаяю, павшего ниц, когда его глаза узрели Того, чьей славой полнится земля; Саула, глаза которого ослепили на пути в Дамаск; раввина Симона Бен-Аззаи, который узрел Рай и умер; знаменитого колдуна Джованни из Витербо, который обезумел, когда ему удалось узреть Троицу; мидрашим, которые презирают нечестивцев, произносящих Шем-Гамфораш, Тайное Имя Бога. А не стал ли он повинен в этом таинственном преступлении? Не была ли его мысль кощунством против Духа, хулою, которой не будет прощения? (Матфей, 12:31.) Валерий Соран умер из-за того, что разгласил тайное имя Рима; какая же бесконечная кара будет назначена ему за то, что он открыл и разгласил грозное имя Бога?

Пьяный от бессонницы и умопомрачительных рассуждений, Нильс Рунеберг бродил по улицам Мальме, громко умоляя, чтобы ему была дарована милость разделить со Спасителем мучения в Аду.

Он скончался от разрыва аневризмы первого марта 1912 года. Ересиологи, вероятно, будут о нем вспоминать; образ Сына, который, казалось, был исчерпан, он обогатил новыми чертами — зла и злосчастия.

ЮГ

Человек, сошедший в 1871 году с судна в порту Буэнос-Айреса, звался Иоханнесом Дальманом и был пастором евангелической церкви. В 1939 году один из его внуков, Хуан Дальман, заведовал муниципальной библиотекой на улице Кордова и чувствовал себя природным аргентинцем. Его дед со стороны матери был тот самый Франсиско Флорес из второго линейного полка, что погиб на границе провинции Буэнос-Айрес под копытами катриэлевых индейцев. Выбирая из двух своих весьма несхожих родословий, Хуан Дальман (возможно,

повинуясь голосу германской крови) предпочел линию романтического — или романтически погибшего — предка. Шкатулка с дагерротипным изображением невзрачного бородатого человека, старая шпага, страстные и мужественные напевы здешних мест, привычные строфы «Мартина Фьерро», время, безразличие и одиночество вскормили его креолизм — в общем, благоприобретенный, но отнюдь не искусственный. За счет некоторого самоограничения Дальману удавалось содержать усадьбу, принадлежавшую семейству Флоресов на Юге. Самыми яркими образами, врезавшимися в память, были аллея бальзамических эвкалиптов и длинный розовый дом, который иногда становился карминовым. Дела и, возможно, апатия удерживали его в городе. Каждое лето он лишь довольствовался приятным сознанием, что у него есть эта усадьба, и уверенностью, что этот дом ждет его там, на равнине. В последние дни февраля 1939 года с ним случилось нечто совсем непредвиденное. Судьба, равнодушная к преступлениям, может карать за малейший промах. Тем вечером Дальману удалось раздобыть неполный экземпляр «Тысячи и одной ночи» Вайля. Желая скорее рассмотреть приобретение, он не стал дожидаться лифта и торопливо пошел вверх по лестнице. В темноте его что-то цапнуло по лбу. Летучая мышь? Или птица? Лицо женщины, отворившей ему, исказилось от ужаса, а его палец, коснувшийся лба, стал красным от крови. Острое ребро створки недавно окрашенной двери, которую забыли закрыть, рассекло ему бровь. Дальман с трудом уснул, но на рассвете очнулся, и с того часа явь обратилась в кошмар. Лихорадка мучила его, и иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» расцветивали бредовые видения. Друзья и родственники навещали больного и с деланной улыбкой твердили, что он неплохо выглядит. Дальман слушал их с каким-то беспомощным изумлением и поражался, неужели они не замечают, что он в преисподней? Восемь дней тянулись, как восемь столетий. Однажды лечащий врач явился с новым врачом, и его повезли в клинику на улице Эквадор, чтобы сделать рентгено снимок. Дальман, лежа в машине «скорой помощи», думал, что в какой-то другой, чужой комнате он наконец сможет забыться. Ему стало весело и вдруг захотелось болтать. По прибытии с него сняли одежду, обрили голову, прикрепили скобами к столу, светили чем-то в глаза до ослепления и дурноты,

выслушивали, а потом человек в маске вонзил ему в руку шприц. Проснулся он, чувствуя позыв к тошноте, с забинтованной головой, в какой-то камере, похожей на колодец, и в последующие за операцией дни и ночи понял, что до сей поры пребывал лишь в преддверии ада. Кусочки льда во рту вовсе не освежали. За эти сутки Дальман проникся к себе всеобъемлющей ненавистью: он ненавидел свое «я», свои физические потребности, свое моральное унижение, колочую бороду. Он стоически переносил весьма болезненные процедуры, но, когда хирург сказал ему, что он чуть не умер от сепсиса, Дальман расплакался от жалости к самому себе. Физические страдания и постоянное ожидание ужасных ночей не давали ему размышлять о такой абстрактной вещи, как смерть. Но вот хирург объявил ему, что он поправляется и скоро сможет поехать в свою усадьбу восстанавливать силы. Как это ни удивительно, такой день настал.

Надо сказать, ему всегда нравились симметрия и некоторые анахронизмы: он прибыл в клинику на машине «скорой помощи», а теперь машина «скорой помощи» везла его к вокзалу на площади Конституции. Свежесть ранней осени после душной тяжести лета была как естественный символ его счастливой судьбы, презревшей болезнь и смерть. В семь утра город еще не утратил сходства с огромным старинным домом, каким он кажется ночью: улицы — словно длинные коридоры, площади — словно патио. Дальман узнавал их с радостью и волнением, от которых вдруг начинала кружиться голова; на какую-то долю секунды раньше, чем они возникали перед глазами, он уже видел кафе, афиши и другие неброские приметы Буэнос-Айреса. В желтоватом свете нового дня все опять возвращалось к нему.

Известно, что Юг начинается по ту сторону Ривадавии. Дальман всегда считал, что это не простая условность и что, если перейти эту улицу, вступишь в какой-то более старый и более прочный мир. Из машины он старался разглядеть среди новых зданий окно с узорной решеткой, дверной молоток, старинный парадный подъезд или уютный патио.

В зале ожидания он узнал, что до отхода поезда остается около часа. Вдруг вспомнил, что рядом, в кафе на улице Брасиль (в двух шагах от дома Иригойена), обитает огромный кот, который как некое надменное божество позволяет людям прикасаться к себе. Вошел.

Кот был там и дремал. Дальман попросил чашечку кофе, неспешно размешал ложкой сахар, пригубил (в этом удовольствии ему отказывали врачи) и подумал, поглаживая черную шерстку, как иллюзорен этот контакт и как, в общем, они далеки, ибо для человека существует время и чередование событий, а для этого загадочного создания — сиюминутность и вечность момента.

Поезд ждал, растянувшись вдоль предпоследней платформы. Дальман миновал ряд вагонов и поднялся в какой-то полупустой. Закинул чемодан на сетку. Когда колеса застучали, он, мгновение поколебавшись, открыл чемодан и взял первый том «Тысячи и одной ночи». Захватить с собой эту книгу, столь тесно связанную с его бедой, значило уверовать в то, что беда ушла навеки, и с легкой душой бросить тайный вызов поверженным силам Зла.

С обеих сторон за окнами город расплзался в ключья предместий. Эта картина, а за нею другая — сады и домики — отвлекали от чтения. Действительно, Дальман не мог сосредоточить внимание на книге: волшебная гора и дух, поклявшийся убить своего благодетеля, были — кто в том усомнится? — сказочны, но не намного сказочнее этого утра и того, что ты есть на свете. Блаженное чувство отвлекало его от Шахразады и ее выдуманных чудес. Дальман закрыл книгу и отдался жизни.

Обед (бульон в блестящей металлической мисочке, как бывало во время путешествий в далекую пору детства) тоже доставил ему наслаждение, тихое и с благодарностью принятое.

«Завтра проснусь в эстансии ¹», — подумал он, и ему показалось, будто живут в нем два человека: один, едущий сквозь осенний день по родимой земле, и другой, запертый в клинике для нудных процедур и приема лекарств. Он смотрел на глинобитные домики, длинные и угловатые, вечно глядящие вслед поездам; смотрел на всадников, скачущих по степным дорогам; смотрел на овраги, пруды, табуны лошадей; смотрел на большие, сверкающие, словно мраморные, облака — и все это казалось нереальным, как сновидения степи. Он узнавал и деревья, и злаки, но не мог припомнить названий, ибо сельская

¹ Название поместья в Аргентине. (Примеч. пер.).

жизнь была ему больше знакома по смутным ностальгическим воспоминаниям и литературе.

Порою он засыпал, и сон его был так же порывист, как поезд. Невыносимо белое солнце полудня стало желтым, предвещающим сумерки, а скоро будет и красным. Вагон тоже заметно переменялся — он уже не тот, что был на вокзале Конституции у перрона: равнина и время преобразили его, словно сжали. Бегущая тень вагона удлинялась в сторону горизонта. Чистота земли не нарушалась ни селениями, ни иными признаками присутствия человека. В пустынных просторах было что-то близкое сердцу и какая-то тайна. На бескрайней равнине порою виднелся лишь одинокий бык. Безлюдие было полнейшим и словно бы даже враждебным, и Дальману чудилось, что он путешествует в прошлое, а не только на Юг. От этой фантастической мысли его отвлек контролер, который, взглянув на билет, сказал, что поезд остановится не на указанной станции, а несколько раньше, в местах, мало известных Дальману. (Контролер давал еще какие-то объяснения, которые Дальман не только не хотел понимать, но даже не слышал, ибо сцепление фактов его не занимало.)

Поезд тяжело и старательно затормозил, почти среди чистого поля. По ту сторону железной дороги находилась станция — нечто вроде открытой платформы с навесом. Повозок не было и в помине, но начальник станции сообщил, что лошадь можно достать в сельской лавке, находящейся не далее чем в километре отсюда.

Дальман воспринял прогулку как маленькое приключение. Солнце село, но его последние отблески живили притихшую степь, перед тем как утонуть ей в ночи. Скорее из желания продлить удовольствие, чем из-за боязни устать, Дальман шел медленно, вдыхая глубоко и радостно запах клевера.

Альмасен¹, видимо, был когда-то ярко-малиновым, но с годами, на свое же благо, утратил этот ядовитый цвет. Что-то в его скромной архитектуре напомнило Дальману темную гравюру, виденную, кажется, в старинном издании «Поля и Виргинии». К частоколу были привязаны лошади. Дальман, войдя, подумал, что узнал хозяина, однако тут же сообразил, что его обмануло сходство с одним из санитаров клиники. Хозяин, вы-

¹ В Аргентине — лавка и одновременно питейное заведение. (Примеч. пер.)

слушав просьбу, пообещал дать лошадь и бричку. Чтобы не терять времени и завершить день еще одним делом, Дальман решил поужинать в лавке.

За одним из столиков шумно ела и пила компания сельских парней, на которых Дальман вначале не обратил внимания. На полу возле стойки сидел скорчившись, без всяких признаков жизни, древний старик. Долгие годы источили его и отполировали, как текучие воды — камень или людские поколения — мудрую мысль. Он был темен, низкоросл и сух и, казалось, пребывал вне времени, в вечности. Дальман с удовлетворением отметил, что здесь все еще носят домотканые пончо, длинные чирипа¹ и самодельные мягкие сапоги, и подумал, вспоминая бесплодные споры с людьми из сторожевых отрядов на Севере или с выходцами из Эн-тре-Риос, что настоящие гаучо вроде этих остались только на Юге.

Дальман удобно устроился возле окна. Степь вместе с мраком осталась снаружи, но ее ароматы и шорохи струились сквозь железные прутья. Хозяин принес сардины, а потом сочное жареное мясо. Дальман запил ужин красным вином. Лениво смакуя горьковатый нектар, он обвел помещение полусонным взором. Со стропила свисала керосиновая лампа. Парней за соседним столом было трое; двое, похоже, пеоны с чакры²; третий, скуластый, азиатского типа, пил, наклонив шляпу на лоб. Дальман вдруг почувствовал, как что-то мягко ударило о его щеку. Рядом со стаканом из мутного толстого стекла, на цветной полоске скатерти, лежал шарик из хлебного мякиша. Только и всего, но ведь кто-то же его бросил.

Трое за соседним столом, казалось, вовсе его не замечали. Дальман, озадаченный, решил, что лучше считать, будто ничего не случилось, и открыл томик «Тысячи и одной ночи», чтобы укрыться от действительности. Второй шарик угодил в него через несколько минут, и на этот раз пеоны расхохотались. Дальман сказал себе, что их не боится, но было бы глупо, только что выйдя из больницы, дать втянуть себя незнакомым людям в беспричинную ссору. Он решил выйти и уже было встал, когда к нему подошел хозяин и встревоженно стал уговаривать:

¹ Кусок ткани, заменяющей брюки, — старинная одежда аргентинских крестьян. (*Примеч. пер.*)

² Небольшая аргентинская ферма (*Примеч. пер.*)

— Сеньор Дальман, не обращайтесь на них внимания, парни подвыпили.

Дальман не удивился, что теперь его назвали по имени, но почувствовал, что примирительные слова лишь запутали ситуацию. Раньше выходка пеонов задела кого-то, случайное лицо. Теперь же — лично его и его имя, и это узнают все здесь в округе. Дальман отстранил хозяина, решительно шагнул к пеонам и спросил, что им от него надо.

Парень со скуластым лицом встал, покачиваясь, и в двух шагах от Хуана Дальмана стал оскорблять его так громко, словно был за тридевять земель. Он явно притворялся вдребезги пьяным, и в этом притворстве были издевка и свирепость. Отчаянно ругаясь и сквернословя, парень вытащил длинный нож, полюбовался им, замахнулся и предложил Дальману драться. Хозяин заметил дрожащим голосом, что у Дальмана нет оружия. В этот миг случилось нечто совсем непредвиденное.

Из своего угла вдруг оживший старый гаучо, в котором Дальман видел знак Юга (своего Юга), бросил обнаженный кинжал, упавший прямо к его ногам. Словно бы Юг решил, что Дальману следует ответить на вызов. Дальман нагнулся за кинжалом, и в голове промелькнули две мысли. Первая — что этот почти инстинктивный жест обязывает его драться. Вторая — что это оружие в его неумелой руке послужит не для защиты, а для оправдания его собственной смерти. Он, как всякий мужчина, иногда забавлялся кинжалом, но из правил обращения с этим оружием знал лишь, что удары наносятся снизу вверх и точно меж ребер. «Врачи не позволили бы мне заниматься таким делом», — подумал он.

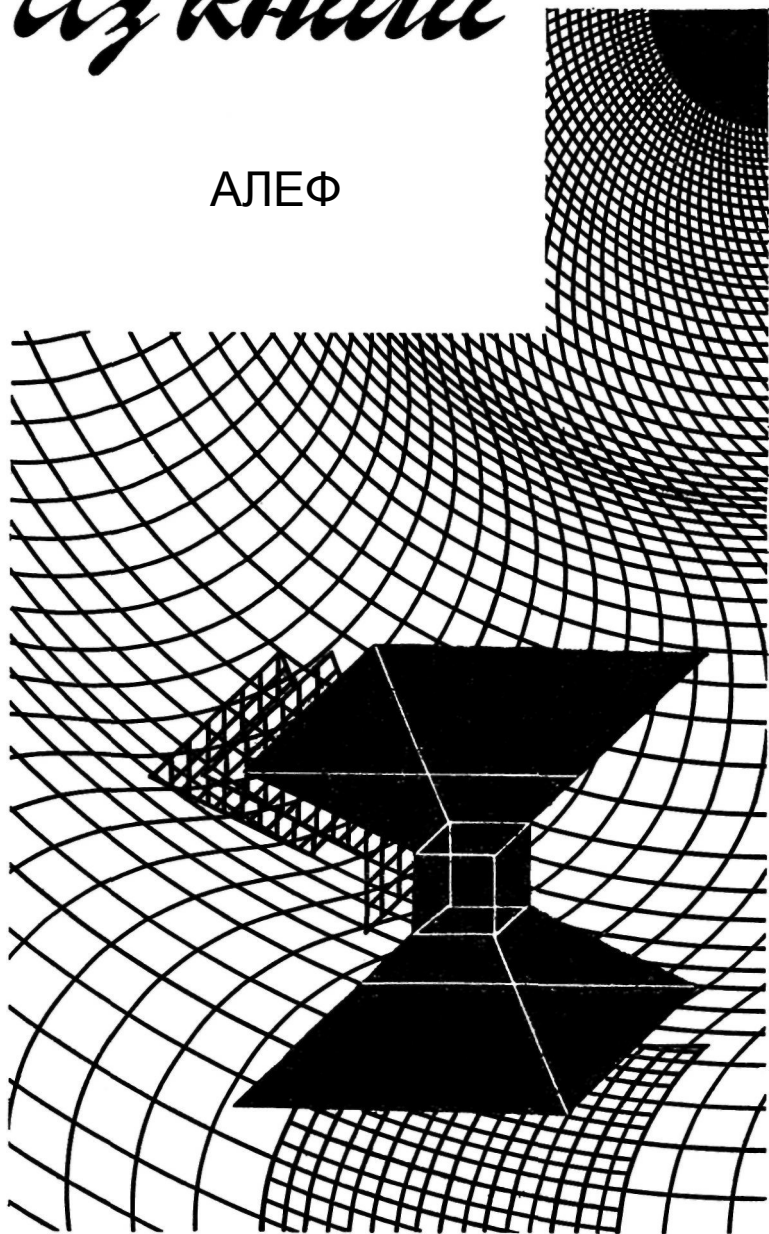
— Пойдем, — сказал парень.

Они направились к выходу, и если у Дальмана не было никакой надежды, то не было и страха. Переступая порог, он почувствовал, что умереть в поединке от удара ножом, сражаясь под чистым небом, стало бы для него освобождением, счастьем и праздником в ту первую ночь в больнице, когда в него вонзили иглу. Почувствовал, что если бы он тогда мог выбирать или желать себе смерть, то именно такую смерть он бы выбрал и пожелал.

Дальман сильно сжимает рукоятку кинжала, который ему, наверное, не пригодится, и выходит на равнинный простор.

Уз кочие

ΑΛΕΦ





БЕССМЕРТНЫЙ

Solomon saith: *There is no new thing upon the earth.* So that as Plato had an imagination, *that all knowledge was but remembrance;* so Solomon giveth his sentence, *that all novelty is but oblivion.*

Francis Bacon.
*Essays LVIII*¹

В

Лондоне, в июне месяце 1929 года, антиквар Жозеф Картафил из Смирны предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715—1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший точно земля, человек с серыми

¹ Соломон рек: Ничто не ново на земле. А Платон домыслил: Всякое знание есть не что иное, как воспоминание; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. — *Фрэнсис Бэкон. Опыты, LVII.*

глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом — на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него — на португальский язык Макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стовратых Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике, у самого Красного моря; многие из тех, кто горели желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены; земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона; и тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи, и я, должно быть с горя, отправился через страшные, безбрежные пустыни на поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал — всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река эта — Египет и питается она дождями. Другую реку ищу я, печально ото-

звался он, потаенную реку, что смывает с людей смерть. Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то — вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии, дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов, которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища — льяятина; земли Авгилы, которые почитают только Тартар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь — отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обративши лицо к луне — лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей

в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побегии, а немного спустя — бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт оцетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукой человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка; а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал — то было совершенно очевидно — Город Бессмертных. Я увидел стены, арки, фронтисписы и площади: город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне пока-

залось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиною руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: *«Богатые жители Зелы, пьющие воды Эзена...»*

Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть — это я-то, Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона, — свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков, почти лишило меня сна. И будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос — не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, но отвращение. Мне пришлось обой-

ти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными острями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день.

Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале. И ее крутые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, — от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром; и не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверями и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую — о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издалека упал на ме-

ня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, оставившись лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное великолепие из гранита и мрамора. И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние Города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного дворца. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец — творение богов*, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: *Боги, построившие его, умерли*. А заметив, сколь он необычен, сказал: *Построившие его боги были безумны*. И сказал — это я твердо знаю — с непонятым осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осматривал как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридо-

ры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот Город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования.* Я не хочу открывать этот город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша, кишашая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, — вот что такое этот город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле — так, наверное, тяжело было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

III

Те, кто внимательно читали рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне, и

кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое; многие птицы, к примеру соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно — и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось — очень далеко. Словно маленький, разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует

все иначе и с другими предметами; и может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними — годы, и однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, иступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы, на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. *Аргус*, крикнул я ему, *Аргус*.

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и забытое, Аргус сложил такие слова: *Аргус, пес Улисса*. И затем, все так же, не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку*.

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

Очень мало, ответил он. *Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил*.

IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток — той самой Рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокати-

лась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем — ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мяса солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе Бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем — войну мышей и лягушек. Подобно богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмертным — божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей и ни одна из них не определяет целого... Наученная опытом

веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравниваются, талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может стать, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде» — необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог» или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие... А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они — совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый бессмертный — сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа: я — бог, я — герой, я — философ, я — демон, я — весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового — нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого

куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро — древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравнивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу Земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *Есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают.* Число рек на земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведаёт воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность — невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) — лишь отголосок других, которые уже случались в затеряншемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорбь не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту, не помню, на чьей стороне — не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли. В седьмом веке Хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном двореке, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре, потом — в Лейпциге. В Абердине в 1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста; его доводы показались мне непроверяемыми. Четвертого октября 1921 года «Патна», который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у эритрейского побережья¹. Я сошел на берег; мне вспомнились другие утра, утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинуюсь привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. Я снова смертен, повторял я, снова похож на других людей. Ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась фальшь. Возможно, виною тому — злоупотребление подробностями; та-

¹ В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта. — *Примеч. автора.*

кое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память... Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки — Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлян, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти — также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем, в головоломном дворце, он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-Морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится *inter alea*¹: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер в тринадцатом веке записывает

¹ Между прочим (лат.).

приключения Синдбада, другого Улисса, и находит, по прошествии многих столетий, в северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком искусственным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом¹.

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми — умру.

P. S. Год 1950-й. Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейски озаглавлен «A coat of many colours»² (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордоверо. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о центах из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «Virgilius evangelizans» Александра Росса, приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния (Historia naturalis, V, 8); во второй — из Томаса Де Куинси («Сочинения», III, 439); в третьей — из письма Декарта послу Пьеру Шану; в четвертой — из Бернарда Шоу («Back to Methuselah», V). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. *Когда бли-*

¹ Эрнесто Сабатто предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер — персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу. — *Примеч. автора.*

² *Здесь: «Лоскутное покрывало» (англ.).*

зится конец, пишет Картафил, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, — вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.

Посвящается Сесилии Инхеньерос

ИСТОРИЯ ВОИНА И ПЛЕННИЦЫ

На странице 278 книги «Поэзия» (Бари, 1942) Кроче, излагая латинский текст историка Петра Диакона, рассказывает о судьбе Дроктулфта и приводит посвященную ему эпитафию; и то и другое меня необычайно взволновало, и позже я понял почему. Дроктулфт был воином-лангобардом, который во время осады Равенны бросил своих и умер, защищая город, против которого перед этим сражался. Равеннцы похоронили его в одном из своих храмов, а в эпитафии на могильной плите запечатлели свою благодарность (*contempsit caros, dum nos amat ille, parentes*)¹ и своеобразное противоречие между зверским обликом этого варвара и его простодушием и добротой:

*Terribilis visu facies mente benignus,
Longaque robusto pectores barba fuit!*²

Такова история жизни Дроктулфта-варвара, который умер, защищая Рим, — или, вернее, та часть истории, которую сумел извлечь из забвения Петр Диакон. Я даже не знаю точно, когда это произошло: то ли в середине VI века, когда лангобарды разоряли равнины Италии; то ли в VIII веке, незадолго до падения Равенны. Представим себе (поскольку это не исторический трактат) первое.

Представим себе, *sub specie aeternitatis*, Дроктулфта, но не Дроктулфта-личность, который, без сомнения, был единственным в своем роде и непостижимым (ибо всякая личность в своем роде единственная и непости-

¹ Нас возлюбив, презрел родных по крови (*лат.*).

² Ужасен видом, но душою благоденствен,

Густою бородой вся грудь покрыта! (*лат.*). — Стихи эти приводит Гиббон (*Decline and Fall*, кн. XXV). — *Примеч. автора.*

жимая), но Дроктулфта как типического представителя его племени, такого, каким он, как и многие другие, стал благодаря традиции, которая творится забвением и памятью. От берегов Дуная и Эльбы через мрачные леса и болота война привела его в Италию, и, может быть, он даже не знал, что идет на Юг, и, может быть, даже не ведал, что воюет против римской славы. Возможно, он исповедовал арианство, которое зиждется на том, что слава Сына есть отражение славы Отца, но вернее вообразить его поклонником Земли, Геи, изображение которой, заботливо укутанный идол, блуждало вместе с ним по дорогам на повозке, запряженной быками; или, может быть, почитателем богов войны, богов-громовержцев, грубо вытесанных деревянных богов, облаченных в тканые одежды и увешанных монетками и браслетами. Он пришел из непроходимых лесов, царства кабана и зубра; он был белокож, отважен, простодушен, жесток и безраздельно предан своему вожаку и своему племени, а не Вселенной. Война приводит его к Равенне, и там он видит такое, чего никогда не видел — во всяком случае, не видел в такой полноте. Он видит светлый день и кипарисы, он видит мрамор. Он видит множество различных вещей, но вещи эти он видит в сочетании, а не в беспорядке; он видит город, единый организм из статуй, храмов, садов, жилищ, амфитеатров, вазонов, капителей, из просторных, правильной формы площадей. Ни одно из этих творений человеческих рук, я знаю, не поразило его своей красотой — они подействовали на него так, как подействовал бы на нас с вами сложный механизм, назначения которого мы не знаем, но в чьем сотворении угадывается участие бессмертного разума. Возможно, ему достаточно было увидеть одну только арку с непонятной надписью на вечной латыни. Его вдруг ослепляет и словно делает другим это откровение — Город. Он понимает, что готов быть в нем последним псом или несмышленным ребенком, он знает, что никогда даже не подступится к его постижению, но понимает, что город этот стоит больше, чем все его боги и вера, которой он присягал, и все до единого болота его Германии. Дроктулфт бросает своих и идет сражаться за Равенну. Он умирает, и

на его могильной плите выбивают слова, которых он бы, наверное, и не понял:

Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes
Hanc patriam reputans esse, Ravenna suam¹.

Он не был предателем, предатели не вдохновляют на проникновенные эпитафии; он пережил озарение, он обратился в иную веру. Через несколько поколений те самые лангобарды, что винили перебежчика, поступили как он: стали итальянцами, ломбардцами, и может быть даже, один из его родичей по крови — Альдигер — положил начало роду, который позднее дал жизнь Алигьери... Множество догадок можно строить, основываясь на поступке Дроктулфта; моя — самая скромная: и даже если она не столь достоверна как факт, то вполне достоверна как символ.

История воина, прочитанная у Кроче, действовала на меня необычайно, было такое ощущение, словно я странным образом почерпнул из нее что-то касавшееся меня лично. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, собиравшихся превратить Китай в бескрайние пастбища и состарившихся в городах, которые некогда они намеревались разрушить; однако не это искал я в памяти. И нашел в конце концов: то был рассказ, слышанный от моей бабки-англичанки, ныне покойной.

В 1872 году дед мой Борхес был начальником на Северных и Западных границах провинций Буэнос-Айрес и Сур-де-Санта-Фе. Комендатура размещалась в Хунине; за Хунином на расстоянии четырех или пяти лиг друг от друга шла цепь укреплений; а за ними лежало то, что тогда называлось Пампой и Внутренней Землей. Однажды в шутку бабка подивилась своей участи: как ее, англичанку, занесло сюда, на край света; но в ответ услышала, что она тут не единственная, и несколько месяцев спустя ей показали девушку-индеанку, которая медленно шла через площадь. На индеанке были две яркие шали; ноги ее были босы, а волосы висели светлыми прядями. Солдат позвал девушку, сказав, что с ней хочет поговорить другая англичанка. Та

¹ Нас возлюбив, презрел родных по крови,
Отчизною своей назвал Равенну (*лат.*).

согласилась и вошла в комендатуру без страха, но не без опаски. На ее медно-красном, грубо размалеванном лице блекло голубели глаза того самого цвета, который англичане называют серым. Тело женщины было легким, как у оленя, а руки крепкими и костистыми. Она пришла из пустыни, из Внутренней Земли, и все ей тут было мало: и двери, и стены, и мебель.

Быть может, обе женщины на мгновение почувствовали себя сестрами здесь, в этой немислимой стране, так далеко от их любимого острова. Начала разговор моя бабка, задав какой-то вопрос; женщина отвечала с трудом, подыскивая слова и повторяя их, будто удивляясь давно забытому, старинному вкусу. Лет пятнадцать, наверное, не говорила она на родном языке, и вернуться к нему оказалось непросто. Она сказала, что родом из Йоркшира, что ее родители эмигрировали в Буэнос-Айрес и она потеряла их во время набега, что ее индейцы увели с собой и теперь она жена вожака, очень отважного, и что она родила ему двоих детей. Она говорила на примитивном английском языке, пересыпая свой рассказ арауканскими или местными, из пампы, словами, и в них проглядывала суровая и дикая жизнь: хижина из лошадиных шкур, очаг, топившийся конским навозом, пиры, на которых поедалось обугленное мясо и сырые потроха, тайные вылазки в предраассветной мгле, набеги на чужие стада, крики и вопли, разбой, несметные стада, угоняемые из поместий голыми всадниками, полигамия, грязь, колдовство. И среди этого варварства живет англичанка! Шокированная и движимая жалостью бабка стала уговаривать ее не возвращаться больше туда. Поклялась, что даст ей приют, что вызволит ее детей. А та ответила, что счастлива там, и, не дожидаясь утра, вернулась к себе, в пустыню. Франсиско Борхес умрет немного спустя, во время революции 1874 года; и, быть может, только тогда моей бабке удастся уловить — как в зеркале — в судьбе той женщины, полоненной и перерожденной жестоким континентом, чудовищное отражение собственной участи...

Светловолосая индеанка, приходившая все прежние годы в лавки Хунина или Форт-Лавалье за всякой вся-

чиной и предметами «порока», после разговора с моей бабушкой больше не появлялась. И все-таки они увиделись еще раз. Как-то бабушка выехала на охоту; на одном ранчо, на заднем дворе, мужчина резал овцу. Словно во сне, вдруг показалась верхом на коне та индейка. Со-скочила на землю и припала к струящейся из шеи горячей овечьей крови. Не знаю, как это объяснить — то ли она уже не могла иначе, то ли это был вызов, знак.

Тысяча триста лет и целое море пролегли между участью той пленницы и судьбою Дроктулфта. Но та и другая судьбы одинаково непоправимы. Варвар, который сумел постичь Равенну, и женщина-европейка, отдавшая предпочтение пустыне, могут показаться антагонистами. Однако же оба они оказались пленниками тайного порыва, порыва куда более глубокого, нежели доводы разума, и оба повиновались этому порыву, которого не сумели бы даже объяснить. Возможно, обе рассказанные мною истории, по сути, одна история. Обе стороны этой медали пред лицом бога одинаковы.

Посвящается Ульрике фон Кюльманн

ДОМ АСТЕРИЯ

И царица произвела на свет сына,
которого назвали Астерием.

Аполлодор, Библиотека, III, I

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно)¹ открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом

¹ В оригинале — «четырнадцать», но более чем достаточно оснований считать, что в устах Астерия это числительное означает «бесконечность». — *Примеч. автора.*

есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет *никакой мебели*. Другая нелепость — будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу; и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародья — бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узран. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к подножию храма Двойной секиры, другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого.

Дело в том, что я неповторим. Мне не интересно, что один человек может сообщить другим; как философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие и пошлые мелочи претят моему духу, который предназначен для великого; я никогда не мог удержат в памяти отличий одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом — дни и ночи такие долгие.

Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша (порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня). Но больше всех игр мне нравится игра в другого Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом. Чрезвычайно почтительно я говорю ему: «Давай вернемся к тому углу», или: «Теперь пойдем в другой двор», или: «Я так и думал, что тебе понравится этот карниз», или: «Вот это чан, наполненный песком», или: «Сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается». Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся.

Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть четырнадцать (бесконечное число) кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня, я выхожу на улицу и смотрю на храм Двойной секиры и на море. Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует четырнадцать (бесконечное число) морей и храмов. Все повторяется много раз, четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы: наверху — непонятное солнце; внизу — я, Астерий. Возможно, звезды, и солнце, и этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом.

Каждые девять лет в доме появляются девять человек, чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются, и их тела помогают мне отличать эту галерею от других. Мне неизвестно, кто они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель. С тех пор меня не тяготит одиночество, я знаю, что мой избавитель существует и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель? — спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я?

Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось крови.

— Поверишь ли, Ариадна? — сказал Тесей. — Минотавр почти не сопротивлялся.

Марии Москера Истмен

ДРУГАЯ СМЕРТЬ

Не более двух лет назад (письмо это я потерял) Ганнон писал из Гуалегуайчу, что высылает мне поэму «The Past»¹ Ралфа Уолдо Эмерсона, переведенную им — кажется, впервые — на испанский язык. Постскрипtum он сообщал, что дон Педро Дамьян, если я помню такого, скончался предыдущей ночью от воспаления легких. Человек, умиравший в горячке, как бы заново пережил в бреду кровавую битву под Масольером. Этот факт не был для меня неожиданностью, более того — его можно было предвидеть, ибо дон Педро лет девятнадцати или двадцати встал под знамена Апарисио Саравии. Восстание 1904-го застало его на эстансии в районе Рио-Негро или в Пайсанду, где он батрачил. Педро Дамьян был родом из провинции Энтре-Риос, из Гуалегуайчу, но отправился туда, куда отправились его товарищи, такой же окрыленный и такой же несведущий, как они. Он принимал участие в ряде стычек и в самой последней битве. Вернувшись в 1905-м в родные края, снова стал упорно и безропотно трудиться в поле. Насколько я знаю, он больше никогда не уходил из дому. Последние тридцать лет жил на хуторе в полном одиночестве неподалеку — в двух лигах — от Ньянкая. В этом убогом обиталище я и беседовал (пытался беседовать) с ним как-то вечером в 1942-м. Человек он был мрачный, не очень начитанный. Грохот и неистовство битвы под Масольером исчерпывали всю его жизнь. И меня вовсе не удивило, что он вновь пережил это сражение в час своей смерти... Когда я узнал, что больше его не увижу, мне захотелось представить себе Дамьяна. Но моя зрительная память очень слаба, и я смог вспомнить лишь его фотографию, сделанную Ганноном. В этом нет ничего необычного, если учесть, что Дамьяна я видел в начале 1942-го и всего один раз, а его изображение — неоднократно; Ганнон прислал мне фото, я его потом потерял, а теперь не ищу. Даже боюсь найти.

¹ «Прошрое» (англ.).

Следующий эпизод имел место в Монтевидео и произошёл месяц-другой спустя. Бред и кончина энтрерианца навели меня на мысль написать фантастический рассказ о поражении под Масольером. Эмир Родригес Монегаль, с которым я поделился своим замыслом, дал мне записку к полковнику Дионисио Табаресу, участвовавшему в этой военной кампании. Полковник принял меня после ужина. Сидя в кресле-качалке, в патио, он предался сумбурным и нежным воспоминаниям о прошлом. Говорил о не подоспевших вовремя обозах с припасами и о загнанных лошадях; о беспечных домоощенных воинах, петлявших в лабиринтах переходов; о Саравии, который мог ворваться в Монтевидео, но обошел его стороной, «ибо гаучо боится города»; о людях, обезглавленных по самые плечи; о гражданской войне, которая мне представилась не столько конфликтом двух войск, сколько мечтой одного душегуба. Он говорил об Ильескасе, о Тупамбае, о Масольере. Фразы его были слишком круглы и живописующи. Поняв, что он уже не раз повторял все это, я стал бояться, как бы слова не вытеснили воспоминаний. Когда он наконец перевел дух, я поспешил назвать имя Дамьяна.

— Дамьян? Педро Дамьян? — повторил полковник. — Был такой у меня. Коротышка-индеец, которого парни звали Дайман. — Он было разразился хохотом, но тут же оборвал себя с наигранным или искренним смущением.

Изменив тон, сказал, что война, как женщина, служит для того, чтобы мужчина мог себя проверить, и что до сражения никто не знает, кем окажется. Кого-то считают трусливым, а он настоящий храбрец, или наоборот, как это случилось с беднягой Дамьяном, который куражился в пульпериях, швырял направо и налево свои «белые» деньги, а потом сдрейфил под Масольером. В перестрелках с врагами он, бывало, вел себя по-мужски, но ведь иное дело, когда две армии стоят друг против друга, и начинается артиллерийская пальба, и каждый вдруг чувствует, что пять тысяч недругов здесь затем и собрались, чтобы его прикончить. Бедный мальчишка: мыл овец, и вдруг попал в эту бойню...

Глупо, но рассказ Табареса привел меня в замешательство. Я предпочел бы, чтобы события развивались не так. Повстречавшись со стариком Дамьяном тем вечером, несколько лет назад, я невольно создал своего рода идола; Табарес разбил его вдребезги. Внезапно мне открылась причина сдержанности и упорного одиночества Дамьяна: это была не стеснительность, это был стыд. Напрасно я убеждал себя, что человек, проявивший однажды слабость, более сложен и интересен, чем человек исключительно храбрый. Гаучо Мартин Фьерро, думалось мне, заслуживает меньше внимания, чем Лорд Джим или Разумов. И все же Дамьян, аргентинский гаучо, обязан был стать Мартином Фьерро — тем более в глазах уругвайских гаучо. Во всем, о чем Табарес говорил или умалчивал, чувствовался явный привкус того, что называется артигизмом, то есть уверенности (возможно, и неоспоримой), что Уругвай более прост, чем наша страна, а потому и более храбр... Помнится, в тот вечер мы распрощались, обменявшись чрезмерно крепкими рукопожатиями.

Два или три факта, недостающих моему фантастическому рассказу (который как назло не складывался), вновь привели меня зимой в дом полковника Табареса. У него в гостях был пожилой сеньор, доктор Хуан Франсиско Амаро из Пайсанду, тоже участвовавший в восстании Саравии. Как и следовало ожидать, заговорили о Масольере. Сначала Амаро рассказывал забавные случаи, а потом не спеша добавил, словно раздумывая вслух:

— Помню, заночевали мы в «Санта-Ирене», к нам присоединились несколько человек. Среди них — ветеринар-француз и парень, стригальщик овец из Энтре-Риоса, некий Педро Дамьян.

Саркастически усмехнувшись, я его перебил:

— Слышали, слышали. Тот аргентинец, который сдрейфил под пулями.

И замолчал; оба озадаченно глядели на меня.

— Вы ошибаетесь, сеньор, — вымолвил наконец Амаро. — Педро Дамьян умер так, как желал бы умереть всякий. Было это в четыре часа пополудни. С вершины холма лавиной двинулась на нас пехота «Колорадо». Наши воины — с копьями — ринулись им

навстречу. Дамьян мчался в первых рядах и кричал. Пуля попала ему прямо в сердце. Он приподнялся в стремени, смолк и рухнул на землю, под копыта коней. Он умер сразу, и наша последняя атака, под Масольером, прошумела над ним. Какой молодец, а ему не было и двадцати.

Без сомнения, Амаро говорил о другом Дамьяне, но я почему-то спросил, что кричал этот парень.

— Ругательства, — сказал полковник, — то, что обычно кричат в атаках.

— Возможно, — сказал Амаро, — но он кричал также «Вива Уркиса!».

Мы долго сидели молча. Наконец полковник пробормотал:

— Словно дрался не под Масольером, а в Каганче или в Индиа-Муэрте, столетие назад. — И добавил с неприятным удивлением: — Я командовал этим войском, но могу поклясться, что слышу впервые про этого Дамьяна.

Так и не удалось нам заставить полковника вспомнить о Дамьяне.

В Буэнос-Айресе меня ждал сюрприз, не менее поразительный, чем его забывчивость. В хранилище английской библиотеки Митчела, у двенадцати дивных томов Эмерсона как-то вечером я встретил Патрисио Ганнона. И спросил о его переводе «The Past». Он сказал, что даже не помышляет переводить эту вещь и что испанская литература и без Эмерсона достаточно неинтересна. Я напомнил ему о его письме, где он обещал выслать мне вариант перевода этой поэмы и сообщил о смерти Дамьяна. Ганнон спросил, кто такой Дамьян. Я вновь и вновь объяснял, но безуспешно, и почувствовал тревогу, заметив, что он меня слушает с изумлением. Пришлось искать спасение в литературном споре о недоброжелателях Эмерсона, поэта более сложного, более талантливого и, разумеется, более оригинального, чем этот несчастный По.

Хочу сообщить еще о некоторых фактах. В апреле я получил письмо от полковника Дионисио Табареса: память его прояснилась, и теперь он прекрасно помнит юного энтерианца, который возглавил атаку под Ма-

сольером и которого в ту же ночь у подножия холма похоронили товарищи. В июле я побывал в Гуалегуайчу, но не наведаясь в ранчо Дамьяна, ибо о хозяине все уже позабыли. Мне лишь хотелось кое о чем спросить сельчанина Диего Абарко, присутствовавшего при его смерти, однако тот сам скончался еще до зимы. И еще хотелось вспомнить лицо Дамьяна, ибо несколько месяцев назад, листая альбомы, я обнаружил, что суровые черты, всплывшие в моей памяти, принадлежат известному тенору Тамберлику в роли Отелло.

Теперь перейду к гипотезам. Согласно наиболее простой, но наименее убедительной, было два Дамьяна: трус, умерший в Энтре-Риос в канун 1946 года, и герой, умерший под Масольером в 1904-м. Недостаток этой версии в том, что она не рассеивает вполне реальное недоразумение: чем объяснить курьезный провал в памяти полковника Табареса, за такое короткое время совершенно забывшего лицо и даже имя того, о ком он ранее рассказывал. (Я не приемлю, не желаю принять наипростейший домысел: будто мне вздремнулось при первом нашем свидании.) Очень забавна мистическая версия Ульрики фон Кюльман. Педро Дамьян, говорила Ульрика, пал в сражении и, умирая, умолял Бога вернуть его в Энтре-Риос. Бог колебался секунду — оказывать ли подобную милость? — а тот, кто его просил, успел умереть, и люди видели его смерть. Бог, который не может изменить прошлое, но в силах изменять образы прошлого, подменил образ смерти потерей сознания, и человек-тень вернулся в провинцию Энтре-Риос. Вернулся, но следует помнить, что он был лишь собственной тенью. Он жил в одиночестве, без женщины, без друзей; обладал всем, что любил, но как бы издали, сквозь стекло; он «умер», и его призрачный образ растекался водою в воде. Такое построение искусственно, тем не менее, должно быть, оно и подвело меня к правильному решению (ныне думаю — единственно правильному), которое одновременно и очень просто, и невообразимо. Каким-то таинственным образом я на него наткнулся в трактате Петра Дамиани «De Omnipotentia», обратиться к которому меня заставили два стиха из песни XXI «Рая», как раз касающиеся про-

блемы тождества. В главе пятой трактата Петр Дамиани — вопреки Аристотелю и Фредегару Турскому — утверждает, что Бог может сделать несуществующим то, что когда-то существовало. Прочитав эти древние теологические споры, я, кажется, постиг трагическую историю дона Педро Дамьяна.

Я толкую ее так. Дамьян вел себя как последний трус на поле боя под Масольером и посвятил всю свою жизнь искуплению постыдной слабости. Он возвратился к себе в Энтре-Риос. И больше не поднял ни на кого руки, не украсил шрамом ничье лицо, не стремился прослыть удалцом, но на поле Ньянкая яростно воевал с наступающей сельвой и с дикими лошадьми. И сотворил, конечно, сам того не ведая, чудо. Думал с затаенной надеждой: «Если судьба пошлет мне еще одно сражение, я сумею себя показать». Сорок лет ждал с затаенной надеждой этого часа, и судьба наконец послала его Дамьяну в день смерти. Но послала в виде галлюцинации — впрочем, еще древние греки знали, что мы лишь тени из сновидений. В агонии он снова бросился в бой, и вел себя как мужчина, и мчался впереди в последней атаке, и пуля попала ему прямо в сердце. Так, в 1946-м, благодаря своему страстному желанию Педро Дамьян умер в последнем сражении под Масольером на исходе зимы 1904-го.

В «Summa Theologica» отрицается, что Богу дано зачеркивать прошлое, но ничего не говорится о сложном переплетении причин и следствий, столь всеобъемлющем и сокровенном, что стоит упустить одно-единственное событие, пусть даже далекое и незначительное, как исказится настоящее. Изменить прошлое — не значит изменить только события; это значит зачеркнуть его последствия, которые должны иметь бесконечное продолжение. Говоря иными словами — это значит создать две всеобщих истории. В первой (к примеру) Педро Дамьян умер в провинции Энтре-Риос в 1946-м; во второй — в битве при Масольере в 1904-м. В этой, последней, истории мы и живем сейчас, однако отказ от первой произошел не сразу и породил несуразности, о которых я рассказал. Полковник Дионисио Табарес как бы прошел этапы разных историй: сначала он

вспомнил, что Дамьян поступил как трус; потом абсолютно забыл о нем, а затем вспомнил о его славной смерти. Почти то же самое случилось с Абарко, который умер, скорее всего, потому, что его память была слишком отягчена событиями, связанными с доном Педро Дамьяном.

Если говорить обо мне, я постарался избежать подобной опасности. Мне удалось обнаружить и наблюдать явление, неподвластное человеку, — своего рода бесчинство разума, хотя некоторые обстоятельства умеряют мою тихую радость. Для начала скажу, что я не уверен в достоверности своего изложения событий. Думается, Педро Дамьян (если он был) назывался не Педро Дамьян, и я помню его под этим именем, дабы когда-нибудь поверить, что сюжет этой истории был мне подсказан идеями Петра Дамиани. Тем же самым объясняется, пожалуй, и упоминание о поэме, названной в этом рассказе и воспевающей необратимость прошлого. В 1951-м я стану думать, что написал фантастический рассказ, но на самом деле я сообщил о реальном событии. И наивный Вергилий две тысячи лет назад тоже думал, что возвестил о рождении человека, а оказалось — о сотворении Бога.

Бедный Дамьян! Смерть настигла его, двадцатилетнего, в пагубной и никчемной войне, в сражении против своих же сограждан, но он получил то, чего так страстно желал и к чему так долго стремился, и, может быть, нет на свете большего счастья.

DEUTSCHES REQUIEM ¹

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться.
Иов, 13:15

Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе. Прадед с материнской стороны Ульрих Форкель погиб

¹ Немецкий реквием (нем.).

в Маршенуарском лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года; капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром, а двумя годами позже — при форсировании Дуная¹. Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямоотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они.

Пока — к счастью, недолго — шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь — другое дело: ночью накануне казни можно говорить, не опасаясь ничего. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, — я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет меня услышать, постигнет историю Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений.

Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти — музыка и метафизика — помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии; прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя — Уильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) мой ум навсегда отвалили Шопенгауэр — с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс — неисчерпаемым разно-

¹ Примечательно, что рассказчик не упоминает самого известного из своих предков, теолога и гебраиста Иоханнеса Форкеля (1799—1846), применившего гегелевскую диалектику к исследованию христианства, чьи переводы нескольких апокрифов вызвали критику Хенгстенберга и одобрение Тило и Гезениуса. — *Примеч. издателя.*

образом своих миров. Пусть же тот, кто, дрожа от любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тем или иным пассажем в сочинениях этих счастливых, знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними.

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. Один автор XVIII века считает, что слыть должником своих современников никому не по нраву; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью под заглавием «Abrechnung mit Spengler»¹, в которой отметил, что самое последовательное воплощение черт, именуемых этим литератором фаустианскими, — не путанная драма Гете², а созданная за двадцать веков до нее поэма «De rerum natura»³. Тем не менее я отдал должное откровенности историософа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.

Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелей, чем многим; не лишенный твердости, я не создан для насилия. Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен, и эти времена — как некогда начальные эпохи ислама или христианства — требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой объединившей нас цели должно жертвовать всем личным.

Богословы утверждают, что, стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой моей пишушей руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхнув незримым огнем. Никто, добавлю от себя, не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды и отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было

¹ «Расчет со Шпенглером» (нем.).

² Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия же — это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (Weltbewusstsein). Гете — прототип этой вселенской отзывчивости. Я не критикую, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека модели Шпенглера.

³ «О природе вещей» (лат.).

достаточно знать свое место — место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, как бы из-за трусости Англии или России все не рухнуло. Случай — или судьба? — соткали мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не сообщала пресса; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, ногу пришлось ампутировать¹. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены, я полусидел на госпитальной койке, пытаюсь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.

Я перечитывал то место в «Parerga und Paralipomena», где сказано: все, что может приключиться с человеком от рождения до смерти, предрешено им самим. Поэтому всякое неведение — уловка, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство. Ничто так не утешает, как мысль, будто все наши несчастья добровольны; эта индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял. Погибнуть за веру легче, нежели жить ей одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа — своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. 7 февраля 1941 года меня назначили заместителем коменданта концентрационного лагеря в Тарновицах.

Служба не доставляла мне радости, но я исполнял долг. Трус проверяется под огнем; милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм —

¹ Есть сведения, что последствия этого ранения оказались куда серьезней. — *Примеч. издателя.*

моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывал каждый; иное дело — отвратный застеноч, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость высшего — последний грех Заратустры. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема.

Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель в книге «Dichtung der Zeit»¹ сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисления, в каталогизацию. Я и сегодня могу, строка за строкой, повторить гексаметры его великолепного «Живописца Цзы Яна, мастера тигров», чьи стихи напоминают разводы тигровой шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающими их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц беседует с ангелом», где лондонский процентщик XVI века пытается на смертном одре вымолить отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого и виделто всего раз и, конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из памяти. Разве не безумец тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в

¹ «Современная поэзия» (нем.).

нашем лагере и...¹ К концу 1942 года Иерусалем сошел с ума, 1 марта 1943-го он покончил с собой².

Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, убивая в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.

А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен свой потерянный рай.) Не было тогда человека, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было таких, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала — победу, потом — гибель.

В октябре—ноябре 1942 года во втором бою у Эль Аламейна пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк; другой в конце 43-го — мою лабораторию. Осажденный всем миром, погибал Третий рейх: он был один против всех, и все — против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил на дне неожиданный вкус — странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку втайне чувствую себя виновным и только так могу искупить содеянное».

¹ Здесь мы были вынуждены опустить несколько строк. — *Примеч. издателя.*

² Ни в архивах, ни в печатных трудах Зергеля имени Иерусалема не встречается. Нет его и в историях немецкой литературы. Не думаю, однако, что этот герой вымышлен. По приказу Отто Дитриха цур Линде были казнены многие интеллектуалы еврейского происхождения, среди них — пианистка Эмма Розенцвейг. «Давид Иерусалем», вероятно, символ многочисленных судеб. Сказано, что он погиб 1 марта 1943 года; как помним, 1 марта 1939 года рассказчик был ранен в Тильзите. — *Примеч. издателя.*

«Я рад поражению, — думалось мне, — потому что конец близок и у меня нет больше сил». «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что было, есть и будет, поскольку исправлять или оплакивать случившееся — значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.

Давно сказано, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона. Иными словами, всякий более или менее отвлеченный спор входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая преемственность есть и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не думал, что закладывает основы Германской империи; переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; настигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И не важно, что сам он не ведал об этом: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга — веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек — ты». Чтобы воздвигнуть новый порядок, нужно многое разрушить; теперь мы знаем, что среди этого многого — наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой Отчизны. Пусть другие клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.

Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы — мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Англия послужит молотом, а мы — наковальней? Главное, на земле будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на

стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам уготован ад.

Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я — нет.

ПОИСКИ АВЕРРОЭСА

*S'imaginant que la tragédie n'est autre chose que l'art de louer...*¹

*Эрнест Ренан.
«Аверроэс», 48(1861)*

Абу-ль-галид Мухаммед ибн Ахмет ибн Мухаммед ибн Рушд (целый век шло это длинное имя к Аверроэсу через Бенраиста и Авенрису, и даже через Абен-Рассада и Филиуса Росадиса) писал одиннадцатую главу трактата «Тахафут-уль-Тахафут» («Уничтожение Уничтожения»), в котором утверждается, вопреки мнению персидского аскета Газали, автора «Тахафут-уль-Фаласифа» («Опровержение философов»), что божеству ведомы лишь общие законы Вселенной, то, что касается видов, а не индивидуума. Писал он с неспешной уверенностью, справа налево; строя силлогизмы и соединяя звеньями длинные абзацы, он все время чувствовал, как дыхание благоденствия вокруг себя, свой прохладный и просторный дом. В недрах сиесты хрипло ворковали влюбленные голуби, из невидимого патио подымалось журчание фонтана, и Аверроэс, чьи предки были уроженцами аравийских пустынь, всей плотью своей ощущал благодарность за присутствие воды. Ниже располагались сады и уэрта; еще ниже — неумный Гвадалквивир, а дальше — любимый город Кордова, столь же светлый, как Багдад или Эль-Каир, город, подобный сложному и утонченному музыкальному инструменту, а вокруг (это Аверроэс тоже чувствовал) простиралась до горизонта земля Испании, на которой не так-то много всего, но зато каждая вещь расположилась прочно и навеки.

¹ Полагая, что трагедия есть не что иное, как искусство восхваления... (*фр.*)

Перо бежало по странице, доводы цеплялись один за другой, доводы неопровержимые, однако блаженное состояние Аверроэса омрачала одна небольшая забота. Причиной был не «Тахафут», труд, в общем, случайный, но проблема из области филологии, связанная с монументальным произведением, которое должно было оправдать его бытие перед человечеством, — то был комментарий к Аристотелю. Этот грек, источник всяческой философии, был ниспослан людям, дабы научить их всему, что только возможно знать: истолковать его книги, как улемы толкуют Коран, было нелегкой целью Аверроэса. История знает не много таких прекрасных и возвышенных фактов, как этот подвиг врача-араба, посвятившего себя мыслям человека, от которого его отделяли четырнадцать веков; к трудностям существа дела надо добавить то, что Аверроэс, не знавший сирийского и греческого языков, работал над переводом перевода. Накануне работу остановили два неясных ему слова в начале «Поэтики». Этими словами были «трагедия» и «комедия». Он встречал их много лет тому назад в третьей книге «Риторики»; никто в областях ислама не мог догадаться, что они означают. Тщетно листал он страницы Александра Афродисийского, тщетно сличал версии несторианина Хунайна ибн-Исхака и Абу Бишра Матты. Два этих загадочных слова испещряли текст «Поэтики», опустить их было невозможно.

Аверроэс отложил перо. Сказав себе (без особой уверенности), что мы часто ищем то, что рядом лежит, он спрятал рукопись «Тахафута» и подошел к полкам, где стояли переписанные персидскими каллиграфами многочисленные тома «Мохкама» слепого Ибн Сиды. Смешно было думать, там он, конечно, справлялся, однако его соблазнило праздное удовольствие вновь полистать эти тома. От этого ученого развлечения его отвлекли звуки как бы напева. Он поглядел через зарешеченный балкон — внизу, в маленьком немощем патио, играли несколько полуголых мальчиков. Один из них, стоя на плечах у другого, явно подражал муэдзину: крепко зажмурив глаза, он распевал «Нет Бога, кроме Аллаха». Тот, что поддерживал его, стоял неподвижно, изображая минарет; третий, на коленях, пол-

зал в пыли, представляя собрание верующих. Игра быстро прекратилась — каждый хотел быть муэдзином, и никто — верующим или башней. Аверроэс слышал, как они спорили на «грубом» наречии, то есть на возникающем испанском языке мусульманских плебеев полуострова. Он раскрыл «Китах уль аин»¹ Халиля и с гордостью подумал, что во всей Кордове (а возможно, и во всем Аль-Андалусе) нет другой копии совершенного творения, кроме вот этой, подаренной ему эмиром Якубом аль-Мансуром в Танжере. Название гавани напомнило ему, что нынче вечером путешественник Абуль-Касим аль-Ашри, возвратившийся из Марокко, будет вместе с ним ужинать у Фараджа, знатока Корана. Абуль-Касим рассказывал, что он достиг областей империи Син (то есть Китая); его враги, с той особой логикой, какую порождает ненависть, клялись, что нога его не ступала на землю Китая, но также — что в храмах той страны он хулил Аллаха. Встреча, несомненно, продлится несколько часов, и Аверроэс поспешно взялся снова за «Тахафут». Трудился он до самых сумерек.

Беседа у Фараджа перешла от несравненных добродетелей правителя к добродетелям его брата эмира, затем, уже в саду, заговорили о розах. Абуль-Касим, на них и не взглянув, клялся, что нет роз лучше тех, которые украшают андалузские виллы. Фарадж не дал себя смутить — он заметил, что ученый Ибн Кутайба описывает замечательную разновидность вечноцветущей розы, растущей в садах Индостана, ярко-красные лепестки которой образуют буквы, гласящие: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его». Он прибавил, что Абуль-Касим, наверно, видел эти розы. Абуль-Касим взглянул на него с тревогой. Если ответить «да», все справедливо сочтут его бессовестным и наглым обманщиком; если ответить «нет», сочтут безбожником. Он предпочел пробормотать, что, мол, ключи от всех тайн у Господа и нет на земле ничего, ни увядшего, ни зеленого, что не было бы записано в Его Книге. Слова эти, взятые из одной из первых сур, были встречены почтительным шепотом. Возгордясь победой своего

¹ «Книга-словарь» (араб.).

хитроумия, Абу-ль-Касим прибавил, что Господь в своих творениях совершенен и непостижим. Тогда Аверроэс, предвосхищая будущие рассуждения еще не родившегося Юма, заявил:

— Мне легче допустить наличие ошибки у ученого Ибн Кутайбы или у переписчиков, чем допустить, что земля порождает розы с символом веры.

— Именно так. Великие и справедливые слова, — молвил Абу-ль-Касим.

— Один путешественник, — вспомнил поэт Абд аль-Малик, — говорит о дереве, плоды которого — зеленые птицы. Мне куда легче поверить этому, чем в розы с буквами.

— Возможно, тут цвет птиц, — сказал Аверроэс, — способствует чуду. Кроме того, плоды и птицы принадлежат к миру природы, а письмо — это искусство. Перейти от листьев к птицам легче, чем от роз к буквам.

Кто-то из гостей с негодованием отверг мысль, будто письмо есть искусство, ибо оригинал Корана — «Мать Книги» — предшествовал созданию мира и хранится в небесах. Еще один гость упомянул Джахиза из Басры, сказавшего, что Коран — это субстанция, способная принять форму человека или животного, каковое мнение как будто согласуется с мнением тех, кто приписывает Корану два лица. Фарадж принял много-словно излагать ортодоксальную точку зрения. Коран (сказал он) — это один из атрибутов Бога, подобно Его милосердию; Коран записывают в книгу, его произносят языком, его запоминают сердцем — речь и знаки письма суть творения людей, но Коран неизменен и вечен. Аверроэс, написавший комментарий к «Республике», мог бы сказать, что Мать Книги — это как бы ее платоническая идея, но он увидел, что богословие — предмет, для Абу-ль-Касима вовсе недоступный.

Прочие гости, также это подметившие, пристали к Абу-ль-Касиму с просьбой поведать о какой-нибудь диковине. В те времена, как и в нынешние, мир был жесток: путешествовать по нему могли смельчаки, но также негодяи, готовые на все. Память Абу-ль-Касима была как бы зеркалом его душевной робости. Что он мог рассказать? Вдобавок они требуют диковин, а ди-

ковинное разве удастся поведать другому? Луна Бенгалии не похожа на луну Йемена, хотя ее можно описать теми же словами. Абу-ль-Касим помедлил, потом начал:

— Человек, посещающий разные края и города, — вкрадчиво заговорил он, — видит многое достойное упоминания. Вот, например, история, о которой я рассказывал только один раз султану турков. Она произошла в Син Калане (Кантоне), где Река Жизни впадает в море.

Фарадж спросил, на сколько лиг удален этот город от стены, которую Искандер Зу-л-Карнайн (Двурогий Александр Македонский) воздвиг, дабы преградить путь Гогу и Магогу.

— Она отделена от города пустыней, — сказал Абу-ль-Касим с невольным высокомерием. — Сорок дней надобно идти кафиле (каравану), чтобы увидеть вдали ее башни, и, говорят, еще столько же, чтобы до нее добраться. В Син Калане я не знал ни одного человека, который бы видел ее или видел человека, который ее видел.

Страх перед чудовищной бесконечностью, перед голым пространством, перед голой материей на мгновение прохватил Аверроэса. Он оглядел симметрично устроенный сад и почувствовал себя постаревшим, бесполезным, нереальным. Абу-ль-Касим продолжал:

— Однажды вечером мусульманские купцы в Син Калане повели меня в дом из раскрашенного дерева, в котором находилось много народу. Описать этот дом невозможно — это, скорее, была одна большая зала с рядами галерей или балконов, расположенными один над другим. Люди, сидя на этих балконах, ели и пили, то же самое делали люди внизу, на полу, и на каком-то возвышении, вроде террасы. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютнях, кроме пятнадцати или двадцати человек — эти были в красных масках, — которые молились, пели и разговаривали. Они страдали в оковах, но тюрьмы не было видно; скакали верхом, но лошадей не было; сражались, но мечи были из тростника; умирали, а потом вставали на ноги.

— Поступки умалишенных, — сказал Фарадж, — превосходят воображение разумного человека.

— Они не были умалишенными, — пришлось Абу-ль-Касиму пояснить. — Как сказал мне один из купцов, они изображали какую-то историю.

Никто не понял, никто, видимо, и не пытался понять. Абу-ль-Касим, смущенный, перешел от спокойного рассказа к дерзким рассуждениям. Размахивая руками, он заговорил снова:

— Вообразим себе, что кто-то показывает историю, вместо того чтобы ее рассказывать. Пусть, к примеру, это будет история о спящих в Эфесе. Мы видим, как они удаляются в пещеру, видим, как молятся и засыпают, видим, как спят с открытыми глазами, видим, как во время сна растут, видим, как просыпаются через триста девять лет, видим, как дают торговцу старинную монету, видим, как они пробуждаются в раю, видим, как с ними пробуждается собака. Нечто подобное нам показали в тот вечер люди на террасе.

— Люди эти говорили? — спросил Фарадж.

— Разумеется, говорили, — сказал Абу-ль-Касим, превращаясь в апологета представления, которое едва помнил и на котором изрядно скучал. — Говорили, и пели, и рассуждали!

— В таком случае, — сказал Фарадж, — не требовалось двадцати человек. Один балагур может рассказать любую историю, даже самую сложную.

Его мнение все одобрили. Стали восхвалять достоинства арабского языка, которым пользуется Бог, дабы управлять ангелами; затем заговорили о поэзии арабов. Абд аль-Малик, отдав ей положенную дань хвалебных слов, обозвал устаревшими поэтов, которые в Дамаске или в Кордове все еще держатся пастушеских образов и словаря бедуинов. Ведь это нелепо, сказал он, чтобы человек, перед глазами которого простирается Гвадалквивир, воспевал воду из колодца. Он призывал обновить древние метафоры — когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков восхищения она поизносилась. Все одобрили его суждение, которое слышали уже много раз и из многих уст. Аверроэс молчал. На-

конец он заговорил, не столько для других, но как бы размышляя вслух.

— Случалось и мне, — сказал Аверроэс, — не так красноречиво, но с подобными же доводами защищать мнение, которые высказал Абд аль-Малик. В Александрии говорили, что не может согрешить лишь тот, кто согрешил и раскаялся; добавим к этому: чтобы быть свободным от заблуждения, надо побывать у него в плену. Зухайр в «Муаллакат» говорит, что по прошествии восьмидесяти лет страданий и славы он видел много раз, как судьба обрушивается вдруг на человека, подобно слепому верблюду. Абд аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Первое: если бы целью стиха было удивить, его время измерялось бы не веками, но днями и часами, а может, и минутами. Второе: знаменитый поэт не столько изобретатель, сколько открыватель. В похвалу Ибн Шарафа из Берхи говорят, что только он мог придумать, будто звезды на утренней заре медленно опадают, как листья опадают с деревьев; если они правы, этот образ ничего не стоит. Образ, который может быть придуман только одним человеком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей, каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или с птицами. И напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна. Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал, и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того — и это, пожалуй, главное в моем рассуждении, — время, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа — образ старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого образа было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие

строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей. Так, когда меня несколько лет тому в Марракеше мучила тоска по Кордове, мне приятно было повторять возглас Абдар-Рахмана, обращенный им в садах Русафы к африканской пальме:

И ты, о пальма, тоже
В садах сих чужестранка!..

Удивительное свойство поэзии! Слова, сочиненные королем, тосковавшим по Востоку, помогали мне, сосланному в Африку, в моей ностальгии по Испании.

Затем Аверроэс заговорил о древних поэтах, о тех, кто во Времена Темноты, до Ислама, уже все сказали на беспредельном языке пустынь. Встревоженный — и не без основания — мелочной вычурностью Ибн Шарафа, он сказал, что у древних и в Коране заключена вся поэзия, и осудил как невежество и суетность притязания вводить новшества. Все слушали его с удовольствием, ибо он защищал старину.

Муэдзины призывали на молитву первого луча, когда Аверроэс вернулся в свою библиотеку. (В гареме за это время черноволосые рабыни успели помучить рабыню рыжеволосую, но он об этом узнает только к вечеру.) Что-то помогло ему понять смысл двух темных слов. Твердым, каллиграфически изящным почерком он добавил в рукописи следующие строчки: *«Аристу (Аристотель) именует трагедией панегирики и комедией — сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в „Муаллакат“ семи священных».*

Он почувствовал, что хочет спать и что немного озяб. Размотав тюрбан, он поглядел на себя в металлическое зеркало. Не знаю, что увидели его глаза, потому что ни один историк не описал его черт. Знаю лишь, что внезапно он исчез, словно пораженный незримою молнией, и вместе с ним исчезли дом, и невидимый фонтан, и книги, и рукописи, и голуби, и множество черноволосых рабынь, и дрожащая рабыня с рыжими волосами, и Фарадж, и Абу-ль-Касим, и кусты роз, и, возможно, Гвадалквивир.

В этом рассказе я хотел описать процесс одного поражения. Сперва я подумывал о том архиепископе кентерберийском, который вознамерился доказать, что Бог един; затем об алхимиках, искавших философский камень; затем об изобретавших трисекцию угла и квадратуру круга. Но потом я рассудил, что более поэтичен случай с человеком, ставившим себе цель, доступную другим, но не ему. Я вспомнил об Аверроэсе, который, будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов «трагедия» и «комедия». Я изложил этот случай; в процессе писания я чувствовал то, что должен был чувствовать упоминаемый Бертоном бог, который задумал создать быка, а создал буйвола. Я почувствовал, что мое произведение насмехается надо мной. Почувствовал, что Аверроэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том, что такое театр, был не более смешон, чем я, стремящийся вообразить Аверроэса, не имея иного материала, кроме крох Ренана, Лэйна и Асина Паласьоса. Почувствовал, уже на последней странице, что мой рассказ — отражение того человека, каким я был, пока его писал, и, чтобы сочинить этот рассказ, я должен был быть именно тем человеком, а для того, чтобы быть тем человеком, я должен был сочинить этот рассказ, и так — до бесконечности. (В тот миг, когда я перестаю верить в него, Аверроэс исчезает.)

ЗАИР¹

В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинства в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и T и цифра 2; год 1929-й выгравирован на аверсе. (В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра; на Яве — слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был

¹ Захир (*искаж. араб.*).

маленький, запеленутый в складки тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин; в кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из тысячи двухсот колонн; в еврейском квартале Тетуана — дно колодца.) Сегодня тринадцатое, ноября; а седьмого июня, на рассвете, в руки мне попал Заир; теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно, даже и рассказать о случившемся. Пока еще, хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом.

Шестого июня умерла Теодолина Вильяр. До 1930 года ее портреты заполняли светские журналы; возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни; в Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой; в Книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец учения Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах, в положенное время со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого; однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить (в устах Теодолины Вильяр) символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, буд-

то желала убежать от себя самой: и цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой... Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами — как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей; не прошло и года, как выяснилось, что эти на-шлепки *никогда не носили в Париже*, а следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освященным капризом. Беда не приходит одна; доктор Вильяр вынужден был переехать на улицу Араос, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. (Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было!) Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араос оказалась слишком дорогой; и шестого июня Теодолина Вильяр допустила промашку — умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренней из всех аргентинских страстей — снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез? Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом.

После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той приведшей меня в смятение ночи шестого июня Теодолина Вильяр, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад; черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так: ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это; а потому

пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких, одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Такуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене, на мою беду, трое мужчин играли в карты.

В фигуре, носящей название *оксиморон*, словно снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова; так, гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце. Равным образом и для меня выпить водки в жалком альмасене после того, как я видел Теодолину Вильяр в последний раз, было своего рода оксимороном; главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. (Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты.) Я спросил апельсиновой водки; на сдачу мне дали Заир; я поглядел на монету и вышел на улицу, кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с Хароном; обол, который просил Велисарий; тридцать сребреников Иуды; драхмы куртизанки Лаис; старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из «1001 ночи», которые потом стали бумажными кружочками; неизбывный динарий Исаака Лакедема; шестьдесят тысяч монет — по одной за каждый стих эпоса, — которые Фирдоуси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми; золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте; невозвратимый флорин Леопольда Блума; луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по

пустынным улицам и площадям. И, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку; за ней — черно-белый плитчатый пол портика монастыря Непорочного Зачатия. И понял, что очертил полный круг и снова оказался в десяти шагах от альмасена, где мне дали Заир.

Я свернул за угол и издала по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси. Спать совсем не хотелось; одержимо, чувствуя себя почти счастливым, я думал о том, что нет на свете вещи менее материальной, нежели деньги, ибо любая монета (скажем, монета в двадцать сентаво) на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. Деньги абстрактны, твердил я, деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут — музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут — шахматами, или чашкой кофе, или поучением Эпиктета о презрении к золоту; это Протей еще более переменчивый, чем Протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время Ислама или стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, *id est*¹ что события могут свершаться сами по себе, монета же символизирует для нас свободу воли. (Я и не подозревал, что эти «мысли» специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния.) Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф.

На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать: ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда — на Сан-Хуан и Боэдо.

¹ То есть (*лат.*).

Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг; не выбирая дороги, несколько раз сворачивал и наконец на улице, которая показалась такой же, как все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номера домов и названия улиц. Перед сном я принял таблетку веронала и ночь проспал спокойно.

До конца июня я развлекался сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены: вместо слова «кровь» говорится «вода меча»; вместо слова «золото» — «ложе змеи», и повествование ведется от первого лица. Рассказчик — аскет, который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. (Гнигхейдр — называется это место.) За чистоту и неприязнательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом; однако это — свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за примером, зарезал собственного отца, правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынный посвятил жизнь; денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, быть может слишком скоро, бдению его придет конец: звезды ему поведали, что уже выкован меч, который его сразит. (Грам — имя того меча.) С каждым разом все более выпренне превозносит он гибкость и блеск своего тела; то упоенно говорит о чешуе, то сообщает, что сокровища, которые он охраняет, — сверкающее золото и красные кольца. В конце мы понимаем, что аскет — на самом деле змей Фафнир, а сокровища, на которых он лежит, — сокровища Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование.

Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой (в которую я, щеголяя псевдоэрудицией, вплел стих из «Фафнисмаля»), я забыл о монете. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней, и я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим; начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно твердил я себе,

что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счесть и все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот довод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с пятью и десятью чилийскими сентаво, равно как и с уругвайской монетой. Шестнадцатого июля я приобрел фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью (и во все последующие ночи) разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. Потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли: сменить объект навязчивой идеи мне не удалось.

В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не поверил ему подробностей своей нелепой истории; сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетона или монеты... А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьенто экземпляр «Urkunden zur Geschichte der Zahirsage»¹ (Бреслау, 1899) Юлиуса Барлаха.

В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью «собрать в едином томе удобного формата ин-октаво все документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром, в том числе четыре свидетельства из архива Хабихта и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора». Верование в могущество Заира — исламского происхождения и датируется, судя по всему, XVIII веком. (Барлах опровергает положения, которые Зотенберг приписывает Абульфиде.) Слово «Захир» по-арабски значит «заметный», «видимый»; и в этом значении оно является одним из девяноста девяти имен Бога; простой народ в мусульманских землях относит Заир к числу «существ или вещей, наделенных ужасным свойством не забываться, изображение которых в конце концов сводит человека с ума». Первое неоспоримое свидетельство принадлежит персу Лутф Али Азуру. В

¹ «Свидетельства к истории сказаний о Заире» (нем.).

подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм Огня», этот полиграф и дервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Шираза была медная астролябия, «сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом, и потому царь повелел забросить ее в глубины морские, дабы люди не забывали о Вселенной». Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабадского и написал знаменитый роман «Confessions of a Thug»¹. Году в 1832-м Тейлор услышал в предместьях Бхуджа странное выражение «Он посмотрел на Тигра» (Verily he has looked on the Tiger), которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно погибели, даже если его видели издали, ибо каждый потом до конца дней думал только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в Мисор и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства; в тюрьме Нитура губернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил (кричащими красками, которые время, прежде чем стереть, облагородило) нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетавшихся тигров, и тело из тигров, и полосы из тигров, и даже моря, Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере; он был родом из Синда или из Гуджерата, и первоначальной его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махаммуду Аль-Йемени из Форт-Вильяма; тот в ответ заметил, что не было на земле создания, которое бы не склонилось перед Zaheer², но что Всемилостивый не позволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он сказал, что всегда есть только один Заир и что

¹ «Исповедь душителя» (англ.).

² Так Тейлор пишет это слово. — *Примеч. автора.*

в Пору Невежества им был идол по имени Йаук, а потом — пророк из Хорасана, который носил покров, расшитый камнями, и золотую маску¹. И еще он сказал, что Бог непостижим.

Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания; помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет, и огромное облегчение от мысли, что я не повинен в собственной беде, и зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. До чего легко было бы не думать о тигре, казалось мне. И еще помню, с каким беспокойством прочел я строки: «Один из комментаторов книги „Гулшан-и-раз" говорит, что тот, кто видел Заир, в скором времени увидит и Розу, и приводит в доказательство стих из „Асрар-Нама" (Книги о вещах неведомых) Аттара: „Заир — это тень Розы и царапина от Воздушного покрова"».

В ту ночь, когда тело Теодолины лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее младшей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне:

— Бедняжка Хулита такая стала странная, ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы — кормят с ложечки. Из рук не выпускает монетки — точь-в-точь как шофер Морены Сакман.

Время, приглушающее воспоминания, мысли о Заире, напротив, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс; теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным, скорее это похоже на то, что зрение у меня сферическое и Заир находится в самом центре этой сферы. Все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким: и полный презрения облик Теодолины, и физическая боль. Теннисон сказал, что, если бы нам удалось по-

¹ Барлах замечает, что Йаук упоминается в Коране (71:23), что пророк тот — Аль-Моканна («Под Покрывалом»), однако никто, кроме удивительного собеседника Филиппа Медоуза Тейлора, не связывал их с Заиром. — *Примеч. автора.*

нять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Быть может, он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Быть может, он хотел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении, таким же образом, каким воля, по мнению Шопенгауэра, предстает полностью в каждом субъекте. Каббалисты понимали, что каждый человек — это микрокосмос, символическое зеркало вселенной; и, по мнению Теннисона, все является таковым. Все, даже этот невыносимый Заир.

К 1948 году участь Хулии, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать, и я не буду знать, вечер на дворе или утро и кто такой Борхес. Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывают череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня, для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов, слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы; от тысяч кажимостей я перейду к одной; из сна необычайно сложного — в до крайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один Заир. Когда же все люди на земле день и ночь будут думать только о Заире, что будет сном и что — действительностью, земля или Заир?

В безлюдные ночные часы я еще могу ходить по улицам. Заря застает меня на площади Гарая, я сижу на скамейке, размышляя (пытаюсь размышлять) над тем местом из «Асрар-Нама», где говорится, что Заир — тень Розы и царапина Воздушного покрова. Я связываю это суждение с такими сведениями: «Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или девяносто девять имен Бога до тех пор, пока те перестают что-то значить» — и мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что

я растрочу Заир, так много и с такой силой о нем думаю; а может быть, там, за монетой, и находится Бог.

Посвящается Уолли Зеннер

ПИСЬМЕНА БОГА

Каменная темница глубока; изнутри она схожа с почти правильным полушарием; пол (тоже каменный) чуть меньше его наибольшей окружности, и потому тюрьма кажется одновременно гнетущей и необъятной. Посередине полусферы перерезает стена; очень высокая, она все же не достигает верхней части купола; с одной стороны нахожусь я, Тсинакан, маг пирамиды Кахолома, которую сжег Педро де Альварато; с другой — ягуар, меряющий ровными и незримыми шагами пространство и время своей клетки. В центральной стене, на уровне пола, пробито широкое зарешеченное окно. В час без тени (полдень) вверху открывается люк, и тюремщик, ставший от времени безликим, спускает нам на веревке кувшины с водой и куски мяса. Тогда в темноту проникает свет, и я могу увидеть ягуара.

Я потерял счет годам, проведенным во мраке; когда-то я был молод и мог расхаживать по камере, а теперь лежу в позе мертвеца, и мне остается только ждать уготованной богами кончины. Когда-то длинным кремневым ножом я вспарывал грудь людей, приносимых в жертву; теперь без помощи магии я не сумел бы подняться с пыльного пола.

Накануне сожжения пирамиды сошедшие с высоких коней люди пытали меня раскаленным железом, чтобы выведать, где находится сокровищница. У меня на глазах была низвергнута статуя Бога, но Бог не оставил меня и помог промолчать под пыткой. Меня бичевали, били, калечили, а потом я очнулся в этой темнице, откуда мне уже не выйти живым.

Чувствуя необходимость что-то делать, как-то заполнить время, я, лежа во тьме, принялся мысленно вос-

крешать все, что когда-то знал. Я проводил целые ночи, припоминая расположение и число каменных змеев или свойства лекарственных деревьев. Так мне удалось обратить в бегство годы и снова стать властелином того, что мне принадлежало. Однажды ночью я почувствовал, что приближаюсь к драгоценному воспоминанию: так путник, еще не увидевший моря, уже ощущает его плеск в своей крови. Через несколько часов воспоминание прояснилось: то было одно из преданий, связанных с Богом. Предвидя, что в конце времен случится множество бед и несчастий, он в первый же день творения начертал магическую формулу, способную отвести все эти беды. Он начертал ее таким образом, чтобы она дошла до самых отдаленных поколений и чтобы никакая случайность не смогла ее исказить. Никому не ведомо, где и какими письменами он ее начертал, но мы не сомневаемся, что она тайно хранится где-то и что в свое время некий избранник сумеет ее прочесть. Тогда я подумал, что мы, как всегда, находимся при конце времен и что моя судьба — судьба последнего из служителей Бога — быть может, даст мне возможность разобрать эту надпись. То обстоятельство, что я находился в темнице, не лишало меня надежды; вполне вероятно, что я уже тысячи раз видел эти письмена в Кахоломе, только не смог их понять.

Эта мысль ободрила меня, а затем довела до головокружения. По всей земле разбросано множество древних образов, неизгладимых и вечных; любой из них способен служить искомым символом. Словом Бога может оказаться гора, или река, или империя, или сочетание звезд. Но горы с течением времени рассыпаются в прах, реки меняют свои русла, на империи обрушиваются превратности и катастрофы, да и рисунок звезд не всегда одинаков. Даже небосводу ведомы перемены. Гора и звезда — те же личности, а личность появляется и исчезает. Тогда я стал искать нечто более стойкое, менее уязвимое. Размышлять о поколениях злаков, трав, птиц, людей. Быть может, магическая формула начертана на моем собственном лице, и я сам

являюсь целью моих поисков. В этот миг я вспомнил, что одним из атрибутов Бога служил ягуар.

И благоговейный восторг овладел моей душой. Я представил себе первое утро времен, вообразил моего Бога, запечатлевающего свое послание на живой шкуре ягуаров, которые без конца будут спариваться и приносить потомство в пещерах, зарослях и на островах, чтобы послание это дошло до последних людей. Я представил себе эту кошачью цепь, этот лабиринт огромных кошек, наводящих ужас на поля и стада во имя сохранности предначертания. "Рядом со мной находился ягуар; в этом соседстве я усмотрел подтверждение моей догадки и тайную милость Бога.

Долгие годы я провел, изучая форму и расположение пятен. Каждый слепой день дарил мне мгновение света, и тогда я смог закрепить в памяти черные письмена, начертанные на рыжей шкуре. Одни из них выделялись отдельными точками, другие сливались в поперечные полосы, третьи, кольцевые, без конца повторялись. Должно быть, то был один и тот же слог или даже слово. Многие из них были обведены красноватой каймой.

Не буду говорить о тяготах моего труда. Не раз я кричал, обращаясь к стенам, что разобрать эти письмена невозможно. И мало-помалу частная загадка стала мучить меня меньше, чем загадка более общая: в чем же смысл изречения, начертанного Богом?

«Что за изречение, — вопрошал я себя, — может содержать в себе абсолютную истину?» И пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать «тигр» — значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, в небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на божьем языке эту бесконечную переключку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно,

и не поочередно, а разом. Постепенно само понятие о божьем изречении стало мне казаться ребяческим и кощунственным. «Бог, — думал я, — должен был сказать всего одно слово, вмещающее в себя всю полноту бытия. Ни один из произнесенных им звуков не может быть менее значительным, чем вся вселенная или по крайней мере чем вся совокупность времен. Жалкие и хвастливые человеческие слова — такие, как „все“, „мир“, „вселенная“, — это всего лишь тени и подобия единственного звука, равного целому наречию и всему, что оно в себе содержит».

Однажды ночью (или днем) — какая может быть разница между моими днями и ночами? — я увидел во сне, что на полу моей темницы появилась песчинка. Не обратив на нее внимания, я снова погрузился в дрему. И мне приснилось, будто я проснулся и увидел две песчинки. Я опять заснул, и мне пригрезилось, что песчинок стало три. Так они множились без конца, пока не заполнили всю камеру, и я начал задыхаться под этой горой песка. Я понял, что продолжаю спать, и, сделав чудовищное усилие, пробудился. Но пробуждение ни к чему не привело: песок по-прежнему давил на меня. И некто произнес: «Ты пробудился не к бедности, а к предыдущему сну. А этот сон в свою очередь заключен в другом, и так до бесконечности, равной числу песчинок. Путь, на который ты вступил, нескончаем; ты умрешь, прежде чем проснешься на самом деле».

Я почувствовал, что погибаю. Рот у меня был забит песком, но я сумел прокричать: «Приснившийся песок не в силах меня убить, и не существует сновидений, порождаемых сновидениями!» Меня разбудил отблеск. В мрачной вышине вырисовывался светлый круг. Я увидел лицо и руки тюремщика, блок и веревку, мясо и кувшины.

Человек мало-помалу принимает обличье своей судьбы, сливается воедино со своими обстоятельствами. Я был отгадчиком, и мстителем, и жрецом Бога, но прежде всего — узником. Из ненасытного лабиринта сновидений я вернулся в тюрьму, как возвращаются

домой. Я благословил сырую темницу, благословил тигра, благословил световой люк, благословил свое дряхлое тело, благословил мрак и камень.

Тогда произошло то, чего я никогда не забуду, но не смогу передать словами. Свершилось мое слияние с божеством и со вселенной (если только два этих слова не обозначают одного и того же понятия). Экстаз не выразишь с помощью символов; один может узреть Бога в проблеске света, другой — в мече, третий — в кольцевидных лепестках розы. Я увидел некое высочайшее Колесо; оно было не передо мной, и не позади меня, и не рядом со мной, а повсюду одновременно. Колесо было огненным и водяным и, хотя я видел его обод, бесконечным. В нем сплелось все, что было, есть и будет; я был одной из нитей этой ткани, а Педро де Альварадо, мой мучитель, — другой. В нем заключались все причины и следствия, и достаточно мне было взглянуть на него, чтобы понять все, всю бесконечность. О радость познания, ты превыше радости воображения и чувств! Я видел вселенную и постиг сокровенные помыслы вселенной. Видел начало времен, о котором говорит Книга Совета. Видел горы, восстающие из вод, видел первых людей, чья плоть была древесиной, видел нападавшие на них каменные сосуды, видел псов, что пожирали их лица. Видел безликого Бога, стоящего позади богов. Видел бесчисленные деяния, слагавшиеся в единое блаженство, и, понимая все, постиг также и смысл письмен на шкуре тигра.

То было изречение из четырнадцати бессвязных (или казавшихся мне бессвязными) слов. Мне достаточно было произнести его, чтобы стать всемогущим. Мне достаточно было произнести его, чтобы исчезла эта каменная темница; чтобы день вошел в мою ночь, чтобы ко мне вернулась молодость, чтобы тигр растерзал Альварадо, чтобы священный нож вонзился в грудь испанцев, чтобы восстала из пепла пирамида, чтобы воскресла империя. Сорок слогов, четырнадцать слов — и я, Тсиакан, буду властвовать над землями, которыми некогда владел Моктесума. Но я знаю, что ни за

что не произнесу этих слов, ибо тогда забуду о Тси-накане.

И да умрет вместе со мной тайна, запечатленная на шкурах тигров. Кто видел всю вселенную, кто постиг пламенные помыслы вселенной, не станет думать о человеке, о жалких его радостях и горестях, даже если он и есть тот самый человек. Вернее сказать — *был им*, но теперь это ему безразлично. Ему безразличен тот, другой, безразлично, к какому племени тот принадлежит — ведь сам он стал теперь никем. Вот почему я не произнесу изречения, вот почему я коротаю дни, лежа в темноте.

АБЕНХАКАН ЭЛЬ БОХАРИ, ПОГИБШИЙ В СВОЕМ ЛАБИРИНТЕ

...могут быть уподоблены
пауку, строящему дом.

Коран, XXIX, 40

— Вот здесь, — сказал Данревен и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок коношню, — земля моих предков.

Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года; пресытившись миром без опасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Данревен пестовал темную бородку и был известен как автор величественной эпопеи, в которой его современники почти не могли уловить размера, тема ее не поддавалась пересказу; Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательства которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба — нужно ли говорить? — были молоды, безрассудны и азартны.

— Прошло почти четверть века, — сказал Данревен, — как Абенхакан эль Бохари, вождь или царь одного из племен нилотов, погиб в центральной комнате

этого дома от руки своего племянника Саида. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились.

Анвин, как и ожидалось, спросил почему.

— По разным причинам, — последовал ответ. — Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых...

Анвин равнодушно прервал его.

— Не нагромождай загадок, — сказал он. — Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо По, вспомни запертую комнату Зангвилла.

— Или сложными, — ответил Данревен. — Вспомни Вселенную.

Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашеного кирпича, чуть выше человеческого роста. Данревен сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасностей прихожую. Данревен сказал, что внутри дома множество пересечений, но, все время поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу; галерея разделилась на две более узких. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неровности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин услышал из уст своего друга историю смерти Абенхакана.

— Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Данревен, — это появление Абенхакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом; без сомнения, это был первый негр и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абенхакан. Он показался

мне очень высоким; это был человек с оливковой кожей, полузакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашеной шафраном бородой, мощной грудью, с уверенной и бесшумной походкой. Дома я сказан: «Царь приплыл на корабле». Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул и называл его Царем Вавилонским.

Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома — с замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немислимым, чтобы дом состоял из одной-единственной комнаты и коридоров, тянувшихся мили и мили. «Такие дома бывают у магометан, но не у христиан», — говорил народ. Наш ректор, мистер Олби, человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за то, что воздвиг лабиринт, и поведал ее с кафедры. В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора, обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь более не касалась гордыни, а мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора.

Абенхакан, не сядясь, сказал ему примерно следующее: «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной Справедливостью. Мое имя известно повсюду: я Абенхакан эль Бохари, и я властвовал над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Саида, но Бог услышал их мольбы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты, мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Саид вывел меня к гробнице святого, у подножия скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни; Саид и я в изнеможении заснули. Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью из змей. В ужасе я проснулся, рядом спал Саид, светало; прикосновение паутины к мо-

ему телу было причиною страшного сна. Сокровище не бесконечно, подумал я, а он может потребовать свою часть. За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью, я вытащил его и вонзил Саиду в горло. В агонии он пробормотал несколько слов, которые я не сумел разобрать. Я посмотрел на него; он был мертв, но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему камнем голову. Потом мы скитались по пустыне и наконец различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли; и я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Саида. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: „Как сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был". Я поклялся, что угроза его не сбудется; я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги.

Сказав это, он ушел. Олби решил было, что мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его безумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель, возможно, подобные странности присущи (как Плиниевы драконы) не столько личности, сколько культуре... В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Таймс» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении эль Бохари и ви-зиря, имевшего славу труса.

Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели; порою Олби пугала мысль, что Саид уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва, и овцы в загоне дрожали от древнего страха.

В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта (который тогда, помнится, был алого, а не розового цвета) и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей и, казалось,

искал среди живых призраков визирия. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабандой алкоголь и слоновью кость, так почему бы не возить им также и тени умерших?

Спустя три года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов «Роза Сарона». Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абукире или Трафальгаре, но сдается мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабеля, и даже скорее краснодеревщика, чем столяра. Он был (если не в действительности, то в моем воображении) полированный, темный, бесшумный и быстрый, команда состояла из арабов и малайцев.

Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абенхакан. Охваченный ужасом, он едва сумел выговорить, что Саид уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом — во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл (курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после). Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бохари показался ему фантастическим, но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим — на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на эль Бохари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром, кто-то сломал замок и не оставил ни монеты.

Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Данрвен уже не в первый раз произносил

их с тем же пафосом и так же не достигал успеха. Он спросил, притворяясь заинтересованным:

— Как были убиты лев и раб?

Не меняя манеры, Данревен ответил с мрачным удовлетворением:

— У них тоже были разбиты головы.

К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в лабиринте, в «центральной комнате» повествования Данревена, но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова: Данревен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг:

— Разве эта история объяснима?

Как бы размышляя вслух, Анвин ответил:

— Не знаю, объяснима она или нет. Знаю, что это ложь.

Данревен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора (Олби, кажется, уже умер) и всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Данревен, Анвин извинился. Время в темноте тянулось необычайно долго; оба уже опасались, что сбились с пути, и были совершенно без сил, когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой круглой комнате. Как память о страхе злополучного царя сохранились две вещи: широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру.

Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно; поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными:

Faceless the sultry and overpowering lion,
Faceless the stricken slave, faceless the King ¹.

¹ С разбитой головой лежит могучий лев,
С разбитой головой лежат и раб, и царь (англ.).

Анвин полагал, что история смерти эль Бохари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому, а два дня спустя сговорился встретиться с Данревеном в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее:

— В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя история — ложь. *События* были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, стали явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте. Не сооружает лабиринт на высоком берегу, алый лабиринт, издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что Вселенная — лабиринт уже существующий.

Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем эта вышка, к которой ведут все галереи здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснет; осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном.

— О теории множеств, например, или о четвертом измерении, — заметил Данревен.

— Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка.

Данревен, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное, разгадка же — фокус. Он сказал, чтобы оттянуть неизбежное:

— С головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека.

— Этот вариант тоже подходит, — согласился Анвин. — Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю. Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне. Если вспом-

нить Минотавра (роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте), задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке, поэтому было необходимо, чтоб в твоём рассказе появился символ более подобающий: паутина.

— Паутина? — переспросил сбитый с толку Данревен.

— Да. Больше всего меня поразило то, что паутина (паутина в её универсальной форме, скажем платоновская паутина) внушила убийце (поскольку убийца существует) это преступление. Вспомни: эль Бохари в гробнице видит во сне сеть из змей и, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда эль Бохари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о котором нам известно, что он трус; не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала; тень последнего угрожает царю во сне, несколько ночей спустя. Все это невероятно; я думаю, события разворачивались по-другому. В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать — значит расставаться с миром, а такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Саида ввел в искушение сон царя. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом, но не осмелился. Он позвал раба, они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от эль Бохари, а чтобы заманить и убить его, он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи об алом человеке, рабе и льве и что рано или поздно эль Бохари придет разыскивать его в этом лабиринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль Бохари бесконечно презирал Саида и не унился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал; Абенхакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно,

уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно, и одним выстрелом, из за-сады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Саид одним камнем разбил всем тро-им головы. Он вынужден был так поступить: один трус с разбитой головой наводит на мысль об иденти-фикации; а зверь, негр и царь образуют ряд, имея началь-ные члены которого, любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби: он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокро-вищами.

Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Данревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться.

— Я согласен, — сказал он, — мой Абенхакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические осо-бенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель. Но я отказываюсь согласиться с предположе-нием, что часть сокровищ осталась в Судане. Вспомни, ведь Саид бежал от царя и от врагов царя; легче пред-ставить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось; каменщи-ки поглотили состояние, которое в отличие от красного золота Нибелунгов не было бесконечным. Тогда полу-чается, что Абенхакан пересек море, чтобы вернуть себе растраченные сокровища.

— Не растраченные, — сказал Анвин. — А затрачен-ные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Саид, если мое предположение справедли-во, действовал, побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абенхакана. Он притворялся Абенхаканом, убил Абенхакана и в конце концов *стал* Абенхаканом.

— Да, — согласился Данревен. — Он стал бродягою, который прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем или делал вид, что царь.

ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ

Бьой Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы Н, наш друг Кристофер Дьюи из Британского Совета, сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за этим он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами (*Ultra Auroram et Gangem*¹ — помню, произнес он по-латыни, переиначив стих Ювенала). Из историй, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым: да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что-либо или усилить заимствованиями из Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории, древней и простой, возможно, тот же, что и у «Тысячи и одной ночи», и было бы жаль его утратить.

Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде Амритсара или Уда? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения, и правительство послало сильного человека, чтобы навести порядок. Это был шотландец из славного клана воинов, насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные как смоль волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкэрн — назовем его так этой ночью, — оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердой рукою. Давид Александр (мне надо привыкнуть называть его так) был, думается, человеком, внушающим страх; одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили мирной жизнью: сикхи и мусульмане оставили старые распри, как

¹ У Ювенала «*usque Auroram et Gangem*», то есть «Вплоть до Востока, до Ганга...» (Сатиры, пер. Недовича Д. С. и Петровского Ф. А., Academia, М.—Л., 1937). Герой рассказа употребляет вместо «*usque*» «*ultra*» «за, по ту сторону». — *Примеч. пер.*

вдруг Гленкэрн исчез. Естественно, поползли слухи о том, что он был похищен или убит.

Я узнал об этом от своего шефа — цензура была суровой, и газеты не комментировали (насколько мне помнится, даже не упоминали) исчезновения Гленкэрна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир; Гленкэрн, возможно, всемогущий в городе, куда он был направлен подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации Империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным, мой шеф считал, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. Три-четыре дня спустя (расстояния в Индии огромны) я без особых надежд бродил по улицам мрачного города, который поглотил человека. И почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкэрна. *Нет в этом городе (я мог поручиться) ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее.* Большинство спрашиваемых обнаруживало полную неосведомленность; они не знали, кто такой Гленкэрн, никогда не видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад, разговаривающим с таким-то, и даже брались проводить меня к дому, куда они вошли и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес...

Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный; дом очень низкий; с тротуара я различил ряд немощеных дворишков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник; прошел слепой, держа людно из красноватого дерева.

У моих ног, на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках очень старый человек. Я опишу его внешность, потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его, как вода ка-

мень или поколения людей — пословицу. Его одежда состояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Гленкэрне. Он не понял (или не расслышал), и мне пришлось объяснять, что это судья и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящее — едва различимый шум. *Этот человек мог бы рассказать о Восстании или об Акбаре*, подумал я, *но не о Гленкэрне*. Его ответ подтвердил мои опасения.

— Судья? — сказал он с легким удивлением. — Судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Года я не помню, но еще не погиб Никал Сеин (Николсон) под стенами Дели. Время, которое уходит, остается в памяти; без сомнения, я могу вспомнить все, что тогда произошло. Бог позволил, в гнев своем, чтобы люди впали в грех; уста их изрекали проклятия, ложь и обман. Конечно, порочны были не все, и, когда пришла весть, что королева собирается прислать человека, который бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин и тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его; английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. *В его книге всему есть оправдание*, хотели мы думать, но его сходство с неправедными судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ (чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью) стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный

замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли его в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорили с людьми, которым он нанес обиды, или (по крайней мере) с сиротами и вдовами, которым он нанес обиды, или (по крайней мере) с сиротами и вдовами, поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха. Наконец — возможно, это было самым трудным — нашли и назначили судью, чтобы судить судью.

Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом. Он не спеша продолжал:

— Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере четыре праведника, на которых незримо держится мир и которые служат его оправданием перед ликом Господа: один из таких людей был бы самым подходящим судьей. Но где найти их, если они безымянные ходят по свету, и мы не сумеем узнать их, если встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат? Тогда кто-то решил, что, если судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного Бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи Махавиры, которые учат, что Вселенная имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему.

Здесь рассказ перебили несколько человек, возвратившихся с праздника.

— Сумасшедшему, — повторил он, — потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья.

Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным.

— Обвиняемый признал его судьей, — был ответ. —

Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей.

Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней.

— По меньшей мере девятнадцать, — ответил он.

Люди, возвращавшиеся с праздника, снова прервали его; вино запрещено мусульманам, но лица и голоса казались пьяными. Минюта нас, один из них что-то крикнул.

— Девятнадцать дней, точно, — повторил старик. — Неверный пес выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. — Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории: — Он умер без страха; и в самых низких людях бывает достоинство.

— Где произошло то, о чем ты рассказываешь? — спросил я. — В отдаленном пригороде?

В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово:

— Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили. А судили в этом городе: в таком же доме, как другие, как вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга: важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе.

Я спросил его о судьбах заговорщиков.

— Не знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог.

Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из таких тесных, ненамного просторнее подъезда, дворики, может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди, наверняка они перелезли через изгородь. Раздавая толчки и

ругаясь, я проложил себе дорогу. И в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.

БОГОСЛОВЫ

Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях ринулись в монастырскую библиотеку, изорвали в клочья непонятные для них книги и с бранью сожгли их, видимо, опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их Богу, кривой железной сабле. Сгорели палимпсесты и кодексы, но внутри костра, среди пепла осталась почти невредима двенадцатая книга «Civitas Dei»¹, где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде и он будет здесь, в Афинах, перед той же аудиторией, снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относились с особым пиететом, и те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение, лишь чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадьютор Аквилеи, узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта «монотонов» (называвшихся также «ануляры») исповедует веру в то, что история — круг и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях Колесо и Змея вытеснили Крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь.

Аврелиана эти вести огорчили, особенно последняя. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком уди-

¹ «О Граде Божиим» (лат.).

вителен и посему риск тут невелик. (Опасаться надо тех ересей, которые можно спутать с ортодоксией.) Все же ему было неприятно вмешательство — почти наглое — Иоанна Паннонского. Двамя годами раньше сей муж в пространном сочинении «De septima affectione Dei sive de aeternitate»¹ узурпировал тему из области Аврелиана; теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный — возможно, аргументами Прокруста, противоядиями пострашнее, чем сам яд Змеи, — этих ануляров... В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов, обнаружил в двадцать девятом параграфе насмешку над стоиками, предполагавшими существование бесконечного множества миров, с бессчетными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан счел счастливым предзнаменованием: он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих Колесо.

Иногда мужчина добивается любви женщины, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать; так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов, все эти «nego»² и «autem»³ и «nequamquam»⁴ умеряли раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные, запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солецизмы были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески-торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус — это прямой путь, спасающий нас от кругов лабиринта, в коем блуждают безбожники: Аврелиан, как старательный уче-

¹ «О седьмой любви Бога или о вечности» (лат.).

² Отрицаю (лат.).

³ С другой стороны (лат.).

⁴ Никоим образом (лат.).

ник, сравнил их с Иксионом, с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца, с заиканьем, с белкой, с зеркалами, с эхом, с мулами у нории и с двурогими силлогизмами. (Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений.) Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю; это противоречивое чувство побудило его воспользоваться многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так, он сумел вставить пассаж из «De principiis»¹ Оригена, опровергающий мнение, будто Иуда Искарот снова предаст Господа, а Павел будет в Иерусалиме снова присутствовать при мученической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «Academica prloga»² Цицерона, где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукуллом, бесконечное множество других Лукуллов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на монотонов упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника *lumen naturae*³ оказал большее действие, чем на них слово божье. Труд этот занял у него девять дней, а на десятый ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским.

Оно было почти смехотворно кратким — Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось толкование заключительных стихов девятой главы Послания к евреям, где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но совершил это однажды к концу веков. Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников (Матфей, 6;7) и то место из седьмой книги Плиния, где говорится, что во всей Вселенной не найти двух одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти и двух одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь

¹ «О началах» (лат.).

² «Первые Академики» (лат.).

³ Свет природы (лат.).

же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все девять концентрических небес, и воображать, будто он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, — значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили: вечность хранит это для райского блаженства, но также для огня адова. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще — казалось, он сочинен не конкретной личностью, но как бы «всяким человеком» или — быть может — всем человечеством.

Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничтожить или переделать свой труд, но затем, движимый обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждения монотонов поручили (как и следовало ожидать) Иоанну Паннонскому; его ученого, сдержанного по тону опровержения оказалось достаточно, чтобы ересиарха Эвфорбия осудили на сожжение. «Это уже происходило и произойдет снова, — сказал Эвфорбий. — Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него.

Колесо пало, побежденное Крестом¹, однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну. Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безответное стремление превзойти Иоанна. Его страдания оставались невидимы — если тексты меня не обманывают, имя «другого» ни разу не появляется во многих томах Аврелиана, собранных в «Патрологии» Миня. (От сочинений Иоанна дошли всего-навсего двадцать слов.) Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым

¹ В рунических крестах переплетены и сочетаются оба враждебных символа. — *Примеч. автора.*

Константинопольским собором, оба осуждали ариан, отрицавших божественную сущность Сына, оба подтверждали ортодоксальность «Христианской топографии» Космы, который учит, что земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На беду, во всех четырех углах земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии (свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака), она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене и в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно, — говорили, что в Британском епископстве перевернули распятия вверх ногами, а в Цезарее образ Господа заменили зеркалом. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол.

Истории они известны под разными именами (спекуляры, абисмалы, каиниты), но самым общепринятым было «гистрионы», данное им Аврелианом и дерзостно ими подхваченное. Во Фригии их называли «симулякры», так же и в Дардании. Иоанн Дамаскин именовал их «формы» — тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересоведа, который бы с изумлением не сообщал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм — некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клоаках, иные вырывали себе глаза; иные («Навуходоносоры» из Нитрии) «ели траву, как волы, и волосы выросли у них, как у орла». От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению, в некоторых общинах процветало воровство, в иных убийство, в иных содомия, кровосмешение и скотоложество. Все они были богохульники, носили не только христианского Бога, но даже таинственных богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун писал около 1658 года: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не Оскорбления, коим было подвергнуто их Нечестие»; Эрфьорд предположил, что эти «оскорбления» (сохранившиеся в одном греческом кодексе) — они-то и суть

утерянные евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов.

В герметических книгах сказано: то, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу; в «Зогаре» говорится, что мир нижний — это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея 6:12 («Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») и 11:12 («Царство небесное силой берется») в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили из Коринфян 13:12 («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло») как подтверждение того, что все нами видимое — ложь. Возможно, под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек — это два человека, и истинный из них — тот, другой, на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение — стало быть, если мы бодрствуем, тот, другой, спит; если блудим, другой целомудрен; если грабим, другой честен. После смерти мы соединимся с ним и будем им. (Какой-то отголосок этих учений есть у Блуа.) Другие гистрионы считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение в многие тела, прежде чем они получают освобождение; другие, протеики, «за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево». Демосфен сообщает об очищении грязью, которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии; подобно этому протеики искали очищения злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки (Лука 12:59), и обычно обольщали кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Иоанн 12:10). Говорили они также, что не быть зло-

деем — сатанинская гордыня... Множество разноречивых мифологий придумали гистрионы: одни призывали к аскетизму, другие к распутству, и все — смущали умы. Теопомп, гистрион из Береники, отрицал все легенды: он утверждал, что всякий человек — это орган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир.

Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным, и в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прелат, которому отправлял он это донесение, был духовником императрицы; все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия. Но секретарь прелата — прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, — имел славу дотошного исследователя ересей; Аврелиан к докладу добавил изложение гистрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не мог найти нужную формулировку. Поучения новой ереси («Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, что уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир».) были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из двадцати слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта — не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее много лет назад в «Adversus annutares»¹, трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату — да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность; оставить их будет плагиатом у ненавистного

¹ «Против ануляров» (лат.).

ему человека; указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. Под вечер следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предупреждением: «То, о чем ныне брешут ересиархи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученейший муж, более по недомыслию, нежели из греховности». Потом случилось то, чего он опасался, чего ждал, чего нельзя было предотвратить. Аврелиану пришлось открыть, кто этот муж. Иоанн Паннонский был обвинен в приверженности к ереси.

Четыре месяца спустя кузнец с Авентина, оболыщенный лживыми уверениями гистрионов, взвалил на плечи своему маленькому сыну огромный железный шар, чтобы его двойник взлетел ввысь. Ребенок погиб. Ужас, вызванный этим преступлением, обязал судей Иоанна к неукоснительной строгости. Тот не пожелал отречься от своих слов и повторял, что отрицание его мнения ведет к губительной ереси монотонов. Он не понимал (или не хотел понимать), что говорить о монотонах бессмысленно — о них давно забыли. С упрямством, отчасти старческим, он щедро приводил наиболее блестящие периоды из прежнего своего полемического труда, но судьи даже не слушали того, чем некогда восхищались. Иоанну следовало постараться очистить себя от малейшего подозрения в гистрионизме, а он доказывал, что мысль, за которую его обвиняют, строго ортодоксальна. Он спорил с людьми, от решения которых зависела его судьба, и еще допустил величайшую оплошность — спорил с блеском и иронией. Двадцать шестого октября, после обсуждения, длившегося три дня и три ночи, его приговорили к смерти на костре.

Аврелиан присутствовал при казни — отказаться означало бы признать себя виновным. Местом казни был холм, на зеленой вершине которого стоял глубоко вкопанный в землю столб, обложенный охапками дров. Чиновник прочитал решение трибунала. Под лучами полуденного солнца Иоанн Паннонский лежал лицом в пыли, издавая звериный вой. Он цеплялся за землю, но палачи схватили его, раздели и наконец привязали к столбу. На голову ему надели пропитанный серой

венки из соломы, к груди привязали экземпляр зло- вредной книжицы «Adversus annulares». Накануне ночью прошел дождь, дрова горели плохо. Иоанн Паннонский молился по-гречески, потом на незнакомом языке. Пламя костра уже обволакивало его, когда Аврелиан решил поднять глаза. Огненные языки на миг замерли — Аврелиан в первый и последний раз увидел лицо ненавистного человека. Оно ему напомнило когото, но он не мог сообразить кого. Потом огонь закрыл все, потом тот кричал, и казалось, будто кричит сам костер.

Плутарх сообщает, что Юлий Цезарь оплакивал гибель Помпея. Аврелиан гибели Иоанна не оплакивал, но почувствовал то, что чувствует человек, исцелившийся от неизлечимой болезни, ставшей частью его жизни. В Аквилее, в Эфесе, в Македонии провел он долгую череду лет. Он устремлялся к неприветливым границам Империи, в глухие болота и отшельнические пустыни, дабы одиночество помогло ему постигнуть его жребий. Как-то в мавританском шатре, среди ночи, гремевшей львиным рыком, он перебирал в уме сложное обвинение, предъявленное Иоанну Паннонскому, и в энный раз соглашался с приговором. Однако оправдать свой лицемерный донос было труднее. В Русаддире он произнес теперь уже неуместную проповедь «Светоч светочей, возженный в плоти отступника». В Гибернии, в келье окруженного лесами монастыря, когда ночь близилась к рассвету, он вдруг услышал шум дождя. Ему вспомнилась римская ночь, в которую он так же внезапно услышал дробный шум капель. В полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что Иоанн.

Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в царстве небесном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан уз-

нал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский (ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва) были одной и той же личностью.

АЛЕФ

O God, I could be bounded in a nutshell
and count myself a King of infinite space¹.

«Гамлет», II, 2

But they will teach us that Eternity is
the Standing still of the Present Time,
a Nunc-stans (as the Schools call it);
which neither they, nor any else understand,
no more than they would a Hic-stans
for an Infinite greatness of Place...²

«Левиафан», IV, 46

В то знойное февральское утро, когда умерла Беатрис Витербо — после величавой агонии, ни на миг не унизившейся до сентиментальности или страха, — я заметил, что на металлических рекламных щитах на площади Конституции появилась новая реклама легких сигарет; мне стало грустно — я понял, что неугомонный, обширный мир уже отделился от нее и что эта перемена лишь первая в бесконечном ряду. Мир будет изменяться, но я не изменюсь, подумал я с меланхолическим тщеславием; я знаю, что моя тщетная преданность порой ее раздражала; теперь, когда она мертва, я могу посвятить себя ее памяти без надежды, но и без унижения. Я вспомнил, что тридцатого апреля день ее рождения; посетить в этот день дом на улице Гарая, чтобы приветствовать ее отца и Карлоса Архентино Даниери, ее кузена, будет вежливо, благовоспитанно и, пожалуй, необходимо. Опять я буду ждать в полутьме ма-

¹ «О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства» (англ.). Перевод М. Лозинского.

² «Но они хотят учить нас, что вечность есть застывшее настоящее, Nunc-stans (застывшее теперь), как называют это школы; и этот термин как для них самих, так и для кого-либо другого не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом Hic-stans (застывшее здесь)» (англ.). Пер. под ред. А. Ческуса.

ленькой заставленной гостиной, опять буду изучать подробности многочисленных ее фотографий. Беатрис Витербо в профиль, цветное фото, Беатрис в маске, на карнавале в 1921 году, Беатрис в день первого причастия, Беатрис в день ее свадьбы с Роберто Александри; Беатрис вскоре после развода, на завтраке в конном клубе; Беатрис в Кильмесе с Делией Сан-Марко Порсель и Карлосом Архентино; Беатрис с пекинесом, подаренным ей Вильегасом Аэдо; Беатрис анфас и в три четверти, улыбающаяся, подпирающая рукою подбородок... Мне уже не придется, как в прежние времена, в оправдание своего присутствия преподносить недорогие книги — книги, страницы которых я в конце концов догадался заранее разрезать, чтобы много месяцев спустя не убеждаться, что никто их не касался.

Беатрис Витербо умерла в 1929 году, и с тех пор я ни разу не пропускал тридцатое апреля, неизменно навещая ее родных. Приходил обычно в четверть восьмого и сидел минут двадцать пять; с каждым годом я являлся чуть позже и засиживался подольше; в 1933 году мне помог ливень — меня пригласили к столу. Я, естественно, не пренебрег этим прецедентом — в 1934 году явился уже после восьми с тортом из Санта-Фе и, само собой, остался ужинать. Так, в эти наполненные меланхолией и тщетным любовным томлением дни годовщин я постепенно выслушивал все более доверительные признания Карлоса Архентино Данери.

Беатрис была высокого роста, хрупкая, чуть-чуть сутулящаяся: в ее походке (если тут уместен оксиморон) была какая-то грациозная неуклюжесть, источник очарования. Карлос Архентино — румяный, тучный, седеющий господин с тонкими чертами лица. Он занимает маленькую должность в захудалой библиотеке на южной окраине города; характер у него властный, но в то же время не деятельный — до самого недавнего времени он вечерами и в праздники был рад не выходить из дому. Пройдя через два поколения, у него сохранились итальянское «с» и чрезмерная итальянская жестикуляция. Ум его находится в постоянном возбуждении, страстном, подвижном и совершенно бестолковом. Вас засыпают никчемными аналогиями и праздными сомне-

ниями. У него (как у Беатрис) красивые, крупные руки с тонкими пальцами. Несколько месяцев он был одержим поэзии Поля Фора — не столько из-за его баллад, сколько из-за идеи о незапятнанной славе. «Он — король французских поэтов, — напыщенно повторял Карлос Архентино. — И не думай его критиковать, самая ядовитая из твоих стрел его даже не заденет».

Тридцатого апреля 1941 года я позволил себе прибавить к тортю бутылку отечественного коньяку. Карлос Архентино отведал его, нашел недурным и после нескольких рюмок повел речь в защиту современного человека.

— Я так и вижу его, — говорил он с не вполне понятной горячностью, — в его кабинете, в этой, я сказал бы, сторожевой башне города, в окружении телефонов, телеграфных аппаратов, фонографов, радиотелефонов, киноаппаратов, проекторов, словарей, расписаний, проспектов, бюллетеней...

И он заявил, что человеку, всем этим оснащенному, незачем путешествовать, — наш XX век, дескать, перевернул притчу о Магомете и горе, ныне все горы сами сходятся к современному Магомету.

Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он все это не напишет. Как и можно было ожидать, он ответил, что уже пишет: эти мысли и другие, не менее оригинальные, изложены в «Начальной Песне», «Вступительной Песне» или попросту «Песне-Прологе» поэмы, над которой он работает много лет, без, знаете ли, рекламы, без оглушительного треска, неизменно опираясь на два посоха, имя коим труд и уединение. Вначале он широко открывает двери воображению, затем шлифует. Поэма называется «Земля», и это, ни много ни мало, описание нашей планеты, в котором, разумеется, нет недостатка и в ярких отступлениях, и в смелых инвективах.

Я попросил его прочитать мне отрывок из поэмы, пусть небольшой. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул объемистую стопку листов со штампом «Библиотека Хуана Крисостомо Лафинура» и самодовольным звучным голосом прочел:

— Подобно греку, я народы зрел и страны,
Труды и дни прошел, изведал грязь и амбру;
Не приукрасив дел, не подменив имен,
Пишу я свой вояж, но... *autour de ma chambre* ¹

— Эта строфа интересна во многих смыслах, — изрек он. — Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста — пусть и не скоро-спелых эрудитов, составляющих, правда, изрядную часть общества; второй — это переход от Гомера к Гесиоду (на фронтоне воздвигаемого здания воздается между строк дань отцу дидактической поэзии), не без попытки обновить прием, ведущий свою генеалогию от Писания — сиречь перечисление, накопление или нагромождение; третий стих — идет он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы? — состоит из двух полустиший-близнецов; четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне — причем без педантизма! — собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков, насыщенных литературой: первая аллюзия на «Одиссею», вторая на «Труды и дни», третья на бессмертную безделку, которою мы обязаны досугам славного савояра... И кому же, как не мне, знать, что современное искусство нуждается в бальзаме смеха, в *scherzo* ². Решительно, тут слово имеет Гольдони!

Он прочел мне многие другие строфы, также получившие его одобрение и снабженные пространными комментариями. Ничего примечательного в них не было, они даже показались мне не намного хуже первой. В его писаниях сочетались прилежание, нетребовательность и случай; достоинства же, которые Данери в них находил, были вторичным продуктом. Я понял, что труд поэта часто обращен не на самую поэзию, но на изобретение доказательств, что его поэзия превосходна; естественно, эта последующая работа представляла тво-

¹ Вокруг собственной комнаты (*фр.*).

² Шутка (*ит.*).

рение иным в его глазах, но не в глазах других. Устная речь Данери была экстравагантной, но его беспомощность в стихосложении помешала ему, кроме считанных случаев, внести эту экстравагантность в поэму¹.

Только раз в жизни мне довелось видеть пятнадцать тысяч одиннадцатисложных стихов «Полиолибiona», топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну, флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии; я убежден, что это творение, грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучно, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Архентино. Этот собирался объять стихами весь шар земной: в 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Концепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвеар на улице Одиннадцатого Сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочитал мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы — в этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу:

Так знайте: от столба рутинного правей
(Он кажет путь тебе, коль путник ты не местный)
Скучает там костяк. — А цвет? — Бело-небесный. —
И вот загон овец — что твой погост, ей-ей!

— Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованием, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдает неминуемый успех. Одна — это эпитет «рутинный», который метко изобличает *en passant*² неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельче-

¹ Вспоминая, однако, сатирические строки, в которых он беспощадно бичует плохих поэтов:

У одного словес ученых пустота,
Другой слепит, гремит мишурными стихами,
Но оба лишь зазря без толку бьют крылами,
Забыли, что важнейший фактор — КРАСОТА!

Лишь опасение породить полчища беспощадных и влиятельных врагов удержало его (говорил он мне) от безоглядной публикации поэмы.

² Мимоходом (*фр.*).

ским трудам, скуку, которую ни «Георгики», ни наш увенчанный лаврами «Дон Сегундо» никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая — это энергичный прозаизм «костяк» — от него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем: мы идем навстречу его живому любопытству, в его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же, мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про «бело-небесный»? Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента австралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны, и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязвленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией.

Я распрощался с ним около полуночи.

Через два воскресенья Данери позвонил мне по телефону — впервые в жизни. Он предложил встретиться в четыре, «попить вместе молочка в соседнем салоне-баре, который прогрессивные дельцы Дзунино и Дзунгри — владельцы моего дома, как ты помнишь, — открывают на углу. Эту кондитерскую тебе будет полезно узнать». Я согласился, больше по неспособности противиться, чем из энтузиазма. Найти столик оказалось нелегко: безупречно современный «салон-бар» был почти так же неуютен, как я предвидел; посетители за соседними столиками возбужденно называли суммы, затраченные на него господами Дзунино и Дзунгри. Карлос Архентино сделал вид, будто поражен какими-то красотоми освещения (которые он, конечно, уже видел раньше), и сказал мне с долей суровости:

— Хочешь не хочешь, тебе придется признать, что это заведение может соперничать с самыми шикарными барами Флореса.

Затем он во второй раз прочитал мне четыре-пять страниц из поэмы. В них были сделаны исправления по ложному принципу украшения: где раньше стояло «голубой», теперь красовались «голубоватый», «лазоревоый», «лазурный». Слово «молочный» было для него

недостаточно звучным — в необузданном описании процесса мойки шерсти он предпочел «млечный», «молочайный», «лактальный»... С горечью выбрал критиков, затем, смягчившись, сравнил их с людьми, «которые не обладают ни драгоценными металлами, ни паровыми прессами, ни прокатными станками, ни серной кислотой для чеканки, но могут указать другим местонахождение какого-либо сокровища». Далее он осудил «прологоманию, которую уже высмеял в остроумном предисловии к „Дон Кихоту“ Князь Талантов». Тем не менее он полагал, что его новое творение должно начинаться с яркого предисловия, такого посвящения в рыцари, подписанного обладателем бойкого, острого пера. Он прибавил, что собирается опубликовать начальные песни своей поэмы. Тут-то я догадался о смысле странного приглашения по телефону: он хочет просить меня, чтобы я написал предисловие к его педантской дребедени! Страх мой оказался напрасным; Карлос Архентино с завистливым восхищением заявил: он-де полагает, что не ошибется, назвав солидным авторитет, завоеванный во всех кругах литератором Альваро Мелианом Лафинуром, который, если я похлопочу, мог бы снабдить поэму увлекательным предисловием. Дабы избежать совершенно непростительной в этом деле неудачи, я должен сослаться на два бесспорных достоинства: совершенство формы и научную точность, «ибо в этом обширном цветнике тропов, фигур и всяческих красот нет ни одной детали, не выверенной тщательнейшим изучением». Он прибавил, что Альваро был постоянным спутником Беатрис во всяких увеселениях.

Я поспешно и многословно согласился. Для пущего правдоподобия сказал, что буду говорить с Альваро не в понедельник, а в четверг на скромном ужине, которым обычно завершаются собрания Клуба писателей. (Ужинов таких не бывает, но то, что собрания происходят по четвергам, этот неоспоримый факт мог быть Карлосом Архентино Данери проверен по газетам и придавал моим речам правдоподобие.) С видом глубокомысленным и понимающим я сказал, что, прежде чем заговорить о предисловии, я намерен изложить

оригинальный план поэмы. Мы простились: сворачивая на улицу Бернардо де Иригойена, я со всей ясностью представил себе две оставшиеся у меня возможности: а) поговорить с Альваро и сказать ему, что известный ему кузен Беатрис (при этом описательном обороте я смогу произнести ее имя) соорудил поэму, которая, кажется, расширила до беспредельного возможности какофонии и хаоса; б) не говорить с Альваро. И я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет б).

В пятницу, с часу дня, меня начал беспокоить телефон. Я возмущался, что этот аппарат, из которого когда-то звучал навек умолкший голос Беатрис, может унизиться, став рупором тщетных и, вероятно, гневных упреков обманутого Карлоса Архентино Данери. К счастью, ничего не произошло — у меня только возникла неизбежная неприязнь к этому человеку, навязавшему мне деликатное поручение, а затем меня забывшему.

Телефон перестал меня терроризировать, но в конце октября Карлос Архентино вдруг опять позвонил. Он был в крайнем волнении, сперва я даже не узнал его голоса. Со скорбью и гневом, запинаясь, он сообщил, что эти распоясавшиеся Дзунино и Дзунгри под предлогом расширения своей уродливой кондитерской собираются снести его дом.

— Дом моих предков, мой дом, почтенный дом, состарившийся на улице Гарая! — повторял он, отвлекаясь, видимо, от горя музыкой слов.

Мне было нетрудно понять и разделить его скорбь. После сорока любая перемена — символ удручающего бега времени; кроме того, речь шла о доме, который был для меня связан бесчисленными нитями с Беатрис. Я хотел было изложить это тонкое обстоятельство, но мой собеседник меня не слушал. Он сказал, что, если Дзунино и Дзунгри будут настаивать на своей абсурдной затее, его адвокат, доктор Дзунни, потребует с них *ipso facto*¹ за потери и убытки и заставит выплатить сто тысяч песо.

Имя Дзунни произвело на меня впечатление — со-

¹ Самим фактом (*лат.*). Здесь: возмещение.

лидная репутация его контор в Касересе и Такуари пошла в поговорку. Я спросил, взялся ли Дзунни вести дело. Данери сказал, что будет с ним об этом говорить нынче вечером. Он немного замаялся, потом голосом ровным, бесцветным, каким мы обычно сообщаем что-то глубоко интимное, сказал, что для окончания поэмы ему необходим этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. Он объяснил, что Алеф — одна из точек пространства, в которой собраны все прочие точки.

— Он находится в подвале под столовой, — продолжал Карлос Архентино, став от горя красноречивым. — Он мой, он мой, я открыл его в детстве, еще до того, как пошел в школу. Лестница в подвал крутая, дядя и тетя запрещали мне спускаться, но кто-то сказал, что в подвале находится целый мир. Как я узнал впоследствии, речь шла о сундуке, но тогда я понял буквально, что там есть целый мир. Тайком я спустился, скатился по запретной лестнице, упал. А когда открыл глаза, то увидел Алеф.

— Алеф? — переспросил я.

— Да. Алеф. Место, в котором, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон. Я никому не рассказал о своем открытии, но пошел в подвал еще и еще. Ребенок, конечно, не понимал, что эта привилегия ему дарована, чтобы, став мужчиной, он создал поэму! Нет, Дзунино и Дзунгри меня не ограбят, тысячу раз нет! Со сводом законов в руках доктор Дзунни докажет, что мой Алеф «неотчуждаем».

Я попытался воззвать к здравому смыслу:

— Но, может быть, в подвале слишком темно?

— Да, нелегко истине проникнуть в сопротивляющийся ум. Но, ведь если в Алефе находятся все места земли, стало быть, там же находятся и все фонари, лампы, все источники света.

— Сейчас же приду посмотреть на него.

Я положил трубку, не дав ему времени возразить. Порой достаточно узнать один факт, и мгновенно видишь ряд подтверждающих обстоятельств, о которых прежде и не подозревал; я удивился, как это я до сих

пор не понимал, что Карлос Архентино сумасшедший. Впрочем, все Витербо... Беатрис (я сам это часто повторяю) была женщиной — а прежде девушкой — прямо-таки беспощадно здравомыслящей, однако на нее находили приступы забывчивости, отчужденности, презрения, даже настоящей жестокости, которые, вероятно, объяснялись какой-то патологией. Безумие Карлоса Архентино наполнило меня злобным удовлетворением — в глубине души мы всегда друг друга ненавидели.

На улице Гарая прислуга попросила меня немного подождать. Барин, как обычно, сидит в подвале, проявляет снимки. Рядом с вазой без цветов на ненужном теперь пианино улыбался (скорее вневременной, чем анахронический) большой портрет Беатрис в неприятно-резких тонах. Нас никто не видел; в порыве нежности я подошел к портрету и сказал:

— Беатрис, Беатрис Элена, Беатрис Элена Витербо, любимая моя Беатрис, навсегда утраченная Беатрис, это я, Борхес.

Вскоре появился Карлос. Говорил со мною сухо, и я понял, что он не способен думать ни о чем ином, кроме того, что теряет Алеф.

— Рюмочку этого псевдоконьяка, — распорядился он, — и можешь нырять в подвал. Помни, надо обязательно находиться в горизонтальном положении, лежать на спине. Также необходимы темнота, неподвижность, время на аккомодацию глаз. Ты ляжешь на каменный пол и будешь смотреть на девятнадцатую ступеньку лестницы. Я поднимусь, закрою крышку, и ты останешься один. Тебя, может быть, испугает какой-нибудь грызун — дело обычное! Через несколько минут ты увидишь Алеф. Микрокосм алхимиков и каббалистов, наш пресловутый давний друг, *multum in parvo*¹. — И уже в столовой, он прибавил: — Разумеется, если ты его не увидишь, твоя неспособность отнюдь не будет опровержением моих данных... Спускайся, очень скоро ты сумеешь побеседовать с Беатрис во всех ее обликах.

Я поспешно сошел по лестнице, меня уже тошнило от его болтовни. Подвал, размером чуть пошире лестницы, больше напоминал колодец. Я напрасно искал

¹ Многое в малом (*лат.*).

глазами сундук, о котором говорил Карлос Архентино. Один из углов загромождали ящики с бутылками и парусиновые мешки. Карлос взял мешок, свернул его и положил на пол, видимо, в определенном месте.

— Подушка незавидная, — пояснил он, — но, если я сделаю ее выше хоть на один сантиметр, ты ни черта не увидишь, только расстроишься и сконфузишься. Ну давай, ложись, хорошенько расслабься и отсчитай двенадцать ступенек.

Я выполнил его странные требования, он наконец ушел и осторожно опустил крышку — темнота, несмотря на узенькую щель, которую я потом заметил, оказалась мне абсолютной. Внезапно мне стана ясна вся опасность моего положения — я разрешил запереть себя в подвале сумасшедшему, после того как выпил яд. В бравадах Карлоса сквозил тайный страх, что я могу не увидеть чуда; чтобы оправдать свой бред, чтобы не услышать, что он сумасшедший, Карлос должен меня убить. Я почувствовал некоторую дурноту и постарался объяснить ее своей неподвижностью, а не действием наркотика. Я закрыл глаза, потом открыл их. И тут я увидел Алеф.

Теперь я подхожу к непересказуемому моменту моего повествования и признаюсь в своем писательском бессилии. Всякий язык представляет собою алфавит символов, употребление которых предполагает некое общее с собеседником прошлое. Но как описать другим Алеф, чья беспредельность непостижима и для моего робкого разума? Мистики в подобных случаях пользуются эмблемами: перс, чтобы обозначить божество, говорит о птице, которая каким-то образом есть все птицы сразу; Аланус де Инсулис — о сфере, центр которой находится всюду, а окружность нигде; Иезекииль — об ангеле с четырьмя лицами, который одновременно обращается к Востоку и Западу, к Северу и Югу. (Я не зря привожу эти малопонятные аналогии, они имеют некоторое отношение к Алефу.) Быть может, боги не откажут мне в милости, и я когда-нибудь найду равноценный образ, но до тех пор в моем сообщении неизбежен налет литературщины, фальши. Кроме того, неразрешима главная проблема: перечисление, пусть неполное, бесконечного множества. В грандиозный этот миг я увидел миллионы явлений — радующих глаз и

ужасающих, — ни одно из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. То, что видели мои глаза, совершалось одновременно, но в моем описании предстанет в последовательности — таков закон языка. Кое-что я все же назову.

На нижней поверхности ступеньки, с правой стороны, я увидел маленький, радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключенными в нем поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нем все пространство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет (например, стеклянное зеркало) был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной. Я видел густо населенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт (это был Лондон), видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало, видел все зеркала нашей планеты, и ни одно из них не отражало меня, видел в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, какие видел тридцать лет тому назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, видел лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, видел выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, видел в Инвернесе женщину, которую никогда не забуду, видел ее пышные волосы, гордое тело, видел рак на груди, видел круг сухой земли на тротуаре, где прежде было дерево, видел загородный дом в Адроге, экземпляр первого английского перевода Плиния, сделанного Файлмоном Голландом, видел одновременно каждую букву на каждой странице (мальчиком я удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются ночью и не теряются), видел ночь и тут же день, видел закат в Керетаро, в котором словно бы отражался цвет одной бенгальской розы, видел мою пустую спальню, видел в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими, видел лошадей с развевающимися гри-

вами на берегу Каспийского моря на заре, видел изящный костяк ладони, видел уцелевших после битвы, посылавших открытки, видел в витрине Мирсапура испанскую колоду карт, видел косые тени папоротников в зимнем саду, видел тигров, тромбы, бизонов, морские бури и армии, видел всех муравьев, сколько их есть на земле, видел персидскую астролябию, видел в ящике письменного стола (от почерка меня бросило в дрожь) непристойные, немислимые, убийственно точные письма Беатрис, адресованные Карлосу Архентино, видел священный памятник в Чакарите, видел жуткие останки того, что было упоительной Беатрис Витербо, видел циркуляцию моей темной крови, видел слияние в любви и изменения, причиняемые смертью, видел Алеф, видел со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять Алеф, и в Алефе земной шар, видел свое лицо и свои внутренности, видел твое лицо; потом у меня закружилась голова, и я заплакал, потому что глаза мои увидели это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел: непостижимую вселенную.

Я почувствовал бесконечное преклонение, бесконечную жалость.

— Да ты совсем обалдеешь, если будешь так долго совать свой нос, куда не просят, — сказал ненавистный жизнерадостный голос. — Сколько ни ломай голову, тебе вовек не отплатить мне за такое чудо. Потрясающая обсерватория, ты согласен, Борхес?

Ботинки Карлоса Архентино стояли на самой верхней ступеньке. Внезапно стало чуть светлее, я с трудом поднялся и пробормотал:

— Да-да, потрясающая, потрясающая.

Безразличное звучание моего голоса удивило меня. Карлос Архентино с тревогой допытывался:

— Ты хорошо все видел? В цвете?

В единый миг я составил план мести. Добродушно, с неприкрытой жалостью, как бы нервничая и уклоняясь, я поблагодарил Карлоса Архентино за приют в его подвале и настойчиво посоветовал воспользоваться сном дома, чтобы покинуть вредный воздух столицы, который никого — поверьте, никого! — не щадит. Мягко, но непреклонно я отказался говорить об Алефе, обнял Карлоса Архентино на прощанье и повторил, что сель-

ская жизнь и покой — это два замечательных врача.

На улице, на лестнице Конституции, в метро все лица казались мне знакомыми. Я испугался, что ни одно меня больше не удивит, испугался, что меня никогда не оставит чувство, что все это я уже видел. К счастью, после нескольких ночей бессонницы, забвение снова меня одолело.

Постскриптум первого марта 1943 года. Через полгода после того, как снесли дом на улице Гарая, издательство «Прокруст», не убоившись длины грандиозной поэмы, выпустило в продажу подборку «аргентинских фрагментов». Что было дальше, излишне говорить: Карлос Архентино Данери получил вторую Национальную премию по литературе¹. Первую дали доктору Аите; третью — доктору Марио Бонфанти; трудно поверить, но мое произведение «Карты шулера» не получило ни одного голоса. Еще раз победили тупость и зависть! Мне давно не удастся повидать Данери, газеты оповещают, что вскоре он нас одарит еще одной книгой. Его удачливое перо (которому теперь уже не мешает Алеф) принялось за стихотворное переложение творений доктора Асеведо Диаса.

Я хотел бы еще сделать два замечания: одно касающееся сущности Алефа, другое — его названия. Что до последнего, то, как известно, это название первой буквы в алфавите священного языка. Применение его к шарикуну в моей истории, по-видимому, не случайно. В каббале эта буква обозначает Эн-соф — безграничную, чистую божественность; говорится также, что она имеет очертания человека, указывающего на небо и на землю и тем свидетельствующего, что нижний мир есть зеркало и карта мира горнего; в *Mengenlehre*² Алеф — символ трансфинитных множеств, где целое не больше, чем какая-либо из частей. Хотелось бы мне знать, подобрал ли Карлос Архентино это название сам или же вычитал его как *наименование какой-то другой точки*,

¹ «Я получил Ваше вымученное поздравление, — писал он мне. — Жалкий мой друг, Вы лопаетесь от зависти, но Вы должны признать — хоть убейтесь! — что на сей раз я сумел украсить свой берет самым ярким пером и свой тюрбан — халифом всех рубинов».

² Теория множеств (нем.).

где сходятся все точки, в одном из бесчисленных текстов, открывшихся ему благодаря его домашнему Алефу. Как ни покажется невероятным, я полагаю, что существует (или существовал) другой Алеф и что Алеф на улице Гарая — это фальшивый Алеф.

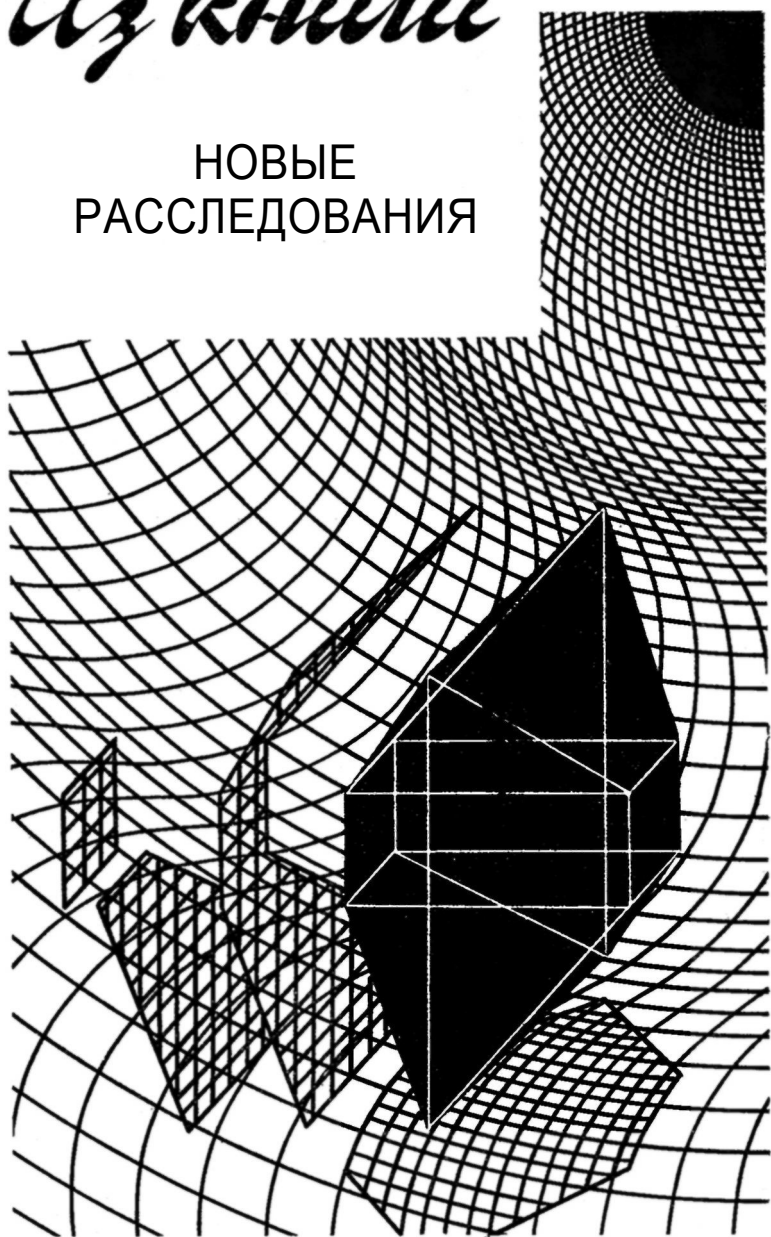
Приведу мои доводы. Капитан Бертон исполнял до 1867 года обязанности британского консула в Бразилии; в июле 1942 года Педро Энрикес Уренья обнаружил в библиотеке города Сантуса его рукопись, трактующую о зеркале, владельцем которого Восток называет Искандера Зу-л-Карнайна, или Александра Двурогого Македонского. В зеркале этом отражалась вся вселенная. Бертон упоминает о родственных диковинах — о семикратном зеркале Кай Хусроу, которое Тарик ибн-Зияд обнаружил в захваченном дворце («1001 ночь», 273), о зеркале, которое Лукиан из Самосаты видел на Луне («Правдивая история», I, 26), о волшебном копье Юпитера, о котором говорится в первой книге «Сатирикона» Капеллы, об универсальном зеркале Мерлина, «круглом, вогнутом и похожем на целый стеклянный мир» («Королева фей», III, 2, 19), — и прибавляет следующие любопытные слова: «Однако все перечисленные зеркала (к тому же не существовавшие) — это всего лишь оптические приборы. А правоверным, посещающим мечеть Амра в Каире, доподлинно известно, что вселенная находится внутри одной из колонн, окаймляющих центральный двор мечети... Разумеется, видеть ее не дано никому, но те, кто прикладывают ухо к колонне, говорят, что вскоре начинают слышать смутный гул движения вселенной... Мечеть сооружена в VII веке, но колонны эти были взяты из других храмов доисламских религий, как пишет о том Ибн-Хальдун: «Государства, основанные кочевниками, нуждаются в притоке чужестранцев для всевозможных строительных работ».

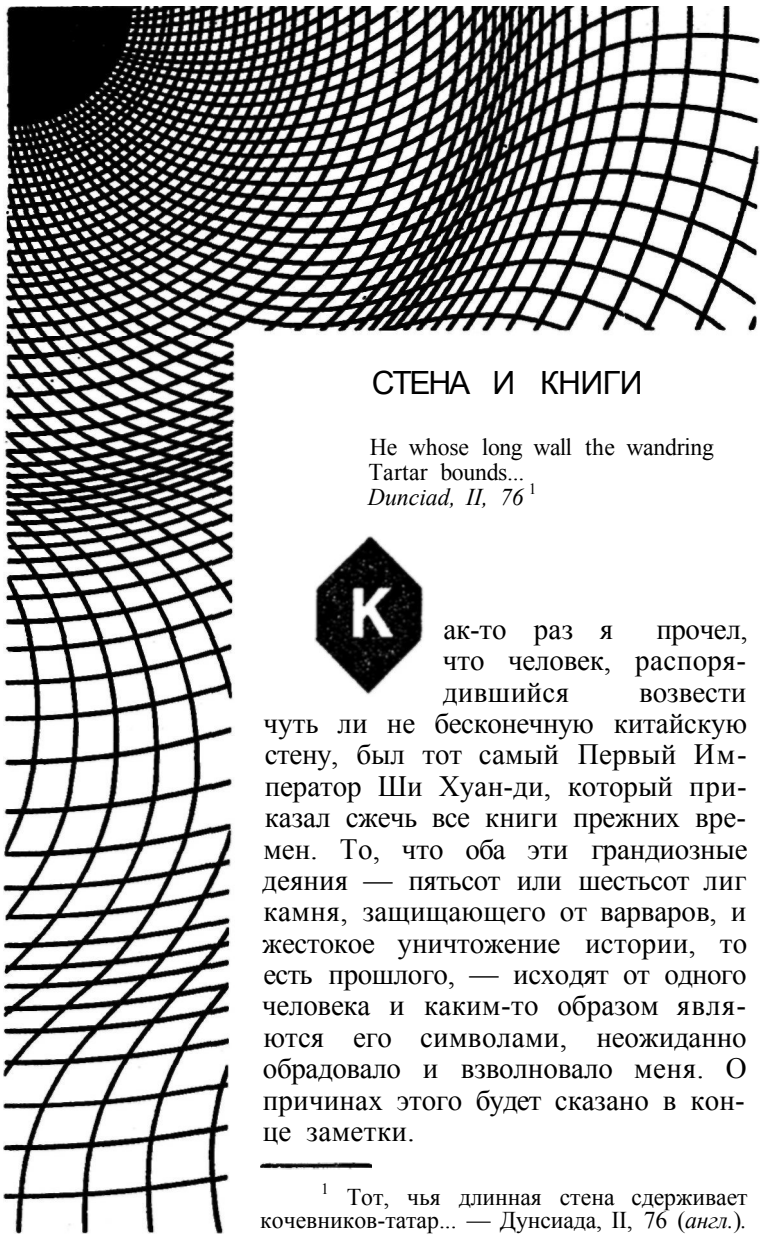
Существует ли этот Алеф внутри камня? Видел ли я его, когда видел все — а потом забыл? Память наша подтачивается забвением — я сам, под действием роковой этой эрозии, с годами все больше искажаю и утрачиваю черты Беатрис.

Эстеле Канто

Из книги

НОВЫЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ





СТЕНА И КНИГИ

He whose long wall the wandering
Tartar bounds...
*Dunciad, II, 76*¹



Как-то раз я прочел, что человек, распорядившийся возвести чуть ли не бесконечную китайскую стену, был тот самый Первый Император Ши Хуан-ди, который приказал сжечь все книги прежних времен. То, что оба эти грандиозные деяния — пятьсот или шестьсот лиг камня, защищающего от варваров, и жестокое уничтожение истории, то есть прошлого, — исходят от одного человека и каким-то образом являются его символами, неожиданно обрадовало и взволновало меня. О причинах этого будет сказано в конце заметки.

¹ Тот, чья длинная стена сдерживает кочевников-татар... — Дунсиада, II, 76 (англ.).

С точки зрения истории в этих мерах нет ничего таинственного. Современник войн Ганнибала, Ши Хуан-ди, император династии Цинь, завоевал шесть царств и уничтожил феодальную систему; возвел стену, потому что стены служат защитой; сжег книги, потому что к ним обращались его противники, чтобы восхвалять правителей древности. Сжигать книги и воздвигать укрепления — общий удел правителей, необычен лишь размах Ши Хуан-ди. Ряд синологов именно так и считает, но мне чудится в событиях, о которых идет речь, нечто большее, чем гиперболизация заурядных распоряжений. Привычно огородить сад или цветник, но не империю. И глупо было бы утверждать, что самое обычное для народа — отречься от памяти о прошлом, мифическом или истинном. К тому времени, как Ши Хуан-ди повелел начать историю с него, история китайцев насчитывала три тысячи лет (и в эти годы жили Желтый император и Чжуан-цзы, Лао-цзы и Конфуций).

Ши Хуан-ди изгнал свою мать за распутство, в этом суровом приговоре ортодоксы видят только жестокость; Ши Хуан-ди, возможно, стремился уничтожить все прошлое, чтобы избавиться от одного воспоминания — о позоре своей матери. (Не так ли один царь в Иудее приказал перебить всех младенцев, чтобы умертвить одного.) Эта догадка заслуживает внимания, но ничего не говорит о стене, другой стороне мифа. Ши Хуан-ди, по описаниям историков, запретил упоминать о смерти, он искал эликсир бессмертия и уединился во дворце, где было столько комнат, сколько дней в году. Эти сообщения наводят на мысль, что стена в пространстве, а костер во времени были магическими барьерами, чтобы задержать смерть. Все вещи хотят продлить свое существование, писал Барух Спиноза, возможно, Император и его маги полагали, что бессмертие изначально и что в замкнутый мир тлению не проникнуть. Возможно, Император хотел воссоздать начало времени и назвал себя Первым, чтобы в самом деле быть первым, и назвал себя Хуан-ди, чтобы каким-то образом стать Хуан-ди, легендарным императором, изобретшим письменность и компас. Он, согласно

«Книге ритуалов», дал вещам их истинные имена; и Ши Хуан-ди, как свидетельствуют записи, хвастался, что в его царствование все вещи носят названия, которые им подобают. Он мечтал основать бессмертную династию; он отдал приказание, чтобы его наследники именовали себя Вторым Императором, Третьим Императором, Четвертым Императором и так до бесконечности.

Я говорю о цели магической, и мне кажется, что сооружение стены и сожжение книг не были одновременными действиями. Это (в зависимости от последовательности, которую мы предпочтем) даст нам образ правителя, начавшего с разрушения, от которого он затем отказался, чтобы оберегать, или разочарованного правителя, разрушающего то, что прежде берег. Обе догадки полны драматизма, но, насколько мне известно, лишены исторической основы. Герберт Аллан Джайлс сообщает, что прятавших книги клеймили раскаленным железом и приговаривали строить нескончаемую стену — вплоть до самой смерти. Эти сведения допускают и другое толкование, которому можно отдать предпочтение. Быть может, стена была метафорой; быть может, Ши Хуан-ди обрекал тех, кто любит прошлое, на труд, столь же огромный, как прошлое, столь же бессмысленный и бесполезный. Быть может, стена была вызовом, и Ши Хуан-ди думал: «Люди любят прошлое, и с этой любовью ничего не поделать ни мне, ни моим палачам, но когда-нибудь появится человек, который чувствует, как я, и он уничтожит мою стену, как я уничтожил книги, и он сотрет память обо мне, станет моею тенью и моим отражением, не подозревая об этом». Быть может, Ши Хуан-ди окружил стеной империю, осознав ее непрочность, и уничтожил книги, поняв, что они священны или содержат то, что заключено во всей вселенной и в сознании каждого человека. Быть может, сожжение библиотек и возведение стены — действия, таинственным образом уничтожающие друг друга.

Несокрушимая стена, сейчас и всегда бросающая свой узор теней на земли, которые мне никогда не увидеть, сама — тень Императора, приказавшего почти-тельнейшему из народов сжечь свое прошлое; быть мо-

жет, заинтересовавшая нас мысль далека от вероятных догадок (возможно, это противопоставление созидания и разрушения в огромном масштабе). Обобщая этот случай, мы можем сделать вывод, что все формы обладают смыслом сами по себе, а не в предполагаемом «содержании». Это схоже с мыслью Бенедетто Кроче, а Патер уже в 1877 году утверждал, что каждое искусство стремится быть музыкой, которая не что иное, как форма.

Музыка, ощущение счастья, мифология, лица, на которых время оставило след, порой — сумерки или пейзажи хотят нам сказать или говорят нечто, что мы не должны потерять; они затем и существуют; эта близость откровения, возможно, представляет собой явление эстетическое.

СОЛОВЕЙ ДЖОНА КИТСА

Тот, кто перечитывает английскую лирику, не пройдет мимо «Оды соловью» чахоточного, нищего и, вероятно, несчастного в любви Джона Китса, сочиненной им, двадцатитрехлетним юношей, в хэмпстедском саду одной из апрельских ночей 1819 года. В пригородном саду Китс слышит вечного соловья Овидия и Шекспира, чувствует свою обреченность и противопоставляет ей нежную и неподвластную гибели трель незримой птицы. Китс как-то писал, что стихи должны появляться у поэта сами собой, как листья на дереве; всего за два-три часа он создал эту страницу неисчерпаемой и неотступной красоты, к которой позже почти не прикасался; достоинство ее неоспоримо, чего не скажешь о толковании. Узел проблем — предпоследняя строфа. Человек, нечаянный и краткий гость, обращается к птице, «которую не втопчут в прах алчные поколения» и чей сегодняшний голос слышала давним вечером в полях Израиля моавитянка Руфь.

В своей опубликованной в 1887 году монографии о Китсе Сидни Колвин, корреспондент и друг Стивенсона, обнаруживает (или выдумывает) в этой строфе зацепку, которую и подвергает разбору. Приведу его не лишенный любопытства вывод: «Греша против логики, а на мой взгляд и теряя в поэзии, Китс противопостав-

ляет здесь скоротечной жизни человека, под которым понимает индивида, нескончаемую жизнь птицы, то есть рода». Бриджес в 1895 году повторяет это обвинение; Ф. Р. Ливис в 1936-м поддерживает его, снабдив сноской: «Ошибочность подобного представления, естественно, искупается силой вызванного им поэтического чувства». В первой строфе Китс называет соловья «дриадой»; этого достаточно, чтобы еще один критик, Гэррод, всерьез сославшись на приведенный эпитет, заявил, будто в строфе седьмой птица именуется бессмертной, поскольку перед нами дриада, лесное божество. Ближе к истине Эми Лоуэлл: «Если у читателя есть хоть капля воображения или поэтического чувства, он без труда поймет, что Китс говорит не о поющем в этот миг соловье, а о соловьином роде».

Я привел пять суждений пяти прежних и нынешних критиков; по-моему, меньше других заблуждается североамериканка Эми Лоуэлл, но я бы не стал вслед за ней противопоставлять мимолетную птицу этой ночи соловьиному роду. Ключ, точный ключ к нашей строфе таится, подозреваю, в одном метафизическом параграфе Шопенгауэра, этой строфы не читавшего.

«Ода соловью» датируется 1819 годом, а в 1844-м вышел в свет второй том труда «Мир как воля и представление». В его 41-й главе читаем: «Спросим себя со всей возможной прямоотой: разве ласточка, прилетевшая к нам этим летом, не та же самая, что кружила еще на заре мира, и разве за это время чудо сотворения из ничего на самом деле повторялось миллионы раз, чтобы всем на потеху столь же многократно кануть в абсолютное ничто? Пусть меня сочтут безумным, если я стану уверять, будто играющий передо мной котенок — тот же самый, что скакал и лазал здесь триста лет назад, но разве не пущее безумие считать его совершенно другим?» Иначе говоря, индивид есть в известном смысле род, а потому соловей Китса — это и соловей Руфи.

Китс мог без малейшей обиды писать: «Я ничего не знаю, поскольку ничего не читал», — но по странице школьного словаря он угадал дух Греции; вот свидетельство этой догадки (или перевоплощения): в неразличимом соловье одной ночи он почувствовал платоновского соловья идей. Китс, скорее всего неспособный

объяснить слово «архетип», за четверть века предвосхитил тезис Шопенгауэра.

Разобравшись с одной проблемой, пора разобраться и с другой, совсем иного рода. Почему к нашему лежащему на поверхности толкованию не пришли Гэррод, Ливис и остальные? Ведь Ливис преподавал в одном из колледжей Кэмбриджа — города, который дал приют и само имя Cambridge platonists¹; Бриджес написал в платоновском духе стихотворение «The fourth dimension»². Кажется, простое перечисление этих фактов³ еще больше затрудняет разгадку. Если не ошибаюсь, дело здесь в некоторых особенностях британского ума.

Колридж как-то заметил, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона. Для последних виды, роды и классы — реальность, для первых — мысленное обобщение; для первых язык — зыбкая игра символов, для вторых — карта мироздания. Последователь Платона видит в мире некий космос, порядок, а для приверженца Аристотеля порядок этот вполне может быть ошибкой или выдумкой нашего всегда одностороннего ума. Два этих противника шагают через широты и столетия, меняя языки и имена; с одной стороны, Парменид, Платон, Спиноза, Кант, Фрэнсис Брэдли; с другой — Гераклит, Аристотель, Локк, Юм, Уильям Джемс. В кропотливых школах средневековья все зывали к наставнику человеческого разума Аристотелю (Convivio, IV, 2), однако номиналисты действительно шли за Аристотелем, тогда как реалисты следовали Платону. Английский номинализм XIV века ожил в педантичном английском номинализме века восемнадцатого, и экономная формула Оккама «*entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*»⁴ уже предполагает (или предсказывает) столь же категорич-

¹ Кембриджские платоники (*англ.*).

² «Четвертое измерение» (*англ.*).

³ Добавлю к ним пример из замечательного поэта Уильяма Батлера Йитса, в первой строфе своего «Sailing to Byzantium» («Плавание в Византию») говорящего об «ушедших поколеньях» птиц, обдуманно или невольно отсылая этим к «Оде». — См.: T. R. Henn. The lonely tower. 1950. P. 211.

⁴ «Без необходимости не умножать сущностей» (*лат.*).

ное «esse est percipi»¹. Все мы, говорил Колридж, рождаемся последователями либо Аристотеля, либо Платона; об английском уме можно сказать, что он из Аристотелева потомства. Для него реальные не отвлеченные понятия, но только индивиды, не соловей как род, а лишь этот конкретный соловей. Естественно (и даже неизбежно), что в Англии «Оду соловью» попросту не поняли.

В моих словах нет ни упрёка, ни пренебрежения. Англичанин отвергает родовое, поскольку чувствует: несокрушимо, неподражаемо и своеобразно только индивидуальное. От немецких абстракций его спасает моральная щепетильность, а вовсе не отсутствие умозрительных способностей. Он не понимает «Оды соловью», и это великое непонимание дает ему силы быть Локком, Беркли или Юмом и в свои семьдесят создавать так никем и не услышанные предостережения «Индивида против государства».

Все языки мира дарят соловью певучие имена (nightingale, nachtigall, usignolo), словно мы инстинктивно стараемся не уронить достоинства его волшебных песен. Он столько восхищал поэтов, что стал почти нереальным и ближе ангелу, чем жаворонку. Начиная с саксонских загадок из Эксетерской книги («Я — древний певец, под вечер несущий радость в дома доблестных») и до трагической «Аталанты» Суинберна в английской поэзии не умолкает бессмертный соловей. Его славят Чосер и Шекспир, Мильтон и Мэтью Арнолд, но для нас его образ навсегда связан с Джоном Китсом, как образ тигра — с Уильямом Блейком.

ВАЛЕРИ КАК СИМВОЛ

Сближать Уитмена с Полем Валери — занятие, на первый взгляд, странное и (что гораздо хуже) бесперспективное. Валери — символ беспредельного мастерства и вместе с тем — беспредельной неудовлетворенности; Уитмен — почти неуместного, но титанического дара

¹ «Быть значит быть воспринятым» (лат.).

быть счастливым; Валери — замечательное воплощение лабиринтов духа, Уитмен — нечленораздельных восклицаний тела. Валери — символ Европы и ее мягкого заката, Уитмен — зари, встающей над Америкой. Во всем мире литературы, пожалуй, не найти двух до такой степени непримиримых фигур, олицетворяющих поэзию; и все же общая точка у них есть: сами их стихи значат для нас куда меньше, чем отчеканенный в них образец поэта, этими стихами порожденного. И английский поэт Лэселз Эберкромби по заслугам славит Уитмена за то, что он «создал из сокровищ собственного бесценного опыта живой и неповторимый образ, ставший одним из немногих истинных достижений современной поэзии». Похвала несколько туманная и преувеличенная, но одно верно: не надо путать пробавляющегося словесностью поклонника Теннисона с полубожественным героем «Leaves of grass»¹. Различие принципиальное: Уитмен создавал свои рапсодии от имени воображаемого существа, лишь частью которого был сам, прочее составляли читатели. Отсюда — столь раздражающие критиков расхождения, отсюда — привычка помечать стихи названиями мест, где никогда не бывал, отсюда же — появление на свет, по одному свидетельству, в каком-то из южных штатов, а по другому (и на самом деле) — в Лонг-Айленде.

Один из движителей уитменовского творчества — жажда запечатлеть возможности человека, Уолта Уитмена, быть беспредельно и безоблачно счастливым; образ человека, запечатленного в сочинениях Валери, столь же преувеличен и призрачен. В отличие от Уитмена, он не славит способностей человека к бескорыстию, самозабвению и счастью — он славит способности его разума. Валери создал Эдмона Тэста — героя, который стал бы одним из подлинных мифов нашего века, не считая мы его в душе простым Doppelgänger² автора. Для нас Валери — это Эдмон Тэст. Иными словами, нечто среднее между шевалье Дюпенем Эдгара Аллана

¹ «Листья травы» (англ.).

² Двойником (нем.).

По и непостижимым Богом теологов. На самом деле, это не совсем так.

Стихов, врезающихся в память, у Йитса, Рильке и Элиота больше, чем у Валери; Джойс и Стефан Георге сумели глубже преобразить свой инструмент (Может быть, французский вообще не настолько пластичен, как английский и немецкий); но ни у одного из этих прославленных мастеров за стихами не стоит личность такого масштаба, как у Валери. То, что личность эта в известной мере создана литературой, не умаляет факта. Нести людям ясность в эпоху, опустившуюся до самого низкопробного романтизма, в жалкую эпоху торжества нацистов и диалектического материализма, авгуров секты Фрейда и торговцев из лавочки под названием *surrealisme*¹, — достойная уважения миссия, которую исполнял (и продолжает исполнять) Валери.

Уйдя от нас, Поль Валери останется символом человека, бесконечно внимательного к любым мелочам и способного во всякой мелочи разглядеть звено беспредельной цепи размышлений; человека, преодолевшего ограниченные рамки отдельной личности, так что мы можем сказать о нем словами Уильяма Хэзлитта о Шекспире: «He is nothing in himself»²; человека, чьи произведения не исчерпали (и даже не запечатлели) всех его безмерных возможностей, — человека, который во времена пресмыкательства перед мутными идолами крови, почвы и страсти всегда предпочитал ясные радости мысли и тайные перипетии порядка.

ЗЕРКАЛО ЗАГАДОК

Представление, что в Священное Писание заложен (помимо буквального) некий символический смысл, не столь уж абсурдно и имеет давнюю историю: его высказывали Филон Александрийский, каббалисты, Сведенборг. Коль скоро истинность изложенных в Писании событий неоспорима (Бог — это истина; истина не

¹ Сюрреализм (*фр.*).

² «Сам по себе он был ничто» (*англ.*).

лжет и т. д.), мы вынуждены признать, что люди, совершая их, помимо своей воли участвуют в пьесе, написанной заранее, в тайне и предназначенной для них Богом. Отсюда до предположения, что история мироздания — а стало быть, и наши жизни, вплоть до мельчайших подробностей наших жизней — проникнута неким абсолютным, символическим смыслом, путь не столь уж длинный. Пройти его суждено было многим, но выделяется среди всех Леон Блуа. (В пронизательных «Фрагментах» Новалиса и в томе «The London Adventure»¹ «Автобиографии» Мэчена выдвинута схожая гипотеза, согласно которой внешний мир — формы, погода, луна — не что иное, как язык, который люди забыли или с трудом разгадывают. Ее высказывает и Де Куинси: «Даже бессвязные звуки бытия представляют собой некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших».)

Один стих Первого послания к Коринфянам Святого Апостола Павла (13:12) привлек особое внимание Леона Блуа: «Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum». Торрес Амаг переводит это весьма посредственно: «Пока мы видим *Господа* как бы в зеркале, расплывчатым отражением; потом же увидим *его* лицом к лицу. Покуда знание мое о нем несовершенно, а тогда познание мое о нем предстанет во *всей ясности*, подобно тому, как я сам познан». Сорок четыре слова выступают за двадцать два; трудно быть более многословным и беспомощным. Более точен Сиприано де Валера: «Сейчас мы видим сквозь зеркало, неотчетливо, а тогда увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти; а тогда познаю, подобно тому как я познан». Торрес Амаг полагает, что стих раскрывает наше видение природы Бога; Сиприано де Валера (и Леон Блуа) усматривают в нем раскрытие природы нашего видения как такового.

¹ «Лондонские приключения» (англ.).

Насколько мне известно, Блуа не придал своим суждениям законченный вид. В его обширном фрагментарном наследии (в котором, как всем известно, преобладают жалобы и обиды) мы обнаруживаем различные частные толкования. Вот некоторые из них, обнаруженные мной на броских страницах «Le mendiant ingrat», «Le Vieux de la Montagne» и «L'invendable»¹. Не уверен, что мне удалось выяснить все: надеюсь, что специалист по творчеству Леона Блуа (каковым я не являюсь) меня дополнит и подправит.

Первое толкование датируется июнем 1894 года. Вот его перевод: «Изречение Святого Павла: „Videmus nunc per speculum in aenigmate“ приоткрывает завесу над сущей Бездной — душой человека. Пугающая неисчислимость бездн, таящихся в тверди небесной, иллюзорна, ибо она — всего лишь отражение бездн нашего внутреннего мира, видимое в „зеркале“. Нам следует обратить взор свой внутрь и произвести сложнейшие астрономические расчеты в беспредельности наших сердец, ради которых Господь пошел на смерть... Мы видим Млечный Путь только потому, что он воистину существует в нашей душе».

Второе относится к ноябрю того же года. «Мне вспомнилась одна моя давняя мысль. Царь является правителем и духовным отцом ста пятидесяти миллионов людей. Однако лежащая на нем безмерная ответственность мнима. В сущности перед Богом он отвечает за весьма малое число своих ближних. Если во времена его правления бедняки в его империи были угнетены, если его правление принесло неисчислимые бедствия, кто знает, не был ли истинным и единственным их виновником слуга, чистивший его обувь? А проникни наш взгляд в сокровенные Глубины, кто оказался бы там царем, кто королем, а кто кичился бы тем, что он простой слуга?»

Третье я обнаружил в письме, написанном в декабре: «Все — лишь символ, даже самая жгучая скорбь. Все мы подобны тем спящим, которые кричат во сне. И

¹ «Неблагодарный нищий», «Горный старец», «Неподкупный» (фр.).

нам не ведомо, не ведет ли причина наших огорчений к той радости, что нас ждет. Согласно Святому Павлу, сейчас мы видим «*per speculum in aenigmate*», то есть «гадательно, сквозь стекло», и будем видеть так до пришествия Того, Который весь пламень огненный и Который должен обучить нас всему на свете».

Четвертое датировано маем 1904 года: «*Per speculum in aenigmate*», — сказал Святой Павел. Все, что мы видим, мы видим перевернутым. Желая дать, мы обретаем и т. д. А значит (как поведала мне одна возлюбленная страждущая душа), мы пребываем на небе, а Бог претерпевает мучения на земле».

Пятое датируется маем 1908 года: «Сколь ужасны мысли Жанны относительно «*per speculum*». Радости этого мира могут оказаться адскими муками, увиденными в зеркале, перевернутыми».

Шестое датируется 1912 годом. Им проникнута каждая страница книги «*L'Amé de Napoleon*»¹, цель которой — разгадать, что за символ являл собой *Наполеон*, рассматриваемый как предтеча другого героя — также человека-символа, — который еще грядет. Достаточно привести два фрагмента. Первый: «Любой из нас живет на земле, дабы служить неким неведомым ему самому символом и дабы воплотиться в песчинку или гору, в том незримом сырье, которое пойдет на строительство Града Божьего». Другой: «Нет на земле человека, который мог бы с уверенностью сказать, кто он. Никто не знает, для чего он пришел в этот мир, с чем соотнести свои поступки, свои чувства, свои мысли, не знает даже своего истинного имени, своего бессмертного Имени в пронизанных Светом списках... История — это нескончаемый литургический текст, в котором йоты и точки не менее значимы, чем стихи или же целые главы, однако смысл тех и других никому не ведом и глубоко сокрыт».

Читатель вправе думать, что Блуа в приведенных высказываниях всего лишь хотел ему польстить. Насколько мне известно, он и не помышлял об их доказательности. Между тем, на мой взгляд, они достаточно

¹ «*Душа Наполеона*» (фр.).

убедительны и, пожалуй, даже органичны для христианских воззрений. Блуа — повторяю — всего лишь применил к Мирозданию как таковому метод, который каббалисты-евреи применяли для толкования Писания. Последние полагали, что книга, внушенная Духом Святым, являет собой совершенный текст, иными словами, текст, в котором элемент случайности практически равен нулю. Уверившись для начала в том, что случай не властен над посланной нам свыше книгой, тайный смысл которой нам недоступен, они с неизбежностью стали переставлять местами слова Писания, подставлять числовое значение букв, придавать значение их форме, учитывать, заглавные они или строчные, выискивать акrostихи и анаграммы, а также впадать в иные экзегетические ухищрения, которые трудно принимать всерьез. В основе этих взглядов лежит убеждение в том, что творение высшего разума чуждо случайности¹. Леон Блуа усматривает этот иероглифический характер — характер божественного Писания, криптографии ангелов — в каждом мгновении и в каждом создании. Человек считает, что он постиг это Писание жизни: в тринадцати сотрапезниках ему видится символ смерти; в желтом опале — символ грозящей беды...

Сомнительно, чтобы наш мир был воплощением некоего смысла; тем более сомнительно, заметит скептик, чтобы в него был заложен двойной или тройной смысл. Я полагаю, что так оно и есть. Но я полагаю также, что иероглифический мир, выпестованный Блуа, наиболее соответствует рациональному Богу теологов.

Ни один человек не знает, кто он на самом деле, утверждал Леон Блуа. Никто лучше его самого не иллюстрирует эту сокровенную слепоту. Он считал себя ревностным католиком, будучи последователем каббалистов, тайным братом Сведенборга и Блейка — ересиархов.

¹ «Что есть высший разум?» — вправе спросить читатель. У любого теолога готов ответ на этот вопрос; я ограничусь примером. Следы, которые человек оставляет во времени, от дня своего рождения до смерти, складываются в некий непостижимый рисунок. Божественный разум столь же отчетливо видит этот рисунок, как мы — фигуру треугольника. Этому рисунку (быть может) уготована некая роль в гармонии мироздания.

ОТ НЕКТО К НИКТО

В начале Бог был Боги (Элоим) — множественное число. Одни называют его множественным величия, другие — множественным полноты. Полагают, что это отголосок былого многобожия или предвестие учения, родившегося в Никее и провозглашающего, что Бог Един в трех лицах. Элоим требует глагола в единственном числе. Первый стих Библии говорит буквально следующее: «В начале Боги создал небо и землю». Несмотря на некоторую неопределенность множественного числа, Элоим конкретен. Он именуется Богом Иеговой, и о нем можно прочесть, что Он гулял по саду на свежем воздухе, и, как сказано в английском изводе, *in the cool of the day*¹. У него человеческие черты. В одном месте Писания говорится: «Раскаялся Иегова, что сотворил человека, и омрачилось его сердце», а в другом месте: «потому что Я, твой Бог Иегова, ревнитель», и еще в одном: «И говорил Я, воспламенившись». Субъектом таких высказываний, несомненно, является некто телесный, фигура, на протяжении веков неимоверно укрупнявшаяся, постепенно утрачивавшая определенность. Его называют по-разному: Сила Иаковлева, Камень Израиля, Я Суший, Бог брани, Царь Царей. Последнее имя, возникшее как противопоставление Рабу Рабов Господних Григория Великого, в исходном тексте имеет смысл превосходной степени от царя. «Еврейскому языку свойственно, — говорит фрай Луис де Леон, — так удваивать слова при желании воздать кому-нибудь хвалой или хулой. Поэтому сказать Песнь Песней это все равно как у нас в Кастилии сказать «из песен песня» или «муж из мужей», что значит «особенный, отличный, достославный». В первые века нашей эры богословы вводят в обиход приставку *omni*, ранее использовавшуюся при описаниях природы и Юпитера. Появляется множество слов: всемогущий, всеведущий, вседержащий, которые превращают именование Господа в почтительное, но хаотическое нагромождение немислимых превосходных степеней. Такого рода именован-

¹ В прохладе дня (*англ.*).

ния, как, впрочем, и другие, в известной мере ограничивают божественность: в конце V века неизвестный автор «Corpus Dionysiacum» заявляет, что ни один предикат к Богу не приложим. О Нем ничего нельзя утверждать, но все можно отрицать. Шопенгауэр сухо замечает: «Это богословие — единственно верное, но у него нет содержания». Написанные по-гречески трактаты и письма, входящие в «Corpus Dionysiacum», в IX веке находят читателя, который перелагает их на латынь. Это Иоанн Эриугена, или Скот, то есть Иоанн Ирландец, известный истории под именем Скот Эригена, что значит Ирландский Ирландец. Он разрабатывает учение пантеистического толка, по которому вещи суть теофании (божественные откровения или богоявления), за ними стоит сам Бог, который и есть единственная реальность, но Он не знает, что Он есть, потому что Он не есть никакое «что» и Он непостижим ни для самого Себя, ни для какого-либо ума». Он не разумен, потому что Он больше разума, Он не добр, потому что Он больше доброты. Неисповедимым образом Он оказывается выше всех атрибутов, отторгая их. В поисках определения Иоанн Ирландский прибегает к слову *nihilum*, то есть «ничто». Бог есть первоначальное ничто, с которого началось творение, *creatio ex nihilo*¹, бездна, в которой возникли прообразы вещей, а потом вещи. Он есть Ничто и еще раз Ничто, и те, кто Его так понимали, явственно ощущали, что быть ничто — это больше, чем быть Кто или Что. Шанкара тоже говорит о том, что объятые глубоким сном люди — это и мир, и Бог.

Такой ход мыслей, разумеется, не случаен. К возвеличиванию вплоть до превращения в ничто склонны все культы. Самым несомненным образом это проявляется в случае с Шекспиром, Его современник Бен Джонсон чтит его, не доходя до идолопоклонства. Драйден объявляет его Гомером английских драматических поэтов, хотя и упрекает за безвкусьность и выспренность. Рассудочный XVIII век старательно превозносит его достоинства и порицает недостатки. Морис Морган

¹ Творение из ничего (*лат.*).

в 1774 году утверждал, что король Лир и Фальстаф — это два лика самого Шекспира; в начале XIX века этот приговор повторяет Колридж, для которого Шекспир уже не человек, но литературное воплощение бесконечного бога Спинозы. «Шекспир-человек был *natura naturata* (природа рожденная), — пишет он, — следствие, а не причина, но всеобщее начало, потенциально содержащееся в конкретном, являлось ему не как итог наблюдений над определенным количеством случаев, но в виде некой субстанции, способной к бесконечным преобразованиям, и одним из таких преобразований было его собственное существование». Хэзлитт соглашается и подтверждает: «Шекспир был как все люди, с тем лишь отличием, что не был похож ни на кого. Сам по себе он был ничто, но он был всем тем, чем были люди или чем они могли стать». Позже Гюго сравнит его с океаном, прародителем всевозможных форм жизни¹.

Быть чем-то одним неизбежно означает не быть всем другим, и смутное ощущение этой истины навело людей на мысль о том, что не быть — это больше, чем быть чем-то, и что в известном смысле это означает быть всем. И разве не та же лукавая выдумка дает себя знать в речах мифического индийского царя, который отрекся от власти и просит на улицах подаяние: «Отныне нет у меня царства, а стало быть, у моего царства нет границ, и тело мое отныне мне не принадлежит, а стало быть, мне принадлежит вся земля». Шопенгауэр писал, что история не что иное, как нескончаемый путанный сон череды поколений, и в этом сне часто повторяются устойчивые образы, и, возможно, в нем нет ничего, кроме этих образов, и вот одним из этих образов и является то, о чем повествуется на этих страницах.

¹ В буддийской традиции часто встречается один мотив. В ранних текстах говорится о том, как Будда, сидя под смоковницей, провидит бесконечную цепь причин и следствий вселенной, прошедшие и грядущие воплощения каждого существа. Что же касается более поздних текстов, написанных несколько веков спустя, то в них утверждается, что все в этом мире призрачно и всякое знание иллюзорно, и если бы было столько Гангов, сколько песчинок на дне Ганга, а потом столько Гангов, сколько песчинок в этих новых Гангах, то все равно этих песчинок было бы меньше, чем вещей, которые Будде неведомы.

ОТГОЛОСКИ ОДНОГО ИМЕНИ

В разное время и в разных местах Бог, греза и безумец, сознающий, что он безумец, единодушно твердят что-то непонятное; разобраться в этом утверждении, а заодно и в том, как оно отозвалось в веках, — такова цель этих заметок.

Эпизод, с которого все началось, всем известен. О нем говорится в третьей главе второй книги Пятикнижия под названием Исход. Там мы читаем о том, что овечий пастух Моисей, автор и главный персонаж книги, спросил у Бога Его Имя и Тот сказал ему: «Я Тот, Кто Я есть». Прежде чем начать вникать в эти таинственные слова, вероятно, стоило бы вспомнить о том, что для магического и первобытного мышления имена не произвольные знаки, а жизненно важная часть того, что они обозначают¹. Так, австралийские аборигены получают тайные имена, которые не должен слышать никто из соседнего племени. Такой же обычай был широко распространен у древних египтян, всем давали два имени: малое имя, которое было общеизвестно, и истинное или великое имя, которое держалось в тайне. В книгах мертвых говорится о множестве опасностей, ожидающих душу после смерти тела, и, похоже, самая большая опасность — это забыть свое имя, потерять себя. Также важно знать истинные имена богов, демонов и наименования врат в мир иной². Жак Вандье пишет по этому поводу: «Достаточно знать имя божества или обожествленного существа, чтобы обрести над ним власть» («La religion égyptienne»³, 1949). Ему вторит Де Куинси, говоря о том, что истинное наименование Рима держалось в тайне и незадолго до падения республики Квинт Валерий Соран кощунственно разгласил его, за что и был казнен...

¹ В одном из платоновских диалогов — в «Кратиле» — рассматривается и, если не ошибаюсь, отрицается какая бы то ни было прямая связь между словами и вещами.

² Гностики то ли подхватили, то ли сами пришли к такому важному выводу. Сложился обширный словарь имен собственных, которые Василид (по свидетельству Ириней) свел к одному-единственному неблагозвучному, воспроизводящему один и тот же набор слогов слову «Каулакау», чему-то вроде отмычки от всех небес.

³ «Египетская религия» (*фр.*).

Дикарь скрывает имя для того, чтобы его не могли умертвить, лишить разума или обратить в рабство при помощи наведенной на имя порчи. На этом суеверии или на чем-то в этом роде основывается всякая брань и клевета, нам невыносимо слышать, как наше имя произносится вместе с некоторыми словами. Маутнер описал этот предрассудок и осудил его.

Моисей спросил у Господа, каково Его имя, речь шла, как уже мы видели, не о филологическом любопытстве, но о том, чтобы понять, кто есть Бог, а если точнее, что есть Бог (в IX веке Эриугена напишет, что Бог не знает, ни кто он, ни что он, потому что он никто и ничто).

Как же был истолкован страшный ответ Моисею? Богословы полагают, что ответ «Я Тот, Кто Я есть» свидетельствует о том, что реально существует только Бог или, как поучает Маггид из Межерича, слово «Я» может быть произнесено только Богом. Эту же самую идею, возможно, как раз и утверждает доктрина Спинозы, полагавшего, что протяженность и мышление суть лишь атрибуты вечной субстанции, которая есть Бог. «Бог-то существует, а вот кто не существует, так это мы», — в такую форму облек сходную мысль один мексиканец.

Согласно этому первому истолкованию, «Я Тот, Кто Я есть» — утверждение онтологического порядка. Меж тем кое-кто решил, что ответ обходит вопрос стороной. Бог не говорит, кто он, потому что ответ недоступен человеческому пониманию. Мартин Бубер указывает, что «Ehijch asher ehijch» может переводиться как «Я Тот, Кто будет» или же как «Я там, где Я пребуду». Но возможно ли, чтобы Бога вопрошали так, как вопрошают египетских колдунов, призывая его для того, чтобы полонить. А Бог бы отвечивал: «Сегодня Я снисхожу до тебя, но завтра можно ждать от Меня чего угодно: притеснений, несправедливости, враждебности». Так написано в «Gog und Magog»¹.

Воспроизведенное различными языками «Ich bin der

¹ Бубер («Was ist der Mensch» — «Что есть человек») — пишет, что жить — это проникать в чудную обитель духа с шахматной доской вместо пола, на которой мы обречены играть в неведомые игры с неуловимым и страшным противником.

ich bin», «Ego sum qui sum», «J am that J am» — грозное имя Бога, состоящее из многих слов и, несмотря на это, все же более прочное и непроницаемое, чем имена из одного слова, росло и сверкало в веках, пока в 1602 году Шекспир не написал комедию. В этой комедии выведен, хотя и мимоходом, один солдат, трус и хвастун (из *miles gloriosus*¹), с помощью военной хитрости добывающийся производства в капитаны. Прodelка открывается, человек этот публично опозорен, и тогда вмешивается Шекспир и вкладывает ему в уста слова, которые, словно в кривом зеркале, отражают сказанное Богом в Нагорной проповеди: «Я больше не капитан, но мне нужно есть и пить по-капитански. То, что я есть, меня заставит жить». Так говорит Пэрлс и внезапно перестает быть традиционным персонажем комической пьесы и становится человеком и человечеством.

Последний раз эта тема возникает около тысяча семьсот сорокового года во время длительной агонии Свифта, лет, вероятно, промелькнувших для него, как одно невыносимое мгновение, как пребывание в адской вечности. Свифт был наделен ледяным умом и злостью, но, как и Флобера, его пленяла тупость, может быть, от того, что он знал, что в конце его ждет безумие. В третьей части Гулливера он тщательно и с ненавистью изобразил дряхлое племя бессмертных людей, предающихся бесконечному вялому обжорству, неспособных к общению, потому что время переделало язык, а равно неспособных к чтению, потому что от одной до другой строки они все забывают. Зарождается подозрение, что Свифт изобразил весь этот ужас от того, что сам его страшился, а может быть, он хотел его заговорить. В 1717 году он сказал Юнгу, тому, который написал «Night Thoughts»²: «Я, как это дерево, начну умирать с верха». Несколько страшных фраз Свифта для нас едва ли не важнее длинной цепи событий его жизни. Это зловещее угрюмство порой охватывает и тех, кто о нем пишет, словно и для высказывающих свое суждение о Свифте главное — от него не отстать. «Свифт — это падение великой империи», — написал о нем Теккерей. Все же больше всего потрясает то, как он воспользовался таинственными словами Бога.

¹ Хвастливый воин (лат.).

² «Ночные мысли» (англ.).

Глухота, головокружения, страх сойти с ума и в конце концов слабоумие усугубили свифтовскую меланхолию. У него появились провалы в памяти. Он не хотел надевать очки и не мог читать и писать. Каждый день он молил Бога о смерти. И вот однажды, когда он уже был при смерти, все услышали, как этот безумный старик, быть может смиренно, быть может отчаянно, но может быть и так, как произносит такие слова человек, хватающийся за единственное, что ему не изменит, твердит: «Я тот, кто есть, я тот, кто есть».

«Пусть я несчастен, но я есть» — вот что, вероятно, должен был чувствовать Свифт, и еще: «Я столь же necessarily необходимая и неизбежная частичка универсума, как и все остальные», и еще: «Я то, чем хочет меня видеть Бог, я таков, каким меня сотворили мировые законы», и, возможно, еще: «Быть — это быть всем».

И здесь завершается история этой фразы. В качестве эпилога я хотел бы привести слова, которые, уже будучи при смерти, сказал Шопенгауэр Эдуарду Гризебаху: «Если порой я уверялся в том, что я несчастен, это было сущим недоразумением и заблуждением. Я принимал себя не за того, кем был, например, за того, кто исполняет обязанности профессора, но не в состоянии стать полноправным профессором, за того, кого судят за клевету, за влюбленного, которого отвергает девушка, за больного, которому не выйти из дому, или за других людей со сходными бедами. Но я не был этими людьми. Это в конечном счете были одеяния, в которые я облачался и которые скинул. Но кто я в действительности? Я автор «Мира как воли и представления», я тот, кто дал ответ на загадку бытия, я тот, о ком будут спорить мыслители грядущего. Вот это я, и никому, пока я жив, этого оспорить не удастся». Но именно потому, что он написал «Мир как воля и представление», Шопенгауэр отлично знал, что быть мыслителем точно такая же иллюзия, как быть больным или отверженным, и что он был другое, совсем другое. Совсем не то: он был воля, темная личность, Пэролс, то, чем был Свифт.

ВЕРСИИ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

Как ни тягостно смотреть на стариков, больных и мертвецов, все люди подвластны и старости, и болезням, и смерти. Будда утверждал, что мысль об этом побудила его оставить отчий дом и облачиться в желтые одежды аскета. Так говорится в одном из канонических текстов. В другом тексте есть притча о пяти скрытых посланцах богов: ребенке, согбенном старце, паралитике, преступнике под пыткой и мертвец, возвещающих нам, что наш удел — родиться, стареть, болеть, страдать за грехи и умирать. Судья Теней (в индуистской мифологии эту обязанность исполняет Яма, потому что он был первым из людей, кто умер) спрашивает грешника, не видал ли он этих посланцев, и тот отвечает, что да, видел, но не понял смысла их появления, и стражники запирают грешника в объёме пламенем доме. Может статься, Будда и не сочинял этой зловещей притчи, хватает того, что он ее рассказал, нимало при этом не соотнося с собственной жизнью.

Подлинное событие, вероятно, слишком запутанно и не поддается устной передаче. Легенда воспроизводит его с некоторыми отклонениями, и это позволяет ему странствовать по свету, передаваясь из уст в уста. Три человека упоминаются в притче и в рассказе Будды: старец, больной и мертвец. Время слило оба текста в один и, совместив их, сотворило другую историю.

Сиддхартха, бодхисатва, будущий Будда — сын великого царя Суддходаны из солнечной династии. В ночь зачатия матери Сиддхартхи снится, что в правый бок ей вступает белоснежный слон с шестью бивнями¹. Толкователи снов разъяснили, что ее сын или станет царем Вселенной, или будет вращать колесо ученья² и

¹ Нам этот сон может показаться просто диким, но для индусов это не так, ведь для них слон — домашнее животное, воплощение кротости. Что же касается бивней, то их число не может поразить тех, кого искусство приучило к идее повсеместности Бога и изображениям со множеством рук и лиц; шесть — традиционное число в индуизме (шесть путей переселения душ, шесть Будд, предшественников единого Будды, шесть стран света, включая зенит и надир, и шесть божеств, чьими именами Яджурведа называет шесть врат Брахмы).

² Эта метафора могла побудить тибетцев к созданию молебельного колеса, состоящего из вращающихся вокруг оси и заполненных свитками с заклинаниями цилиндров. Некоторые из этих колес ручные, другие напоминают большие мельницы, движимые водой или ветром.

наставит людей, как освободиться от жизни и смерти. Но царь предпочитает, чтобы Сиддхартха достиг величия во времени, а не в вечности, и он заточает его во дворце, из которого убрано все, что напоминает о бренности бытия. Так проходят двадцать девять призрачно счастливых лет, посвященных чувственным удовольствиям, пока однажды утром Сиддхартха не выезжает из дворца на прогулку и не замечает, потрясенный, согбенного человека «с волосами не такими, как у всех, и телом не таким, как у всех», с немощной плотью, опирающегося при ходьбе на посох. Он спрашивает, что это за человек, и возникший объясняет ему, что это старик и что все люди на земле будут такими. В смятении Сиддхартха сразу приказывает воротиться во дворец, но как-то при очередном выезде из дворца он видит трясущегося в лихорадке, усеянного язвами прокаженного, и возникший объясняет ему, что это больной и что от болезни никто заречься не может. Выехав еще раз, Сиддхартха видит человека, которого несут на погребальных носилках, и ему объясняют, что этот неподвижный человек — мертвец и что умереть — судьба каждого, кто рождается. При последнем выезде из дворца он видит нашего монаха, которому одинаково безразличны и жизнь, и смерть, и на лице у монаха покой. Сиддхартха выбирает свой путь.

Харди похвалил легенду за колоритность, а современный индолог по имени Фуше, имеющий обыкновение не очень удачно и не очень к месту шутить, пишет, что, если принять во внимание неведение бодхисатвы, история не лишена известного драматизма и философского смысла. В начале пятого века нашей эры монах Фа Хиен, отправившийся в Индию за священными книгами, увидел развалины города Капилавасту и четыре изваяния, воздвигнутых Ашокой в память об этих встречах на севере, юге, западе и востоке от городских стен. В начале седьмого века один христианский монах сочинил историю под названием Варлаам и Иосафат (Иосафат — бодхисатва) — сын индийского царя. Звездочеты предрекают ему, что он станет царем самого великого царства, царства Вечности. Царь заточает его во дворце, но слепец, прокаженный и умирающий, открывает ему злополучную людскую участь, а в конце отшельник Варлаам обращает его в истинную веру. Эта

христианская версия легенды была переведена на многие языки, включая голландский и латынь. Усилиям Хакона Хаконарсона Исландия обязана появлением в середине XIII века саги о Варлааме. Кардинал Цезарь Бароний включил Иосафата в свой Римский мартиролог (1585—1590), а в 1615 году Диего де Коуту в продолжении «Декад» прорицал проведение каких бы то ни было аналогий между лживой индийской выдумкой и правдивой и благочестивой историей Святого Иосафата. Все это и многое другое читатель найдет в первом томе «Происхождения романа» Менендеса-и-Пелайо.

Легенда, в сущности предопределившая канонизацию Будды римской церковью, страдала тем не менее одним недостатком: встречи, о которых в ней идет речь, впечатляют, но в них трудно поверить. Появление при всех четырех выездах из дворца фигур, символизирующих моральное поучение, мало похоже на случайность. Впрочем, богословы, которых интересуют не столько художественные красоты, сколько обращение в веру, вознамерились найти оправдание этой несообразности. Кеппен (*Die Religion des Buddha*¹, 1, 82) замечает, что в последней версии прокаженный, монах и мертвец суть видения, сотворенные божествами для того, чтобы наставить Сиддхартху на путь истинный. И в третьей книге санскритского эпоса «Буддхачарита» тоже говорится о том, что боги сотворили мертвеца, но никто, кроме возничего и принца, не видел, как его несли. В одном предании XVI века все четыре видения трактуются как четыре метаморфозы одного бога (*Wieger «Vies chinoises du Buddha»*², 37—41).

Еще дальше идет «Лалитавистара». Об этой компиляции в стихах и прозе, написанной на испорченном санскрите, принято говорить пренебрежительно, на ее страницах история Спасителя изменилась до неузнаваемости, в чем-то понесла утраты, а в чем-то раздулась до невообразимости. Будда, которого окружают двенадцать тысяч монахов и тридцать две тысячи бодхисатв, открывает богам содержание текста. С высоты четвертого неба он указывает время, континент, царство и касту, в которых он возродится, чтобы потом окончатель-

¹ Религия Будды (нем.).

² Вьеже «Китайские жизни Будды» (фр.).

но умереть, восемьдесят тысяч кимвалов сопровождают звоном его речи, а в теле его матери заключена мощь, равная мощи десяти тысяч слонов. Будда в этой причудливой поэме управляет всеми этапами воплощения собственной судьбы, принуждая божества сотворить четыре символических фигуры, и вопрошает у возникшего об их смысле, заведомо зная, что они значат. Фуше усматривает в этом раболепие сочинителей, которым непереносима сама мысль о том, что Будда не знает того, что знает слуга. На мой взгляд, разгадка в другом. Будда творит образы и вопрошает постоянно об их смысле. С богословских позиций, вероятно, следовало бы дать такой ответ: текст имеет отношение к школе махаяны, которая учит, что Будда временной — эманация, или отражение, Будды вечного. Будда небесный повелевает, в то время как Будда земной исполняет повеления и страдает, исполняя их. (В наше время, используя иные образы и иную лексику, то же самое говорят о бессознательном.) Человеческое начало в Сыне Божьем, второй ипостаси Бога, взывало с креста: «Боже мой, Боже, почто ты меня оставил?», точно так же человеческое начало в Будде ужаснулось сотворенному его собственным божественным промыслом... Но можно решить вопрос и без особых богословских ухищрений, достаточно вспомнить, что все индуистские религии, и в особенности буддизм, учат, что мир иллюзорен, что, по махаяне, он не более чем сновидение или игра и что земная жизнь Будды — тоже сновидение. Сиддхартха избирает себе народ и предков. Сиддхартха создает четыре символические фигуры, которые поражают его самого. Сиддхартха делает так, что каждая последующая встреча поясняет смысл предыдущей. Во всех этих действиях можно усмотреть смысл, если отнестись к ним, как ко сну Сиддхартхи. А еще лучше — сну, в котором сам Сиддхартха всего лишь исполнитель роли (как монах или Прокаженный), и сновидение это никому не снится, потому что для Северного буддизма¹ и мир, и новообращенные, и нирвана, и череда превращений, и

¹ Рис Вильямс предписывает не употреблять это выражение, введенное Бюрну, но его использование в данной фразе все же более оправдано, чем Великое Путешествие или Великая Связь, о которые читатель непременно бы споткнулся.

Будда — все одинаково ирреально. Никто не погружается в нирвану, читаем мы в одном знаменитом трактате, потому что уход неисчислимого количества существ в нирвану — это словно рассеяние чар, пущенных в ход уличным чародеем, а в другом месте написано, что все пустота как таковая, одно именование, а заодно и книга, которая об этом толкует, и человек ее читающий. Парадоксальным образом злоупотребление большими числами не только не придает, но, напротив, лишает поэму жизненности. Двенадцать тысяч монахов и тридцать две тысячи бодхисатв менее конкретны, чем один монах или один бодхисатва. Колоссальные масштабы (двенадцатая глава включает ряд из двадцати трех слов, означающих единицу с растущим числом нулей, от 9 до 49, 51 и 53) суть колоссальные безобразные пузыри воздуха — разгул Ничто. Вот так воображаемое разрушило историческое, сначала стали призрачными встреченные принцем фигуры, потом он сам, а потом вместе с ним все человечество и весь мир.

В конце XIX века Оскар Уайльд предложил свою версию: счастливый принц умирает во дворце в заточении, так и не открыв для себя горестей этого мира, но его посмертное изваяние внимают земным скорбям с высоты пьедестала.

Индуистская хронология приблизительно, моя эрудиция еще приблизительно, Кеппену и Герману Беку стоит доверять не более, чем тому, кто отважился на эти заметки. И меня не удивит, если моя версия легенды окажется слишком сказочной, верной в главном, но в чем-то и ошибочной.

КАФКА И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Однажды мне пришло в голову разыскать предшественников Кафки. Поначалу он казался мне одиноким, словно феникс, среди риторики похвал, но спустя некоторое время я стал узнавать его голос или его манеру в текстах различных литератур и разных эпох. Приведу некоторые из них в хронологическом порядке.

Первый — это парадокс Зенона о движении. Бегун, который находится в точке А (утверждает Аристотель),

не может достичь точки Б, поскольку сначала должен пробежать половину пути между ними, а прежде — половину половины, а еще раньше — половину этой половины и так до бесконечности; «Замок» представляет собой воплощение именно этой знаменитой проблемы, а бегун, стрела и Ахиллес — первые кафкианские персонажи в литературе. В другом тексте, совершенно случайно обнаруженном мною, сходство проступает в тоне, а не в форме. Речь идет о притче Хань Юя, прозаика IX века, включенной в замечательную «Anthologie raisonnée de la littérature chinoise»¹ (1948) Маргулье. Вот отмеченный мною фрагмент, исполненный тайны и тишины: «Принято считать, что единорог — существо сверхъестественное, несущее благое предзнаменование; таким он предстает в одах, в летописях, жизнеописаниях прославленных мужей и других текстах, достоверность которых не подлежит сомнению. Все, вплоть до малых детей и женщин из простонародья, знают, что единорог служит добрым знаком. Но подобно зверю не найти среди домашних животных, его нелегко обнаружить, он не подходит ни под какую классификацию. Он не похож ни на коня, ни на быка, ни на волка, ни на оленя. Стало быть, мы можем оказаться рядом с единорогом и не быть уверенными, что это именно он. Нам известно, что животное с гривой — это конь, а с рогами — бык. Каков единорог, нам неизвестно»².

Об источнике третьего текста догадаться легче; это произведения Киркегора. Духовное родство обоих писателей несомненно, но не знаю, отмечал ли кто-нибудь то, что стало ясно мне: у Киркегора, как и у Кафки, множество религиозных притч на темы жизни современного общества. Лаури в работе «Kierkegaard» (Oxford University Press, 1938)³ приводит две. Одна из них —

¹ «Систематизированная антология китайской литературы» (*фр.*).

² Ужасная бесславная гибель или случайная смерть неузнанного священного зверя от рук черни — традиционные темы китайской литературы. См. последнюю главу «Psychologie und Alchimie» («Психологии и алхимии») Юнга (Цюрих, 1914), содержащую занимательные иллюстрации.

³ «Киркегор» (издание Оксфордского университета, 1938) (*англ.*).

история фальшивомонетчика, который, опасаясь подделки, все время внимательнейшим образом изучает ассигнации Английского банка; так и Бог, с подозрением относясь к Киркегору, возлагает на него некую миссию, чтобы убедиться, насколько он привержен злу. Сюжет другой — экспедиции к Северному полюсу. Приходские священники в Дании провозгласили со своих кафедр, что участие в подобных экспедициях ведет к спасению души. Однако они допускали, что достичь полюса сложно, быть может, непосильно и что не всем следует подвергать себя тяготам этого путешествия. В конце концов они объявили, что любую поездку — скажем, из Дании в Лондон на скоростном пароходе, — или воскресную прогулку в экипаже при желании можно приравнять к настоящей экспедиции на Северный полюс. Еще один из прообразов творчества Кафки содержится в стихотворении Браунинга «Fears and Scruples»¹, опубликованном в 1876 году. У героя стихотворения есть — или ему кажется, что есть, — могущественный друг. Этого друга он никогда не видел и не получал от него поддержки, но тот известен своим благочестием, а в народе расходятся его послания. Некоторые графологи, однако, считают эти послания апокрифами; есть и люди, подвергающие сомнению его благочестие. В заключительной строфе стихотворения герой восклицает: «Что, если это — Бог?»

В моих записях отмечены еще два рассказа. Один — из «Histoires désobligeantes»² Леона Блуа, в нем описан случай, когда люди, которые запаслись глобусами, атласом, расписанием поездов и чемоданами, умирают, не успев покинуть родное селение. Другой рассказ носит название «Carcassonne»³ и создан лордом Дансени. Непобедимое воинство выходит из огромного замка, покоряет царства, встречает чудовищ, пересекает пустыни и нарушает покой горных отрогов, но никак не может добраться до Каркасона, хотя однажды им удастся различить его вдалеке. (Легко заметить, что этот рассказ — зеркальное отражение предыдущего: в первом

¹ «Страхи и сомнения» (англ.).

² «Обидные рассказы» (фр.).

³ «Каркасон» (фр.).

людям не удастся покинуть город, во втором — достичь его.)

Мне кажется, перечисленные мною произведения разных авторов напоминают Кафку; и мне кажется, они не все схожи меж собою. Последнее важнее всего. В каждом из этих текстов в большей или меньшей степени проступает своеобразие Кафки, но поскольку они не написаны Кафкой, мы не улавливаем этого своеобразие; можно сказать, его не существует. Стихотворение «Fears and Scruples» Роберта Браунинга пророчит появление произведений Кафки, но то, что мы читали Кафку, очищает наше прочтение стихотворения и направляет восприятие. Браунинг видел его не так, как видим мы сегодня. В словаре критика слово «предшественник» необходимо, но ни в коем случае не следует связывать его с полемикой или соперничеством. Ведь каждый писатель создает своих предшественников. Написанное им преображает наше понимание прошлого, как преображает и будущее¹. При этом не имеет значения, идет ли речь об одном человеке или о нескольких. Ранний Кафка, создавший «Betrachtung»², — в меньшей мере предшественник Кафки — автора сумеречных мифов и бесчеловечных структур, чем Браунинг или лорд Дансени.

ОТ АЛЛЕГОРИЙ К РОМАНАМ

Все мы считали аллерию эстетической ошибкой. (Я чуть было не написал «всего-навсего ошибкой эстетики», но вовремя обнаружил, что это выражение само содержит аллерию.) Насколько мне известно, о жанре аллереии писали Шопенгауэр («Welt als Wille und Vorstellung», 1, 50), Де Куинси («Writings», XI, 198), Франческо де Санктис («Storia della letteratura italiana», VII), Кроче («Estetica», 39) и Честертон («G. F. Watts»). Ограничусь двумя последними. Кроче отвергает аллериическое искусство, Честертон берет его под защиту. Думаю, прав первый, но хотел бы понять, за что так чтили форму, которая сегодня кажется изжившей себя.

¹ См. T. S. Eliot: Points of View (1941). P. 25—26.

² «Наблюдение» (нем.).

Кроче рассуждает с предельной ясностью, поэтому представлю слово ему самому: «Когда символ неотделим от художественной интуиции, он — синоним самой интуиции, всегда носящей идеальный характер. Если же он рассматривается отдельно, иными словами, когда с одной стороны есть сам символ, а с другой — то, что им символизируется, то перед нами пример ненужного усложнения. Символ здесь иллюстрирует абстрактное понятие. По сути дела, это аллегория, то есть наука или, точнее, искусство, рядящееся наукой. И все же, воздавая аллегорическому по справедливости, признаем, что иногда оно вполне на месте. Из «Освобожденного Иерусалима» можно и впрямь извлечь некий моральный урок; из «Адониса» Марино, певца сладострастия, — скажем, мысль о том, что неограниченное наслаждение ведет к страданиям. Что мешает скульптору поместить под статуей табличку с надписью «Милосердие» или «Доброта»? Если аллегории добавлены к уже готовому произведению, они ему никак не вредят. Это просто еще одно выражение, приложенное к уже имеющемуся. К «Иерусалиму» можно приложить дополнительную страничку в прозе, растолковывающую открытую мысль поэта; к «Адонису» — стихотворную строчку или строфу в пояснение того, что Марино на самом деле хотел сказать; к статуе — слово «милосердие» или „доброта"». На 222-й странице книги «Поэзия» (Бари, 1946) тон уже гораздо агрессивнее: «Аллегория — вовсе не прямое выражение духа, а способ записи, своего рода криптограмма».

Кроче не хочет различать форму и содержание. Они для него — синонимы. Аллегория уродлива именно потому, что в одной форме таит сразу два содержания: прямое, буквальное (Данте, ведомый Вергилием, в конце концов находит Беатриче) и иносказательное (человек, ведомый разумом, приходит к вере). Такая манера письма кажется Кроче слишком усложненной.

Защищая аллерию, Честертон прежде всего отрицает за языком способность до конца выразить реальность: «Человек знает, что в душе у него больше тонких, смутных, безымянных оттенков, чем красок в осеннем лесу; и все-таки он почему-то уверен, что все

богатство их переливов и превращений можно с точностью передать, механически чередуя рев и писк. Как будто из груди биржевого маклера и впрямь исходят звуки, возвещающие все тайны памяти и все самозабвение страсти. Но раз обычного языка недостаточно, значит, есть другие. Одним из них, наряду с музыкой и архитектурой, вполне может быть аллегория. Последняя, конечно, пользуется словами, но все-таки это не язык языков. Скорее это знак знаков, но знаков иных, исполненных высокого смысла и таинственных озарений, стоящих за самим словом. И знак этот ясней и короче простых слов, точней и богаче их».

Не мне судить, кто из двух замечательных спорщиков прав. Знаю только, что когда-то аллегорическое искусство волновало сердца (лабиринт «Романа о розе» уцелел в двухстах рукописных экземплярах, а ведь в нем двадцать четыре тысячи стихов), теперь же оставляет их холодными. Более того: кажется надуманным и пустым. Ни Данте, воспевший историю своей любви в «*Vita nuova*»¹, ни римлянин Боэций, творивший в павийской башне, в тени, которую отбрасывал меч его палача, свой труд «*De consolatione*»², не поняли бы нашей скуки. Чем же объяснить такое противоречие, если только заранее не считать истиной тезис об изменчивости вкусов, который как раз и следует доказать?

Колридж заметил, что все люди рождаются последователями либо Аристотеля, либо Платона. Последние думают, что идеи реальны, первые, что они — обобщения. Вот почему для одних язык — всего лишь система произвольных символов, а для других — карта мироздания. Если для последователей Платона Вселенная — Космос, Порядок, то для продолжателей Аристотеля такой вывод — ошибка, самообман ущербного ума. В разные эпохи, на разных широтах перед нами все те же два бессмертных противника, лишь сменяющие языки и имена. Одного зовут Парменид, Платон, Спиноза, Кант, Фрэнсис Брэдли; другого — Гераклит, Аристотель, Локк, Юм, Уильям Джемс. На неприступных высях средневековой схоластики все взывают к Аристо-

¹ Новая жизнь (*итал.*).

² Об утешении (*лат.*).

телю — наставнику человеческого разума («Пир», IV, 2), но номиналисты все же следуют Аристотелю, а реалисты — Платону. Джордж Генри Льюис считал, что единственный средневековый спор, имеющий философскую ценность, — это полемика между номинализмом и реализмом. Суждение слишком смелое, но лишний раз подчеркивающее накал тех упрямых дебатов, которые разгорелись в начале IX века из-за одной фразы Порфирия, переведенной и откомментированной Боэцием. Ансельм и Росцеллин продолжили схватку в XI веке, а в XIV ее опять оживил Уильям Оккам. Прошедшие годы, как и следовало ожидать, лишь до бесконечности умножили позиции и оттенки. Если, однако, для реализма первичными были универсалии, а мы говорим — абстрактные понятия, то для номинализма — единичные вещи. История философии — не музей развлечений и словесных игр. Вполне вероятно, что два эти тезиса соответствуют двум основным способам познания. Морис де Вульф пишет: «Ультрареализм приобрел первых сторонников». Хронист Германн (XI век) называет *antique doctores* тех, кто преподает диалектику *in re*; Абеляр пишет о ней, как о «прежнем учении», и вплоть до конца XII века по отношению к противникам употребляется слово «*moderni*». Тезис, сегодня немислимый, казался очевидным в IX веке и отчасти сохранился до XIV. Некогда новинка, объединявшая скромное число неопитов, номинализм теперь разделяется абсолютно всеми. Его победа столь внушительна и бесспорна, что само имя стало ненужным. Никто не называет себя номиналистом, поскольку других просто нет. И все же попробуем понять, что сутью для средневековья были не люди, а человечество, не каждый в отдельности, а общий вид, не виды, а род, не роды, а Бог. По-моему, от этих понятий (ярким примером их может служить четвероякая система Эриугены) и ведет свое начало аллегорическая литература. Это история абстракций, так же, как роман — история индивидов. Но сами абстракции олицетворены, и потому в любой аллегории есть что-то от романа. Люди, которых избирают своими героями романисты, как правило, выражают общие свойства (Дюпен — это Разум, дон Сегундо Сомбра — Гаучо); в романах всегда есть аллегорический элемент.

Переход от аллегии к роману, от рода к индивиду, от реализма к номинализму занял несколько столетий. И здесь я бы рискнул предложить некую идеальную дату. Пусть это будет день далекого 1382 года, когда Джефри Чосер, может быть, и не относивший себя к номиналистам, вздумал перевести на английский строку Бокаччо «E con gli occulti ferri i tradimenti» («И затаившее кинжал Вероломство») и сделал это так: «The smyler with the knyf under the cloke» («Шутник с кинжалом под плащом»). Оригинал — в седьмой книге «Тесеиды»; английский перевод — в «Knights Tale».

СФЕРА ПАСКАЛЯ

Быть может, всемирная история — это история нескольких метафор. Цель моего очерка — сделать набросок одной главы такой истории.

За шесть веков до христианской эры рапсод Ксенофан Колофонский, устав от гомерических стихов, которые он пел, переходя из города в город, осудил поэтов, приписывающих богам антропоморфические черты, и предложил грекам единого Бога в образе вечной сферы. У Платона в «Тимее» мы читаем, что сфера — это самая совершенная фигура и самая простая, ибо все точки ее поверхности равно удалены от центра; Олоф Гигон («Ursprung der griechischen Philosophie»¹, 183) полагает, что Ксенофан рассуждал по аналогии: Бог — сфероид, потому что форма эта наилучшая, или наименее неподходящая, для того чтобы представлять божество. Через сорок лет Парменид повторил этот образ («Сущее подобно массе правильной округлой сферы, сила которой постоянна в любом направлении от центра»); Калоджеро и Мондольфо считают, что он имел в виду сферу бесконечную или бесконечно увеличивающуюся и что приведенные выше слова имеют динамический смысл (Альбертелли «Gli Eleati»², 48). Парменид учил в Италии; через несколько лет после его смерти сицилиец Эмпедокл из Агригента придумал сложную космогонию; в ней есть один этап, когда частицы зем-

¹ «Происхождение греческой философии» (нем.).

² «Элеаты» (ит.).

ли, воды, воздуха и огня соединяются в бесконечную сферу, «круглый Сферос, блаженствующий в своем шарообразном одиночестве».

Всемирная история шла своим путем, слишком человекоподобные боги, которых осуждал Ксенофан, были низведены до поэтических вымыслов или демонов, однако стало известно, что Гермес Трисмегист продиктовал какое-то — тут мнения расходятся — количество книг (42, согласно Клименту Александрийскому; 20 000, согласно Ямвлиху; 36 525, согласно жрецам Тота, он же Гермес), на страницах коих записано все, что есть в мире. Фрагменты этой мнимой библиотеки компилировались или же придумывались начиная с III века и составляют то, что именуется «Corpus Hermeticum»¹; в одной из книг, а именно в «Асклепии» (которую также приписывали Трисмегисту), французский богослов Аланус де Инсулис обнаружил в конце XII века формулу, которая не будет забыта последующими веками: «Бог есть умопостигаемая сфера, центр коей находится везде, а окружность нигде». Досократики говорили о бесконечной сфере; Альбертелли (как прежде Аристотель) полагает, что рассуждать так — значит допускать *contradictio in adjecto*², ибо подлежащее и сказуемое взаимноотрицаются; пожалуй, это верно, однако формула герметических книг побуждает нас интуитивно представить эту сферу. В XIII веке образ сферы снова возник в аллегорическом «Roman de la Rose»³, который излагает его так, как у Платона, и в энциклопедии «Speculum Triplex»⁴; в XVI веке в последней главе последней книги «Пантагрюэля» есть ссылка на «интеллектуальную сферу, центр которой везде, а окружность нигде и которую мы называем Богом». Для средневекового сознания смысл был ясен: Бог пребывает в каждом из своих созданий, но ни одно из них не является для него пределом. «Небо и небо небес не вмещают Тебя», — сказал

¹ «Собрание герметических книг» (лат.).

² Противоречие между определяемым словом и определением (лат.).

³ «Роман о Розе» (фр.).

⁴ «Тройное зеркало» (лат.).

Соломон (Третья книга Царств, 8:27); пояснением этих слов предстала геометрическая метафора.

Поэма Данте сохранила Птолемею астрономию, которая на протяжении тысячи четырехсот лет господствовала в воображении людей. Земля находится в центре Вселенной. Она — неподвижная сфера, вокруг нее вращаются десять концентрических сфер. Первые семь — небеса планет (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна); восьмая — небо неподвижных звезд; девятая — хрустальное небо, именуемое также Перводвигатель. Это небо окружено Эмпиреем, состоящим из света. Вся эта сложная машина полых, прозрачных и вращающихся сфер (в одной из систем их потребовалось пятьдесят пять) стала необходимостью в мышлении: «*De hypothesis motuum coelestium commentariolus*»¹ — таково скромное заглавие, поставленное Коперником, ниспровергателем Аристотеля, на рукописи, преобразившей наше представление о космосе. Для другого человека, для Джордано Бруно, трещина в звездных сводах была освобождением. В «Речах в первую среду великого поста» он заявил, что мир есть бесконечное следствие бесконечной причины и что божество находится близко, «ибо оно внутри нас еще в большей степени, чем мы сами внутри нас». Он искал слова, чтобы изобразить людям Коперниково пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: «Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная — вся центр, или что центр Вселенной находится везде, а окружность нигде» («О причине, начале и едином», V).

Это было написано с ликованием в 1584 году, еще озаренном светом Возрождения; семьдесят лет спустя не осталось и отблеска этого пыла, и люди почувствовали себя затерянными во времени и в пространстве. Во времени — ибо если будущее и прошедшее бесконечны, то не существует «когда», в пространстве — ибо если всякое существо равно удалено от бесконечно большого и бесконечно малого, нет, стало быть, и «где». Никто не живет в каком-то дне, в каком-то месте; никто не знает даже размеров своего лица. В эпоху Воз-

¹ «О вращении небесных сфер» (лат.).

рождения человечество полагало, что достигло возраста зрелости, и заявило об этом устами Бруно, Кампанеллы и Бэкона. В XVII веке его испугало ощущение старости; в оправдание себе оно эксгумировало веру в медленное и неотвратимое вырождение всех созданий по причине Адамова греха. (В пятой главе Бытия говорится, что «всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет»; в шестой — что «в то время были на земле исполины».) В «Первой годовщине» элегии «Анатомия мира» Джон Донн сокрушается по поводу недолговечности и малого роста современных людей, подобных эльфам и пигмеям; Мильтон, как говорит его биограф Джонсон, опасался, что на земле уже будет невозможен эпический жанр; Глэнвилл полагал, что Адам, «образ и подобие Бога», обладал зрением телескопическим и микроскопическим; Роберт Саут замечательно написал: «Аристотель был не чем иным, как осколком Адама, а Афины — рудиментами Рая». В этот малодушный век идея абсолютного пространства, внушаемая гекзаметрами Лукреция, того абсолютного пространства, которое для Бруно было освобождением, стала для Паскаля лабиринтом и бездной. Этот страшился Вселенной и хотел поклоняться Богу, но Бог для него был менее реален, чем устрашающая Вселенная. Он сетовал, что небосвод не может говорить, сравнивал нашу жизнь с жизнью потерпевших кораблекрушение на пустынном острове. Он чувствовал непрестанный гнет физического мира, чувствовал головокружение, страх, одиночество и выразил их другими словами: «Природа — это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде». В таком виде публикует этот текст Бруншви́г, но критическое издание Турнёра (Париж, 1941), воспроизводящее помарки и колебания рукописи, показывает, что Паскаль начал писать слово *effroyable*¹: «Устрашающая сфера, центр которой везде, а окружность нигде».

Быть может, всемирная история — это история различной интонации при произнесении нескольких метафор.

¹ Устрашающая (*фр.*).

СОН КОЛРИДЖА

Лирический фрагмент «Кубла-хан» (пятьдесят с чем-то рифмованных неравносложных строк восхитительно-го звучания) приснился английскому поэту Сэмюэлю Тейлору Колриджу в один из летних дней 1797 года. Колридж пишет, что он тогда жил уединенно в сельском доме в окрестностях Эксмур; по причине нездоровья ему пришлось принять наркотическое средство; через несколько минут сон одолел его во время чтения того места из Пэрчеса, где речь идет о сооружении дворца Кубла Хана, императора, славу которому на Западе создал Марко Поло. В сне Колриджа случайно прочитанный текст стал разрастаться и умножаться: спящему человеку грезились вереницы зрительных образов и даже попросту слов, их описывающих; через несколько часов он проснулся с убеждением, что сочинил — или воспринял — поэму примерно в триста строк. Он помнил их с поразительной четкостью и сумел записать этот фрагмент, который остался в его сочинениях. Нежданный визит прервал работу, а потом он уже не мог припомнить остальное. «С немалым удивлением и досадой, — рассказывает Колридж, — я обнаружил, что хотя смутно, но помню общие очертания моего видения, все прочее, кроме восьми или десяти отдельных строк, исчезло, как круги на поверхности реки от брошенного камня, и — увы! — восстановить их было невозможно». Суинберн почувствовал, что спасенное от забвения было изумительнейшим образцом музыки английского языка и что человек, способный проанализировать эти стихи (далее идет метафора, взятая у Джона Китса), мог бы разъять радугу. Все переводы и переложения поэм, основное достоинство которых музыка, — пустое занятие, а порой оно может принести вред; посему ограничимся пока тем, что Колриджу во сне была подарена бесспорно блестящая страница.

Этот случай, хотя он и необычен, — не единственный. В психологическом эссе «The World of Dreams»¹

¹ «Мир снов» (англ.).

Хэвлок Эллис приравнял его к случаю со скрипачом и композитором Джузеппе Тартини, которому приснилось, будто Дьявол (его слуга) исполнил на скрипке сонату изумительной красоты; проснувшись, Тартини извлек из своего несовершенного воспоминания «Trillo del Diavolo»¹. Другой классический пример бессознательной работы ума — случай с Робертом Льюисом Стивенсоном, которому один сон (как сам он сообщил в своей «Chapter on Dreams»²) подсказал содержание «Олальи», а другой сон, в 1884 году, — сюжет «Джекиля и Хайда». Тартини попытался в бодрствующем состоянии воспроизвести музыку сна; Стивенсон получил во сне сюжеты, то есть общие очертания; более родствен словесному образу, пригрезившемуся Колриджу, сон Кэдмона, о котором сообщает Бэда Достопочтенный («Historia ecclesiastica gentis Anglorum»³, IV, 24). Произошло это в конце VII века, в миссионерской и воинственной Англии древних саксов. Кэдмон был простым пастухом, уже немолодым; как-то ночью он сбежал с праздника, предвидя, что ему будут подсовывать арфу, а он знал, что петь он не умеет. Улегся он спать в конюшне, среди лошадей, и вот во сне кто-то позвал его по имени и приказал петь. Кэдмон ответил, что не умеет, но ему сказали: «Пой о начале всего сотворенного». И тут Кэдмон произнес стихи, которых никогда прежде не слышал. Проснувшись, он их не забыл и сумел повторить перед монахами соседнего монастыря Хилд. Читать он так и не научился, но монахи объяснили ему тексты Священной истории, и он, «как доброе животное жвачку, пережевывал их и превращал в сладостные стихи, и таким образом он воспел сотворение мира и человека, и всю историю, рассказанную в Бытии и Исходе сынов Израиля, и их вступление в землю обетованную, и многое другое из Писания, и воплощение, страсти, воскресение и вознесение Спасителя, и пришествие Святого Духа, и поучения апостолов, а также ужас Страшного Суда, ужас мук адских, блаженство рая, милостивые и грозные приговоры Гос-

¹ «Дьявольские трели» (*ит.*).

² «Глава о снах» (*англ.*).

³ «Церковная история англоv» (*лат.*).

пода». Он был первым церковным поэтом английского народа; «никто не мог с ним сравниться, — говорит Бэда, — ибо он учился не у людей, но у Бога». Прошли годы, и Кэдмон предсказал час своей кончины, которая пришла к нему во сне. Будем надеяться, что он снова встретился со своим ангелом.

На первый взгляд случай с Колриджем, пожалуй, может показаться менее удивительным, чем то, что произошло с его предшественником. «Кубла-хан» — превосходные стихи, а девять строк гимна, приснившегося Кэдмону, почти ничем не примечательны, кроме того, что порождены сном; однако Колридж уже был поэтом, а Кэдмону только что было открыто его призвание. Впрочем есть некое более позднее обстоятельство, которое до непостижимости возвеличивает чудо сна, создавшего «Кубла-хана». Если факт достоверен, то история сна Колриджа на много веков предшествует самому Колриджу и до сей поры еще не закончилась.

Поэт видел этот сон в 1797 году (некоторые полагают, что в 1798-м) и сообщение о нем опубликовал в 1816-м в качестве пояснения, а равно оправдания незавершенности поэмы. Двадцать лет спустя в Париже появился в фрагментах первый на Западе переворот одной из всемирных историй, которыми так богата была персидская литература, — «Краткое изложение историй» Рашид ад-Дина, относящееся к XIV веку. На одной из страниц мы читаем: «К востоку от Ксанаду Кубла-хан воздвиг дворец по плану, который был им увиден во сне и сохранен в памяти». Написал об этом везир Гасана Махмуда, потомка Кублы.

Монгольский император в XIII веке видит во сне дворец и затем строит его согласно своему видению; в XVIII веке английский поэт, который не мог знать, что это сооружение порождено сном, видит во сне поэму об этом дворце. Если с этой симметричностью, воздействующей на души спящих людей и охватывающей континенты и века, сопоставить всяческие вознесения, воскресения и явления, описанные в священных книгах, то последние, на мой взгляд, ничего — или очень немного — стоят.

Какое объяснение мы тут предпочтем? Те, кто зара-

нее отвергают все сверхъестественное (я всегда считал себя принадлежащим к этой корпорации), скажут, что история двух снов — совпадение, рисунок, созданный случаем, подобно очертаниям львов и лошадей, которые иногда принимают облака. Другие предполагают, что поэт, наверно, откуда-то знал о том, что император видел дворец о сне, и сообщил, будто и он видел поэму во сне, дабы этой блестящей выдумкой объяснить или оправдать незавершенность и неправильность стихов¹. Эта гипотеза правдоподобна, но она обязывает нас предположить — без всяких оснований — существование текста, неизвестного синологам, в котором Колридж мог прочитать еще до 1816 года о сне Кублы². Более привлекательны гипотезы, выходящие за пределы рационального. Можно, например, представить себе, что, когда был разрушен дворец, душа императора проникла в душу Колриджа, дабы тот восстановил дворец в словах, более прочных, чем мрамор и металл.

Первый сон приобщил к реальности дворец, второй, имевший место через пять веков, — поэму (или начало поэмы), внушенную дворцом; за сходством снов просматривается некий план; огромный промежуток времени говорит о сверхчеловеческом характере исполнителя этого плана. Доискаться целей этого бессмертного или долгожителя было бы, наверно, столь же дерзостно, сколь бесполезно, однако мы вправе усомниться в его успехе. В 1691 году отец Жербийон из Общества Иисуса установил, что от дворца Кубла-хана остались одни руины; от поэмы, как мы знаем, дошло всего-навсего пятьдесят строк. Судя по этим фактам, можно предположить, что череда лет и усилий не достигла цели. Первому сновидцу было послано ночью видение дворца, и он его построил; второму, который не знал о сне первого, — поэма о дворце. Если эта схема верна, то в какую-то ночь, от которой нас отделяют века, некоему читателю «Кубла-хана» привидится во сне статуя

¹ В начале XIX века или в конце XVIII в глазах читателей с классическим вкусом поэма «Кубла-хан» выглядела куда более неотделанной, чем ныне. В 1884 году Трейл, первый биограф Колриджа, даже мог написать: «Экстравагантная, привидевшаяся во сне поэма «Кубла-хан» — едва ли нечто большее, чем психологический курьез».

² См.: *Дж. Ливингстон Лоуэс. Дорога в Ксанаду*, 1927. С. 358, 585.

или музыка. Человек этот не будет знать о снах двух некогда живших людей, и, быть может, этому ряду снов не будет конца, а ключ к ним окажется в последнем из них.

Написав эти строки, я вдруг увидел — или мне кажется, что увидел, — другое объяснение. Возможно, что еще неизвестный людям архетип, некий вечный объект (в терминологии Уайтхеда), постепенно входит в мир; первым его проявлением был дворец, вторым — поэма. Если бы кто-то попытался их сравнить, он, возможно, увидел бы, что по сути они тождественны.

СКРЫТАЯ МАГИЯ В «ДОН КИХОТЕ»

Возможно, подобные замечания уже были высказаны, и даже не раз; их оригинальность меня интересует меньше, чем истинность.

При сравнении с другими классическими произведениями («Илиадой», «Энеидой», «Фарсалией», Дантовой «Комедией», трагедиями и комедиями Шекспира) «Дон Кихот» — книга реалистическая; однако этот реализм существенно отличается от реализма XIX века. Джозеф Конрад мог написать, что исключает из своего творчества все сверхъестественное, ибо допустить его существование означало бы отрицать чудесное в повседневном; не знаю, согласился бы Мигель де Сервантес с этими мнениями или нет, но я уверен, что сама форма «Дон Кихота» заставила его противопоставить миру поэтическому и вымышленному мир прозаический и реальный. Конрад и Генри Джеймс облакали действительность в форму романа, потому что считали ее поэтичной; для Сервантеса реальное и поэтическое — антонимы. Обширной и неопределенной географии «Амадиса» он противопоставляет пыльные дороги и грязные постоянные дворы Кастилии; представим себе романиста наших дней, который описывал бы в пародийном духе обслугу бензоколонок. Сервантес создал для нас поэзию Испании XVII века, но для него ни тот век, ни та Испания не были поэтичными; ему были бы непонятны люди, вроде Унамуно или Асорина или Антонио Мачадо, умиляющиеся при упоминании Ламанчи. Замысел его произведения воспринимал включение чудесного; оно, однако, должно было там присутство-

вать, хотя бы косвенно, как преступления и тайна в пародии на детективный роман. Прибегать к талисманам или колдовству Сервантес не мог, но он сумел ввести сверхъестественное очень тонким и потому более эффективным способом. В глубине души Сервантес любил сверхъестественное. В 1924 году Поль Грусак заметил: «Литературный урожай, собранный Сервантесом, с некоторым не вполне установленным оттенком латинского и итальянского влияния, вырос главным образом на пасторальных и рыцарских романах, утешительных байках для алжирских пленников. „Дон Кихот“ — не столько противоядие от этих вымыслов, сколько полное тайной ностальгии прощанье с ними».

По отношению к реальности всякий роман представляет некий идеальный план; Сервантесу нравится смешивать объективное с субъективным, мир читателя и мир книги. В тех главах, где обсуждается, является ли британский тазик шлемом и вьючное седло нарядной попной, эта проблема излагается открыто; в других местах, как я подметил, автор внушает ее исподтишка. В шестой главе первой части священник и цирюльник осматривают библиотеку Дон Кихота; удивительным образом одна из книг — это «Галатей» Сервантеса, и оказывается, что цирюльник — его друг, который не слишком им восторгается и говорит, что автор больше преуспевает в злоключениях, чем в стихах, и что в книге этой кое-что удачно придумано, кое-что намечено, но ничто не завершено. Цирюльник, вымысел Сервантеса или образ из сна Сервантеса, судит о Сервантесе... Удивительно также сообщение в начале девятой главы, что весь роман переведен с арабского и что Сервантес приобрел рукопись на рынке в Толедо и дал ее перевести некоему мориску, которого больше полутора месяцев держал у себя в доме, пока тот не закончил работу. Нам вспоминается Карлейль с его выдумкой, будто «Сартор Резартус» — это неполный перевод произведения, опубликованного в Германии доктором Диогеном Тейфельсдрекком; вспоминается кастильский раввин Моисей Леонский, сочинивший «Зогар, или Книгу сияния» и выпустивший ее в свет как произведение некоего палестинского раввина, жившего во II веке.

Игра с причудливыми двусмысленностями кульминирует во второй части; там персонажи романа уже прочли первую часть, то есть персонажи «Дон Кихота» — они же и читатели «Дон Кихота». Ну, как тут не

вспомнить Шекспира, который включает в сцены «Гамлета» другую сцену, где представляют трагедию примерно того же рода, что трагедия «Гамлет»; неполное соответствие основной и вторичной пьес уменьшает эффект этой вставки. Прием, аналогичный приему Сервантеса, но еще более поразительный применен в «Рамадяне», поэме Вальмики, повествующей о подвигах Рама и о его войне с демонами. В заключительной книге сыновья Рама, не знаящие, кто их отец, ищут приюта в лесу, где некий аскет учит их читать. Этот учитель, как ни странно, сам Вальмики; книга, по которой они учатся, — «Рамадяна». Рама приказывает совершить жертвоприношение, заклятие лошадей; на празднество является Вальмики со своими учениками. Под аккомпанемент лютни они поют «Рамадьяну». Рама слышит историю своих деяний, узнает своих сыновей и вознаграждает поэта... Нечто подобное создал случай в «Тысяче и одной ночи». В этой компиляции фантастических историй раздваиваются и головокружительно размножаются разветвления центральной сказки на побочные, но здесь нет попытки различать уровни их реальности, и потому эффект (которому полагалось бы быть глубоким) поверхностен, как узор персидского ковра. Всем известна обрамляющая история всего цикла: клятва, данная в гневе царем, который каждую ночь проводит с новой девственницей и на рассвете приказывает ее обезглавить, и замысел Шахразады, развлекающей его сказками, пока не пройдут тысяча и одна ночь, — и тут она показывает царю его сына. Необходимость заполнить тысяча один раздел заставила переписчиков делать всевозможные интерполяции. Ни одна из них так не тревожит душу, как сказка ночи DCII, самой магической среди всех ночей. В эту ночь царь слышит из уст царицы свою собственную историю. Он слышит начало истории, которая включает в себя все остальные, а также — и это уже совершенно чудовищно — себя самое. Вполне ли ясны читателю неограниченные возможности этой интерполяции и странная, с нею связанная опасность? А вдруг царица не перестанет рассказывать и навек недвижимому царю придется вновь и вновь слушать незавершенную историю «Тысячи и одной ночи», бесконечно, циклически повторяющуюся... Выдумки, на которые способна философия,

бывают не менее фантастичны, чем в искусстве: Джосайя Ройс в первом томе своего труда «The World and the Individual»¹ (1899) сформулировал такую мысль: «Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли и картограф начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно — нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, которая не отражена в карте, здесь повторено все. В этом случае подобная карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себя карту карты карты, и так до бесконечности».

Почему нас смущает, что карта включена в карту и тысяча и одна ночь в книгу о «Тысяче и одной ночи»? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет — зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышленны. В 1833 году Карлейль заметил, что всемирная история — это бесконечная божественная книга, которую все люди пишут и читают и стараются понять и в которой также пишут их самих.

О ЧЕСТЕРТОНЕ

Because He does not take away
The terror from the tree.

*A Second Childhood*²
Chesterton

Эдгар Аллан По писал новеллы ужасов с элементами фантастики или чистой *bizarrie*³. Эдгар Аллан По избрал детективную новеллу. Это так же бесспорно, как тот факт, что два эти жанра он не смешивал. Он не поручал аристократу Огюсту Дюпену установить давнее преступление Человека Толпы или объяснить, почему

¹ «Мир и индивидуум» (англ.).

² Ибо не избавляет Он и дерево от страха... — «Второе детство». Честертон (англ.).

³ Причудливости (фр.).

статуя в черно-красной комнате убил замаскированного принца Просперо Честертон, напротив, со страстью и успехом изощрялся в подобных *tours de force*¹. Каждая из новелл саги о патере Брауне сперва предлагает нам тайну, затем дает ей объяснение демонического или магического свойства, а в конце заменяет их объяснениями вполне посюсторонними. Достоинство этих кратких историй не только в мастерстве; мне кажется, я в них вижу зашифрованную историю жизни самого Честертона, символ или отражение Честертона. Повторение вышеприведенной схемы в течение ряда лет и в ряде книг («The Man Who Knew Too Much», «The Poet and the Lunatics», «The Paradoxes of Mr. Pond»)², на мой взгляд, подтверждает, что дело тут в существе формы, а не в риторическом приеме. Ниже я пытаюсь дать толкование этой формы.

Вначале необходимо припомнить некоторые слишком известные факты. Честертон был католиком; Честертон верил в «Средневековые прерафаэлитов» («Of London, small and white, and clean»)³. Честертон, подобно Уитмену, грешил мнением, что самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности. Подобные взгляды, возможно, верны, однако они вызывают лишь весьма умеренный интерес; предполагать, будто ими исчерпывается Честертон, значит забыть, что кредо человека — это конечный этап ряда умственных и эмоциональных процессов и что человек есть весь этот ряд. В нашей стране католики Честертон превозносят, вольнодумцы отвергают. Как всякого писателя, исповедующего некое кредо, Честертон по нему судят, по нему хулят или хвалят. Его случай схож с судьбой Киплинга, о котором всегда судят по отношению к Британской империи.

По и Бодлер, подобно злобному Уризену Блейка, вознамерились создать мир страха; и естественно, что их творчество изобилует всевозможными ужасами. Честертон, как мне кажется, не потерпел бы обвинения в

¹ Акробатических номерах (*фр.*).

² «Человек, который слишком много знал», «Поэт и лунатики», «Парадоксы м-ра Понда» (*англ.*).

³ «О Лондоне небольшом, белом и чистом» (*англ.*).

том, что он мастер кошмаров, *monstrorum artifex*¹ (Плиний, XXVIII, 2), тем не менее он неотвратно передается чудовищным предположениям. Он спрашивает, может ли человек иметь три глаза, а птица — три крыла; вопреки пантеистам он говорит об обнаруженном им в раю мертвецце, о том, что духи в ангельских хорах все как есть на одно лицо²; он рассказывает о тюремной камере из зеркал, о лабиринте без центра, о человеке, пожираемом металлическими автоматами, о дереве, пожирающем птиц и вместо листьев покрытом перьями; он выдумывает («Человек, который был четвергом», VI), будто на восточных окраинах земли существует дерево, которое и больше и меньше, чем дерево, а на западном краю стоит нечто загадочное, некая башня, сама архитектура которой злокозненна. Близкое он определяет с помощью далекого и даже жестокого; говоря о своих глазах, называет их, как Иезекииль (1:22), «изумительный кристалл», а описывая ночь, усугубляет древний ужас перед нею (Апокалипсис, 4:6) и называет ее «чудовище, исполненное глаз». Не менее живописен рассказ «How I found the Superman»³. Честертон беседует с родителями Сверхчеловека; на вопрос о том, красив ли их сын, не выходящий из темной комнаты, они ему напоминают, что Сверхчеловек создает свой собственный канон красоты, по которому и следует судить о нем («В этом смысле он прекраснее Аполлона. С нашей, разумеется, более низменной точки зрения...»); затем они соглашаются, что пожать ему руку нелегко («Вы понимаете, совсем другое строение...»); затем оказывается, что они не могут сказать, волосы у него или перья. Сквозняк его убивает, и несколько мужчин выносят гроб, судя по форме, не с человеком. Честертон рассказывает эту тератологическую фантазию в шуточном тоне.

Подобные примеры — их легко было бы умножить — показывают, что Честертон стремился не быть Эдгаром Алланом По или Францем Кафкой, однако

¹ Мастер чудовищ (*лат.*).

² Развивая мысль Атгара («Везде мы видим только Твой лик»), Джалаледдин Руми сочинил стихи, которые перевел Рюккерт (*Werke*, IV, 222), где говорится, что в небесах, в море и в снах есть Единственный, и где этот Единственный восхваляется за то, что он объединил четверку строптивых коней, везущих колесницу Вселенной: землю, воздух, огонь и воду. — *Примеч. автора.*

³ «Как я нашел сверхчеловека» (*англ.*).

что-то в замесе его «я» влекло его к жути — что-то загадочное, неосознанное и нутряное. Не зря же посвятил он свои первые произведения защите двух великих готических мастеров — Браунинга и Диккенса; не зря повторял, что лучшая книга, созданная в Германии, — это сказки братьев Гримм. Он брал Ибсена и защищал (пожалуй, безнадежно) Ростана, однако тролли и Пуговичник в «Пер Гюнте» созданы из материи его снов — *the stuff his dreams were made of*. Этот разлад, это ненадежное подавление склонности к демоническому определяют натуру Честертона. Символ его внутренней борьбы я вижу в приключениях патера Брауна, каждое из которых стремится объяснить с помощью только разума некий необъяснимый факт¹. Вот почему в первом абзаце моей заметки я и сказал, что эти новеллы — зашифрованная история Честертона, символы и отражения Честертона. Это и все, разве что «разум», которому Честертон подчинил свое воображение, был, собственно, не разум, а католическая вера или же совокупность вымыслов еврейской религии, подчиненных Платону и Аристотелю.

Мне вспоминаются две контрастирующие притчи. Первая — из первого тома сочинений Кафки. Это история человека, добивающегося, чтобы его пропустили к Закону. Страж у первых врат говорит ему, что за ними есть много других² и там, от покоя к покою, врата охраняют стражи один могущественнее другого. Человек усаживается и ждет. Проходят дни, годы, и человек умирает. В агонии он спрашивает: «Возможно ли, что за все годы, пока я ждал, ни один человек не пожелал войти, кроме меня?» Страж отвечает: «Никто не пожелал войти, потому что эти врата были предназначены только для тебя. Теперь я их закрою». (Кафка комментирует эту притчу, еще больше ее усложняя, в девятой главе «Процесса».) Вторая притча — в «Пути паломника» Беньяна. Народ с вождельем глядит на замок, охраняемый множеством воинов; у входа стоит страж с книгой, чтобы записать в ней имя того, кто

¹ Авторы детективных романов обычно ставят себе задачей объяснение не необъяснимого, но запутанного. — *Примеч. автора.*

² Образ многих дверей, идущих одна вслед за другой, преграждающих грешнику путь к блаженству, есть в «Зогаре». См.: Глатцер. In *Time and Eternity* — «Во времени и вечности» (*англ.*), 30; также Мартин Бубер. *Tales of the Hasidim*, 92 — «Легенды хасидов» (*англ.*).

будет достоин войти. Один храбрец приближается к стражу и говорит: «Запиши мое имя, господин». Затем выхватывает меч и бросается на воинов; наносит и сам получает кровавые раны, пока ему не удастся в схватке проложить себе путь и войти в замок.

Честертон посвятил свою жизнь писанию второй притчи, но что-то всегда его влекло писать первую.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ДЖОНА УИЛКИНСА

Я обнаружил, что в четырнадцатом издании *Encyclopaedia Britannica*¹ пропущена статья о Джоне Уилкинсе. Оплошность можно оправдать, если вспомнить, как сухо статья была написана (двадцать строк чисто биографических сведений: Уилкинс родился в 1614 году; Уилкинс умер в 1672 году; Уилкинс был капелланом Карла Людвига, курфюрста пфальцского; Уилкинс был назначен ректором одного из Оксфордских колледжей; Уилкинс был первым секретарем Королевского общества в Лондоне и т. д.); но оплошность эта непростительна, если вспомнить о философском творчестве Уилкинса. У него было множество любопытнейших счастливых идей: его интересовали богословие, криптография, музыка, создание прозрачных ульев, движение невидимой планеты, возможность путешествия на Луну, возможность и принципы всемирного языка. Этой последней проблеме он посвятил книгу «*An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language*»² (600 страниц большого ин-кварти, 1668). В нашей Национальной библиотеке нет экземпляров этой книги; для моей заметки я обращался к книгам «*The Life and Times of John Wilkins*»³ (1910) П. А. Райта Гендерсона; «*Woerterbuch der Philosophie*»⁴ Фрица Маутнера (1925); «*Delphi*»⁵ Э. Сильвии Пэнкхерст; «*Dangerous Thoughts*»⁶ Лэнселота Хогбена.

¹ Британской Энциклопедии (*лат.*).

² «Опыт о подлинной символической и о философском языке» (*англ.*).

³ «Жизнь и эпоха Джона Уилкинса» (*англ.*).

⁴ «Философский словарь» (*нем.*).

⁵ «Дельфы» (*англ.*).

⁶ «Опасные мысли» (*англ.*).

Всем нам когда-либо приходилось слышать неразрешимые споры, когда некая дама, расточая междометия и анаколуфы, клянется, что слово «луна» более (или менее) выразительно, чем слово Moon¹. Кроме самоочередного наблюдения, что односложное moon, возможно, более уместно для обозначения очень простого объекта, чем двусложное «луна», ничего больше тут не прибавишь; если не считать сложных и производных слов, все языки мира (не исключая волапук Иоганна Мартина Шлейера и романтический «интерлингва» Пеано) одинаково невыразительны. В любом издании Грамматики Королевской Академии непременно будут восхваления «завидного сокровища красочных, метких и выразительных слов богатейшего испанского языка», но это — чистейшее хвастовство, без всяких оснований. А тем временем эта же Королевская Академия через каждые несколько лет разрабатывает словарь, определяющий испанские слова... В универсальном языке, придуманном Уилкинсом в середине XVII века, каждое слово само себя определяет. Декарт в письме, датированном еще ноябрем 1629 года, писал, что с помощью десятичной цифровой системы мы можем в один день научиться называть все количества вплоть до бесконечности и записывать их на новом языке, языке цифр²; он также предложил создать аналогичный всеобщий язык, который бы организовал и охватил все человеческие мысли. В 1664 году Джон Уилкинс взялся за это дело.

Он разделил все в мире на сорок категорий, или «родов», которые затем делились на «дифференции», а те в свою очередь на «виды». Для каждого рода назначался слог из двух букв, для каждой дифференции — согласная, для каждого вида — гласная. Например: *de* означает стихию; *deb* — первую из стихий, огонь; *deba* — часть стихии, огня, отдельное пламя. В аналогичном языке Летелье (1850) *a* означает животное;

¹ Луна (англ.).

² Теоретически количество систем счисления не ограничено. Самая сложная (пригодная для богов и ангелов) должна бы содержать бесконечное количество знаков, по одному для каждого числа; для самой простой требуется только два знака. Нуль обозначается как 0, один — 1, два — 10, три — 11, четыре — 100, пять — 101, шесть — 110, семь — 111, восемь — 1000. Это изобретение Лейбница, стимулом для которого (мне кажется) послужили загадочные гексаграммы «И Цзин». — *Примеч. автора.*

ab — млекопитающее; *abo* — плотоядное; *aboj* — из семейства кошачьих; *aboje* — кошку; *abi* — травоядное; *abiv* — из семейства лошадиных и т. д. В языке Бонифасио Сотоса Очандо (1845) *imaba* — здание; *imaka* — сераль; *imafe* — приют; *imafo* — больница; *imarri* — пол; *imego* — хижина; *imat* — вилла; *imedo* — столб; *imede* — дорожный столб; *imela* — потолок; *imogo* — окно; *bire* — переплетчик; *birer* — переплестать. (Последним списком я обязан книге, вышедшей в Буэнос-Айресе в 1886 г.: «Курс универсального языка» д-ра Педро Маты.)

Слова аналитического языка Джона Уилкинса — это не неуклюжие произвольные обозначения; каждая из их букв имеет свой смысл, как то было с буквами Священного Писания для каббалистов. Маутнер замечает, что дети могли бы изучать этот язык, не подозревая, что он искусственный, и лишь потом, после школы, узнавали бы, что это также универсальный ключ и тайная энциклопедия.

Ознакомившись с методом Уилкинса, придется еще рассмотреть проблему, которую невозможно или весьма трудно обойти: насколько удачна система из сорока дельней, составляющая основу его языка. Взглянем на восьмую категорию — категорию камней. Уилкинс их подразделяет на обыкновенные (кремень, гравий, графит), среднедрагоценные (мрамор, амбра, коралл), драгоценные (жемчуг, опал), прозрачные (аметист, сапфир) и нерастворяющиеся (каменный уголь, голубая глина и мышьяк). Как и восьмая, почти столь же сумбурна девятая категория. Она сообщает нам, что металлы бывают несовершенные (киноварь, ртуть), искусственные (бронза, латунь), отделяющиеся (опилки, ржавчина) и естественные (золото, олово, медь). Красота фигурирует в шестнадцатой категории — это живородящая, продолговатая рыба. Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бес-

численных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух. В Брюссельском библиографическом институте также царит хаос; мир там разделен на 1 000 отделов, из которых 262-й содержит относящееся к папе, 282-й — относящееся к Римской католической церкви, 263-й — к празднику Тела Господня, 268-й — к воскресным школам, 298-й — к мормонству, а 294-й — к брахманизму, буддизму, синтоизму и даосизму. Не чураются там и смешанных отделов, например 179-й: «Жестокое обращение с животными. Защита животных. Дуэль и самоубийство с точки зрения морали. Пороки и различные недостатки. Добродетели и различные достоинства».

Итак, я показал произвольность делений у Уилкинса, у неизвестного (или апокрифического) китайского энциклопедиста и в Брюссельском библиографическом институте; очевидно, не существует классификации мира, которая бы не была произвольной и проблематичной. Причина весьма проста: мы не знаем, что такое мир. «Мир, — пишет Дэвид Юм, — это, возможно, примитивный эскиз какого-нибудь ребячливого Бога, бросившего работу на полпути, так как он устыдился своего неудачного исполнения; мир — творение второразрядного божества, над которым смеются высшие боги; мир — хаотическое создание дряхлого Бога, вышедшего в отставку и давно уже скончавшегося» («Dialogues Concerning Natural Religion»¹, V, 1779). Можно пойти дальше, можно предположить, что мира в смысле чего-то ограниченного, единого, мира в том смысле, какой имеет это претенциозное слово, не существует. Если же таковой есть, то нам неведома его цель; мы должны угадывать слова, определения, этимологии и синонимы таинственного словаря Бога.

Невозможность постигнуть божественную схему мира не может, однако, отбить у нас охоту создавать наши, человеческие схемы, хотя мы понимаем, что они — временны. Аналитический язык Уилкинса — не худшая из таких схем. Ее роды и виды противоречивы и туманны; зато мысль обозначать буквами в словах разде-

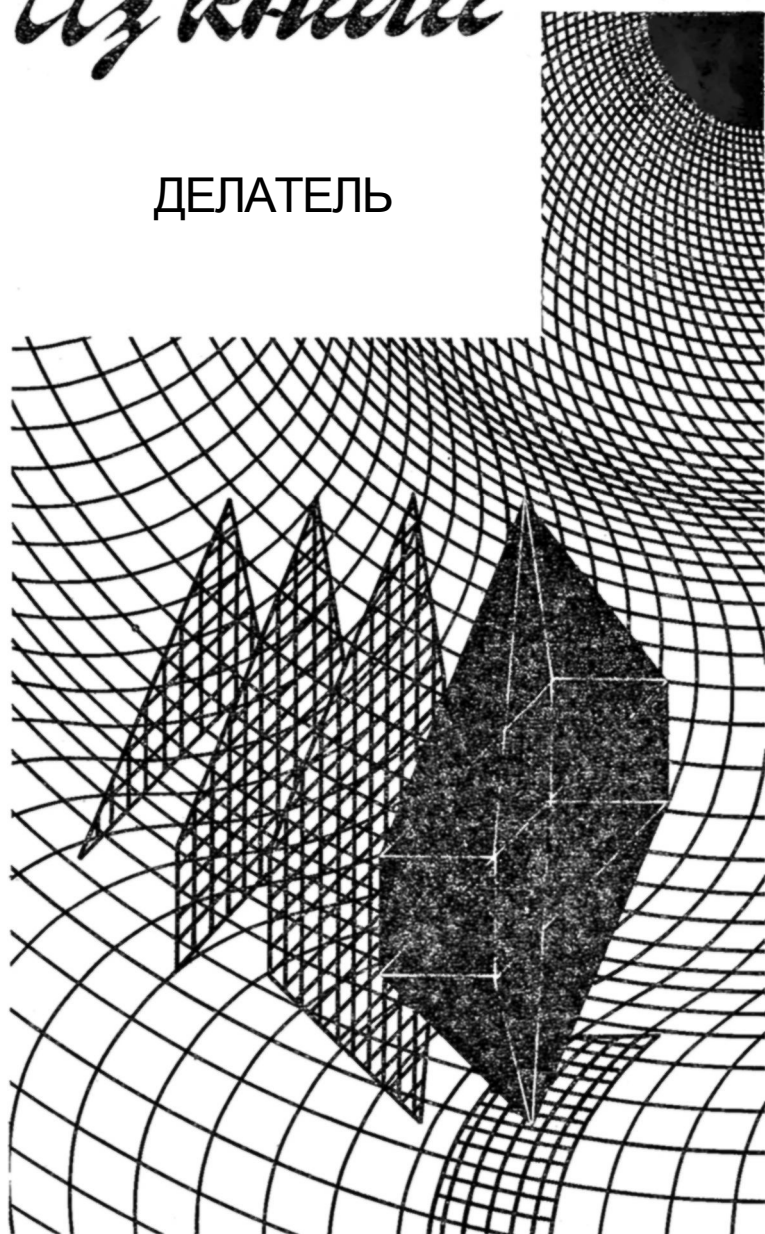
¹ «Диалоги о естественной религии» (англ.).

лы и подразделы, бесспорно, остроумна. Слово «лосось» ничего нам не говорит; соответственно слово *zapa* содержит определение (для человека, усвоившего сорок категорий и видов в этих категориях): рыба, чешуйчатая, речная, с розовым мясом. (Теоретически можно себе представить язык, в котором название каждого существа указывало бы на все подробности его бытия, на его прошлое и будущее.)

Но оставим надежды и утопии. Самое, пожалуй, трезвое суждение о языке содержат следующие слова Честертона: «Человек знает, что в его душе есть оттенки более поразительные, многообразные и загадочные, чем краски осеннего леса... и, однако, он полагает, что эти оттенки во всех их смешениях и превращениях могут быть точно представлены произвольным механизмом хрюканья и писка. Он полагает, что из нутра какого-нибудь биржевика действительно исходят звуки, способные выразить все тайны памяти и все муки желания» («Дж. Ф. Уотс», с. 88, 1904).

Из книги

ДЕЛАТЕЛЬ





ARGUMENTUM ORNITHOLOGICUM ¹



закрываю глаза и вижу стаю птиц. Мгновение, и их уже нет; сколько мне их привиделось, я не знаю. Определенным или неопределенным было их число? Вопрос упирается в проблему существования Бога. Если Бог есть, их число определено, ибо Богу известно, сколько мне их привиделось. Если Бога нет, то оно неопределенно, ибо некому было считать. Ясно, что их было меньше десяти (положим) и больше одной, однако не девять, не восемь, не семь, не шесть, не пять, не четыре, не три и не две. Число это, стало быть, — между десятью и одним, однако не девять, восемь, семь, шесть, пять и т. д. Точное число непостижимо; ergo ², Бог есть.

¹ Пернатый довод (лат.).

² Следовательно (лат.).

ЗАДАЧА

Представим, что в Толедо находят тетрадь с арабским текстом и палеографы признают его написанным рукою того самого Сида Ахмета Бен-Инхали, к которому Сервантес возвел своего «Дон Кихота». Из текста следует, что герой (как известно, странствующий по дорогам Испании со щитом и мечом и любому бросающий вызов по любому поводу), закончив одну из своих бесчисленных схваток, обнаруживает, что убил человека. На этом фрагмент обрывается; задача состоит в том, чтобы угадать или предположить, как поступит Дон Кихот.

По-моему, есть три возможные версии. Первая — негативная: ничего особенного не происходит, поскольку в мире галлюцинаций Дон Кихота смерть — такая же обычная вещь, как волшебство, и убийство человека вряд ли потрясет того, кто сражается (или верит, что сражается) с чудищами и чародеями. Вторая — патетическая. Дон Кихот ни на миг не забывает, что он лишь тень Алонсо Кихано, читателя фантастических истерий; воочию увидев смерть, поняв, что сон толкнул его на Каиново злодеяние, он пробуждается от развязавшего ему руки сумасбродства, быть может — навсегда. Третья — вероятно, самая правдоподобная. Убив человека, Дон Кихот не может допустить, что этот чудовищный поступок — результат наваждения; реальность следствия заставляет его предположить, что причина столь же реальна, и он так и не вырывается из бредового круга.

Остается предположить еще одно, правда недоступное испанцам и даже Западу в целом: для этого нужен более древний, изощренный и усталый мир. Дон Кихот — теперь уже не Дон Кихот, а царь в одном из индуистских перерождений — перед трупом врага постигает, что убийство и зачатие — деяние божественной или волшебной природы и заведомо превосходят отпущенное человеку. Он понимает, что покойник так же призрачен, как оттягивающий его собственную руку окровавленный меч, как он сам, и его прошлая жизнь, и вездесущие боги, и сотворенная ими Вселенная.

Диодор Сицилийский поведал нам о Боге, которого разбили и разметали. Не доводилось ли каждому из нас при наступлении сумерек, мысленно пронзив былое, ощутить утрату чего-то безмерного?

Люди утратили лик, невосполнимый лик; и всем захотелось быть тем паломником (отдавшимся грезам в эмпирее под Розой), который лицезрел в Риме плащаницу Вероники, блаженно бормоча: «Иисус Христос, Боже, истинный Боже, так вот, оказывается, каков твой лик!»

На обочине одной из дорог установлен изваянный из камня лик, под которым выбита надпись: «Истинное изображение Святого Господнего Лика Хаэнского»; если бы нам и вправду дано было знать, каков он был, нам открылся бы закон парабол и поняли бы мы, был ли в самом деле сын плотника Божьим Сыном.

Павлу привиделся он светом, повергнувшим его на землю; Иоанну — солнцем, сияющим над землею; Святой Тересе, не раз омываемой его безмятежным светом, так и не дано было познать цвет его глаз.

Эти черты ускользают от нас, как магическое число, состоящее из самых обычных цифр; подобно узору в калейдоскопе, исчезающему навсегда. Мы видим их, не осознавая. Очертания лица еврея, попавшегося нам на глаза в метро, могут быть повторением черт Христа, а руки, протянувшие из окошечка нам монеты, могут быть сходны с теми, что солдаты прибили к кресту.

Так не таятся ли черты распятого в каждом зеркале; быть может, лик стерся и угас лишь для того, чтобы все стали Богом?

Кто знает, не поджидает ли он нас сегодня в лабиринтах сна и не опознаем ли мы его завтра, проснувшись.

ПАРАБОЛА ДВОРЦА

Однажды Желтый император решил показать свой дворец поэту. Они долго шли, и вот позади остались первые западные террасы, спускавшиеся, как ступени почти необъятного амфитеатра, в рай, или сад, где

¹ Рай (*um.*).

бронзовые зеркала и замысловато посаженные кусты можжевельника создавали лабиринт. Они беспечно углубились в него, сначала ощущая себя участниками игры, а затем с беспокойством, поскольку прямые проходы обладали незаметной для глаза кривизной и непонятным образом превращались в окружности. Около полуночи наблюдение светил и принесенная в жертву черепаха помогли им выбраться из этого заколдованного места, но чувство страха не покидало их до самого конца. Потом проходили они сквозь коридоры, внутренние двory библиотеки, миновали восьмигранную залу с клепсидрой и однажды утром заметили с башни каменного человека, который тут же навсегда скрылся из глаз. В челноках из сандалового дерева переправились они через множество сверкавших на солнце рек, а возможно, много раз через одну и ту же реку. При виде императорской свиты люди падали ниц, но как-то раз они очутились на острове, где никто не приветствовал их, ибо там никогда не видели Сына Неба, и палач собирался отрубить ему голову.

Черные гривы, и черные дела, и причудливые маски из золота представляли их безучастным взорам; явь мешалась со сном или, лучше сказать, была одним из воплощений сна. Казалось невозможным, чтобы на земле существовало что-нибудь еще, кроме садов, рек, творений зодчих, воплощавших великолепии. Через каждые сто шагов вздымались в небо башни; они казались неотличимыми по цвету, но первая из башен была желтая, а последняя — алая, так долог был их ряд и так неощутимы переходы тонов.

И у подножья предпоследней башни поэт (который, казалось, был чужд зрелищам, вызывавшим всеобщий восторг) прочел небольшое сочинение, которое для нас неразрывно связано с его именем и о котором наши историки, склонные выражаться изысканно, говорят, что оно принесло поэту смерть и бессмертие. Текст утрачен; некоторые полагают, что он состоял из одной строки, другие — что из единственного слова. Известно одно, хотя кажется совершенно невероятным: что в стихотворении оказался весь дворец, со всей великолепной керамикой, с рисунками на каждом предмете, с тенями и светом догорающего дня, с каждым счастливым или бедственным мгновением славных династий смертных, богов и драконов, обитавших во дворце с незапамятных

времен. Все смолкли, а Император вскричал: «Ты похитил мой дворец!» — и меч палача оборвал дни поэта.

Есть люди, которые рассказывают эту историю по-иному. В мире не может быть двух одинаковых вещей; как только (говорят они) поэт прочел стихотворение, дворец исчез, как будто был обращен в прах и уничтожен последним слогом. Очевидно, что эти легенды не более чем литературный вымысел. Поэт был рабом императора и умер как раб; его сочинение оказалось забытым, потому что заслуживало забвения, а его потомки до сих пор ищут и не находят слова, заключающего в себе Вселенную.

РАГНАРЁК

Образы наших снов (пишет Колридж) воспроизводят ощущения, а не вызывают их, как принято думать; мы не потому испытываем ужас, что нас душит сфинкс, — мы воображаем сфинкса, чтобы объяснить себе свой ужас. Если так, то в силах ли простой рассказ об увиденном передать смятение, лихорадку, тревогу, страх и восторг, из которых соткался сон этой ночи? И все же попробую рассказать; быть может, в моем случае основная проблема отпадет или хотя бы упростится, поскольку сон состоял из одной-единственной сцены.

Место действия — факультет философии и литературы, время — вечер. Все (как обычно во сне) выглядело чуть иным, как бы слегка увеличенным и потому — странным. Шли выборы руководства; я разговаривал с Педро Энрикесом Уреньей, в действительности давно умершим. Вдруг нас оглушило гулом демонстрации или празднества. Людской и звериный рев катился со стороны Бахо. Кто-то завопил: «Идут!» Следом пронеслось: «Боги! Боги!» Четверо или пятеро выбрались из давки и вошли на сцену Большого зала. Мы били в ладоши, не скрывая слез: Боги возвращались из векового изгнания. Поднятые над толпой, откинув головы и расправив плечи, они свысока принимали наше поклонение. Один держал ветку, что-то из бесхитростной флоры сновидений; другой в широком жесте выбросил вперед руку с когтями; лик Януса не без опаски поглядывал на кривой клюв Тота. Вероятно, подогретый овациями, кто-то из них — теперь уж не

помню кто — вдруг разразился победным клетотом, невыносимо резким, не то свища, не то прополаскивая горло. С этой минуты все переменялось.

Началось с подозрения (видимо, преувеличенного), что Боги не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое; исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к горным. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачной шике игорных домов и борделей Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа. И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве, и — дай мы волю страху или состраданию — они нас уничтожат.

И тогда мы выхватили по увесистому револьверу (откуда-то во сне взялись револьверы) и с наслаждением пристрелили Богов.

INFERNO, I, 32

От сумрака предрассветного до вечернего сумрака, на исходе XII столетия рысь скользила взглядом по деревянным доскам, частоколу металлических прутьев, чередой мужчин и женщин, высоченной стене да иной раз по деревянному желобу с плавающей в нем опавшей листвой. Она не знала, не могла знать, что ее влекло к любви и жестокости, к бурной радости рвать на куски и к ветру, доносящему запах дичи, однако что-то в ней противилось этим чувствам и подавляло их, и Господь сказал ей, спящей: «Ты живешь в клетке и умрешь в ней, дабы один ведомый мне человек приметил тебя, навсегда запомнил и запечатлел твой облик и свое представление о тебе в поэме, место которой в сцеплении времен закреплено навечно. Тебя гнетет неволя, но слово о тебе прозвучит в поэме». Господь, во сне, облагородил грубую природу зверя, который внял доводам и смирился со своей судьбой; однако, проснувшись, он ощутил лишь сумрачное смирение и твердое неведение, ибо законы бытия непостижимы для бесхитростного зверя.

Спустя годы Данте умирал в Равенне, столь же обогланный и одинокий, как и любой другой человек. Господь явился ему во сне и посвятил его в тайное предназначение его жизни и его труда; Данте, пораженный, узнал наконец, кем и чем он был на самом деле, и благословил свои невзгоды. Молва гласит, что, проснувшись, он почувствовал, что приобрел и утратил нечто безмерное, чего уже не вернуть и что даже от понимания ускользает, ибо законы бытия непостижимы для бесхитростных людей.

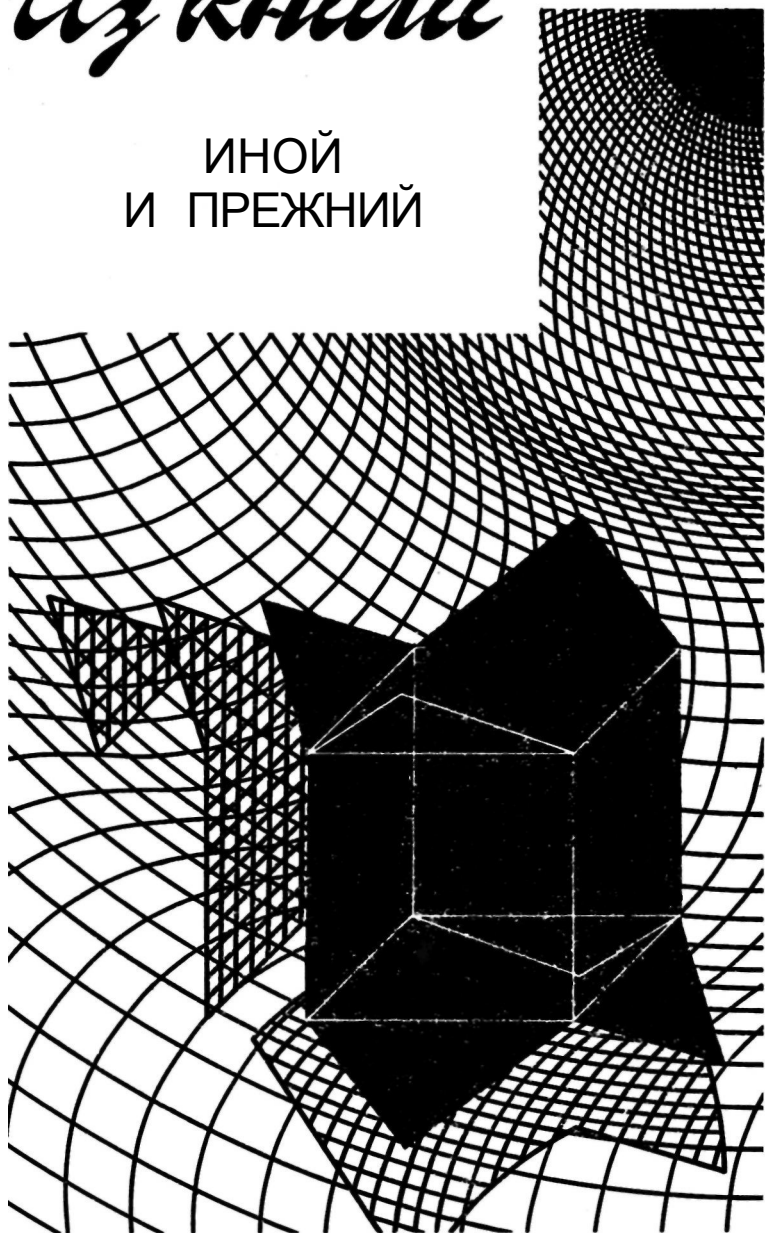
БОРХЕС И Я

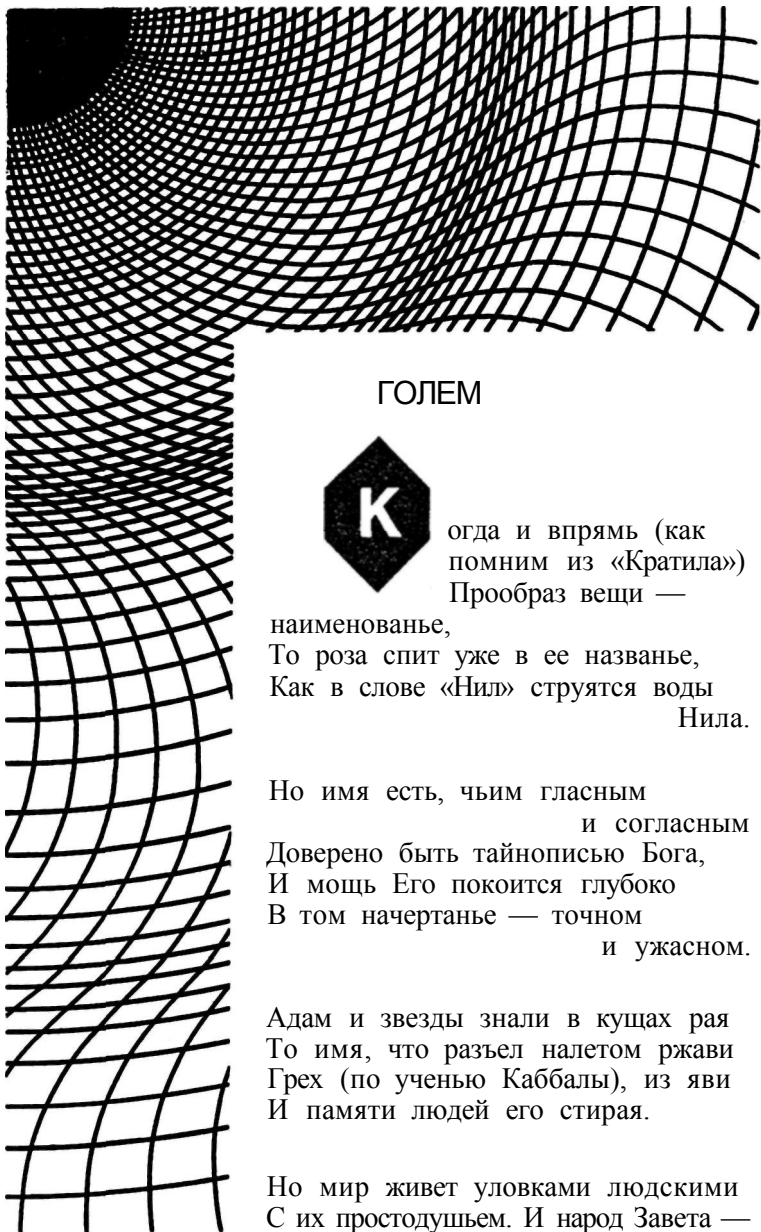
События — удел его, Борхеса. Я бреду по Буэнос-Айресу и останавливаюсь — уже почти машинально — взглянуть на арку подъезда и решетку ворот; о Борхесе я узнаю из почты и вижу его фамилию в списке преподавателей или в биографическом словаре. Я люблю песочные часы, географические карты, издания XVIII века, этимологические штудии, вкус кофе и прозу Стивенсона; он разделяет мои пристрастия, но с таким самодовольством, что это уже походит на роль. Не стоит стучать краски: мы не враги — я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование. Охотно признаю, кое-какие страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь лучшим в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции. Так или иначе, я обречен исчезнуть, и, быть может, лишь какая-то частица меня уцелеет в нем. Мало-помалу я отдаю ему все, хоть и знаю его болезненную страсть к подтасовкам и преувеличениям. Спиноза утверждал, что сущее стремится пребыть собой, камень — вечно быть камнем, тигр — тигром. Мне суждено остаться Борхесом, а не мной (если я вообще есть), но я куда реже узнаю себя в его книгах, чем во многих других или в самозабвенных переборах гитары. Однажды я попытался освободиться от него и сменил мифологию окраин на игры со временем и пространством. Теперь и эти игры принадлежат Борхесу, а мне нужно придумывать что-то новое. И потому моя жизнь — бегство, и все для меня — утрата, и все достается забвенью или ему, другому.

Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.

Из книги

ИНОЙ
И ПРЕЖНИЙ





ГОЛЕМ



огда и впрямь (как
помним из «Кратила»)
Прообраз вещи —

наименованье,
То роза спит уже в ее названье,
Как в слове «Нил» струятся воды
Нила.

Но имя есть, чьим гласным
и согласным
Доверено быть тайнописью Бога,
И мощь Его покоится глубоко
В том начертанье — точном
и ужасном.

Адам и звезды знали в куцах рая
То имя, что разъял налетом ржави
Грех (по ученю Каббалы), из яви
И памяти людей его стирая.

Но мир живет уловками людскими
С их простодушьем. И народ Завета —

Мы знаем, — даже заключенный в гетто,
Отыскивал развеянное имя.

И не о мучимых слепой гордыней:
Прокрасться тенью в смутные анналы, —
История вовек не забывала
О Старой Праге и ее равнине.

Желая знать скрываемое Богом,
Он занялся бессменным испытаньем
Букв и, приглядываясь к сочетаньям,
Сложил то Имя, бывшее Чертогом,

Ключами и Вратами — всем на свете,
Шепча его над куклой бессловесной,
Что создал сам, дабы открыть ей бездны
Письмен, Просторов и Тысячелетий.

Очнувшийся глядел на окруженье,
С трудом разняв дремотные ресницы,
И, не поняв, что под рукой теснится,
Неловко сделал первое движенье.

Но (как и всякий) он лопался в сети
Слов, чтобы в них плутать все безысходней:
«Потом» и «Прежде», «Завтра» и «Сегодня»,
«Я», «Ты», «Налево», «Вправо», «Те» и «Эти».

(Создатель, повинувшись высшей власти,
Творенью своему дал имя «Голем»,
О чем правдиво повествует Шолем —
Смотри параграф надлежащей части.)

Учитель, наставляя истукана:
«Вот это бечева, а это ноги», —
Пришел к тому, что — поздно или рано —
Отродье оказалось в синагоге.

Ошибся ль мастер в написанье Слова
Иль было так начертано от века,
Но силою наказа неземного
Остался нем питомец человека.

Двойник не человека, а собаки,
И не собаки, а безгласной вещи,
Он обращал свой взгляд нечеловечий
К учителю в священном полумраке.

И так был груб и дик обличьем Голем,
Что кот раввина юркнул в безопасный
Укром. (О том коте не пишет Шолем,
Но я его сквозь годы вижу ясно.)

К Отцу вздымая руки иступленно,
Отцовской веры набожною тенью
Он клал в тупом, потешном восхищенье
Нижайшие восточные поклоны.

Творец с испугом и любовью разом
Смотрел, как проносилось у раввина:
«Как я сумел зачать такого сына,
Беспомощности обрекая разум?»

Зачем к цепи, не знавшей о пределе,
Добавил символ? Для чего беспечность
В моток, чью нить расправит только вечность,
Внесла иные поводы и цели?»

В неверном свете храмины пустынной
Глядел на сына он в тоске глубокой...
О, если б нам проникнуть в чувства Бога,
Глядевшего на своего раввина!

НАПОМИНАНИЕ О СМЕРТИ
ПОЛКОВНИКА ФРАНСИСКО БОРХЕСА
(1833—1874)

Он видится мне конным той заветной
Порой, когда искал своей кончины:
Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,
Пребудет этот — горький и победный.
Плывут, отсвечивая белизною,
Скаун и пончо. Залегла в засаде
Погибель. Двигается с тоской во взгляде
Франсиско Борхес пустошью ночью.
Вокруг — винтовочное грохотанье,
Перед глазами — пампа без предела —
Все, что сошлось и стало жизнью целой:
Он на своем привычном поле брани.
Тень высится в эпическом покое,
Уже не досягаема строкою.

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Глядеться в реки — времена и воды —
И вспоминать, что времена как реки,
Знать, что и мы пройдем, как эти реки,
И наши лица минут, словно воды.

И видеть в бодрствованье сновиденье,
Когда нам снится, что не спим, а в смерти —
Подобье нашей еженощной смерти,
Которая зовется «сновиденье».

Считать, что каждый день и год — лишь символ,
Скрывающий любые дни и годы,
И обращать мучительные годы
В строй музыки — звучание и символ.

Провидеть в смерти сон, в тонах заката
Печаль и золото — удел искусства,

Бессмертный и ничтожный. Суть искусства —
Извечный круг рассвета и заката.

По вечерам порою чьи-то лица
Мы смутно различаем в Зазеркалье.
Поэзия и есть то Зазеркалье,
В котором проступают наши лица.

Улисс, увидев после всех диковин,
Как зеленеет скромная Итака,
Расплакался. Поэзия — Итака
Зеленой вечности, а не диковин.

Она похожа на поток бескрайний,
Что мчит, недвижим, — зеркало того же
Эфесца ненадежного, того же
И нового, словно поток бескрайний.

ЧИТАТЕЛИ

Есть основания считать, что некий
Идальго, в помыслах воитель истый,
С лицом костлявым, бледным и землистым,
Всю жизнь провел в своей библиотеке.
Подобная же хроника той вязи
Причудливой насмешек и дерзаний —
Его, а не Сервантеса создание,
Не более как хроника фантазий.
Мне выпал схожий жребий. Вековые
Я схоронил до времени иного
Слова в книгохранилище былого,
Где я с идальго встретился впервые.
Так, перелистывая медленно страницы,
Вникал малыш в тот мир, который мнится.

МАЛОМУ ПОЭТУ КОНЦА ВЕКА

Найти строку для тягостной минуты,
Когда томит нас день, клонясь к закату,
Чтоб с именем твоим связали дату

Той тьмы и позолоты, — вот к чему ты
Стремился. С этой страстью потайною
Склонялся ты по вечерам над гранью
Стиха, что до кончины мирозданья
Лучиться должен той голубизною.
Чем кончил да и жил ли ты, не знаю,
Мой смутный брат, но пусть хоть на мгновенье,
Когда мне одиноко, из забвенья
Восстанет и мелькнет твоя сквозная
Тень посреди усталой вереницы
Слов, к чьим сплетеньям мой черед клониться.

НА ПОЛЯХ «БЕОВУЛЬФА»

Порою сам дивлюсь, что за стеченье
Причин подвигло к безнадежной цели —
Вникать, когда пути уже стемнели,
В суровые саксонские реченья.
Изношенная память, тратя силы,
Не держит повторяемое слово,
Похожая на жизнь мою, что снова
Ткет свой сюжет, привычный и постылый.
Должно быть (думаю), душа в секрете
Хранит до срока свой удел бессмертный
И твердо знает, что ее безмерный
И прочный круг объемлет все на свете.
Вне строк и вне трудов стоит за гранью
Неисчерпаемое мирозданье.

ЗАГАДКИ

Я, шепчущий сегодня эти строки,
Вдруг стану мертвым — воплощенной тайной,
Одним в безлюдной и необычайной
Вселенной, где не властны наши сроки.
Так утверждают мистики. Не знаю,
В Раю я окажусь или в геенне.
Пророчить не решусь. В извечной смене —
Второй Протей — история земная.

Какой бродячий лабиринт, какая
Зарница ожидает в заключенье,
Когда приду к концу круговращения,
Бесценный опыт смерти извлекая?
Хочу глотнуть забвенья ледяного
И быть всегда, но не собою снова.

АЛХИМИК

От сумерек и до рассвета с давних пор,
Когда границы между сном и явью тонки,
Проводит юноша, усталый вперив взор
В жаровни, колбы и сосуд для перегонки.

Он знает: как судьба маячит вдалеке,
Так золото-Протей негаданно, как случай,
Что есть оно в стреле, и в луке, и в руке,
Как пыль его таит, так и песок зыбучий.

И чудится ему, как грязь или звезда
Подскажут ключ от сокровенного секрета,
Истаяв друг во друге: сущее — вода,
Как полагал Фалес, философ из Милета.

Иным видением объят он: соразмерно
Во всем присутствует Господь — изрек Барух.
От точности его захватывает дух
И от глубин — пронзительнее, чем Аверно.

Едва забрезжила вдали полоска света,
И стали меркнуть гаснущей звезды края,
Алхимика влечет загадка бытия,
И ей подвластные металлы и планеты.

Но лишь нащупает он тайное сцепленье,
И золото, залог бессмертия сверкнет,
Господь, алхимии не чуждый, все сотрет
В небытие, ничто, горсть праха и забвенья.

EWIGKEIT ¹

Хочу кастильским выразить стихом
Ту истину, что со времен Сенеки
Завещана латынью нам навеки,
О том, что червь заполонит наш дом.
Хочу восславить трепетную персть,
Расчет холодный и анналы смерти;
Извечной госпожи побед не счесть
Над всей тщетой, что сгинет в круговерти.
Но нет. Все, что из глуби брэнной ила
Благословлял я прежде без прикрас,
Не властна вымыть никакая сила;
Обволочется вечностью тотчас,
Едва исчезнув, все, что было мило:
Закат, луна и этот дивный час.

MORE

Еще из снов (и страхов) не свивало
Сознанье космогоний и преданий,
И не мельчало время, дни чеканя,
А море, как всегда, существовало.
Кто в нем таится? Кто колышет недра,
С землей в извечном безысходном споре?
Кто в тысяче обличий — то же море
Блистаний, бездн, случайности и ветра?
Его встречаешь каждый раз впервые,
Как все, что неподдельно и исконно:
Тускнеющую кромку небосклона,
Луну и головни вечеровые.
Кто в нем таится? Кто — во мне? Узнаю,
Когда закончится тщета земная.

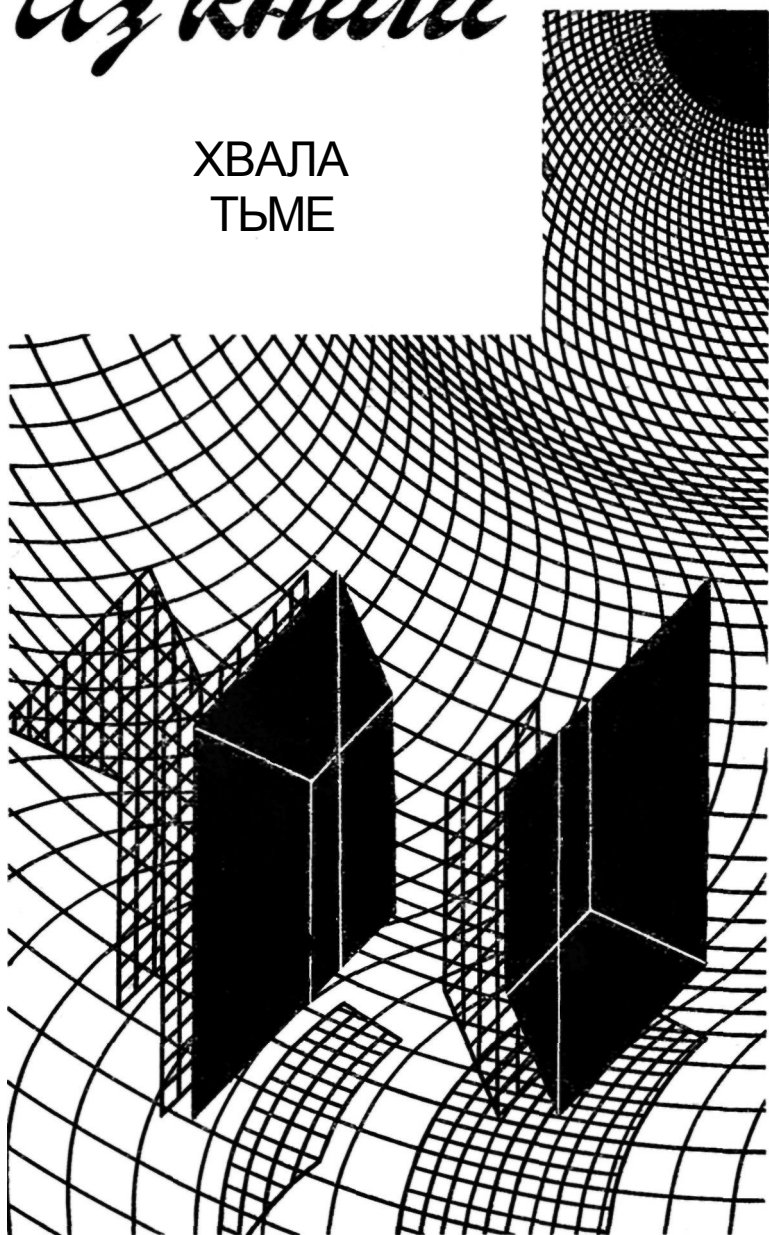
¹ Вечность (нем.).

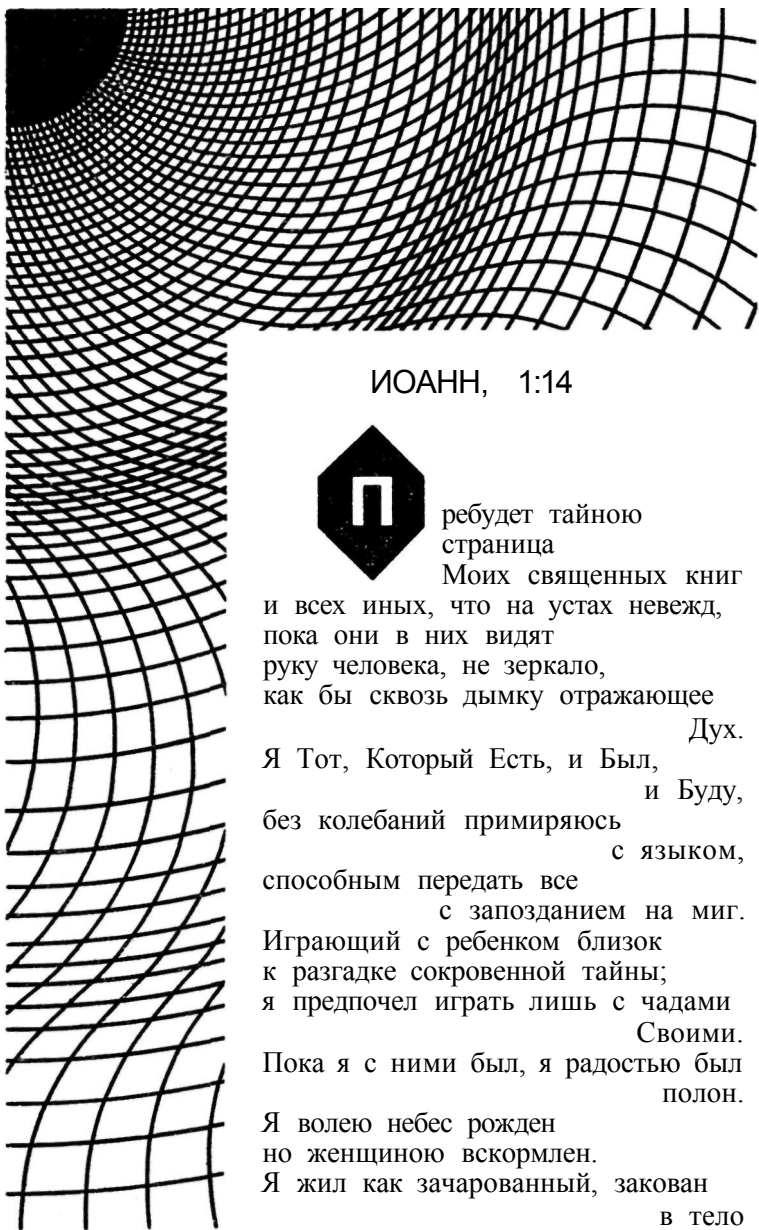
СЫНУ

Не мной ты создан — всеми, кто доньше
Сменялись бесконечными родами
И лабиринт, что начат при Адаме,
Вели братоубийственной пустыней
С тех зорь (теперь — мифических потемок)
До нас, передавая, как наследье,
Кровь, текшую в моем отце и деде
И вновь ожившую в тебе, потомок.
Все — это я. Мы — все. Тысячелетний
Единый ряд с тобою и сынами
Твоими. Все, кто за и перед нами,
От красной глины до трубы последней.
Я переполнен ими. Сущность вечна
Во временном, чья форма скоротечна.

Из книги

ХВАЛА
ТЬМЕ





ИОАНН, 1:14



не будет тайною
страница
Моих священных книг
и всех иных, что на устах невежд,
пока они в них видят
руку человека, не зеркало,
как бы сквозь дымку отражающее
Дух.
Я Тот, Который Есть, и Был,
и Буду,
без колебаний примиряюсь
с языком,
способным передать все
с запозданием на миг.
Играющий с ребенком близок
к разгадке сокровенной тайны;
я предпочел играть лишь с чадами
Своими.
Пока я с ними был, я радостью был
полон.
Я волею небес рожден
но женщиною вскормлен.
Я жил как зачарованный, закован
в тело

и с дремлющей душой.
Я вкус познал воспоминаний,
необъяснимо переменчивых монет.
Познал и ужас, и надежду —
грядущего два замутненных лика.
Познал бессонницу, и сон, и сны,
неведение, и тяжесть плоти,
и лабиринты тесного ума,
и преданность людей,
и непонятную привязанность собак.
Меня любили, понимали, восхваляли, распяли на
кресте.
И чашу выпил я до дна.
Открылись заново моим глазам
и ночь, и звезды.
И мир предстал передо мной песчаным, чистым,
терпким, многоликим
и одаряющим то яблоком, то медом,
водою в пересохшем горле,
железом проникающим в ладони,
то голосом, то шелестом шагов в траве,
то запахом дождя над Галилеей,
то гомоном пичуг.
И горечь я познал.
Эти страницы предназначены любому,
им не вобрать всего, что я хотел сказать,
им суждено быть только отраженьем.
Из вечности Моей скользит за знаком знак.
И пусть уже не тот, кто ныне, напишет новый стих.
Я завтра тигром среди тигров стану,
И Мой закон по джунглям пронесу
или приду с ним к мировому дереву.
А иногда я вспоминаю вдруг с тоской,
что в плотницкой опилки запах и покой.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Дни всех времен таятся в дне едином —
со времени, когда его исток
означил Бог, воистину жесток,
срок положив началам и кончинам,
до дня того, когда круговорот
времен опять вернется к вечно сущим
началам и прошедшее с грядущим
в удел мой — настоящее — сольет.
Пока закат придет заре на смену,
пройдет история. В ночи слепой
пути завета вижу за собой,
прах Карфагена, славу и геенну.
Отвагой, Боже, не оставь меня,
дай мне подняться до вершины дня.

ИЮНЬ 1968 ГОДА

На золотистом закате
(или в пору покоя, чьим символом
мог бы стать золотистый закат)
человек расставляет тома
на привычные полки,
ощущая ткань, кожу, пергамент
и радость, которую дарят
соблюденье обычая
и водворенье порядка.
Два шотландца, Стивенсон с Лэнгом,
чудом возобновят
свой неспешный диспут, оборванный
морем и смертью,
а Рейеса не покоробит
соседство Марона.
(Ставить книги на место — не значит ли это
на свой тихий и скромный лад заниматься
историей литературы?)

Человек — незрячий
и знает, что не прочтет
разбираемых дивных книг,
и они не помогут ему написать
единственно нужную книгу, оправданье всей
жизни,
но на закате (наверное, золотистом)
он улыбается непостижимой судьбе
и ощущает редкое счастье —
круг старых милых вещей.

ЛЕГЕНДА

Встретились Авель и Каин после смерти Авеля. Брели они по пустыне и узнали друг друга издалека, потому что оба были очень высокого роста. Расположились братья на привал, разожгли костер, поели. Оба молчали, как молчат на закате люди, очень за день уставшие. На небе поблескивала какая-то пока безымянная звезда. Костер пылал, и Каин вдруг заметил на лбу Авеля след от удара камнем, уронил поднесенный ко рту хлеб и попросил простить содеянное зло.

Авель сказал:

— А кто кого убил — ты меня или я тебя? Я не помню, сейчас мы, как прежде, вместе.

— Вот теперь я верю, что ты меня на самом деле простил, — сказал Каин, — потому что забыть — значит простить. Я тоже постараюсь забыть.

На это сказал Авель, растягивая слова:

— Да, это так. Пока жива совесть, живы и грехи.

ЧИТАТЕЛЬ

Хвалиться принято собственными книгами;
я же горжусь прочитанными.
Филологом я не буду,
не суждено мне вникать в склонения, наклонения,

мудреное чередование звуков,
при котором «д» приглушается в «т»,
а «т» заменяемо «к»,
однако в течение всей жизни меня неодолимо
влекло к языку.

Моими ночами всецело завладел Вергилий;
забыть латынь, которую ты знал, —
значит нести ее в себе, ибо забвение —
одна из разновидностей воспоминания, пустеющий
подвал,
оборотная сторона монеты.

Стоило потускнеть
милым моему сердцу зыбким образам,
лицам и странице книги,
как я погрузился в изучение языка стальных
созвучий,
которым пользовались мои предки, воспевая
мечи и горечь одиночества,
так что теперь, из глубины семи столетий,
с Ultima Tule,
до меня доносится твой голос, Снорри Стурлусон.
Юноша, склонившись над книгой, исподволь
постигает неминуемость дисциплины,
постигая неотвратимость знаний;
любое же начинание, предпринятое в мои годы,
соприкасается с ночью.

Древними языками Севера я не овладею,
в золото Сигурда жадные руки не погружу;
то, к чему я стремлюсь, — недостижим
и будет сопутствовать мне до конца дней моих,
загадочное, как творение
или как я, ученик.

ХВАЛА ТЬМЕ

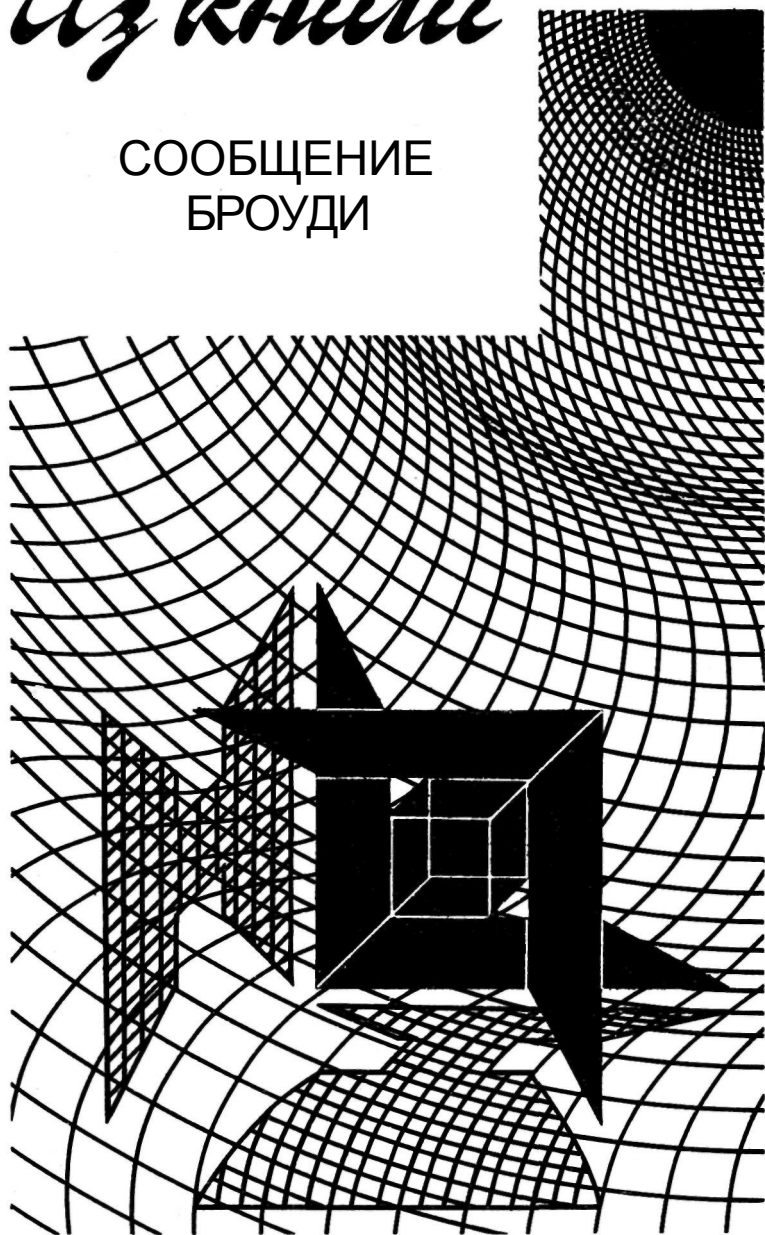
Старость (как ее именуют другие) —
Это, наверно, лучшее время жизни.
Зверь уже умер или почти что умер.

Человек и душа остались.
Я живу среди призраков — ярких или
туманных,
но никак не во мраке.
Буэнос-Айрес,
прежде искромсанный на предместья
до самой бескрайней равнины,
снова стал Реколетой, Ретиро,
лабиринтом вокруг площади Онсе
и немногими старыми особняками,
которые все еще называем Югом.
Мир мне всегда казался слишком подробным.
Демокрит из Абдер ослепил себя, чтобы
предаться
мысли;
время стало моим Демокритом.
Моя полутьма безболезненна и неспешна,
скользит по отлогому спуску
и похожа на вечность.
Лица друзей размыты,
женщины — те же, какими были когда-то,
а кафе, вероятно, совсем другие,
и на страницах книг — ни единой буквы.
Кого-то, должно быть, пугают такие вещи,
а для меня это нежность и возвращенье.
Из всех поколений дошедших доньше текстов
я в силах прочесть немного:
только то, что читаю на память,
читая и преображая.
С Юга и Запада, Севера и Востока
дороги сбегаются, препровождая меня
к моему сокровенному центру.
Эти дороги — отзвуки и отпечатки,
женщины и мужчины, смерти и воскресенья,
ночи и дни,
бдения и кошмары,
каждый миг прожитого тобой
и всего пережитого миром,

датский несокрушимый меч и арабский месяц,
деяния мертвых,
счастье взаимности, найденные слова,
Эмерсон, снег и столько всего на свете!
Теперь их можно забыть. Я иду к моему
средоточию,
к окончательной формуле,
к зеркалу и ключу.
Скоро узнаю, кто я.

Из книги

СООБЩЕНИЕ
БРОУДИ





ЗЛОДЕЙКА



Говорят (хотя слухам и трудно верить), что история эта была рассказана самим Эдуардо, младшим Нильсеном, во время бдения у гроба Кристиана, старшего брата, умершего естественной смертью в тысяча восемьсот девяносто каком-то году, в округе Морон. Но точно известно, что кто-то слышал ее от кого-то той долго не уходившей ночью, которую коротали за горьким мате, и передал Сантьяго Дабове, а он мне ее и поведал. Многие годы спустя я снова услышал ее в Турдере, там, где она приключилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом соответствовала рассказу Сантьяго — с некоторыми вариациями и отступлениями, что является делом обычным. Я же пишу эту историю теперь потому, что в ней как в зеркале видится, если не ошибаюсь, трагическая и ясная суть характера

прежних жителей столичных окрестностей. Постараюсь точно все передать, хотя уже чувствую, что поддамся литературным соблазнам подчеркивать или расписывать ненужные частности.

В Турдере их называли Нильсены. Приходский священник сказал мне, что его предшественник был удивлен, увидев в доме этих людей потрепанную Библию в черном переплете и с готическим шрифтом; на последних страницах он заметил помеченные от руки даты и имена. Это была единственная книга в доме. Беспорядочная хроника Нильсенов, сгинувшая, как сгинет все. Дом, уже не существующий, был глинобитный, с двумя патио: главным, вымощенным красной плиткой, и вторым — с земляным полом. Впрочем, мало кто там бывал. Нильсены охраняли свое одиночество. Спали в скупо обставленных комнатах на деревянных кроватях. Их отрадой были конь, сбруя, нож с коротким клинком, буйные гульбища по субботам и веселящее душу спиртное. Знаю, что были они высоки, с рыжими гривами. Дания или Ирландия, о которых они, пожалуй, не слыхивали, была в крови этих двух креолов. Округа боялась Рыжих: возможно, они убили кого-то. Однажды братья плечом к плечу дрались с полицией. Говорят, младший как-то столкнулся с Хуаном Иберрой и сумел постоять за себя, по мнению людей бывалых, многое значит. Были они и погонщиками, и шкуры дубили, и скот забивали, а порой и стада клеймили. Знали цену деньгам, только на крепкие напитки и в играх они не скупилась. Об их сородичах никто не слыхивал, и никто не знал, откуда они сами явились. У них была упряжка быков и повозка.

Обликом своим они отличались от коренных обитателей пригорода, некогда давших этому месту дерзкое имя Баламутный берег. Это и еще то, чего мы не ведаем, объясняет крепкую дружбу двух братьев. Повздорить с одним означало сделать обоих своими врагами.

Нильсены были гуляки, но их любовные похождения пока ограничивались чужой подворотней или публичным домом. Поэтому было немало толков, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос. Он, конечно, обзавелся служанкой, но правда и то, что да-

рил ей красивые побрякушки и брал с собой на гулянья. На скромные гулянья соседей, где отбивать чужих девушек не было принято, а в танцах еще находили великую радость. У Хулианы были миндалевидные глаза и смуглая кожа; достаточно было взглянуть на нее, как она улыбалась в ответ. В бедном квартале, где труд и заботы иссушали женщин, она выглядела привлекательной.

Эдуардо вначале всюду бывал вместе с ними. Потом вдруг отправился в Арресифес — не знаю зачем — и привез, подобрав по пути, какую-то девушку, но через несколько дней выгнал ее. Он стал более угрюм, пил один в альмасене, всех избегал. Он влюбился в женщину Кристиана. Квартал, узнавший об этом, наверное, раньше его самого, ждал со злорадством, чем кончится тайное соперничество братьев.

Как-то вернувшись поздно ночью из питейного заведения, Эдуардо увидел гнедую лошадь Кристиана, привязанную к столбу под навесом. Старший брат ждал его в патио, одетый по-праздничному. Женщина вышла и вернулась с мате в руках. Кристиан сказал Эдуардо:

— Я еду один на пирушку к Фариясу. Хулиана останется. Если захочешь, пользуйся.

Голос звучал властно и добро. Эдуардо застыл на месте, глядя в упор на брата, не зная, что делать. Кристиан встал, простился с Эдуардо, даже не взглянув на Хулиану — она была вещью, — сел на лошадь и удалился неспешным галопом.

С той самой ночи они делили ее. Никто толком не знает, как протекала их жизнь в этом постыдном союзе, нарушавшем благопристойный быт пригорода. Все шло гладко недели три, но долго так не могло продолжаться. Братья не произносили имени Хулианы, даже окликая ее, но искали — и находили — поводы для размолвок. Если шел спор о продаже каких-то шкур, спор был совсем не о шкурах. Кристиан всегда повышал голос, а Эдуардо отмалчивался. Волей-неволей они ревновали друг друга. Жестокие нравы предместий не позволяли мужчине признаваться, даже себе самому, что женщина может в нем вызвать что-то иное, чем

просто желание обладать ею, а они оба влюбились. И это известным образом их унижало.

Как-то вечером на площади Ломас Эдуардо встретил Хуана Иберру, и тот поздравил его с красоткой, которую ему удалось отбить. Думаю, именно тогда Эдуардо его и отделал. Никто при нем не мог насмеяться над Кристианом.

Женщина служила обоим с животной покорностью, но не могла скрыть того, что отдает предпочтение младшему, который не отверг своей доли, но и не первым завел этот порядок в доме.

Однажды Хулиане велели поставить два стула в главном патио и не появляться там — братьям надо было поговорить. Она долго ждала конца разговора и прилегла отдохнуть на время сиесты, но ее скоро окликнули. И приказали сложить в мешок все ее вещи, даже стеклянные четки и крестик, оставленный матерью. Без всяких объяснений ее усадили в повозку и отправились в путь, безмолвный и тягостный. Дождь испортил дорогу, и только к пяти утра они добрались до Морона. Там они продали ее хозяйке публичного дома. Сделку заключили на месте, Кристиан взял деньги и половину отдал младшему брату.

В Турдере Нильсены, выбравшись наконец из трясины любви (становившейся их погибелью), пожелали вернуться к своей прежней жизни мужчин в окружении мужчин. И снова принялись за драки, попойки и ссоры. Может быть, иной раз они и верили в свое спасение, но нередко бывали — каждый по своим делам — в неоправданных или вполне оправданных отлучках. Незадолго до Нового года младший сказал, что ему надо в Буэнос-Айрес. А Кристиан отправился в Морон, и под навесом достопамятного дома увидел солового коня Эдуардо. Вошел. Там сидел младший брат, ожидая очереди. Видимо, Кристиан сказал ему:

— Если так будет впредь, мы загоним коней. Лучше пусть она будет у нас под рукой.

Поговорив с хозяйкой, вытащил из-за пояса деньги, и братья забрали ее с собой. Хулиана поехала с Кристианом. Эдуардо пришпорил солового, чтобы на них не смотреть.

Все вернулись к тому, о чем уже говорилось. Мерзкое решение проблемы не послужило выходом, оба унизились до взаимного обмана. Каин бродил совсем рядом, но привязанность братьев Нильсен друг к другу была велика — кто знает, какие трудности и опасности они одолели вместе! — и отныне оба предпочитали вымещать свою злость на других. На чужих, на собаках, на Хулиане, внесшей разлад.

Месяц март шел к концу, но жара не спадала. В воскресенье (по воскресеньям люди рано расходятся по домам) Эдуардо, вернувшись из альмасена, увидел, что Кристиан запрягает быков. Кристиан сказал ему:

— Пойди-ка сюда. Надо отвезти несколько шкур для Пардо. Я уже нагрузил. Ехать легче в прохладное время.

Торговый склад Пардо, мне кажется, был дальше к Югу. Они ехали по дороге Лас-Тропас, а потом взяли в сторону. К ночи степь все шире распластывалась перед ними.

Они ехали мимо болота с осокой. Кристиан бросил тлевшую сигарету и спокойно сказал:

— Теперь за работу, брат. Нам потом помогут стервятники. Я сегодня ее убил. Пусть останется здесь со своими вещами. Больше вреда от нее не будет.

И они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывала еще одна нить: женщина, с болью принесенная в жертву, и необходимость забыть ее.

НЕДОСТОЙНЫЙ

Наше представление о городе всегда несколько анахронично: кафе успело выродиться в бар, а подъезд, сквозь арки которого можно было разглядеть внутренние дворики и беседку, превратился в грязноватый коридор с лифтом в глубине. Так, я несколько лет считал, что в определенном месте улицы Талькауано меня ждет книжный магазин «Буэнос-Айрес», но однажды утром убедился, что его сменила антикварная лавка, а дон Сантьяго Фишбейн, прежний владелец, умер. Он был довольно толстым... Я помню не столько черты его лица, сколько наши долгие разговоры. Уравновешенный и

основательный, он имел обыкновение порицать сионизм, который превращает еврея в человека заурядного, привязанного к одной традиции и одной стране, лишённого тех сложностей и противоречий, которые сейчас обогащают его. Это он сказал мне, что готовится довольно полное издание работ Баруха Спинозы, без всей этой евклидовой терминологии, затрудняющей чтение и придающей фантастической теории мнимую строгость. Он показывал, но не захотел продать мне любопытный экземпляр «Приоткрытой каббалы» Розенрота, однако на некоторых книгах Гинзбурга и Уэйта из моей библиотеки стоит штамп его магазина.

Как-то вечером, когда мы сидели вдвоем, он поведал мне эпизод из своей жизни, который теперь можно пересказать. Я лишь изменю, как можно догадаться, некоторые подробности.

Я собираюсь рассказать вам историю, которая не известна никому. Ни Ана, моя жена, и никто из самых близких друзей не знают ее. Это произошло так давно, что будто и не со мной. Вдруг эта история пригодится для рассказа, в котором у вас, несомненно, без кинжалов не обойдется. Не помню, говорил ли я вам когда-нибудь, что я из провинции Энтре-Риос. Не скажу, что мы были еврей-гаучо, гаучо-евреев не бывает вовсе. Мы были торговцами и фермерами. Я родился в Урдинарраине, который почти не сохранился в моей памяти; когда мои родители перебрались в Буэнос-Айрес, чтобы открыть лавку, я был совсем мальчишкой. Неподалеку от нас находился квартал Мальдонадо, дальше шли пустыри.

Карлейль писал когда-то, что люди не могут жить без героев. Курс истории Гроссо предлагал мне культ Сан-Мартина, но я видел в нем лишь военного, который когда-то воевал в Чили, а теперь стал бронзовым памятником и названием площади. Случай столкнул меня с совсем иным героем — с Франсиско Феррари, к несчастью для нас обоих. Должно быть, вы слышите это имя впервые.

Хотя наш квартал не пользовался сомнительной славой, как Корралес и Бахо, но и здесь в каждом альмагене была своя компания завсегдатаев. Заведение на уг-

лу Триумвирата и Темзы было излюбленным местом Феррари. Там-то и произошел случай, сделавший меня одним из его приверженцев. Я собирался купить четвертушку чая. Появился незнакомец с пышной шевелюрой и усами и заказал можжевелевой водки. Феррари мягко спросил его:

— Скажи-ка, не с тобой ли мы виделись позавчера вечером на танцах у Хулианы? Ты откуда?

— Из Сан-Кристобаля, — отвечал тот.

— Мой тебе совет, — проникновенно продолжал Феррари, — больше сюда не ходи. Здесь есть люди непорядочные, как бы они не устроили тебе неприятности.

И тот, из Сан-Кристобаля, убрался, вместе со своими усами. Возможно, он был не трусливей Феррари, но понимал, что здесь своя компания.

С этого вечера Феррари стал тем кумиром, которого жаждали мои пятнадцать лет. Он был темноволос, высок, хорошо сложен, красив — в стиле того времени. Одевался всегда в черное. Другой случай свел нас. Я шел по улице с матерью и теткой. Мы поравнялись с компанией подростков, и один из них громко сказал:

— Дайте пройти этим старухам.

Я не знал, что делать. Тут вмешался Феррари, который вышел из дома. Он встал перед заводилой и сказал ему:

— Если тебе надо привязаться к кому-нибудь, давай лучше ко мне.

Они ушли гуськом, друг за другом, и никто не произнес ни слова. Они знали его.

Он пожал плечами, поклонился нам и пошел дальше. Перед тем как уйти, он обратился ко мне:

— Если ты свободен, приходи вечером в забегаловку.

Я остолбенел. Сара, моя тетка, изрекла:

— Вот кабальеро, который относится к женщинам с почтением.

Мать, чтобы выручить меня, заметила:

— Вернее было бы назвать его парнем, которому не хочется походить на других.

Я не знаю, как объяснить происшедшее. Сейчас я нажил кое-какое состояние, у меня магазин и книги, которые мне нравятся, мне доставляют радость друже-

ские связи, подобные нашей, у меня жена и дети, я вступил в социалистическую партию, я порядочный аргентинец и порядочный еврей. Я уважаемый человек. Вы видите, я почти лыс; а тогда я был бедным рыжим пареньком с окраины. Люди смотрели на меня свысока. Как и все в юности, я старался быть похожим на остальных. Я стал называть себя Сантьяго, чтобы не быть Якобом, но остался Фишбейном. Мы кажемся себе такими, какими видят нас другие. Я ощущал презрение окружающих и сам презирал себя. В те времена и особенно в той среде много значило быть храбрым, я же считал себя трусом. Женщины внушали мне робость, я втайне стыдился своего вынужденного целомудрия. Друзей-ровесников у меня не было.

Я не пошел в альмасен в тот вечер. И лучше бы не ходил совсем. Но постепенно мне стало казаться, что приглашение было приказом; в субботу после обеда я вошел в зал.

Феррари сидел во главе одного из столов. Остальных, их было человек семь, я встречал раньше. Феррари был старшим, если не считать старого человека, неразговорчивого, с усталым голосом, чье имя единственно уцелело в моей памяти: дон Элисео Амаро. Шрам пересекал его лицо, широкое и обрюзгшее. Потом мне сказали, что он побывал в тюрьме.

Феррари усадил меня по левую руку; дону Элисео пришлось подвигнуться. Мне было не по себе. Я опасался, что Феррари может упомянуть о том неприятном случае. Ничего подобного; они говорили о женщинах, о карточной игре, о выборах, о певце, который должен был выступить, но не приехал, о событиях в квартале. Поначалу им было трудно принять меня, но потом они привыкли, потому что этого хотел Феррари. Хотя фамилии их были по большей части итальянские, каждый считал себя (и его считали) креолом и даже гаучо. Кое-кто из них был возчиком или работал на бойне; общение с животными делало их похожими на крестьян. Подозреваю, что самым заветным желанием каждого было бы стать вторым Хуаном Морейрой. В конце концов они дали мне прозвище Рыжий, но в нем не было презрения. У них я выучился курить и многому другому.

В одном доме на улице Хунин меня как-то спросили, не друг ли я Франсиско Феррари. Я сказал, что нет, сочтя утвердительный ответ похвальбой.

Однажды явились полицейские и обыскали нас. Некоторым пришлось идти в комиссариат; Феррари не тронули. Недели через две повторилось то же самое, но на этот раз увели и Феррари, потому что у него за поясом был нож. А может быть, он потерял расположение местного начальства.

Сейчас я вижу в Феррари бедного юношу, которого обманули и предали; тогда он казался мне богом.

Дружба не менее таинственна, чем любовь или какое-нибудь другое обличие путаницы, именуемое жизнью. Мне однажды пришло в голову, что нетаинственно только счастье, потому что оно служит оправданием само себе. Дело было в том, что Франсиско Феррари, смелый и сильный, питал дружеские чувства ко мне, изгою. Мне казалось, что произошла ошибка и что я недостойн этой дружбы. Я пытался уклониться, но он не позволил. Мое смятение усугублялось неодобрением матери, которая не могла примирить мои поступки с тем, что она именovala моралью и что вызывало у меня насмешку. Главное в этой истории — мои отношения с Феррари, а не совершенная подлость, в которой я сейчас и не раскаиваюсь. Пока длится раскаяние, длится вина.

Старик, который снова сидел рядом с Феррари, о чем-то тихо с ним говорил. Они что-то замышляли. Со своего места за столом я, кажется, разобрал имя Вайдеманна, чья ткацкая фабрика находилась неподалеку от нашего квартала. Вскоре мне без всяких объяснений было велено обойти кругом фабрики и хорошенько изучить все входы. Вечерело, когда я перешел ручей и железнодорожные пути. Мне вспоминаются одиночные дома, заросли ивняка и пустыри. Фабрика была новая, но выглядела заброшенной и стояла на отшибе; красный цвет ее стен сливается в моей памяти с закатным небом. Вокруг фабрики шла ограда. Кроме главного входа, было еще две двери на южной стороне, которые вели прямо в помещения.

Должен признаться, я поздно понял то, что вам уже

ясно. Мои сведения о фабрике подтвердил один из парней, у которого там работала сестра. Отсутствие компании в альмасене в субботу вечером не осталось бы незамеченным, и Феррари решил, что налет произойдет в следующую пятницу. Мне досталось караулить. Пока нас не должны были видеть вместе. Когда мы оказались на улице вдвоем, я спросил Феррари:

— Ты доверяешь мне?

— Да, — ответил он. — Я знаю, ты поведешь себя достойно мужчины.

Я спокойно спал и эту ночь, и после. В среду я сказал матери, что поеду в центр смотреть новый ковбойский фильм. Я оделся в самое лучшее, что у меня было, и отправился на улицу Морено. Трамвай тащился долго. В полицейском управлении мне пришлось ждать, пока наконец один из служащих, некий Эальд или Альт, не принял меня. Я сказал, что пришел с секретным сообщением. Он ответил, что я могу говорить смело. Я раскрыл ему, что задумал Феррари. Меня удивило, что это имя ему незнакомо; не то что имя дона Элисео.

— А! — сказал он. — Этот из шайки квартала Ориенталь.

Он позвал другого офицера, ответственного за наш район, и они стали совещаться. Один из них не без издевки спросил:

— Ты пришел донести, потому что считаешь себя порядочным гражданином?

Я почувствовал, что он не поймет меня, и ответил:

— Да, сеньор. Я порядочный аргентинец.

Мне велели выполнять то, что было поручено, но не свистеть при виде приближающихся полицейских. Прощаясь, один из офицеров предостерег меня:

— Будь осторожен. Знаешь, что бывает с теми, кто стукнет.

Полицейские развлекались со мной, как школьники. Я ответил:

— Пускай бы меня убили. Это было бы лучше всего.

С рассвета пятницы я чувствовал радость, что настал решающий день, и угрызения совести, оттого что не ощущал угрызений совести. Время тянулось долго. Я

почти ничего не ел. В десять вечера мы все вместе пошли к кварталу, где находилась злополучная фабрика. Одного из нас не было; дон Элисео заметил, что всегда кто-нибудь подведет. Я подумал, что после во всем обвинят того, кто не пришел. Только что кончился дождь. Я боялся, что кто-нибудь станет со мной, но меня поставили одного у двери на южной стороне. Вскоре появились полицейские, и с ними офицер. Они шли пешком, без лошадей, чтобы не привлекать внимания. Дверь была взломана, так что они смогли проникнуть внутрь без шума. Меня оглушили четыре выстрела. Я решил, что внутри, в темноте, они поубивали друг друга. Тут я увидел выходящих полицейских и парней в наручниках. Потом двое полицейских проволокли прошитых пулями Франсиско Феррари и дона Элисео Амаро. На предварительном следствии говорилось, что они оказали сопротивление при аресте и первыми открыли огонь. Я знал, что это ложь, потому что никогда не видел у них револьвера. Полиция воспользовалась случаем свести старые счеты. Потом мне сказали, что Феррари пытался бежать, но одной пули оказалось достаточно. Газеты, разумеется, изобразили его героем, каким он, наверное, никогда не был и о каком я мечтал.

Меня забрали вместе с остальными и через некоторое время выпустили.

ДРУГОЙ ПОЕДИНОК

Немало времени прошло с тех пор, как сын уругвайского писателя Карлос Рейлес рассказал мне эту историю летним вечером в квартале Адрогге. Длинная хроника ненависти и ее страшный конец слились у меня в памяти с аптечным запахом эвкалиптов и птичьими голосами.

Как всегда, мы говорили о перепутавшихся историях двух наших стран. Рейлес поинтересовался, не доводило ли мне слышать о Хуане Патрисиио Нолане, известном в свое время удальце, весельчаке и плуте. Солгав, я ответил, что слышал. Хотя Нолан скончался еще в девяностых годах, многие и по сей день дружески его

вспоминали. Находились, впрочем, и недоброжелатели. Рейлес рассказал мне об одной из его бесчисленных каверз. Случай произошел незадолго до боя при Манантьялес, главными героями были двое гаучо из Серро-Ларго — Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра.

Как и отчего зародилась их ненависть? Как теперь, почти век спустя, воскресить смутную историю двух мужчин, от которых осталась в памяти только их последняя схватка? Управляющий именем Рейлеса-отца, человек, носивший имя Ладереча и «усы тигра», восстановил по устным преданиям кое-какие детали, которые я и привожу здесь без особой уверенности, поскольку и забвение, и память равно изобретательны на выдумки.

Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра владели небогатыми участками по соседству. Истоки ненависти, как и других страстей, темны. Поговаривали не то о распре из-за неклеяменого скота, не то о скачках, на которых Сильвейра, превосходя соперника силой, обошел лошадь Кардосо. Несколько месяцев спустя они долго резались один на один в «труко» за столиком местной пульперии; Сильвейра громко поздравлял противника с каждой взяткой, но в конце концов обыграл его подчистую. Убирая деньги в кожаный пояс, Сильвейра поблагодарил Кардосо за урок. Еще чуть-чуть — и дело, полагаю, дошло бы до рукопашной. Игра была жаркая, зрители, которых собралось немало, разняли партнеров. В здешних суровых краях по тем временам только так и жили — мужчина против мужчины, нож против ножа; однако в истории Кардосо и Сильвейры то и примечательно, что они, должно быть, не раз сталкивались на окрестных холмах и утром и вечером, но никогда не дрались до самого конца. Видимо, в убогой, примитивной жизни каждого не было ничего дороже этой ненависти, и оба заботливо копили ее. Сами того не подозревая, они стали рабами друг друга.

Рассказывая о дальнейших событиях, я не знаю; где здесь причины, а где — следствия. Кардосо, не столько по любви, сколько для развлечения, сошелся с некоей Сервильяной, девицей, жившей по соседству; прослышав об этом, Сильвейра тоже приударил за ней, забрал к себе, а через несколько месяцев выгнал, чтобы не

путалась под ногами. В бешенстве она кинулась искать защиты у Кардосо, но тот переспал с ней ночь, а утром распростился, гнушаясь чужими объедками.

Примерно тогда же, не помню, до или после Сервильяны, приключилась история со сторожевым псом. Сильвейра питал к нему слабость и звал, по числу основателей Уругвая, Тридцать Три. Пса нашли мертвым в канаве; Сильвейре не пришлось ломать голову, кто подсыпал яд.

Зимой 1870-го мятеж, поднятый Апарисио, застал их за картами в той же пульперии. Воззав ко всем присутствующим, командир отряда повстанцев, бразилец-мулат, провозгласил, что они нужны родине и не станут больше терпеть гнет властей, раздал белые кокарды и, окончив речь, которой никто не понял, погнал наших героев вместе с остальными. Их даже не отпустили проститься с семьями. Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра приняли это как должное: жизнь солдата мало чем отличалась от жизни гаучо. Спать на земле, положив под голову седло, они давно привыкли; рукам, запросто валившим быка, не составляло труда уложить человека. Не обладая воображением, они не чувствовали ни жалости, ни страха, хотя порой им случалось холодеть, идя в атаку. Лязг стремян и оружия, когда в дело вступает конница, услышит любой. Но, если сразу не ранят, потом ощущаешь себя неуязвимым. Тоски по дому они не знали. Идея патриотизма была им чужда, и, кроме кокард на тулье, ничто не связывало их ни с той, ни с другой стороной. Скоро они наловчились орудовать пиками. В атаках и контратаках оба поняли, что можно быть соратниками и оставаться врагами. Сражаясь бок о бок, они, насколько известно, не перекинулись ни словом.

Душной осенью семьдесят первого пришел их конец.

Короткий, меньше часа, бой завязался в одном из тех глухих углов, названия которых никто не знал (историки окрестили их гораздо позже). Утром перед схваткой Кардосо на четвереньках пробрался в палатку командира и приглушенным голосом попросил в случае победы оставить ему кого-нибудь из «Колорадо», поскольку он в жизни не перерезал человеку горло и хо-

чет узнать, каково это на деле. Офицер обещал не забыть, если в бою он покажет себя настоящим мужчиной.

«Бланко» подавляли числом, но «Колорадо» были лучше вооружены и косили противника с холма. После двух безрезультатных бросков на вершину тяжелораненый командир «бланко» приказал своим сдаваться. В ту же минуту его, по собственной просьбе, прикончили ударом ножа.

Нападавшие сложили оружие. Капитан Хуан Патрицио Нолан, командовавший «Колорадо», продумал предстоящее уничтожение пленных до мельчайших деталей. Сам из Серро-Ларго, он знал о застарелой вражде Сильвейры и Кардосо. Приказав отыскать их, он объявил:

— Вы, я слышал, терпеть друг друга не можете и с давних пор ищите случая поквитаться. Считайте, вам повезло. Еще до заката у вас будет случай показать, кто из двоих настоящий мужчина. Вам перережут горло, а потом пустят наперегонки. Выигрыш — в руках божьих.

Конвоир отвел их обратно.

Новость тут же облетела лагерь. Сперва Нолан распорядился устроить гонки по окончании вечерней акции, но пленные прислали делегата сообщить, что они тоже хотят быть зрителями и делать ставки на претендентов. Человек с понятием, Нолан пошел им навстречу. В заклад принимались деньги, сбруя, оружие, кони: они отходили вдовам и сиротам. Стояла редкая духота; начать условились в четыре, дабы никого не лишать сиесты. Верный латиноамериканской манере, Нолан продлил ожидание еще на час. Видимо, он обсуждал с остальными офицерами нынешнюю победу; вестовой с чайником мелькал туда и обратно.

По обе стороны пыльной дороги вдоль палаток тянулись ряды пленных со связанными за спиной руками, рассеявшихся на земле, чтобы зря не трудить ноги. Некоторые облегчали душу бранью, другие повторяли «Отче наш», почти все выглядели оглушенными. Курить, понятно, никто не мог. Было уже не до гонок, но все смотрели вперед.

— Скоро и меня прирежут, — с завистью вздохнул один.

— Да еще как, со всем гуртом вместе, — подхватил сосед.

— А то тебя по-другому, — огрызнулся первый.

Сержант провел саблей черту поперек дороги. Сильвейру и Кардосо развязали, чтоб свободней было бежать. Оба встали у черты шагах в пяти друг от друга. Офицеры призывали их не подвести, говоря, что на каждого надеются и поставили кучу денег.

Сильвейре выпало иметь дело с цветным по имени Нолан; видимо, его предки были рабами в поместье капитана и потому носили его фамилию. Кардосо достался профессионал, старик из Коррьентес, имевший обыкновение подбадривать осужденных, трепля их по плечу и приговаривая: «Ну-ну, парень, женщины и не такое терпят, а рожают».

Подавшись вперед, двое измученных ожиданием не смотрели друг на друга.

Нолан дал знак начинать.

Гордясь порученной ролью, цветной с маху развалил горло от уха до уха; коррентинец обошелся узким надрезом. Из глоток хлынула кровь. Соперники сделали несколько шагов и рухнули ничком. Падая, Кардосо простер руки. Так, вероятно и не узнав об этом, он выиграл.

ГУАЯКИЛЬ

Не видеть мне отражения вершины Игерота в водах залива Пласидо, не бывать в Восточной провинции, не разглядывать письма Боливара в той библиотеке, которую я пытаюсь представить себе отсюда, из Буэнос-Айреса, и которая, несомненно, имеет свою определенную форму и бросает на землю свою ежевечерне растущую тень.

Перечитываю первую фразу, прежде чем написать вторую, и удивляюсь ее тону, одновременно меланхоличному и напыщенному. Видимо, трудно говорить об этой карибской республике, не заражаясь, хотя бы от-

части, пышным стилем ее самого известного бытописателя — капитана Юзефа Коженевского, но в данном случае не он тому причина.

Первая фраза просто отразила мое невольное желание вести рассказ в патетическом тоне о несколько грустном, а в общем, пустячном эпизоде. Я предельно честно опишу случившееся. Это поможет мне самому лучше понять то, что произошло. Помимо всего прочего, изложить происшествие — значит перестать быть действующим лицом и превратиться в свидетеля, в того, кто смотрит со стороны и рассказывает и уже ни к чему не причастен.

История приключилась со мною в прошлую пятницу, в этой же самой комнате, где я сейчас сижу; в этот же самый вечерний час, правда, сегодня несколько более прохладный. Знаю, что все мы стараемся позабыть неприятные вещи, однако хочу записать свой диалог с доктором Эдуардом Циммерманом — из Южного университета, — прежде чем наш разговор канет в Лету. В моей памяти еще живо каждое слово.

Чтобы рассказ мой был ясен, постараюсь вкратце напомнить о любопытной судьбе, постигшей отдельные письма Боливара, которые вдруг обнаружили в архивах доктора Авельяноса, чья «История полувековой смуты», считавшаяся пропавшей при известных всем обстоятельствах, затем была найдена и опубликована в 1939 году его внуком, доктором Рикардо Авельяносом. Судя по многим газетным отзывам, которые я собрал, эти письма Боливара не представляют особого интереса, кроме одного-единственного, написанного в Картахене 13 августа 1822 года, где Освободитель касается некоторых подробностей своего свидания с генералом де Сан-Мартинем. Трудно переоценить важность этого документа, в котором Боливар сообщает, хотя и довольно скупно, о том, что же произошло в Гуаякиле. Доктор Рикардо Авельянос, противник всякой официозности, отказался передать письма своей Академии истории и предложил ознакомиться с ними многим латиноамериканским республикам. Благодаря похвальному рвению нашего посла, доктора Меласы, аргентинское правительство успело первым воспользоваться этим бескоры-

стным предложением. Было договорено, что уполномоченное лицо приедет в Сулако, столицу Западного Государства, и снимет копии с писем для их публикации в Аргентине. Ректор нашего университета, где я занимаю должность профессора на кафедре истории Америки, был столь любезен, что рекомендовал министру возложить эту миссию на меня. Я получил также более или менее единогласную поддержку своих коллег по Национальной Академии истории, действительным членом которой состою. Уже была назначена дата аудиенции у министра, когда мы узнали, что Южный университет, который, как хотелось бы верить, не зная об этих решениях, предложил со своей стороны кандидатуру доктора Циммермана.

Речь идет — и, может быть, читателю он знаком, — об одном иностранном историографе, выдворенном из своей страны правителями третьего рейха и получившем аргентинское гражданство. Из его трудов, безусловно заслуживающих внимания, я знаком только с его новой трактовкой подлинной истории Карфагенской семитской республики — о которой потомки могли судить лишь со слов римских историков, ее недругов, — а также со своего рода эссе, где автор утверждает, что управление государством не следует превращать в публичный патетический спектакль. В это обоснованное утверждение внес решительный корректив Мартин Хайдеггер, показавший с помощью фотокопий газетных цитат, что современный руководитель государства отнюдь не анонимный статист, а главное действующее лицо, режиссер, пляшущий Давид, который воплощает драму своего народа, прибегая к сценической помпезности и, понятно, к гиперболам ораторского искусства. Само собой разумеется, он доказал, что Циммерман по происхождению еврей, чтобы не сказать — иудей. Публикация именитого экзистенциалиста послужила непосредственным поводом для изгнания Циммермана и освоения нашим гостем новых сфер деятельности.

Понятно, Циммерман не замедлил явиться в Буэнос-Айрес на прием к министру, министр же через секретаря попросил меня поговорить с Циммерманом и объяснить ему положение дел — во избежание недо-

разумений и неблагоприятных препирательств между двумя университетами. Мне, естественно, пришлось согласиться. Возвратившись домой, я узнал, что доктор Циммерман звонил недавно по телефону и сообщил о своем намерении быть у меня ровно в шесть вечера. Дом мой, как известно, находится на улице Чили. Прошло шесть, и раздался звонок.

Я — с республиканской демократичностью — сам открыл ему дверь и повел в кабинет. Он задержался в патио и огляделся. Черный и белый кафель, две магнелии и миниатюрный бассейн вызвали у него поток красноречия. Он, кажется, немного нервничал. Внешность его ничем особым не отличалась: человек лет сорока с довольно крупным черепом. Глаза скрыты дымчатыми стеклами; очки порой оказывались на столе, но тут же снова водружались на нос. Когда мы здоровались, я с удовлетворением отметил, что превосхожу его ростом, и тотчас устыдился этой мысли, ибо речь шла не о физическом или даже духовном единоборстве, а просто о *mise au point*¹, хотя и малоприятной. Я почти или даже совсем лишен наблюдательности и все же запомнил его «роскошное одеяние» (как топорно, но точно выразился один поэт). До сих пор стоит перед глазами его ярко-синий костюм, обильно усеянный пуговицами и карманами. Широкий галстук на двух резинках с застежкой, какие бывают у фокусников. Пухлый кожаный саквояж, видимо, полный документов. Небольшие усы на военный манер; когда же во время беседы он задымил сигарой, мне почему-то подумалось, что на этом лице много лишнего. «*Trop meuble*»², — сказал я про себя.

Последовательное изложение неизбежно преувеличивает роль описываемых мелочей, ибо каждое слово занимает определенное место и на странице, и в голове читателя. Поэтому, если оставить в стороне вульгарные приметы внешности, которые я перечислил, можно сказать, что посетитель производил впечатление человека, всякое повидавшего в жизни.

¹ Здесь: формальность, уточнение (*фр.*).

² Слишком загромождено (*фр.*).

У меня в кабинете есть овальный портрет одного из моих предков, участвовавших в войнах за независимость, и несколько стеклянных витрин со шпагами и знаменами. Я показал ему — с краткими комментариями — эти достопамятные реликвии. Он поглядывал на них, будто лишь из вежливости, и дополнял мои объяснения не без апломба — думаю, неумышленного, просто ему свойственного. Например, так:

— Верно. Бой под Хунином. Шестого августа, 1824-й. Кавалерийская атака Хуареса.

— Суареса, — поправил я.

Подозреваю, что эта оговорка была преднамеренной. Он по-восточному воздел руки и воскликнул:

— Мой первый промах и, увы, не последний! Я вожусь с текстами и путаю все на свете. А в вас живет это увлекательное прошлое.

Он произносил «в» почти как «ф».

Такого рода лесть мне не понравилась. Книгами он заинтересовался больше. Окинув названия почти ласковым взглядом, он, помнится, сказал:

— А, Шопенгауэр, который никогда не доверял истории... Вот это издание, под редакцией Гризебаха, было у меня в Праге. Я думал состариться среди книг — моих маленьких друзей, но именно история, воплощенная в одном идиоте, вышвырнула меня из дому, из моего города. И вот я с вами, в Америке, в вашем очаровательном домике...

Говорил он не очень правильно и торопливо, испанская шепелявость сочеталась у него с заметным немецким акцентом.

Мы уже сели в кресла, и я подхватил его реплику, желая перейти к делу:

— Наша история более милосердна. Надеюсь скончаться здесь, в этом доме, где и родился. Сюда мой прадед привез вон ту шпагу, повидавшую всю Америку, здесь размышлял я над прошлым и писал свои книги. Кажется, можно сказать, что я и не выходил никогда из этой библиотеки, но теперь наконец выйду, чтобы отправиться в те земли, которые прекрасно знаю только по картам.

Улыбкой я сгладил свою, возможно, чрезмерную велеречивость.

— Вы намекаете на некую карибскую республику? — спросил Циммерман.

— Совершенно верно. Благодаря этой своей скорой поездке я имею честь видеть вас у себя, — отвечал я.

Тринидад подала нам кофе. Я продолжал, твердо и медленно:

— Как вы понимаете, министр поручил мне переписать и снабдить комментариями письма Боливара, случайно найденные в архиве доктора Авельяноса. Эта миссия венчает, по счастливому стечению обстоятельств, труд всей моей жизни, труд, который пишется, образно говоря, по велению крови.

И я с облегчением вздохнул, высказав то, что должен был высказать. Циммерман как будто и не слушал меня; он смотрел на книги поверх моей головы. Затем неопределенно кивнул и вдруг с пафосом вскрикнул:

— По велению крови! Вы — прирожденный летописец! Ваш народ шел по просторам Америки и вступал в великие сражения, тогда как мой, затравленный, едва вылез из гетто. У вас ваша история в крови, как вы прекрасно выразились, и вам достаточно со вниманием слушать свой внутренний голос. Я же, напротив, должен сам ехать в Сулако и расшифровывать тексты, одни лишь тексты, к тому же, вероятно, и неподлинные. Верьте мне, доктор, я вам завидую.

Ни вызова, ни сарказма не слышалось в его речи. Она была выражением только воли, делавшей будущее необратимым, наподобие прошлого. Его аргументы ничего не стоили, вся сила была в человеке, не в логике. Циммерман продолжал более спокойно, с профессорской назидательностью:

— В том, что касается Боливара (извините меня, Сан-Мартина), ваша позиция, дорогой доктор, всем хорошо известна. *Votre siège est fait*¹. Я еще не взял в руки интересующие нас письма Боливара, но допускаю, даже убежден, что Боливар писал письма для собствен-

¹ Здесь: Вы свой выбор сделали (фр.).

ного оправдания. В любом случае это эпистолярное ку-даханье даст возможность увидеть лишь то, что можно было бы назвать стороною Боливара, но не стороною де Сан-Мартина. Когда письмо будет опубликовано, предстоит оценить его, изучить смысл, просеять слова сквозь сито критики и, если надо, разнести в пух и прах. Для такого окончательного приговора не найти никого лучше вас, с вашей лупой. Или со скальпелем, с острым ланцетом, если их требует научная скрупулезность! Позвольте добавить, что имя интерпретатора станут связывать с судьбою письма. А вам, простите, совсем ни к чему подобная связь. Публика же не разбирается в научных тонкостях.

Сейчас я понимаю, что весь наш последующий разговор был просто сотрясением воздуха. Наверное, я уже тогда это чувствовал. И, чтобы не вступать в пререка-ния, постарался свести беседу к деталям и спросил: действительно ли он считает, что письма могут ока-заться неподлинными?

— Да будь они самолично написаны Боливаром, — отвечал он, — это вовсе не подтверждает их достоверности. Может быть, Боливар желал отвести глаза своему адресату или обманывался сам. Вы, историк, мыслитель, знаете лучше меня, что весь секрет в нас самих, а не в словах.

Меня начала утомлять риторика общих мест, и я сухо заметил, что среди исторических загадок свидание в Гуаякиле, где генерал Сан-Мартин полностью отка-зался от всех своих самых высоких устремлений и пе-редал судьбы Америки в руки Боливара, является за-гадкой, заслуживающей внимания ученых.

Циммерман отвечал:

— И загадок ей — великое множество... Одни по-лагают, что Сан-Мартин попал в западню. Другие, на-пример Сармьенто, — что генерал был военным евро-пейской выучки и растерялся в Америке, которую не смог понять; третьи, в большинстве своем аргентинцы, расценивают его поступок как акт благородного отрече-ния, а четвертые считают причиной усталость. Есть и такие, кто поговаривает о секретном наказе какой-то масонской ложи.

Я сказал, что тем не менее было бы интересно узнать слова, которыми в действительности обменялись Протектор Перу и Освободитель.

Циммерман уверенно произнес:

— Слова их, скорее всего, были обычными. Два человека встретились в Гуаякиле. Если один из них навязал свою волю другому, это случилось потому, что его желание победить было сильнее, а не потому, что он взял верх в словесном диспуте. Как вы видите, я не забываю своего Шопенгауэра.

И добавил с усмешкой:

— Words, words, words¹. Шекспир, непревзойденный мастер слова, относился к словам с презрением. В Гуаякиле, в Буэнос-Айресе или в Праге — они всегда значат меньше, чем личности.

В тот самый момент я ощутил, как с нами обоими что-то свершается или, точнее сказать, свершилось. В общем, мы стали другими. Сумерки залили комнату, но я не зажег лампу. И почти наобум спросил:

— Вы из Праги, доктор?

— Я был из Праги, — ответил он.

Чтобы уйти от главного предмета разговора, я заметил:

— Должно быть, поразительный город. Я там не был, но первая книга, которую мне довелось прочитать по-немецки, — это роман Мейринка «Голем».

Циммерман ответил:

— Единственная книга Густава Мейринка, заслуживающая внимания. За другие не стоит и братья: плохая литература и никудышная теософия. Но действительно, в этой книге снов, растворяющихся в других снах, есть что-то от поразительной Праги. В Праге все поражает или, если хотите, не поражает ничто. Там все может случиться. В Лондоне, в сумеречный час, я чувствую себя совершенно так же.

— Вы, — сказал я, — говорили о воле. В книге «Мабиногион» два короля играли в шахматы на вершине холма, а внизу сражались их воины. Один из королей выиграл партию, и тут же прискакал всадник с изве-

¹ Слова, слова, слова (англ.). — «Гамлет», II, 2.

стием, что войско второго разбито. Битва людей была отражением битвы на шахматном поле.

— Да, магическое действо, — сказал Циммерман.

Я ответил:

— Или проявление единой воли на двух разных полях. В другой кельтской легенде рассказывается о поединке двух знаменитых бардов. Один, аккомпанируя себе на арфе, поет с восхода солнца до наступления ночи. Уже при свете звезд или луны он протягивает арфу другому. Тот отбрасывает ее и встает во весь рост. Первый тут же признает себя побежденным.

— Какая у вас эрудиция, какая способность к обобщениям! — воскликнул Циммерман. И добавил более спокойным тоном: — Должен сознаться в своем невежестве, в своем полном невежестве, когда речь идет о Британии. Вы, как день, объемлете и Восток и Запад, а я задвинут в свой карфагенский угол, который теперь чуть раздвинул за счет американской истории. Я ведь всего только книжный червь.

В голосе его была и угодливость еврея, и угодливость немца, но я чувствовал, что ему ровно ничего не стоит признавать мои заслуги и льстить, поскольку цели своей он достиг.

Он попросил меня не волноваться о его поездке и устройстве дел («обдelyваниии» дел — именно это ужасное слово он произнес). И тут же извлек из портфеля письмо на имя министра, где я излагаю мотивы отказа от поездки и перевозношу достоинства доктора Циммермана; затем вложил мне в руку свое вечное перо. Когда он прятал письмо, я краем глаза увидел билет на самолет со штампом «Эсейса — Сулако».

Уходя, он снова задержался перед томиками Шопенгауэра и сказал:

— Наш учитель, наш общий учитель, думал, что любой поступок предопределяется волей. Если вы остались в этом доме, в доме своих замечательных предков, значит, в глубине души вы хотели остаться. Благодарю и чту вашу волю.

Без единого слова я принял последнюю милостыню.

И проводил его до двери на улицу. Прощаясь, он объявил:

— А кофе был великолепен!

Я перечитываю свои хаотичные записи, которые, скорее всего, брошу в огонь. Свидание было коротким.

Чувствую, что больше писать не буду. *Mon siège est fait*¹.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Эти события произошли в «Тополях» — поместье к югу от Хунина, в конце марта 1928 года. Главным героем их был студент медицинского факультета Балтасар Эспиноса. Не забегая вперед, назовем его рядовым представителем столичной молодежи, не имевшим других приметных особенностей, кроме, пожалуй, ораторского дара, который снискал ему не одну награду в английской школе в Рамос Мехия, и едва ли не беспредельной доброты. Споры не привлекали его, предпочитавшего думать, что прав не он, а собеседник. Неравнодушный к превратностям игры, он был, однако, плохим игроком, поскольку не находил радости в победе. Его открытый ум не изнурял себя работой, и в свои тридцать три года он все еще не получил диплома, затрудняясь в выборе подходящей специальности. Отец, неверующий, как все порядочные люди того времени, посвятил его в учение Герберта Спенсера, а мать, уезжая в Монтевидео, заставила поклясться, что он будет каждый вечер читать «Отче наш» и креститься перед сном. За многие годы он ни разу не нарушил обещанного. Не то чтобы ему не доставало твердости: однажды, правда, скорее равнодушно, чем сердито, он даже обменялся двумя-тремя тычками с группой однокурсников, подбивавших его на участие в студенческой демонстрации. Но, в душе соглашатель, он был складом, мягко говоря, спорных, а точнее — избитых мнений: его не столько занимала Аргентина, сколько страх, что в других частях света нас не сочли дикарями; он почитал Францию, но презирал французов; ни во что

¹ Я сделал свой выбор (*фр.*).

не ставил американцев, но одобрял постройку небоскребов в Буэнос-Айресе и верил, что гаучо равнин держатся в седле лучше, чем парни с гор и холмов. Когда двоюродный брат Даниэль пригласил его провести лето в «Тополях», он тут же согласился, и не оттого, что ему нравилась жизнь за городом, а по природной уступчивости и за неимением веских причин для отказа.

Господский дом выглядел просторным и чуть обветшалым; неподалеку размещалась семья управляющего по фамилии Гутре: отец, на редкость неуклюжий сын и дочь неясного происхождения. Все трое были рослые, крепко сколоченные, с рыжеватыми волосами и лицами слегка индейского типа. Между собой они почти не разговаривали. Жена управляющего несколько лет назад умерла.

За городом Эспиносе приоткрылось немало такого, о чем он и понятия не имел. Например, что к дому не подлетают галопом и вообще верхом отправляются только по делу. Со временем он стал различать голоса птиц.

Вскоре Даниэлю понадобилось вернуться в столицу, закончить какую-то сделку со скотоводами. Он рассчитывал уложиться в неделю. Эспиноса, уже слегка пресытившись рассказами брата о любовных победах и его неослабным вниманием к тонкостям собственного туалета, предпочел остаться в поместье со своими учебниками. Стояла невыносимая духота, и даже ночь не приносила облегчения. Как-то поутру его разбудил гром. Ветер трепал казуарины. Эспиноса услышал первые капли дождя и возблагодарил Бога. Резко дохнуло холодом. К вечеру Саладо вышла из берегов.

На другой день, глядя с галереи на затопленные поля, Валтасар Эспиноса подумал, что сравнение пампы с морем не слишком далеко от истины, по крайней мере этим утром, хотя Генри Хадсон и писал, будто море кажется больше, поскольку его видишь с палубы, а не с седла или с высоты человеческого роста. Ливень не унимался; с помощью или, верней, вопреки вмешательству городского гостя Гутре удалось спасти большую часть поголовья, но много скота потонуло. В по-

месте вели четыре дороги: все они скрылись под водой. На третий день домишко управляющего стал протекать, и Эспиноса отдал семейству комнату в задней части дома, рядом с сараем для инструментов. Переезд сблизил их: теперь все четверо ели в большой столовой. Разговор не клеился; до тонкостей зная здешнюю жизнь, Гутре ничего не умели объяснить. Однажды вечером Эспиноса спросил, помнят ли в этих местах о набегах индейцев в те годы, когда в Хунине еще стоял пограничный гарнизон. Они отвечали, что помнят, хотя сказали бы то же самое, спроси он о казни Карла Первого. Эспиносе пришли на ум слова отца, который обыкновенно говаривал, что большинством деревенских рассказов о стародавних временах мы обязаны плохой памяти и смутному понятию о датах. Как правило, гаучо не знают ни года своего рождения, ни имени его виновника.

Во всем доме нечего было почитать, кроме «Фермерского журнала», ветеринарного учебника, роскошного томика «Табаре», «Истории скотоводства в Аргентине», нескольких любовных и криминальных романов и недавно изданной книги под названием «Дон Сегундо Сомбра». Чтобы хоть чем-то заняться после еды, Эспиноса прочел два отрывка семейству Гутре, не знавшему грамоте. К несчастью, глава семьи сам был прежде погонщиком, и приключения героя его не заинтересовали. Он сказал, что работа эта простая, что они обычно прихватывали вьючную лошадь, на которую грузили все необходимое, и, не будь он погонщиком, ему бы ввек не добраться до таких мест, как Лагуна де Гомес, Брагадо и владения Нуньесов в Чакабуко. На кухне была гитара; до событий, о которых идет речь, пеоны частенько рассаживались здесь кружком, кто-нибудь настраивал инструмент, но никогда не играл. Это называлось «посидеть за гитарой».

Решив отпустить бороду, Эспиноса стал нередко задерживаться перед зеркалом, чтобы оглядеть свой изменившийся облик, и улыбался, воображая, как замучит столичных приятелей рассказами о разливе Саладо. Как ни странно, он тосковал по местам, где никогда не был и куда вовсе не собирался: по перекрестку на ули-

це Кабрера с его почтовым ящиком, по лепным львам у подъезда на улице Жужуй, по кварталам у площади Онсе, по кафельному полу забегаловки, адреса которой и знать не знал. Отец и братья, думал он, верно, уже наслышаны от Даниэля, как его — в буквальном смысле слова — отрезало от мира наводнением.

Перерыв дом, все еще окруженный водой, он обнаружил Библию на английском языке. Последние страницы занимала история семейства Гатри (таково было их настоящее имя). Родом из Инвернесса, они, видимо, нанявшись в батраки, обосновались в Новом Свете с начала прошлого века и перемешали свою кровь с индейской. Хроника обрывалась на семидесятых годах: к этому времени они разучились писать. За несколько поколений члены семьи забыли английский; когда Эспиноса познакомился с ними, они едва говорили и по-испански. В Бога они не веровали, но, как тайный знак, несли в крови суровый фанатизм кальвинистов и суеверия индейцев. Эспиноса рассказал о своей находке, его будто и не слышали.

Листая том, он попал на первую главу Евангелия от Марка. Думая поупражняться в переводе и, кстати, посмотреть, как это покажется Гутре, он решил прочесть им несколько страниц после ужина. Его слушали до странности внимательно и даже с молчаливым интересом. Вероятно, золотое тиснение на переплете придавало книге особый вес. «Это у них в крови», — подумалось Эспиносе. Кроме того, ему пришло в голову, что люди поколение за поколением пересказывают всего лишь две истории: о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземноморью в поисках долгожданного острова, и о Боге, распятом на Голгофе. Припомнив уроки риторики в Рамос Мехия, он встал, переходя к притчам.

В следующий раз Гутре второпях покончили с жарким и сардинами, чтобы не мешать Евангелию.

Овечка, которую дочь семейства баловала и украшала голубой лентой, как-то поранилась о колючую проволоку. Гутре хотели было наложить паутину, чтобы остановить кровь; Эспиноса воспользовался своими

порошками. Последовавшая за этим благодарность поразила его. Сначала он не доверял семейству управляющего и спрятал двести сорок прихваченных с собой песо в одном из учебников; теперь, за отсутствием хозяина, он как бы занял его место и не без робости отдавал приказания, которые тут же исполнялись. Гутре ходили за ним по комнатам и коридору как за поводырем. Читая, он заметил, что они тайком подбирают оставшиеся после него крошки. Однажды вечером он застал их за разговором о себе, немногословным и уважительным.

Закончив Евангелие от Марка, он думал перейти к следующему, но отец семейства попросил повторить прочитанное, чтобы лучше разобраться. Они словно дети, почувствовал Эспиноса, повторение им приятней, чем варианты или новинки. Ночью он видел во сне потоп, что, впрочем, его не удивило; он проснулся при стуке молотков, сколачивающих ковчег, и решил, что это раскаты грома. И правда: утихший было дождь снова разошелся. Опять похолодало. Грозой снесло крышу сарая с инструментами, рассказывали Гутре, они ему потом покажут, только укрепят стропила. Теперь он уже не был чужаком, о нем заботились, почти баловали. Никто в семье не пил кофе, но ему всегда готовили чашечку, кладя слишком много сахара.

Новая гроза разразилась во вторник. В четверг ночью его разбудил тихий стук в дверь, которую он на всякий случай обычно запирает. Он поднялся и открыл: это была дочь Гутре. В темноте он ее почти не видел, но по звуку шагов понял, что она босиком, а позже, в постели, — что она пробралась через весь дом раздетой. Она не обняла его и не сказала ни слова, вытянувшись рядом и дрожа. С ней это было впервые. Уходя, она его не поцеловала: Эспиноса вдруг подумал, что не знает даже ее имени. По непонятным причинам, в которых не хотелось разбираться, он решил не упоминать в Буэнос-Айресе об этом эпизоде.

День начался как обычно, только на этот раз отец семейства первым заговорил с Эспиносой и спросил, правда ли, что Христос принял смерть, чтобы спасти

род человеческий. Эспиноса, который сам не верил, но чувствовал себя обязанным держаться прочитанного, отвечал:

— Да. Спасти всех от преисподней.

Тогда Гутре поинтересовался:

— А что такое преисподняя?

— Это место под землей, где души будут гореть в вечном огне.

— И те, кто его распинал, тоже спасутся?

— Да, — ответил Эспиноса, не слишком твердый в теологии.

Он боялся, что управляющий потребует рассказать о происшедшем ночью. После завтрака Гутре попросили еще раз прочесть последние главы.

Днем Эспиноса надолго заснул; некрепкий сон прерывался назойливым стуком молотков и смутными предчувствиями. К вечеру он встал и вышел в коридор. Как бы думая вслух, он произнес:

— Вода спадает. Осталось недолго.

— Осталось недолго, — эхом подхватил Гутре.

Все трое шли за ним. Преклонив колена на каменном полу, они попросили благословения. Потом стали осыпать его бранью, плевать в лицо и выталкивать на задний двор. Девушка плакала. Эспиноса понял, что его ждет за дверью. Открыли, он увидел небо. Свистнула птица. «Щегол», — мелькнуло у него. Сарай стоял без крыши. Из сорванных стропил было сколочено распятие.

СООБЩЕНИЕ БРОУДИ

В первом томе «Тысячи и одной ночи» Лейна (Лондон, 1840), раздобытом для меня моим дорогим другом Паулино Кейнсом, мы обнаружили рукопись, которую я ниже переведу на испанский. Изысканная каллиграфия — искусство, от которого нас отлучают пишущие машинки, — свидетельствует, что манускрипт можно датировать тем же годом. Лейн, как известно, был любитель делать всякого рода пространственные примечания; поля книги испещрены уточнениями, вопросы-

тельными знаками и даже поправками, причем начертание букв такое же, как и в рукописи. Думается, волшебные сказки Шахразады интересовали читателя меньше, чем ритуалы ислама. О Дэвиде Броуди, чья подпись замысловатым росчерком стоит на последней странице, я ничего не смог разузнать, кроме того, что был он шотландским миссионером родом из Абердина, насаждавшим христианскую веру сначала в Центральной Америке, а потом в тропических джунглях Бразилии, куда его привело знание португальского языка. Мне не ведомы ни дата, ни место его кончины. Рукопись, как я полагаю, еще не публиковалась.

Я точно переведу этот документ, невыразительно составленный по-английски, и позволю себе опустить лишь некоторые цитаты из Библии да один забавный пассаж о сексуальных обычаях Иеху, что добрый пресвитерианец стыдливо поверил латыни. Первая страница текста отсутствует.

* * *

«...из краев, опустошенных людьми-обезьянами (Aremen), и обосновалось здесь племя Mich¹, которых я впредь буду называть Иеху, дабы мои читатели не забывали о их звериной природе да и еще потому, что точная транслитерация здесь почти невозможна, ибо в их рыкающем языке нет гласных. Число принадлежащих к племени особей, думаю, не превосходит семи сотен, включая Ng, которые обитают южнее, в самой чаще. Цифра, которую я привел, приблизительна, поскольку, за исключением короля, королевы и четырех жрецов, Иеху не имеют жилищ и спят там, где застанет их ночь. Болотная лихорадка и набеги людей-обезьян сокращают их численность. Имена есть лишь у немногих. Чтобы привлечь к себе внимание, они кидают друг в друга грязью. Я также наблюдал, как Иеху, стремясь вызвать к себе расположение, падают ниц и ползают по земле. Своим внешним видом они отличаются

¹ Сочетание «ch» я передаю как «ч». — *Примеч. авт. рукописи.*

от Кру разве что более низким лбом и менее черной, с медным отливом кожей. Питаются плодами, корнями и пресмыкающимися; пьют молоко летучих мышей и кошек, рыбу ловят руками. Во время еды прячутся или закрывают глаза, а все остальное делают не таясь, подобно философам-циникам. Сжирают сырыми трупы высших жрецов и королей, дабы впитать в себя их достоинства. Я попрекнул Иеху этим обычаем, но они похлопали себя по рту и животу, желая, наверное, показать, что мертвые — тоже пища, или, хотя для них это слишком сложно, что все, нами съедаемое, в конечном счете обращается в плоть человеческую.

В войнах они применяют камни, которые накапливают про запас, а также магические заклинания. Ходят голыми, ибо искусство одевания и татуировки им незнакомо.

Заслуживает внимания тот факт, что, владея обширным зеленым плоскогорьем, где много чистых источников и густолистных деревьев, они предпочитают всем скопом возиться в болотах, окружающих снизу их территорию, и, видимо, наслаждаются жаром экваториального солнца и смрадом. Края плоскогорья высоки и зубчаты и могли бы служить своего рода крепостной стеной для защиты от людей-обезьян. В горных районах Шотландии все родовые замки воздвигались на вершинах холмов, о чем я сообщил высшим жрецам, предложив им воспользоваться нашим обычаем, но мои слова успеха не возымели. Однако мне разрешили построить хижину на плоскогорье, где воздух по ночам более свеж.

Племенем управляет король, чья власть абсолютна, однако я склонен думать, что подлинными властителями являются четыре жреца, которые ему помогают править и которые его ранее избрали. Каждый новорожденный подвергается тщательному осмотру; если на нем находят отметины, оставшиеся для меня тайной, он становится королем Иеху. Тогда его уродуют (*he is gelded*) — выжигают ему глаза, отрубаят руки и ноги, дабы суетность жизни не отвлекала его от дум. Он навсегда поселяется в пещере, называемой Алькасар

(Ozz), куда могут входить только четверо жрецов и двое рабов, которые ему прислуживают и натирают нечистотами. Во время военных действий жрецы извлекают его из пещеры, показывают всему племени, дабы ободрить сородичей, и, подобно знамени и талисману, тащат на собственных спинах в гущу сражения. При этом он, как правило, тотчас гибнет под градом камней людей-обезьян.

В другом Алькасаре живет королева, которой не дозволено видеть своего короля. Она удостоила меня аудиенции и показалась мне улыбчивой, юной и обаятельной — насколько это позволяет ее раса. Браслеты из металла и слоновой кости, а также ожерелья из чьих-то зубов украшали ее наготу. Она оглядела меня, обнюхала, потрогала и завершила знакомство тем, что предложила мне себя в присутствии всех своих камеристок. Мой сан (*my cloth*) и мои убеждения побудили меня отклонить эту честь, которая обычно оказывается жрецам и охотникам за рабами, как правило мусульманам, чьи караваны заходят в королевство. Она два или три раза уколола меня золотой иглой. Подобные уколы служат знаком королевского расположения, и немало Иеху всаживают в себя иглы, дабы похвастать вниманием королевы. Украшения, о которых я упоминал, привезены из других мест, но Иеху считают их дарами природы, поскольку сами не могут сделать даже простейшей вещи. Для племени моя хижина была не более чем деревом, хотя многие видели, как я ее строил, и сами мне в том помогали. Кроме всего прочего, у меня имелись часы, пробковый шлем, компас и Библия. Иеху осматривали их, взвешивали на руке и спрашивали, где я их взял. Они обычно брали мой тесак за острый край: наверное, видели это орудие иначе. Не знаю, чем мог им представиться, скажем, стул. Дом с несколькими комнатами, наверное, казался бы им лабиринтом, но вряд ли они бы в нем заблудились — как кошка, которая никогда не заблудится в доме, хотя и не может его себе представить. Всех поражала моя борода, которая в ту пору была рыжей; они подолгу и ласково ее гладили.

Иеху не знают страданий и радостей, но получают удовольствие от тухлого сырого мяса и дурно пахнущих предметов. Отсутствие воображения побуждает их быть жестокими.

Я говорил о короле и королеве, теперь перейду к жрецам. Я писал, что их четверо. Это число — наивысшее в арифметике племени. Все считают на пальцах: один, два, три, четыре, много. Бесконечность начинается с большого пальца. Точно так же, я слышал, ведется счет в племенах, бесчинствующих неподалеку от Буэнос-Айреса. Несмотря на то что «четыре» — для них последняя цифра, арабы, торгующие с ними, их не обсчитывают, ибо при торговле товар делится на части из одного, двух, трех или четырех предметов, которыми стороны и обмениваются. Все это происходит чрезвычайно долго, зато исключает ошибку или обман.

Из всего народа Иеху только жрецы вызывали у меня интерес. Все остальные приписывали им способность обращаться в муравья или черепаху любого, кого пожелают. Один субъект, почуяв мое недоверие, указал мне на муравейник, будто это могло служить доказательством. Память у Иеху отсутствует почти полностью; они говорят о бедах, причиненных нападениями леопардов, но не уверены, видели ли это они сами или их отцы, во сне или наяву. Жрецы памятью обладают, но в малой степени: вечером они могут припомнить только то, что происходило утром или накануне после полудня. Еще у них есть дар предвидения; они со спокойной уверенностью объявляют о том, что случится через десять или пятнадцать минут. Например, возвещают: «Мошка укусит меня в затылок» — или: «Скоро мы услышим крик птицы». Сотни раз я был свидетелем проявления этого удивительного дара. Долго думал о нем. Мы знаем, что прошлое, настоящее и будущее — каждый пустяк и каждая мелочь — запечатлены в пророческой памяти Бога, его вечности. И странно, что люди могут бесконечно далеко смотреть назад, но отнюдь не вперед. Если я помню во всех подробностях стройный норвежский парусник, который видел, когда мне минуло четыре года, то почему меня должно удив-

лять, что кто-то способен предвидеть ближайшее будущее? С философской точки зрения память — не менее чудесная способность, чем предвидение. Завтрашний день более близок к нам, чем переход евреев через Черное море, о чем мы тем не менее помним.

Племени запрещено устремлять взор к звездам — это привилегия только жрецов. Каждый жрец имеет воспитанника, которого он с малых лет обучает тайным наукам и делает своим преемником. Таким образом, их всегда четверо — число магического свойства, ибо оно наивысшее для этих людей. Своеобразно трактуется здесь учение об аде и рае. И то и другое находится под землею. В аду, где светло и сухо, пребывают больные, старые, неудачники, люди-обезьяны, арабы и леопарды. В рай, который они представляют себе темным, промозглым местом, попадают король, королева, жрецы и все, кто был на земле счастлив, жесток и кровожаден. Почитают Иеху бога, чье имя — Дерьмо, и кого они, наверное, измыслили по образу и подобию своего короля. Это уродливое, слепое, беспомощное существо с неограниченной властью. Воплощением его, как правило, служит змея или муравей.

После всего сказанного, думаю, никого не удивит, что за все время моего пребывания у Иеху мне не удалось поговорить по душам ни с одним из них. Слова «Отче наш» ставили их в тупик, ибо у них нет понятия отцовства. Они не в силах постичь, каким образом акт, свершенный девять месяцев назад, может быть связан с рождением ребенка, и отвергают такую причинность за давностью и неправдоподобием. Надо сказать, что женщины все без исключения торгуют своим телом, но не все становятся матерями.

Язык их очень сложен. Он не похож ни на один из тех, какие я знаю. Мне нечего сообщить о членах предложения, ибо не существует самих предложений. Каждое односложное слово выражает общую идею, уточняемую контекстом или гримасами. Слово «пгз», например, выражает такое понятие, как разбросанность или пятнистость, и может обозначать «звездное небо», «леопарда», «стаю птиц», «оспины на лице», «брызги», а

также «рассыпать что-либо» или «броситься врассыпную, потерпев поражение». Слово «hrl», напротив, указывает на нечто объединенное, плотное и может означать «племя», «ствол дерева», «камень», «кучу камней», «собрание камней», «совет четырех жрецов», «соитие» и «джунгли». Произнесенное иначе или с другими ужимками, слово может приобретать противоположное значение. Не будем слишком удивляться: в нашем языке глагол «to cleave» тоже означает «раскалывать» и «оставаться верным». Короче говоря, в их языке нет ни предложений, ни даже коротких фраз.

Способность к абстрактному мышлению, о чем свидетельствует подобный тип речи, убеждает меня, что Иеху, несмотря на свою дикость, — народ не просто примитивный, а выродившийся. Это предположение подтверждается наскальными надписями, обнаруженными мною в центре плоскогорья; они похожи на рунические письмена наших предков и уже непонятны для Иеху: словно бы письменный язык ими совершенно забыт и в употреблении остался лишь устный.

Развлекается племя боями специально выученных котов, а также смертными казнями. Любой может быть обвинен в покушении на честь королевы или в съедении пищи на глазах у других. Никто не выслушивает ни свидетелей, ни обвиняемого: король сам выносит приговор. Смертник подвергается страшным пыткам, о которых я предпочитаю умалчивать, а затем его убивают. Королева пользуется правом бросить первый камень и самый последний, который часто бывает не нужен. Толпа восхваляет ловкость и все ее прелести, складывая в диком восторге розы и куски падали у ее ног. Королева только молчит и улыбается.

Другой примечательностью племени являются поэты. Бывает, кто-нибудь выстроит в ряд шесть-семь слов, обычно загадочных, и, не будучи в силах сдержать себя, начинает выкрикивать их, встав в центре круга, который образуют рассеявшиеся на земле жрецы и все прочие. Если поэма никого не взволнует, ничего не произойдет, но, если слова поэта заденут за живое, все в полной тишине отходят от него, охваченные свя-

щенным ужасом (under a holy dread). Они чувствуют, что на него снизошла благодать, и уже никто более не заговорит с ним, не взглянет на него, даже его собственная мать. Отныне он не человек, а бог, и каждый может убить его. Поэт, если ему удастся, ищет спасения в краю зыбучих песков на Севере.

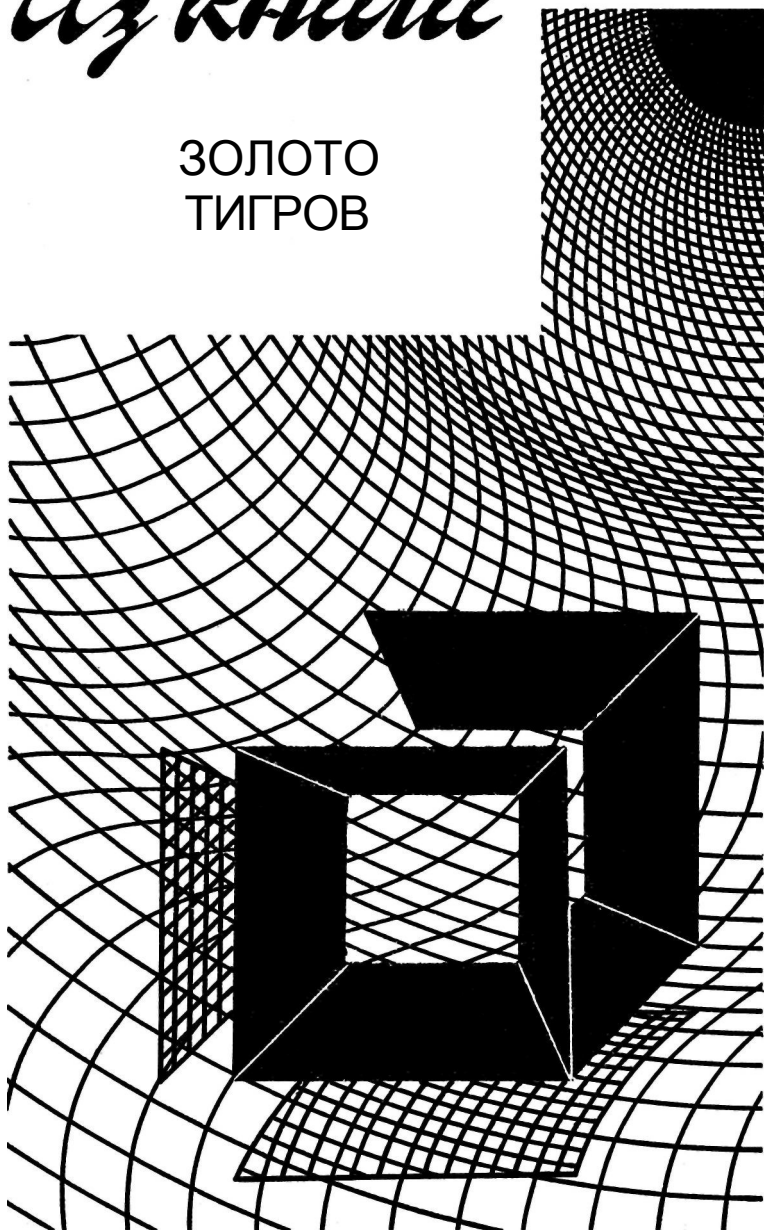
Выше я говорил, как очутился на землях Иеху. Читатели знают, что меня окружили, я выстрелил в воздух, и ружейный выстрел был принят за грохот волшебного грома. Дабы не развеивать их заблуждения, я всегда ходил безоружным. В одно весеннее утро, почти на рассвете, на нас совершили набег люди-обезьяны. Я быстро спустился вниз с плоскогорья и убил двух этих животных. Остальные в страхе бежали. Пули, вы знаете, невидимы. Впервые в жизни я слышал, как меня прославляют. Кажется, именно тогда меня приняла королева. Но память Иеху недолга, и тем же вечером я ушел. Мои блуждания по сельве малопримечательны. В конце концов я наткнулся на поселение черных людей, умевших пахать, молиться и сеять, и объяснился с ними по-португальски. Миссионер из романских стран, отец Фернандес, приютил меня в своей хижине и заботился обо мне, пока я снова не смог отправиться в тяжкий путь. Сначала у меня тошнота подступала к горлу, когда я видел, как он, не таясь, разевал свой рот и запихивал туда куски пищи. Я рукой прикрывал глаза или отводил их в сторону, но через несколько дней привык. С удовольствием вспоминаю о наших теологических спорах. Мне, правда, не удалось вернуть его в истинную веру Христову.

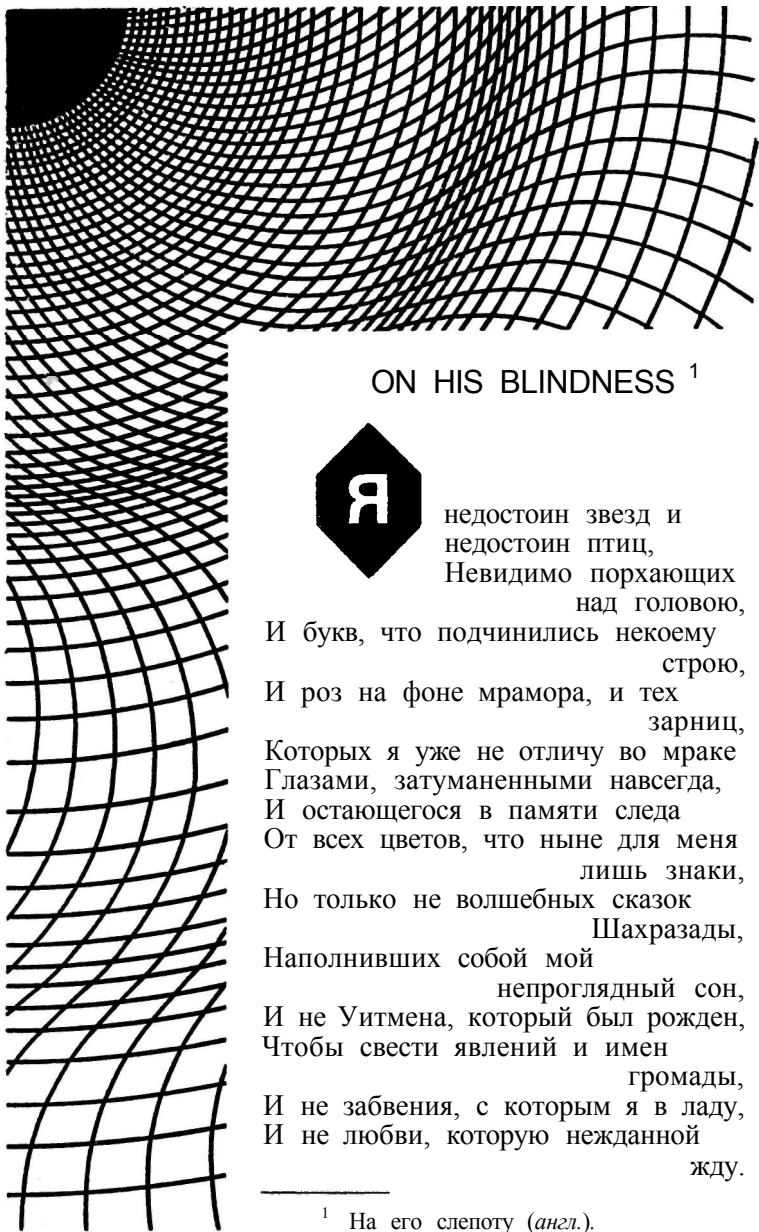
Сейчас я пишу это в Глазго. Я рассказал о своем пребывании среди Иеху, но не смог передать главного — ужаса от пережитого: я не в силах отделаться от него, он меня преследует даже во сне. А на улице мне так и кажется, будто они толпятся вокруг меня. Я хорошо понимаю, что Иеху — дикий народ, возможно, самый дикий на свете, и все-таки несправедливо умалчивать о том, что говорит в их оправдание. У них есть государственное устройство, им достался счастливый удел иметь короля, они пользуются языком, где обоб-

щаются далекие понятия; верят, подобно иудеям и грекам, в божественное начало поэзии и смутно ощущают, что душа переживает брэнное тело. Они верят в справедливость казней и наград. В общем, они представляют цивилизацию, как представляем ее и мы, несмотря на многие наши заблуждения. Я не раскаиваюсь, что воевал вместе с ними против людей-обезьян. Наш долг — спасти их. Надеюсь, что правительство Ее Величества не оставит без внимания нижайшую просьбу, завершающую это сообщение».

Из книги

ЗОЛОТО
ТИГРОВ





ON HIS BLINDNESS ¹

Я

недостоин звезд и
недостоин птиц,
Невидимо порхающих
над головою,

И букв, что подчинились некоему
строю,

И роз на фоне мрамора, и тех
зарниц,

Которых я уже не отличу во мраке
Глазами, затуманенными навсегда,
И остающегося в памяти следа

От всех цветов, что ныне для меня
лишь знаки,

Но только не волшебных сказок
Шахразады,

Наполнивших собой мой
непроглядный сон,

И не Уитмена, который был рожден,
Чтобы свести явлений и имен

И не забвения, с которым я в ладу,
И не любви, которую нежданной

жду.

¹ На его слепоту (англ.).

УТРАЧЕННОЕ

Где жизнь моя, которой не жил, та,
Что быть могла, бесчестием пятная
Или венчая лаврами, иная
Судьба — удел клинка или щита,
Моим не ставший? Где пережитое
Норвежцами и персами времен
Былых? Где свет, которого лишен?
Где шквал и якорь? Где забвенье, кто я
Теперь? Где избавленье от забот —
Ночь, посланная труженикам честным
За день работ в упорстве бессловесном, —
Все, чем словесность издавна живет?
Где ты, что и сегодня в ожиданье
Несбыточного нашего свиданья?

Н. О.

Есть улица, и дверь, что в некий дом ведет,
И ощущение потерянного рая;
И я вслепую выйду на нее, плутая,
Но для меня до сумерек заказан вход.
Лишь стоит погрузиться городу во тьму,
Как для меня забрезжит вновь свиданье,
Желанный голос ждет, исполненный желанья,
И я, окутан мраком, подчинюсь ему.
Но все не так. Иное мне судили боги.
Воспоминаний муть несет за мигом миг,
Томительные будни и удавка книг,
И не испытанная смерть в конце дороги.
Куда как прост сейчас набор желаний мой:
Бесстрастных цифр две пригоршни и покой.

ГАУЧО

Рожденный на границе, где-то в поле,
В почти безвестном мире первозданном,
Он усмирял напористым арканом
Напористое бычье своеволие.

С индейцами и с белыми враждуя,
За кость и козырь не жалея жизни,
Он отдал все неузнанной отчизне
И, проигравши, проиграл вчистую.

Теперь он — прах планеты, пыль столетий.
Под общим именем сойдя в безвестность,
Как столькие, теперь он — ход в сюжете,
Которым пробавляется словесность.

Он был солдатом. Под любой эгидой.
Он шел по той героической кордильере.
Он присягал Уркисе и Ривере.
Обоим. Он расправился с Лапридой.

Он был из тех, не ищущих награды
Ревнителей бесстрашия и стали,
Которые прощенья не ждали,
Но смерть несли и гибли, если надо.

И жизнь в случайной вылазке отдавший,
Он пал у неприятельской заставы,
Не попросив и малой крохи — даже
Той искры в пепле, что зовется славой.

За вечным мате ночи коротая,
Он под навесом грезил в полудреме
И ждал, седой, когда на окоеме
Блеснет заря, по-прежнему пустая.

Он гаучо себя не звал: решая
Судьбу, не ведал он, что есть иная.
И тень его, себя — как мы — не зная,
Сошла во тьму, другим — как мы — чужая.

ЧЕТЫРЕ ЦИКЛА

Историй всего четыре. Одна, самая старая — об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню,

а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей, Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века привнесли в сюжет элементы волшебства. Так, стали считать, что Елена, ради которой погибали армии, была прекрасным облаком, видением; призраком был и громадный пустотелый конь, укрывший ахейцев. Гомеру доведется пересказать эту легенду не первым; от поэта четырнадцатого века останется строка, пришедшая мне на память: «The borgh brittened and brent to brondes and askes»¹. Данте Габриэль Россетти, вероятно, представит, что судьба Трои решилась уже в тот миг, когда Парис воспылил страстью к Елене; Йитс предпочтет мгновение, когда Леда сплетается с богом, принявшим образ лебедя.

Вторая история, связанная с первой, — о возвращении. Об Улиссе, после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке, и о северных богах, вслед за уничтожением земли видящих, как она, зеленея и лучась, вновь восстает из моря, и находящихся в траве шахматные фигуры, которыми сражались накануне.

Третья история — о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Ясон, плывущий за золотым руном, и тридцать персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего Бога — Симурга, который есть каждая из них и все они разом. В прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит его все-таки уничтожает; героев Джеймса и Кафки может ждать только поражение. Мы так бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо сфабрикованное потворство массовым вкусам. Мы не способны верить в рай и еще меньше — в ад.

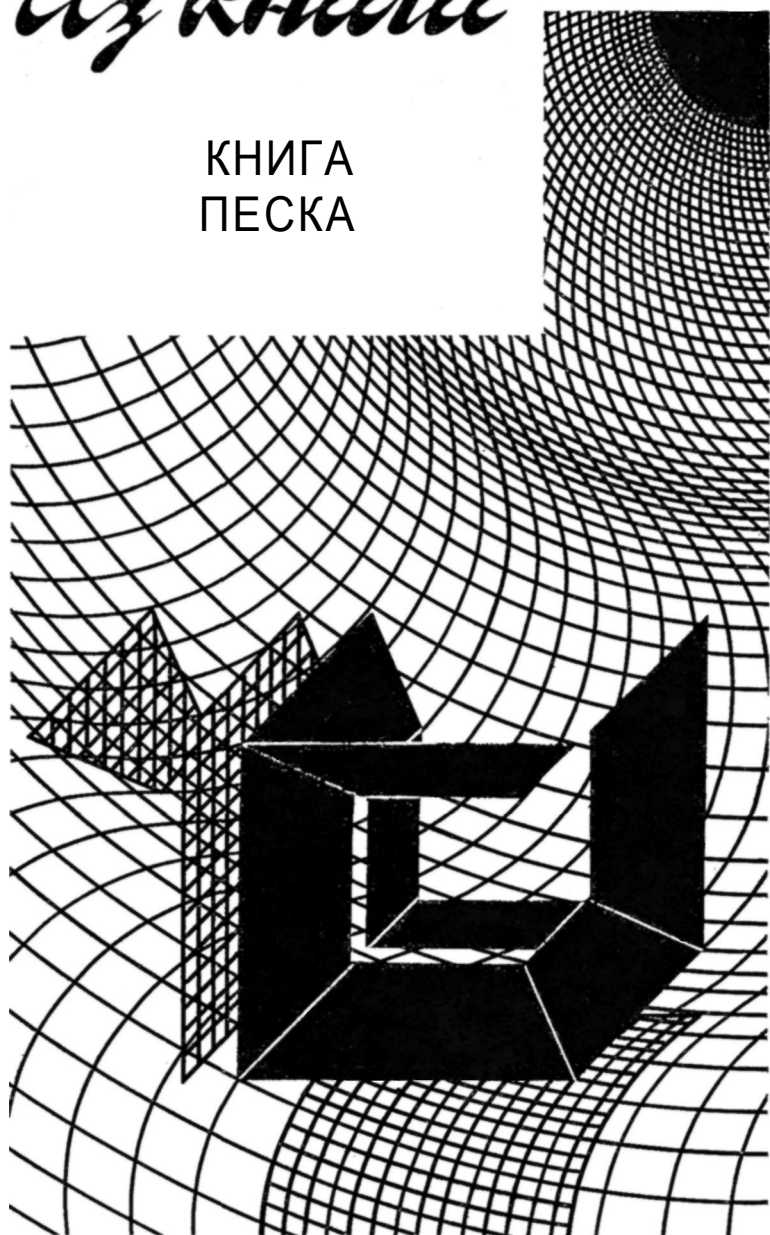
¹ Эта строка на средневековом английском языке значит приблизительно следующее: «Крепость, павшая и стертая до пламени и пепла». Она — из замечательной аллитерационной поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», которая сохраняет первобытную музыку саксонской речи, хотя и создана через несколько веков после завоевания Англии под предводительством Вильяльма Незаконнорожденного.

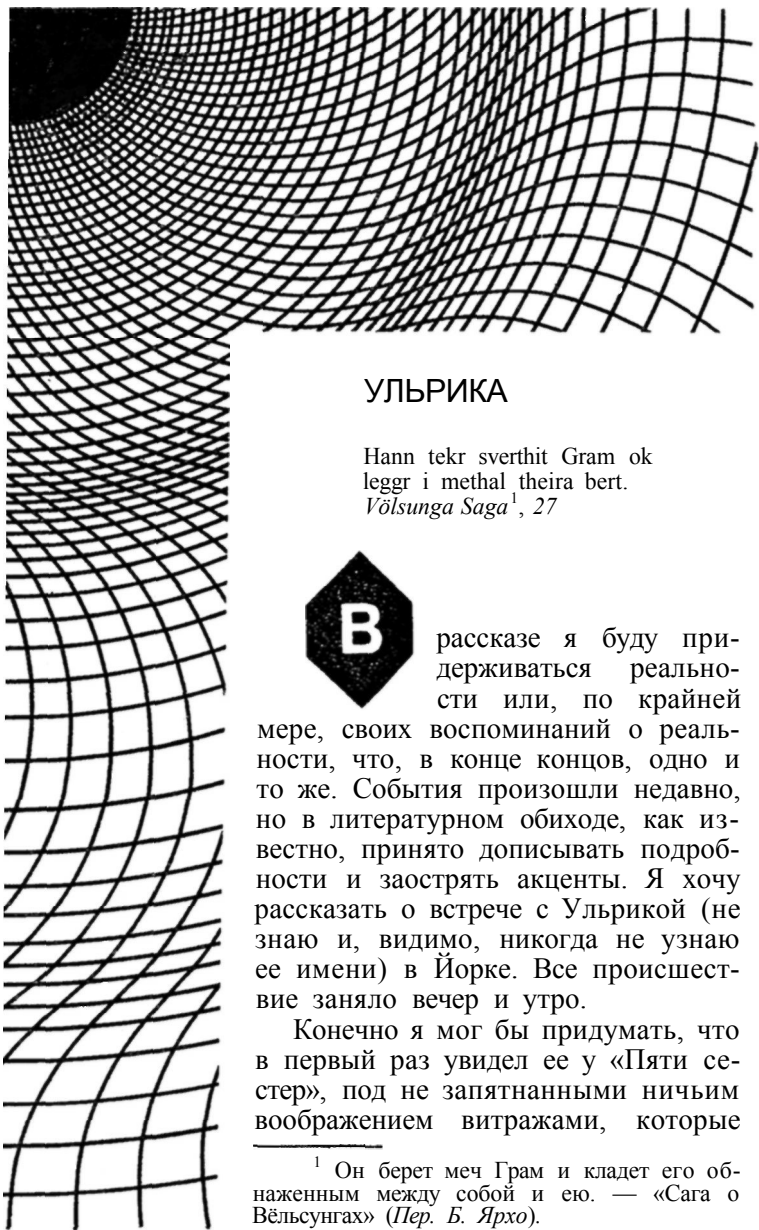
Последняя история — о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и убивает себя; Один жертвует собой Одину, самому себе, девять ночей вися на дереве, пригвожденный копьем; Христа распинают римские легионеры.

Историй всего четыре. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их — в том или ином виде.

Из книги

КНИГА
ПЕСКА





УЛЬРИКА

Hann tekr sverthit Gram ok
leggr i methal theira bert.
*Völsunga Saga*¹, 27



В рассказе я буду придерживаться реальности или, по крайней мере, своих воспоминаний о реальности, что, в конце концов, одно и то же. События произошли недавно, но в литературном обиходе, как известно, принято дописывать подробности и заострять акценты. Я хочу рассказать о встрече с Ульрикой (не знаю и, видимо, никогда не узнаю ее имени) в Йорке. Все происшествие заняло вечер и утро.

Конечно я мог бы придумать, что в первый раз увидел ее у «Пяти сестер», под не запятнанными ничьим воображением витражами, которые

¹ Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собой и ею. — «Сага о Вэльсунгах» (Пер. Б. Ярхо).

пощадили кромвелевские иконоборцы, но на самом деле мы познакомились в зальчике «Northern Inn»¹, за стенами города. Было полупусто, она сидела ко мне спиной. Ей предложили выпить, последовал отказ.

— Я феминистка, — бросила она, — и не собираюсь подражать мужчинам. Мне отвратительны их табак и спиртное.

Фраза рассчитывала на успех, я понял, что ее проносят не впервые. Потом я узнал, до чего эта мысль не в ее характере; впрочем, наши слова часто непохожи на нас.

Она, по ее словам, опоздала в здешний музей, но ее пустили, узнав, что посетительница из Норвегии.

Кто-то заметил:

— Норвежцы не в первый раз в Йорке.

— Да, — подхватила она. — Англия была нашей, но мы ее потеряли. Если человек вообще может хоть чем-то владеть или что-то терять.

И тогда я увидел ее. У Блейка где-то говорится о девушках из нежного серебра и яркого золота. Ульрика была золото и нежность. Высокая, подвижная, с точным лицом и серыми глазами. Но поражала в ней Даже не внешность, а выражение спокойной тайны. Беглая улыбка делала ее еще отрешенней. На ней было черное платье, что редкость в северных краях, где пестротой пытаются скрасить блеклое окружение. По-английски она говорила чисто, точно, лишь слегка подчеркивая «ф». Я не наблюдал за ней, все это понемногу вспомнилось позже.

Нас представили. Я сказал, что преподаю в Андском университете в Боготе, и пояснил, что колумбиец.

Она задумчиво спросила:

— А что значит быть колумбийцем?

— Не знаю, — ответил я. — Вопрос веры.

— То же самое, что норвежкой, — заметила она.

О чем еще говорилось тем вечером, не помню. Натуро я рано спустился в столовую. За окнами выпал снег; пустоши тонули в рассветном солнце. Мы были

¹ «Северная гостиница» (англ.).

одни. Ульрика позвала меня за свой столик. Она сказала, что любит гулять в одиночку.

Я вспомнил шутку Шопенгауэра и возразил:

— Я тоже. Можем отправиться вдвоем.

Мы двинулись по свежему снегу. Вокруг не было ни души. Я предложил добраться до Торгейта, спустившись несколько миль по реке. Я уже знал, что люблю Ульрику, и хотел идти рядом с ней одной.

Вдруг издали донесся вой волка. Я ни разу не слышал волчьего воя, но понял, что это волк. Ульрика не изменилась в лице.

Внезапно, словно думая вслух, она произнесла:

— Несколько жалких мечей вчера в Йорк-Минстере тронули меня сильнее, чем громадные корабли в музее Осло.

Наши пути расходились. Вечером Ульрика отправлялась в Лондон, я — в Эдинбург.

— Хочу пройти по Оксфорд-стрит, — сказала Ульрика, — где Де Куинси искал свою Анну, потеряв ее в лондонском многолюдье.

— Де Куинси, — отозвался я, — перестал искать. А я, вот уже столько лет, все ищу.

— И кажется, нашел, — уронила она вполголоса.

Я понял, что сейчас может сбыться самое невероятное, и стал целовать ее губы и глаза. Она мягко отстранилась и, помолчав, сказала:

— Я стану твоей в Торгейте. А пока не трогай меня. Прошу, так будет лучше.

Для старого холостяка обещание любви — нечаянный дар. Сулящая чудо вправе диктовать условия. Я вспомнил свою юность в Попайяне и девушку из Техаса, светловолосую и гибкую, как Ульрика, которая отвергла мою любовь.

Я не сделал ошибки, спросив, любит ли она меня. Я понимал, что окажусь не первым и не останусь последним. Это приключение, видимо, итоговое для меня, было для этой блестящей и решительной воспитанницы Ибсена одним из многих.

Мы шли, взявшись за руки.

— Все это похоже на сон, — сказал я, — а мне никогда не снятся сны.

— Как тому царю, — откликнулась Ульрика, — который не видел снов, пока волшебник не усыпил его в свинарне. — И через миг добавила: — Послушай. Сейчас запоет птица.

Спустя мгновение послышалась трель.

— В этих краях верят, — сказал я, — что обреченные на смерть могут предсказывать будущее.

— Я и обречена, — был ответ.

Я ошеломленно посмотрел на нее.

— Пойдем через лес, — настаивал я. — Так короче.

— В лесу опасно, — отвечала она.

Пошли пустошью.

— Если бы эта минута длилась вечно, — прошептал я.

— «Вечность» — слово, запретное для людей, — произнесла Ульрика и, чтобы смягчить высокопарность, попросила повторить мое имя, которого не расслышала.

— Хавьер Отарола, — выговорил я.

Она попробовала повторить и не смогла. У меня имя «Ульрике» тоже не получилось.

— Буду звать тебя Сигурдом, — сказала она с улыбкой.

— Если так, — ответил я, — то ты — Брюнхильда.

Она замедлила шаг.

— Знаешь эту сагу? — спросил я.

— Конечно, — отозвалась она. — Трагическая история, которую германцы испортили потом своими «Нибелунгами».

Я не стал спорить и сказал ей:

— Брюнхильда, ты идешь так, словно хочешь, чтобы на ложе между нами лежал меч.

Но мы уже стояли перед гостиницей. Я почему-то не удивился, что она тоже звалась «Northern Inn».

С верхней площадки Ульрика крикнула мне:

— Слышишь, волк? В Англии волков не осталось. Иди скорей.

Поднимаясь, я заметил, что обои на стенах — во вкусе Уильяма Морриса: темно-красные, с узором из

плодов и птиц. Ульрика вошла первой. Темная комнатка была низкой, как чердак. Долгожданная кровать повторялась в смутном стекле, и потускневшая полировка дерева напомнила мне о зеркале в Библии. Ульрика уже разделась. Она называла меня по имени: «Хавьер». Я почувствовал, что снег повалил гуще. Вещи и зеркала исчезли. Меч не разделял нас. Время текло, как песок. Век за веком длилась во тьме любовь, и образ Ульрики в первый и последний раз был моим.

КОНГРЕСС

Ils s'acheminèrent vers un chateau
immense, au frontispice duquel on lisait:
«Je n'appartiens a personne
et j'appartiens a tout le monde.
Vous y étiez avant que d'y entrer,
et vous y serez encore quand vous
en sortirez».

*Diderot. Jacques Le Fataliste
et son maitre (1769)*¹

Мое имя — Алехандро Ферри. В нем слышатся отзвуки битв, но ни победная сталь, ни великая тень македонца — по выражению автора «Надгробий», почтившего меня своей дружбой, — не имеют ни малейшего касательства к непримечательному седому человеку, царапающему эти строки в одном из верхних этажей особняка на улице Сантьяго-дель-Эстеро в южных кварталах столицы, где уже нет ничего от Юга. Мне за семьдесят и вот-вот станет на год больше; я преподаю английский нескольким желающим. Из застенчивости, легкомыслия или по иным причинам я вовремя не женился и живу один. Одиночество меня не мучит, ведь на себя и собственные слабости уходит столько сил. Замечаю, что начал стареть: первый признак — потеря внимания и интереса к новостям, в которых не вижу

¹ Направились они к огромному замку, на фронтоне которого красовалась надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете». — Д и д р о . Жак-Фаталист и его хозяин (1769) (*Пер. Б. Ярхо*).

по сути ничего, кроме достаточно небогатых вариаций. В молодости меня увлекали закаты, пригороды и отчаяние, теперь — рассветы в центре и покой. Больше не играю Гамлета. Стал членом консервативной партии и одного шахматного клуба, куда захаживаю исключительно как зритель, порою равнодушный. Любопытные могут откопать где-то среди сумрачных полок Национальной библиотеки на улице Мехико экземпляр моего «Краткого обзора аналитического языка Джона Уилкинса», который следовало бы переиздать хотя бы для того, чтобы выправить или, по меньшей мере, пропустить бесчисленные опечатки. Говорят, новый директор Библиотеки — литератор, отдающийся изучению древних языков, будто нынешние для него недостаточно стары, и напыщенному преклонению перед выдуман-ным Буэнос-Айресом, прибежищем поножовщиков. Никогда не искал с ним знакомства. Я появился в столице в 1899 году, и случай только раз столкнул меня с поножовщиком или слывшим за такого. Будет время, я еще расскажу об этом.

Я уже говорил, что одинок; на днях сосед по этажу, слыхавший от меня о Фермине Эгурене, передал, что тот скончался в Уругвае, в Пунта-дель-Эсте.

Смерть такого человека, который вовсе не был мне другом, тем не менее опечалила меня. Теперь я знаю, что совершенно одинок: я единственный в мире хранитель всего происшедшего — Конгресса, память о котором ни с кем не могу разделить. Я последний из его участников. Конечно, участники его — все люди на свете, других на земле просто нет, но все-таки я на особом счету. Я знаю о своем участии, чем и отличаюсь от несчетных соратников, нынешних и грядущих. Правда, седьмого февраля 1904 года мы поклялись всем святым — а есть ли на земле что святое или, напротив, то, что не свято? — не раскрывать историю Конгресса, но столь же твердо могу сказать, что и сегодняшнее мое клятвопреступничество входит в его историю. Это заверение звучит не слишком вразумительно, зато, надеюсь, разожжет любопытство моих возможных читателей.

Как бы там ни было, я беру на себя непростую задачу. Мне никогда, даже в письмах, не случилось прибегать к повествовательному жанру. Кроме того — и это самое важное! — моя история совершенно невероятна. Для нее подошло бы перо Хосе Фернандеса Ирала, несправедливо забытого автора книги стихов «Надгробья», но теперь уже поздно. Постараюсь не исказить факты сознательно, но боюсь, что по беспечности и неопытности совершу ошибку — и не одну.

Не вижу смысла в точных датах. Напомню только, что приехал из моей родной провинции Санта-Фе в 1899 году. Назад я уже никогда не возвращался, свыкшись с Буэнос-Айресом, нимало меня не привлекавшим, как свыкаются с собственным телом или застарелым недугом. Без особых чувств думаю о том, что скоро умру; кстати, еще и поэтому пора перестать отвлекаться и перейти наконец к рассказу.

Годы не меняют нашей сути, если она у нас вообще есть: та же сила, что привела меня однажды вечером на Всемирный конгресс, куда раньше указала мне путь в редакцию «Последних известий». Жизнь газетчика представлялась бедному юнцу из провинции самой романтикой — точно так же, как бедному столичному юнцу — жизнь гаучо или поденщика в усадьбе. Не стыжусь своей мечты стать газетчиком, хотя сегодня это рутинное занятие и кажется мне пресным. Помню, мой коллега Фернандес Ирала говаривал, будто газетчик адресуется к забвению, он же хотел бы обращаться к памяти и вечности. В то время он уже, как было принято выражаться, чеканил сонеты, которые позднее с незначительными доделками появились на страницах «Надгробий».

Не могу сказать точно, когда я услышал о Конгрессе. Может быть, в тот вечер, как наш кассир впервые отсчитал мне жалованье и я, решив отметить начало полноправной жизни в столице, пригласил Иралу поужинать. Тот извинился, сказав, что не может пожертвовать Конгрессом. Я сразу понял, что речь не об аляповатом здании с куполом в глубине улочки, населенной испанцами, а о вещах гораздо более пота-

енных и важных. О Конгрессе упоминали в разговорах: одни — с откровенным ехидством, другие — вполголо-са, третьи — с беспокойством или интересом, но все, как я понял, с чужих слов. Спустя неделю-другую Ирала пригласил меня отправиться вместе. Необходимые формальности, сообщил он, улажены.

Было девять-десять вечера. В трамвае Ирала рассказывал, что предварительные обсуждения проводятся по субботам и что дон Алехандро Гленкоэ, может быть, тронутый совпадением наших имен, уже подписал мои бумаги. Мы вошли в кондитерскую Гаса. Человек пятнадцать-двадцать участников сидели за большим столом; не знаю, была ли сцена или ее надстроила память. Председателя я угадал с первого взгляда, хотя не видел ни разу. Дон Алехандро, господин в летах, с умным лицом, серыми глазами и седеющей рыжеватой бородкой, держался с достоинством. Каждый раз я видел его в темном сюртуке. Сидя, он скрещивал пальцы, опираясь на набалдашник трости. Он был крепкого сложения и высокого роста. Слева сидел человек намного моложе, также рыжеволосый, но его яркая рыжина напоминала огонь, тогда как борода дона Алехандро — скорее опаль. Сосед справа был длиннолиц, с пугающе низким лбом, с иголки одет. Все заказали кофе, кое-кто — полынной. Мне сразу бросилось в глаза присутствие женщины, единственной среди стольких мужчин. На другом конце стола сидел мальчик в матроске, лет десяти, он вскоре заснул. Был еще протестантский пастор, два явных еврея и негр с шелковым платком на шее, щеголявший, на манер здешних сорвиголов из забегаловки, костюмом в обтяжку. Перед негром и мальчиком стояло по чашке шоколада. Больше не помню никого, кроме господина Марсело дель Масо, обходительного человека и проникновенного собеседника, которого, к сожалению, позже не встречал. У меня сохранилась скверная истертая фотография одного из собраний, которую я не рискну обнародовать, поскольку костюмы того времени, тогдашние прически и усы придают присутствующим какой-то шутовской, даже затрапезный вид, совершенно извращая смысл сцены.

Любое сообщество порождает свой язык и свои обряды. Ритуал Конгресса, так и оставшегося для меня чем-то вроде сна, требовал, насколько помню, чтобы участники не торопились раскрывать свои цели и имена соратников. Я довольно скоро сообразил, что моя задача — никого и ни о чем не спрашивать, почему и не беспокоил Фернандеса Иралу, который, в свою очередь, не спешил поделиться со мной. Я не пропускал ни одной субботы, но лишь через несколько месяцев начал разбираться в обстановке. Со второй встречи моим соседом по столу оказался Дональд Рен, инженер с Южной железной дороги, начавший давать мне уроки английского.

Дон Алехандро не отличался многословьем; остальные не адресовались к нему напрямую, но говорили, чувствовалось, для него и в расчете на его одобрение. Довольно было неторопливого взмаха руки, чтобы тема диспута тут же сменилась. Мало-помалу я узнал, что человек слева от председателя носит чудное имя Турирл¹. Помню его неуверенный вид, часто отличающий людей большого роста, которые пригибаются, словно боясь высоты. Он любил поигрывать медной буссолью, нередко забывая ее на столе. В конце 1914 года он погиб рядовым ирландского пехотного полка. Тот же, что обычно сидел справа, юноша со скошенным лбом по имени Фермин Эгурен, оказался племянником председателя. Не верю в реалистический метод (самый искусственный из возможных) и предпочитаю изложить разом то, что понимал лишь постепенно. Но прежде хочу еще раз напомнить читателю мое тогдашнее положение: нищий юнец из захолустного селения Касильда, сын фермеров, я приехал в Буэнос-Айрес и вдруг очутился, насколько мог понять, в тайном средоточии столицы, а может быть, кто знает, и всего мира. Прошло полвека, но я и сегодня чувствую, как у меня в начале — и далеко не в последний раз — буквально темнело в глазах.

Изложу только факты, и как можно короче. Наш председатель, Дон Алехандро Гленкоэ, был уругвайским

¹ Хвостик, завитушка (англ.).

помещиком и владел землей на границе с Бразилией. Его отец, родом из Абердина, обосновался на нашем континенте в середине прошлого века. Он привез с собой сотню книг, которые, вынужден признать, дон Алехандро только и прочел за всю жизнь. (Упоминаю о разных книгах, которые сам держал в руках, поскольку в одной из них — начало моей истории.) Скончавшись, первопоселенец оставил дочь и сына — впоследствии нашего председателя. Дочь же вышла замуж за одного из семейства Эгуренов и стала матерью Фермина. Однажды дон Алехандро попытался пройти в депутаты, но власти закрыли перед ним двери в уругвайский Конгресс. Тогда он взорвался и решил основать свой Конгресс, придав ему самые широкие полномочия. Он вспомнил описанную на одной из огнедышащих страниц Карлейля судьбу некоего Анахарсиса Клотца, фанатика богини Разума, который возглавил тридцать шесть чужестранцев и объявил себя перед Парижской ассамблеей «глашатаем рода человеческого». Вдохновленный его примером, дон Алехандро замыслил создать Всемирный конгресс, представляющий людей всех наций. Местом предварительных собраний стала кондитерская Гаса; акт открытия, на подготовку которого отвели четыре года, планировался в резиденции дона Алехандро. Он, как и многие уругвайцы, не принадлежал к приверженцам Артигаса, любил Буэнос-Айрес, но предпочел собрать Конгресс у себя на родине. Забавно, что назначенные сроки исполнились прямо-таки с невероятной точностью.

В начале каждый из нас получал некоторую твердую сумму на представительские расходы, но потом одушевивший всех пыл подвигнул Фернандеса Иралу, нищего, как и я, отказаться от денег, что немедленно повторили другие. Мера оказала свое благотворное действие, отделив овец от козлищ: число участников сократилось, и остались лишь самые верные. Оплату сохранили только нашему секретарю Норе Эрфьорд, не располагавшей иными доходами и заваленной обязанностями. Организовать сообщество представителей всего мира — задача не из простых. Письма и телеграммы буквально

сновали туда и обратно. О своем согласии уведомили представители Перу, Дании и Индостана. Некий боливец сообщил, что его родина полностью отрезана от моря, и выдвинул предложение обсудить этот плачевный изъян в рамках ближайшей встречи.

Туирл, приверженец ясности, объявил, что перед Конгрессом стоит проблема философского свойства. Обеспечить представительство всех людей на свете — то же самое, что определить точное число платоновских архетипов, а эта загадка заводила в тупик мыслителей не одного столетия. Скажем, дон Алехандро, чтобы не ходить далеко за примером, может представлять землевладельцев, но кроме того, еще и уругвайцев, и великих предтеч, и рыжебородых, и восседающих в кресле. А Нора Эрфьорд? Она из Норвегии. Так будет ли она представлять секретарей, норвежек или попросту милых дам? Достаточно ли одного инженера, чтобы представить всех, исключая новозеландцев?

По-моему, на этом месте и вклинился Фермин.

— Ферри будет представлять макаронников, — бросил он, осклабясь.

Дон Алехандро сурово глянул на него и с расстановкой заметил:

— Господин Ферри будет представлять иммигрантов, поднимающих своими трудами уровень страны.

Фермин Эгурен меня терпеть не мог. У него, как ему казалось, было чем кичиться: уругваец, да еще урожденный, любимец дам, клиент дорогостоящего портного и — уж не знаю, что тут замечательного, — потомок басков, народа, который, на мой взгляд, только тем и занимался на обочинах истории, что доил коров.

Пустячный случай усугубил нашу вражду. После одного из собраний Эгурен предложил повеселиться где-нибудь на улице Хунин. Я не видел в том ничего интересного, но согласился, чтобы не подставляться под его обычные издевки. Мы с Фернандесом Иралою держались рядом. Уже выходя из заведения, наша компания столкнулась с каким-то верзилой. Слегка перебравший Эгурен отодвинул его. Тот загородил путь и бросил:

— Кто хочет выйти, пусть попробует вот этого.

Помню, как в темном подъезде блеснул нож. Эгурен в ужасе отпрянул. Мне было не по себе, но отвлечение пересилило страх. Я сунул руку за борт пиджака, словно нащупывая оружие, и твердо сказал:

— Выйдем на улицу.

Незнакомец ответил уже другим голосом:

— Вот такие парни по мне. Проверка, приятель.

Он от души расхохотался.

— Мои приятели думают, когда говорят, — отчеканил я, и мы вышли.

Человек с ножом двинулся в зал. Потом мне объяснили, что его зовут Тапия, Паредес или что-то в этом роде и что он известный задира. Уже на улице Ирала, который держался спокойно, хлопнул меня по плечу и воскликнул:

— Из нас троих ты один — настоящий мушкетер. Да здравствует д'Артаньян!

Фермин Эгурен так и не смог забыть, что я оказался свидетелем его позора.

Собственно, сейчас — и только сейчас — начинается история. На предыдущих страницах описаны лишь условия, которые потребовались удаче или судьбе, чтобы произошло самое невероятное и, скорее всего, единственное событие всей моей жизни. Дон Алехандро всегда был в центре собраний, но мало-помалу мы с удивлением и тревогой стали понимать, что настоящий наш председатель — Туирл. Этот редкостный тип с пламенными усами заискивал перед Гленкоэ и даже перед Фермином Эгуреном, но так шаржированно, что это походило на карикатуру и не роняло достоинства. Гленкоэ гордился своим богатством, и Туирл сообразил, что для успеха любого проекта достаточно объявить, будто расходы на него, увы, нам не по силам. В начале, насколько понимаю, Конгресс был всего лишь малопонятным словом; Туирл раз за разом предлагал ставить дело на все более широкую ногу, и дон Алехандро неизменно соглашался. Мы словно оказались в центре растущего до бесконечности круга. Например, Туирл заявил, что Конгрессу не обойтись без библиотеки справочных из-

даний; служивший в книжной лавке Ниренштейн стал посылать нам атласы Юстуса Пертеса и различные объемистые энциклопедии, начиная от «*Historia naturalis*»¹ Плиния и «*Speculum*»² Винцента из Бовэ до пленительных лабиринтов (в мыслях произношу эти слова голосом Фернандеса Иралы) прославленных французских энциклопедистов, «Британики», Пьера Ларусса, Брокгауза, Ларсена, Монтанера и Симона. Помню, как благоговейно гладил переплетенные в шелк тома некой китайской энциклопедии, чьи заботливо выведенные значки казались мне таинственной пятен на шкуре леопарда. Тогда я не мог предвидеть конца, который их постиг, о чем, впрочем, нимало не сожалею.

Дон Алехандро выделял среди других Фернандеса Иралу и меня, вероятно, потому, что мы одни перед ним не угодничали. Однажды он пригласил нас погостить несколько дней в его усадьбе «Каледония», которую уже отделявали поденщики-каменотесы.

После долгого плавания вниз по реке и переправы на плоту мы ступили поутру на другой берег залива. Потом нам пришлось ночевать на убогих постоянных дворах, отпирать и запирать калитки оград в Кучилья-Негра. Мы ехали в коляске; равнина показалась мне просторней и безлюдней, чем у нас на ферме.

От усадьбы у меня остались два воспоминания: то, что я рисовал себе вначале и что увидел потом. Неизвестно почему мне, будто сквозь сон, чудилось какое-то невероятное сочетание полей в Санта-Фе с дворцом в Агуас-Корьентес. А на самом деле «Каледония» представляла собой вытянутый дом из сырца с двускатной крышей и выложенной изразцами галереей. Складывалось впечатление, что строили ее в расчете на суровый климат и долгие годы. Стены были едва ли не в метр толщиной, двери похожи на бойницы. Никому и в голову не пришло посадить хоть какую-то зелень. Рассветы и закаты били прямо в окна. Загоны были каменные, несчетные коровы — худы и рогасты, спутанные

¹ «Естественная история» (лат.).

² «Зерцало» (лат.).

хвосты лошадей волочили по земле. Я впервые попробовал парного мяса. Работники таскали в торбах сухари; приказчик как-то обмолвился, что в жизни не ел свежего хлеба. Ирала спросил, где можно помыться; дон Алехандро широким жестом обвел горизонт. Ночью светила огромная луна; я вышел пройтись и остолбенел, увидев ее под охраной страуса-нанду.

Не спавшая за ночь жара донимала нестерпимо, мы перевозносили прохладу. Комнат было много, все с низким потолком, необитаемые на вид. Мы выбрали одну окнами на юг с двумя койками, комодом, умывальным тазом и кувшином из серебра. Полы были земляные.

Наутро я отправился в библиотеку и отыскал в томах Карлейля страницу, посвященную глашатаю рода человеческого Анахарсису Клотцу, который подарил мне это утро и это одиночество. После завтрака, такого же, как ужин, дон Алехандро пригласил нас посмотреть, как идет стройка. Лигу мы проскакали верхом по полю. Ирала, с опаской взлезший на коня, еле дотерпел. Приказчик, не меняясь в лице, отметил:

— Отлично спешился горожанин.

Стройка была видна издалека. Человек двадцать мужчин возводили что-то вроде руин амфитеатра. Помню леса и ступени, между которыми синело небо.

Несколько раз я пробовал разговориться с гаучо, но все понапрасну. Они чувствовали во мне чужака. Между собой — да и то нечасто — они употребляли испанский, огнусавленный на бразильский манер. В них, бесспорно, смешались индейская и негритянская кровь. Все были крепкие, кряжистые; в «Каледонии» я впервые в жизни оказался рослым. Большинство носили чирипа, некоторые — бомбачи. Практически никто не походил на раздавленных бедой героев Эрнандеса или Рафаэля Облигадо. По субботам после выпитого свирепели от пустяка. Я не видел ни одной женщины и ни разу не слышал гитары.

Но больше, чем люди этого пограничья, меня поразила полная перемена в доме Алехандро. В столице он был обходительным, сдержанным господином; в «Каледонии» — суровым, как его предки, вождем рода. По

воскресеньям он с утра читал Писание не понимавшим ни слова пеонам. Как-то вечером приказчик, молодой парень, унаследовавший должность отца, доложил, что один из арендаторов схватился на ножах с поденщиком. Дон Алехандро без спешки поднялся. Он подошел к сборищу, снял оружие, с которым обычно не расставался, передал его заметно трусившему приказчику и шагнул между соперниками. Я услышал приказ:

— Бросьте ножи, парни. — Тем же спокойным голосом он добавил: — Дайте друг другу руки и расходитесь. Чтобы никаких склок.

Ему подчинились. Наутро я узнал, что приказчика рассчитали.

Я чувствовал, как одиночество затягивает меня. Порой становилось страшно, что я уже не вернусь в Буэнос-Айрес. Не знаю, что испытывал Фернандес Ирала, но мы вдруг стали подолгу разговаривать об Аргентине и о том, что станем делать, возвратившись. Вспоминались львы у парадного в доме на улице Жужуй, рядом с площадью Онсе, фонарь над каким-то кабачком, но привычные места — никогда.

Я с детства был хорошим наездником; здесь я завел обыкновение по многу часов прогуливаться верхом. У меня и сейчас перед глазами тот вороной, которого я чаще других седлал: думаю, он уже сдох. Кажется, как-то вечером или ближе к ночи я оказался в Бразилии; границу отмечали просто межевыми камнями.

Мы уже потеряли счет дням, когда однажды, обычным вечером, дон Алехандро предупредил:

— Ложитесь пораньше. На заре выезжаем.

Плывя вниз по реке, я был так счастлив, что с нежностью думал даже о «Каледонии».

Субботние собрания возобновились. Уже на первом слово вновь взял Туирл. Рассыпая обычные цветы риторики, он провозгласил, что библиотека Всемирного конгресса не вправе ограничиваться справочными изданиями: классическая словесность всех стран и народов составляет истинное свидетельство времени и пренебрежение ею не может пройти безнаказанно. Доклад был одобрен. Фернандес Ирала и преподаватель латыни док-

тор Крус взяли на себя отбор необходимых текстов. С Ниренштейном Туирл уже обсудил вопрос предварительно.

Вряд ли существовал в ту пору аргентинец, который не чаял найти в Париже землю обетованную. Вероятно, самым нетерпеливым из нас был Фермин Эгурен, за ним, но по иным резонам, следовал Фернандес Ирала. Для автора «Надгробий» Париж означал Верлена и Леконта де Лиля, для Эгурена — усовершенствованное продолжение веселых кварталов по улице Хунин. Здесь он, подозреваю, нашел общую почву с Туирлом. По крайней мере следующий раз тот вынес на обсуждение проблему языка, на котором предстоит общаться членам Конгресса, и предложил отправить для сбора соответствующей информации двух делегатов — в Лондон и Париж. Ради показной беспристрастности он назвал первым кандидатом меня, а вторым, после мгновенной запинки, своего друга Эгурена. Дон Алехандро, по обыкновению, согласился.

Кажется, я уже писал, что в обмен на несколько уроков итальянского Рен посвятил меня в бездны английского языка. Насколько возможно, мы обходились без учебников грамматики и специальных упражнений для новичков, прямо перейдя к стихам, чья форма требует краткости. Первой встречей с языком, наполнившим мою жизнь, стал мужественный «Реквием» Стивенсона, потом пришел черед баллад, открытых Перси для благопристойного восемнадцатого столетия. Перед отъездом в Лондон я узнал очарование Суинберна и с той поры, втайне чувствуя вину, усомнился в достоинствах александрийских строк Ирала.

Я приехал в Лондон в начале января 1902 года. Вспоминаю первую ласку снега, которого в жизни не видел и с тех пор не могу забыть. К счастью, наши пути с Эгуреном разошлись. Я устроился в недорогом пансионе на задворках Британского Музея, в чьей библиотеке просиживал утра и вечера, отыскивая наречье, достойное Всемирного конгресса. Не обходил я и универсальных языков: бредил эсперанто, который в «Календаре души» назван «беспристрастным, кратким и

простым», и волапоком, вознамерившимся исчерпать все мыслимые возможности языка, склоняя глаголы и спрягая существительные. Обдумывал доводы в пользу и против воскрешения латыни, ностальгические воспоминания о которой передаются от столетия к столетию. И с головой ушел в обзор аналитического языка Джона Уилкинса, где смысл каждого слова определяется составляющими его буквами. Здесь, под высоким куполом читального зала, я и познакомился с Беатрис.

Я пишу общую историю Всемирного конгресса, а не свою личную, однако первая включает в себя вторую, как и все прочие. Беатрис была высокой, гибкой, с тонкими чертами и огненной шевелюрой, которая могла бы напомнить — но не напоминала — мне о клонящемся Туирле. Ей не сравнялось и двадцати. Она покинула одно из северных графств ради занятий филологией в лондонском университете. Мы с ней оба не отличались блеском родословной. Быть итальянкой по крови в Буэнос-Айресе все еще зазорно, но в Лондоне многие, как она узнала, видят в этом даже что-то романтическое. Спустя несколько вечеров мы стали близки. Я предлагал ей руку и сердце, однако Беатрис Фрост, как и Нора Эрфьорд, хранила верность заветам Ибсена и не желала связывать свою свободу. От нее я услышал слово, которое так и не решился произнести сам. О, эти ночи, их теплый, один на двоих, полумрак, о любовь, незримой рекой струящаяся в темноте, о миг счастья, когда каждый вмещает обоих, незатейливое, безмятежное счастье, о, эта близость, которой мы забывались, чтобы забыться сном, о, первые проблески утра и я, не сводящий с нее открывшихся глаз.

На суровой бразильской границе я умирал от ностальгии, но совершенно не чувствовал ее в кирпичном лабиринте Лондона, подарившем мне столько дорогого. Под разными предлогами я откладывал отъезд до самого конца года. Мы собрались встретить Рождество вместе. Я обещал Беатрис, что добьюсь для нее от дона Алехандро приглашения вступить в Конгресс. Она, не вдаваясь в детали, ответила, что давно хотела повидать южное полушарие и что ее двоюродный брат, зубной

врач, обосновался на Тасмании. Она не пошла провожать меня до пристани, считая прощание высокопарным, бессмысленным празднеством несчастья и не вынося никакой высокопарности. Мы расстались в библиотеке, где встретились год назад. Я слабодушен и не дал ей адреса, чтобы не мучиться, ожидая писем.

Я замечал, что обратный путь короче прямого, но это плавание через Атлантику, омраченное воспоминаниями и тревогами, показалось мне куда дольше прежнего. Мучительней всего было знать, что параллельно моей жизни — минута в минуту и ночь в ночь — Беатрис живет своею. Я написал ей многостраничное письмо, которое порвал, когда мы отчалили от Монтевидео. Я прибыл на родину в четверг, на пристани меня ждал Ирала. Мы вернулись в мою старую квартиру на улице Чили, проведя этот и следующий день за разговорами и прогулками. Мне хотелось снова надышаться Буэнос-Айресом. К моему облегчению, Фермин Эгурен все еще оставался в Париже: возвратившись раньше, я, казалось, как-то смягчал слишком долгое отсутствие.

Ирала пребывал в отчаянии. Фермин транжирил в Европе чудовищные суммы и упорно игнорировал все приказания немедленно возвращаться. Иного, впрочем, я и не ждал. Куда больше меня тревожило другое: в противовес Ирале и Крису Туирл воскресил максимуму Плиния Младшего, полагавшего, будто нет такой скверной книги, которая не заключала бы в себе хорошего. А потому он настоял на приобретении всех без изъятия номеров газеты «Печать», трех тысяч четырехсот экземпляров «Дон Кихота», собрания писем Бальмеса, университетских дипломов, бухгалтерских счетов, лотерейных билетов и театральных программ. Все это суть свидетельства своего времени, провозгласил он. Ниренштейн выступил в его поддержку; дон Алехандро «после трех громогласных суббот» одобрил предложение. Нора Эрфьорд отказалась от должности секретаря, ее место занял новичок по фамилии Карлинский, игрушка в руках Туирла. И теперь огромные присланные пакеты без каталогизации и обработки громоздились в задних

комнатах и холостяцкой кладовой дона Алехандро. В начале июля Ирала еще неделю гостил в «Каледонии»; каменотесы бросили работу на середине. Приказчик на все расспросы отвечал, будто таково распоряжение хозяина и что если у него теперь чего вдоволь, так это времени.

В Лондоне я подготовил отчет, но не о нем сейчас речь. В пятницу я с визитом и текстом отправился к дону Алехандро. Меня сопровождал Фернандес Ирала. День клонился к закату, по дому разгуливал юго-западный ветер. Перед воротами со стороны улицы Альсина торчала запряженная тройкой повозка. Я увидел гнушихся под тюками людей, сносивших груз в дальний дворик, ими самовластно распоряжался Туирл. Как будто что-то предчувствуя, в доме собрались и Нора Эрфьорд, и Ниренштейн, и Крус, и Дональд Рен, и кто-то еще из участников. Нора обняла и поцеловала меня, напомнив совсем другую. Негр, кланяясь и лучась, приложился к моей руке.

В одной из комнат квадратной дырой зиял вход в подвал. Каменные ступени терялись во тьме.

Вдруг послышались шаги. Я сразу понял, что это дон Алехандро. Он буквально влетел.

Голос его изменился: перед нами был не тот владеющий собой господин, что председательствовал на наших субботних заседаниях, и не богатый скотовладелец, кладущий конец ножевой драке и декламирующий своим пастухам Слово Божие, хотя, пожалуй, все-таки ближе ко второму.

Ни на кого не глядя, он приказал:

— Книги из подвала тащите во двор. Все до последней.

Мы трудились около часа. В конце концов на земле дворика вырос высоченный штабель из книг. Все сновали туда и обратно, лишь дон Алехандро не шелохнулся.

Последовал новый приказ:

— Поджигайте.

У Туирла в лице не было ни кровинки. Ниренштейн пробормотал:

— Всемирному конгрессу не обойтись без этих бесценных пособий, я отбирал их с такой любовью.

— Всемирному конгрессу? — переспросил дон Алехандро. Он едко рассмеялся, я в первый раз услышал его смех.

В разрушении есть странная радость; языки огня с треском взвились, и мы, стоя у стен или разойдясь по комнатам, вздрагивали. Скоро во дворике остались лишь ночь, вода и запах горелого. Помню несколько уцелевших страниц, они белели на земле. Нора Эрффорд, питавшая к дону Алехандро ту нежность, которую испытывают молоденькие девушки к солидным мужчинам, бросила в пустоту:

— Дон Алехандро знает, как поступать.

Литератор до мозга костей, Ирала афористично отчеканил:

— Александрийскую библиотеку подобает сжигать раз в несколько столетий.

И тогда дон Алехандро прорвало:

— То, что я скажу, мне нужно было понять четыре года назад. Наш замысел так огромен, что вбирает в себя — теперь я это знаю — весь мир. Дело не в кучке шарлатанов, которые оглушают друг друга речами под навесом забытой Богом усадьбы. Всемирный конгресс начался вместе с мирозданием и будет жить, когда все мы уже обратимся в прах. Он — повсюду. Конгресс — это сожженные нами книги. Конгресс — это каледонцы, громившие легионы Цезарей. Конгресс — это Иов среди гноища и Иисус на кресте. Конгресс — это никчемный сопляк, просаживающий мое состояние с последней шлюхой.

Я не смог удержаться и прервал его:

— Дон Алехандро, я тоже виноват. Я давным-давно подготовил отчет, который принес только сегодня, и, транжиря ваши деньги, пропадал в Англии, потому что влюбился.

Дон Алехандро продолжал:

— Я так и предполагал, Ферри. Конгресс — это мои быки. Конгресс — это быки, которых я продал, и земли, которые мне больше не принадлежат.

Тут вклинился пронзительный голос Туирла:

— Вы хотите сказать, что продали «Каледонию»?

Дон Алехандро, помолчав, ответил:

— Да, продал. Теперь у меня нет ни клочка земли, но я не раздавлен крахом, потому что понял. Вероятно, мы уже не увидимся, поскольку нужды в нашем Конгрессе больше нет. Но сегодня ночью мы в последний раз отправимся вместе посмотреть на Конгресс.

Он был просто пьян от восторга. Нас тронули его откровенность и пыл. Никому даже в голову не пришло, что он не в себе.

На площади наняли шарабан. Я устроился на козлах рядом с возницей, и дон Алехандро скомандовал:

— Проедемся по городу, хозяин. Вези, куда глаза глядят.

Негр, прилепившись на подножке, всю дорогу улыбался. Не знаю, понимал ли он, что происходит.

Слова — это символы: они требуют общих воспоминаний. Сегодня я могу рассказать только свои, мне больше не с кем разделить их. Мистики говорят о розе или поцелуе, о птице, в которой все птицы на свете, и солнце, вобравшем в себя звезды и солнце разом, о чаше вина, саде или любовном соитии. Ни одна из этих метафор не подойдет, чтобы описать бесконечную ночь ликования, вынесшую нас, усталых и счастливых, на берег зари. Мы почти не разговаривали, лишь колеса и подковы звучали на камнях мостовой. Перед рассветом у темных и безропотных вод то ли Мальдонадо, то ли Риачуэло Нора Эрфьорд низким голосом затянула балладу о Патрике Спенсе, и дон Алехандро подхватил, не в лад повторяя то одну, то другую строку. Английские слова не отозвались во мне образом Беатрис. Туирл за спиной пробормотал:

— Я зла желаю, а несу добро.

Наверное, что-то из виденного тогда живо и сегодня: красноватый вал кладбища Реколета, желтая стена тюрьмы, двое мужчин в забегаловке, танцующих без музыки, дворик, по-шахматному расчерченный решеткой ограды, железнодорожный шлагбаум, мой дом, рынок, бездонная влажная ночь, но смысл заключался не

в этих беглых деталях, они могли быть иными. Самое важное, что мы как один почувствовали: наш вымысел, над которым каждый не раз посмеивался, непроверяемо и потаенно существует — это весь мир и мы в нем. Безнадёжно я долгие годы искал потом ощущение той ночи; порой оно словно бы воскресало в музыке, любви, смутном воспоминании, но по-настоящему вернулось лишь однажды утром, во сне. В час нашей клятвы — не обмолвиться ни словом ни единому человеку — уже наступила суббота.

Больше я никогда не виделся ни с кем, только с Иралай. В разговорах мы не возвращались к тем временам, любое слово о них звучало бы кощунством. В 1914 году дон Алехандро Гленкоэ умер, его похоронили в Монтевидео. Ирала скончался годом раньше.

С Ниренштейном мы однажды столкнулись на Лимской улице и сделали вид, что не узнаем друг друга.

ЗЕРКАЛО И МАСКА

После сражения при Клонтарфе, где норвежцы были разбиты, Великий Король обратился к поэту и сказал ему:

— Самые славные подвиги меркнут, если они не запечатлены в словах. Я хочу, чтобы ты воспел мне хвалу и прославил мою победу. Я буду Энеем, ты станешь моим Вергилием. В силах ли ты справиться с моим замыслом, который даст нам бессмертие?

— Да, Король, — ответил поэт. — Я оллам. Двенадцать зим я изучал искусство метрики. Я знаю на память триста шестьдесят сюжетов, которые лежат в основе истинной поэзии. В струнах моей арфы заключены ольстерский и мунстерский циклы саг. Мне известны способы, как употреблять самые древние слова и развернутые метафоры. Я познал сложные структуры, которые хранят наше искусство от посягательств черни. Я могу воспеть любовь, похищение коней, морские плавания, битвы. Мне ведомы легендарные предки всех королевских домов Ирландии. Мне открыты свой-

ства трав, астрология, математика и каноническое право. При стечении народа я одержал победу над своими соперниками. Я искушен в заклятиях, которые наводят на кожу болезни, вплоть до проказы. Я владею мечом и доказал это в твоём сражении. Лишь одного я не испытал: радости получить от тебя дар.

Король, которого долгие речи утомляли, сказал с облегчением:

— Она предстоит тебе. Сегодня мне сказали, что в Англии уже слышны соловьиные песни. Когда пройдут дожди и снега, когда вновь прилетит соловей из южных земель, ты прочитаешь мне свою хвалебную песнь в присутствии двора и Коллегии Поэтов. Я даю тебе целый год. Ты можешь довести до совершенства каждую букву и каждое слово. Награда, как я уже сказал, будет достойна и моих королевских обычаев, и твоих вдохновенных трудов.

— Король, лучшая награда — лицезреть тебя, — ответил поэт, который не переставал быть царедворцем.

Он поклонился и вышел, уже начиная смутно предчувствовать стих.

Прошел год, ознаменованный мором и бунтами, и поэт представил свою хвалебную песнь. Он читал ее твердо и размеренно, не заглядывая в рукопись. Король одобрительно кивал головой. Все повторяли его жест, даже те, кто толпился в дверях и не мог разобрать ни слова.

Наконец Король заговорил:

— Я принимаю твой труд. Это еще одна победа. Ты сообщил каждому слову его истинное значение, а каждое существительное сопровождал эпитетом, который ему придавали первые поэты. Во всей песни нет ни одного образа, который бы не использовали древние. Битва — великолепный ковер из воинов, а кровь — вода меча. У моря — свой бог, а по облакам видно будущее. Ты мастерски справился с рифмами, аллитерациями, ассонансами, долгими и краткими звуками, хитросплетениями ученой риторики, искусным чередованием размеров. Если бы вдруг — *omen absit*¹ — вся

¹ Здесь: да не случится такого! (лат.).

ирландская литература погибла — ее можно было бы восстановить без потерь по твоей песни. Тридцати писцам будет приказано переписать ее по двенадцать раз. — Он помолчал и продолжил: — Все прекрасно, однако ничего не произошло. Кровь не побежала по жилам быстрее. Рука не потянулась к луку. Не сбежал румянец со щек. Не раздался боевой клич, не сомкнулись ряды, чтобы противостоять викингам. Через год мы станем рукоплескать твоей новой песни, поэт. В знак нашего одобрения прими это серебряное зеркало.

— Я понял и благодарю, — ответил поэт.

Светила прошли по небу свой круг. Вновь запел соловей в саксонских лесах, и опять появился поэт со своей рукописью, на этот раз меньшей, чем прежняя. Он читал написанное неуверенно, опуская некоторые строфы, как будто не вполне понимая или не желая делать их всеобщим достоянием. Страницы были битвой. В их ратном беспорядке мелькал Бог, единый в Троице, одержимые ирландские язычники и воины, сражавшиеся спустя столетия в начале Великой Эпохи. Язык поэмы был не менее необычен. Существительное в единственном числе управляло глаголом во множественном. Предлоги были непохожи на общепринятые. Грубость сменялась нежностью. Метафоры были случайны или казались такими.

Король обменялся словами со знатоками литературы, окружавшими его, и произнес:

— О твоей первой песни можно было сказать, что она счастливый итог всех тех времен, когда в Ирландии слагались легенды. Эта — превосходит все существовавшее ранее и уничтожает его. Она потрясает, изумляет, слепит. Невежды недостойны ее, а знатоки — еще меньше. Единственный экземпляр будет храниться в мраморном ларце. Но от поэта, создавшего столь великий труд, можно ждать еще большего. — Он добавил с улыбкой: — Мы герои легенды, а в легендах, помнится, главное число — три.

Поэт пробормотал:

— Три волшебных дара, трехкратные повторы и, разумеется, Троица.

Король продолжал:

— В залог моего расположения возьми эту золотую маску.

— Принимаю и благодарю, — ответил поэт.

Прошел год. Стража у ворот дворца заметила, что поэт не принес рукописи. В изумлении разглядывал его Король: он был совсем другим. Нечто иное, не время, оставило след на его лице, изменило черты. Взгляд казался устремленным вдаль либо невидящим. Поэт обратился к Королю с просьбой о разговоре наедине. Придворные покинули зал.

— Написал ли ты песнь? — спросил Король.

— Написал, — горестно ответил поэт. — Лучше бы Господь наш Иисус Христос не дал мне на это сил.

— Можешь прочесть?

— Не смею.

— Соберись с духом, — подбодрил его Король.

Поэт прочел стихотворение. Оно состояло из одной строки. Поэт читал без одушевления, однако и для него самого, и для Короля стих прозвучал то ли молитвой, то ли богохульством. Король бы поражен не меньше поэта. Они взглянули друг на друга, лица их покрыла бледность.

— В молодые годы, — сказал Король, — я совершил плавание на закат. На одном из островов я видел серебряных борзых, которые загоняли насмерть золотых кабанов. На другом мы утоляли голод благоуханьем чудесных яблок. Еще на одном я видел огненные стены. А на самом дальнем с неба изогнутой аркой стекала река, по водам которой плыли рыбы и корабли. Это были чудеса, но они несравнимы с твоим стихотворением, которое удивительным образом заключает чудеса в себе. Каким колдовством удалось тебе добиться этого?

— Однажды я проснулся на заре, — ответил поэт, — повторяя слова, которые не сразу понял. Это и было стихотворение. Я чувствовал, что совершаю грех, которому нет прощения.

— То, что мы с тобой оба испытали, — тихо сказал Король, — известно как Прекрасное и запретно для

людей. Настала пора расплаты. Я подарил тебе зеркало и золотую маску; вот третий, последний дар.

И он вложил поэту в правую руку кинжал.

О поэте известно, что он лишил себя жизни, как только покинул дворец, о Короле — что он оставил свое царство и стал нищим, скитавшимся по дорогам Ирландии, и что он ни разу не повторил стихотворения.

УНДР

Мой долг предупредить читателя, что он напрасно будет искать помещенный здесь эпизод в «*Libellus*» (1615) Адама Бременского, родившегося и умершего, как известно, в одиннадцатом веке. Лаппенберг обнаружил его в одной из рукописей оксфордской библиотеки Бодли и счел, ввиду обилия второстепенных подробностей, более поздней вставкой, однако опубликовал как представляющую известный интерес в своей «*Analecta Germanica*» (Лейпциг, 1894). Непрофессиональное мнение скромного аргентинца мало что значит; пусть лучше читатель сам определит свое к ней отношение. Мой перевод на испанский, не будучи буквальным, вполне заслуживает доверия.

Адам Бременский пишет: «...Среди племен, которые обитают вблизи пустынных земель, расположенных на том краю моря, за степями, где пасутся дикие кони, наиболее примечательное — урны. Невразумительные и неправдоподобные рассказы торговцев, трудности пути и опасение быть ограбленным кочевниками — все это так и не позволило мне ступить на их землю. Однако мне известно, что их редкие, слабо защищенные поселения находятся в низовьях Вислы. В отличие от шведов, урны исповедуют истинную религию Христа, не замутненную ни арианством, ни кровавыми демонологическими культами, в которых берут начало королевские династии Англии и других северных народов. Они пастухи, лодочники, колдуны, оружейники и ткачи. Жестокие войны почти отучили их пахать землю. Жители

степного края, они преуспели в верховой езде и стрельбе из лука. Все со временем начинают походить на своих врагов. Их копьё длиннее наших, ибо принадлежат они всадникам, а не пехотинцам.

Перо, чернила и пергамент, как и можно было предположить, им неведомы. Они вырезают свои буквы подобно тому, как наши предки увековечивали руны, дарованные им Одином, после того как он в течение девяти ночей провисел на ясене: Один, принесенный в жертву Одину.

Эти общие сведения дополню содержанием моего разговора с исландцем Ульфом Сигурдарсоном, который слов на ветер не бросал. Мы встретились в Упсале неподалеку от собора. Дрова горели; сквозь щели и трещины в стене проникали стужа и заря. За дверями лежал снег, меченный хитрыми волками, которые разрывали на куски язычников, принесенных в жертву трем богам. Вначале, как принято среди клириков, мы говорили на латыни, но вскоре перешли на северный язык, который в ходу на всем пространстве от Ульtima Туле до торговых перекрестков Азии. Этот человек сказал:

— Я — скальд; едва я узнал, что поэзию урнов составляет одно-единственное слово, как тут же отправился в путь, ведущий к ней и к ее землям. Спустя год не без труда и мытарств я достиг своей цели. Была уже ночь; я заметил, что люди, встречавшиеся на моем пути, смотрели на меня с недоумением, а несколько брошенных камней меня задела. Я увидел в кузнице огонь и вошел.

Кузнец приютил меня на ночь. Звали его Орм. Его язык напоминал наш. Мы перемолвились несколькими словами. Из его уст я впервые услышал имя их царя — Гуннлауг. Мне стало известно, что с началом последней войны он перестал доверять чужеземцам и взял за правило распинать их. Дабы избежать участи, подобающей скорее Богу, чем человеку, я сочинил драпу, хвалебную песнь, превозносящую победы, славу и милосердие царя. Едва я успел ее запомнить, как за мной пришли двое. Меч отдать я отказался, но позволил себя увести.

Были еще видны звезды, хотя брезжил рассвет. По

обе стороны дороги тянулись лачуги. Мне рассказывали о пирамидах, а на первой же площади я увидел столб из желтого дерева. На вершине столба я различил изображение черной рыбы. Орм, который шел вместе с нами, сказал, что рыба — это Слово. На следующей площади я увидел красный столб с изображением круга. Орм повторил, что это — Слово. Я попросил, чтобы он мне его сказал. Он мне ответил, что простые ремесленники его не знают.

На третьей, последней, площади я увидел черный столб с рисунком, который забыл. В глубине была длинная гладкая стена, краев которой я не видел. Позднее я узнал, что над нею есть глиняное покрытие, ворота только наружные и что она опоясывает город. К изгороди были привязаны низкорослые, длинногривые лошади. Кузнецу войти не позволили. Внутри было много вооруженных людей; все они стояли. Гуннлауг, царь, был нездоров и возлежал на помосте, устланном верблюжьими шкурами. Вид у него был изможденный, цвет лица землистый — полузабытая святыня; старые длинные шрамы бороздили его грудь. Один из солдат провел меня сквозь толпу. Кто-то протянул арфу. Преклонив колени, я вполголоса пропел драпу. В ней в избытке были риторические фигуры, аллитерации, слова, произносимые с особым чувством, — все, что подобает жанру. Не знаю, понял ли ее царь, но он пожаловал мне серебряный перстень, который я храню поныне. Я заметил, что из-под подушки торчит конец кинжала. Справа от него была шахматная доска с сотней клеток и несколькими в беспорядке стоящими фигурами.

Стражник оттолкнул меня. Мое место занял человек, не преклонивший колен. Он перебирал струны, будто настраивая арфу, и вполголоса стал нараспев повторять одно слово, в смысл которого я пытался вникнуть и не вник. Кто-то благоговейно произнес: *«Сегодня он не хочет ничего говорить»*.

У многих на глазах я видел слезы. Голос певца то падал, то возвышался; он брал при этом монотонные, а точнее, бесконечно тягучие аккорды. Мне захотелось, чтобы песня никогда не кончалась и была бы моей

жизнью. Внезапно она оборвалась. Раздался звук падающей арфы, которую певец в полном изнеможении уронил на пол. Мы выходили в беспорядке. Я был одним из последних. Меня удивило, что уже смеркалось.

Я сделал несколько шагов. Кто-то опустил руку мне на плечо. Незнакомец сказал:

— Царский перстень стал твоим талисманом, однако ты скоро умрешь, ибо слышал Слово. Я, Бьярни Торкельсон, тебя спасу. Я — скальд. В своем дифирамбе ты кровь уподобил воде меча, а битву — битве людей. Мне вспоминается, что я слышал эти фигуры от отца моего отца. Мы оба с тобой поэты; я спасу тебя. У нас перестали описывать события, которым посвящены наши песни; мы выражаем их единственным словом, а именно — Словом.

Я ответил:

— Расслышать его я не смог. Прошу тебя, скажи мне его.

После некоторого колебания он произнес:

— Я поклялся держать его в тайне. К тому же никто ничему научить не может. Тебе придется искать его самому. Прибавим шагу, ибо жизни твоей угрожает опасность. Я спрячу тебя в своем доме, где искать тебя не посмеют. Завтра утром, если будет попутный ветер, ты отплывешь на юг.

Так начались мои странствия, в которых прошло немало долгих лет. Я не стану описывать всех выпавших на мою долю злоключений. Я был гребцом, работником, лесорубом, певцом, грабил караваны, определял местонахождение воды и металлов. Попав в плен, я год проработал на ртутном руднике, где у людей выпадают зубы. Бок о бок со шведами я сражался под стенами Миклигартра (Константинополя). На берегу Азовского моря меня любила женщина, которой мне никогда не забыть; я ли оставил ее или она меня — это одно и то же. Предавали меня, и предавал я. Не раз и не два я вынужден был убивать. Однажды греческий солдат вызвал меня на поединок и протянул мне на выбор два меча. Один из них был на целую ладонь длиннее другого. Я понял, что он хотел этим испугать

меня, и выбрал короткий. Он спросил почему. Я ответил, что расстояние от моего кулака до его сердца неизменно. На берегу Черного моря я высек руническую эпитафию в память о моем друге Лейфе Арнарсоне. Я сражался с Синими Людями Серкланда, сарацинами. Чего только не было со мной за это время, но вся эта круговерть казалась лишь долгим сном. Главным же было Слово. Порой я в нем разуверивался. Я убеждал себя, что неразумно отказываться от прекрасной игры прекрасными словами ради поисков одного-единственного, истинность которого недоказуема. Однако доводы эти не помогали. Один миссионер предложил мне слово «Бог», но я его отверг. Однажды, когда над какой-то рекой, впадавшей в море, вставало солнце, меня вдруг озарило.

Я вернулся на земли урнов и насилу нашел дом певца.

Я вошел и назвал себя. Стояла ночь. Торкельсон, не подымаясь с пола, попросил меня зажечь свечу в бронзовом подсвечнике. Его лицо настолько одряхлело, что мне невольно подумалось, что стариком стал уже и я. По обычаю, я спросил о царе. Он ответил:

— Ныне его зовут не Гуннлауг. Теперь у него другое имя. Расскажи-ка мне о своих странствиях.

Я рассказал ему все по порядку, с многочисленными подробностями, которые здесь опускаю. Он прервал мой рассказ вопросом:

— Часто ли ты пел в тех краях?

Меня удивил вопрос.

— Вначале, — ответил я, — пением я зарабатывал на хлеб. Потом необъяснимый страх не давал мне петь и прикасаться к арфе.

— Хорошо, — одобрительно кивнул он. — Можешь продолжать.

Я постарался ничего не забыть. Наступило долгое молчание,

— Что дала тебе первая женщина, которой ты обладал? — спросил он.

— Все, — ответил я.

— Мне тоже моя жизнь дала все. Всем жизнь дает

все, только большинство об этом не знает. Мой голос устал, а пальцы ослабли, но послушай меня.

И он произнес слово «ундр», что означает «чудо».

Меня захватило пение умирающего, в песне которого и в звуках арфы мне чудились мои невзгоды, рабыня, одарившая меня первой любовью, люди, которых я убил, студёные рассветы, заря над рекой, галеры. Взяв арфу, я пропел совсем другое слово.

— Хорошо, — сказал хозяин, и я придвинулся, чтобы лучше его слышать. — Ты меня понял.

МЕДАЛЬ

Я — дровосек. Имя мое никому ничего не скажет. Хижина, где я родился и где скоро умру, стоит на опушке леса. Лес, говорят, доходит до моря, которое обступает всю сушу и по которому плавают деревянные хижины вроде моей. Не знаю, правда, самому видеть ее не доводилось. Не видел я и леса с другой стороны. Мой старший брат заставил меня поклясться, когда мы были мальчишками, что мы с ним вдвоем вырубим лес до последнего дерева. Брат уже умер, а у меня теперь на уме другое: я ищу одну вещь и не устану ее искать. В ту сторону, где садится солнце, течет небольшая речка; я ухитряюсь вылавливать рыбу руками. По лесу рыщут волки. Но волки меня не пугают: мой топор ни разу меня не подвел. Лет своих не считаю. Знаю только, что их набралось немало. Глаза мои еле видят. В деревне, куда я уже не хожу, потому что боюсь заблудиться, меня называют скупцом, но много ли может скопить лесоруб?

Дверь своей хижины я подпираю камнем, чтоб не надуло снега. Как-то вечером слышу тяжелую поступь, а потом и стук в дверь. Я открываю, входит странник, мне не знакомый. Человек он был старый, высокий, закутанный в клетчатый плащ. Лицо перерезано шрамом. Годы, казалось, его не согнули, а только силы придали, но я заприметил, что без палки ему трудно-

вато ходить. Мы перекинулись словом, о чем — не припомню. Потом он сказал:

— У меня нет родимого дома, и я сплю где придется. Я обошел всю Саксонию.

Это название было под стать его возрасту. Мой отец всегда говорил о Саксонии, которую ныне народ называет Англией.

У меня были рыба и хлеб. За едой мы молчали. Хлынул дождь. Я из шкур сделал ему постель на голой земле, в том самом месте, где умер мой брат. Как наступила ночь, мы уснули.

День уже засветился, когда мы вышли из дома. Дождь перестал, и землю покрыл свежий снег. Палка выскользнула у него из руки, и он велел мне ее поднять.

— Почему ты командуешь мною? — спросил я его.

— Потому, — отвечал он, — что я пока еще — король.

Я счел его сумасшедшим. Поднял палку и дал ему.

Он заговорил изменившимся голосом:

— Да, я — король секгенов. Тысячу раз я приводил их к победам в тяжелых сражениях, но час мой пришел, и я потерял королевство. Имя мое — Изерн, я из рода Одина.

— Не знаю Одина, — сказал я, — и почитаю Христа.

Будто не слыша меня, он рассказывал дальше:

— Я брожу по дорогам изгнания, но пока еще я — король, ибо со мною медаль. Хочешь ее увидеть?

Он раскрыл пальцы костлявой руки, но там ничего не лежало. Ладонь оказалась пуста. Только тогда я припомнил, что его левый кулак денно и ночью был сжат.

Он сказал, в упор посмотрев на меня:

— Ты можешь ее потрогать.

Я с опаской тронул пальцем его ладонь. И почувствовал что-то холодное, увидел сверкание. Рука его быстро сжалась в кулак. Я молчал. Тогда он медленно стал растолковывать мне, будто ребенку:

— Это — медаль Одина. У нее лишь одна сторона. Но, кроме нее, нет ничего на свете без оборотной сто-

роны. И пока эта медаль у меня в руке, я остаюсь королем.

— Она из золота? — спросил я.

— Не знаю. Это — медаль Одина. С одной-единственной стороной.

Тут меня обуяло желание заполучить медаль. Если бы она стала моей, я выручил бы за нее гору золота и стал королем.

Я предложил бродяге, которого до сих пор ненавижу:

— У меня в хижине спрятан сундук, набитый монетами. Они — золотые, блестят, как топор. Если отдашь мне медаль Одина, я дам тебе сундук.

Он твердо сказал:

— Не желаю.

— Тогда, — сказал я, — иди-ка своею дорогой.

Он повернулся ко мне спиной. Удара топором по затылку хватило, даже с избытком, чтобы он пошатнулся и тут же упал, но при этом кулак его разжался, и я увидел в воздухе светлую искру. Я сделал топором пометку на дерне и потащил труп к реке, которая раньше была поглубже. Туда его и столкнул.

Возле дома я начал искать медаль. Но не нашел. Все эти годы ищу ее и ищу.

КНИГА ПЕСКА

...thy rope of sands...
George Herbert¹

Линия состоит из множества точек, плоскость — из бесконечного множества линий; книга — из бесконечного множества плоскостей; сверхкнига — из бесконечного множества книг. Нет, решительно не так. Не таким *more geometrico* должен начинаться рассказ. Сейчас любой вымысел непременно сопровождается заверениями в его истинности, но мой рассказ и в самом деле — чистая правда.

Я живу один в четвертом этаже на улице Бельграно. Несколько месяцев назад, в сумерках, в дверь постуца-

¹ «...твой песчаный канат...» — Джордж Герберт (англ.).

ли. Я открыл, и вошел незнакомец. Это был высокий человек с бесцветными чертами, что, возможно, объясняется моей близорукостью. Облик его выражал пристойную бедность.

Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностранец. Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые — как у северян — волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не более часа, я узнал, что он с Оркнейских островов.

Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать. Он был печален, как теперь я.

— Я продаю библии, — сказал он.

С некоторым самодовольством я отвечал:

— В этом доме несколько английских библий, в том числе первая — Джона Уиклифа. Есть также Библия Сиприано де Валеры и Лютерова, в литературном отношении она хуже других, и экземпляр Вульгаты. Как видите, библий хватает.

Он помолчал и ответил:

— У меня есть не только библии. Я покажу вам одну священную книгу, которая может заинтересовать вас. Я приобрел ее в Биканере.

Он открыл саквояж и положил книгу на стол. Это был небольшой том в полотняном переплете. Видно было, что он побывал во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразительна. На корешке стояло: «Holy Writ»¹ и ниже: «Bombay»².

— Должно быть, девятнадцатый век, — заметил я.

— Не знаю. Этого никогда не знаешь, — был ответ.

Я наугад раскрыл книгу. Очертания букв были незнакомы. Страницы показались мне истрепанными, печать была бледная, текст шел в два столбца, как в Библии. Шрифт убористый, текст разбит на абзацы. В верхнем углу стояли арабские цифры. Я обратил внимание, что на четной странице стояло число, скажем, 40514, а на следующей, нечетной, — 999. Я перевернул ее — число было восьмизначным. На этой странице

¹ Священное писание (англ.).

² Бомбей (англ.).

была маленькая, как в словарях, картинка: якорь, нарисованный пером, словно неловкой детской рукою.

И тогда незнакомец сказал:

— Рассмотрите хорошенько, вам больше никогда ее не увидеть.

В словах, а не в тоне звучало предостережение.

Я заметил страницу и захлопнул книгу. И тут же открыл ее. Напрасно я искал, страница за страницей, изображение якоря. Скрывая растерянность, я спросил:

— Это священные тексты на одном из языков Индостана, правда?

— Да, — ответил он. Потом понизил голос, будто поверяя тайну: — Она досталась мне в одном равнинном селении в обмен на несколько рупий и Библию. Ее владелец не умел читать, и думаю, что эту Книгу Книг он считал талисманом. Он принадлежал к самой низшей касте, из тех, кто не смеет наступить на свою тень, дабы не осквернить ее. Он объяснил мне, что его книга называется Книгой Песка, потому что она, как и песок, без начала и конца.

Он попросил меня найти первую страницу. Я положил левую руку на титульный лист и плотно сомкнутыми пальцами попытался раскрыть книгу. Ничего не выходило, между рукой и титульным листом всякий раз оказывалось несколько страниц. Казалось, они вырастали из книги.

— Теперь найдите конец.

Опять неудача; я едва смог пробормотать:

— Этого не может быть.

Обычным, тихим голосом продавец библий сказал:

— Не может быть, но так и есть. Число страниц в этой книге бесконечно. Первой страницы нет, нет и последней. Не знаю, почему они пронумерованы так произвольно. Возможно, чтобы дать представление о том, что члены бесконечного ряда могут иметь любой номер. — Потом мечтательно, высоким голосом: — Если пространство бесконечно, мы пребываем в какой-то точке пространства. Если время бесконечно, мы пребываем в какой-то точке времени.

Его попытки философствовать раздражали. Я спросил:

— Вы верующий?

— Да, я пресвитерианец. Совесть моя чиста. Я уверен, что не обманул туземца, дав ему Слово Божие взамен этой дьявольской книги.

Я заверил его, что раскаиваться не в чем, и спросил, надолго ли он в наших краях. Он ответил, что через несколько дней собирается возвращаться на родину. Тогда-то я и узнал, что он шотландец с Оркнейских островов. Я признался в своей любви к Шотландии — из-за Стивенсона и Юма.

— И Роба Бернса, — добавил он.

Пока мы разговаривали, я все рассматривал бесконечную книгу. И с деланным безразличием задал вопрос:

— Собираетесь предложить эту диковинку Британскому музею?

— Нет, я предлагаю ее вам, — ответил он и назвал довольно высокую цену.

В соответствии с истиной, я ответил, что эта сумма для меня неприемлема, и задумался. За несколько минут у меня сложился план.

— Предлагаю вам обмен, — сказал я ему. — Вы получили этот том за несколько рупий и Священное писание; предлагаю вам пенсию, которую только что получил, и Библию Уиклифа с готическим шрифтом. Она досталась мне от родителей.

— Готическую Уиклифа! — прошептал он.

Я вынес из спальни и отдал ему деньги и книгу. Он принялся листать страницы и ощупывать переплет с жаром библиофила.

— По рукам.

Странно было, что он не торговался. И только потом я понял, что он появился у меня, намереваясь расстаться с книгой. Деньги он спрятал не считая.

Мы поговорили об Индии, об Оркнейских островах и о норвежских ярлах, которые когда-то правили ими. Когда он ушел, был вечер. Я не узнал имени этого человека и больше не видел его.

Я собирался поставить Книгу Песка на место уиклифовой Библии, потом передумал и спрятал ее за разрозненными томами «Тысячи и одной ночи».

Я лег, но не заснул. Часа в четыре рассвело. Я взял мою невероятную книгу и стал листать страницы. На одной была выгравирована маска. В верхнем углу стояло число, не помню какое, в девятой степени.

Я никому не показывал свое сокровище. К радости обладания книгой примешивался страх, что ее украдут, и опасение, что она все-таки не бесконечна. Эти волнения усилили мою всегдашнюю мизантропию. У меня еще оставались друзья — я перестал видаться с ними. Пленник книги, я почти не появлялся на улице. Я рассматривал в лупу потертый корешок и переплет и отгонял мысли о возможной мистификации. Я заметил, что маленькие картинки попадают страниц через двести. Они никогда не повторялись. Я стал отмечать их в записной книжке, и она тут же заполнилась. Ночью, в редкие часы, когда не мучила бессонница, я засыпал с книгой.

Лето шло к концу, и я понял, что книга чудовищна. То, что я, не отводивший от нее глаз и не выпускавший ее из рук, не менее чудовищен, ничего не меняло. Я чувствовал, что эта книга — порождение кошмара, невыносимая вещь, которая бесчестит и отрицает действительность.

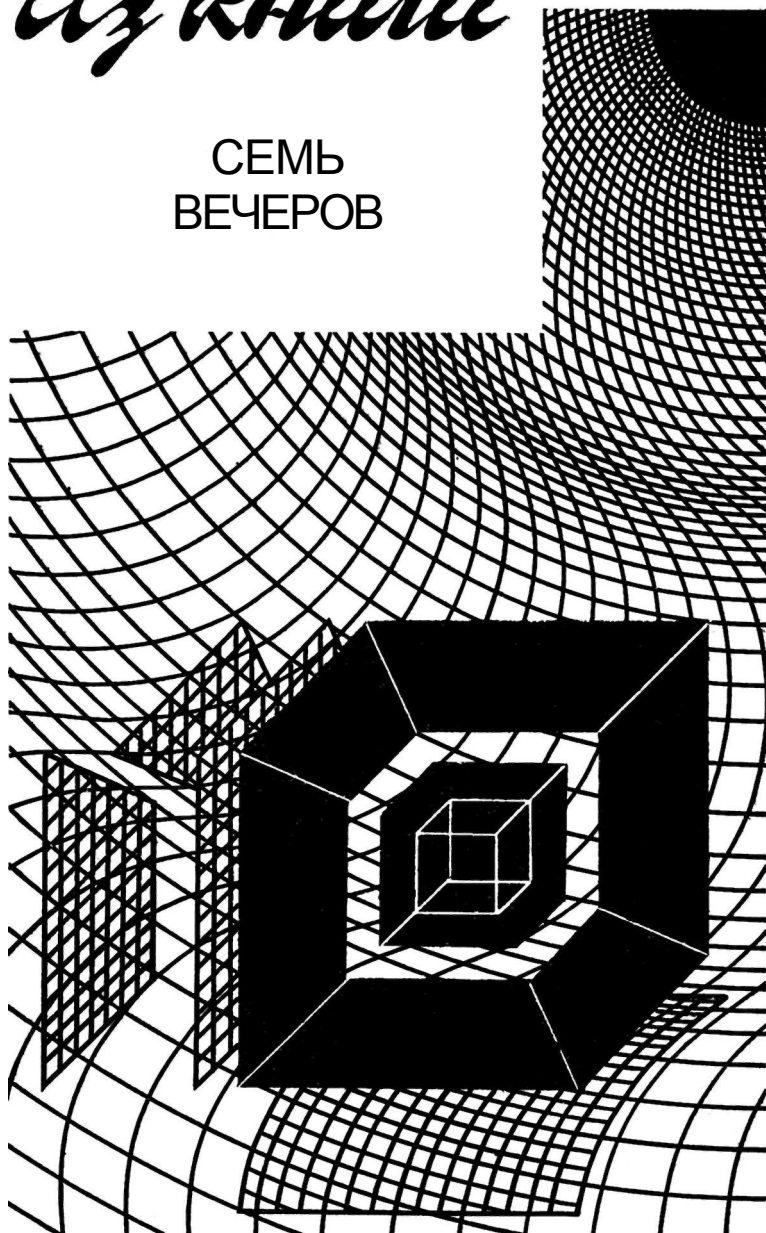
Явилась мысль о костре, но было страшно, что горение бесконечной книги может длиться бесконечно и задушить дымом всю планету.

Вспомнилось вычитанное где-то: лист лучше всего прятать в лесу. До ухода на пенсию я работал в Национальной библиотеке, в которой хранится девятьсот тысяч книг. Я знал справа от вестибюля крутую лестницу в подвал, где сложены газеты и карты; воспользовавшись невнимательностью сотрудников, я оставил там Книгу Песчинок на одной из сырых полок и постарался забыть, как далеко от двери и на какой высоте.

Стало немного легче, но о том, чтобы появиться на улице Мехико, не хочется и думать.

Из книги

СЕМЬ
ВЕЧЕРОВ





Вечер первый

БОЖЕСТВЕННАЯ
КОМЕДИЯ



амы и господа!
Поль Клодель однажды написал фразу, которая недостойна его, о том, что видения, ожидающие нас после смерти тела, несомненно, не похожи на изображенные Данте Ад, Чистилище и Рай. Это любопытное утверждение Клоделя в статье, во всех остальных отношениях замечательной, может быть объяснено двояко.

Во-первых, в этом мы видим доказательство того, что, прочтя поэму, читая ее, мы начинаем думать, что Данте представляет себе мир иной в точности таким, как изображает. Мы неизбежно приходим к мысли, что Данте думал после смерти очутиться у опрокинутой горы Ада, или на террасах Чистилища, или в концентрических небесах Рая.

Думал, что он встретится с тенями (тенями классической античности), и некоторые из них станут разговаривать с ним итальянскими терцинами.

Это явная бессмыслица. Клодель имеет в виду не то, что кажется читателям (ведь поразмыслив, они поймут абсурдность замечания), а то, что они чувствуют и что может помешать им получить удовольствие, глубокое удовольствие от чтения.

Найти опровержения мысли Клоделя нетрудно. Одно из них принадлежит сыну Данте. Он говорит, что отец собирался изобразить жизнь грешников под видом Ада, жизнь кающихся под видом Чистилища и жизнь праведников, рисуя Рай. Он понимал это не буквально. Кроме того, существует свидетельство самого Данте в письме к Кан Гранде делла Скала. Письмо считается апокрифом, но, как бы то ни было, оно не могло быть написано много позже после смерти Данте и является верным свидетельством эпохи. В нем утверждается, что есть четыре способа прочтения «Комедии». Один из них — буквальный, другой — аллегорический. В соответствии с последним, Данте — это символ человека, Беатриче — веры и Вергилий — разума.

Идея текста, дающего возможность множества прочтений, характерна для средних веков, противоречивых и сложных, оставивших нам готическую архитектуру, исландские саги и схоластическую философию, в которой все служило предметом споров. Они, кроме того, дали нам «Комедию», которую мы не перестаем читать и восхищаться, пространство которой больше нашей жизни, наших жизней, и которая становится все богаче с каждым поколением читателей.

Здесь уместно вспомнить Иоанна Скота Эриугену, говорившего, что Писание содержит бесконечное множество смыслов, его можно сравнить с развернутым павлиньим хвостом.

Еврейские каббалисты утверждали, что Писание создано для каждого из верных, с этим можно согласиться, если вспомнить, что творец и текста, и читателей один и тот же — Бог. Данте не обязательно было полагать, что изображенные им картины соответствуют

реальному образу мира мертвых. Нет, Данте не мог так думать.

Однако простодушная мысль, что мы читаем достоверный рассказ, способствует тому, что чтение захватывает нас. Я знаю, меня считают читателем-гедонистом, я никогда не читаю книг только потому, что они древние. Читая книги, я получаю эстетическое удовольствие и не обращаю большого внимания на комментарии и критику. Когда я впервые взял в руки «Комедию», меня захватило чтение. Я читал ее так же, как и другие, менее известные книги. Я хочу рассказать вам как своим друзьям — и обращаюсь не ко всем вместе, а к каждому из вас — историю своего знакомства с «Комедией».

Это произошло незадолго до диктатуры. Я работал в библиотеке в квартале Альмагро, а жил на Лас Эрас и Пуэйрредон, и должен был совершать долгие поездки в медленных и пустых трамваях от этого северного квартала в южный Альмагро, до библиотеки, расположенной на углу улиц Ла-Плата и Карлос Кальво. Случайно (хотя, возможно, не случайно, возможно, то, что мы именно случаем, объясняется нашим незнанием действия механизма причинности) мне попались три маленьких томика в книжном магазине Митчелла, теперь не существующем, о котором у меня сохранилось столько воспоминаний.

Эти три томика (мне следовало бы сегодня взять с собою один как талисман) были книги Ада, Чистилища и Рая, переведенные на английский Карлейлем, но не Томасом Карлейлем, о котором речь впереди. Книги, изданные Дантом, были необыкновенно удобны. Томик умещался в моем кармане. На одной странице был напечатан итальянский текст, на другой — подстрочный английский перевод. Я поступал следующим образом: сначала читал строфу, терцину, по-английски прозой, а затем ту же строфу, терцину, по-итальянски. После этого я читал всю песнь по-английски и затем по-итальянски. За это время я понял, что переводы не могут заменить подлинника. Перевод может служить в лучшем случае средством и стимулом, чтобы прибли-

зять читателя к подлиннику; по крайней мере, если речь идет об испанском. Мне кажется, Сервантес в каком-то месте «Дон Кихота» говорит, что по двум октавам тосканского наречия можно понять Ариосто.

Ну хорошо, эти две октавы тосканского наречия были мне даны родственной близостью итальянского и испанского. Тогда же я понял, что стихи, особенно великие стихи Данте, содержат не только смысл, а еще и многое другое. Стихотворение — это, кроме всего прочего, интонация, подчеркивание чего-либо, часто не поддающееся переводу. Это я заметил с самого начала. Когда я добрался до безлюдного Рая, где Вергилий покидает Данте, а тот, оставшись один, призывает его, в тот самый момент я почувствовал, что могу читать итальянский текст, лишь изредка заглядывая в английский. Так я читал эти три томика во время медленных трамвайных путешествий. Потом я читал и другие издания.

Я много раз перечитывал «Комедию». На самом деле я не знаю итальянского, другого итальянского, чем тот, которому научил меня Данте, а потом Ариосто, когда я прочел «Роланда». А затем легкий, разумеется, язык Кроче. Я прочел почти все книги Кроче, и не во всем согласен с ним, хотя ощущаю его очарование. Очарование, как говорил Стивенсон, одно из главных качеств, которыми должен обладать писатель. Если нет очарования, все остальное бесполезно. Я много раз перечитывал «Комедию» в разных изданиях и мог наслаждаться комментариями, из которых мне особенно памятливы работы Момильяно и Грабера. Помню также комментарий Гуго Штайнера.

Я читал все издания, которые мне попадались, и получал удовольствие от различных комментариев, многообразных интерпретаций этого сложного произведения. Я заметил, что в старинных изданиях преобладал теологический комментарий, в книгах XIX века — исторический, а сейчас — эстетический, который дает нам возможность заметить интонацию каждого стиха — одно из самых больших достоинств Данте. Существует обыкновение сравнивать Мильтона и Данте, но

Мильтон знает лишь одну мелодию, так называемый высокий стиль. Эта мелодия всегда одна и та же, независимо от чувств его персонажей. Напротив, у Данте, как и у Шекспира, мелодия следует за чувствами. Интонация и подчеркивание — это самое главное, фразу за фразой нужно читать вслух. Хорошее стихотворение непозволительно читать тихо или молча. Если стихотворение можно прочесть, оно многого не стоит: стих — это чтение вслух. Стихотворение всегда помнит, что, прежде чем стать искусством письменным, оно было искусством устным, помнит, что было песней.

Эту мысль подтверждают две фразы. Одна принадлежит Гомеру или тем грекам, которых мы именуем Гомером; в «Одиссее» говорится: боги насылают злоключения, чтобы людям было о чем повествовать для грядущих поколений. Другая, гораздо более поздняя, принадлежит Малларме и повторяет то, что сказал Гомер, хотя и не так красиво: «tout aboutit en un livre» — «все для книги». Разница есть: греки говорят о поколениях, которые поют, а Малларме — о предмете, о вещи среди вещей, о книге. Но мысль одна и та же — мысль, что мы созданы для искусства, для памяти, для поэзии или, возможно, для забвения. Однако что-то остается, и это что-то — история или поэзия, не столь и различные.

Карлейль и другие критики отмечали, что характерное свойство поэмы Данте — напряженность. И если мы вспомним о сотне песней поэмы, то покажется чудом, что эта напряженность не снижается, хотя в некоторых местах Рая то, что для поэта — свет, для нас — тень. Я не припомню подобного примера у другого поэта; это, возможно, лишь трагедия Шекспира «Макбет», которая начинается явлением трех ведьм, или трех парок, или трех роковых сестер, и напряженность ее ни на секунду не спадает.

Хочу сказать и о другой черте — о тонкости Данте. Мы всегда воображаем сурового и нравоучительного поэта-флорентийца и забываем, что все произведение исполнено очарования, неги, нежности. Например, Данте прочел в одной из книг по геометрии, что куб —

самое прочное из тел. В таком обычном замечании нет ничего поэтического, однако Данте пользуется им как метафорой человека, который должен перетерпеть удары судьбы: «*buon tetragono a i colpe di fortuna*» — «человек — это добрый куб». Действительно редкое определение.

Я вспоминаю также любопытную метафору стрелы. Данте хочет дать нам почувствовать скорость стрелы, пущенной из лука и летящей к цели. Он говорит, что она вонзилась в цель и что она вылетела из лука и покинула тетиву; он меняет местами начало и конец, чтобы показать, как быстро происходит действие.

Одна строфа всегда у меня в памяти. Это стихи из первой песни Чистилища, относящиеся к утру, невероятному утру на горе Чистилища, на Южном полюсе. Данте, покинувший мерзость, печаль и ужас Ада, говорит: «*dolce color d'oriental zaffiro*». Стих надо читать медленно. Следует произносить *oriental*:

*dolce color d'oriental zaffiro
che s'accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo puro infino al primo giro*¹.

Мне хотелось бы остановиться на любопытной механике стиха, хотя слово «механика» слишком тяжело для того, что я хочу сказать. Данте дает картину восточной стороны неба, он описывает восход и сравнивает цвет зари с сапфиром. Сравняет с сапфиром, который называет восточным, сапфиром Востока. «*Dolce color d'oriental zaffiro*» образует игру зеркал, поскольку цвет восточного неба назван сапфиром, а сапфир — восточным. То есть сапфир, обогащенный многозначностью слова «восточный», наполненный, скажем, историями «1001 ночи», которые не были известны Данте, но уже существовали.

Мне помнится также знаменитый заключительный стих пятой песни Ада: «*e caddi como corpo morto cade*»².

¹ Отрадный цвет восточного сапфира,
Накопленный в воздушной вышине,
Прозрачный вплоть до первой тверди мира. (*Пер. М. Лозинского*).

² И я упал, как падает мертвец («Ад», V, 142).

Почему падение отзывается таким грохотом? Из-за повтора слова «падать».

Подобными удачами полна «Комедия». Но ее сила в повествовательности. Когда я был юн, повествовательность была не в чести, о ней отзывались пренебрежительно, забывая, что поэзия начинается с повествования, что корни поэзии в эпосе, а эпос — основной поэтический повествовательный жанр. В эпосе существует время, в эпосе есть «прежде», «теперь» и «потом»; все это есть и в поэзии.

Я посоветовал бы читателю позабыть о распрях гвельфов и гибеллинов, о схоластике, оставить без внимания мифологические аллюзии и стихи Вергилия, превосходные, как и на латыни, которые Данте повторяет, иногда улучшая их. Следует, во всяком случае сначала, придерживаться повествования. Думаю, никто не сможет от него оторваться.

Итак, мы оказываемся внутри повествования почти волшебным образом, потому что сейчас, когда рассказывают о сверхъестественном, неверующему писателю приходится обращаться к неверующим читателям и подготавливать их к этому сверхъестественному. Данте не нуждается ни в чем подобном: «*Nel mezzo del cammin di nostra vita // mi ritrovai per selva oscura*». То есть тридцати пяти лет от роду — «земную жизнь пройдя наполовину, я оказался в сумрачном лесу»¹, что может быть и аллегорией, но что мы воспринимаем буквально: в тридцать пять лет, поскольку Библия определяет возраст праведников в семьдесят лет. Считается, что все последующее — пустыня, унылая, печальная, то, что англичане называют *bleak*. Во всяком случае, когда Данте пишет: «*nel mezzo del cammin di nostra vita*», это не пустая риторика: он называет нам точную дату своих видений — тридцать пять лет.

Я не думаю, что Данте был визионером. Видение мимолетно. Невозможно видение длиною в «Комедию». Видение прихотливо: мы должны поддаться ему и читать с поэтической верою. Колридж считает, что поэ-

¹ «Ад», I, 1.

тическая вера — это добровольное погружение в невероятное. Когда мы присутствуем на театральном представлении, то знаем, что на сцене переодетые люди, повторяющие слова Шекспира, Ибсена или Пиранделло. Но мы воспринимаем этих одетых в соответствующие костюмы людей не как переодетых актеров; в неторопливо рассуждающем человеке в средневековых одеждах мы действительно видим Гамлета, принца Датского. В кинематографе происходит еще более любопытное явление, поскольку перед нами не переодетые люди, а их изображение. Однако это не мешает нам верить в них, пока длится сеанс.

В случае с Данте все необыкновенно живо, и мы начинаем полагать, что он верил в мир иной, как мог верить в геоцентрическую географию или геоцентрическую, а не какую другую, астрономию.

Мы хорошо знаем Данте благодаря явлению, отмеченному Полем Груссаком, поскольку «Комедия» написана от первого лица. Это не чисто грамматическое явление, не просто употребление «вижу» вместо «видели». Это означает нечто большее, а именно: что Данте — один из персонажей «Комедии». Груссак считает это новаторством. Мы знаем, что до Данте Августин Блаженный написал «Исповедь». Но эти исповеди, отличающиеся великолепным красноречием, не так близки нам, как произведение Данте, поскольку изумительное словесное богатство африканца встает преградой между тем, что он хочет сказать, и тем, что мы слышим.

Красноречие, ставшее препятствием, к сожалению, нередко. Оно должно было представлять собой способ, ход, но порой превращается в помеху, в преграду. Это заметно у таких разных писателей, как Сенека, Кеведо, Мильтон или Лугонес. Слова разделяют их и нас.

Данте мы знаем ближе, чем его современники. Я чуть было не сказал, что мы знаем его, как Вергилий, который снился ему. Без сомнения, лучше всех могла знать Данте Беатриче Портинари. Данте вводит себя в повествование и находится в центре событий. Он не только видит происходящее, но принимает в нем уча-

стие. Это участие не всегда соответствует тому, что он описывает.

Мы видим Данте, испуганного Адом; он испуган не потому, что трус, а потому, что его испуг необходим, чтобы мы поверили в Ад. Данте испуган, он в страхе, он рассказывает об увиденном. Мы узнаем об этом не по тому, о чем он говорит, но по стихам, по интонации.

Вот другой персонаж. В «Комедии» три героя, сейчас я говорю о втором. Это Вергилий. Благодаря Данте у нас сложилось два образа Вергилия: первый — от «Энеиды» и «Георгиек», второй, более близкий, создан поэзией, благочестивой поэзией Данте. Одна из важных тем как литературы, так и жизни — дружба. Я бы сказал, что преданность дружбе — характерная черта аргентинцев. В литературе встречается множество описаний дружбы, она вся пронизана ими. Мы можем вспомнить некоторые из них. Как не назвать Дон Кихота и Санчо, вернее Алонсо Кихано и Санчо, поскольку для Санчо Алонсо Кихано лишь под конец становится Дон Кихотом. Как не назвать Фьерро и Круса, двух наших гаучо, погибших на границе? Как не вспомнить старого пастуха и Фабио Касереса? Дружба — распространенная тема, но чаще всего писатели стремятся подчеркнуть несходство друзей.

Чуть не забыл: вот еще два друга, представляющие собой противоположность, — Ким и лама.

У Данте нечто более тонкое. Здесь не противостояние, а сыновья почтительность: Данте мог бы быть сыном Вергилия, и в то же время он выше Вергилия, так как считает себя спасенным. Он думает, что заслуживает или уже заслужил прощение, поскольку ему было послано видение. Напротив, с самого начала «Ада» известно, что Вергилий — заблудшая душа, грешник; когда Вергилий говорит Данте, что не может сопровождать его за пределы Чистилища, становится понятно, что римлянин обречен навеки оставаться обитателем ужасного *nobile castello*¹, где собраны великие тени му-

¹ Благородного замка (*ит.*).

жей античности, тех, кто не знает учения Христа. В этот самый момент Данте произносит: «Tu, dusa, tu, signore, tu, maestro»¹. Чтобы скрасить это мгновение, Данте приветствует Вергилия высокими словами и говорит о своем долгом ученичестве и огромной любви, которые дали ему возможность понять значение Вергилия, о том, что эти отношения сохранятся между ними навсегда. Печален облик Вергилия, сознающего, что он обречен вечно жить в *nobile castello*, где нет Бога. Данте же, напротив, разрешено видеть Бога, понять Вселенную.

Таковы эти два героя. Кроме них существуют сотни и тысячи персонажей, которых обычно называют эпизодическими. Я назвал бы их вечными.

Современный роман на пятнадцати-шестнадцати страницах знакомит нас с действующими лицами, и это знакомство не всегда удается. Данте достаточно для этого мгновения. За этот миг персонаж определяется навсегда. Данте неосознанно выбирает главный момент. Я пробовал повторить то же во многих рассказах и был поражен открытием, сделанным Данте в средние века, умением представить момент как средоточие всей жизни. У Данте жизнь персонажей укладывается в несколько терцин, однако это вечная жизнь. Они живут в одном слове, в одном поступке; это часть песни, но она вечна. Они продолжают жить и возникают вновь и вновь в памяти и воображении людей.

Карлейль считает, что у Данте две характерные черты. То есть их, разумеется, больше, но основные две — нежность и суровость (только не противостоящие, не противоречащие друг другу). С одной стороны, это человеческая нежность Данте, то, что Шекспир называл *the milk of human kindness* — «млеко человеческой доброты». С другой стороны, знание, что все мы обитатели сурового мира, что существует порядок. Этот порядок соотносится с иным, третьим, собеседником.

Возьмем два примера. Обратимся к наиболее известному эпизоду «Ада» из пятой главы, эпизоду с Паоло

¹ Учитель мой, мой господин... («Ад», IV, 46).

и Франческой. Я не собираюсь пересказывать Данте — было бы дерзостью с моей стороны излагать другими словами сказанное по-итальянски навсегда, — я просто хочу напомнить обстоятельства.

Данте и Вергилий сходят в круг второй (если я помню верно) и видят сутолоку душ, ощущают зловоние греха, зловоние кары. Окружение безрадостно. Например, Минос, свертывающий спиралью хвост, чтобы показать, в какой круг попадают обреченные. Это отвратительно, и становится ясно, что в Аду не может быть ничего красивого. В этом кругу, где несут кару сладострастники, находятся известные «великие имена». Я говорю «великие имена», потому что Данте, начав писать эту песнь, еще не достиг совершенства делать персонажи чем-то большим, чем имена. Но мастерство уже видно Данте в эпизоде с *nobile castello*.

Вот великие поэты античности. Среди них Гомер с мечом в руке. Они обмениваются словами, которые не следует повторять. Здесь подобает молчать, обреченные находятся в Лимбе, которым никогда не суждено увидеть лицо Бога, скромны и смиренны. В пятой песни Данте совершает великолепное открытие: возможность диалога между душами умерших и им самим, он сочувствует им и по-своему судит их. Нет, не судит: он знает, что судья не он, судья иной, третий, собеседник — Бог.

Итак, там находится Гомер, Платон, другие великие люди. Но взор Данте обращен на Паоло и Франческу, не известных ему, не очень знаменитых, принадлежащих современному миру. Он знает, как погибли любовники, зовет их, и они появляются. Данте говорит им: «*Quali colimbe dal disio chiamate*». Перед нами два грешника, а Данте сравнивает их с двумя голубками, влекомыми желанием, поскольку чувственность — главное в этой сцене. Они приближаются, и Франческа — говорит только она (Паоло не может) — благодарит Данте за то, что он позвал их, и произносит такие трогательные слова: «*Se fosse araic del Re dell'Universo // noi pregheremmo lui per la tua rase*» — «Если бы я была другом Царя Вселенной (она говорит «Царь Вселен-

ной», потому что не может сказать «Бог», это имя запрещено в Аду и Чистилище), мы попросили бы мира тебе, потому что в тебе есть жалость к нашим страданиям».

Франческа рассказывает свою историю, рассказывает дважды. Первый раз сдержанно, но настаивая на том, что по-прежнему любит Паоло. Раскаяние запрещено в Аду, она знает о своем грехе и остается верна греху, что придает ей величие. Было бы ужасно, если бы она раскаялась, если бы сожалела о случившемся. Франческа знает, что кара справедлива, принимает ее и продолжает любить Паоло... Паоло и Франческа были убиты вместе. Данте не интересуется ни их связь, ни то, как они были застигнуты и умерщвлены; его интересует нечто более интимное — как они поняли, что полюбили, как они влюбились, как настало для них время нежных вздохов. Он задает им этот вопрос.

Отвлекаясь от сказанного, я хочу напомнить вам строфу Леопольдо Лугонеса, возможно, лучшую и, без сомнения, навеянную пятой песней «Ада». Это первые четыре строки сонета «Alma venturosa»¹ из сборника «Золотое время» (1922):

Al promediar la tarde aquel día
Cuando iba mi habitual adiós a darte
Fue una vaga congoja de dejarte
Lo que me hizo saber que te quería².

Поэты прежних времен говорили, что человек чувствует глубокую печаль, прощаясь с возлюбленной, и писали о редких свиданиях. Напротив, здесь, «когда пришло время сказать привычное «прощай», — строка неуклюжая, но это неважно, так как «привычное прощай» означает, что видятся часто, и затем следует: «смутная печаль заставила меня понять, что я люблю тебя».

Тема, в сущности, та же, что в песни пятой: двое, открывших, что любят друг друга, и не догадывавших-

¹ «Счастливая душа» (*исп.*).

² При расставании в тот вечер, когда пришло время сказать привычное «прощай», смутная печаль заставила меня понять, что я люблю тебя (*исп.*).

ся прежде об этом. Именно это хочет узнать Данте. Франческа рассказывает, как в тот день они читали о Ланселоте, о том, как он страдал от любви. Они были одни и не подозревали ничего. Чего именно не подозревали? Не подозревали, что влюблены. Они читали одну из книг, придуманных кельтами на территории Франции после норманнского завоевания, книг, приведших к безумию Алонсо Кихано и пробудивших греховную страсть Паоло и Франчески. Так вот: Франческа объясняет, что иногда они краснели, а в какой-то момент, «когда мы прочли о желанной улыбке, которую поцеловал любовник, тот, с кем я никогда не разлучаюсь, поцеловал меня, «tutto tremante»¹.

Существует нечто, о чем Данте умалчивает, но что ощущается на протяжении всего эпизода и, возможно, придает ему ценность. С бесконечным сочувствием Данте пересказывает нам судьбу двух любовников, и мы догадываемся, что он завидует этой судьбе. Паоло и Франческа в Аду, а его ждет спасение, но они любят друг друга, а он не сумел добиться любви Беатриче. В их любви Данте видит вызов, и его ужасает, как он далек от Беатриче. Эти же двое грешников неразлучны, немые, несутся в черном вихре без малейшей надежды; Данте не дает и нам надеяться, что их страдания прекратятся, но зато они вместе. Они неразлучны навеки, они вместе в Аду, и для Данте это райская судьба.

Мы понимаем, что он очень взволнован. Затем — он падает как мертвый.

Каждый из героев Данте навеки определен единственным мигом своей жизни, мигом, когда человек встречается навсегда с самим собой. Считается, что Данте, осудивший Франческу, жесток по отношению к ней. Думать так — значит забыть о третьем герое. Приговор Бога не всегда совпадает с чувствами Данте. Те, кто не понимает «Комедии», считают, что Данте написал ее, чтобы свести счеты с врагами и обласкать друзей. Нет ничего более далекого от истины. Ницше назвал Данте гиеной, слагающей стихи над могилами.

¹ Весь трепеща (*um.*).

Гиена, слагающая стихи, — нелепый образ, к тому же Данте не наслаждается страданием. Он знает, что есть грехи смертные, неискупимые. Для каждого он находит человека, совершившего этот грех, пусть даже во всех отношениях замечательного и славного. Франческа и Паоло — сладострастники. У них нет других грехов, но и одного этого достаточно, чтобы осудить их.

Мысль о непостижимом Боге мы находим в другой книге, одной из главных книг человечества. В книге Иова. Вы помните, как Иов проклинает Бога, как друзья обличают его и как, наконец, Бог говорит из бури и опровергает тех, кто защищает, и тех, кто обвиняет Иова.

Бог вне любого суда людского, и, чтобы помочь нам понять это, Он приводит два необычных примера: кита и слона. Он выбирает их, чтобы показать, что они не менее чудовищны для нас, чем Левиафан и Бегемот (чье имя стоит во множественном числе и по-еврейски означает «много животных»). Бог вне суда людского, и доказывает это сам в книге Иова. И люди склоняют перед Ним головы, потому что дерзнули судить Его, оправдывать Его. В этом нет нужды. Бог, как говорил Ницше, по ту сторону добра и зла. Это иная категория.

Если бы всегда совпадали суждения Данте и суд воображаемого Бога, было бы понятно, что это ложный Бог, просто копия Данте. Напротив, Данте должен принять этого Бога, как то, что Беатриче не любит его, что Флоренция бесчестна, как должен принять свое изгнание и смерть в Равенне. Он должен принять зло мира так же, как и склониться перед Богом, которого не может постичь.

Есть герой, который отсутствует в «Комедии», которого в ней и не могло быть, потому что он слишком человечен. Этот герой — Иисус. Он не является в «Комедии», как в евангелиях: человеческий, евангельский Иисус не может быть Вторым в той Троице, которая нужна «Комедии».

Мне хочется наконец перейти к другому эпизоду, который мне кажется вершиной «Комедии». Он в двадцать шестой песни. Это эпизод с Улиссом. Когда-то я

написал статью «Загадка Улисса». Я опубликовал ее, затем потерял и сейчас пытаюсь восстановить. Думаю, что это самый загадочный эпизод в «Комедии» и, возможно, самый напряженный, хотя, когда речь идет о вершинах, трудно понять, какая из них превосходит остальные, а ведь «Комедия» полна вершин.

Я выбрал для первой лекции именно «Комедию», потому что я литератор и полагаю, что венец литературы и литератур — это «Комедия». Это не означает, что я принимаю ее теологию или мифологию. У нас христианская мифология и языческая неразбериха. Речь не об этом, а о том, что ни одна книга не доставляла мне столь сильного эстетического наслаждения. Я читатель-гедонист и повторяю, что ищу в книгах удовольствие.

«Комедия» — книга, которую все мы должны прочитать. Не сделать этого — значит отказаться от лучшего из даров литературы. Ради чего отказывать себе в счастье прочитать «Комедию»? К тому же это легкое чтение. Трудно то, что следует за чтением, — мнения, споры, но книга сама по себе прозрачна, как кристалл. Центральный герой ее — Данте, возможно, самый живой персонаж в литературе, есть и другие замечательные образы. Но вернемся к эпизоду с Улиссом.

Данте и Вергилий подходят ко рву, кажется, восьмому, где находятся обманщики. Глава начинается с обличения Венеции, о которой Данте говорит, что она бьет крылами на земле и в небе, и ее имя славно в Аду. Затем они видят сверху множество огней, а в огне, в пламени, скрыты души обманщиков: скрыты, поскольку те действовали тайно. Языки пламени колеблются, и Данте чуть не падает в ров. Его поддерживает Вергилий, слово Вергилия. Он говорит о тех, кто в огне, и называет два славных имени — Улисса и Диомеда. Они здесь за то, что придумали уловку с Троянским конем, позволившую грекам взять осажденный город,

Улисс и Диомед находятся здесь, и Данте хочет познакомиться с ними. Он говорит Вергилию о своем желании поговорить с этими двумя великими тенями

древности, с чистыми и великими героями. Вергилий согласен выполнить просьбу с условием, что Данте предоставит ему вести разговор, поскольку речь идет о двух надменных греках. И к лучшему — что говорит не Данте. Это объясняется двояко. Торквато Тассо считал, что Вергилий хотел выдать себя за Гомера. Предположение совершенно абсурдное и недостойное, поскольку Вергилий воспел Улисса и Диомеда, и если Данте знал о них, то благодаря Вергилию. Мы можем отвергнуть гипотезу о том, что Данте мог быть презираем греками за то, что был потомком Энея, или за то, что был варваром. Вергилий, как и Диомед и Улисс, — вымысел Данте. Данте выдумал их, но с такой силой, настолько живо, что думал — эти вымышленные герои (у которых нет иного голоса, кроме данного им Данте, у которых нет иного облика, чем тот, в котором он их представил) могут относиться к нему с презрением, поскольку он ничего не значит: он еще не написал своей «Комедии».

Данте включается в игру, как и мы: Данте тоже заморожен «Комедией». Он думает: это светлые герои древности, а я никто, изгнанник. Что может значить для них моя просьба? Тогда Вергилий просит их рассказать о своей смерти, и раздается голос невидимого Улисса. Улисс не показывается, он объят пламенем.

Здесь мы сталкиваемся с поразительной легендой, созданной Данте, легендой, которая превосходит и те, что заключают «Одиссею» и «Энеиду», и ту, что завершает другую книгу, в которой Улисс появляется под именем Синдбада-Морехода, — «Тысяча и одна ночь».

Легенда создается Данте под влиянием различных обстоятельств. Это прежде всего вера в то, что Лиссабон был заложен Улиссом, и вера в существование Блаженных островов в Атлантическом океане. Кельты полагали, что в Атлантическом океане находятся фантастические страны: остров, многократно изборожденный рекой, наполненной рыбой и кораблями, которые не причаливают к суше; вращающийся огненный остров, на котором бронзовые борзые преследуют серебряных

олений. Это должно было привлечь внимание Данте. Вымысел Данте необычайно благороден.

Улисс оставляет Пенелопу, сзывает друзей и говорит им, что они, уставшие и прожившие немалый срок, преодолели тысячи опасностей. Он предлагал им благородную задачу — пройти Геркулесовы столпы и пересечь море, исследовать Южное полушарие, которое, как тогда считалось, состоит только из воды; было неизвестно, есть ли там что-нибудь еще. Он называет их мужами, говорит, что они рождены для храбрости, для знания, что они рождены, чтобы знать и чтобы понять. Они следуют за ним и «превращают весла в крылатые»...

Интересно, что эта метафора встречается и в «Одиссее», чего Данте знать не мог. Они плывут, оставляя позади Сеуту и Севилью, выходят в открытое море и поворачивают налево. Налево, в левую сторону, означает в «Комедии» зло. Чтобы попасть в Чистилище, нужно идти направо, чтобы очутиться в Аду — налево. То есть слово «sinistro» имеет два значения. Затем говорится: «Ночью я увидел все звезды другого полушария», — нашего полушария, полного звезд. (Великий ирландский поэт Йитс пишет о «starladen sky» — «небе, полном звезд». Это неверно в отношении Северного полушария, где по сравнению с нашим звезд немного.)

Они плывут пять месяцев и наконец видят землю, вдалеке темная гора, самая высокая из всех, когда-либо виденных. Улисс говорит, что радость сменилась плачем, поскольку налетела буря и разбила корабль. Это гора Чистилища, как ясно из другой песни. Данте верит (делает вид, что верит — в поэтических целях), что Чистилище — это антипод города Иерусалима.

И вот мы подходим к этому ужасному эпизоду и задаемся вопросом, за что несет наказание Улисс. Очевидно, не за выдумку с конем, раз в важнейший момент своей жизни он рассказывает Данте и нам о другом: за свое благородное и отважное путешествие, за желание узнать запретное, невозможное. Мы спрашиваем себя, почему эта песнь отличается такой силой. Прежде чем дать ответ, я хочу вспомнить еще одно

явление, которое до сих пор не было отмечено, насколько мне известно.

Существует еще одна великая книга, великая поэма нашего времени — «Моби Дик» Германа Мелвилла, который, несомненно, знал «Комедию» в переводе Лонгфелло. Это бессмысленная погоня искалеченного капитана Ахава за белым китом, которому он хочет отомстить. Наконец они встречаются, и кит топит его, и огромный роман кончается в точности как песнь Данте: море поглотило их, Мелвилл должен был вспомнить «Комедию» в тот момент, хотя мне больше нравится думать, что он читал ее и усвоил настолько, что мог и не помнить буквально; «Комедия» должна была стать частью его, а впоследствии он обнаружил, что читал ее много лет назад, но история одна и та же. Хотя Ахава ведет не благородный порыв, а желание мести. Улисс же — благороднейший из людей. Улисс, кроме того, ведом праведным стремлением, желанием познать, и его постигает кара.

В чем трагизм этого эпизода? Я думаю, этому имеется одно объяснение, единственно стоящее, и оно в следующем: Данте чувствует, то Улисс неким образом — он сам. Я не знаю, сознавал он это или нет, да это и неважно. В одной из терцин «Комедии» говорится, что никому не позволено знать суда Провидения. Мы не можем опережать его, нельзя знать, кто будет спасен и кого ждет кара. Данте дерзнул поэтическим образом опередить этот суд. Он показывает нам и осужденных, и избранных. Он должен был знать, что это опасно; он не мог не сознавать, что предвосхищает непостижимое суждение Бога.

Именно поэтому столь силен образ Улисса; Улисс — отражение Данте. Данте чувствовал, что почти заслужил такую кару. Он написал поэму, но так или иначе нарушил таинственные законы мрака, Бога, Божественного.

Я заканчиваю. Хотелось бы только повторить, что никто не вправе лишать себя счастья прочтения «Комедии». Потом пойдут комментарии, желание узнать, что означает каждый мифологический намек, увидеть, как Данте обращается к великим стихам Вергилия и, пере-

вода, едва ли не улучшает их. Прежде всего мы должны прочесть книгу с детской верой, предаться ей; потом она не оставит нас до конца дней. Она сопровождает меня столько лет, но я знаю, что, открыв ее завтра, обнаружу то, чего до сих пор не видел. Я знаю, что эта книга больше моих наблюдений и больше нас.

Вечер второй

КОШМАР

Дамы и господа!

Сновидения — это вид, кошмар — разновидность. Сначала я стану говорить о снах, затем о кошмарах.

На днях я перечитал несколько книг по психологии и почувствовал себя сбитым с толку. Во всех книгах говорилось об инструментарии и тематике снов (я могу в дальнейшем обосновать свое утверждение) и не было ни слова о том, чего я ждал — об удивительности, странности этого явления — сновидений.

Так, например, в книге по психологии «The mind of Man¹» Густава Шпиллера, высоко мною ценимой, говорится, что сны соответствуют низшему уровню умственной деятельности (это мнение кажется мне ошибочным), и рассказывается о непоследовательности, о бессвязности фабулы снов. Я хочу напомнить вам о замечательном очерке Груссака (если мне удастся вспомнить и назвать его сейчас) — «Среди снов». В конце этого очерка, входящего в «Интеллектуальное путешествие», кажется, во второй том, Груссак находит удивительным, что каждое утро мы просыпаемся в здравом рассудке — или в относительно здравом — после того, как преодолеваем область сновидений, лабиринты снов.

При изучении снов мы сталкиваемся с трудностью особого рода. Их нельзя изучать непосредственно. Можно говорить лишь об оставшихся в памяти снах. Возможно, память о сновидениях не в, полной мере соответствует им самим. Великий писатель XVIII века сэ

¹ Человеческое мышление (англ.).

Томас Браун полагал, что наша память о снах беднее их великолепной реальности. Существует и противоположное мнение: что мы приукрашиваем сны; если считать сны порождением вымысла (а я думаю, так оно и есть), то, возможно, мы продолжаем придумывать их и в момент пробуждения, и позже, когда пересказываем. Я вспоминаю книгу Данна «An experiment with time»¹. Я не приверженец его теории, однако она настолько хороша, что ее стоит привести. Но прежде, для простоты (я перехожу от книги к книге, память моя оказывается быстрее мысли), я хочу обратиться к прекрасной книге Боэция «De consolazione philosophiae»², которую, безусловно, читал и перечитывал Данте, как читал и перечитывал всю средневековую литературу. Боэций, которого называли «последним римлянином», сенатор Боэций представляет себе зрителя на бегах. Зритель на ипподроме наблюдает с трибуны коней, начало бегов, их превратности, приход одного из коней к финишу — все последовательно. Но Боэций воображает себе и другого зрителя. Этот другой зритель наблюдает и первого зрителя, и бега: это, предположительно, Бог. Бог видит бега целиком, он видит их в один вечный миг, в их мгновенной вечности: старт коней, ход бегов, финиш. Все это он охватывает одним взглядом так же, как всю историю Вселенной. Таким образом, Боэций сохраняет оба понятия: свободной воли и Провидения. Так же, как зритель на бегах видит весь их ход, но не оказывает на него влияния (кроме того, что последовательно наблюдает за ним), Бог видит все течение жизни, от колыбели до могилы. Он не влияет на наши действия, мы свободны в своих поступках, но Богу ведом — Богу уже ведом в этот, скажем, момент — конец нашей жизни. Подобным же образом Бог видит историю Вселенной, все то, что произойдет в истории Вселенной; он видит это в один-единственный блистательный, головокружительный миг, именуемый вечностью.

Данн — английский писатель нашего века. Я не знаю более интересного названия книги, чем его «Опыт

¹ «Опыт со временем» (англ.).

² «Об утешении философией» (лат.).

со временем». Он полагает, что каждый из нас владеет чем-то вроде небольшой собственной вечности: эта вечность каждую ночь в нашем распоряжении. Мы ложимся спать, и нам снится среда. Снится среда и следующий за ней четверг, может быть, даже пятница или вторник... эта возможность есть у любого — собственная небольшая вечность, позволяющая увидеть недавнее прошлое и близкое будущее.

Сновидец охватывает все это одним взглядом, подобно Богу, озирающему Вселенную с высот своей незримой вечности. Что происходит при пробуждении? По привычке к последовательному течению жизни, мы придаем своему сновидению повествовательную форму, хотя оно многопланово и не имеет временной протяженности.

Возьмем очень простой пример. Предположим, мне приснился человек, просто человек (речь идет об очень несложном сне) и затем тут же — дерево. Пробудившись, я могу придать этому простому сну сложность, которой он не обладает. Мне может показаться, что я видел во сне человека, обратившегося в дерево, ставшее деревом. Я преобразую факты, я сочиняю.

Мы не знаем точно, что происходит во время сна: возможно, мы пребываем на небесах, возможно — в аду, может быть, мы бываем тем, что Шекспир назвал «the thing I am» — «то, что я есть», может быть — сами собой, может быть — божеством. При пробуждении это забывается. И мы можем изучать сны, обращаясь к памяти, к своей бедной памяти.

Я читал также книгу Фрэзера, писателя, безусловно, талантливого, но слишком легковверного, верившего, очевидно, любым рассказам путешественников. По мнению Фрэзера, дикари не отличают сны от яви. Для них сны — часть яви. Так, по мнению Фрэзера или тех путешественников, которых читал Фрэзер, когда дикарю снится, что он идет в лес и убивает льва, проснувшись, он думает, что его душа покидала тело и во сне убила льва. Или, если несколько усложнить, можно считать, что она убила сон льва. Все это возможно, и, конечно,

такое суждение о дикарях совпадает с суждением о детях, которые слабо отличают сон от яви.

Я вспоминаю, как мой племянник, когда ему было лет пять или шесть (точно не помню), каждое утро пересказывал мне свои сны. Однажды (он сидел на полу) я спросил, что ему снилось. Послушно, зная о моем hobby, он рассказал: «Мне снилось, что я потерялся в лесу, я испугался, но тут же оказался на поляне, а там стоял деревянный домик, белый, кругом шла лестница, как галерея, и была дверь, а из двери вышел ты». Тут он вдруг замолчал и спросил: «Скажи, а что ты делал в домике?»

Для него все происходило в одном плане — явь и сон. Это приводит нас к другой гипотезе — к гипотезе мистиков, гипотезе метафизиков, противоположной гипотезе, которая, однако, связана с предыдущей.

Для дикаря или ребенка сны — часть яви, а поэтам и мистикам кажется возможным считать явь — сном. Это лаконично высказал Кальдерон: жизнь есть сон. И то же самое, но в других образах, выразил Шекспир — мы из той же материи, что наши сны; об этом же великолепно говорит австрийский поэт Вальтер фон дер Фогельвейде, который задает вопрос (я сначала произнесу фразу на своем дурном немецком, затем по-испански): «Ist es mein Leben geträumt oder ist es wahr?» — «Мне приснилась моя жизнь, или я был сном?» Он не может сказать с уверенностью. Это приводит нас, следовательно, к солипсизму, к предположению, что существует лишь один сновидец, и этот сновидец — любой из нас. Сновидец — отнесем это ко мне — в данный момент видит во сне вас, этот зал и эту лекцию. Существует лишь один сновидец; ему снится весь космический процесс, вся история Вселенной, снится собственное детство и юность. Возможно, ничего этого не происходило: он начинает существовать в тот момент, начинает видеть сны, и таков любой из нас, не мы, но любой. В этот момент я вижу во сне, что читаю лекцию на улице Чаркас, подыскиваю темы и, возможно, не справляюсь с ними, что вижу во сне вас, но на

самом деле это не так. Каждому из вас снюсь я и снятся все остальные.

И вот у нас две гипотезы: одна — считать сны частью яви, другая, великолепная, принадлежащая поэтам, — считать явь сном. Между ними нет разницы. Эта мысль восходит к очерку Груссака: в нашей умственной деятельности нет различий — бодрствуем мы или спим, она всегда одинакова. Он приводит именно эту фразу Шекспира: «Мы из той же материи, что наши сны».

Существует еще одна тема, мимо которой нельзя пройти, — пророческие сны. Эта мысль характерна для разума, принявшего, что сны соответствуют действительности, то есть различающего эти два плана.

Есть фрагмент в «Одиссее», в котором говорится о двух дверях — из рога и из слоновой кости. Сквозь двери из слоновой кости к людям входят обманные сны, а сквозь роговые — сны истинные или пророческие. И есть фрагмент в «Энеиде» (вызвавший множество комментариев), он в девятой или в одиннадцатой книге, не помню точно. Эней сходит на Елисейские поля за Геркулесовыми столпами, разговаривает с великими тенями Ахилла, Тиресия, видит тень матери, хочет обнять ее и не может — она лишь тень; видит грядущее величие города, который он заложит. Он видит Ромула, Рема, поле и на этом поле прозревает будущий Римский форум, грядущий расцвет Рима, величие Августа, видит все имперское великолепие. И, увидев все это, поговорив со своими современниками, которые для него люди будущего, Эней возвращается на землю. Здесь происходит нечто любопытное, то, что обычно не поддается объяснению комментаторов, за исключением одного анонимного комментатора, понявшего, в чем дело. Эней возвращается через дверь из слоновой кости, а не из рога. Почему? Комментатор сообщает нам почему — потому, что на самом деле мы не в реальном мире. Для Вергилия истинный мир — это, возможно, мир платонический, мир архетипов. Эней проходит сквозь двери слоновой кости, поскольку

входит в мир снов, то есть в то, что мы называем явью. Что ж, все это возможно.

Теперь перейдем к разновидности — к кошмару. Здесь уместно вспомнить названия кошмара. Испанское название «pesadilla» не слишком удачно, уменьшительный суффикс «illa» лишает его силы. На других языках название звучит более мощно. По-гречески кошмар называется «efialtes; Efiates» — это «демон, вызывающий кошмары». В немецком — интересное слово «Alp», оно обозначает и эльфа, и вызываемую им подавленность — снова мысль о демоне, насылающем кошмары. И существует картина, которую видел Де Куинси, один из величайших сновидцев в литературе. Это картина Фюсли (Fussele, или Füssli, — таково его подлинное имя — швейцарский художник XVIII в.), которая называется «The Nightmare» — «Кошмар».

Спящая девушка в ужасе просыпается: она видит, что на животе у нее сидит маленькое черное злое существо. Это чудовище — кошмар. Когда Фюсли писал картину, он думал о слове Alp, о воздействии эльфа.

Мы добрались до слова более мудрого и многозначного, до английского названия кошмара — «the nightmare», что означает «лошадь ночи». Шекспир понимал это именно так. У него есть строка, которая звучит: «I met the night mare» — «Я встретил кобылу ночи». В другом стихотворении говорится еще определеннее: «The nightmare and her nine foids» — «Кобыла ночи и девять ее жеребят».

Но этимологи считают, что корень слова другой. Корень «niht mare» или «niht maere» — «демон ночи». Доктор Джексон в своем знаменитом словаре пишет, что считать кошмар воздействием эльфа принято в северной — мы скажем, саксонской — мифологии; толкование совпадает или представляет собой перевод, возможно, греческого efiates или латинского incubus.

Существует и другая этимология, которая тоже может подойти нам, ее смысл в том, что английское слово nightmare связывается с немецким Marchen. «Marchen» означает волшебную сказку, вымысел, тогда «nihtmare» — это «измышление ночи». Ну а истолкова-

ние «nightmare» как «лошадь ночи» (в этой лошади кроется что-то жуткое) оказалось находкой для Виктора Гюго. Он владел английским и написал книгу о Шекспире, теперь практически забытую. В одном из стихотворений сборника «Les contemplations», как мне помнится, он говорит о «le cheval noir de la nuit» — «черном коне ночи», кошмаре. Без сомнения, ему вспомнилось английское слово nightmare.

Мы уже обращались к различным этимологиям. Французское слово *cauchemar*, без сомнения, связано с английским — *nightmare*. Во всех этимологиях одна и та же мысль (я еще вернусь к этому), о демоне, порождающем кошмар. Думаю, что речь идет не просто о предрассудке: мне кажется, что в этой мысли — я говорю совершенно чистосердечно и откровенно — есть нечто истинное.

Давайте окажемся внутри кошмара, среди кошмаров. У меня они всегда одни и те же. Я уже говорил, что обычно мне видятся два кошмара, они могут перемешиваться один с другим. Первый из них — это сон о лабиринте, которым я отчасти обязан гравюру, виденной в детстве во французской книге. На этой гравюре были изображены семь чудес света и в их числе критский лабиринт. Лабиринт представлял собой громадный амфитеатр, очень высокий (это можно было понять по тому, насколько он возвышался над кипарисами и людьми, изображенными рядом). В этом здании без дверей и окон были расщелины. В детстве мне казалось (или сейчас кажется, что казалось тогда), что если взять достаточно сильную лупу, то сквозь какую-нибудь из расщелин можно увидеть Минотавра в жуткой серцевине лабиринта.

Другой кошмар связан с зеркалом. Он не так уж отличается от первого, ведь достаточно двух зеркал, поставленных одно против другого, чтобы создать лабиринт. Помню в доме Доры де Альвеар в Бельграно я видел круглую комнату, стены и двери которой были облицованы зеркалами, так что, войдя, человек оказывался в центре действительно бесконечного лабиринта.

Мне всегда снятся лабиринты и зеркала. Во сне с

зеркалом является иное видение, иной ужас моих ночей — маски. Меня всегда пугали маски. Я наверняка думал в детстве, что под маской пытаются скрыть нечто ужасное. Иногда (это самые тяжкие кошмары) я вижу свое отражение в зеркале, но это отражение в маске. И я не решаюсь сорвать маску, боясь увидеть свое подлинное лицо, которое представляется мне чудовищным. Это может оказаться проказа, или горе, или что-то настолько страшное, что невозможно вообразить.

Не знаю, покажется ли вам, как и мне, любопытным, что у моих сновидений точная топография. Например, я вижу, всегда вижу во сне определенные перекрестки Буэнос-Айреса. Угол улиц Лаприда и Ареналес или Балкарсе и Чили. Я твердо знаю, где нахожусь, и знаю, что должен отправиться куда-то далеко. Во сне эти места бывают точно известны, но совершенно не похожи на себя. Они могут оказаться оврагами, трясинами, непроходимыми зарослями — неважно. Я уверен, что нахожусь на таком-то перекрестке Буэнос-Айреса. И пытаюсь отыскать дорогу.

Как бы там ни было, в кошмарах важен не образ. Важно то, что открыл Колридж — сегодня все время ссылаюсь на поэтов, — впечатление, которое производят сны. Не так важны образы, как впечатления. Я уже говорил в начале лекции, что пересмотрел множество трактатов по психологии и не обнаружил в них поэтических текстов, которые необычайно иллюстративны.

Обратимся к Петронию, к строке, которую цитирует Аддисон. В ней говорится, что душа, свободная от тяжести тела, играет. «Душа без тела играет». А Гонгора в одном из сонетов совершенно определенно высказывает мысль, что сны и кошмары — вымыслы, литературные произведения.

Сон, автор представления,
в своем открытом театре,
наряжая тени, превращает их
в прекрасные статуи.

Сон — это представление. Эту же идею развивал Аддисон в начале XIX века в превосходной статье, опубликованной в журнале «The Spectator».

Приведу цитату из Томаса Брауна. Он считает, что благодаря снам мы видим великолепие души, поскольку, освобождаясь от тела, она играет и мечтает. Я думаю, душа наслаждается свободой. И Аддисон говорит, что, действительно, душа, свободная от оков тела, предается мечтам и грезит, чего не может наяву. Он добавляет, что в деятельности души (разума, сказали бы мы, сейчас мы не употребляем слова «душа») самое трудное — вымысел. Однако во сне мы фантазируем настолько быстро, что наш разум запутывается в том, что мы навообразили. Во сне видишь, что читаешь книгу, а на самом деле воображаешь каждое написанное слово, но не сознаешь этого и не считаешь слова своими. Я не раз замечал в снах эту предварительную, подготовительную работу.

Вспоминаю один из своих кошмаров. Дело происходило на улице Серрано, думаю, что на перекрестке улиц Серрано и Солер, хотя место ничуть не напоминало Серрано и Солер, имело совершенно другой вид, но я знал, что это знакомая улица Серрано в Палермо. Я встретил друга, которого не мог узнать, так он изменился. Лица его я никогда не видел, но знал, что оно не такое. Он очень переменялся, погрузнел. На лице его лежал отпечаток болезни, печали, может быть, вины. Правая рука была засунута за борт куртки (это важно для сна), мне не было ее видно, она покоилась там, где сердце. Я обнял его, было понятно, что ему нужна помощь. «Мой бедный друг, что с тобой случилось? Ты так изменился!» Он ответил: «Да, я изменился». И медленно вытащил руку. И я увидел птичью лапу.

Удивительно здесь то, что у человека с самого начала рука была спрятана. Неосознанно я подготовил этот вымысел: то, что у человека была птичья лапа и что я видел, как сильно он переменялся, как он страдает, и что он превратился в птицу. Во сне бывает, что нас о чем-то спрашивают, а мы не знаем, как ответить, и собственный ответ повергает нас в изумление. Ответ может быть бессмысленным, но во сне он верен. Я прихожу к выводу, не знаю, можно ли считать его на-

учным, что сны — наиболее древний вид эстетической деятельности.

Известно, что животные видят сны. Существуют латинские стихи, в которых говорится о борзой, лающей на зайца. Итак, в снах мы совершаем древнейшую эстетическую деятельность, необычайно интересную, поскольку она носит драматический характер. Мне хотелось бы добавить слова Аддисона (который, сам того не ведая, подтвердил мысль Гонгоры) о сне, режиссере спектакля. Аддисон замечает, что во сне мы являем собой театр, зрителей, актеров, сюжет, реплики, которые слышим. Все это совершенно бессознательно, и все это выглядит живее, чем наяву.

Вернемся к Колриджу. Он считает неважным то, что мы видим во сне, полагает, что сон нуждается в объяснениях. Колридж приводит пример: появляется лев, и мы все испытываем ужас — страх перед ним. Или же: я сплю, просыпаюсь и вижу перед собой сидящего зверя и ощущаю страх. Но во сне может быть наоборот. Я чувствую страх, и это требует объяснений. И тогда я вижу во сне сфинкса, придавившего меня. Сфинкс не порождает ужаса, его появление объясняет гнетущее ощущение. Колридж добавляет, что люди, которым померещились призраки, сходят с ума. Напротив, если человеку грезится призрак, проснувшись, он через несколько минут или секунд приходит в себя. Мне снилось и снится множество кошмаров. Самый жуткий, тот, что мне кажется самым ужасным, я использовал в одном из сонетов. Сон таков: я у себя дома, светает (возможно, это мне снится на рассвете), у кровати стоит король, очень древний король, и я во сне знаю, что это северный король, норвежец. Он не смотрит на меня, его незрячий взгляд устремлен в небо. Я понимаю, что это очень древний король, такое лицо сейчас немислимо. Его присутствие повергает меня в ужас. Я вижу короля, его меч, пса, сидящего рядом. В конце концов я просыпаюсь, но еще некоторое время продолжаю видеть его. В пересказе сон не кажется каким-то особенным, но когда он снится, он страшен.

Мне хочется пересказать вам сон, который я на днях

услышал от Сусаны Бомбаль. Не знаю, произведет ли он на вас впечатление. Ей снился зал, своды которого уходили в туман, из тумана падал черный занавес. В руках она держала огромные неудобные ножницы, ей нужно было срезать торчавшие из занавеса нити, которых было множество. Разглядеть можно было лишь небольшой кусок занавеса, около метра в ширину и в высоту, остальное тонуло в тумане. Она резала нити, понимая, что это занятие бесконечно. Ее охватил ужас, ощущение ужаса прежде всего и есть кошмар.

Я пересказал два подлинных кошмара, и теперь хочу рассказать два описанных в литературе, но, возможно, тоже подлинных. В предыдущей лекции, говоря о Данте, я упомянул *nobile castello* в «Аду». Данте повествует, как, ведомый Вергилием, он входит в первый круг и замечает смертельную бледность на лице Вергилия, и думает: «Если Вергилий бледнеет, входя в Ад, свое вечное жилище, как же мне не чувствовать страха?» Но Вергилий торопит: «Я иду дальше». Они спускаются незамеченными, слыша со всех сторон стенания, порожденные не физической болью, а чем-то более тяжким.

Они проходят к благородному замку, *nobile castello*. Он окружен семью стенами, которые могут означать семь свободных искусств тривиума и квадриума, или семь добродетелей — это неважно. Возможно, Данте ощущал магические свойства этого числа, которое, безусловно, можно толковать различно. Здесь же говорится о роднике и о свежем луге, которые исчезают. Когда Данте и Вергилий подходят, луг оказывается эмалью, не живым, а мертвым. К ним приближаются четыре тени великих поэтов древности. Это Гомер с мечом в руке, Овидий, Лукан, Гораций. Вергилий велит Данте приветствовать Гомера, к которому Данте относится с величайшим почтением, но которого никогда не читал. Слышится голос: «Почтите величайшего поэта». Гомер приветствует Данте как шестого в этом собрании. Данте, который еще не написал «Комедии» — он пишет ее в этот момент, — знает, что в состоянии сделать это.

Тени говорят с Данте о чем-то, чего он не повторяет. Мы можем расценить это как скромность флорен-

тийца, но думаю, что существует более глубокая причина. Он называет обитателей благородного замка: это доблестные тени язычников и мусульман; речь их звучна и нетороплива, на лицах спокойствие и достоинство, но они лишены Бога. Они знают, что обречены на этот вечный замок, вечное, почетное, но ужасное пристанище.

Там Аристотель, «учитель тех, кто знает». Там философы-досократики, там Платон, там, поодаль, в одиночестве великий султан Саладин. Там все великие язычники, те, кто не крещен, кто не может быть спасен Христом, о котором Вергилий говорит, но не упоминает в Аду его имени, называя Властителем. Можно подумать, что Данте не проявил здесь своего драматического таланта, не зная, о чем могут говорить персонажи его поэмы. Можно сожалеть, что Данте не повторил нам слов, несомненно, достойных, Гомера, с которыми великая тень обратилась к нему. Но можно представить, что Данте предпочел молчание, что в замке все было исполнено ужаса. Данте и Вергилий разговаривают с тенями великих людей. Данте перечисляет их: Сенека, Платон, Аристотель, Саладин, Аверроэс. Но до нас не доносится ни слова их беседы. И так лучше.

Я уже говорил, что если вообразить себе Ад, он окажется не кошмаром, а всего лишь камерой пыток. Там подвергают жестоким мучениям, но нет атмосферы кошмара, которой окружен «благородный замок». Данте, возможно, описал это впервые в литературе.

Есть и другой пример, которым восторгался Де Куинси. Его можно найти во второй книге «Прелюдии» Вордсворта. Вордсворт пишет, что озабочен, — озабоченность редкая, если вспомнить о том, что он жил и писал в начале XIX века, — опасностью, которой подвергаются искусства и науки, ведь судьба их зависит от возможного космического катаклизма. В те времена нечасто думали о подобных катаклизмах; это сейчас мы знаем, что все созданное человеком да и само человечество может быть уничтожено в любой момент. Итак, Вордсворт рассказывает о своей беседе с другом. Он говорит: «Как страшно думать, что судьба великих произведений человечества, науки, искусства зависит от ка-

кой-нибудь космической катастрофы!» Друг отвечает, что испытывает подобный же страх. И Вордсворт рассказывает ему: «Мне снилось...»

И следует сон, который представляется мне образом кошмара, со всеми характерными для него чертами: физические страдания, вызванные бегством, и ужас при виде сверхъестественного. Вордсворт повествует, что в полдень в пещере у моря читает «Дон Кихота», одну из любимых своих книг, похождения странствующего рыцаря, изложенные Сервантесом. Он не называет книгу, но нам понятно, о чем идет речь. Он рассказывает далее: «Я оставил книгу и задумался. Я как раз думал о науках и искусствах, когда настал час». Знойный, всесильный час полудня, и Вордсворт, сидя в пещере на берегу моря, вспоминает: «Сон одолел меня, и я погрузился в него».

Он засыпает в пещере неподалеку от моря, среди желтого песка. Во сне он окружен песком, пустыней черного песка. Воды нет, моря нет. Очутившись посреди пустыни (в пустыне всегда оказываешься посреди), он приходит в ужас, пытается выбраться оттуда, как вдруг замечает рядом с собой человека. Это араб, бедуин, верхом на верблюде с копьем в правой руке. Левым локтем он прижимает к себе камень, а на ладони держит раковину. Араб объясняет свою миссию — спасти искусства и науки и подносит раковину к уху поэта; раковина красива необычайно. Вордсворт говорит, что на языке, который был ему не знаком, но понятен, он услышал пророчество, нечто вроде пламенной оды, повествующей о том, что Земля с минуты на минуту должна быть уничтожена потопом, вызванным гневом Господним. Араб подтверждает, что услышанное правда, что потоп приближается, а ему предстоит спасти искусство и науки. Он показывает камень. И камень загадочным образом оказывается «Геометрией» Евклида, не переставая быть камнем. Затем он протягивает раковину, которая тоже оказывается книгой, это она произносила страшное пророчество. Раковина содержит всю поэзию мира, включая (почему бы и нет?!) и поэму Вордсворта. Бедуин говорит ему: «Я должен сохранить

обе книги, и камень, и раковину». Бедуин оглядывается, и Вордсворт видит его искаженное ужасом лицо. Он тоже оглядывается и видит, что необыкновенный свет заливает пустыню. Свет исходит от вод потопа, который должен уничтожить Землю. Бедуин скачет прочь, и Вордсворт понимает, что бедуин в то же время и Дон Кихот, а верблюд — Росинант, так же, как камень и раковина — книги. Бедуин оказывается Дон Кихотом, сразу обоими, и никем по отдельности. Эта двойственность придает сновидению ужас. Тут Вордсворт с криком пробуждается, потому что воды потопа настигают его.

Я думаю, это один из самых красивых кошмаров в литературе.

Мы можем сделать выводы, во всяком случае сегодня вечером, пусть потом наше мнение изменится. Во-первых, сны — это эстетическая деятельность, возможно, самая древняя. Она обладает драматической формой, поскольку, как говорил Аддисон, мы сами — театр: и зритель, и актеры, и действие. Во-вторых, кошмару присущ ужас. Наша явь изобилует страшными моментами, всем известно, что порою действительность подавляет нас. Смерть дорогого человека, расставание с любимым — столько причин для грусти, для отчаяния... Но эти причины не похожи на кошмар; в кошмаре присутствует страх особого рода, и этот страх выражен в фабуле. Он же виден и в Бедуине — Дон Кихоте Вордсворта, в ножницах и нитях, в моем сне о короле, в знаменитых кошмарах По. Существует вкус кошмара. В книгах, к которым я обращался, о нем не говорится.

У нас есть возможность теологической интерпретации, которая соответствует этимологии. Возьмем любое из слов: латинское *incubus*, саксонское *nightmare*, немецкое *Alp*. Все они подразумевают нечто сверхъестественное. Так неужели кошмары действительно сверхъестественны? Неужели кошмары — это щелка в ад? И в кошмарах мы буквально пребываем в аду? Почему бы и нет? Ведь все так удивительно, что даже это кажется возможным.

Вечер третий

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Событием огромной важности в истории западных народов стало открытие Востока. Вернее было бы говорить о познании Востока, длительном, наподобие присутствия Персии в греческой истории. Кроме этого познания Востока (огромного, неподвижного, непостижимого, великолепного), есть еще важные моменты, я назову некоторые из них. Мне кажется правильным обратиться к теме, которую я так люблю, люблю с детства, — к теме «Книги тысячи и одной ночи», или как она называется в английском варианте, первом, который я прочел: «The Arabian Nights» — «Арабские ночи». Название тоже звучит таинственно, хотя и не столь красиво, как «Книга тысячи и одной ночи».

Мне хотелось бы упомянуть девять книг Геродота и в них — открытие Египта, далекого Египта. Я говорю «далекого», потому что пространство измеряется временем, а путешествия были опасны. Для греков египетский мир был огромен и полон тайн.

Затем рассмотрим слова «Восток» и «Запад», — возможно ли дать им определение, истинны ли они? К ним можно отнести сказанное Августином Блаженным о времени: «Что такое время? Когда меня не спрашивают об этом, я знаю, когда спрашивают, я не знаю». Попробуем приблизиться к их пониманию.

Обратимся к сражениям, войнам и кампаниям Александра, Александра, покорившего Персию, завоевавшего Индию и, насколько известно, скончавшегося в Вавилоне. Это было первое столкновение с Востоком, которое оказало столь сильное влияние на Александра, что он в какой-то мере обратился в перса. Персы считают его частью своей истории — Александра, даже на время сна не расстававшегося с мечом и с «Илиадой». Мы вернемся к нему в дальнейшем, но раз имя его названо, мне хочется пересказать легенду, которая, я думаю, будет вам интересна.

Александр не умирает в Вавилоне в тридцать три года. Он оставляет войско и блуждает по пустыням и лесам. Наконец, он видит свет, который оказывается костром. Костер окружают желтолицы с раскосыми глазами воины. Александра они не знают, но принимают незнакомца. Солдат до мозга костей, он сражается в совершенно неизвестной ему местности. Он солдат: ему нет дела до причин войны, и он всегда готов расстаться с жизнью. Проходят годы, многое стерлось в его памяти. В день выплаты денег войску одна из полученных им монет привлекает его внимание. Он держит ее на ладони и говорит: «Ты старик, а это вот одна из монет, которые я приказал отчеканить в честь победы при Арбеле, когда был Александром Македонским». Только на один миг к нему возвращается прошлое, а потом он вновь становится монгольским или китайским наемником.

Этот запоминающийся вымысел принадлежит английскому поэту — Роберту Грейвзу. Александру была предсказана власть над Востоком и Западом. В странах ислама он известен под именем Искандера Двурогого, а два его рога означают Восток и Запад.

Возьмем еще один пример из долгого диалога между Востоком и Западом, диалога во многих случаях трагического. Вспомним юного Вергилия, пробующего на ощупь тисненый шелк из дальней страны. Это страна китайцев, про которую известно лишь, что она далеко, у самых отдаленных границ Востока, а население ее миролюбиво и чрезвычайно многочисленно. Вергилий вспоминает в «Георгиках» этот шелк без швов с изображениями храмов, императоров, рек, мостов, озер, непохожих на известные ему.

Другим открытием Востока стала великолепная книга — «Естественная история» Плиния. В ней рассказывается о китайцах и упоминаются Бактрия, Персия, говорится об Индии, о царе Поре. У Ювенала есть стихотворение, которое я прочел более сорока лет назад, и оно мгновенно всплывает у меня в памяти. Чтобы определить отдаленное место, Ювенал говорит: «*ultra Aurogam et Gangem*» — «за восходом и Гангом». В этих

четырёх словах для нас заключен Восток. Как знать, ощущал ли Ювенал это так же, как мы. Думаю, что да. Восток всегда был притягателен для людей Запада.

Следуя за ходом истории, мы обнаружим удивительный подарок, которого, возможно, не было никогда. Гарун-аль-Рашид, Аарон Праведный, отправил своему брату Карлу Великому слона. Быть может, послать слона из Багдада во Францию нельзя, но это неважно. Поверить в этого слона нетрудно. Слон чудовищен... Он должен был показаться удивительно странным франкам и Карлу Великому (грустно думать, что Карл Великий не мог прочесть «Песнь о Роланде», так как говорил на германском наречии).

Слон был послан Карлу в подарок, и слово *elefant* (слон) заставляет нас вспомнить, что Роланд трубил в Олифан, горн из слоновой кости, который назывался так именно потому, что сделан был из слоновьего бивня. И раз уж мы начинали говорить об этимологии, можно вспомнить, что испанское слово, означающее шахматную фигуру — слона — *alfil*, по-арабски значит «слон» и имеет общий корень со словом *marfil* — слоновая кость. Среди восточных шахматных фигур мне доводилось видеть слона с башенкой и человечком. Это не тура, как можно решить из-за башенки, а слон — *alfil*.

Из крестовых походов воины возвращались с рассказами, например, с воспоминаниями о львах. Мы знаем известного крестоносца по имени *Richard the Lion-Hearted* — Ричард Львиное Сердце. Лев, вошедший в геральдику, — восточный зверь. Перечень не может быть бесконечен, но надо вспомнить и о Марко Поло, книга которого была открытием Востока (долгое время самым большим открытием), та самая книга, которую он диктовал товарищу по заключению после сражения, в котором венецианцев победили генуэзцы. В книге рассказывается история Востока и говорится о хане Хубилае, который потом появляется в известной поэме Колриджа.

В XV веке в Александрии, городе Александра Двурогого, был собран ряд сказок. Как можно догадаться, у

этих сказок удивительная история. Сначала их рассказывали в Индии, затем в Персии, потом в Малой Азии, и, наконец, уже записанные на арабском языке, они были собраны в Каире. Это и есть «Книга тысячи и одной ночи».

Я хочу остановиться на названии. Оно кажется мне одним из самых красивых в мире, столь же красивым, как другое, которое я уже называл — «Опыт со временем», и столь на него непохожим.

В 1754 году был опубликован первый европейский перевод, первые шесть томов французского ориенталиста Антуана Галлана. На волне романтизма Восток как целое вошел в европейское сознание. Достаточно назвать здесь два имени, два великих имени. Байрона, который как личность превосходит свои произведения, и Гюго, великого во всех отношениях. Появляются новые переводы, затем происходит новое открытие Востока. Этот процесс идет до 1890-х годов, большую роль в нем сыграл Киплинг: «Кто услышал зов Востока, вечно помнит этот зов».

Вернемся к моменту, когда впервые была переведена книга «Тысяча и одна ночь». Это событие огромной важности для всех европейских культур. В 1754 году Франция — это Франция Великого века, где законы литературы продиктованы Буало, который в 1711 году умирает, не подозревая, что всей его риторике грозит это великолепное восточное нашествие. Вспомним риторику Буало, с ее предписаниями и запретами, вспомним культ разума, замечательную фразу Фенелона: «Из всех проявлений духа самое редкое — разум». Ну а Буало хотел сделать разум основой поэзии.

Мы разговариваем на славном латинском наречии, называемом кастильским, что тоже проявление этой ностальгии, этой привязанности, иногда воинственной, Запада к Востоку, так как Америка была открыта благодаря стремлению достичь Индии. Мы называем индейцами народ Монтесумы, Атауальпы, Катриэля из-за ошибки, совершенной испанцами, полагавшими, что они попали в Индию. И сегодняшняя лекция тоже часть этого диалога между Востоком и Западом.

Происхождение слова «запад» известно и сейчас не имеет значения. О западной культуре можно сказать, что она с примесью, так как она западная только наполовину. Для нашей культуры основополагающими являются Греция (Рим — продолжение эллинизма) и Израиль, восточная страна. Они дали то, что мы зовем западной культурой. Говоря об откровениях Востока, необходимо помнить о непреходящем откровении — Священном Писании. Воздействие обоюдно, так как Запад тоже влияет на Восток. Существует книга французского автора под названием «Открытие Европы китайцами», и это открытие — тоже реальное событие, которое не могло не произойти.

Восток — это место, где восходит солнце. В немецком языке для обозначения Востока существует красивое название, которое я хочу напомнить вам: «Morgenland» — «утренняя земля». Для обозначения Запада — «Abendland» — «вечерняя земля»; вам знакома книга Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes», то есть «Путь назад вечерней земли», или, как это переводится более прозаически, — «Закат Европы». Я думаю, стоит отметить, что слово «orient» (восток), прекрасное слово, по счастливой случайности содержит в себе «ого» (золото). В слове «orient» мы ощущаем слово «ого», потому что на восходе небо отликает золотом. Я снова напомню вам известную строку Данте: «Dolce color d'oriental zaffiro» — «Отрадный цвет восточного сапфира».

В слове oriental сочетаются два значения: восточный сапфир из восточных стран, и золото (ого) рассвета, золото первого утра в Чистилище.

Что такое Восток? При попытке определить его географически, мы обнаруживаем весьма любопытное явление: часть Востока — это Запад, а то, что для греков или римлян было Западом, как, например, воспринималась Северная Африка — это Восток. Конечно, Восток — это и Египет, и израильские земли, Малая Азия, Бактрия, Персия, Индия. Все эти страны простираются так широко и имеют так мало общего меж собою. Так же, как и Татария, Китай, Япония — все это для нас

Восток. Я думаю, что, говоря о Востоке, мы прежде всего имеем в виду исламский Восток, а географически — север Индии.

Таково наше первое впечатление от книги «Тысяча и одна ночь». Существует нечто, ощущаемое нами как восточное, чего мы не чувствуем в Израиле, но чувствуем в Гранаде или Кордове. Я ощущаю там присутствие Востока, но не могу определить его и не знаю, стоит ли давать определение таким личным ощущениям. Ассоциациями, вызванными этим словом, мы обязаны «Книге тысячи и одной ночи». Она — первое, что приходит нам в голову; лишь потом мы вспоминаем о Марко Поло, отце Иоанне, о реках песка с золотыми рыбками. В первую очередь мы думаем об исламе.

Рассмотрим историю этой книги, затем ее переводы. Происхождение книги неясно. На память приходят соборы, неудачно именуемые готическими, возводившиеся трудами не одного поколения. Но есть существенное различие: ремесленники, строители соборов, хорошо представляли себе, что делают. «Тысяча и одна ночь», напротив, возникает таинственным образом. Это создание тысячи авторов, ни один из которых не подозревал, что причастен к прославленной книге, одной из самых знаменитых, более ценимых на Западе, чем на Востоке, насколько мне известно.

Приведу любопытное замечание барона Хаммера Пургшталля, ориенталиста, которого с восторгом цитируют Лейн и Бертон, авторы двух самых известных переводов книги «Тысяча и одна ночь». Он говорит о людях, именовавшихся ночными сказителями, чьей профессией было рассказывать по ночам сказки. Он приводит древний персидский текст, из которого следует, что первым, кто завел обычай собирать людей, чтобы под ночные рассказы коротать бессонницу, был Александр Македонский. Скорее всего это были сказки. Думаю, что прелесть сказок не в морали. Эзопа и индусских сказочников привлекала возможность представить животных как людей, с их комедиями и трагедиями. Мораль добавлялась в конце, а главное было в

том, что волк ведет разговор с ягненком, вол — с ослом или лев — с соловьем.

Александр Македонский слушал этих безымянных сказочников. Такая профессия существовала долго. Лейн в книге «Обычаи и манеры современных египтян» считает, что вплоть до 1850 года в Каире сказочники были весьма распространены. Их насчитывалось около пятидесяти, и они часто рассказывали истории из «Тысячи и одной ночи».

Ряд историй из Индии, где создалось ядро книги, как полагают Бертон и Кансинос-Ассенс, автор замечательного испанского перевода, попадает в Персию, в Персии они изменяются, обогащаются и арабизируются; наконец, они доходят до Египта. Это происходит в конце XV века. Именно тогда составляется первый сборник, за ним следует другой, персидский, кажется «*Nazar afsana*» — «Тысяча историй».

Почему сначала тысяча, затем тысяча и одна? Думаю, что по двум причинам. Одна из них — суеверие (в подобных случаях суеверие имеет значение), согласно которому четные числа считаются несчастливymi. Стали искать нечетное число и удачно добавили «и одна». Если бы в заглавии стояло девятьсот девяносто девять ночей, мы ощущали бы, что одной не хватает, а так, напротив, чувствуем, что нам дается нечто бесконечное, да еще с одной ночью впридачу. Текст прочел и перевел французский ориенталист Галлан. Мы видим, каков текст и каков в нем Восток. Восток в тексте есть, потому что, читая, мы ощущаем себя в далекой стране.

Известно, что хронология, история существуют, но прежде всего существуют восточные исследования. Нет истории персидской литературы или истории индийской философии, нет и китайской истории китайской литературы, поскольку этому народу неинтересна последовательность событий. Считается, что литература и поэзия вечны. Я думаю, что, в сущности, они правы. Мне кажется, название «Тысяча и одна ночь» (или, как предпочитает Бертон, «*Book of the Thousand nights and a night*» — «Книга тысячи ночей и одной ночи») было бы прекрасным, если бы было придумано сегодня ут-

ром. Если бы мы сделали это сейчас, то заглавие казалось бы превосходным не только потому, что красиво (красиво, например, заглавие «Сумерки сада» Лугонеса), но и потому, что вызывает желание прочитать книгу.

Человеку хочется затеряться в «Тысяче и одной ночи», он знает, что, погружаясь в эту книгу, может забыть о своей жалкой судьбе, может проникнуть в мир, полный образов-архетипов, наделенных в то же время индивидуальностью.

В названии «Тысяча и одна ночь» содержится нечто очень важное — намек на то, что книга бесконечна. Вероятно, так оно и есть, арабы говорят, что никто не может прочесть «Тысячу и одну ночь» до конца. Не оттого, что книга скучная — она кажется бесконечной.

У меня дома стоят семнадцать томиков перевода Бертон. Я знаю, что никогда не прочитаю их все, но знаю, что в них заключены ночи, которые ждут меня; что жизнь моя может оказаться несчастливой, но в ней есть семнадцать томиков, в которых соединится суть вечности «Тысячи и одной ночи» Востока.

Как же определить Восток, не действительный Восток, которого не существует? Я говорил, что понятия «Восток» и «Запад» — обобщения, что ни один человек не чувствует себя восточным. Я предполагаю, что человек ощущает себя персом, индусом, малайцем, но не восточным. Точно так же никто не чувствует себя латиноамериканцем: мы ощущаем себя аргентинцами, уругвайцами. Тем не менее понятие существует. На чем же основана книга? Прежде всего на идее мира крайностей, в котором персонажи либо очень счастливы, либо очень несчастливы, очень богаты или очень бедны. Мира царей, которые не должны объяснять, что они делают. Царей, которые, можно сказать, безответственны, как боги.

Кроме того, на идее клада. Любой бедняк может найти его. И на идее магии, чрезвычайно важной. Что такое магия? Магия — это причинность иного рода. Предположим, что, кроме известной нам причинной связи, существует другая. Эта связь может зависеть от случайностей, от кольца, от лампы. Стоит нам потерять

кольцо или лампу, явится джинн. Джинн — раб, и в то же время он всемогущ, действуя по нашей воле. Он может появиться в любой момент.

Вспомним историю о рыбаке и джинне. У рыбака четверо детей, он беден. Каждое утро он забрасывает сеть в море. То, что море не названо, переносит нас в мир неопределенный. Рыбак подходит к морю и бросает сеть. Как-то утром он бросает и вытягивает ее трижды: вытаскивает мертвого осла, черепки, ненужные вещи. Он снова забрасывает сеть (каждый раз произнося стихотворение), и она оказывается страшно тяжелой. Рыбак ждет, что она полна рыбы, но вытаскивает лишь кувшин желтой меди, запечатанный печатью Сулеймана (Соломона). Рыбак открывает кувшин, и из него начинает валить густой дым. Рыбак думает, что кувшин можно будет продать, а тем временем дым достигает неба и, сгущаясь, становится джином.

Кто такие джинны? Это существа, созданные прежде Адама, они подчинены человеку, хотя могут быть огромными. Мусульмане считают, что джинами заполнено все пространство, что они невидимы и вездесущи.

Джинн восклицает: «Хвала Аллаху и его пророку Соломону!» Рыбак спрашивает джинна, почему он назвал Соломона, который так давно умер, теперь пророк Аллаха — Магомет. И спрашивает, почему он был заключен в кувшин. Тот отвечает, что он один из джинов, восставших против Сулеймана, и что за это Сулейман заключил его в кувшин, наложил печать и бросил на дно моря. Прошло четыреста лет, и джинн поклялся отдать все золото мира тому, кто его освободит. Но освобождение не пришло. Он поклялся научить языку зверей и птиц того, кто его освободит. Шли века, множились обещания. Наконец он поклялся убить своего освободителя. «Пришло время выполнить клятву. Готовься к смерти, о мой спаситель!» Этот гнев странным образом делает джинна похожим на человека и, пожалуй, привлекательным.

Рыбак испуган, он делает вид, что не верит рассказу и спрашивает: «Как ты, чья голова касается неба, а ноги — земли, мог уместиться в столь малом сосуде?»

Джинн отвечает: «Маловерный! Сейчас убедишься». Он уменьшается и исчезает в кувшине, а рыбак затыкает кувшин и грозит ему.

История продолжается, и вот уже героем становится не рыбак, а царь, затем повелитель Черных островов, и в конце сюжетные линии соединяются — явление, характерное для «Тысячи и одной ночи». Здесь можно вспомнить китайские шары один в другом или русских матрешек. В «Дон Кихоте» мы находим нечто подобное, но не в той степени, как в «Тысяче и одной ночи». Кроме того, все повествование заключено в рамку странной основной истории, известной вам: истории султана, которому изменяла жена и который, чтобы избежать повторения измен, решил каждую ночь брать новую жену и на следующее утро лишать ее жизни. Так продолжается до тех пор, пока Шахразада не решает спасти остальных, удерживая султана историями, которые остаются незаконченными. Так проходит тысяча и одна ночь, и она показывает султану сына.

Истории внутри историй создают странное ощущение почти бесконечности, сопровождаемое легким головокружением. Подобного эффекта добивались и авторы, писавшие намного позже. Таковы книги «Алисы» Льюиса Кэрролла или его роман «Сильви и Бруно», где сны внутри снов множатся и разветвляются.

Тема снов — одна из излюбленных в «Тысяче и одной ночи». Изумительна история двух сновидцев. Некий житель Каира однажды во сне услышал голос, приказывающий ему идти в Исфахан, где зарыт клад. Он предпринимает длительное и опасное путешествие, и в Исфахане, усталый, ложится отдохнуть во дворе мечети. Он оказывается среди воров, не подозревая об этом. Всех их берут под стражу, и кади спрашивает, что привело его в этот город. Египтянин рассказывает. Кади хохочет во всю глотку и говорит: «О безрассудный и легковерный! Трижды мне снился дом в Каире с садом, в котором солнечные часы, источник и смоковница, а вблизи источника зарыт клад. Я ни разу не поверил обману. Возьми монету, уходи и больше не приходи в Исфахан». Тот возвращается в Каир: в сновидении кади

он узнал свой собственный дом. Он начинает копать неподалеку от источника и находит клад.

В «Тысяче и одной ночи» слышатся отголоски Запада. Мы находим здесь приключения Одиссея, только Одиссей зовется Синдбадом-Мореходом. Некоторые приключения совпадают (Полифем). Чтобы возвести чертог «Тысячи и одной ночи», трудились поколения людей, и эти люди — наши благодетели, оставившие нам в наследство эту неисчерпаемую книгу, претерпевшую столько превращений. Я говорю о превращениях, поскольку первый текст, опубликованный Галланом, довольно прост и, возможно, наиболее привлекателен, он не требует от читателя ни малейшего усилия; без этого первого текста, как справедливо заметил капитан Бертон, невозможны были бы последующие варианты.

Галлан опубликовал первый том в 1754 году. Книга вызвала возмущение, но вместе с тем очаровала рассудочную Францию Людовика XIV. Когда говорят о романтизме, имеют в виду гораздо более позднее время. Мы можем сказать, что романтическое течение берет начало в тот момент, когда кто-то в Нормандии или в Париже прочитал «Тысячу и одну ночь». Он вырвался из мира предписаний Буало и вошел в мир романтической свободы.

Затем происходят следующие события: открытие плутовского романа французом Лесажем; публикация шотландских и английских баллад, осуществленная Перси к 1750 году. А к 1798 году романтизм в Англии начинается творчеством Колриджа, которому привиделся во сне хан Хубилай, покровитель Марко Поло. Мы видим здесь, как удивителен мир и как взаимосвязаны события.

Появились другие переводы. Перевод Лейна снабжен энциклопедией мусульманских обычаев. Антропологический и непристойный перевод Бертона выполнен с использованием лексики XIV века, странным английским языком, изобилующим архаизмами и неологизмами, языком, не лишенным прелести, но иногда трудным для чтения. Затем появляются вольная в обоих значениях этого слова версия доктора Мардрюса и немецкий

перевод Литтмана, передающий оригинал буквально, но лишенный его очарования. Сейчас, к счастью, у нас есть и испанский вариант, созданный моим учителем Рафаэлем Кансинос-Ассенсом. Книга опубликована в Мексике, возможно, этот перевод — лучший, он снабжен комментарием.

Самая известная сказка «Тысячи и одной ночи» не найдена в оригинальных вариантах. Это «Аладдин и волшебная лампа». Она появляется у Галлана, и Бертон безуспешно искал ее в арабских и персидских текстах. Он подозревал, что Галлан фальсифицировал сказку. Слово «фальсифицировал» кажется мне несправедливым и злым. У Галлана было такое же право придумать сказку, как и у ночных сказителей. Почему не предположить, что, переводя столько сказок, он захотел создать одну сам и осуществил это желание?

История не заканчивается сказкой Галлана. Де Куинси в своей автобиографии пишет, что для него в «Тысяче и одной ночи» одна сказка несравненно выше других, и это сказка об Аладдине. Он говорит о маге из Магриба, который приходит в Китай, потому что знает, что там живет единственный человек, способный достать волшебную лампу. Галлан говорит нам, что маг — астролог и что звезды повелевают ему идти в Китай в поисках юноши. Де Куинси, у которого великолепная творческая память, помнит это совсем по-другому. По его версии, маг прикладывает ухо к земле и слышит бесчисленные шаги людей. И среди этих шагов он распознает шаги мальчика, которому суждено выкопать лампу. Это, говорит Де Куинси, привело его к мысли о том, что мир полон соответствий, магических зеркал, что малые события несут на себе знак больших. Описание того, как магрибский маг приникает ухом к земле и угадывает шаги Аладдина, нет ни в одном из текстов. Это вымысел, подсказанный Де Куинси снами или памятью. Бесконечное время «Тысячи и одной ночи» продолжает свой путь. В начале XIX или в конце XVIII Де Куинси вспоминает по-своему. Ночи обретают все новых переводчиков, и каждый переводчик дает свой вариант. Мы, пожалуй, можем говорить

о множестве книг под названием «Тысяча и одна ночь». Две французские — Галлана и Мадрюса; три английские — Бертона, Лейна и Пейна; три немецкие, написанные Хеннингом, Литтманом и Вайлем; одна — испанская, созданная Кансинос-Ассенсом. Все эти книги различны, поскольку «Тысяча и одна ночь» разрастается или рождается заново. У великолепного Стивенсона в его великолепных «Новых тысяча и одной ночи» вновь возникает тема переодетого принца, который осматривает город в сопровождении визиря и с которым происходят различные приключения. Стивенсон придумал принца Флоризеля из Богемии и его спутника полковника Джералдина, с которым тот путешествует по Лондону.

Но это не реальный Лондон, а Лондон, похожий на Багдад, но не на реальный, а на Багдад «Тысячи и одной ночи».

Есть еще один автор, чьи произведения радуют всех нас, — это Честертон, наследник Стивенсона. Фантастический Лондон, в котором происходят приключения отца Брауна и человека, который был Четвергом, не мог бы существовать, если бы Честертон не читал Стивенсона, а Стивенсон не написал бы «Новых тысячи и одной ночи», если бы не читал «Тысячу и одну ночь». Эта книга столь огромна, что нет нужды читать ее, она запечатлена в нашей памяти и является частью и сегодняшнего вечера.

Вечер четвертый

БУДДИЗМ

Дамы и господа!

Тема сегодняшней лекции — буддизм. Я не стану углубляться в его долгую историю, начавшуюся две с половиной тысячи лет назад в Бенаресе, когда непальский царевич Сиддхартха, или Гаутама, ставший Буддой, привел в движение колесо дхармы, провозгласив четыре благородные истины и восьмеричный путь. Я расскажу о главном в этой религии, самой распростра-

ненной в мире. Элементы буддизма сохраняются с V века до Рождества Христова, то есть со времен Гераклита, Пифагора, Зенона до наших дней, когда его толкование дал доктор Судзуки в Японии. Эти элементы не изменились. Сейчас религия пронизана мифологией, астрономией, удивительными верованиями, магией, но поскольку тема сложна, я ограничусь тем, что объединяет различные секты. Оно может соответствовать хинаяне, или малой колеснице. Отметим прежде всего долговечность буддизма.

Эта долговечность может быть объяснена исторически, хотя такие обоснования случайны или, лучше сказать, сомнительны, ошибочны. Я думаю, что существуют две основные причины. Первая — терпимость буддизма. Эта удивительная терпимость отличает не отдельные периоды, как в других религиях, — буддизм был терпим всегда.

Он никогда не прибегал к огню и мечу, не полагался на их способность убеждать. Когда Ашока, индийский император, сделался буддистом, он никому не навязывал свою новую религию. Праведный буддист может быть лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, даосом, католиком, может быть последователем ислама или иудейской религии без всяких ограничений. Напротив, ни христианину, ни иудею, ни мусульманину не дозволяется быть буддистом.

Терпимость буддизма — это не его слабость, а сама его сущность. Буддизм — это прежде всего то, что мы можем назвать йогой. Что означает слово йога? Это то же самое слово, что «yugo» — «ярмо», которое восходит к латинскому «yugum». Ярмо, дисциплина, которой подчиняется человек. Затем, если мы поймем, о чем говорил Будда в первой проповеди в Оленьей роще в Бенаресе две с половиной тысячи лет назад, мы постигнем буддизм. К тому же речь идет не о том, чтобы понять, а о том, чтобы почувствовать глубоко, ощутить душой и телом, причем буддизм не признает реальности ни души, ни тела. Я попробую доказать это.

Кроме того, есть и еще причина. Буддизм во мно-

гом существует за счет нашей веры. Разумеется, каждая религия представляет собой акт веры. Так же, как родина представляет собой акт веры. Что значит, не однажды спрашивал я себя, быть аргентинцем? Быть аргентинцем — значит чувствовать, что мы аргентинцы. Что значит быть буддистом? Быть буддистом — не значит понимать, поскольку понимание может прийти в считанные минуты, а чувствовать четыре благородные истины и восьмеричный путь. Не станем вверяться опасностям восьмеричного пути, поскольку эта цифра объясняется привычкой индусов разделять и подразделять, а обратимся к четырем благородным истинам.

Кроме того, существует легенда о Будде. Мы можем и не верить в эту легенду. У меня есть друг японец, дзен буддист, с которым мы ведем долгие дружеские споры. Я говорил ему, что верю в историческую истинность Будды. Верю, что две с половиной тысячи лет назад жил непальский царевич по имени Сиддхартха, или Гаутама, который стал Буддой, то есть Пробудившимся, Просветленным, в отличие от нас, спящих или видящих долгий сон — жизнь. Мне вспоминается фраза Джойса: «История — это кошмар, от которого я хочу очнуться». Итак, Сиддхартха в возрасте тридцати лет пробудился и стал Буддой.

Со своим другом буддистом (я не уверен в том, что я христианин, и уверен, что не буддист) я веду спор и говорю ему: «Почему бы не верить в царевича Сиддхартху, родившегося в Капиловасту за пятьсот лет до начала христианской веры?» Он отвечает мне: «Потому что это совершенно неважно, важно верить в Учение». Он добавляет, следуя, скорее, фантазии, нежели истине, что верить в историческое существование Будды или интересоваться им было бы чем-то наподобие смешения изучения математики с биографией Пифагора или Ньютона. Одна из тем для медитаций у монахов в монастырях Китая и Японии — сомнение в существовании Будды. Это одно из сомнений, которое они должны преодолеть, чтобы постичь истину.

Другие религии в большей степени зависят от нашей способности верить. Если мы христиане, то долж-

ны верить в то, что из Божественной Троицы один снизошел на землю, чтобы быть человеком, и был распят в Иудее. Если мы мусульмане, то должны верить в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Магомет пророк его. Мы можем быть праведными буддистами и отрицать, что Будда существовал. Или, лучше сказать, мы можем думать, должны думать, что наша вера в его историческое существование не важна, важна вера в Учение. Однако легенда о Будде настолько хороша, что нельзя не попытаться пересказать ее.

Французы уделяют особое внимание изучению легенды о Будде. Они руководствуются следующим: житие Будды — это то, что произошло с одним человеком за короткий промежуток времени. Жизнь его могла сложиться тем или иным образом. А легенда о Будде просветила и просвещает миллионы людей. Эта легенда послужила источником множества прекрасных картин, скульптур и поэм. Буддизм представляет собой не только религию, но и мифологию, космологию, метафизическую систему или, лучше сказать, ряд метафизических систем, противоречащих одна другой.

Легенда о Будде просветляет, но вера в нее необязательна. В Японии утверждают, что Будда не существовал. Но отстаивают Учение. Легенда начинается на небе. На небе некто в течение веков, буквально в течение неисчислимого множества веков, совершенствовался, пока не понял, что в следующем воплощении станет Буддой.

Он выбрал континент, на котором родится. По буддийской космогонии, мир разделен на четыре треугольных континента, а в центре его золотая гора, гора Меру. Он родится там, где находится Индия. Он выбрал век, в котором родится, выбрал касту, выбрал мать. Теперь земная часть легенды. Жила царица Майя. Майя означает «мечта». Царице приснился сон, который может показаться странным для нас, но не для индусов.

Царица была замужем за царем Шуддходаной; однажды ей приснился белый слон с шестью клыками, сошедший с золотых гор, который проник ей в левый бок, не причинив боли. Она проснулась; царь созвал

своих астрологов, и они объявили, что царица произведет на свет ребенка, который может стать либо властителем мира, либо Буддой — Просветленным, Пробужденным, которому предназначено спасти всех людей. Предусмотрительный царь выбрал первое: ему хотелось, чтобы сын стал властителем мира.

Обратимся к такой детали, как белый слон с шестью клыками. Ольденберг отмечает, что слон в Индии — животное домашнее, обычное. Белый цвет всегда символизирует невинность. Почему клыков шесть? Следует помнить (прибегнем снова к истории), что число шесть, для нас в какой-то мере непривычное и взятое произвольно (мы предпочли бы три или семь), воспринимается по-другому в Индии, где считают, что существует шесть измерений пространства: верх, низ, перед, зад, право, лево. Белый слон с шестью клыками не кажется индусам странным.

Царь созывает своих магов, а царица без мук рождает дитя. Смоковница протягивает к ней ветки, чтобы помочь. Появившись на свет, сын становится на ноги, делает четыре шага на Север, на Юг, на Восток, на Запад и говорит голосом, подобным львиному рыку: «Я — несравненный, это мое последнее рождение». Индусы верят в бесконечное множество предшествующих рождений. Царевич растет, он лучший стрелок, лучший всадник, лучший пловец, лучший атлет, лучший каллиграф, он посрамил всех врачей (здесь можно вспомнить о Христе и врачах). В шестнадцать лет он женится.

Отец знает — ему сказали астрологи, — что сыну грозит опасность стать Буддой, человеком, который спасет всех других, если познает четыре вещи: старость, болезнь, смерть и аскетизм. Царь помещает сына во дворец, заводит ему гарем — я не назову числа женщин, поскольку оно явно преувеличено — на индусский лад. Впрочем, почему не назвать: восемьдесят четыре тысячи.

Царевич живет счастливо; он не знает о страдании, существующем в мире, от него скрывают старость, болезнь и смерть. В предназначенный день он выезжает на своей колеснице через одни из ворот прямоугольно-

го дворца. Скажем, через северные. Немного проехав, он видит человека, отличного от всех виденных раньше. Он согбен, морщинист, без волос. Едва бредет, опираясь на палку. Царевич спрашивает, что это за человек и человек ли это. Возница отвечает, что это старик и что все мы станем такими, если доживем.

Царевич возвращается во дворец потрясенный. По истечении шести дней он снова выезжает через южные ворота. Он видит в канаве человека, еще более странного, белесого от проказы, с изможденным лицом. Спрашивает, кто этот человек и человек ли это. Это больной, отвечает возница, мы все станем такими, если доживем.

Царевич, еще более обеспокоенный, возвращается во дворец. Спустя шесть дней он снова выезжает и видит человека, который мог бы показаться спящим, если бы не мертвенный цвет кожи. Его несут другие. Царевич спрашивает, кто это. Возница отвечает, что это мертвый и что все мы станем мертвыми, когда проживем достаточно.

Царевич в отчаянии. Три ужасные истины открылись ему: истина старости, истина болезни, истина смерти. Он выезжает в четвертый раз. Видит человека почти нагого, с лицом, исполненным спокойствия. Спрашивает, кто это. Ему отвечают, что это аскет, отказавшийся от всего и достигший благодати.

Царевич, живший в роскоши, решает оставить все. Буддизм предполагает, что аскетизм может оказаться полезным, но лишь после того, как жизнь была испытана. Не считается, что следует начинать с отказа от всего. Нужно познать жизнь до конца и затем отказаться от нее.

Царевич принимает решение стать Буддой. В этот момент ему сообщают новость: его супруга Яшодхара произвела на свет сына. Он восклицает: «Узы окрепли». Это сын, который привязывает его к жизни, поэтому ребенка назвали Узы. Сиддхартха в своем гареме, он смотрит на прекрасных молодых женщин, а видит их ужасными старухами, пораженными проказой. Он идет в опочивальню супруги. Она спит, держа в объятиях

младенца. Он хочет поцеловать ее, но понимает, что если поцелует, не сможет расстаться с ней, и уходит.

Он ищет учителей. Сейчас мы переходим к той части жизнеописания, которая может оказаться невымышленной. Зачем показывать его учеником наставников, которых он затем покидает? Наставники обучают его аскетизму, в котором он упражняется долгое время. Наконец он падает посреди поля, недвижимый, и боги, глядящие на него с тридцати трех небес, думают, что он умер. Один из них, самый мудрый, говорит: «Нет, он не умер; он будет Буддой». Царевич приходит в себя, идет к ручью, берет немного пищи и садится под священной смоковницей, мы можем назвать ее деревом закона.

Происходит магическое действие, которому имеются соответствия в Евангелиях: борьба с демоном. Имя демона Мара. Нам уже встречалось слово «nightmare» — «демон ночи». Демон владеет миром, но, ощутив опасность, выходит из своего дворца. Струны на его музыкальных инструментах порвались, и вода пересохла в водоемах. Он собирает войско, садится на слона высотой в неизвестно сколько миль, умножает число своих рук, свое оружие и бросается на царевича. Царевич сидит в сумерках под деревом познания — деревом, выросшим одновременно с ним.

Демон и его войско, состоящее из тигров, львов, верблюдов, слонов и чудовищных воинов, осыпают царевича стрелами. Долетая до него, стрелы превращаются в цветы. Они мечут в него горы огня, который становится балдахином Над его головой. Царевич медитирует, неподвижный, со скрещенными руками. Возможно, он знает, что подвергается нападению. Он думает о жизни, он достиг нирваны, спасения. После заката солнца демон оказывается разгромленным. Продолжается долгая ночь медитаций; к концу ночи Сиддхартха уже не Сиддхартха, он Будда; он достиг нирваны.

Он решает проповедовать свое учение. Он поднимается, уже спасенный, с желанием спасти остальных. Он произносит проповедь в Оленьей роще в Бенаресе. Затем другую — об огне, в котором, как он говорит, сго-

рает все: души, тела, вещи. Примерно в то же время Гераклит Эфесский утверждает, что все есть огонь.

Религия Будды — не аскетизм, для него аскетизм — заблуждение. Человек не должен чрезмерно предаваться ни плотской жизни из-за того, что жизнь плоти изменна, неблагородна, постыдна и горестна, ни аскетизму, который тоже неблагороден и горестен. Он проповедует умеренную жизнь, если следовать теологической терминологии, уже достигнув нирваны, и проживает срок с лишним лет, которые посвятил проповеди. Он мог стать бессмертным, но выбирает себе момент для смерти, уже обретя множество учеников.

Он умирает в доме кузнеца. Ученики окружают его. Они безутешны. Что им делать без него? Будда говорит им, что он не существует, что он такой же человек, как и они, столь же нереальный и столь же смертный, но что он оставляет им свое Учение. Здесь большое отличие от Христа, который сказал ученикам, что если двое из них встретятся, он будет с ними третьим. Напротив, Будда говорит своим ученикам: «Вам оставляю мое Учение». То есть, он в первой проповеди привел в движение Колесо. Затем следует развитие буддизма. Его формы многочисленны: ламаизм, магический буддизм, махаяна, или большая колесница, которая следует за хинаяной, или малой колесницей, дзэн-буддизм Японии.

Я полагаю, что существует два буддизма, на первый взгляд почти одинаковых: тот, который в Китае и Японии, — дзэн-буддизм. Все остальное — мифологические выражения, легенды. Некоторые из легенд интересны. Известно, что Будда умел творить чудеса, но так же, как Иисус Христос, он не любил чудес, ему не нравилось творить их. Это казалось ему пошлым хвастовством. Я перескажу одну историю: о сандаловой чаше.

Однажды в одном индийском городе купец приказывает вырезать из куска сандала чашу. Он помещает ее на высоту нескольких бамбуковых стволов, на высоченном намыленном шесте. Обещает отдать сандаловую чашу тому, кто сможет ее достать. Ученые еретики напрасно пытаются добраться до нее. Они хотят подку-

пить купца, чтобы он сообщил, что они достигли ее. Купец отказывается, и тут приходит младший ученик Будды. Его имя не упоминается нигде, кроме этого эпизода. Ученик поднимается в воздух, шесть раз облетает вокруг чаши, берет ее и вручает купцу. Когда Будда узнает об этой истории, он приказывает изгнать ученика за то, что тот занимался таким недостойным делом.

Но и сам Будда творил чудеса. Например, чудо вежливости. Будде нужно было пересечь пустыню в полуденный час. Боги со всех тридцати трех небес бросили ему каждый по клочку тени. Будда, дабы не нанести обиды никому из богов, принял образ тридцати трех Будд, так что каждый из богов видел сверху Будду, защищенного тенью, которую он ему бросил.

Среди деяний Будды замечательна парабола стрелы. Один человек ранен в битве и не хочет, чтобы из раны вытащили стрелу. Сначала он узнает имя лучника, к какой касте он принадлежит, из какого материала сделана стрела, где стоял лучник, какова длина стрелы. Пока эти вопросы обсуждаются, он умирает. «Я же, — говорит Будда, — учу вытаскивать стрелу». Что такое стрела? Это Вселенная. Стрела — это идея «я», всего, что засело в нас. Будда говорит, что мы не должны терять времени на бесполезные вопросы. Например, конечна или бесконечна Вселенная? Будет ли жить Будда после нирваны или нет? Все это бесполезно, важно вытащить стрелу. Речь идет об изгнании злых духов, о религии спасения.

Будда говорит: «Подобно тому, как воды океана имеют лишь один вкус — вкус соли, так и учение мое имеет лишь один вкус — вкус спасения». Религия, которой он учит, огромна, как море, но у нее лишь один вкус — вкус спасения. Конечно, продолжатели теряются (или, возможно, многое находят) в метафизических дискуссиях. Цель буддизма не в этом. Буддист может исповедовать любую религию, оставаясь последователем буддизма. Важно спасение и четыре благородные истины: страдание, истоки страдания, излечение и путь к излечению. В конце достигается нирвана. Порядок ис-

тин не имеет значения. Есть мнение, что они соответствуют античной медицинской традиции: болезнь, диагноз, лечение и выздоровление. Выздоровление в данном случае — нирвана.

Теперь мы переходим к самому трудному. К тому, что наш западный ум пытается отместить. К перевоплощению, которое для нас прежде всего поэтическая идея. Переселяется не душа (буддизм отрицает существование души), а карма, представляющая собой судьбу ментального организма, перевоплощающегося бесчисленное множество раз. Эта идея присуща многим мыслителям, прежде всего Пифагору. Пифагор узнал щит, который держал в руках, сражаясь в Троянской войне под другим именем. В десятой книге «Государства» Платон изложил сон Эра. Этот солдат видит души, которые, прежде чем напиться из реки забвения, выбирают себе судьбу. Агамемнон хочет стать орлом, Орфей — лебедем, а Улисс, который иногда называл себя Никто, — самым скромным и самым знаменитым из людей.

У Эмпедокла из Акраганта есть отрывок, где он вспоминает о своих прежних жизнях: «Я был девушкой, был веткой, был оленем и был немой рыбой, которая высовывает голову из моря». Цезарь считает это учением друидов. Кельтский поэт Талиесен говорит, что нет формы во Вселенной, которую бы он не принимал: «Я был полководцем, я был мечом в руке, я был точкой, через которую проходят шестьдесят рек, превращался в пену вод, был звездой, был сетом, деревом, словом в книге, книгой». У Дарио есть стихотворение, возможно, самое красивое из всех, которое начинается так: «Я был солдатом, что спал на ложе Клеопатры-царицы...»

Перевоплощение занимает большое место в литературе. Мы находим эту тему и у мистиков. Плотин замечает, что переходить от одной жизни к другой — все равно что спать на разных ложах в разных покоях. Я думаю, что у каждого когда-нибудь бывало ощущение, что схожий момент он пережил в прежних жизнях. В прелестном стихотворении Данте Габриэля Росетти «Sudden light»¹ есть слова: «I have been here before» —

¹ «Внезапный свет» (англ.).

«Я был здесь прежде». Он обращается к женщине, которая принадлежала ему или будет принадлежать ему, и говорит: «Ты уже была моею бесчисленное число раз и будешь моей бесконечно...» Это приводит нас к теории циклов, близкой к буддизму, которую Августин опроверг в труде «О граде Божием». Ибо стоикам и пифагорейцам была известна индуистская теория Вселенной, состоящей из бесчисленного числа циклов, которые ограничиваются кальпой. Кальпа находится за пределами человеческого воображения. Представим себе железную стену высотой в шестнадцать миль. Каждые шестьсот лет ангел протирает ее тончайшей бенаресской тканью. Когда ткань очистит стену высотой в шестнадцать миль, минет первый день кальпы, и боги тоже живы, пока длится кальпа, а затем умирают.

История Вселенной разделена на циклы, а в этих циклах есть периоды мрака, в которых либо ничего нет, либо остаются лишь слова Вед. Это слова-архетипы, которые служат для создания вещей. Божественный Брахма тоже умирает и рождается вновь. Трогательный момент, когда Брахма оказывается в своем дворце. Он вновь родился после одной из кальп, после одного из провалов. Он проходит по пустым комнатам. Думает о других богах. Другие боги появляются по его приказу и думают, что Брахма создал их, потому что они были здесь раньше.

Остановимся на таком видении истории Вселенной. В буддизме нет Бога или может быть Бог, но не в этом главное. Главное в нашей вере в то, что наша судьба предопределена кармой. Если мне выпало на долю родиться в Буэнос-Айресе в 1899 году, если мне привелось ослепнуть, довелось произнести перед вами сегодня вечером лекцию, — все это действия моей предшествующей жизни. Нет ни одного события в моей жизни, которое не было бы предопределено предшествующей жизнью. Вот это и называется кармой. Карма, как я уже говорил, — ментальная структура, тончайшая ментальная структура.

Мы связаны и взаимосвязаны в каждый момент нашей жизни. Нас связывает не только наша воля, наши

действия, наши полусны-полубессонница, наш сон — мы всегда связаны кармой. Когда мы умрем, родится новое существо, которое нашу карму наследует.

Дейссен, ученик Шопенгауэра, которому так нравился буддизм, рассказывал, как он встретил в Индии слепого нищего и посочувствовал ему. Нищий ответил: «Если я родился слепым, то за грехи, совершенные мною в прежней жизни; то, что я слеп, справедливо». Люди принимают боль. Ганди возражал против открытия больниц, говоря, что больницы и благотворительность просто оттягивают уплату долгов, что не следует помогать страдающим, они должны страдать в расплату за грехи, а оказанная им помощь задерживает расплату.

Карма — суровый закон, но он обладает любопытной математической последовательностью: если моя теперешняя жизнь целиком определена предыдущей, то та, прежняя, определена предшествующей, эта — еще одной, и так до бесконечности. То есть буква *z* определяется буквой *y*; *y* — буквой *x*; *x* — буквой *v*; *v* — буквой *u*, только у этого алфавита есть конец, но нет начала. Буддисты и индусы вообще верят в существование бесконечности; они полагают, что до текущего момента уже прошло бесконечное время, и, говоря «бесконечное», я не хочу сказать «неопределимое», «неисчислимое», я хочу сказать именно «бесконечное».

Из шести судеб, которые выпадают людям (можно стать духом, растением, животным), самая трудная — быть человеком, и мы должны использовать ее, чтобы достичь спасения.

Будда воображает черепаху на дне моря и плавающий по воде браслет. Раз в шестьсот лет черепаха высовывает голову, и очень редко голова ее всовывается в браслет. И Будда говорит: «Не чаще, чем в случае с черепахой и браслетом, происходит то, что мы становимся людьми. Нужно использовать наше человеческое бытие, чтобы достичь нирваны».

Какова причина страданий, причина жизни, если мы отказались от идеи бога, если нет образа бога, создающего Вселенную? Будда называет это дзэн. Слово

«дзэн» может показаться странным, но давайте сравним его с известными нам словами.

Вспомним, например, о воле Шопенгауэра. Шопенгауэр постигал мир как волю и представление — «Die Welt als Wille und Vorstellung». Существует воля, которая воплощена в каждом из нас и составляет представление о мире. То же мы встречаем и у других философов под иными названиями. Бергсон говорит о жизненной порыве, *elan vital*, Бернард Шоу — о жизненной силе, *life force*, что одно и то же. Но есть и различие: для Бергсона и Шоу *elan vital* — это сила, которая должна проявиться; мы должны думать о мире, создавать мир. Для Шопенгауэра, мрачного Шопенгауэра, и для Будды мир — это сон, мы должны перестать думать о нем, а проникнуть в него можем путем долгих упражнений. В начале существует страдание, которое должно превратиться в дзэн. И дзэн создает жизнь, и жизнь эта с неизбежностью несчастлива. Но что значит жить? Жить — это родиться, стареть, болеть, умереть, не говоря о других горестях, среди которых весьма ощутимая, для Будды одна из самых ощутимых, — не быть с теми, кого мы любим.

Мы должны отказаться от страсти. Человек, совершивший самоубийство, навсегда остается в мире снов. Мы должны понять, что мир — это видение, сон, что жизнь есть сон. Но нужно глубоко почувствовать это, достичь путем упражнения в медитации. В буддийских монастырях одно из упражнений состоит в следующем: ученик должен жить, постоянно предаваясь размышлениям. Он должен думать: «Сейчас полдень, сейчас я пересекаю двор, сейчас я встречу с наставником», — в то же время он должен думать, что полдень, двор и наставник нереальны, столь же нереальны, как он сам и его размышления, поскольку буддизм отрицает «я».

Одна из основных преодолеваемых иллюзий — это преодоление «я». Буддизм, таким образом, совпадает с учением Юма, Шопенгауэра, нашего Маседонио Фернандеса. Не существует субъекта, существует ряд ментальных состояний. Если я говорю «я думаю», то совершаю ошибку, поскольку предполагаю постоянный

субъект и затем работу этого субъекта, каковой является мышление. Это не так. Следует говорить, указывает Юм, не «думаю», а «думается», как говорят «рассветает». Говоря «рассветает», мы не имеем в виду, что свет совершает действие, нет, просто что-то происходит. Точно так же, как говорят «жарко», «холодно», «рассветает», мы должны говорить, избегая субъекта, «думается», «страдается».

В буддийских монастырях ученики подчинены строгой дисциплине. Они могут покинуть монастырь в любой момент, когда захотят. Даже их имена не записаны — мне говорила Мария Кодама. Новичок, поступивший в монастырь, должен заниматься тяжким трудом. Он засыпает, через четверть часа его будят; он должен мести, мыть полы; если засыпает, его подвергают физическому наказанию. Он должен все время думать не о своих грехах, а о нереальности всего. Он должен постоянно упражняться, представляя себе нереальность.

Теперь перейдем к дзэн-буддизму и к Бодхидхарме. Бодхидхарма был первым миссионером в VI веке. Бодхидхарма перебрался из Индии в Китай и был принят императором, который поощрял буддизм, создавая новые монастыри и святилища. Он сообщил Бодхидхарме об увеличении числа монахов-буддистов. Тот ответил: «Все принадлежащее миру — иллюзия, монастыри и монахи столь же нереальны, как ты и я». Затем он повернулся к стене и принялся медитировать.

Учение достигает Японии и делится на различные секты. Самая известная из них — это дзэн. В дзэн был найден способ достичь просветления. Он действует после долгих лет медитаций. Просветление наступает внезапно, к нему нельзя прийти через построение ряда силлогизмов. Человек должен вдруг постичь истину. Способ называется сатори и представляет собой внезапное действие, не имеющее ничего общего с логикой.

Мы всегда рассуждаем в терминах «субъект», «объект», «причина», «результат», «логический», «алогичный», «нечто и его противоположность»; нужно выйти за пределы этих категорий. Согласно теоретикам дзэна,

истина постигается внезапным озарением, через лишенный логики ответ. Ученик спрашивает учителя, кто есть Будда. Учитель отвечает: «Кипарис — это сад». Ответ настолько алогичен, что может пробудить истину. Ученик спрашивает: почему Бодхидхарма пришел с Запада. Учитель отвечает, например: «Три фунта льна». Эти слова не содержат аллегорического смысла, это бессмысленный ответ, способный вдруг пробудить интуицию. Это может быть и удар. Ученик что-то спрашивает, а учитель отвечает ему ударом. Существует история, разумеется, легендарная, о Бодхидхарме.

Бодхидхарму сопровождал ученик, который задавал ему вопросы, а Бодхидхарма никогда не давал ему ответа. Ученик пробовал медитировать, а спустя какое-то время отсек левую руку и представил ее учителю как свидетельство того, что хочет быть его учеником. В доказательство своих намерений он нарочно искалечил себя. Учитель, не обратив внимания на его поступок, который в конце концов был действием физическим иллюзорным, спросил: «Чего ты хочешь?» Ученик ответил: «Я долгое время искал свой разум и не нашел его». Учитель сказал: «Ты не нашел его, потому что его не существует». Тут ученик постиг истину, понял, что не существует «я», что все нереально. Здесь перед нами предстает в большей или меньшей степени то, что в буддизме главное.

Очень трудно толковать религию, особенно религию, которую не исповедуешь. Я думаю, важно представлять себе буддизм не как собрание легенд, а как дисциплину; дисциплину, для нас достижимую, которая не требует аскетизма. Она позволяет не отказываться от плотской жизни. Что от нас требуется — это медитация, медитация не о совершенных грехах, а о прошлой нашей жизни.

Одна из тем для медитаций в дзэн-буддизме о том, что наша прошлая жизнь была иллюзорной. Если бы я был буддийским монахом, я бы думал сейчас, что только начинаю жить, что вся прежняя жизнь Борхеса — сон, что вся история Вселенной была сном. Путем упрощений интеллектуального порядка мы осво-

бождаемся от дзэн. Однажды, когда мы поймем, что «я» не существует, мы перестанем думать, что «я» должно быть счастливо или что наш долг сделать его счастливым. Мы достигнем спокойствия. Я не хочу этим сказать, что нирвана равна размышлению; а доказательство этого есть в легенде о Будде. Будда под священной смоковницей достиг нирваны и, однако, продолжал жить и проповедовать свою веру в течение многих лет.

Что означает достичь нирваны? Это просто значит, что наши деяния уже не отбрасывают тени. Пока мы находимся в этом мире, мы подвержены карме. Каждое наше действие определяется ментальной структурой, которая зовется кармой. Когда мы достигаем нирваны, наши действия уже не дают тени, мы свободны. Святой Августин говорил, что когда мы достигаем спасения, нам незачем думать о добре и зле. Мы творим добро, не думая о нем.

Что такое нирвана? Внимание к буддизму на Западе в большей мере привлечено этим красивым словом. Кажется невозможным, чтобы слово «нирвана» не заключало в себе нечто драгоценное. Что такое нирвана буквально? Уничтожение, угасание. Считается, что когда кто-нибудь достигает нирваны, он угасает. Но когда человек умирает, совершается великий переход в нирвану, уничтожение. Напротив, один австрийский ориенталист замечает, что Будда использует физику своего времени, и идея уничтожения была тогда иной, чем сейчас: поскольку имелось в виду пламя, говорилось об угасании, а не исчезновении. Полагали, что пламя продолжает жить, что он пребывает в другом состоянии, и слово «нирвана» не означает неизбежного уничтожения. Это может означать, что мы следуем другим путем, непостижимым для нас. Вообще метафоры мистиков знаменательны, но метафоры буддистов отличны от них. Когда идет речь о нирване, не говорится о вине нирваны или о розе нирваны, или об объятиях нирваны. Ее сравнивают, скажем, с островом. С надежным островом среди бурь. Ее сравнивают с высокой башней, с садом, с чем-то существующим отдельно от нас.

То, что я рассказал вам, отрывочно. Неразумно было

бы полагать, что учение, которому я посвятил столько лет — и в котором на самом деле не так много понял, — могло быть представлено наподобие музейного экспоната. Для меня буддизм не музейный предмет — это путь к спасению. Не для меня — для миллионов людей. Это самая распространенная религия в мире, и я надеюсь, что отнесся к ней с глубочайшим почтением, читая сегодня вечером лекцию.

Вечер пятый

ПОЭЗИЯ

Дамы и господа!

Ирландский пантеист Иоанн Скот Эриугена говорил, что Священное писание содержит бесконечное множество смыслов, и сравнивал его с развернутым павлиньим хвостом. Столетия спустя один из испанских каббалистов сказал, что Бог создал Писание для каждого из жителей Израиля, и, следовательно, существует столько Библий, сколько чтецов Библий. С этим вполне можно согласиться, если вспомнить, кто творец Библии и судеб каждого из ее чтецов. Можно счесть два эти суждения — Эриугены о переливающимся павлиньем хвосте и испанского каббалиста о множестве Библий — примерами кельтской фантазии и восточно-го вымысла. Я возьму на себя смелость сказать, что они верны не только по отношению к Писанию, но и к любой книге, достойной того, чтобы ее перечитывать.

Эмерсон называл библиотеку магическим кабинетом со множеством зачарованных духов. Они возвращаются к жизни, когда мы вызываем их; пока мы не откроем книгу, они буквально физически представляют собой том — один из многих. Когда же мы открываем книгу, когда она встречается со своим читателем, происходит явление эстетическое. И даже для одного и того же читателя книга меняется; следует добавить: поскольку мы меняемся, поскольку сами мы (возвращаясь к цитированному изречению) подобны реке Гераклита, сказав-

шего, что вчера человек был иным, чем сегодня, а сегодня — иной, чем станет завтра. Мы беспрестанно меняемся, и можно утверждать, что каждое прочтение книги, каждое ее перечитывание, каждое воспоминание о перечитывании создают новый текст. А сам текст оказывается меняющейся Гераклитовой рекой.

Так можно прийти к теории Кроче, вероятно, не самой глубокой, но, безусловно, наименее вредной, к мысли, что литература — это выразительность. А это приводит нас к другой его теории, о которой, как правило, не помнят: если литература — это выразительность, литература, оперирующая словами, то и язык — явление эстетическое. Это следует отметить — концепцию языка как эстетического явления. Теорию Кроче почти никто не признает, но все постоянно применяют.

Когда мы говорим, что испанский — звучный язык, что в английском звуки чрезвычайно разнообразны, что к неповторимому достоинству латыни стремятся все языки, возникшие позже, мы применяем к языкам эстетические категории. Ошибаются те, кто полагает, что язык соответствует действительности, тому таинственному, что именуется ею. На самом деле язык — это совсем другое.

Представим себе желтый предмет, светящийся, меняющий форму; иногда мы видим его на небе круглым, иногда он похож на серп, он то увеличивается, то уменьшается. Некто — нам никогда не узнать его имени, — наш предок, общий наш предок дал этому предмету имя «луна» в различных языках разное, в каждом по-своему удачное. Я бы сказал, что греческое слово «селена» слишком сложно для луны, а в английском moon есть нечто, придающее слову медлительность, подобающую луне, напоминающее луну, почти круглое, поскольку слово начинается едва ли не той же буквой, которой кончается. Между тем слово «луна» — прекрасное слово, унаследованное нами от латыни, прекрасное слово, общее для нашего языка и итальянского, состоит из двух слогов, двух частей; возможно, этого слишком много. Португальское lua кажется менее удачным; во французском lune кроется нечто таинственное.

Поскольку мы говорим на кастильском наречии, обратимся к слову «луна». Представим себе, что кто-то однажды придумал это слово. Почему бы нам не задуматься о первом человеке, который произнес слово «луна», звучащее так или по-другому.

Существует метафора, которую я не однажды цитировал (простите мне мои повторы, ведь моя память — это память старика семидесяти с лишним лет), персидская метафора, в которой луна именуется зеркалом времени. В выражении «зеркало времени» ощутима и хрупкость луны, и ее вечность. В нем отражено противоречие луны, почти прозрачной, почти несуществующей, мериллом которой служит вечность.

По-немецки слово «луна» мужского рода. Поэтому Ницше мог сказать, что луна — монах, который завистливо разглядывает землю, или кот, расхаживающий по звездному ковру. Грамматический род слова тоже может послужить поэзии.

«Луна» или «зеркало времени» — два эстетических явления, но последнее — явление «двухступенчатое», поскольку «зеркало времени» — словосочетание, а слово «луна», возможно, полнее воплощает идею светила. Каждое слово — это поэтическое произведение.

Принято считать, что проза ближе к реальности, чем поэзия. Мне думается, это заблуждение. Существует высказывание, приписываемое новеллисту Орасио Кироге, из которого следует, что если свежий ветер дует на рассвете, то так и следует писать: «Свежий ветер дует на рассвете». Думается, Кирога, если он это сказал, забыл, что такое построение столь же далеко от действительности, как свежий ветер, дующий на рассвете. Что мы ощущаем? Мы чувствуем движение воздуха, именуемое ветром; знаем, что этот ветер начинает дуть в определенное время, на рассвете. И из этого мы строим нечто, не уступающее по сложности стихотворению Гонгоры или фразе Джойса. Вернемся к предложению «Ветер дует на рассвете». Найдем подлежащее — ветер; сказуемое — дует; обстоятельство времени — на рассвете. Все это далеко от действительности, действительность проще. Эта фраза, очевидно прозаическая, умыш-

ленно прозаическая и обыкновенная, выбранная Кирогой, представляет собой сложное построение.

Возьмем известную строчку Кардуччи: «Молчание зеленое полей». Можно подумать, что произошла ошибка и Кардуччи поставил эпитет не на то место; следовало бы написать: «Молчание полей зеленых». Он схитрил или, следуя правилам риторики, переставил слова и написал о зеленом молчании полей. Обратимся к впечатлениям от реальности. Каковы они? Мы ощущаем множество вещей сразу (слово «вещь», пожалуй, тяжеловато). Мы ощущаем поле, огромное пространство, чувствуем зелень и тишину. И то, что существует слово для обозначения молчания, — явление эстетическое. Поскольку молчание относится к действующим объектам, молчит человек или молчит поле. Назвать «молчанием» отсутствие шума в поле — это эстетическое построение, и в свое время оно, безусловно, было дерзостью. Фраза Кардуччи — «молчание зеленое полей» — в той же мере далека от действительности или близка к ней, что и «молчание полей зеленых».

Возьмем другой известный пример нарушения порядка слов — непревзойденный стих Вергилия: «*Ibant obscuro sola sub nocte per umbram*» — «Шли незримо они одинокою ночью сквозь тени».

Оставим *per umbram*, сочетание, которым заканчивается стих, и обратимся к «шли незримо они (Эней и Сибилла) одинокою ночью» («одинокою» в латинском сильнее, так как идет перед *sub*). Можно подумать, слова перепутаны, правильнее было бы сказать: «Шли они одинокою темною ночью». Хотя если мы попробуем воссоздать образы, представим себе Энея и Сибиллу, то увидим, что в нашем воображении мало чем отличается «шли незримо они одинокою ночью» и «шли они одинокою темною ночью».

Язык — эстетическое явление. Думаю, в этом нет сомнения, а одним из доказательств служит то, что при изучении языка, когда мы рассматриваем слова вблизи, то видим, красивы они или нет. Мы как бы приближаем к слову увеличительное стекло, раздумываем, красиво ли оно, безобразно или тяжеловесно. Ничего по-

добного не происходит в родном языке, где мы не вычленим из речи отдельные слова.

Поэзия, говорит Кроче, — это выразительность, если выразителен стих, если всякая часть стихотворения, состоящая из слов, выразительна сама по себе. Вы скажете, что это расхожая мысль, известная всем. Не знаю, известна ли; мне кажется, мы считаем, что она нам известна, потому что справедлива. Дело в том, что поэзия — это не книги из библиотеки или магического кабинета Эмерсона.

Поэзия — это встреча читателя с книгой, открытие книги. Существует другой эстетический момент — когда поэт задумывает произведение, когда он открывает, придумывает произведение. Насколько я помню, в латыни слова «придумывать» и «открывать» — синонимы. Это соответствует платоновской теории, которая гласит, что открывать, придумывать — значит вспоминать. Фрэнсис Бэкон добавляет, что если обучаться — значит вспоминать, то не знать — это уметь забывать; все случается, мы только не умеем видеть.

Когда я что-то пишу, то чувствую, что это существовало раньше. Я иду от общего замысла, мне более или менее ясны начало и конец, а потом я пишу середину, но мне не кажется, что это мой вымысел, я ощущаю, что все так обстоит на самом деле. Именно так, но оно скрыто, и мой долг поэта обнаружить его.

Брэдли говорил, что поэзия оставляет впечатление не открытия чего-то нового, а появления в памяти забытого. Когда мы читаем прекрасное стихотворение, нам приходит в голову, что мы сами могли написать его, что стихотворение существовало в нас раньше. Это приводит на память Платоново определение поэзии: легкая, крылатая, священная. Легкой, крылатой, священной могла бы быть музыка (если не считать, что поэзия — род музыки). Платон сделал нечто большее, чем определил поэзию: он дал нам образец поэзии. Мы можем прийти к мысли, что поэзия — эстетический опыт; это совершенно новое в преподавании поэзии.

Я был профессором английской литературы на факультете философии и словесности университета Буэ-

нос-Айреса и пытался, по возможности, обойти историю литературы. Когда студенты спрашивали у меня библиографию, я отвечал: «Библиография не имеет значения; в конце концов, Шекспир не подозревал о существовании шекспировской библиографии». Джонсон не имел понятия о книгах, которые будут о нем написаны. «Почему не обратиться прямо к текстам? Если эти тексты доставят вам радость, прекрасно; если они вам не нравятся, оставьте их; идея обязательного чтения абсурдна, с таким же успехом можно говорить о принудительном счастье. Я полагаю, что поэзия — нечто осязаемое, и если вы не чувствуете поэзии, не ощущаете красоты, если рассказ не вызывает у вас желания узнать, что случилось дальше, этот писатель пишет не для вас. Отложите его книги в сторону, литература достаточно богата, чтобы в ней нашелся писатель, достойный вашего внимания или не привлечший вашего внимания сегодня, но которого вы прочтете завтра».

Так я учил, основываясь на эстетическом явлении, которое еще не получило определения. Эстетическое явление — это нечто столь же очевидное, столь же непосредственное, столь же неопределимое, как любовь, вкус плодов, вода. Мы чувствуем поэзию, как близость женщины, ощущаем, как утро и залив. Если мы чувствуем поэзию непосредственно, зачем развлекать ее словами, несомненно более слабыми, чем наши чувства?

Люди, слабо ощущающие поэзию, как правило, берутся преподавать ее. Я думаю, что ощущаю поэзию, и думаю, что не обучал ей; я не учил любви к тому или иному тексту; я учил своих студентов любить литературу, видеть в ней счастье. Я почти не способен к отвлеченным рассуждениям, вы уже могли заметить, что я постоянно опираюсь на цитаты и воспоминания. Не рассуждая о поэзии отвлеченно, чем можно было бы заняться от лени и скуки, мы можем взять тексты на испанском языке и рассмотреть их.

Я выбрал два очень известных текста, поскольку, как уже говорил, память моя не верна, и я предпочитаю текст, хранящийся в вашей памяти. Рассмотрим известный сонет Кеведо, написанный в память дона Педро

Тэльеса Хирона, герцога Осуны. Я прочту его медленно, а затем разберем строку за строкой.

Faltar pudo su patria al grande Osuna
pero no a su defensa sus hazañas,
diéronle muerte y cárcel las Españas
de quien el hizo esclava la Fortuna.
Lloraron sus invidias una a una
con las propias naciones las extrañas;
su tumba son de Flandres las campanas
y su epitafio la sangrienta Luna.
En sus exequias encendió al Vesubio
Parténope y Trinacria al Mongibelo,
El llanto militar creció en deluvio.
Dióle el mejor lugar Marte en su cielo;
la Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio
murmuran con dolor su desconsuelo¹.

Прежде всего я хочу отметить, что это стихотворение — слово в пользу подзащитного. Поэт защищает герцога Осуна, о котором в другом стихотворении пишет: «Умер в тюрьме, и мертвый был узником».

Поэт говорит, что герцог совершил в честь Испании ратные подвиги, а она отплатила ему узилищем. Эти доводы неполны, поскольку нет никакого объяснения тому, что герой невиновен или не может быть покаран. Однако

Faltar pudo su patria al grande Osuna,
peron no a su defensa sus hazañas;
diéronle muerte y cárcel las Españas,
de quien él hizo esclava la Fortuna

представляет собой демагогическое высказывание. Хочу сказать, что не хвалю и не ругаю сонет, а пытаюсь проанализировать его.

¹ Родине будет недоставать великого Осуны,
но ему не стали защитой его подвиги,
Испания, для которой он сделал рабой Фортуна,
дала ему тюрьму и смерть.
Плачут о нем
и свой народ и другие,
его могила — поля Фландрии,
его эпитафия — кровавый полумесяц.
На его похороны Везувий зажег
Паргенопе, а Тринакрию — Монджибело;
военный плач перерастает в потоп.
Лучшее место отвел ему Марс на небе.
Маас, Рейн, Тахо и Дунай
безутешно плачут о своей печали (*исп.*).

Lloraron sus invidias una a una
con las propias naciones les extrañas.

Эти две строки не самые поэтичные, они обусловлены формой сонета и, кроме того, необходимостью рифмы. Кеведо использовал сложную форму итальянского сонета с четырьмя рифмами. Шекспир предпочитал более легкий елизаветинский сонет с двумя рифмами. Кеведо продолжает:

его могила — поля Фландрии,
его эпитафия — кровавый полумесяц.

Это самое главное. Своим великолепием эти строчки обязаны неоднозначности. Мне вспоминается масса споров по поводу понимания этих строк. Что значит «его могила — поля Фландрии»? Можно себе представить поля Фландрии, военные походы герцога. «Его эпитафия — кровавый полумесяц» — один из самых запоминающихся испанских стихов. Что он значит? Мы думаем о кровавой луне Апокалипсиса, о красноватой луне над полем битвы, но существует еще один посвященный герцогу Осуне сонет Кеведо, в котором говорится: «A las lunas de Tracia con sangriento // eclipse ya rubrica tu jornada»¹. Кеведо имел в виду прежде всего османский флаг; кровавая луна — это красный полумесяц. Я думаю, мы согласимся не отвергать ни одно из толкований; не станем утверждать, что Кеведо повествует о военных походах, или послужном списке герцога, или о кровавой луне над полем битвы, или о турецком флаге. Кеведо не исключает разные прочтения. Стихи хороши именно неоднозначностью.

En sus exequias encendió al Vesubio.

Затем:

Partenope y Trinacria al Mongibelo.

Иначе, Везувий зажег бы Неаполь, а Этна — Сицилию. Как редко увидишь эти старинные названия, которые, кажется, очищают от наслоений знаменитые имена прошлого. И

el llanto militar creció en deluvio.

¹ «На луну Фракии кровавым затмением ложатся твои походы» (исп.).

Вот еще одно доказательство того, как различны поэзия и рациональный подход; солдаты, слезы которых образуют потоп, кажутся невероятными. Но не в стихах, где свои законы. «Военный плач», именно военный, поразителен. Военный — странное определение к слову «плач».

Затем:

Dióle el mejor lugar Marte en su cielo.

И этой строки нельзя понять, руководствуясь логикой; нет повода думать, что Марс поместит герцога Осуну рядом с Цезарем. Фраза держится на инверсии. Это пробный камень поэзии: стихотворение существует вне смысла.

la Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio
murmuran con dolor su desconsuelo.

Я назвал бы эти строки, пленявшие меня столько лет, совершенно лживыми. Кеведо пытается убедить нас, что героя оплакивают места, где он сражался, и прославленные реки. Мы чувствуем ложь, лучше было бы сказать правду, как Вордсворт, который в конце сонета порицает Дугласа за то, что тот нанес урон лесу. И говоря, что совершённое Дугласом по отношению к лесу ужасно, что он уничтожил благородное воинство, «братство почтенных деревьев», добавляет, что нас огорчает зло, самой природе безразличное, поскольку река Твид, и зеленые луга, и холмы продолжают существовать. Он чувствует, что достигнет большего эффекта, говоря правду. Действительно, нас огорчает гибель прекрасных деревьев, а самой природе это безразлично. Природа знает (если есть существо, именуемое природой), что взрастит новые деревья, что река продолжит свой бег.

Для Кеведо важна известность рек. Может быть, мысль, что рекам, на которых сражался Осуна, безразлична его гибель, была бы еще более поэтической. Но Кеведо хочет написать элегию, стихотворение о смерти человека. Что такое смерть человека? Вместе с ним умирает неповторимое лицо, как заметил Плиний. Неповторимо лицо каждого человека, вместе с ним умирают тысячи событий, тысячи воспоминаний. Воспоминания детства и человеческие, слишком человеческие

черты. Кеведо, кажется, не ощущает ничего подобного. В тюрьме умирает его друг герцог Осуна, и Кеведо пишет этот холодноватый сонет; мы чувствуем безразличие поэта. Сонет написан как выступление в пользу подзащитного против государства, заключившего герцога в тюрьму. Похоже, герцог не дорог ему; во всяком случае он не становится дорог нам. Тем не менее это один из самых замечательных испанских сонетов.

Перейдем к другому сонету, написанному Энрике Банчсом. Было бы нелепостью утверждать, что Банчс — поэт лучше, чем Кеведо. Да и есть ли смысл в таких сравнениях?

Рассмотрим сонет Банчса, в котором так видна его доброжелательность:

Hospitalario y fiel en su reflejo
donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir, esta el espejo
como el claro de la luna en penumbra.
Pompa le da en las noches la flotante
claridad de la lámpara, y tristeza
la rosa que en el vaso agonizante
también en él inclina la cabeza.
Si hace doble el dolor, también repite
las cosas que me son jardín, del alma
y acaso espera que algún día habite
en la ilusión de su azulada calma
el Huésped que le deje reflejadas
frentes juntas y manos enlazadas¹.

Это очень любопытный сонет, потому что героем его оказывается не зеркало: здесь есть скрытый герой, который под конец обнаруживается. Начнем с темы сонета, столь поэтичной: зеркало, удваивающее все видимое:

¹ Гостеприимное и верное в отражении,
где живое привычно становится кажущимся,
зеркало подобно
светлой луне в полумраке.
Плывущий свет лампы ночью
ему придает торжественность,
а грусть — роза, умирающая в вазе,
склонившая голову.
Оно удваивает печаль, и повторяет
то, что цветет в моей душе,
и, может быть, ждет, что когда-нибудь
появится в призрачной синеватой тишине
Гость, и тогда оно отразит
лица рядом и сплетенные руки (*исп.*).

donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir...

Вспомним Плотина. Хотели нарисовать его портрет, а он отказался: «Я сам тень архетипа, существующего на небе. Зачем создавать тень тени?» Искусство, полагал Плотин, вторичная видимость. Если человек столь хрупок, недолговечен, как может пленять его изображение? Это же чувствовал Банчс: он ощущал призрачность зеркала.

В самом деле, в существовании зеркал есть нечто страшное: зеркала почти всегда повергали меня в ужас. Думаю, нечто подобное ощущал По. Существует его малоизвестная работа об убранстве комнат. Он считает необходимым размещать зеркала таким образом, чтобы они не отражали сидящего человека. Это обнаруживает его страх увидеть себя в зеркале. То же мы замечаем в его рассказе «Уильям Уилсон» об отражении и в рассказе об Артуре Гордоне Пиме. Неподалеку от Антарктиды живет некое племя; человек из этого племени, впервые увидев себя в зеркале, упал, пораженный страхом.

Мы привыкли к зеркалам, тем не менее в этом видимом удвоении есть нечто пугающее. Вернемся к сонету Банчса. Определение «гостеприимный», отнесенное к человеку, оказалось бы избитым. Но нам не приходило в голову, что гостеприимными могут быть зеркала. Зеркало вбирает в себя всю тишину приветливо и смиренно:

Hospitalario y fiel en su reflejo
donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir, está el espejo
como un claro de luna en penumbra.

Мы видим зеркало, тоже блистающее, и вдобавок поэт сравнивает его с недостижимой луной. Он чувствует в зеркале нечто волшебное и странное, подобное «светлой луне в полумраке».

Затем:

Pompa le da en las noches la flotante
claridad de la lámpara...

«Плывущий свет» делает вещи нечеткими; все размыто, как в зеркале, зеркале полумрака. Очевидно, время действия вечер или ночь.

Итак:

...la flotante
claridad de la lámpara, y tristeza
la rosa que en el vaso agonizante
también en él inclina la cabeza.

Теперь перед нами на нечетком фоне роза, ясно очерченная.

Si hace doble el dolor, también repite
las cosas que me son jardín del alma
y acaso espera que algún día habite
en la ilusión de su azulada calma
el Huésped que le deje reflejadas
frentes juntas y manos enlazadas.

Здесь мы сталкиваемся с темой сонета, которая оказывается не зеркалом, а любовью, робкой, застенчивой любовью. Не зеркало ждет, что увидит приблизившиеся друг к другу лица и сплетенные руки, а поэт. Но смущение заставляет его говорить не впрямую, и это изумительно построено, потому что с самого начала возникает «гостеприимное и верное», с самого начала зеркало не из стекла или металла. Зеркало — это человеческое существо, гостеприимное и верное, и мы привыкаем к тому, что перед нами иллюзорный мир, который под конец отождествляется с поэтом. Это поэт хочет увидеть гостя, любовь.

Этот сонет по сути своей отличен от сонета Кеведо, а живое присутствие поэзии мы чувствуем в других строках последнего:

его могила — поля Фландрии,
его эпитафия — кровавый полумесяц.

Я уже говорил о языках и о том, что сравнивать один язык с другим несправедливо; по-моему, доказательств достаточно, и если нам придет в голову стихотворение, одна строфа по-испански, если мы вспомним

quién hubiera tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde Amaldos
la mañana de San Juan¹,

¹ Кто еще так счастлив
на морских волнах,
как граф Арнальдос
в день Святого Хуана (*исп.*).

то поймем, что дело не в том, как повезло кораблю, и не в графе Арнальдосе, мы почувствуем, что эти стихи могли быть сказаны только по-испански. Звучание французского не радует меня, на мой взгляд, ему не хватает полнозвучности других романских языков, но можно ли думать плохо о языке, на котором созданы такие замечательные строки, как стих Гюго: «L'hydre-Univers tordant son corps écaille d'astres»¹? Как критиковать язык, без которого не было бы подобных строк?

Недостаток английского языка видится мне в том, что он потерял открытые гласные староанглийского. Несмотря на это, он дал Шекспиру возможность написать:

And shake the yoke of inauspicion stars
From this worldweary flesh,

что в переводе звучит неудачно: «и отрясти с нашей плоти, пресытившейся миром, иго несчастливых звезд». По-испански это ничто; по-английски — все. Если бы мне пришлось выбирать язык (хотя нет никаких причин не предпочесть все сразу), это оказался бы немецкий с его способностью образовывать сложные слова больше, чем в английском, с открытыми гласными и чудесной музыкой. Что касается итальянского, достаточно «Комедии».

Никого не удивляет красота, рассыпанная по разным языкам. Мой учитель, прекрасный еврейско-испанский поэт Рафаэль Кансинос-Ассенс, рассказал мне такую молитву: «О Господи, пусть не будет так красиво», а у Браунинга встречаем: «Когда мы чувствуем себя совершенно уверенно, происходит нечто — закат солнца, финал хора Еврипида, и мы снова в растерянности».

Красота подстерегает нас. Если мы обладаем способностью чувствовать, то ощутим ее в поэзии на любом языке.

Мне следовало больше заниматься восточными литературами; я представляю их себе только по переводам. Но я ощутил воздействие их красоты. Например,

¹ «Вселенная-гибра сворачивает кольцами тело, покрытое чешуек» звезд» (*фр.*).

строка персидского поэта Хафиза: «Лечу, прах мой будет мною». Здесь заключено все учение о переселении душ — «прах мой будет мною», — я появлюсь на свет еще раз, в другом веке, буду Хафизом, поэтом. Все это выражено в нескольких словах, которые я читал по-английски, но вряд ли они сильно разнятся от персидских. «Прах мой будет мною» — сказано слишком просто, чтобы подвергнуться изменениям.

Я думаю, изучать литературу с исторической точки зрения ошибочно, хотя, возможно, для нас, и для меня в том числе, другого пути быть не может. Существует книга прекрасного, по моему мнению, поэта и плохого критика Марселино Менендеса-и-Пелайо, которая носит название «Сто лучших испанских стихотворений». Мы прочтем в ней: «*Ande yo caliente y ríase la gente*»¹. Если это одно из лучших стихотворений, то каковы те, что похуже. Но в этой книге мы видим стихи Кеведо, которые я цитировал, и «Послание» севильского анонима, и множество других замечательных стихов. К сожалению, нет ни одного стихотворения Менендеса-и-Пелайо, себя в свою антологию не включившего.

Красота существует везде и, возможно, всегда. Мой друг Рой Бартоломью, который провел несколько лет в Персии и переводит Хайяма прямо с фарси, сообщил мне то, что я и предполагал: что на Востоке в целом не изучают ни литературу, ни философию с исторической точки зрения. Именно это поражало Дейссена и Макса Мюллера, которые не могли составить хронологического списка авторов. История философии изучается как, — скажем, если бы Аристотель вел диспуты с Бергсоном, Платон с Юмом, — все одновременно.

В заключение мне хочется привести три молитвы финикийских моряков. Когда корабль уже почти уходит под воду — дело происходит в первом веке нашей эры, — они читают одну из трех молитв. Первая звучит так: «Мать Карфагена, возвращаю весло». Мать Карфагена — это город Тир, откуда родом Дидона. Затем — «возвращаю весло». Это необыкновенно. Финики-

¹ Если я хожу сердитый, все кругом хохочут (*исп.*).

еще видит жизнь только как гребец. Его жизнь окончена, и он возвращает весло, чтобы продолжали грести другие.

Другая молитва, еще более волнующая: «Засыпаю, затем снова примусь грести». Человек не представляет судьбы и приближается к мысли о циклическом времени.

И, наконец, последняя, в высшей степени трогательная, она отличается от других, поскольку в ней нет принятия судьбы; это отчаянный шаг человека, который должен умереть и предстать перед судом ужасных богов. Он говорит: «Бог, суди меня не как бог, а как человек, которого поглотило море».

В этих трех молитвах мы непосредственно чувствуем — или я чувствую — присутствие поэзии. Именно в них эстетическое явление, а не в библиотеках и библиографиях и не в изучении множества рукописей или труднейших томов.

Я прочел три молитвы финикийских моряков из рассказа Киплинга «The manner of Men»¹, рассказа о Святом Павле. Подлинны ли они, по не слишком удачному выражению, или их написал Киплинг, великий поэт? Задав вопрос, я почувствовал неловкость: разве есть смысл выбирать? Рассмотрим обе возможности, обе части дилеммы.

В первом случае речь идет о молитвах финикийских моряков, людей моря, которые представляли себе жизнь лишь в море. Из финикийского языка, скажем, они перешли в греческий, оттуда — в латынь, из латыни — в английский. Киплинг их заново написал.

Во втором случае большой поэт Редьярд Киплинг воображает финикийских моряков, каким-то образом сближается с ними, становится ими. Он представляет себе жизнь как жизнь моря и вкладывает в уста моряков эти молитвы. Все ушло в прошлое: безымянные моряки умерли, Киплинг умер. Какая разница, кто из призраков написал и придумал эти стихи?

Любопытная метафора индусского поэта — не знаю, смог ли я вполне оценить ее, — гласит: «Гималаи, вы-

¹ «Род человеческий» (англ.).

сокие горы Гималаи (вершины которых, по словам Киплинга, колени других гор), Гималаи — это улыбка Шивы». Высокие горы — улыбка бога, грозного бога. Метафора, по меньшей мере, поразительная.

Я чувствую красоту физически, как нечто осязаемое, всем телом. Это не следствие рассуждений, мы не постигаем красоту по законам, мы ощущаем ее или не ощущаем.

Я хочу закончить строчкой старых стихов поэта XVI века, выбравшего себе необыкновенно поэтическое имя Ангеус Силезиус. Эта строка будет итогом всего сказанного сегодня вечером, если не считать моих рассуждений или как бы рассуждений; я произнесу ее сначала в переводе, а затем по-немецки, чтобы вы услышали:

— Роза не спрашивает «почему», она цветет, потому что цветет: «Die Rose est ohne warum; sie blühet weil sie blühet».

Вечер шестой

КАББАЛА

Дамы и господа!

В основе различных, а иногда противоречащих друг другу теорий, известных под названием каббалы, лежит понятие, совершенно чуждое нашему западному мышлению, — понятие священной книги. Считается, что у нас существует подобное понятие — классическая книга. Думаю, мне несложно будет показать, прибегнув к помощи Освальда Шпенглера и его книги «Закат Европы», что эти понятия совершенно различны. Возьмем слово «классический». Какова его этимология? «Классический» восходит к слову «classis» — «фрегат», «эскадра». Классическая книга — приведенная в порядок, оснащенная, «shipshare», как говорят англичане. Наряду с этим скромным значением классическая книга обозначает выдающуюся в своем роде. Так мы называем «Дон Кихота», «Комедию», «Фауста» классическими произведениями.

Несмотря на то, что культ этих книг почти беспределен, само понятие иное. Греки считали классикой «Илиаду» и «Одиссею». Александр, по словам Плутарха, всегда держал под подушкой меч и «Илиаду» — два символа своей воинской судьбы. Однако никто из греков не считал, что «Илиада» совершенна в каждом своем слове. В Александрии библиотекари собирались, чтобы изучать «Илиаду», и в ходе изучения придумали столь необходимые знаки препинания (которые сейчас, к сожалению, забыты). «Илиада» была выдающейся книгой, ее считали вершиной поэзии, но при этом не думали, что каждое слово, каждая строка в ней превосходны. Это совершенно другой подход.

Гораций говорит: «Иногда и Гомер дремлет». Но никто не скажет, что иногда спит и Святой Дух.

Не касаясь богини, английский переводчик передаст слова Гомера: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» как «An angry man, this is my subject», относясь к тексту не как к книге, непревзойденной в каждой букве, а как к чему-то изменяемому, рассматривает его с исторической точки зрения; классические произведения изучались и изучаются в историческом плане, они находятся в контексте. Понятие священной книги совершенно иное.

Сейчас мы рассматриваем книгу как инструмент, пригодный, чтобы оправдать, защитить, опровергнуть, развить или обосновать теорию. В античности считалось, что книга — суррогат устной речи, к ней относились только так. Вспомним фрагмент из Платона, где он говорит, что книги подобны статуям; они кажутся живыми, но если их спросить о чем-то — не могут ответить. Чтобы преодолеть это, он придумал платоновский диалог, исчерпывающий все возможности темы.

Нам известно еще и письмо, очень красивое и очень любопытное, которое, согласно Плутарху, Александр Македонский послал Аристотелю. Аристотель только что опубликовал «Метафизику», то есть распорядился сделать с нее копии. Александр порицал его, говоря, что теперь всем будет известно то, что раньше знали лишь избранные. Аристотель оправдывается, без сомнения, искренне: «Мой трактат опубликован и не опубли-

кован». Считалось, что книга не исчерпывает тему полностью, ее рассматривали как некий справочник, дополнение к устному обучению.

Гераклит и Платон по различным поводам критиковали произведение Гомера. Подобные книги окружены почетом, но не считаются священными. Это специфически восточное понятие.

Пифагор не оставил ни одной написанной строчки. Полагают, что он не стремился связать себя текстом. Он хотел, чтобы его мысль продолжала жить и развиваться в размышлениях его учеников. Отсюда идет выражение «Magister dixit», которое всегда употребляется неправильно. «Magister dixit» не означает «так сказал учитель», и диспут окончен. Пифагореец излагал теорию, которая, возможно, не в традиции Пифагора, например, теорию циклического времени. Ему возражали: «Это не в традиции». Он отвечал: «Magister dixit», что позволяло ему вводить новое. Пифагор думал, что книги сковывают его или, говоря словами Писания, что буква убивает, а лишь дух животворит.

Шпенглер в главе книги «Закат Европы», посвященной магической культуре, замечает, что прототипом магической книги является Коран. Для улемов, мусульманских богословов, Коран не такая книга, как другие. Эта книга предшествует арабскому языку (невероятно, но именно так); ее нельзя изучать ни в историческом, ни в филологическом плане, поскольку она старше арабов, старше языка, на котором написана, старше Вселенной. Коран даже не считается творением Бога, это что-то более близкое и таинственное. Для правоверных мусульман Коран — такой же атрибут Бога, как Его гнев, Его милосердие или Его справедливость. В самом Коране говорится о таинственной книге, матери книги, представляющей собой архетип Корана, который находится на небе и которому поклоняются ангелы.

Таково понятие священной книги, в корне отличное от понятия книги классической. В священной книге священны не только слова, но и буквы, из которых они составлены. Такой подход применяют каббалисты при изучении Писания. Я полагаю, что *modus operandi*¹ каб-

¹ Способ действия (*лат.*).

балистов обусловлен желанием ввести философию гностиков в иудейскую мистику, чтобы сослаться на Писание, чтобы оставаться правоверными. Во всяком случае, легко увидеть (мне, наверное, не стоило бы употреблять этот глагол), каков есть и был *modus operandi* каббалистов, начавших заниматься своей удивительной наукой на юге Франции, на севере Испании — в Каталонии, а затем — в Италии, Германии и в других странах. Они дошли до Израиля, но учение идет не оттуда, оно ведет начало от мыслителей гностиков и катаров.

Мысль такова: Пятикнижие, Тора — священная книга. Бесконечный разум снизошел к человеческой задаче создать книгу. Святой Дух снизошел до литературы, что столь же невероятно, как предположение, что Бог снизошел до того, чтобы быть человеком. Но именно снизошел, в самом прямом смысле. Святой Дух снизошел до литературы и создал книгу. В такой книге не может быть ничего случайного, тогда как во всем, что написано людьми, что-то случайное есть.

Известно благоговение, которое вызывают «Дон Кихот», «Макбет» или «Песнь о Роланде» и многие другие книги, чаще всего одна у каждого народа, исключая Францию, литература которой так богата, что насчитывает по крайней мере два классических произведения, — но оставим это.

Ну хорошо, если какому-нибудь филологу-сервантесоведу случится сказать, что «Дон Кихот» начинается со слова, состоящего из одной буквы (в), затем следует слово из восьми букв (скромной) и два, содержащие по девять букв (деревушке, провинции), из чего он вознамерится сделать выводы, его тут же сочтут безумным. Библия же изучается именно таким образом.

Например, говорится, что она начинается с «bet», первой буквы слова *breshit*. Почему начинается с «bet»? Потому что эта начальная буква в еврейском языке означает то же, что начальная в слове *bendición*¹ в испанском, а текст не может начинаться с буквы, которая соответствует проклятию; он должен начинаться с бла-

¹ Благословение (*исп.*).

гословения. «Веб» — первая буква еврейского слова *braja*, означающего благословение.

Есть еще одно обстоятельство, чрезвычайно интересное, которое должно было оказать влияние на каббалу: Бог, чьи слова были орудием его трудов (как считает замечательный писатель Сааведра Фахардо), создал мир при помощи слов; Бог сказал: «Да будет свет» — и стал свет. Из этого можно сделать вывод, что мир был создан при помощи слова «свет» или интонации, с которой Бог произнес слово «свет». Если бы было произнесено другое слово и с другой интонацией, результатом был бы не свет, а что-то другое.

Мы пришли к мысли, столь же невероятной, как та, о которой я говорил перед этим, к мысли, которая поражает наш западный разум, во всяком случае, мой, и о которой я должен рассказать. Размышляя о словах, мы считаем, что слова прежде произносились, затем стали изображаться письменно. Напротив, каббала (означающая «предание», «традицию») предполагает, что прежде существовали буквы. То есть, будто бы, вопреки опыту, письменность предшествует устной речи. Тогда в Писании нет ничего случайного: все должно быть predetermined. Например, количество букв каждого стиха.

Затем каббалисты изыскивают буквенные соответствия. Писание рассматривается как зашифрованное, криптографическое письмо, создаются новые законы его прочтения. Можно взять любую букву Писания и, рассматривая ее как начальную букву другого слова, читать это другое обозначенное слово. Так можно поступить с любой буквой текста.

Могут быть созданы два алфавита: один, например, от *a* до *l* и другой от *l* до *z* или от *и* до соответствующих еврейских букв; считается, что буквы первого соответствуют буквам второго. Тогда можно читать текст способом бустрофедон (если называть его по-гречески), то есть справа налево, затем слева направо, затем справа налево. Можно придать буквам цифровые обозначения. Все это образует тайнопись, может быть расшифровано, и результаты исполнены значения, потому что были провидены бесконечным божественным разумом.

Таким образом через эту криптографию, через действия, приводящие на память «Золотого жука» По, приходят к учению.

Я полагаю, что учение возникло раньше, чем *modus operandi*. Думаю, что с каббалой произошло то же, что с философией Спинозы: математический порядок оформился позже. Думаю, что каббалисты испытали влияние гностиков и, будучи связаны с древнееврейской традицией, изыскивали этот удивительный способ расшифровывать буквы.

Modus operandi каббалистов основан на логической предпосылке, на мысли, что Писание — текст совершенный и не может содержать ничего случайного.

Совершенных текстов нет, во всяком случае, среди текстов, созданных человеком. В прозе большее внимание уделяется значению слов, в стихах — звучанию. Как в тексте, созданном Святым Духом, предположить слабость, недосмотр? Все должно быть предопределено. Эта предопределенность лежит в основе учения каббалистов.

Если Священное Писание не бесконечно, чем же оно отличается от произведений человеческих, какова разница между Книгой Царств и учебником истории, Песнью Песней и поэмой? Следует предположить, что все они имеют бесконечное множество значений. Скот Эригун говорил, что число значений Библии бесконечно, сравнивая ее с переливающимся павлиньим хвостом.

По другому толкованию, в Писании четыре значения. Система выглядит следующим образом: в начале — существо, схожее с Богом Спинозы, с той разницей, что Бог Спинозы бесконечно богат, напротив, Эн-соф предстает перед нами бесконечно бедным. Речь идет о первичном существе, о нем нельзя говорить «существует», потому что существуют звезды, люди, муравьи. Как мы можем принадлежать к одной категории? Нет, это первичное существо не существует. Нельзя сказать, что оно мыслит, поскольку мышление — логический процесс, идущий от посылки к выводу. Нельзя сказать и что ему чего-то хочется, так как хотеть чего-либо — значит ощущать нехватку этого. И нельзя сказать, что оно созидает. Эн-соф не создает,

поскольку созидать — значит наметить цель и достичь ее. Кроме того, если Эн-соф бесконечен (различные каббалисты сравнивают его с морем, символом бесконечности), как он может желать чего-то другого? И что другое может он создать, кроме как другое бесконечное существо, которое смешается с ним? Поскольку, к несчастью, неизбежно сотворение мира, существует десять эманаций, сефироты, которые исходят от него, но не являются более поздними, чем он.

Идея вечного существа, от которого всегда исходят десять эманаций, сложна для понимания. Эти десять эманаций исходят одна от другой. В тексте написано, что они соответствуют десяти пальцам рук. Первая эманация носит название Венец, и ее можно сравнивать с лучом света, исходящим от Эн-соф, лучом, не уменьшающим его: бесконечное существо не может стать меньше. От Венца исходит следующая эманация, от нее другая, от нее еще одна, и так до десяти. Каждая эманация делится на три части. Первая из них служит для связи с высшим существом; другая, основная, выражает суть; третья служит для связи с низшей эманацией.

Десять сефирот образуют человека по имени Адам Кадмон, это человек-архетип. Адам Кадмон находится на небесах, и мы представляем собой его отражение. Этот человек, образованный десятью эманациями, излучает один мир, другой и так до четвертого. Третий — это наш материальный мир, а четвертый — ад. Все они заключены в Адаме Кадмоне, который охватывает человека и его микрокосм, все.

Речь идет не об экспонате музея истории философии, думаю, что у этой системы есть применение: она может послужить нашим размышлениям, попыткам понять Вселенную. Гностики предшествовали каббалистам на несколько веков; у них была подобная система, предполагавшая неопределимого Бога. Этот Бог, называемый Плетом (Цельность), излучает другого Бога (я следую еретической версии Ириней), а этот Бог — еще одну эманацию, та — следующую, и каждая из них образует небо (целая башня эманаций). Доходим до числа 365, поскольку здесь вмещается астрология. Когда

мы доходим до последней эманации, мы встречаем Бога по имени Иегова, который создает этот мир. Почему мир, созданный им, полон ошибок, ужаса, грехов, физической боли, полон чувства вины, полон преступлений? Божественность идет на убыль, и Иегова создает мир, склонный к ошибкам.

Ту же схему повторяют десять сефирот и четыре создаваемые ими мира. Эти десять эманаций по мере удаления от Эн-соф, от бесконечного, тайного «тайных» — как на своем образном языке говорят каббалисты — теряют силу и именно таким путем создают этот мир. Мир, в котором живем мы, совершая множество ошибок, готовые к несчастьям и к мимолетной удаче. Эта мысль не абсурдна; мы оказались перед вечной проблемой зла, великолепно изложенной в книге Иова, величайшем, по мнению Фрейда, произведении всей мировой литературы.

Вспомните историю Иова. Это человек праведный, подвергшийся гонениям, человек, который хочет оправдаться перед Господом, человек, осуждаемый друзьями, человек, надеющийся на справедливость; наконец Господь отвечает Иову из бури. Он говорит, что далек от человеческих мерок. Чтобы подтвердить это, Он приводит в пример созданных Им бегемота и кита. Мы должны ощутить, замечает Макс Брод, что бегемот, «Bege moth» («звери»), так огромен, что носит имя во множественном числе, а Левиафан может быть одним из двух животных — крокодилом или китом. Бог говорит, что он столь же непостижим, как эти чудовища, и не может быть измерен людскими мерками.

К этой же мысли приходит Спиноза, говоря, что когда человек придает Богу людские свойства, это все равно как если бы треугольник считал Бога в высшей степени треугольным. Говорить, что Бог справедлив, милосерд — такое же проявление антропоморфизма, как утверждение, что у Бога есть лицо, глаза или руки. И вот у нас высшее Божество и эманации низшего порядка. «Эманации» кажется подходящим словом, потому что Бог не может быть виноват; потому что, как

говорил Шопенгауэр, виноват не король, а министры, и потому что эти эманации создают наш мир.

Существует несколько попыток оправдать зло. Начну с классического определения теологов, утверждающих, что зло — отрицание и что сказать «зло» означает просто констатировать отсутствие добра; такое оправдание каждому чувствующему человеку явно покажется ложным. Любая физическая боль не менее, а, возможно, более живое ощущение, чем любое наслаждение. Несчастье — это не отсутствие счастья, не его отрицание; когда нам плохо, мы ощущаем присутствие несчастья.

Существует доказательство Лейбница, очень изящное, но столь же ложное, в защиту существования зла. Вообразим две библиотеки. Одна состоит из тысячи экземпляров «Энеиды», которая считается совершенной книгой и, возможно, таковой и является. В другой библиотеке — тысячи книг разного достоинства, и среди них том «Энеиды». Какая из библиотек лучше? Разумеется, вторая. Лейбниц приходит к выводу, что зло необходимо для разнообразия мира.

Другой обычно приводимый пример — это пример с картиной, прекрасной картиной, скажем, Рембрандта. Темные места на полотне соответствуют злу. Лейбниц, очевидно, забывает, приводя в пример полотна и книги, что одно дело, если в библиотеке есть плохие книги, а другое — быть такой книгой. Если мы из таких книг, то обречены аду.

Не все способны на экстаз — не знаю, способен ли я, — Киркегора, который сказал, что если для разнообразия мира необходимо, чтобы в аду была одна-единственная душа, и эта душа — его, он воспевает из глубин ада хвалы Всемогущему.

Не знаю, легко ли так чувствовать; не знаю, продолжал бы Киркегор думать так же после нескольких минут, проведенных в аду. Но мысль, как видите, относится к главной проблеме — проблеме существования зла, которую гностики и каббалисты решали одинаково.

Они решили ее, говоря, что Вселенная — творение несовершенного божества, чья божественность близка к

нулю. То есть бога, а не Бога, бога, стоящего намного ниже Бога. Не знаю, может ли наш разум иметь дело с такими неопределенными понятиями, как Бог, Божественность или с теорией Василида, теорией гностиков о 365 эманациях. Однако мы можем принять идею несовершенного божества — божества, которое должно слепить этот мир из неподходящего материала. Здесь мы приходим к мысли Бернарда Шоу, сказавшего: «Бог создается сейчас». Бог не принадлежит прошлому, возможно, не подлежит настоящему; Бог — это Вечность. Бог может быть будущим; если мы благородны, разумны, светлы, мы помогаем созданию Бога.

В «Вечном огне» Уэллса сюжет и герой заставляют вспомнить книгу Иова. Под действием наркоза герою видится бедно оборудованная лаборатория, в которой работает старик. Это Бог; он выглядит раздосадованным. «Я делаю все, что могу, — говорит он, — но вынужден работать с очень трудным материалом». Зло — неподатливый материал Бога, а добро — это доброта. Но добро в конечном счете должно победить и побеждает. Не знаю, верим ли мы в прогресс, думаю, что да, во всяком случае, в генетическую спираль — мы идем вперед и возвращаемся, но в итоге становимся лучше. Можно ли говорить так в нашу жестокую эпоху? И сейчас берут в плен и сажают в тюрьмы, возможно, в концентрационные лагеря, но все-таки берут в плен. Во время Александра Македонского было естественным, что войско победителей убивало всех побежденных и разоряло дотла захваченный город. Может быть, мы стали и разумнее. Скромный пример этого — наш интерес к тому, что думали каббалисты. Наш разум открыт, и мы готовы изучать не только разумность одних, но и глупость других, и суеверия третьих. Каббала годна не только для музея, она представляет собой род метафоры мышления.

Сейчас мне хотелось бы сказать об одном из мифов, об одной из самых любопытных легенд каббалы — о големе, вдохновившем Мейринка на известный роман, а меня — на стихотворение. Бог взял комок земли

(«Адам» означает «красная земля»), вдохнул в нее жизнь и создал Адама, который для каббалистов стал первым големом. Он был создан божественным словом, дыханием жизни; поскольку каббала считает, что все Пятикнижие — имя Бога, где переставлены буквы, то есть кто-нибудь владеет именем Бога или узнает Тетраграмматон — имя Бога, состоящее из четырех букв, — и сумеет правильно произнести его, тот сможет создать мир и создать голема-человека.

Легенды о големе превосходно использованы Гершомом Шолемом в «Символике каббалы», которую я только что прочел. Я думаю, что это наиболее понятная книга по теме, так как убедился, что почти бесполезно искать оригинальные источники. Я прочел замечательный и, думаю, что правильный, перевод (еврейского я, конечно, не знаю) «Сефер Йецира», или Книги Творения, сделанный Моше де Леоном. Я прочитал перевод «Зогар», или Книги Сияния. Но эти книги написаны не для того, чтобы научить каббале, а чтобы внушить ее, чтобы изучающий каббалу мог читать их и ощущать, как они укрепляют его. Они не говорят всей правды, так же, как опубликованные и в то же время не опубликованные трактаты Аристотеля.

Вернемся к голему. Один раввин узнает или открывает секрет имени Бога и произносит его над глиняной человеческой фигурой, оживляя ее, и нарекает свое создание големом. По одной из версий легенды, раввин пишет на лбу голема слово ЕМЕТ, означающее истину. Голем начинает расти. Наступает момент, когда господин не может дотянуться до него. Он просит голема завязать ему башмаки. Голем наклоняется, и раввину удается стереть первую букву слова ЕМЕТ. Остается МЕТ — смерть. Голем обращается в пыль.

По другой легенде, раввин или несколько раввинов создали голема и отослали его к другому раввину, тоже способному создать голема, но чуждому подобной суетности. Раввин обращается к голему, но тот не отвечает, так как лишен способности понимать и говорить. Рав-

вин изрекает: «Ты, создание магов, стань снова пылью». Голем разваливается.

Наконец, еще одна легенда, рассказанная Шоломом. Множество учеников (один человек не может изучить и понять Книгу Творения) сумели создать голема. Он появляется на свет с кинжалом в руках и умоляет своих создателей убить его, поскольку, если он будет жить, ему могут начать поклоняться как идолу. Для Израиля, как и для протестантизма, идолопоклонство — один из тяжчайших грехов. Ученики убивают голема.

Я пересказал несколько легенд, и хочу вернуться к теории, которая кажется мне достойной внимания. В каждом из нас есть частичка божественного. Этот мир, как очевидно, не является творением Бога всемогущего и справедливого, он зависит от нас. Этому нас учит каббала, далекая от того, чтобы служить объектом изучения историков или лингвистов. Как известное стихотворение Гюго «*Cela dit la bouche d'ombre*»¹, каббала учит теории, которую греки называли *apokatastasis* и согласно которой все создания, вплоть до Каина и дьявола, после долгих превращений сольются с божеством, от которого когда-то отделились.

Вечер седьмой

СЛЕПОТА

Дамы и господа!

В ходе своих многочисленных, даже слишком, лекций я замечал, что слушатели отдают предпочтение личному перед общим, конкретному перед абстрактным.

Поэтому я начну со своей собственной скромной слепоты. Скромной в прямом смысле, потому что полностью ослеп один глаз, а другой немного видит. Я еще в состоянии различить некоторые цвета, еще могу выделить зеленый и голубой. Мне не изменил желтый

¹ «Что поведала тень» (фр.).

цвет. Помню, как в детстве (если бы моя сестра была здесь, она вспомнила бы то же самое) я останавливался у клеток тигра и леопарда в зоопарке Палермо. Я замирал перед золотой с черным окраской тигров; и по сей день желтый цвет не оставил меня. Я написал стихотворение «Золото тигров», в котором сознаюсь в этой приверженности.

Мне хочется рассказать о явлении, которое обычно оставляют без внимания, не знаю, для всех ли оно характерно. Принято считать, что слепой погружен во мрак. У Шекспира есть строка, подтверждающая это мнение: «Looking on darkness which the blind do see» — «Глядя во тьму, видимую и слепому». Если понимать тьму как черноту, шекспировский стих неверен.

Один из цветов, которых лишены слепые (во всяком случае, слепой, который перед вами), — черный; другой — красный. «Le rouge et le noir» — «цвета, которых нам не хватает». Мне, привыкшему засыпать без света, долгое время было трудно погрузиться в сон в этом мире тумана, в мире слабо светящегося зелено-голубого тумана, в котором живет слепой. Хотелось оказаться в полной темноте. Красный видится мне похожим на коричневый. Мир слепого — это не ночь, как обычно думают. Во всяком случае, я говорю от своего имени, от имени отца и бабушки, которые окончили свои дни слепыми — слепыми улыбающимися, мужественными, каким хотелось бы умереть и мне. По наследству передается многое (скажем, слепота), но не мужество. Они были мужественны, я знаю.

Слепой живет в довольно неудобном мире — мире неопределенном, где вдруг возникает какой-то цвет: у меня это желтый, голубой (который, правда, может оказаться зеленым), зеленый, который может оказаться голубым. Что же касается красного, он исчез совершенно, но я надеюсь, что когда-нибудь (я прохожу курс лечения) выздоровею и смогу увидеть этот великолепный цвет, блистающий в поэзии, который так красиво называется на многих языках. Вспомним немецкое *Scharlach*, английское *scarlet*, французское *écarlate*. Эти названия достойны великого цвета. Напротив, *amarillo*

(желтый) в испанском языке звучит слабо; английское yellow настолько схоже с amarillo, что, думаю, в староиспанском существовала форма amariello.

Я живу в мире, где цвета существуют, и хотел бы сказать, что если я говорю о своей собственной скромной слепоте, то делаю это потому, что она не абсолютная, как обычно думают, и, во-вторых, потому, что речь идет обо мне. Мой случай не так уж трагичен. Трагичны судьбы тех, кто теряет зрение внезапно; в моем случае эти медленные сумерки, эта постепенная потеря зрения началась с моего рождения. С 1899 года более полувека без особого драматизма длится этот сгущающийся полумрак.

Для этой лекции мне нужно было припомнить моменты трогательные. Скажем, когда я узнал, что потерял зрение, зрение человека пишущего и читающего. Почему не назвать дату столь памятную — 1955 год. Я говорю не о знаменитых сентябрьских ливнях, а о своих обстоятельствах.

За свою жизнь я получил множество незаслуженных почестей, но ни одна из них не обрадовала меня больше, чем назначение на пост директора Национальной библиотеки. По причинам, скорее, политического, чем литературного, характера, я был назначен на этот пост Освободительной революцией.

Став директором библиотеки, я возвратился в дом на улице Мехико в квартале Монсеррат, в южной части города, в дом, о котором я хранил столько воспоминаний. Я никогда не мечтал о возможности стать директором библиотеки, и воспоминания мои были совсем иного рода. По вечерам мы приходили сюда с отцом. Отец мой, профессор психологии, просил книгу Бергсона или Уильяма Джеймса, своих любимых авторов, или Густава Шпиллера. Я был слишком робок, чтобы попросить книгу, и брал какой-нибудь том Британской энциклопедии или немецких энциклопедий Брокгауза или Майера. Я выбирал том наугад, клал на полку сбоку и читал.

Помню вечер, когда я чувствовал себя получившим подарок, подарок букв dr; мне попались три статьи: о

друзьях, друзьях и Драйдене. Бывали вечера менее удачные. Кроме того, я знал, что в этом доме находится Груссак; я мог познакомиться с ним, но был тогда, могу признаться, слишком робок — почти так же, как теперь. Тогда мне казалось, что робость имеет значение, а сейчас я знаю, что это одно из зол, которые человеку надо стараться преодолеть, что на самом деле робость не имеет значения, как и многое другое, что люди склонны считать очень важным.

Я получил назначение на пост в конце 1955 года; вступив в должность, спросил о количестве томов, и мне ответили, что их миллион. Впоследствии я узнал, что книг девятьсот тысяч, число более чем достаточное (возможно даже девятьсот тысяч производит большее впечатление, чем миллион: девятьсот тысяч; миллион же звучит слишком коротко).

Со временем мне стала очевидна удивительная ирония происшедшего. Я всегда воображал Рай чем-то наподобие библиотеки, как некоторым он представляется садом или дворцом. И вот я оказался в нем. Здесь были собраны девятьсот тысяч томов на разных языках. Я убедился, что едва разбираю надписи на переплетах и корешках. Тогда я написал «Стихотворение о дарах», которое начинается так:

Упреком и слезой не опорочу
тот высший смысл и тот сарказм глубокий,
с каким неподражаемые боги
доверили мне книги вместе с ночью ¹.

Эти дары взаимоисключают друг друга: множество книг и ночь, невозможность читать их.

Мне представлялось, что это стихотворение написал Груссак, поскольку он тоже был директором библиотеки и тоже был слеп. Груссак оказался более стойким, чем я: он хранил молчание. Но я думаю, в наших судьбах были схожие моменты, потому что оба мы лишились зрения и оба любили книги. Написанное им намного выше того, что написал я. Но в конечном счете мы оба связаны с литературой и оба ведали библиотекой с не-

¹ Перевод Б. Дубина.

досягаемыми книгами. Можно сказать, с книгами без букв, с чистыми страницами для наших незрячих глаз. Я писал об иронии Бога и под конец спросил себя, кто из нас написал стихотворение, где «я» подходит обоим, а темнота одна на двоих.

Тогда я не знал, что Хосе Мармоль, еще один директор библиотеки, тоже был слеп. Здесь появляется число три, снимающее вопросы. Два — не более чем совпадение, а три — утверждение божественное или теологическое. Мармоль был директором библиотеки, когда она располагалась на улице Венесуэлы.

Сейчас принято говорить о Мармоле плохо или не упоминать о нем вовсе. Но стоит вспомнить, что когда мы говорим «времена Росаса», то в первую очередь вспоминаем не замечательную книгу Рамоса Мехии «Росас и его время», а изображение этого периода, написанное с великолепной иронией Хосе Мармолем в романе «Амалия». Он дал описание эпохи, не лишенной славы, я был бы рад создать нечто похожее. Действительно, когда мы говорим «времена Росаса», то вспоминаем тиранов, описанных Мармолем, сборища в Палермо, беседы одного из министров тирана с Солером.

Итак, у нас оказалось три человека с одинаковой судьбой. И радость вернуться в квартал Монсеррат. Для всех жителей Буэнос-Айреса Юг каким-то образом оказывается сокровенным центром города. Не центром парадным для показа туристам (в те времена квартал Сан-Тельмо еще не был так популярен). Юг был по-тайной сердцевиной Буэнос-Айреса.

Когда я думаю о Буэнос-Айресе, то прежде всего — о городе, который знал ребенком: небольшие дома, дворики, арки, черепахи в водоемах, решетчатые окна — таким раньше был весь Буэнос-Айрес. Сейчас это сохранилось лишь в южной его части, так что я чувствовал, что возвращаюсь в жилище своих предков. Когда я понял, что окружен книгами, названия которых вынужден спрашивать у друзей, мне вспомнилась фраза Рудольфа Штейнера в книге об антропософии (как он называл теософию). Он сказал, что когда что-то подходит к концу, следует помнить, что начинается что-то

новое. Совет полезный, хотя и трудновыполнимый, поскольку что мы теряем — известно, а что приобретаем — нет. У нас есть сложившееся, иногда преувеличенное впечатление об утраченном, но мы не знаем, что произойдет, что случится взамен.

Я принял решение. Я сказал себе: утрачен дорогой мир видимого; я должен сотворить иной вместо зримого мира, навсегда утерянного. Я подумал о некоторых стоявших в доме книгах. Я преподавал в нашем университете английскую литературу. Как я мог обучать этой неисчерпаемой литературе, на которую, без сомнения, может уйти жизнь не одного поколения?

Я делал все, что было в моих силах, чтобы научить любви к этой литературе, по возможности избегая дат и имен. Как-то ко мне пришли несколько студентов сдавать экзамен и успешно сдали его (все мои ученицы сдавали мне экзамены успешно, я всегда старался не устраивать переэкзаменовок; за десять лет мне пришлось переэкзаменовать лишь трех студентов, которые настояли на этом). Я сказал девушкам (их было девять или десять): «Мне пришла в голову мысль — теперь, когда вы сдали экзамен, а я выполнил свой долг преподавателя, не начать ли нам заниматься языком и литературой, которых мы почти не знаем?» Они спросили, о каком языке и литературе я говорю: «Ну, конечно, об английском языке и английской литературе. Давайте начнем заниматься теперь, когда мы освободились от суетности экзаменов, начнем с самого начала».

Я вспомнил, что дома хранились две книги, которые следовало переставить, они стояли высоко на полках — я не думал, что когда-либо обращусь к ним. Это были «Anglo-Saxon Reader» Суита и «Англосаксонская хроника». Каждая снабжена глоссарием. Однажды утром мы собрались в Национальной библиотеке.

Я думал о том, что утратил видимый мир, а сейчас хочу обрести другой — мир своих далеких предков, тех племен, тех людей, что пересекли на веслах бурные северные моря, отправившись из Дании, Германии и Нидерландов завоевывать Англию; они называли ее Ан-

глией, а раньше земля англов (England) звалась землей бриттов, которые были кельтами.

Субботним утром мы собрались в кабинете Груссака и начали читать. Одно обстоятельство обрадовало нас, и взволновало, и наполнило некоторой гордостью. Дело в том, что саксы, как и скандинавы, употребляли две рунические буквы для обозначения звуков th — как в слове thing, так и в слове the. Это делало страницу таинственной. Я записал эти буквы на грифельной доске.

Мы обнаружили, что язык отличается от английского и похож на немецкий. То, что всегда случается при изучении языка, произошло. Каждое слово выделяется резко, как выравненное, как если бы оно было талисманом. Поэтому стихи на чужом языке производят большее впечатление, чем на родном: мы вслушиваемся, всматриваемся в каждое слово, думаем об их красоте, об их силе или просто об непохожести. В это утро нам повезло. Мы обнаружили фразу: «Юлий Цезарь был первым из римлян, кто открыл Англию». То, что мы встретили римлян в северном тексте, тронуло нас. Вспомните, ведь мы ничего не знали, мы рассматривали слово в лупу, каждое слово было как талисман, полученный в дар. Мы нашли два слова. Эти слова пьянили нас; правда, я был стар, а мои ученицы юны (оба возраста склонны к восторгам). Я думал: «Я возвращаюсь к этому языку, я вновь обретаю его. Я не впервые пользуюсь им; я говорил на этом языке, когда носил другие имена». Этими словами были название Лондона — Lundenburh, Londresburgo — и название Рима, которое тронуло нас даже сильнее, чем подумали о свете Рима, падавшем на эти затерянные далеко на севере острова, — Romeburh, Romaburgo. Казалось, еще немного, и мы пойдем по улице с криками: «Londenburg, Romeburh...»

Так началось изучение древнеанглийского, к которому привела меня слепота. И сейчас я храню в памяти множество элегических, эпических англосаксонских стихотворений.

Я заменил мир видимый слышимым миром древнеанглийского языка. Затем я обратился к другому, бо-

лес позднему и более богатому миру скандинавской литературы: к Эддам и сагам. Впоследствии я написал «Древние германские литературы», множество стихов на эту тему, а прежде всего наслаждался этой литературой. А сейчас я готовлю книгу о скандинавской литературе.

Я не дал слепоте запугать себя. Кроме того, прекрасное известие сообщил мне мой издатель: он сказал, что если я за год напишу тридцать стихов, он сумеет издать книгу. Тридцать стихотворений означает дисциплину, особенно когда вынужден диктовать каждую строчку; но в то же время достаточную свободу, потому что, скорее всего, за год наберется тридцать случаев поэзии. Слепота не стала для меня совершенным несчастьем, не нужно смотреть на нее трагически. Ее над© воспринимать как образ жизни, как один из стилей человеческой жизни.

В том, что ты слепой, есть свои достоинства. Я обязан этому мраку несколькими дарами: древнеанглийским языком; поверхностным знакомством с исландским; радостью, которую мне доставили множество стихов, поэм и строчек; тем, что написал книгу, озаглавленную, не без фальши, несколько претенциозно — «Хвала тьме».

Теперь мне хочется рассказать о других, об известных случаях. Начнем с самого явного примера дружбы поэзии и слепоты, с того, кто считается величайшим поэтом, — с Гомера (нам известен другой слепой греческий поэт Тамирис, чьи произведения не сохранились, мы знаем о нем в основном из высказывания Мильтона, еще одного знаменитого слепца, Тамирис был побежден на состязании музами, которые разбили его лиру и ослепили его).

Существует любопытная гипотеза (не думаю, что она исторически верна, но весьма привлекательна), принадлежащая Оскару Уайльду. В большинстве случаев писатели хотят показаться глубокомысленными; Уайльд был человеком глубоким, но старался прослыть легкомысленным. Возможно, он хотел, чтобы мы думали о нем, как Платон о поэзии: «легкая, крылатая, священная». Так вот, легкий, крылатый, священный Оскар

Уайльд говорил, что античность представила Гомера слепым намеренно.

Нам неизвестно, существовал ли Гомер. То, что семь городов оспаривают его друг у друга, заставляет сомневаться в его существовании. Возможно, Гомера не было, а было много греков, скрытых от нас под именем Гомера.

Традиция рисует нам образ слепого поэта; безусловно, поэзия Гомера зрима, иногда великолепно зрима, как, хотя и в меньшей степени, поэзия Оскара Уайльда.

Уайльд отдавал себе отчет в том, что его поэзия слишком зрима, и хотел от этого избавиться: он хотел сделать поэзию звучащей, музыкальной, как, скажем, стихи Теннисона или Верлена, перед которыми он преклонялся. Уайльд говорил: «Греки воображали Гомера слепым, чтобы показать, что поэзия должна быть слышимой, а не зримой». Отсюда «*de la musique avant toute chose*»¹ Верлена, отсюда современный символизм Уайльда.

Мы должны считать, что Гомер не существовал, но грекам нравилось воображать его слепым, подчеркивая тем самым, что поэзия — прежде всего музыка, прежде всего лира и что зримое у поэта может существовать и не существовать. Я знаю великих поэтов, чья поэзия зрима, и великих поэтов, чья поэзия интеллектуальна, умственна, нет смысла перечислять их.

Обратимся к примеру Мильтона. Слепота Мильтона была добровольной. Он с юности знал, что сделается великим поэтом. Так бывало и с другими. Колридж и Де Куинси, еще не написав ни строки, знали, что их жизнь принадлежит литературе; я тоже, если стоит упомянуть обо мне. Я всегда чувствовал, что моя судьба будет связана прежде всего с литературой; я хочу сказать, что со мной случалось много плохого, а иногда — хорошее. Но я всегда знал, что все это рано или поздно превратится в слова, прежде всего плохое, поскольку счастье не нуждается в претворении: счастье составляет свою собственную цель.

¹ «Музыка прежде всего» (*фр.*).

Вернемся к Мильтону. Он потерял зрение над памфлетами, призывавшими к казни короля. Мильтон говорит, что потерял его по своей воле, отстаивая свободу; он не сетует на слепоту; он считает, что пожертвовал зрением добровольно, и помнит свою главную задачу — быть поэтом. В Кембриджском университете найдена рукопись, в которой юный Мильтон записывал темы для большой поэмы.

«Я хочу завещать грядущим поколениям нечто, что не дало бы им погибнуть», — провозглашает он. Мильтон наметил десять-пятнадцать тем, одна из которых оказалась пророческой, о чем он не подозревал. Это тема Самсона. Он не знал тогда, что его судьба будет сколько-то схожа с судьбой Самсона и что наподобие того, как Христос предсказан в Ветхом Завете, Самсон предвестит его собственную судьбу. Уже зная о том, что слепнет, он начал два исторических труда, оставшихся незавершенными: «Историю Московии» и «Историю Англии». Затем большую поэму «Потерянный Рай». Он искал тему, которая могла бы заинтересовать всех людей, не только англичан. Этой темой стал Адам, наш общий предок.

Мильтон много времени проводил один, писал стихи, его память крепла. Он мог удержать в памяти сорок — пятьдесят одиннадцатисложников, а затем диктовал их пришедшим навестить его. Так слагалась поэма. Он помянул в ней судьбу Самсона, столь похожую на его собственную, поскольку Кромвель уже умер и настало время Реставрации. Мильтон подвергся преследованиям и был приговорен к смерти за то, что поддерживал сторонников казни короля. Но Карл II, сын Карла I Казненного, когда ему был подан список приговоренных к смерти, взял перо и произнес фразу, не лишнюю благородства: «Рука моя отказывается подписывать смертный приговор». Мильтон избежал казни, и многие вместе с ним.

Тогда он написал «Samson Agonistes»¹. Он хотел создать трагедию в духе греческой. Действие происходит

¹ «Самсон-борец» (англ.).

в течение дня, последнего дня жизни Самсона, и Мильтон думал о сходстве его и своей судьбы, потому что он сам, как и Самсон, был сильным человеком, в конце концов оказавшимся побежденным. Мильтон был слеп. И написал строки, которые, по мнению Лэндора, считаются трудными для прочтения, и это действительно так: «Eyeless, in Gaza, at the mill, with the slaves» — «Слепой, в Газе (Газа — город филистимлян, вражеский город), на мельнице среди рабов». Словно все мыслимые несчастья разом обрушились на Самсона.

У Мильтона есть сонет, в котором он говорит о своей слепоте. По одной строке сонета можно догадаться, что он написан слепым. Когда Мильтон описывает мир, он говорит: «В этом темном и широком мире». Именно таков мир слепых, когда они остаются одни, потому что они передвигаются, ища опоры вытянутыми вперед руками. Вот пример (гораздо более впечатляющий, чем мой) человека, преодолевшего слепоту и свершившего свой труд: «Потерянный Рай», «Возвращенный Рай», «Samson Agonistes», лучшие сонеты, часть «Истории Англии» начиная с истоков до завоевания норманнами — все это он написал будучи слепым, диктуя случайным людям.

Аристократу-бостонцу Прескотту помогала жена. Несчастный случай, происшедший с ним в студенческие годы в Гарварде, лишил его одного глаза и оставил почти слепым на другой. Прескотт решил посвятить жизнь литературе. Он изучал литературу Англии, Франции, Италии, Испании. Королевская Испания подарила ему свой мир, обратившийся во времена республики в свою противоположность. Эрудит стал писателем и продиктовал жене историю завоевания испанцами Мексики и Перу, правления королей-католиков и Филиппа II. Это была счастливая, можно сказать, праведная задача, и он посвятил ей более двадцати лет.

Приведу два более близких нам примера. Я уже упоминал Груссака. Груссак забыт несправедливо. Сейчас помнят, что он был чужаком-французом. Говорят, что его труды устарели, что сейчас мы располагаем лучшими работами. При этом забывают, что он писал, и то, как он это делал. Груссак не только оставил нам исто-

рические и критические работы, он преобразил испаноязычную прозу. Альфонсо Рейес, лучший испаноязычный прозаик всех времен, говорил мне: «Груссак научил меня, как следует писать по-испански». Груссак справился со своей слепотой, а ряд созданных им вещей можно отнести к лучшим прозаическим страницам, написанным в нашей стране. Мне бывает приятно вспоминать о нем.

Обратимся к другому примеру, более известному, чем Груссак. Джеймс Джойс тоже совершил двойной труд. Он оставил два огромных и, почему не сознаться, неудобочитаемых романа — «Ulises» и «Finnegans Wake»¹. Но это лишь часть проделанной им работы (сюда же входят прекрасные стихи и изумительный «Портрет художника в юности»). Другая часть, возможно, даже более ценная, как теперь считается, — то, что он совершил с почти необъятным английским языком. Язык, который, согласно статистике, превосходит другие и представляет писателю столько возможностей, прежде всего изобилует конкретными глаголами, оказался для Джойса недостаточным.

Джойс, ирландец, не забывал, что Дублин был основан викингами-датчанами. Он изучил норвежский, на котором вел переписку с Ибсеном. Затем овладел греческим, латынью... Он писал на языке собственного изобретения, трудном для понимания, но удивительно музыкальном. Джойс внес в английский новую музыку. Ему принадлежат слова мужественные (но не искренние): «Из всего, что со мной произошло в жизни, наименьшее значение имела потеря зрения». Часть своих произведений он создал незрячим: шлифуя фразы по памяти, иногда проводя над одной фразой целый день, затем записывая и выправляя их. Все это, будучи полуслепым, а временами — слепым. Подобным же образом ущербность Буало, Свифта, Канта, Рескина и Джорджа Мура окрашивала печалью их труд; то же самое относится и к изъяснам, обладатели которых достигли всеобщей известности. Демокрит из Абдеры вы-

¹ «Поминки по Финнегану» (англ.).

колол себе в саду глаза, чтобы вид внешнего мира не мешал ему сосредоточиться; Ориген осклопил себя.

Я привел достаточно примеров. Некоторые столь известны, что мой собственный случай совестно и упоминать; но люди всегда ждут признаний, и у меня не было причин отказываться от них. Хотя, возможно, нелепо ставить мое имя рядом с теми, которые мне приходилось называть.

Я говорил, что слепота — это образ жизни, не такой уж плачевный. Вспомним стихи величайшего испанского поэта Луиса де Леона:

Я хочу жить сам,
радуясь благам, что дает небо,
одинок,
свободный от любви, от ревности,
от ненависти, надежды, от страха.

Эдгар Аллан По знал наизусть эту строфу.

Мне кажется, что жить без ненависти нетрудно, я никогда не испытывал ненависти. Но жить без любви, я думаю, невозможно, к счастью, невозможно для любого из нас. Но обратимся к началу: «Я хочу жить сам, радуясь благам, что дает небо». Если мы сочтем, что мрак может быть небесным благом, то кто «живет сам» более слепого? Кто может лучше изучить себя? Используя фразу Сократа, кто может лучше познать самого себя, чем слепой?

Писатель — живой человек, поэтому нельзя быть писателем по расписанию. Не бывает поэтов с восемью до двенадцати и с двух до шести. Поэт бывает поэтом всегда, он знает, что покорен поэзией навек. Наверное, художник чувствует, что линии и цвета осаждают его. А музыкант ощущает, что удивительный мир звуков — самый удивительный из всех миров искусств — вечно ищет его, его ждут мелодии и диссонансы. Для целей человека искусства слепота не может быть лишь бедствием — она становится орудием. Луис де Леон посвятил одну из своих од слепому композитору Франсиско Салинасу.

Писатель — или любой человек — должен воспринимать случившееся с ним как орудие; все, что ни выпадает ему, может послужить его цели, и в случае с

художником это еще ощутимее. Все, что ни происходит с ним: унижения, обиды, неудачи — все дается ему как глина, как материал для его искусства, который должен быть использован. Поэтому в одном из стихотворений я говорю о том, чем были вспоены античные герои: бедствия, унижения, раздоры. Это дается нам, чтобы мы преобразились, чтобы из бедственных обстоятельств собственной жизни создали нечто вечное или притязующее на то, чтобы быть вечным.

Если так думает слепой — он спасен. Слепота — это дар. Я утомил вас перечислением полученных мною даров: древнеанглийский, в какой-то степени шведский язык, знакомство со средневековой литературой, до той поры неизвестной мне, написание многих книг, хороших и плохих, но оправдавших потраченное на них время. Кроме того, слепой ощущает доброту окружающих. Люди всегда добры к слепым.

Мне хотелось бы закончить строчкой Гете. Я не очень силен в немецком, но думаю, что смогу без грубых ошибок произнести слова: «Alles Nahe werde fern» — «Все, что было близко, удаляется». Гете написал это о вечерних сумерках. Когда смеркается, окружающее словно скрывается от наших глаз, подобно тому, как видимый мир почти полностью исчез из моих.

Гете мог сказать это не только о сумерках, но и о жизни. Все удаляется от нас. Старость должна быть высочайшим одиночеством, если не считать высочайшего одиночества смерти. «Все, что было близко, удаляется» — это относится и к постепенно усиливающейся слепоте, о которой я рад был рассказать вам сегодня вечером и рад доказать, что она не совершенное бедствие. Она должна стать одним из многих удивительных орудий, посланных нам судьбою или случаем.

РОЗА ПАРАЦЕЛЬСА

В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах, Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый огонь камина отбрасывал смутные тени. Сил, чтобы подняться и зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс указал ему на скамью; вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они молчали.

Первым заговорил учитель.

— Мне знаком и восточный, и западный тип лица, — не без гордости сказал он. — Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?

— Мое имя не имеет значения, — ответил вошедший. — Три дня и три ночи я был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с собой все, что у меня есть.

Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза его взволновала.

Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес:

— Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и если тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником.

— Золото меня не интересует, — ответил вошедший. — Эти монеты — всего лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня Науке. Я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий к Камню.

Парацельс медленно промолвил:

— Путь — это и есть Камень. Место, откуда идешь, — это и есть Камень. Если ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг является целью.

Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес:

— Значит, цель все-таки есть?

Парацельс засмеялся.

— Мои хулители, столь же многочисленные, сколь и недалекие, уверяют, что нет, и называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, однако допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь, что *есть* Дорога.

Наступила тишина, затем вошедший сказал:

— Я готов пройти ее вместе с тобой; если понадобится — положить на это годы. Позволь мне одолеть пустыню. Позволь мне хотя бы издали увидеть обетованную землю, если даже мне не суждено на нее ступить. Но прежде чем отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства.

— Когда? — с тревогой произнес Парацельс.

— Немедленно, — с неожиданной решимостью ответил ученик.

Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки.

Юноша поднял перед собой розу.

— Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка.

— Ты слишком доверчив, — сказал учитель. — Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера.

Вошедший стоял на своем.

— Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и возвращение розы к жизни.

Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею.

— Ты доверчив, — повторил он. — Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее?

— Каждый может ее уничтожить, — сказал ученик.

— Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что возможен возврат к небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в Раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку?

— Мы не в Раю, — настойчиво повторил юноша, — здесь, под луной, все смертно.

Парацельс встал.

— А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что-то, помимо Рая? Понимаешь ли ты, что Грехопадение — это неспособность осознать, что мы в Раю?

— Роза может сгореть, — упорствовал ученик.

— Однако в камине останется огонь, — сказал Парацельс.

— Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим.

— Я повторяю, что роза бессмертна и что только облик ее меняется. Одно моего слова хватило бы чтобы ты ее вновь увидел.

— Одно слова? — с недоверием сказал ученик. — Сосуд для перегонки стоит без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?

Парацельс взглянул на него с сожалением.

— Сосуд для перегонки стоит без дела, — повторил он, — и колбы покрыты слоем пыли. Чем я только не пользовался на моем долгом веку; сейчас я обхожусь без них.

— Чем же ты пользуешься сейчас? — с напускным смирением спросил вошедший.

— Тем же, чем пользовался Всевышний, создавший небеса, и землю, и невидимый Рай, в котором мы обитаем и который сокрыт от нас первородным грехом. Я

имею в виду Слово, познать которое помогает нам Каббала.

Ученик сказал с полным безразличием:

— Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление розы. К чему ты при этом прибежешь — к сосуду для перегонки или к Слову, — для меня не имеет значения.

Парацельс задумался. Затем он сказал:

— Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное — всего лишь обман зрения. Чудо не принесет тебе искомой веры. Поэтому положи розу.

Юноша смотрел на него с недоверием. Тогда учитель, повысив голос, сказал:

— А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать чуда? Чем ты заслужил подобную милость?

Вошедший, охваченный волнением, произнес:

— Я сознаю свое нынешнее ничтожество. Я заклинаю тебя во имя долгих лет моего будущего послушничества у тебя позволить мне лицезреть пепел, а затем розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя. Увиденное собственными глазами и будет для меня доказательством.

Резким движением он схватил алую розу, оставленную Парацельсом на пюпитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял и осталась горсточка пепла. Некоторое время он ждал слов и чуда.

Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямоотой:

— Все врачи и аптекари Базеля считают меня шарлатаном. Как видно, они правы. Вот пепел, который был розой и который ею больше не будет.

Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он, ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской науки.

Он преклонил колени и сказал:

— Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет благочестия. Так пусть же глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой окрепнет, стану твоим учеником, и в конце пути я увижу розу.

Он говорил с неподдельным чувством, однако это чувство было вызвано состраданием к старому учителю,

столь почитаемому, столь пострадавшему, столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, Иоганн Гризебах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту?

Оставленные золотые монеты были бы милостыней. Уходя, он взял их. Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме он всегда будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не придется.

Парацельс остался один. Прежде чем погасить светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнес Слово. И возникла роза.

СИНИЕ ТИГРЫ

В знаменитых строках Блейка тигр — это пылающий огонь и непреходящий архетип Зла; я же, скорее, согласен с Честертоном, который видит в нем символ изысканной мощи. И все же нет абсолютно точных слов, которые давали бы представление о тигре, этом образе, издавна волнующем воображение человека. Меня всегда неодолимо влекло к тигру. В детстве я, помнится, часами простаивал у одной-единственной клетки в зоопарке: остальных для меня как бы не существовало. Критерием оценки энциклопедий и книг о мире природы служили гравюры с изображением тигра. Когда я открыл для себя «Jungle Books»¹, меня огорчило, что Шер Хан, тигр, был врагом героя. Шли годы, а этой странной любви я остался верен. Не в пример моим былым охотничьим притязаниям и иным парадоксальным и недолговечным увлечениям. До самого недавнего времени — совсем недавнего, хотя у обманчивой памяти и другой счет, — она вполне уживалась с моими служебными обязанностями в университете Лахора. Я преподаю западную и восточную логику, а в выходные веду семинар, посвященный творчеству Спинозы. Остается добавить, что я шотландец;

¹ «Книги джунглей» (англ.).

как видно, не что иное, как любовь к тиграм, и привело меня из Абердина в Пенджаб. Моя жизнь была ничем не примечательна, однако во сне я всегда видел тигров (ныне они уступили место иным образам).

Я столько раз об этом рассказывал, что утратил к происшедшему всякий интерес. Оставляю же эти подробности я только потому, что моя история того требует.

В конце 1904 года я прочел, что в одном из районов в дельте Ганга обнаружены тигры синей окраски. Новость подтвердилась последующими сообщениями, неоднозначными и противоречивыми, подогревавшими мой интерес. Во мне проснулась старая любовь. Я тут же предположил ошибку, в которую столь часто впадают, определяя цвета. Помнится, я читал, что по-исландски Эфиопия — Blaland, то ли Синяя Земля, то ли Земля Негров. Синий тигр вполне мог оказаться черной пантерой. Мало чем помог и опубликованный в лондонской прессе эстамп, на котором был изображен синий тигр с серебристыми полосами; не могло быть никаких сомнений в его апокрифическом происхождении. Синий цвет иллюстрации отдавал, скорее, геральдикой, чем реальностью. Однажды во сне я видел тигров неизвестного мне оттенка синего цвета, которому я не смог подобрать названия. Без сомнения, он был почти черным, однако точнее определить его цвет мне все же не удалось.

Несколько месяцев спустя один из моих сослуживцев сообщил мне, что в некоем весьма удаленном от Ганга селении он слышал разговоры о синих тиграх. Этот факт не мог меня не поразить, ибо я знал, что в этом районе тигры — большая редкость. Мне снова приснился синий тигр, который, передвигаясь, отбрасывал на песок длинную тень. Воспользовавшись отпуском, я отправился в эту деревню, названия которой — по причинам, о которых вскоре пойдет речь, — мне не хотелось бы вспоминать.

Я приехал, когда кончился уже сезон дождей. Селение, которое лепилось к подножью холма, показавшегося мне, скорее, обширным, чем высоким, со всех сто-

рон обступили неприветливые джунгли темно-бурого цвета. Увиденную мной деревушку не составит труда отыскать у Кипплинга, который вместил в свои книги всю Индию, если не весь мир. Скажу лишь, что ров с хрупкими тростниковыми мостками служил слабым прикрытием для лачуг. На юге, в заболоченных местах, были рисовые поля и ложбина, по дну которой протекала илистая речушка с неведомым мне названием, а за ними опять-таки джунгли.

Жители исповедовали индуизм. Я это предвидел и был огорчен. Мне всегда было проще найти общий язык с мусульманами, хотя я и понимал, что ислам — наименее глубокая из всех религий, восходящих к иудаизму.

Мы понимаем, что в Индии человек изобилует; в деревне я понял, что на самом деле изобилует лес, проникающий даже в жилища.

Дни были изнуряющими, а ночи не приносили прохлады.

Старейшины приветствовали меня, и мы обменялись первыми учтиво-расплывчатыми фразами. Я уже говорил об убожестве этой местности, однако все мы убеждены в исключительности родных мест. Я одобрительно отозвался о сомнительных достоинствах жилищах и не менее сомнительных достоинств еде и добавил, что слава об их крае достигла Лахора. В лицах моих собеседников произошла перемена; мне тотчас стало ясно, что я совершил ошибку и должен ее загладить. По-видимому, они хранят тайну, которую не склонны делить с посторонними. Кто знает, не поклоняются ли они Синему Тигру и не были ли мои опрометчивые слова кощунственными по отношению к его культуре.

Я отложил разговор до рассвета. Подкрепившись рисом и выпив чаю, я вновь вернулся к теме. Вопреки ожиданию, я не понял, не смог понять, что же произошло. Я вызывал изумление и почти ужас. Однако когда я сказал, что моя цель — поймать хищника редкой масти, они с облегчением вздохнули. Кто-то сказал, что видел его выходящим из джунглей.

Среди ночи меня разбудили. Мальчик мне сообщил, что, когда из загона исчезла коза, он, отправившись на

ее поиски, видел синего тигра на другом берегу реки. Я подумал, что в свете молодой луны цвет определить практически невозможно, однако все присутствующие подтвердили рассказ, а один из них, до сих пор молчавший, сказал, что он также его видел. Мы вышли, прихватив ружья, и я увидел или решил, что увидел, промельк кошачьего силуэта в сумеречных джунглях. Козу найти не удалось, к тому же сомнительно, чтобы утащивший ее хищник был моим синим тигром. Мне многозначительно показывали какие-то следы, которые ровным счетом ни о чем не говорили.

В одну из таких ночей я наконец понял, что эти ложные тревоги были данью старой привычке. Подобно Даниэлю Дефо, жители этих мест были мастера изобретать значимые детали. Тигра могли заметить в любое время вблизи рисовых полей на юге или в зарослях на севере, однако в свидетельствах очевидцев просматривалась четкая регулярность. Тигр неизменно исчезал в момент моего прибытия. Мне всегда демонстрировали его следы или нанесенный им ущерб, но человек без труда может имитировать отпечаток тигровой лапы. Время от времени я видел мертвых собак. В одну из лунных ночей мы до рассвета прокараулили возле козы, взятой в качестве приманки. Поначалу я решил, что за этими побасенками стоит желание продлить мое пребывание в селении к выгоде его жителей, обеспечивающих меня едой и выполнявших работы по дому. Чтобы проверить свою догадку, я сообщил им о намерении отправиться на поиски тигра в другие места, ниже по течению реки. К моему удивлению, все поддержали мое решение. И все же меня не оставляла мысль, что от меня что-то скрывают и я у всех вызываю опасения.

Я уже говорил, что лесистая гора, у подножья которой лепилось селение, была невысокой; она плавно переходила в плато. Ее западные и северные склоны были покрыты джунглями. Поскольку скаты ее особой крутизной не отличались, я предложил им на нее подняться. Столь скромное желание привело их в замешательство. Один из них заявил, что склоны ее слишком обрывисты. Веское слово, подчеркнув неосуществимость

моего намерения, произнес старейший из них. Вершина горы священна и по магическим причинам для людей запретна. Смертный, осмелившийся ступить туда ногой, рискует заглянуть в тайны богов и потерять разум или зрение. Я не настаивал, однако в первую же ночь, когда все уснуло, бесшумно выскользнул из хижины и стал подниматься по невысокому косоугору. Я двигался медленно, без дороги, сквозь кустарники и травы. Луна была на горизонте. Я смотрел на все с обостренным вниманием, будто предчувствуя, что этому дню суждено быть очень важным, если не главным днем моей жизни. Мне запомнился темный, почти черный цвет листвы. Лес был залит лунным светом, птицы безмолвствовали.

Двадцать-тридцать минут подъема, и вот я уже на плато. Нетрудно было предположить, что воздух тут живительный и атмосфера не столь удушлива, как в оставшемся внизу селении. Я удостоверился, что это была не вершина, а некая терраса, не слишком обширная, и что джунгли простирались еще выше, по откосу горы. Я почувствовал себя свободным, как будто деревня была для меня тюрьмой. Что с того, что ее жители пытались меня обмануть; я сознавал, что они во многом подобны детям.

Что же до тигра... Полоса разочарований подточила как мое любопытство, так и мою веру, и все же почти машинально я высматривал следы.

Почва была песчаной и вся в расщелинах, неглубоких и переплетавшихся между собой. Цвет одной из них привлек мое внимание. Вне всяких сомнений, это был синий цвет тигра моих сновидений. Я присмотрелся. Расщелина была полна голышей, абсолютно одинаковых, круглых, очень гладких и небольших. Их идентичность, как если бы это были фишки, казалась чем-то искусственным.

Наклонившись, я вытащил из расщелины несколько штук. Я почувствовал легкий трепет. Горсть голышей я положил в правый карман, где уже были ножнички и письмо из Аллахабада. Эти случайные предметы сыграют в моей истории свою роль.

Вернувшись в хижину, я снял куртку, растянулся на

кровати и погрузился в сон с тигром. Во сне я отчетливо видел цвет: один и тот же у тигра из сновидений и у голышей с плато. Я проснулся от ярко светившего в лицо солнца. Я встал. Ножницы и письмо мешали вытащить окатыши. Я вытащил первую пригоршню и почувствовал, что две или три еще остались. Едва уловимая дрожь прошла по моей руке, и я ощутил тепле. Разжав кулак, я увидел, что окатышей было около тридцати или сорока. Я готов был поклясться, что раньше их было не более десяти. Оставив их на столе, я вытащил остальные. Не было особой нужды считать их, чтобы убедиться, что их становилось все больше. Я сгреб их в одну кучу и стал пересчитывать один за другим.

Этой простейшей операции выполнить я не смог.

Я впивался взглядом в один из них, сжимал его между большим и указательным пальцами, но стоило взять один, как тут же их становилось несколько. Я проверил, нет ли у меня лихорадки, и без конца повторял попытку. Несуразнейшее чудо повторялось. У меня похолодели ноги и задрожали колени. Я потерял счет времени.

Не глядя, я сгреб окатыши в одну кучу и вышвырнул их в окно. Необъяснимым образом почувствовал и обрадовался, что число их уменьшилось. Я захлопнул дверь и бросился на кровать. Затосковав по утраченной былой определенности, я попытался убедить себя в том, что все это мне приснилось. Чтобы не думать об окатышах, чтобы чем-то заполнить время, я повторил вслух, медленно и отчетливо, восемь дефиниций и семь аксиом этики. Помогло ли это, не знаю. Из подобных заклинаний меня вывел стук в дверь. Инстинктивно забеспокоившись, что мои разговоры с самим собой кто-то слышал, я открыл дверь.

На пороге стоял самый старый из жителей, Бхагван Дас. Своим появлением он как будто вернул мне ощущение реальности. Мы вышли. Я надеялся, что окатыши исчезли, но они были здесь. Не берусь сказать, сколько их было.

Старик взглянул на них, затем на меня.

— Эти камни не отсюда. Они сверху, — произнес он голосом, который ему не принадлежал.

— Верно, — ответил я. Затем не без вызова я доба-

вил, что нашел их на плато, и тут же устыдился своей словоохотливости. Бхагван Дас, не обращая на меня внимания, зачарованно созерцал камни. Я приказал ему собрать их. Он не шелохнулся.

Мне горько вспоминать, но я вытащил револьвер и, повысив голос, повторил приказ.

Бхагван Дас пробормотал:

— Лучше получить пулю в сердце, чем взять в руку синий камень.

— Ты трус, — сказал я ему.

По правде, мне было так же жутко, но все же я взял, закрыв глаза, горсть камней левой рукой. Убрав револьвер, я пересыпал их из одной руки в другую. Их было уже значительно больше.

Мало-помалу я привыкал к этим переходам. Внезапно раздавшиеся крики Бхагвана Даса были для меня большой неожиданностью.

— Это самозарождающиеся камни, — вскричал он. — Их только что было много, и вдруг число их меняется. Они похожи на диск луны, а их синий цвет мы видим только во сне. Родители моих родителей не лгали, когда рассказывали об их могуществе.

Вокруг нас собралась вся деревня.

Я почувствовал себя чудесным обладателем этих диких. Ко всеобщему удивлению, я собирал окатыши, поднимал, бросал, рассыпал, наблюдал, как чудесным образом их становится то больше, то меньше.

Люди теснились, охваченные изумлением и ужасом. Мужчины заставляли своих жен смотреть на чудо. Одна из них закрывала лицо рукой, другая зажмуривала глаза. Никто не осмеливался дотронуться до окатышей, не считая ребенка, блаженно игравшего с ними. Тут я почувствовал, что эта сумятица опошляет чудо. Тогда я собрал столько окатышей, сколько сумел, и ушел в хижину.

Пытался ли я забыть, как кончился этот день, первый в бесконечной череде злосчастий, — не знаю. Во всяком случае, я ничего не помню. Когда стемнело, я с тоской вспоминал минувший вечер, пусть даже не особенно счастливый, ибо, как и во все предыдущие, я был одержим идеей тигра. Я пытался найти защиту у этого образа, столь могущественного недавно и столь ничтожного ныне. Синий тигр так же поблек в моих

глазах, как черный лебедь римлянина, позднее обнаруженный в Австралии.

Перечитывая сделанные ранее записи я обнаружил грубейшую ошибку. Сбитый с толку приемами литературы, не важно, хорошей или плохой, почему-то называемой психологической, я по необъяснимой причине увлекся воссозданием последовательности событий, связанных с моим открытием. Неизмеримо важнее было бы сосредоточиться на жуткой природе окатышей.

Если бы мне сообщили, что на луне водятся носороги, я согласился бы с этим утверждением, или отверг его, или же воздержался от суждения, однако я смог бы их себе представить. Напротив, если бы мне сказали, что на луне шесть или семь носорогов могут быть тремя, я, не раздумывая, сказал бы, что это невозможно. Тот, кто усвоил, что три плюс один будет четыре, не станет проверять это на монетах, игральных костях, шахматных фигурах или карандашах. Он это знает, и все тут. Он не может представить себе иной цифры. Некоторые математики утверждают, что три плюс один — это тавтология четырех, те же четыре, только выраженные иным образом. Мне, Александру Крэйгу, единственному выпал жребий обнаружить предметы, противоречащие этому коренному закону человеческого разума.

Вначале меня охватил страх перед безумием; спустя какое-то время я и сам предпочел бы сойти с ума, ибо помрачение моего рассудка значит неизмеримо меньше, чем свидетельство беспорядка, вполне допускаемого мирозданием. Если три плюс один равняется и двум, и четырем, то разум безумен.

Со временем у меня вошло в привычку видеть во сне камни. То обстоятельство, что сон преследовал меня не каждую ночь, вселяло в меня слабую надежду, что крошечный ужас недалек. В сущности, сон был один и тот же. Уже самое начало возвещало траурный финал. Балюстрада и спирально спускавшиеся ступени, затем подвал или система подвалов, от которых отвесно вниз шли новые лестницы, и наконец — кузницы, слесарни, застенки, резервуары с водой. На самом дне, в расщелине неизменно лежали камни, они же — Бегемот и Левиафан, животные, свидетельствующие в Священном писании, что Господь иррационален. Содрога-

ясь, я просыпался, а камни лежали в ящике, готовые к превращениям.

Отношение ко мне было двойственным. В какой-то мере меня коснулась божественная природа окатышей, которые они окрестили синими тиграми, но вместе с тем я был повинен в надругательстве над вершиной. В любое время дня и ночи меня могли покарать боги. Они не смели напасть на меня или осудить мой поступок, однако мне было ясно, что их раболепие таило опасность. Я не встречал больше ребенка, игравшего окатышами. В любую минуту я ожидал яда или удара ножом в спину. Однажды рано утром я сбежал из деревни. Я понимал, что все жители следят за мной и мой побег для них большое облегчение. Никто с того самого первого утра ни разу не пожелал взглянуть на камни.

Я вернулся в Лахор. В кармане у меня была горсть гольшей.

Привычная книжная среда не принесла мне желанного покоя. Я сознавал, что на земле есть унылое селение, и джунгли, и косогор, усеянный колючками и ведущий к плато, и узкие расщелины на плато, и камни в расщелинах. Во мне эти несхожие вещи переплетались, и число их росло. Селение становилось камнями, джунгли — болотом, а болото — джунглями.

Я стал сторониться друзей. Я боялся, что не устою перед соблазном сделать их свидетелями нестерпимого чуда, опрокидывающего научные знания.

Я провел несколько опытов. На одном из окатышей я нацарапал крест. Смешав его с остальными, я уже после двух трансформаций не смог его отыскать, хотя шел лишь процесс приращения. Сходный опыт я провел с другим окатышем, на котором вырезал напильником дугу. Его также не удалось отыскать. Еще в одном окатыше я проделал шилом отверстие и повторил опыт. Результат был тот же. Неожиданно обнаружился обитавший в небытии окатыш с крестом. Что за таинственное пространство поглощало камни, а затем со временем возвращало их, повинуюсь непостижимым законам или внечеловеческой воле?

Неодолимая потребность в порядке, породившая математику, вынудила меня искать порядок в этих отклонениях от законов математики, в этих нелепых само-

зарождающихся камнях. Я надеялся понять закономерность их непредсказуемых комбинаций. Дни и ночи напролет я составлял статистику превращений. С той поры у меня хранятся тетради, испещренные бесконечными цифрами. Мой метод состоял в следующем. Сначала я вел счет глазами и записывал результат. Затем, взяв окатыши обеими руками, я вновь вываливал их двумя кучками на стол. Я пересчитывал их уже отдельно, снова записывал и повторял операцию. Поиск некоего порядка, скрытого плана этих чередований был тщетным. Максимальное полученное мной число было четыреста девятнадцать, минимальное — три. Как-то мне с надеждой, а может, с ужасом почудилось, что они вот-вот исчезнут. Мне удалось выяснить, что стоило отделить один окатыш от остальных, как он не мог уже порождать другие, равно как и исчезнуть. Стоит ли говорить, что сложение, вычитание, умножение и деление были невозможны. Камни противились математике и теории вероятности. Разделив сорок окатышей, я получал девять, в свою очередь деление девяти давало триста. Я не знаю, сколько они весили. Я их не взвешивал, однако уверен, что вес их был неизменен и невелик. Цвет их всегда был синим.

Эти расчеты спасли меня от безумия. Манипулируя камнями, опровергающими математическую науку, мне нередко приходил на ум грек и его камни, которые явились первыми числами и которые одарили многочисленные языки самым словом «счет». Истоки математики, сказал я себе, в камнях, и в них же ее конечная цель. Имей Пифагор под рукой эти...

Спустя месяц я понял, что хаос безысходен. Строптивые окатыши были под рукой, и неистребимым было искушение дотронуться до них, вновь ощутить их трепет, швырнуть их, наблюдать, как они растут или уменьшаются в числе, переводить взгляд с парных на непарные. Какое-то время я самовнушением заставлял себя непрестанно думать о камнях, ибо знал, что забвение недолговечно, а возобновившись, мои мучения будут еще нестерпимее.

В ночь на десятое февраля я не сомкнул глаз. После долгих блужданий я на заре вступил в портики мечети Вазир-Хан. В едва забрезжившем свете были еще неразличимы цвета. Во дворе не было ни души. Сам не

зная зачем, я погрузил руки в воду фонтана. Уже в помещении я подумал, что Господь и Аллах суть два имени Того, бытие которого недоступно нашему разумению, и громко попросил его избавить меня от моего бремени. Затаив дыхание, я ждал ответа.

Шагов я не слышал, но вдруг рядом кто-то сказал:
— Я здесь.

Рядом с собой я увидел нищего. В полумраке я различил тюрбан, потухший взгляд, желтоватую кожу и седую бороду. Он был невысокого роста.

Он протянул мне руку и сказал очень тихо:

— Подайте, ради Создателя.

Порывшись в кармане, я сказал:

— У меня нет ни одной монеты.

— У тебя их много, — ответил он.

В правом моем кармане были камни. Я вытащил один из них и опустил в его пустую ладонь. Меня поразило, насколько бесшумно он упал.

— Ты должен дать все, — произнес он. — Не дав все, ты не даешь ничего.

Я понял его и сказал:

— Ты должен знать, что моя милостыня может быть ужасной.

Он ответил:

— Быть может, это та единственная милостыня, которой я стою. Я грешил.

Я переложил все камни в его вогнутую ладонь. Они падали, будто в морские глубины, без единого звука.

Он медленно произнес:

— Твоей милостыни я не знаю, но моя будет ужасна. Ты останешься с днями и ночами, со здравым смыслом, с обычаями и привычками, с окружающим миром.

Я не слышал шагов слепого нищего и не видел, как он растворился в рассвете.

КОММЕНТАРИЙ

Из книги «Дискуссия»

С. 28. «Гусман де Альфараче» (1599—1604) — плутовской роман Матео Алемана (1547—1614).

С. 30. Гейне прославил его... — В статье «Введение к «Дон Кихоту».

С. 31. Каббала — мистическое течение в иудаизме.

С. 32. Formula consensus helvetica — согласованное определение природы Христа и таинства причастия, принятое различными направлениями протестантизма и закрепленное в Цюрихском согласии (1549).

С. 34. Социнианцы — последователи проповедовавшего в Польше итальянского протестанта Фауста Социна (1539—1604), отрицавшего догмат о Троице, божественную природу Христа, первородный грех и возможность искупления.

С. 35. ...предавгустинианскими взглядами... — Святой Августин выступал с резкой критикой ересей — арианства, донатизма, пелагианства и др.

С. 39. ...как повторил бы... Поль Валери... — Имеется в виду его поэма «Морское кладбище» с ее сквозным образом морского крова.

С. 43. «Воровской закон», «Судьба» — испаноязычные прокатные названия фильмов американского режиссера Джозефа фон Штернберга «Подполье» (1927) и «Обесчещенная» (1931).

Из книги «Всеобщая история бесчестья»

С. 45. «Уничтожение Розы» — мистификация, приписанная некогда А. Шульцу — другу Борхеса, литератору и живописцу Алехандро Шуль Солару (1887—1963).

С. 46. Хиджра — переселение основателя ислама пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Медину в 622 г., позднее объявленное началом мусульманского летосчисления.

С. 47. Шаабан — восьмой месяц мусульманского календаря.

Рамадан (рамазан) — девятый месяц мусульманского года, время поста в честь ниспослания правовеерным Корана.

С. 48. Джихад («рвение») — канонический императив всем способным носить оружие приверженцам ислама вести войну против иноверцев.

Раджаб (реджеб) — седьмой месяц мусульманского календаря, когда в честь легендарного ночного полета Мухаммада из Мекки в Иерусалим на коне ал-Бураке (Коран, XVII) отмечается праздник «мирадж».

С. 49. ...гностической предыстории. — Гностицизм — совокупность религиозно-философских учений поздней античности и средневековья, объединивших элементы греческой философии, нарождающегося христианства и восточных религий и культов.

С. 58. «Смерть богослова» — переложение эпизода из книги Сведенборга «Истинная христианская религия» (1771).

С. 60. Сулейман — в мусульманской мифологии и фольклоре («Сказки тысячи и одной ночи» и др.) мудрый царь, соответствует библейскому Соломону.

«История о двух сновидцах». — Написана по мотивам «Рассказа о багдадце, который увидел сон» из «Сказок тысячи и одной ночи».

Из книги «История вечности»

С. 69. Джон Х. Уотсон — «доктор Ватсон» из рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

С. 71. «...a lean and evil mob...» — цитата из рассказа Киплинга «Город страшной ночи».

С. 75. Мухаррам — начальный месяц года у мусульман, первые десять дней которого для религиозной секты шиитов являются временем траура по великомученику Хусейну, погибшему в 680 г., и сопровождаются ритуальным самоистязанием («шахсей-вахсей»).

«Королева фей» (1590—1596) — незаконченная аллегорическая поэма Э. Спенсера.

Метемпсихоза («переедушевление») — термин, впервые встречающийся у историка I в. до н. э. Диодора Сицилийского и обозначающий у неоплатоников, пифагорейцев и др. переселение душ.

Симург — чудо-птица иранской мифологии, в поэме Аттара воплощает Бога.

С. 76. «В сумерках река времени...» — Цитируется стихотворение Унамуно из книги «Четки сонетов» (1911).

С. 77. Номинализм — направление философской мысли, отрицающее реальность общих понятий, считая их существующими не в действительности, а только в сознании; противоположную точку зрения формулирует т. н. реализм.

С. 80. ...метафизический Робинзон... — Действие философской утопии Ибн-Туфейля развивается, как и в романе Дефо, на необитаемом острове, куда герой заброшен волею случая.

...Китс... недалеко от истины... — см. эссе «Соловей Джона Китса».

С. 83. Фурвьер — холм в г. Лионе с руинами римского селения Лугдунума, музеем и базиликой Богоматери, возведенной на месте языческих жертвенников в 1870 г. (см. ниже об Иринее Лионском).

С. 84. ...Данте описывает их... — Ср. этот пассаж (и рассуждения ниже) в эссе «Оправдание каббалы» — случай самоповторения, у Борхеса нередкий.

С. 88. ...последним страницам «Улисса»... — Имеется в виду знаменитый «поток сознания» засыпающей жены героя.

С. 95. ...дунайские корабельщики... — Как рассказал позднее Борхес в «Семи вечерах», примеры взяты из новеллы «Род человеческий» Киплинга.

Сидон — древний город-государство в Финикии.

С. 96. ...пытаясь утешить друга... — Речь идет о «Стансах в утешение господину Дю Перье» Малерба.

С. 97. ...поразительная строчка Данте... — См. ее разбор в «Семи вечерах».

Из книг «Вымыслы» и «Хитросплетения»

С. 100. «Совокупление и зеркала — отвратительны» — Ср. эту фразу в новелле «Хаким из Мерва».

С. 102. Сайлес Хэйзлем. — Герою придана фамилия предков Борхеса по бабке со стороны отца, англичан, а титул «Всеобщей истории лабиринтов» перекликается с названиями сборников и ключевыми образами писателя.

Бернард Куорич. — Он распространял через свою лавку «Рубаи» Хайяма в переводе Фицджеральда и был его многолетним корреспондентом (письма изданы в 1926).

Андрее. — Этот мотив рассказа восходит к эссе Де Куинси «Розенкрейцеры и франкмасоны».

С. 104. ...алгеброй и огнем... — Ср. эту формулу в стихотворении Борхеса «Матф, 25:30» (сб. «Иной и прежний», 1964).

... brave new world... — заглавие романа Хаксли — цитата из шекспировской «Бури» (V, I).

С. 105. Юм заметил... — Цитируется трактат «Исследование о человеческом познании» (1.748, гл. XII, ч. I), где Юм полемизирует с «Опытом о новой теории зрения» Беркли.

С. 108. Элеатские апории — парадоксальные по видимости суждения, сформулированные элейской школой древнегреческой фило-

софии VI—V вв. до н. э. и прежде всего Зеноном («Стрела», «Черепаша» и др.).

С. 116. Адрогэ — район в Буэнос-Айресе, где прошло детство Борхеса (см. одноименное стихотворение в книге «Делатель», 1960).

...переложения... «Погребальной урны»... — Борхес перевел эту книгу вместе с А. Бьоме Касаресом.

С. 117. «Ла Конк» («Раковина») — малотиражный журнал французской литературной элиты, издававшийся писателем Пьером Луи; здесь были напечатаны ранние опыты Валери.

...об определенных связях... мыслей Декарта, Лейбница и Джона Уилкинса... — Имеется в виду проблематика универсального философского языка, которую Декарт обсуждает в одном из писем к философу М. Мерсенну (20 ноября 1629 г.), Уилкинс — в книге 1668 г., а Лейбниц — в «Универсальной символике» и «Новых опытах о человеческом разумении» (1704), где упоминает Уилкинса и Дельгарно.

«Универсальная символика». — Так иногда называют диссертацию Лейбница «О комбинаторном искусстве» (1666) по центральному для нее термину, подразумевающему систему всеобщих символов для обозначения основных понятий, над которой задумывались Р. Луллий, Николай Кузанский и др.

«Великое искусство» (опубл. 1480) — трактат Р. Луллия, предлагающий набор символов для кодировки логических операций.

С. 118. ...задача об Ахиллесе и черепахе... — Апория Зенона о неспособности быстрого Ахилла догнать черепаху; Борхес посвятил этой задаче свое эссе «Аватары черепахи» (сб. «Новые расследования»).

«Морское кладбище» — поэма П. Валери.

С. 119. «Введение в благочестивую жизнь» (1608) — трактат Франциска Сальского, в переводе Кеведо опубликован в 1634 г.

...филологический фрагмент Новалиса... — 2005-й фрагмент Новалиса гласит: «Я могу быть действительно убежден, что понял автора, лишь если я в силах полностью отождествиться с ним в любом движении его духа, лишь если я в состоянии, не искажая его своеобразности, перевести и преобразить его на сто разных ладов».

С. 120. ...блестящую мысль Доде... — Замысел объединить в одном герое и Дон Кихота, и Санчо Пансу сформулирован в главе VI романа «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона».

С. 121. «...речные нимфы...» — «Дон Кихот», ч. I, гл. 26.

«Where a malignant and turbaned Turk...» — реплика Отелло из одноименной драмы Шекспира (V, 2).

Эдмон Тэст — герой нескольких новелл П. Валери, полностью подчинивший способности разума своей творческой воле.

A! Bear in mind this garden was enchanted! — строка из стихотворения Э. По «К Елене» (1848).

С. 122. Роман-пастораль «Галатее» (1585), сборник «Назидательные новеллы» (1613), любовно-приключенческий роман «Странствия

Персилеса и Сехизмунды» (опубл. 1617), поэма «Путешествие на Парнас» (1614) — произведения Сервантеса.

Кармен — ставший хрестоматийным образ цыганки из одноименной новеллы П. Мериме (1845).

Лепанто. — Имеется в виду морская бой при Лепанто, где испано-венецианский флот разбил турецкую эскадру; Сервантес при этом был ранен.

С. 123. «Саламбо» (1862) — роман Г. Флобера, описывающий события в Карфагене III в. до н. э. средствами реалистического буржуазного романа; фантазмагоричность подобного реализма Борхес отмечал у Киркегора и Кафки.

«Час воздаяния и разумная Фортуна» (опубл. 1650) — собрание гротесков Кеведо.

«Предательство клерков» (1927) — снискавшая шумный успех книга публицистики Ж. Бенда, обвинившая интеллектуалов в политической ангажированности и духовном отступничестве.

Бертран Рассел. — Имеется в виду его деятельность борца за мир.

С. 125. Doctor universalis — почетный титул, которым была в средние века оценена энциклопедичность познаний Альберта Великого; позднее так именовали Фому Аквинского и других схоластов.

...читать «Одиссею» как произведение более позднее, чем «Энеида»... — Поэма Вергилия написана по крайней мере на шесть веков позже гомеровской.

«О подражании Христу» — трактат, приписываемый Фоме Кемпийскому.

«В Зазеркалье» (1871) — сказочная повесть Л. Кэрролла.

Зенд — иранская народность; языком зенд иногда (и неверно) называют авестийский.

С. 127. ...веществу, из которого созданы наши сны... — Шекспир «Буря» (IV, I).

...вить веревку из песка... — Это выражение тщеты человеческих усилий встречается как пословица у Ириния Лионского в книге «Против ересей» (I, 8, I), где относится к гностикам; его повторяет Дж. Герберт в строке, избранной Борхесом эпиграфом к рассказу «Книга песка».

С. 128. Гностическая космогония. — В центре космоса гностиков стоял идеальный человек, духовный антропос, земной и греховной ипостасью которого выступал первочеловек Адам (букв. «красная земля»).

С. 131. ...Пифагор вспоминал... — Это свидетельство древнегреческого философа Гераклида Понтийского приводится в известной компиляции Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (VIII кн.), не раз обращался к этим словам Лейбниц («Новые опыты о человеческом разумении», кн. I, гл. III).

С. 133. Бел (Балу, Баал, Ваал) — в западносемитской мифологии — божество, связанное с жидительными силами природы и изображавшееся в виде быка или человека с бычьей головой (ср. Минотавр).

С. 135. Небесный Архетип лотереи. — У Платона и его последователей чувственному миру противопоставляется область изначальных и неизменных, вечных идей-прообразов всего земного.

...император писал на раковинах участь... — В одном из т. н. «Жизнеописаний цезарей» Элия Лампридия в его биографии Антонина Гелиогабала говорится о ложках (XXII, 1).

Бог-эпоним — прародитель народа, дающий название ему и месту его обитания; здесь — финикийский бог солнца Гелиогабал.

Тапробана — старинное название Цейлона.

С. 137. ...как оды Каули... — Поэзия А Каули отличается сложной метафорикой и насыщенным архаизмами языком, почему не приобрела популярности даже после издания его двухтомника авторитетнейшим С. Джонсоном.

...одну из черт скромности... — Скромность в понимании себя и своих сил отмечается в эссе Т. С. Элиота «Урок Валери»; эпитет «скромный» нередок у позднего Борхеса.

С. 139. «Политик» (269—273) — диалог Платона, излагающий, в частности, миф о земнорожденных и обратном ходе времени; земнорожденными (автохтонами) гордо именовали себя афиняне, что вызвало резонное замечание Еврипида: «Не родит земля детей» («Ион», 542, пер. И. Анненского), — завуалированная полемика Борхеса с националистическим почвенничеством (ср. в эссе «Валери как символ»).

...десятую песнь «Ада»... — Данте наделяет даром ясновидения и неспособностью знать настоящее флорентийского гибеллина Фаринату дельи Уберти.

С. 140. ...Шопенгауэр о двенадцати Кантовских категориях... — В «Критике кантовской философии» (приложении к I тому «Мир как воля и представление») Шопенгауэр обнаруживает в логической таблице суждений из кантовской «Критики чистого разума» «удивительную любовь к симметрии».

С. 142. «Анатомия Меланхолии» (1621) — трактат Р. Бертона, по характеристике Борхеса, одна из самых интимных, наряду с монтеневскими «Опытами», книг в мировой литературе.

С. 143. ...Библиотека — это шар... — Ср. символику шара как воплощения Бога в эссе «Сфера Паскаля».

С. 144. ...число знаков для письма равно двадцати пяти... — Этот вариант универсального алфавита Борхес почерпнул у К. Лассвица.

«О время, твои пирамиды...» — Образ, повторяющийся в стихотворении Борхеса «Об Аде и Рае» (сб. «Делатель»).

С. 146. ...пропавшие труды Тацита. — Из его «Анналов» не дошли книги VII—X и некоторые части других.

С. 154. «Сон в красном тереме» — роман Цао Сюэциня, испанское издание которого Борхес рецензировал в 1937 г.; из него почерпнуто имя для борхесовского Ю Цуна.

С. 160. ...Ньютона и Шопенгауэра... — В эссе «Новое опровержение времени» Борхес указывает свои источники: «Математические начала натуральной философии» Ньютона (III, 42) и «Мир как воля и представление» Шопенгауэра (II, 4).

С. 162. Заратустра — в данном случае знаменитый герой философской рапсодии Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1884), сверхчеловек, преодолевший границы обычного.

С. 163. «О знаменитых мужах» — пособие для изучающих латынь «О знаменитых римских мужах от Ромула до Августа» (1775), составленное Ломоносом.

«Сокровищница» — учебная хрестоматия Кишера «Поэтическая сокровищница латинского языка» (1836).

«Комментарии» Юлия Цезаря — его «Записки о галльской войне» или «Записки о гражданских войнах», служившие учебными пособиями.

«Естественная история» — энциклопедический свод Плиния Старшего.

Итусаинго — место сражения 20 февраля 1827 г. между объединенными аргентино-уругвайскими войсками генерала Альвеара и бразильской армией.

С. 166. Кебрачо — место боя 28 ноября 1840 г. в ходе гражданских войн в Аргентине, где армия Росаса разбила отряды повстанцев генерала Лавалье.

С. 167. ...Локк предположил... — Проблемам понятийного языка посвящена III книга его труда «Опыт о человеческом разуме» (опубл. 1690).

С. 168. ...император Лилипутии видел движение минутной стрелки... — Свифт «Путешествие в Лилипутию», гл. 2.

С. 170. «В 1922-м...» — Имеется в виду гражданская война 1922—1923 гг. между ирландскими республиканцами, борющимися за полную независимость страны, и сторонниками англо-ирландского договора 1921 г., по которому Ирландия получала статус доминиона, а северные ее области оставались во власти англичан.

...о похищении быков... — сквозной для скотоводческой культуры мотив ирландских преданий — «Похищение коров Регамона», «Похищение стад Фрозха», «Похищение Быка из Куальнге» и др.

С. 171. Нишапур — город на северо-востоке Персии.

С. 178. Огюст Дюпен — детектив-любитель в рассказах Э. По.

С. 179. «Оправдание каббалы» — эссе самого Борхеса.

Тетраграмматон — четырехбуквенное тайное имя Бога.

Пятикнижие — книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, образующие основной священный текст иудаизма — Тору («Закон»).

С. 184. ... de more geometrico ... — отсылка к труду Спинозы «Этика, доказанная геометрическим способом» (1677); равносторонний треугольник символизирует у пифагорейцев космос в совокупности его элементов и в этом контексте близок к Тетраграмматону.

С. 186. Гермес — у греков бог — покровитель путников и проводник душ умерших.

...пораженный... ошеломляющим воспоминанием — воспоминание самого Борхеса о стеклах веранды в родительском доме (ср. стихотворение «Адрог» в кн. «Делатель»).

С. 187. Янус — у римлян бог входов и выходов, покровитель начал и начинаний; изображался с двумя ликами, ключами и 365 пальцами по числу дней года.

С. 189. ...правильный ромб... — образ космоса с его творцом в центре, священную символику его трактует Т. Браун в книге «Сад Кира» (1658).

...лабиринт... прямой линии... — В апории Зенона «Стрела» прямая делится на бесконечные отрезки, так что пущенная стрела движется, не двигаясь (образ неуклонной и непостижимой судьбы в стихотворении Борхеса «Неведомое», «Пантера» и др.).

Аватара — в индуизме — воплощение (чаще — бога Вишну).

С. 190. «Тайное чудо». — В рассказе соединены мотивы новеллы американского прозаика Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей» (сб. «В гуще жизни», 1891) и эссе Де Куинси «Чудеса как предмет свидетельства».

Яромир Хладик. — См. упоминание этого героя в рассказе «Три версии предательства Иуды».

С. 192. «Опровержение вечности» — контаминация заглавий книг и эссе Борхеса — «История вечности», «Новое опровержение времени».

С. 194. ...как утверждает Маймонид... — Цитируется его трактат «Путеводитель колеблющихся» (II, 45).

С. 196. «Три версии предательства Иуды». — Борхес отмечал в рассказе влияние некоторых идей Леона Блуа.

«Книга против всех ересей» — отсылка либо к труду Ириней Лионского, либо к «Опровержению всех ересей» («Философумене») Ипполита Римского (ок. 160 или 170—235).

«Синтагма» («Сочинение»). — Может иметься в виду либо синтагма против еретиков Иустина Мученика (переданная в сокращении Иринею), либо несохранившаяся синтагма против всех ересей Ипполита Римского.

С. 198. Докеты — приверженцы раннехристианской ереси, считавшие плоть наваждением нечистой силы, а потому телесные страдания Христа призрачными.

...в противоречии... Евангелия от Луки. — «Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искаротом, одного из числа двенадцати» (Лука, 22:3).

...ссылаясь на Евангелие от Иоанна, 12:6... — «Сказал же он (Иуда) это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали».

С. 199. ...в книге, Рунебергу неизвестной... — Имеется в виду документальная книга «Сертань» (1902, гл. 2, ч. 5).

С. 201. ...Симона Бен-Аззаи, который узрел Рай и умер... — «Хагига» (146).

Мидрашим — комментаторы Талмуда.

...Валерий Соран умер... — О его предательстве — а города назывались именами их божеств-покровителей, и знание имени давало власть над городом — рассказывает Плиний Старший в «Естественной истории» (III, 65).

«Юг». — Рассказ воспроизводит эпизоды из биографии Борхеса (несчастный случай в 1938 г., повлекший за собой заражение крови, опасную болезнь и позднее — утрату зрения).

С. 202. «Мартин Фьерро» (1872—1879) — знаменитая поэма о гаучо Х. Р. Эрдандеса.

С. 205. «Поль и Виргиния» (1787) — идиллический роман Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера.

Из книги «Алеф»

С. 209. Картафил (а также Эспера-Диос, Иоанн Бутадеус и др.) — одно из имен Агасфера, Вечного Жида, героя легенд позднего средневековья, проклятого на скитания до Второго пришествия за то, что отказал Христу в отдыхе на крестном пути; по одной из легенд XIII в., он покаялся и принял имя Иосиф; истории о нем рассматривает среди «ходячих заблуждений» Т. Браун («Pseudodoxia epidemica», VII, 17, 5).

С. 210. Салоники — греческий порт на Эгейском море.

Макао — полуостров и группа островов в Южно-Китайском море, с 1680 г. — владение Португалии.

Смирна и Иос — места, претендовавшие на право считаться родиной Гомера.

Береника — торговый город на побережье Красного моря.

С. 211. Гетулия — область на северо-западе Африки.

Арсиное — египетский город в Файюме.

Троглодиты, гараманты — древние народы, населявшие Северную Африку и описанные Страбоном, Геродотом, Плинием и др.

Авгилы (Авгила) — местность и селение на севере Африки.

Тартар — у греков — местность за пределами царства мертвых Аида, «нижнее небо» мира.

С. 213. «Богатые жители Зелы...» — «Илиада», II. Зела (Зелия) — город в Малой Азии.

...несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу... — «Энеида», V.

С. 214. ...город стоял на огромной каменной скале. — В описании есть сходство с визионерскими гравюрами Пиранези и опиумными видениями Колриджа и Де Куинси; ср. с обстановкой новелл «Смерть и буссоль» и «Дом Астерия».

С. 217. Аргус — еще и многоглазый страж в греческой мифологии.

С. 218. Фессалия — область на северо-востоке Греции, излюбленное место греческих мифов.

Кибела — малоазиатская богиня, обряды в ее честь отличались экстатическим воодушевлением жрецов-корибантов.

С. 219. ...войну мышей и лягушек. — Имеется в виду «Батрахомиахия», ироикомическая поэма, приписывавшаяся Гомеру.

С. 220. «Эклоги» — «Буколики» Вергилия.

Как Корнелий Агриппа... — пассаж из его трактата «Гайная философия» (III, 38).

С. 221. Танжер — древний город и порт на севере Марокко.

С. 222. ...я сражался на Стэмфордском мосту... — Стэмфордбридж близ Йорка — место сражения между отрядами норвежского короля Харальда Сигурдарсона, по прозвищу Хардрода (Суровый), который погиб в этом бою 25 сентября 1066 г., и войсками последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона, последний погиб позднее, в битве при Гастингсе в октябре того же года, сражаясь с норманнскими войсками Вильгельма Завоевателя; у Борхеса оба события соединены.

...шесть или чуть более футов... земли... — чуть измененная цитата из «Круга земного» Снорри Стурлусона («Сага о Харальде Суровом», 91), приводимая Т. Карлейлем в его книге «Первые короли норвежцев» и не раз повторяемая Борхесом в стихах и прозе.

Булак — старинное предместье Каира.

Биканер — город на западе Индии.

Абердин — город-порт в Шотландии.

Джамбаттиста. — Имеется в виду Джамбаттиста Вико.

«Патна» — название судна в романе Дж. Конрада «Лорд Джим» (1900).

Эритрея — область в Эфиопии на берегу Красного моря.

С. 224. ...библейски озаглавленная «A coat of many colours». — Так в английской традиции со времен Библии короля Джеймса (1611) называется пестрая рубаха «кетонет», которую Иаков в знак особой любви дарит Иосифу (Бытие, 37:3) и которую братья срывают с него, бросая свою жертву в колодец (37:23).

Центон (лат. «одеяло из лоскутов») — стихотворение, составленное из заимствованных у разных авторов строк; таков же смысл и греческого названия популярных средневековых сборников — строматы, среди которых наиболее известен часто цитируемый Борхесом труд Климента Александрийского; далее перечисляются авторы, охотно прибегавшие к подобной игровой форме переосмысления традиций.

...из Томаса Де Куинси... — Имеется в виду эссе «Гомер и гомериды».

...из письма Декарта... — В письме от 6 июня 1647 г. приводится поверье эфиопов о нежелании обезьян говорить, чтобы люди не заставили их работать.

С. 225. Лангобарды — германское племя, вторгшееся в Северную Италию в 568 г.

С. 226. Арианство — учение последователей богослова-еретика Ария.

С. 227. ...дал жизнь Алигьери... — В Равенне покоится прах Данте.

С. 229. «Дом Астерия». — Стимулом к созданию рассказа послужило, по свидетельству Борхеса, полотно Дж. Ф. Уотса «Минотавр». Астерий (Звездный) — человекобык Минотавр, пребывающий на острове Крит в построенном Дедалом лабиринте и ждущий человеческих жертвоприношений; он рожден критской царицей Пасифаей от посланного Посейдоном быка или от самого бога. Поэтому его убийца Тесей приходится ему братом по отцу, а помогшая в этом герою дочь критского царя Миноса Ариадна — сестрой по материнской линии.

С. 230. ...похожий дом есть в Египте. — Имеется в виду файюмский «Лабиринт», одно из семи чудес света, постройку которого Геродот, Плиний и др. античные авторы приписывали фараону Аменхету III из XII династии (ок. 1849 — ок. 1801 до н. э.).

С. 232. Масольер — место сражения 1 сентября 1904 г. в ходе революции в Уругвае.

С. 233. Ильескас, Тупамбае — места сражений в ходе уругвайской революции 1904 г.

...«белые» деньги... — от испанского blanco — «белый»: так называли сторонников уругвайской партии феодалов, их противников звали colgado — «ярко-красный».

С. 234. Лорд Джим — герой одноименного романа Дж. Конрада.

Разумов — герой его же романа «Глазами Запада» (1911), предатель народовольческой группы.

Артигизм — подчеркивание национального превосходства уругвайцев, культ национального героя Х. Х. Артигаса.

С. 235. Каганча — место победы 29 декабря 1839 г. уругвайских сил, возглавляемых Ф. Риверой, над вторгшимися войсками П. Эчагуэ.

Индия-Муэрте. — Здесь войска Риверы были 27 марта 1845 г. разбиты армией Уркисы.

С. 237. Фредегар Турский — видимо, ошибка Борхеса: в данном контексте речь может идти о философе и теологе XI в., схоластике Беренгаре Турском.

«Summa theologica» — центральный труд Фомы Аквинского.

С. 238. ...наивный Вергилий... о сотворении Бога. — Имеется в виду знаменитая четвертая эклога из его «Буколик»: в ее главном образе — царственном младенце, сулящем «золотой век», позднее христианскими авторами было усмотрено пророчество о рождении Спасителя, откуда и высокий авторитет Вергилия в средние века, оценка его у Данте и т. д.

«Deutsches Requiem» — оратория Брамса.

Цорндорф — место сражения прусских войск и русской армии в ходе Семилетней войны.

С. 239. Маршенуар — французское селение, место боев в ходе франко-прусской войны.

С. 241. Павел — апостол, прежний гонитель христиан Савл, основатель христианской общины в Эфесе.

Раскольников — герой «Преступления и наказания» Достоевского.

С. 242. Шейлок — герой драмы Шекспира «Венецианский купец».

С. 243. Эль Аламейн — селение в Египте, где 8-я армия британского генерала Монтгомери нанесла поражение итало-немецким войскам.

С. 245. «Поиски Аверроэса» — эпиграф и основные данные об ибн Рушде почерпнуты Борхесом из эссе Ренана «Аверроэс и аверроизм» (I, 1, § 6).

С. 246. Улемы — сословие мусульманских богословов и законоучителей.

«Поэтика» — трактат Аристотеля, переведенный на арабский язык (с сирийского) в X в. и до XIV столетия известный в Европе лишь по описанному здесь краткому изложению Аверроэса (1174) в переводе Генриха Алеманна.

«Риторика» — трактат Аристотеля, переведенный на арабский Исахаком ибн-Хунайном (ум. 910).

С. 247. Аль-Андалус — арабское название завоеванных мусульманами областей средневековой Испании, объединенных в эмират (позднее — халифат) со столицей в Кордове.

С. 248. ...рассуждения... Юма... — Скепτικο-рационалистические взгляды Юма на природу и значение религии изложены им в труде «Диалоги о естественной религии» (опубл. 1779) и др.

С. 248. «Республика» — диалог Платона «Государство», на арабский язык переведен Хунайном ибн-Исхаком.

С. 249. Зу-л-Карнайн — герой мусульманской мифологии (Коран, 18:82 и след.), исламскими комментаторами отождествляемый с Александром Македонским.

Гог и Магог (Йаджудж и Маджудж в Коране) — враждебные людям существа, живущие на крайнем востоке земли и угрожающие миру; их удерживает плотина (или вал), возведенная Зу-л-Карнайном; иудеи помещали их рядом с мидянами и киммерийцами, в эпоху эллинизма (у Иосифа Флавия) за них принимали скифов, в Византии — отождествляли с русскими, в средневековой Европе — с татаро-монголами.

С. 250. ...история о спящих в Эфесе — перенесенная на Восток по крайней мере до V в. христианская легенда о семи эфесских юношах-христианах, укрывшихся в пещере от преследований в эпоху римского императора Деция и проснувшихся через два века при ревнителе христианства Феодосии; предание вошло в Коран (сура «Пещера»), благодаря чему асхаб ал-кахф («обитатели пещеры») и их пес Китмир стали широко популярны в мусульманском мире.

С. 252. Русафа — квартал в старой Кордове, названный эмиром в память о поместье близ Дамаска.

С. 256. ...о черном солнце. — Черное солнце — сквозной образ европейской литературы и искусства в их визионерских ответвлениях — у Блейка (в поэзии и графике), немецкого писателя Ж.-П. Рихтера, Мильтона, Гюго, французского поэта и прозаика Ж. де Нерваля, живописца О. Редона и др.

...обол, который просил Велисарий... — Предание о нищенской кончине знаменитого полководца опровергает Т. Браун («Pseudodoxia epidemica», VII, 17, 1) и повторяет в своей «Истории» Э. Гиббон (гл. 43).

...драхмы... Лаис... — Об этом рассказывает позднегреческий прозаик Афиней («Пирующие софисты», XIII).

Исаак Лакедем (или Лакедион) — имя Агасфера во французской традиции.

...шестьдесят тысяч монет... Фирдоуси... — По преданию, поэт вернул их султану Махмуду Газневи, не оценившему по достоинству его знаменитую поэму «Шахнаме».

Ахав — герой романа Мелвилла «Моби Дик» (эпизод из главы 36).

...флорин Леопольда Блума... — Леопольд Блум — герой «Улисса» Джойса (эпизод из главы XIV).

...луидор... Людовика XVI... — Речь идет об эпизоде с выдавшим короля профилем на ассигнации (а не монете), рассказанном Карлейлем во «Французской революции» (IV, 6).

С. 257. Протей — принимающий любые очертания морской бог греческой мифологии, наделенный к тому же даром ясновидения: Менелай на острове Фарос («Одиссея», IV) узнает от него о судьбах греческого войска; для Борхеса — символ творческого сознания поэта

Стоики — приверженцы философского течения, сложившегося в Греции около 300 г. до н. э. и исходившего из концепции предопределенности природы.

С. 258. ...«кровь»... «вода меча»... — устойчивые лексические формулы поэзии скандинавских скальдов; Борхес посвятил им эссе «Кенинги» (сб. «История вечности»).

Гнитхейдр, Грам, Фафнир и др. — реалии и герои германо-скандинавского мифа о Нибелунгах, изложенного в «Старшей Эдде», «Саге о Вэльсунгах», «Песни о Нибелунгах» и т. д.

С. 260. Синд — провинция на юго-востоке Пакистана.

С. 261. Йаук — в мусульманской традиции (Коран, сура «Нух») имя одного из древних божеств, ныне — воплощения дьявольского соблазна; идол Йаука представлял собой коня.

...пророк из Хорасана... — См. рассказ «Хаким из Мерва».

«Гулшан-и-раз» — трактат Махмуда Шабистари, излагающий основы суфизма — мистико-аскетического течения мусульманской мысли.

...Теннисон сказал... — См. стихотворение «Цветок на треснувшей стене...».

С. 262. ...человек — это микрокосмос... — древний мифологический символ, истолковываемый философией от досократиков до Фладда, теологией отцов церкви (Григорий Назианзин, как полагают, и ввел термин «микрокосмос»), религиозной и мистической поэзией (Дж. Донн и др.).

С. 266. ...со своими обстоятельствами... — Несколько измененная цитата из эссе «Размышления о Дон Кихоте» Х. Ортеги-и-Гассета (1914, «Обращение к читателю»).

С. 268. Корнуолл — полуостров на юго-западе Англии.

С. 269. ...украденное письмо По... — См. новеллу «Похищенное письмо» (1844).

...запертую комнату Зангвилла... — Речь идет об обстановке действия в романе «Тайна Биг Боу» (1891).

...всякая прямая была дугой... — Прямая как дуга бесконечной окружности (а также треугольник и шар) служила Николаю Кузанскому символом божественного абсолюта («Об ученом незнании», I, 13—15).

С. 270. ...история царя, который... воздвиг лабиринт... — Имеется в виду критский царь Минос.

С. 271. Плиниевы драконы. — См.: «Естественная история» (VIII, 11—13); Борхес включил эти сведения в свой компендиум «Руководство по фантастической зоологии».

С. 272. Сражения при Абукире и Трафальгаре. — Здесь названы места побед английского флота адмирала Г. Нельсона над силами Франции (1798 и 1805 гг.).

С. 274. ...Минотавр... с телом быка и головой человека... — «Ад», XII, 11—25; у Данте это чудовище помещено в круг седьмой, отведенный насильникам.

С. 277. ...«вплоть до Востока, до Ганга»... — то есть до восточных границ мира; начальные строки X сатиры Ювенала.

С. 278. Годы отшлифовали... его... — самоповторение (см. рассказ «Юг»).

С. 279. Восстание. — Имеются в виду волнения сипаев (1857—1859) в Индии.

С. 282. «О Граде Божиим» — трактат Августина, написанный под живым впечатлением взятия Рима в 410 г. вестготскими войсками Алариха; полемика с воззрениями Платона на природу времени («Государство», кн. X) ведется в двенадцатой книге трактата (гл. XIII).

Аквилея — столица Венеции (Сев. Италия), разгромленная гуннами Атиллы в 452 г.

Колесо и Змея — символы бесконечности, почитавшиеся в гностицизме (офиты и др.); для христиан — атрибуты язычества и сатанизма.

С. 283. ...аргументами Прокруста... — то есть силой: мифологический разбойник Прокруст истязал свои жертвы молотом и пилой.

Диалог Плутарха «Об упадке оракулов» — не раз упоминается у Т. Брауна («Pseudo doxia epidemica», VII, 12).

...Иисус — это прямой путь... — соединение двух цитат из труда Августина «О Граде Божиим» (XII, 17 и 20).

С. 284. Иксион — у греков фессалийский царь, навеки наказанный Зевсом распятием на огненном колесе за попытку овладеть богиней Герой; вместо нее Зевс подослал незадачливому сопернику облако, от соития с которым родились кентавры (сюжет, изложенный греческим поэтом Пиндаром во II Пифийской оде).

...фиванским царем, увидевшим два солнца... — Имеется в виду Пенфей, которого таким способом морочит бог Дионис: его культу Пенфей пытался воспротивиться, за что и был растерзан вакханками (Еврипид «Вакханки», эпизод IV).

Нория — колодезное устройство в виде колеса с черпаками.

...пассаж... Оригена... — В трактате «О началах» (Кн. 2, гл. 3) Ориген противопоставил изложенным взглядам Эпикура и его сторонников тезис о свободе произволения души, самостоятельно избирающей добро и зло и этим разрывающей заколдованный круг предопределения: ангелы и демоны различны не по природе, но по воле (кн. I, гл. 7; то же и у Августина в I гл. XII кн.) — идея, центральная для понимания ересиологического сюжета новеллы, а также рассказа «Три версии предательства Иуды».

...Павел будет... при мученической гибели Стефана... — «Деяния апостолов», VII, 58.

...пассаж... Цицерона... — В кн. II (XVII, XXVI, X) трактата «Первые Академики» в ходе диалога между Лукуллом и Катуллом приво-

дится мнение Антиоха Аскалонского, доводящего принципы атомистики Демокрита до утверждения о множественности одновременно сосуществующих миров и повторении в них любого события, включая ведущийся героями диалог; этот пассаж Борхес обсуждает в эссе «Циклическое время» (сб. «История вечности») и реализует некоторые его возможности в новелле «Сад расходящихся тропок».

Послание к евреям — новозаветный текст, приписываемый традицией апостолу Павлу (см. выше), до обращения в христианство именованному Савлом.

С. 285. Эвфорбий. — См. это имя в новелле «Потеря в Вавилоне».

Рунический крест. — Видам и символике крестов, выражающих сущность божественного абсолюта, посвящена гл. I книги Т. Брауна «Сад Кира».

С. 286. «Христианская топография» (ок. 1547) — трактат Космы Индикоплевста, опровергающий «языческую», птолемеевскую картину мира.

«Формы». — Среди ста сект, описанных Дамаскином в книге «О ересях», подобной нет: о «формах» или «образах» говорится как о символическом представлении божественной сущности на иконах или в тварных существах, людях; впрочем, на апокрифичность ссылки указывает и автор рассказа.

С. 287. Демосфен... об очищении грязью... — В речи за Ктесифонта «О венке» этот обряд относится вообще к культам восточного происхождения.

С. 290. ...Цезарь оплакивал гибель Помпея. — Цезарь привел Помпея к гибели: услугой ему было убийство Помпея заговорщиками (Плутарх «Помпей», 77—79), однако император отвернулся и пролил слезы, когда в Александрии ему поднесли голову убитого соперника («Цезарь», 49).

С. 291. «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) — один из главных трудов Т. Гоббса.

С. 292. Делия Сан-Марко — добрая знакомая Борхеса, ее кончице посвящено стихотворение в прозе из кн. «Делатель».

Аэдо — фамилия родственников Борхеса; см. рассказ «Фунес, чудо памяти».

С. 294. ...бессмертную безделку... славного савояра... — Речь идет о книге жанровых зарисовок Ксавье де Местра «Путешествие вокруг собственной комнаты» (1794), где он изобразил свои досуги под домашним арестом за участие в дуэли; сам писатель родом из провинции Савоя.

С. 295. «Полиольбион» (1612—22) — описательная поэма М. Дрейтона.

С. 296. «Георгики» — поэма Вергилия о трудах земледельца.

«Дон Сегундо Сомбра» (1926) — роман из жизни пастухов-гаучо Р. Гуиральдеса.

С. 301. ...перс... говорит о птице... — отсылка к поэме Аттара «Беседа птиц» (ср. рассказ «Приближение к Альмутасиму» и притчу «Четыре цикла»).

Иезекииль — иудейский пророк, ему приписывается книга видений в Библии; среди них — четыре животных с четырьмя лицами — человека, льва, тельца и орла; позднее этот образ вошел в Апокалипсис (4:6—7) и переосмыслен Иринеем как выражение различных сторон деятельности Христа, символ четырех евангелий и евангелистов («Против ересей», III, II, 8) — эта трактовка вошла в средневековую традицию.

С. 302. ...разрушенный лабиринт... — Лондон после немецкой авиабомбежки 1940 г.

Инвернесс — графство и город в Шотландии.

Керетаро — провинция и город в Мексике, здесь был расстрелян французский эрцгерцог Максимилиан (1867).

С. 303. Мирсапур — город в Индии на берегу Ганга.

Чакарита — кладбище в Буэнос-Айресе.

С. 304. Вторая Национальная премия по литературе. — Юмористически обыгрывается автобиографическая история, когда в 1942 г. по соображениям благонадежности Борхесу отказали в национальной премии за книгу новелл «Сад расходящихся тропок» (1941) и вручили ее Э. Асеведо Диасу (см. ниже); возмущенные цензурой властей писатели устроили Борхесу торжественный обед.

Марио Бонфанти — герой пародийной новеллы Борхеса и Бья Касареса «Махинации Санджакомо» (сб. «Шесть задач для дона Исидоро Пароди»).

«Карты шулера» — неизданная книга юношеских рассказов Борхеса.

Эн-соф («бесконечное») — в философии каббалы обозначение беспредельного и свободного от всякой предметности божества

Теория множеств — раздел математики, основы которого разработаны Г. Кантором.

С. 305. Кай Хусроу (Кави Хосрава) — герой иранской мифологии, царь из легендарной династии Кейянидов, чьим подвигам посвящена поэма Фирдоуси «Шахнаме».

«Правдивая история» Лукиана — рассказ о фантастическом путешествии, давший, наряду с «Одиссеей», начало сюжету утопических странствий в литературе.

Из книги «Новые расследования»

С. 307. «Дунсиада» (1728) — ироикомическая поэма А. Попа.

Первый Император — мифологический герой Древнего Китая Хуан-ди.

С. 308. ...один царь в Иудее... — Имеется в виду Ирод, прокуратор римской провинции Иудея, устроивший в Вифлееме убийство 14 тысяч младенцев в попытке погубить новорожденного Иисуса.

Все вещи хотят продлить... — См.: Спиноза «Этика», III, 6; ср. в рассказах «Борхес и я» и «Диалог мертвых» (сб. «Делатель»).

С. 310. ... стихи должны появляться... — Письмо Дж. Тейлору 27 февраля 1818 г.

Руфь — бедная моавитянка из библейской «Книги Руфь», вынужденная собирать пропущенные жнецами колоски на поле богача Вооза.

С. 312. Кэмбриджские платоники — английские философы и теологи II половины XVII в., преподававшие в Кэмбриджском университете.

«Convivio», IV, 2. — У Данте здесь цитируется IV книга «Физики» Аристотеля, трактующая природу времени.

С. 313. «Esse est percipi» — положение философии Беркли.

Образ тигра — в стихотворении Блейка «Тигр» (кн. «Песни опыта»).

С. 315. ...словами Уильяма Хэзлитта... — не раз повторяемая Борхесом фраза из «Чтений об английских поэтах».

С. 319. ...фигуру треугольника. — Ср. символику равностороннего треугольника в рассказах «Смерть и буссоль» и «Абенхакан эль-Бохари».

С. 320. ...учения, родившегося в Никее... — Никейский собор в 325 г. осудил арианство и принял канонические формулировки основных догматов христианства (т. н. символ веры).

С. 325. ...Шекспир ...написал комедию ... — «Конец — делу венец». «Хвастливый воин» — комедия Плавта.

С. 327. Яма — царь мертвых в индусской мифологии.

С. 330. Школа махаяны — одно из двух основных направлений в философии буддизма, включающее мадхьямику и йогачару.

С. 331. ...счастливый принц умирает во дворце... — «Счастливый принц» — сказка О. Уайльда, в детстве переведенная Борхесом.

Парадокс Зенона. — Мысль о Зеноне как предшественнике Кафки Борхес сформулировал еще в рецензии 1937 г. на издание романа «Процесс».

С. 334. «Betrachtung» (1913) — первый сборник рассказов Кафки.

С. 338. ...история нескольких метафор... — См. эссе «Метафора».

...Бога в образе вечной сферы... — Суждение Ксенофана о шаровидной сущности божества приводит Диоген Лаэртский (IX, 19).

...у Платона в «Тимее»... — См. диалог «Тимей», 33в—34в.

Парменид повторил этот образ... — См. поэму «О природе».

...Эмпедокл... придумал сложную космогонию... — См. его поэму «О природе».

С. 339. Гермес Трисмегист (Триждывеличайший) — позднеантичное имя греческого бога Гермеса, с которым связываются возникшие между III в. до н. э. и III в. н. э. тайные учения, позднее давшие богатый материал для алхимических и мистических доктрин.

Тот — египетский бог мудрости, счета и письма; как проводник душ в царство мертвых в эллинистический период и позже отождествлялся с Гермесом.

«Бог есть умопостигаемая сфера...» — Алан Лилльский приводит эту цитату в своем трактате «Правила богословия», позднее — кроме упомянутых Борхесом авторитетов — на нее ссылаются Маймонид («Путеводитель колеблющихся», I, 72), немецкие мистики Майстер Экхарт и Генрих Сузо, а также Николай Кузанский, Томас Браун, Лейбниц и др.

«Тройное зеркало» — свод разнообразных познаний средневековья, составленный Винцентом из Бове и включающий сведения о природе, науке и истории.

С. 341. «Анатомия мира» — цикл из трех элегий Дж. Донна; во второй элегии, иногда называемой «Упадок мира» и посвященной годовщине смерти близкой Донну молодой девушки, воссоздается картина неуклонного оскудения природы и человечества (цит. строки 141—143).

...Мильтон... его биограф... — С. Джонсон в биографии Мильтона, вошедшей в его «Жизнеописание виднейших английских поэтов» (1779—1781), говорит о страхе автора, что его поэма «Потерянный рай» (1667) «создана в эпоху, слишком позднюю для героической поэзии».

...Саут замечательно написал... — Приводятся слова из проповеди Саута «Итак, Бог создал человека по образу своему».

«Устрашающая сфера...» — фраза из «Мыслей» (опубл. 1669); подчеркнутое впоследствии первое слово перекликается с другим суждением из тех же «Мыслей»: «Вечное молчание этих беспредельных пространств устрашает меня».

С. 342. Кубла-хан — монгольский хан Хубилай (см. Аннотированный указатель имен).

Суинберн почувствовал... — Цитируется его предисловие к изданной им книге Колриджа «Кристалль и другие стихотворения» (1869), причем Борхес, как и в ряде других случаев, объединяет фразы из разных частей текста.

...разять радугу. — См.: Китс «Ламия» (II, 237).

С. 343. Кэдмон — неграмотный монах обители в Уитби, о котором рассказывает Бэда Достопочтенный; современные исследователи склоняются к легендарному происхождению Кэдмона, указывая, что лишь три строки из приводимых восемнадцати не являются расхожими поэтическими клише эпохи.

С. 346. Вечный объект — в философии Уайтхеда понятие, близкое по смыслу к «идее» у Платона — вневременной образец сущего.

«Фарсалия» — поэма Лукана о гражданской войне между Цезарем и Помпеем.

Унамуно, Асорин, Мачадо — испанские писатели, представители «поколения 98 года», объединенные чувством краха имперской идеи нации и поиском глубинных корней испанского самосознания в природе, укладе и языке сельской Испании, в ее неофициальной истории.

С. 347. «Сартор Резартус» (1833—1834) — проникнутый духом игры и пародии философский роман Т. Карлейля.

С. 348. ...сказка ночи ДСП... — многократно упоминаемый Борхесом эпизод (см. рассказ «Сад расходящихся тропок»), замыкающий повествование «Тысячи и одной ночи» в круг.

С. 349. ...Карлейль заметил... — См. роман «Сартор Резартус».

«Человек Толпы» — новелла Э. По (1840), повлиявшая на урбанистические мотивы в лирике и прозе Бодлера («Толпы» и др.).

С. 350. ...статуя в черно-красной комнате... — сюжетная канва рассказа По «Маска красной смерти» (1842).

Прерафаэлиты — группа английских художников и писателей (Моррис, Россетти, Хант и др.), выдвинувших в качестве объединяющего символа образ жизни и представления о культуре эпохи итальянского средневековья и раннего (до Рафаэля) Возрождения; ввели в обиход и другие памятники средневековых культур — скандинавские саги, испанский романс, поэзию Востока.

Уризен — символический образ Творца людей в пророческих поэмах Блейка.

С. 351. ...Руми сочинил стихи... — отсылка к его «Газелям», переведенным в 1819 г. Ф. Рюккертом.

С. 352. ...готических мастеров — Браунинга и Диккенса... — С представителями романтического «страшного» романа (Ч. Мэтьюрин, Г. Уолпол, А. Рэдклиф) Диккенс и Браунинг сближены интересом к «темным» сторонам душевной жизни, взятой в ее противоречивости; Диккенс испытал и прямое влияние готического романа.

...из материи его снов... — Повторяется реминисценция шекспировской «Бури» (IV, I).

С. 354. Декарт в письме... — Имеется в виду письмо 20 ноября 1629 г. Марэну Мерсенну.

Из книги «Делатель»

С. 359. Argumentum orn: tologicum. — Отсылка к т. н. «онтологическому аргументу» существования Бога у Ансельма Кентерберийского.

С. 360. Сид Ахмет Бен-Инхали — вымышленный «арабский историк», в «случайно купленной тетрадке» которого Сервантес («Дон Ки-

хот», I, IX) обнаруживает повествование о своем герое и которому в дальнейшем приписывает свой роман.

С. 363. Рагнарёк — в скандинавских мифологических поэмах — «Старшая Эдда», «Младшая Эдда» и др. — гибель богов и всего мира, которой завершается сражение богов с хтоническими чудовищами.

Из книги «Иной и прежний»

С. 367. «Кратил» — диалог Платона о природе языка, его герой — греческий философ V—IV вв. до н. э. Кратил.

С. 368. О Старой Праге и ее равнине. — Речь идет о герое еврейских легенд ребе Леве бен Безабель, создавшем (около 1580 г.) искусственного человека Голема; легенды вошли в сюжет романа Г. Мейринка «Голем», прочитанного Борхесом еще в годы женеvской юности.

С. 373. Барух — Спиноза (см. Аннотированный указатель имен).

Аверно (Авернское озеро) — место близ Кум в провинции Кампания, в античной мифологии — вход в подземное царство мертвых.

С. 375. Сыну. — Детей у Борхеса не было, см. об этом в стихотворении «Things that might have been» (сб. «История ночи», 1977).

Из книги «Хвала тьме»

С. 377. Иоанн, 1:14. — «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

С. 381. Ultima Tule («Дальняя Фула» в песенке из гетевского «Фауста») — остров на Крайнем Севере, открытый греческим мореплавателем Пифеем, предел земли, отождествлявшийся то с Шотландскими островами, то с Исландией и т. п.

Сигурд — герой германо-скандинавской мифологии, он добывает клад у дракона Фафнира.

Из книги «Сообщение Броуди»

С. 386. Хулиана Бургос — фамилия героини взята из романа Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра».

С. 389. «Я сегодня ее убил». — Финал рассказа предложен Борхесу матерью, Леонор Асеведо.

С. 390. Карлейль писал... — См. в книге «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841).

Курс истории Гроссо... — Имеется в виду «Курс национальной истории» (1898) А. Гроссо.

С. 392. Хуан Морейра — герой одноименного романа Э. Гутьерреса, а позднее — драмы Х. Х. Подесты, «настоящий гаучо».

С. 397. Тридцать Три — группа уругвайских патриотов, высланных из страны в период бразильского господства и предпринявших в 1825 г. переворот, который завершился завоеванием государственной независимости и образованием в 1830 г. Республики Уругвай.

Апарисио — Саравия (см. Аннотированный указатель имен).

С. 399. Гуаякиль — город в Эквадоре, где 26—27 июля 1822 г. состоялась встреча руководителей борьбы за освобождение от испанского ига Боливар и Сан-Мартина; после строго секретных переговоров Сан-Мартин устранился от руководства освободительным движением и покинул страну, а Боливар завершил освобождение континента от колониального господства.

С. 400. Юзеф Коженевский — настоящее имя Джозефа Конрада (см. Аннотированный указатель имен).

С. 401. Мартин Хайдеггер — упомянут здесь в связи с двусмысленной политической и этической позицией, которую он занял после прихода германских нацистов к власти.

...пляшущий Давид... — Библейский царь Давид пляшет при перенесении ковчега в Иерусалим (II книга Царств, 6); соединение мотивов священного избранничества и непристойности, связанное с трактовкой в рассказе национальной темы и для Борхеса вообще подозрительное, доводится здесь до убийственной карикатуры сближением иудейского царя с вождем «новой Германии».

С. 402. ...«роскошное одеяние»... — В оригинале «нескладнейшее платье» — из стихотворения А. Мачадо «Портрет» (сб. «Поля Кастилии», 1912).

С. 403. Хунин — озеро и город в Перу, место победы войск Боливара над силами испанцев, вклад в которую внес прадед Борхеса Суарес.

...под редакцией Гризебаха... — На это издание 1892 г. Борхессылается в эссе «История вечности».

...Я и не выходил никогда из этой библиотеки... — См. стихотворение «Читатели» и эпилог к книге «История ночи».

С. 408. Отец, неверующий... — автобиографический пассаж, не раз повторяющийся тем или иным героем Борхеса.

С. 410. «Табаре» (1888) — поэма Х. Соррильи де Сан-Мартина.

Лагуна де Гомес, Брагадо и т. д. — названия мест из романа Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра».

С. 414. Иеху — примитивные существа из «Путешествия Гулливера» Свифта.

С. 415. Алькасар — название исторических сооружений (цитаделей, дворцов) в мавританской Испании (Кордова, Гранада и др.).

С. 417. «Скоро мы услышим крик птицы». — Ср. эту фразу в рассказе «Ульрика».

Из книги «Золото тигров»

С. 423. «On his blindness» — сонет Дж. Мильтона.

С. 425. ...присягал Уркисе и Ривере. // Обоим. — Два этих военачальника были противниками: в 1845 г. под Индиа-Муэрта Уркиса разбил Риверу.

С. 425. ...расправился с Лапридой... — Лаприда убит повстанцами во главе с предводителем унитариев Хосе Феликсом Альдао (1780—1845).

С. 426. ...Елена ... была ... виденьем... — О Елене как наваждении писал уже греческий поэт Стесихор (ок. 640—555 до н. э.), позже это стало сюжетом драмы Еврипида «Елена» (412 до н. э.).

«Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» — английский стихотворный роман XIV в., повествующий о рыцарях Круглого стола, но начинающий рассказ с разрушения Трои.

Вильям Незаконнорожденный — имя норманского герцога и английского короля Вильгельма Завоевателя в скандинавских сказаниях («Сага о Харальде Суровом» в «Круге земном» Снорри Стурлусона и др.).

...Россетти ... представит... — в стихотворении «Град Троя».

...Ййтс предпочтет... — стихотворение У. Б. Ййтса «Лебедь и Леда»; бог Зевс явился Леде в образе лебедя, отчего и родилась виновница троянской войны Елена.

...золотые яблоки... — яблоки вечной молодости, которые похищает у Гесперид Геракл; аналогичный мотив прослеживается в кельтских сказаниях об Артуре, фантастических ирландских сагах и др.

Грааль — волшебный сосуд европейских средневековых легенд, в котором, по преданию, собрана кровь Христа; поиски Грааля образуют сюжет французских стихотворных романов Робера де Борона и Кретьена де Труа (XII в.), немецкой поэмы Вольфрама фон Эшенбаха (начало XIII в.), «Смерти Артура» Томаса Мэлори (XV в.) и др.

Атис — в греческой мифологии бог, в безумии оскопивший себя и умерший, из его крови прорастает весенняя зелень.

С. 427. Один — верховный бог скандинавского мифологического пантеона; пригвоздив себя копьем к мировому дереву Иггдрасиль (букв. — «конь Игга», т. е. самого Одина), висит на нем девять дней, после чего, испив священного меда, получает руны — носительницы мудрости («Старшая Эдда»).

Из книги «Книга песка»

С. 429. Ульрика — имя юной возлюбленной 74-летнего Гете, героини его «Мариенбадской элегии».

Йорк — старинный город в Англии, основан римлянами, завоевы-

вался датчанами, саксами, норвежцами (в 1066 г. здесь были Тостиг и Харальд Хардрада).

«Пять сестер» — оконница в северном трансепте Йоркского собора Св. Петра (Йорк-Минстере), относится к XIII в.

С. 431. ...воспитанницы Ибсена... — Героини норвежского драматурга чаще всего борются за освобождение от патриархальной морали (ср. эту же характеристику Беатрис Фрост в рассказе «Конгресс»).

С. 432. Сигурд, Брюнхильда — герои германо-скандинавского эпоса; в «Саге о Вельсунгах» они, разлученные судьбой, соединяются лишь после смерти.

С. 433. ...о зеркале в Библии... — Ср. эссе «Зеркало загадок».

С. 434. ...новый директор Библиотеки... — Борхес, чьи склонности далее пересказываются, был назначен директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе после падения диктатуры Перона в 1955 г.

С. 444. «Календарь души» — книга Л. Лутонеса (1909).

С. 448. ...Александрийскую библиотеку подобает сжигать... — отсылка к эпизоду из пьесы Шоу «Цезарь и Клеопатра» (действие II).

С. 449. Патрик Спенс — «моряк из моряков», отправляющийся в опасное плавание в старинной шотландской балладе.

Я зла желаю... — слова Мефистофеля из «Фауста» Гете.

С. 450. Клонтарф — старинный город в Ирландии, где в 1014 г. ирландцы разбили войска викингов, отвоевав свою независимость.

...ольстерский и мунстерский циклы саг. — Мунстер — одна из пяти традиционных провинций средневековой Ирландии (юго-запад); Ольстер — северо-восточная провинция.

С. 455. Орм — имя героя, часто встречающееся в скандинавских сагах («Круг земной» Снорри Стурлусона), отсылает еще и к автору староанглийской поэмы «Ормулум» (ок. 1200), монаху из древнего английского королевства Мерсия.

Гуннлауг — имя знаменитого исландского скальда, по прозвищу Змеиный Язык (984 или 987—1009 или 1012).

С. 462. Оркнейские (Оркадские) острова — архипелаг у северной оконечности Шотландии, нередко упоминается в скандинавских сагах.

Вульгата — латинский перевод Библии, выполненный Св. Иеронимом (ок. 342—420).

С. 464. Пресвитерианец — сторонник протестантской церкви кальвинистской ориентации; они начали появляться в Шотландии и Англии со II половины XVI в.

Из книги «Семь вечеров»

С. 469. ...до диктатуры — то есть накануне июньских событий 1943 г., когда группой офицеров в Аргентине был осуществлен государственный переворот; один из них, полковник Х. Д. Перон (для

Борхеса устойчиво связанный с образом диктатора XIX в. Х. М. Росаса), в 1946 г. стал президентом страны, установив режим яичной диктатуры.

Карлейль. — Имеется в виду Джон Карлейль (см. Аннотированный указатель имен).

С. 470. Гуго Штайнер. — Борхес оговорился: речь идет о Карло Штайнере.

С. 471. «Tout aboutit en un livre» — из эссе Малларме «Книга как инструмент духа», которое Борхес цитировал в своей статье «О культуре книги» (сб. «Новые расследования»).

С. 475. Фьерро и Крус — отсылка к поэме Х. Эрнандеса «Мартин Фьерро».

Старый пастух и Фабио Касерес — герои романа Р. Гуиральдеса.

Ким и лама — действующие лица романа Р. Киплинга «Ким» (1901).

«Nobile castello». — Этому эпизоду посвящено отдельное эссе в книге «Девять очерков о Данте» (1982).

С. 476 «...the milk of human kindness...» — См.: «Макбет», I, 5.

С. 479. ...Ницше называл Данте гиеной... — См. в книге «Сумерки идолов» (гл. «Набеги несвоевременного», Г).

С. 481. Глава начинается с обличения Венеции... — оговорка; правильно — Флоренции.

С. 483. ...в «Одиссее», чего Данте знать не мог. — Не знавший греческого Данте был знаком с обеими поэмами Гомера по краткому латинскому пересказу в стихах (т. н. Латинский Гомер).

С. 485. ...писатель XVIII в. сэр Томас Браун... — оговорка Борхеса; нужно — XVII в.

С. 486. ...Бозций... представляет себе зрителя... — См.: «Утешение философией», кн. V, гл. IV.

С. 487. «...the thing I am...» — цитата из комедии Шекспира «Конец — делу венец»; этой репликой Пэрлса озаглавлено стихотворение Борхеса в кн. «История ночи» (1977).

С. 488. ...жизнь есть сон... — название драмы Кальдерона (1640).

...говорит... Фогельвейде... — См. в стихотворении «Увы, промчались годы...» (пер. В. Левика.).

С. 489. ...фрагмент в «Одиссее»... — Здесь соединены эпизоды из XI песни «Одиссеи», где герой беседует с тенями Ахилла, Тиресия, собственной матери и ахейских жен, и VI песни «Энеиды» Вергилия, где Эней видит будущее Рима и рассказывается о двух воротах для снов.

С. 490. Efiates. — См. одноименное стихотворение Борхеса в кн. «Глубинная роза».

...есть строка... — оговорка Борхеса: в обоих упомянутых случаях имеется в виду одна строка из «Короля Лира» (Ш, 4): «He met the might mare and her nine folds».

С. 491. ...книгу о Шекспире... — Имеется в виду трактат «Уильям Шекспир» (1864).

...сон о лабиринте... — Он вошел в новеллу «There are more things» (сб. «Книга песка»).

С. 492. Обратимся к Петронию... — В фрагменте CIV его «Сатирикона» эти слова приписываются Эпикуру, хотя принадлежат, видимо, Петронию.

С. 493. ...один из своих кошмаров. — Он включен в рассказ «Хуан Муранья» (сб. «Сообщение Брууди»).

С. 494. ...стихи о борзой, лающей на зайца. — В том же стихотворном отрывке Петрония (см. примеч. к с. 492).

Сон таков... — См. сонет «Сон» (сб. «Глубинная роза»).

С. 496. ...во второй книге «Прелюдии» Вордсворта. — Имеется в виду эпизод из пятой книги автобиографической поэмы Вордсворта (строки 56—139).

С. 500. ...Вергилий вспоминает... этот шелк... — Борхес вспоминает этот шелк в стихотворении «Восток» (сб. «Глубинная роза»).

С. 501. ...о хане Хубилае... — См. стихотворение Колриджа «Кубла-хан», которое Борхес разбирает в эссе «Сон Колриджа».

С. 502. «Кто услышал зов Востока...» — См. стихотворение Киплинга «Мандалей» (пер. Е. Полонской).

С. 504. Отец Иоанн (Иоанн Индийский) — герой средневековых европейских легенд, основатель мифического царства христиан на Востоке.

С. 506. «Сумерки сада» (1905) — книга стихов Л. Лугонеса.

С. 518. Хинаяна — направление в буддизме, утвердившееся в Юго-Восточной Азии, включает школы тхеравады, вайбхашики и др.

С. 520. Пифагор узнал щит... — См.: Диоген Лаэртский, кн. VIII.

У Эмпедокла... есть отрывок... — См. поэму «Очищения» (117).

Талиесен (Тельгесин) — легендарный британский бард, упоминается в «Истории бриттов» Венния и др.; известен сложившийся в XIII—XIV вв. сборник поэзии бардов «Книга Талиесена».

С. 521. ...остаются лишь слова Вед. — Ср. концовку рассказа «Бессмертный»: «...остаются только слова...»

С. 537. Вспомним Плотина. — См.: Порфирий «Жизнеописание Плотина» (I).

...работа об убранстве комнат. — Имеется в виду эссе По «Философия обстановки» (1840).

С. 538. «Кто еще так счастлив...» — начало известного испанского романа, сюжет его позднее использовал Лонгфелло в стихотворении «Тайна моря».

- С. 539. «And shake the yoke...» — См.: «Ромео и Джульетта», V, 3.
- С. 540. «Послание» севильского анонима, — Имеется в виду «Назидательное послание» (см. Аннотированный указатель имен).
- С. 542. Возьмем слово «классический». — Ср. эссе «По поводу классиков» (сб. «Новые расследования»).
- С. 543. Александр, по словам Плутарха... — См.: Плутарх «Жизнеописание Александра», VIII.
- Аристотель только что опубликовал... — См. там же, VII.
- С. 545. Катары — еретическое движение в Европе XI—XIV вв., проповедовавшее абсолютное неприятие мира как воплощенного зла.
- С. 550. Доказательство Лейбница. — См.: «Теодицея», кн. III, гл. IX.
- С. 554. У Шекспира есть строка... — Сонеты, XXVII.
- С. 555. ...о знаменитых сентябрьских ливнях... — Под них в 1955 г. закончился первый период диктатуры Перона: он был свергнут и скрылся в изгнании (вновь избран президентом в 1973 г.).
- С. 556. Я всегда воображал Рай чем-то наподобие библиотеки... — цитата из упоминаемого ниже стихотворения «О дарах» (сб. «Творец»).
- С. 558. ...не начать ли нам заниматься языком и литературой... — Историю этих занятий староанглийским Борхес не раз воспроизводил в стихах «К началу занятий англосаксонским языком» (сб. «Делатель»), «На полях «Беовульфа» (сб. «Иной и прежний») и др.
- С. 560. Тамирис (Фамир, Фамирин) — поэт и музыкант в греческой мифологии, упомянут Гомером («Илиада», II, 594—596), герой несохранившейся трагедии Софокла, русскому читателю известен по драме И. Анненского «Фамира-кифаред» (опубл. 1913).
- С. 561. «De la musique avant toute chose» — начало знаменитого стихотворения Верлена «Искусство поэзии».
- С. 562. Реставрация — провозглашение королем Англии Карла II в 1660 г. после того, как его отец Карл I был в ходе революции низложен и казнен.
- С. 565. Демокрит... выколол себе... глаза... — цитата из упоминавшегося стихотворения «Хвала тьме».
- ...стихи... Луиса де Леона... — знаменитая «Жизнь в уединении» (по мотивам Горация).
- ...в детстве я ... часами простаивал... — самоповтор, см. стихотворение «Dreamtigers» (кн. «Делатель»). «Книга джунглей» — сборники рассказов Р. Киплинга.

Б. Дубин

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аббасиды — династия арабских правителей-халифов в 750—1258 гг.

Абдаррахман I (731—788) — основатель арабского эмирата на Пиренейском полуострове со столицей в Кордове, поэт.

Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ, богослов, поэт.

Абрамовиц Морис — друг женевской юности Борхеса.

Абу Бишр Матта (870—940) — арабский ученый, переводчик и комментатор Аристотеля.

Абульбака ар-Рунди (1204—1285) — испано-арабский поэт, родом из Ронды.

Абульфиды (1273—1331) — сирийский историк и географ.

Августин Аврелий (354—430) — христианский богослов, деятель церкви, епископ Гиппона (близ Карфагена).

Аверроэс (Ибн Рушд, 1126—1198) — арабский ученый, мыслитель, последователь Аристотеля.

Аврелий Марк (121—180) — римский император, философ-стоик.

Агриппа Неттесхеймский (1486—1535) — немецкий естествоиспытатель, оккультный мыслитель.

Адам Бременский (ум. после 1081) — северонемецкий хронист.

Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский писатель, близкий к классицизму, журналист-сатирик, эссеист.

Аита Антонио (р. 1899) — аргентинский эссеист, историк литературы.

Акбар Джелаладдин (1542—1605) — правитель Монгольской империи в Индии.

Аланус де Инсулис (Алан Лилльский, 1128—1202) — французский философ, теолог и поэт.

Александр Афродисийский (II—III вв.) — древнегреческий философ, один из лучших комментаторов Аристотеля.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь Македонии, завоеватель, создал крупнейшую из древних монархий.

Алеман Матео (1550—1610) — испанский прозаик.

Аль Балазури (ум. до 892 г.) — арабский историк.

Альберт Великий (ок. 1193—1280) — немецкий естествоиспытатель, философ и теолог.

Альбертелли Пило (1907—1944) — итальянский историк античной философии.

Альварадо Педро де (1485—1541) — испанский военачальник, один из завоевателей Америки (Санто-Доминго, Мексика, Гватемала и др.).

Аль-Газали (1058—1111) — арабский теолог, философ и законоучитель, крупнейший авторитет ислама.

Аль-Джахиз (775—868) — арабский писатель, ученый и теолог.

Аль-Масуди (конец IX в. — 956 или 957) — арабский историк и писатель.

Альмафуэрте (наст. имя — Педро Бонифасио Паласьос, 1854—1917) — аргентинский поэт и прозаик, поздний романтик, бунтарь и еретик.

Аль-Махди Мухаммед — мусульманский правитель в 775—785 гг.

Аль-Моканна — глава религиозного восстания в Аравии (776—783).

«*Аль-Муалаккат*» («Снизка») — свод из семи лучших поэм семи знаменитых поэтов арабской древности, составленный Хаммадом ар-Равийа (694—772 или 775).

Альмутанаби (915—965) — арабский поэт.

Аль-Халиль (718—791 или 792) — арабский филолог, теоретик стиха.

«*Амадис Галльский*» — испанский рыцарский роман (предположительно XIV в.), опубликован и частично дописан Гарси Ордоньесом де Монтальво в 1508 г.

Аморим Энрике (1900—1960) — уругвайский прозаик.

Ангелус Силезиус (наст. имя — Иоганнес Шефлер, 1624—1677) — немецкий поэт-мистик.

«*Англосаксонская хроника*» — основной светский источник по ранней истории Англии (сост. с IX в.).

Андрее Иоганн Валентин (1586—1654) — немецкий мыслитель, близкий к розенкрейцерам, автор религиозных утопий.

Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — английский теолог, представитель схоластики, автор т. н. онтологического доказательства бытия Бога.

Аполлодор (II в. до н. э.) — греческий историк и филолог, ему приписывается мифологический свод «Библиотека».

Аполлоний Родосский (ок. 295 — ок. 215 до н. э.) — древнегреческий поэт, грамматик, хранитель библиотеки.

«*Ареопагитики*» — корпус из четырех религиозно-философских трактатов, традицией приписанных афинянину I в. Дионисию Ареопагиту, но созданных, видимо, в V — нач. VI вв.

Арий (256—336) — раннехристианский священник и богослов, осужден Никейским вселенским собором (325).

Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт и драматург.

Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский политик и военачальник, слыл образцом неподкупности.

Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый.

Арминий (18 или 16 до н. э. — 19 или 21 н. э.) — вождь германского племени херусков, в 9 г. н. э. разбил римскую армию Вара.

Арнолд Мэтью (1822—1888) — английский поэт и эссеист.

Артигас Хосе Хервасио (1764—1850) — национальный герой Уругвая, один из руководителей войны за независимость Латинской Америки.

Асеведо Диас Эдуардо (1851—1924) — уругвайский писатель, автор романов из эпохи войны за независимость, родственник Борхеса.

Асин Паласьос Мигель (1871—1944) — испанский арабист, исследователь мусульманского мистицизма в его влиянии на Европу.

Асорин (наст. имя — Хосе Мартинес Руис, 1874—1967) — испанский писатель «поколения 98 года».

Атауальпа (1500—1533) — верховный инка, казнен конкистадорами.

Аттар Фариаддин (ок. 1119—?) — средневековый персидский поэт-мистик.

Афанасий Александрийский (ок. 295—373) — церковный деятель, богослов, борец с арианством.

Ашока — индийский правитель III в. до н. э. из династии Маурьев, покровитель буддизма.

Баал Шем-Тов Исраэль бен Элизер (сокр. Бешт, ок. 1750—1760) — еврейский мистик, основатель секты хасидов («благочестивых»).

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт-романтик.

Бальмес-и-Урпия Хайме Лусиано (1810—1848) — испанский священник, философ, эссеист.

Банчс Энрике (1888—1968) — аргентинский лирик, мастер сонета

Бароний Цезарь (1538—1607) — итальянский церковный писатель.

Баррес Морис (1862—1933) — французский писатель, католик и националист.

Бартоломео Рой — друг и исследователь Борхеса, автор послесловия к книге «Семь вечеров».

Батлер Сэмюэл (1612—1680) — английский поэт.

Бек Герман (1875—1937) — немецкий индолог.

Бельо Андрес (1791—1865) — венесуэльский поэт, ученый-просветитель, автор трудов по испанской орфографии и грамматике.

Бёме Якоб (1575—1624) — немецкий мыслитель, мистик и еретик.

Бен-Аззай Симон — еврейский законоучитель первой трети II в.

Бенда Жюльен (1867—1956) — французский писатель и публицист.

Беньян Джон (1628—1688) — английский религиозный писатель.

«*Беовульф*» (VIII—IX вв.) — англосаксонский героический эпос по мотивам германских преданий.

Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ, оппонент механического материализма и позитивизма.

Беркли Джордж (1685—1753) — английский священник, философ.

Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737—1814) — французский писатель и философ.

Бернс Роберт (1759—1796) — шотландский народный поэт.

Бертон Ричард (1821—1890) — английский писатель, историк и географ, переводчик восточных литератур.

Бертон Роберт (1577—1640) — английский барочный мыслитель, эссеист.

Блейк Уильям (1757—1827) — английский поэт, художник, мистик и визионер.

Блуа Леон (1846—1917) — французский католический писатель и публицист.

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт, критик литературы и искусства, переводчик Э. По.

Бодхидхарма (ум. 528.) — индийский монах-буддист, основатель секты в Китае.

Боккаччо Джованни (1313—1375) — итальянский поэт и прозаик, биограф Данте.

Бодли Томас (1545—1613) — английский дипломат, основатель знаменитой библиотеки в Оксфорде.

Бомбаль Сусанна — аргентинский прозаик из круга Борхеса.

Борхес Франсиско (1833—1874) — дед писателя, полковник аргентинской армии, погиб в ходе гражданской войны в бою под Ла-Верде.

Бозций Северин (ок. 480—524 или 526) — римский политический деятель, философ и писатель.

Брамс Иоганнес (1833—1897) — немецкий композитор.

Браун Томас (1605—1681) — английский врач, барочный писатель-эссеист, коллекционер и истолкователь курьезов истории.

Браун Эдвард Грэнвилл (1862—1926) — английский востоковед.

Браунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт-реформатор.

Бриджес Роберт Сеймур (1844—1930) — английский поэт.

Брод Макс (1884—1968) — австрийский прозаик, критик, переводчик, друг и душеприказчик Кафки.

Бруниевиг Леон (1869—1944) — французский философ, историк философии.

Брэдли Фрэнсис Герберт (1846—1924) — английский философ-гегельянец.

Буало Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма.

Бубер Мартин (1878—1965) — еврейский философ и писатель, переводчик на немецкий язык Библии, хасидских и даосских притч.

Булвер-Литтон Эдуард (1803—1873) — английский романист.

Буль Джордж (1815—1864) — английский математик и логик.

Буссе Вильгельм (1865—1920) — немецкий теолог, исследователь иудаизма и раннего христианства.

Бьой Касарес Адольфо (р. 1914) — аргентинский прозаик, друг и соавтор Борхеса.

Бэда Достопочтенный (673—735) — английский теолог, автор «Церковной истории англов» (ок. 731).

Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский политический деятель, философ и естествоиспытатель.

Бюрну Эжен (1801—1852) — французский библиограф, востоковед-индолог.

Вайль Густав (1808—1889) — немецкий арабист.

Валера Сиприано де (1532?—1602) — испанский священник-протестант, деятель Реформации, переводчик Библии (1602).

Валери Поль (1871—1945) — французский поэт-неоклассик, эссеист, теоретик культуры.

Вальмики — легендарный поэт Древней Индии, считается автором «Рамаьяны».

Вар Публий Квинтилий (ок. 53 до н. э. — 9 н. э.) — римский

полководец, наместник Германии, разбит войсками Арминия, покончил с собой.

«*Варлаам и Иосаф*» — памятник средневековой словесности, назидательная повесть об обращении индийского принца Иосафа в христианство, перерабатывающая житие Будды.

Василид (II в.) — философ-гностик.

Вашингтон Джордж (1732—1799) — первый президент США.

Ведиа Агустин де (1843—1910) — аргентинский публицист.

Велисарий (ок. 504—565) — византийский военачальник, по преданию окончил жизнь в забвении и нищете.

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт.

Верлен Поль (1844—1869) — французский лирик.

Вико Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский мыслитель, историк и теоретик культуры.

Вильгельм I Завоеватель (ок. 1027—1087) — герцог Нормандии, с 1066 г. английский король.

Винтерниц Мориц (1863—1937) — немецкий буддолог.

Винцент из Бове (ок. 1190 — ок. 1265) — французский религиозный деятель и писатель, монах-доминиканец.

Виньи Альфред Виктор де (1797—1863) — французский поэт, драматург и прозаик-романтик.

Вольтер (наст. имя — Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) — французский философ и писатель, просветитель и рационалист.

Вордсворт Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик.

Вульф Морис де (1867—1947) — бельгийский историк средневековой философии.

Вьеже Леон (1856—1933) — французский востоковед.

Газан-хан (1271—1304) — монгольский правитель Ирана, принял ислам, с помощью своего везира Рашидаддина провел реформы в хозяйстве и администрации.

Галлан Антуан (1646—1715) — французский ориенталист, переводчик Корана и «Тысячи и одной ночи».

Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) — политический и государственный деятель Индии, борец за независимость страны.

Ганнибал (247 или 246—183 до н. э.) — карфагенский военачальник.

Гарнак Адольф фон (1851—1930) — немецкий протестантский теолог, историк религии и церкви.

Гарольд II Годвинсон (ум. 1066) — последний англосаксонский король Англии, смещенный Вильгельмом Завоевателем.

Гарсен де Тасси Жозеф Элиодор (1794—1878) — французский востоковед.

Гарун аль-Рашид (763 или 766—809) — арабский халиф из династии Аббасидов, герой сказок «Тысячи и одной ночи».

Гедалья Филипп (1889—1944) — английский журналист, автор биографий политических деятелей прошлого и настоящего.

Гезениус Фридрих Генрих Вильгельм (1785—1842) — немецкий востоковед, филолог-гебраист.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист.

Гелиогабал (Элагабал, 204—222) — римский император.

Георге Стефан (1868—1933) — немецкий поэт-символист.

Гераклид Понтийский (IV в. до н. э.) — греческий философ, соединивший платоновские идеи с пифагорейской традицией.

Гераклит Эфесский (ок. 520 — ок. 460 до н. э.) — древнегреческий философ.

Герберт (Херберт) Джордж (1593—1623) — английский барочный поэт.

Германн из Рейхенау (1013—1054) — германский историк, монах-бенедиктинец.

Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, прозаик, ученый и философ.

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк Рима.

Гигон Олоф (р. 1912) — немецкий историк античной философии.

Гилберт Стюарт — английский литературовед, исследователь творчества Дж. Джойса.

Гинзбург Кристиан Дэвид (1831—1914) — английский гебраист, автор трудов по философии каббалы.

Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (1889—1945) — немецкий политический и государственный деятель, глава фашистской партии и тоталитарного государства, кровавый диктатор и завоеватель.

Глатцер Нахум Норберт (р. 1903) — английский гебраист, переводчик Талмуда, Агады и др.

Глэнвилл Джозеф (1636—1680) — английский философ.

Гоббс Томас (1588—1673) — английский философ и политический мыслитель.

Голланд Файлмон (1552—1637) — английский переводчик античной литературы.

Голланц Виктор (1893—1967) — английский писатель и издатель радикально-социалистических взглядов.

Гольдони Карло (1757—1793) — итальянский комедиограф.

Гомер — древнегреческий эпический поэт, легендарный автор «Илиады» и «Одиссеи».

Гонгора-и-Арготе Луис де (1561—1627) — испанский барочный поэт.

Гораций Флакк Квинт (65 до н. э. — 8 н. э.) — римский поэт-лирик.

Грабер Карло (1897—1968) — итальянский историк литературы Возрождения (Данте, Боккаччо, Ариосто и др.).

Грасиан Бальтасар (1601—1658) — испанский священнослужитель, барочный писатель-моралист, теоретик искусства.

Греве Феликс Пауль (1879—1910) — немецкий переводчик сказок «Тысячи и одной ночи», Уайльда, Уэллса и др. любимцев Борхеса.

Грейвз Роберт (1895—1985) — английский поэт, прозаик, переводчик, исследователь мифологии («Белая богиня» и др.).

Григорий I Великий (ок. 540—604) — один из учителей церкви, римский папа с 590 г.

Гризебах Эдуард Рудольф (1845—1906) — немецкий писатель, историк словесности, переводчик восточных литератур, издатель трудов Шопенгауэра.

Грималь Пьер (р. 1912) — французский историк античности.

Гримм Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — немецкие филологи, издатели знаменитого сборника народных сказок.

Грин Жюльен (р. 1900) — французский прозаик, близкий к католицизму.

Гроссо Альфредо Бартоломе (1867—?) — аргентинский историк.

Груссак Поль (1848—1929) — аргентинский писатель, директор Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе.

Гуцральдес Рикардо (1886—1927) — аргентинский поэт и прозаик, друг юности Борхеса.

Гутьеррес Эдуардо (1853—1890) — аргентинский прозаик.

Гэррод Хиткот Уильям (1878—1960) — английский историк литературы.

Гюго Виктор (1802—1885) — французский поэт, прозаик, драматург.

Дабове Сантьяго (1889—1952) — аргентинский поэт и прозаик.

Дальгарно Джордж (1626—1687) — шотландский мыслитель и педагог, автор одного из проектов всемирного языка.

Дамиани Петр (ок. 1007—1072) — итальянский теолог, представитель схоластики.

Данн Джон Уильям (1875—1949) — английский мыслитель «неклассического» направления.

Д'Аннунцио Габриэле (1863—1948) — итальянский поэт, прозаик, публицист, близкий к символизму.

Дансени Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, лорд (1878—1957) — английский (шотландский) писатель.

Дарио Рубен (наст. имя — Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто, 1867—1916) — никарагуанский поэт и прозаик, основоположник современной испано-американской лирики.

Дейссен Пауль (1845—1919) — немецкий историк философии, исследователь веданты, Платона, Шопенгауэра и др.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ и математик, основоположник новоевропейского рационализма.

Де Куинси Томас (1785—1859) — английский прозаик, эссеист и литературный критик романтического направления.

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — древнегреческий политик и оратор.

Де Санктис Франческо (1817—1883) — итальянский историк литературы.

Дефо Даниель (ок. 1660—1731) — английский писатель.

Джайлс Герберт Аллан (1845—1935) — американский синолог.

Джеймс Генри (1843—1916) — американский прозаик-новатор, брат У. Джеймса.

Джеймс (Джемс) Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог.

Джованни из Витербо (1432—1502) — итальянский монах-доминиканец.

Джойс Джеймс (1882—1941) — английский поэт и прозаик, реформатор романа.

Джонсон Бенджамин (Бен) (1573—1637) — английский поэт, драматург, теоретик искусства, провозвестник классицизма.

Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — английский писатель, историк литературы, законодатель вкусов эпохи.

Диакон Петр Варнефрид (ок. 725 — ок. 799) — латинский поэт и историк германского происхождения.

Дигби Кенельм (1603—1665) — английский философ, соединивший платоновские идеи с физикой Декарта.

Дидро Дени (1713—1784) — французский писатель, философ, теоретик искусства.

Диккенс Чарлз (1812—1870) — английский романист.

Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н. э.) — историк эпохи эллинизма.

Диоклетиан (243 — между 314 и 316) — римский император (284—305), гонитель христиан.

Диофант Александрийский (III в.) — греческий математик.

Доде Альфонс (1840—1897) — французский прозаик.

Донн Джон (1572—1631) — английский священнослужитель, барочный поэт.

Драйден Джон (1631—1750) — английский поэт, драматург, теоретик классицизма.

Дрейтон Майкл (1563—1631) — английский поэт и драматург.

Дрие ла Рошель Пьер (1893—1945) — французский писатель, пропагандист творчества Борхеса в предвоенной Франции.

Дэвидс Томас Уильям Рис (1843—1922) — американский индолог.

Дюма Александр-отец (1802—1870) — французский романист.

Дюртен Люк (1881—1959) — французский писатель, публицист-радикал.

Евклид (III в. до н. э.) — древнегреческий математик.

Еврипид (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург.

Жербийон Жан Франсуа (1631—1757) — французский монах-иезуит, миссионер в Китае.

Жид Андре (1869—1951) — французский поэт, прозаик, эссеист.

Зангвилл Исраэль (1864—1926) — английский прозаик.

Зенон Элейский (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, знаменитый своими логическими парадоксами-апориями.

Зергель Альберт (1880—?) — немецкий литературный критик.

Зотенберг Эрманн (1836—?) — французский библиограф и архивист, исследователь-востоковед.

«*Зогар*» («Книга сияния») — основной трактат по философии каббалы, созданный в XIII в. испанским евреем Моисеем Леонским, и приписанный им талмудическому мудрецу II в. Симону бен-Йохаи.

Зухайр (530?—628) — арабский поэт.

Ибарра Нестор — французский испанист, переводчик и исследователь Борхеса.

Иберра Хуан — буэнос-айресский бандит конца XIX в.

Ибн Аби Тахир Тайфур (819 или 820—893) — арабский писатель и историк.

Ибн Исхак Хунайн (808—873 или 877) — арабский ученый, переводчик Аристотеля.

Ибн Кутайба (828 — ок. 899) — арабский писатель и филолог.

Ибн Сида (1006?—1066) — филолог и лексикограф арабской Испании.

Ибн Туфейль (1116—1185) — врач, ученый и философ мусульманской Испании.

Ибн Хальдун (1332—1406) — арабский философ и историк.

Ибн Шараф (1000—?) — поэт и прозаик мусульманской Испании.

Ибн Эзра Авраам бен Мейр (1092—1167) — еврейский мыслитель, естествоиспытатель и поэт.

Ибсен Хенрик (1828—1906) — норвежский драматург.

«Илиада» — древнегреческая поэма об осаде греками малоазийского города Троя (Илион), приписываемая традицией Гомеру.

Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753) — византийский теолог и поэт, противник иконоборчества, один из отцов восточной церкви.

Иригойен Иполито (1852—1933) — аргентинский государственный деятель, президент страны в 1916—22 и 1928—30 гг.

Иринеи Лионский (ок. 130 — ок. 200) — церковный деятель и писатель.

«И Цзин» («Книга перемен») — памятник древнекитайской ритуальной словесности, используемый в гадательной практике.

Йитс Уильям Батлер (1865—1939) — английский (ирландский) поэт и драматург, деятель национального возрождения.

Кавальери Бонавентура (1597—1647) — итальянский математик.

Калоджеро Гвидо (р. 1904) — итальянский историк античной мысли.

Кальвин Жан (1509—1564) — швейцарский богослов и деятель церкви, один из основоположников Реформации.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — испанский священнослужитель, барочный поэт-драматург.

Кампо Эстанислао дель (1834—1880) — аргентинский поэт, автор первой поэмы о гаучо «Фауст» (1866).

Кансела Артуро (1892—1957) — аргентинский прозаик и драматург.

Кансинос-Ассенс Рафаэль (1883—1964) — испанский писатель, переводчик, теоретик литературы и искусства, наставник Борхеса.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник критической философии Нового Времени.

Канто Эстела (р. 1919) — аргентинская писательница.

Кантор Георг (1845—1918) — немецкий математик, создатель теории множеств.

Кандевила Артуро (1889—?) — аргентинский поэт и эссеист.

Кардуччи Джозуэ (1835—1907) — итальянский поэт.

Карл I (1600—1649) — английский король из династии Стюартов, низложен и казнен сторонниками Кромвеля.

Карл II (1630—1685) — английский король, сын Карла I.

Карл II Лысый (823—877) — король Франции, император франков.

Карл Великий (742—814) — король франков из Каролингской династии.

Карлейль Джон Эйткен (1801—1879) — английский литератор, переводчик Данте.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, философ, историк.

Карпократ (1-я пол. II в.) — александрийский мыслитель-гностик.

Катриэль Сиприано — индейский вождь, сподвижник революционного движения в Аргентине, сражался в войсках генерала Митре под Ла-Верде (1874), где был убит дед Борхеса.

Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) — римский лирик.

Каули Авраам (1618—1667) — английский барочный поэт.

Кафка Франц (1883—1924) — австрийский прозаик, близкий к экспрессионизму, реформатор прозы XX в.

Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580—1645) — поэт и прозаик испанского барокко.

Кемниц Мартин (1522—1586) — немецкий теолог.

Кеппен Карл Фридрих (1808—1863) — немецкий индолог.

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский поэт и прозаик.

Киркегор (Кьеркегор) Сёрен (1813—1855) — датский философ и теолог, оппонент классического новоевропейского рационализма.

Кирога Орасио (1878—1937) — уругвайский поэт и прозаик, поздний романтик.

Китс Джон (1795—1821) — английский романтический поэт.

Кишера Луи (1799—1884) — французский языковед и лексикограф, автор латинско-французского словаря (1844) и учебной хрестоматии образцовых латинских авторов (1836).

Клаузевиц Карл (1780—1831) — немецкий историк и теоретик военного искусства.

Клемм Вильгельм (1881—1968) — немецкий поэт-экспрессионист.

Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 215) — христианский богослов и писатель.

Клодель Поль (1868—1955) — французский католический поэт, драматург, эссеист.

Клотц Жан-Батист (1755—1794) — прусский барон, деятель Великой французской революции, принял имя заглавного героя утопического романа Ж.-Ж. Бартелеми (1788).

«*Книга обрядов*» (Ли Цзи) — один из основополагающих текстов конфуцианства.

«*Книга Совета*» (Пополь-Вух) — мифологический эпос индейцев киче.

Кодама Мария — друг поздних лет, жена и помощница Борхеса.

Колвин Сидни (1845—1927) — английский литературный критик, историк искусства, автор книги о Китае (1887), издатель его писем (1891).

Коллинз Уильям Уилки (1824—1889) — английский прозаик, мастер «таинственного» детектива.

Колридж Сэмюэл Тейлор (1772—1834) — английский поэт-романтик, теоретик искусства.

Конде Хосе Антонио (1762—1820) — испанский историк-арабист.

Конрад Джозеф (1857—1924) — английский прозаик, поздний романтик.

Консельейру Антониу (ок. 1850—1897) — бразильский бродячий проповедник, глава крестьянского восстания 1896—97 гг. в Канудусе (северо-западная провинция Байя).

Конфуций (551—479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель.

Косма Индикоплевст (VI в.) — александрийский купец и путешественник, автор популярного многие века трактата об устройстве мира.

Коуту Дьего де (1542—1616) — португальский историк.

Кристи Агата (1891—1976) — английская писательница, автор известных детективов.

Кроуфорд Джоан (наст. имя — Люсиль де Сюэр, 1908 или 1904—1977) — американская киноактриса.

Кроче Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ, эссеист, теоретик искусства.

Ксенофан Колофонский (ок. 570 — после 478 до н. э.) — древнегреческий поэт и философ.

Кун Франц (1889—1961) — немецкий китаист, исследователь и переводчик.

Кунья Эуклидис да (1866—1909) — бразильский историк и писатель.

Куорич Бернард (1819—1899) — лондонский издатель и книго-торговец.

Кэрролл Льюис (1832—1898) — английский писатель, математик и логик.

Лаис (V—IV вв. до н. э.) — греческая куртизанка, чье имя стало нарицательным.

«*Лалитавистара*» — каноническое жизнеописание Будды.

Лао Цзы — древнекитайский мыслитель, легендарный основатель даосизма (трактат «Дао Дэ Дзин»).

Ланпенберг Иоганн Мартин (1794—1865) — историк немецкой словесности.

Ланрида Франсиско де (1780—1829) — аргентинский военный и политик, дальний родственник Борхеса, помощник Сан-Мартина, глашатай независимости Объединенных провинций Ла-Платы (1816), убит заговорщиками.

Ларрета Энрике Родригес (1873—1961) — аргентинский прозаик, автор исторических романов на испанском материале.

Лассвиц Курт (1848—1910) — немецкий мыслитель, писатель-фантаст.

Лаури Уолтер (1868—1959) — американский переводчик и исследователь творчества Киркегора.

Лафинур Альваро Мелиан (1889—1958) — аргентинский литературный критик, двоюродный брат Борхеса.

Лафинур Хуан Крисостомо (1797—1824) — аргентинский поэт и философ, дальний родственник Борхеса

Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский поэт, драматург, сказочник и баснописец.

Леандро Ипуче Педро (1890—?) — уругвайский прозаик.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ и ученый, систематик и энциклопедист.

Лейден Иоганн (1624—1691) — нидерландский богослов, филолог-гебраист.

Леконт де Лиль Шарль (1818—1894) — французский поэт-неоклассик.

Леон Луис де (1527—1591) — испанский мистический поэт и прозаик, переводчик античных поэтов и Библии.

Лесаж Ален Рене (1668—1747) — французский прозаик и драматург-сатирик.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург-просветитель, критик и теоретик искусства.

Летелье Шарль Луи Огюстен (1801—?) — французский лингвист, проповедник всемирного языка.

Ливис Фрэнк Реймонд (1895—?) — английский эссеист, историк культуры и литературы.

Лиддел Гарт Бэзил Генри (1895—1970) — английский военный историк и теоретик.

Ликофрон (III в. до н. э.) — эллинистический поэт и эрудит.

Литтман Энно (1875—1958) — немецкий ориенталист.

Локк Джон (1632—1704) — английский философ-рационалист.

Ломон Шарль-Франсуа (1727—1794) — французский латинист, педагог.

Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807—1882) — американский поэт, прозаик и эссеист, переводчик «Божественной комедии» (1867).

Лоуренс Томас Эдуард (Лоуренс Аравийский, 1888—1935) — английский разведчик на арабском Востоке, автор мемуарных книг.

Лоуэлл Эми (1874—1925) — американская поэтесса, литературный критик, автор книги о Китае (1925).

Лоуэс Джон Ливингстон (1867—1945) — американский историк литературы, критик, эссеист.

Лугонес Леопольдо (1874—1938) — аргентинский поэт и эссеист.

Лукан Анней (39—65) — римский эпический поэт.

Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — греческий писатель-сатирик.

Лукреций Кар (ок. 96—55 до н. э.) — римский поэт и философ.

Луллий Раймунд (Рамон Люлль, ок. 1235—1315) — испанский (каталонский) поэт, философ и богослов.

Лурия Исаак (1534—1572) — еврейский мыслитель-мистик, виднейший представитель каббалы.

Лутф Али-бек Азури (XVIII в.) — персидский историк и филолог.

Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский философ, историк философии, литературный критик.

Лэйн Эдуард Уильям (1801—1876) — английский арабист.

Лэмприр Джон (1765?—1824) — английский лексикограф, составитель донныне переиздающегося «Классического словаря собственных имен, упоминаемых древними авторами» (1788).

Лэнг Эндрю (1844—1912) — английский (шотландский) писатель, эссеист.

Лэндор Уолтер Сэвидж (1775—1864) — американский писатель и литературный критик.

Людовик XVI (1754—1793) — король Франции, свергнут и казнен в ходе Великой французской революции.

Лютер Мартин (1483—1546) — немецкий богослов-реформатор.

«*Мабиногион*» — свод кельтских (валлийских) сказаний, созданный в конце XVI в.

Маггид из Межерича (рабби Дов Бер, ум. 1772) — хасидский вероучитель.

Маймонид Моисей (Моше бен Маймон, 1135—1204) — еврейский врач и неортодоксальный религиозный мыслитель, предшественник схоластики.

Македоний (IV в.) — епископ Константинополя, впоследствии — еретик, основатель секты пневматомахов (македониян).

Макнагтен Уильям Хэй (1793—1841) — английский арабист.

Малерб Франсуа (ок. 1555—1628) — французский поэт, теоретик классицизма.

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт и теоретик искусства, реформатор поэтического языка.

Малон де Чайде Педро (15307—1596?) — испанский писатель-мистик, монах-августинец.

Манрике Хорхе (1440—1479) — испанский лирик, автор знаменитых «Строф на смерть отца» (1476).

Маргулье Жорж (р. 1907) — французский китаевед.

Мардрюс Жозеф Шарль (1868—1949) — французский медик, ориенталист, переводчик Корана (1925) и сказок «Тысячи и одной ночи» (1898—1904).

Марино Джамбаттиста (1569—1625) — итальянский барочный поэт и прозаик.

Маркс Карл (1818—1883) — немецкий философ, основоположник научного коммунизма.

Мармоль Хосе (1817—1871) — аргентинский писатель, борец против диктатуры Х. М. Росаса.

Мартенсен Ханс Лассен (1808—1884) — датский богослов.

Мартинес Эстрада Эсекиель (1895—1970) — аргентинский поэт и эссеист.

Марциан Капелла (1-я пол. V в.) — римский юрист, писатель, педагог.

Мастронарди Карлос (р. 1901) — аргентинский поэт из круга Борхеса.

Маутнер Франц (1849—1923) — немецкий литератор, автор «Философского словаря» (1910).

Махавира (Великий герой) — имя, присвоенное верующими индусами странствующему проповеднику Вардхамане, основателю джайнизма.

Махди Мухаммед Ахмед (1848—1885) — вождь освободительного движения в Судане, основатель суданского Махдистского государства.

Мачадо Антонио (1875—1939) — испанский поэт и эссеист.

Мейнонг Алексиус фон (1853—1920) — австрийский философ и психолог феноменологического направления.

Мейринк Густав (1868—1932) — австрийский писатель-экспрессионист с сильными мистическими тенденциями.

Меланхтон Филипп (1497—1560) — немецкий протестантский теолог и педагог, друг и сподвижник Лютера.

Мелвилл Герман (1819—1891) — американский писатель-романтик.

Менендес-и-Пелайо Марселино (1856—1912) — испанский историк, литературовед.

Мериме Проспер (1803—1870) — французский писатель, переводчик, историк искусства и литературный критик.

Мерри Джон Мидлтон (1889—1957) — английский историк литературы, литературный критик.

Местр Ксавье де (1763—1852) — французский прозаик.

Милль Сесил Блаунт де (1881—1959) — американский кинорежиссер, мастер костюмных исторических постановок («Клеопатра» и др.).

Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт, публицист, историк и общественный деятель.

Минь Жан Поль (1800—1875) — французский священнослужитель и теолог, издатель основополагающего собрания текстов отцов восточной и западной церкви.

«*Мишна*» — свод законов в иудаизме.

Моктесума (Монтесума, 1466—1520) — правитель ацтеков, захвачен в плен конкистадорами, за уступки их требованиям убит восставшими соплеменниками.

Момильяно Аттилио (1883—1952) — историк итальянской литературы.

Мондольфо Родольфо (1877—?) — итальянский историк философии.

Моран Поль (1888—1976) — французский писатель и путешественник.

Морган Морис (1726—1802) — английский литератор-шекспирист.

Моррис Уильям (1834—1896) — английский живописец, архитектор, писатель, теоретик искусства.

Моуд Фредерик Нэтуш (1854—1933) — английский военный историк и теоретик.

Мур Джордж (1852—1933) — английский прозаик и драматург, близкий к кругу Йитса.

Мур Томас (1779—1852) — ирландский поэт-романтик, борец за независимость, не раз обращался к «восточным» мотивам.

Мухаммед (Магомет, ок. 570—632) — основатель ислама, глава мусульманского государства, почитается как пророк.

Мэчен Артур (1863—1947) — английский писатель.

Мюллер Макс (1823—1900) — английский востоковед-индолог.

Надир-шах (1736—1817) — военный и государственный деятель Ирана.

«*Назидательное послание*» — поэтический памятник испанской литературы XVII в., приписываемый Франсиско де Риохе, Фернандесу де Андраде и др.

Наполеон Бонапарт (1769—1821) — французский полководец, император, завоеватель.

Николай Кузанский (1401—1464) — немецкий философ, теолог, деятель церкви.

Николсон Джон (1822—1857) — английский офицер в Индии, участвовал в подавлении восстания сипаев, не раз упомянут Киплингем.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ.

Новалис (наст. имя — Фридрих фон Гарденберг, 1772—1801) — немецкий поэт, прозаик, мыслитель-романтик.

Ньюмен Джон Генри (1801—1890) — английский священнослужитель, блестящий прозаик, повлиявший на Джойса и др.

Ньютон Исаак (1642—1727) — английский естествоиспытатель, математик, философ и богослов.

Облигадо Рафаэль (1851—1920) — аргентинский поэт-романтик.

Овидий Назон Публий (43 до н. э.—18 н. э.) — римский поэт.

«*Одиссея*» — поэма о странствиях, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру.

Окампо Виктория (1891—1979) — аргентинская писательница, друг Борхеса, автор мемуаров о нем.

Окампо Сильвина (р. 1910) — аргентинская писательница, друг и соавтор Борхеса.

Оккам Уильям (ок. 1285—1349) — английский философ, логик.

Ольденберг Герман (1854—1920) — немецкий индолог.

Ориген (ок. 185—253 или 254) — христианский богослов-неоплатоник, в 543 г. причислен к еретикам.

Ортега-и-Гасет Хосе (1883—1955) — испанский философ, эссеист, критик литературы и искусства.

Павлин Меропий Понтий (353—431) — латинский христианский поэт, ученик Авзония, епископ Нолы (Южная Италия).

Парацельс (наст. имя — Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493—1541) — немецкий врач, естествоиспытатель и философ.

Паредес *Николас* — один из буэнос-айресских бандитов конца XIX — начала XX в.

Парменид (ок. 540—480 до н. э.) — греческий философ, глава элейской школы, поэт.

Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) — ирландский политический деятель, борец за независимость.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский ученый, философ и теолог.

Пеано Джузеппе (1858—1932) — итальянский математик, автор одного из проектов всемирного языка — «интерлингвы».

Пейн Джон (1842—1916) — английский писатель, переводчик-арабист.

Пейтер (Патер) Уолтер (1839—1894) — английский прозаик.

Пелагий (наст. имя — Морган, IV—V вв.) — римский священнослужитель, сторонник учения о свободе воли, полемизировал с Августином, осужден Эфесским собором в 431 г.

Перси Томас (1729—1811) — английский писатель, антикварий, издатель и переводчик фольклора разных стран.

Пертес Иоганн Георг Юстус (1749—1816) — немецкий издатель географической и картографической продукции.

«*Песнь о моем Сиде*» (XII в.) — испанская героическая поэма.

«*Песнь о Нибелунгах*» (ок. 1200) — немецкий героический эпос.

«*Песнь о Роланде*» (ок. 1170) — французская эпическая поэма.

Петроний Гай или Тит (?—66) — римский аристократ, писатель.

Пико дела Мирандола Джованни (1463—1494) — итальянский мыслитель-неоплатоник, гуманист-энциклопедист.

Пиранделло Луиджи (1867—1936) — итальянский прозаик и драматург.

Пирр (319—272 до н. э.) — греческий царь, победитель в войнах против Рима.

Пифагор Самосский (ок. 540—500 до н. э.) — древнегреческий философ, математик, педагог.

Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ и политический мыслитель.

Плиний Старший (23 или 24—79) — римский государственный деятель, писатель-эрудит.

Плиний Младший (61 или 62 — ок. 113) — римский общественный деятель и писатель, автор известных «Писем», племянник и приемный сын Плиния Старшего.

Плотин (204—270) — греческий философ, глава неоплатонизма, его устные лекции обработаны и изданы Порфирием.

Плутарх (ок. 45 — после 119) — древнегреческий историк, писатель-моралист.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт и прозаик романтического направления, теоретик искусства.

Поло Марко (ок. 1254—1324) — итальянский купец, путешественник в Азию.

Помпей Гней (106—48 до н. э.) — римский государственный деятель и военачальник, восстал против Цезаря, разбит при Фарсале.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт-классицист.

Портинари Беатриче (Биче, ум. 1290) — флорентийка, возлюбленная Данте, героиня его «Новой жизни» и «Божественной комедии».

Порфирий (ок. 233 — между 301 и 305) — греческий философ-неоплатоник, ученик Плотина и учитель Ямвлиха.

Прескотт Уильям Хиклинг (1796—1859) — американский историк Испании и Латинской Америки.

Пэнкхерст Эстелла Сильвия (1882—?) — американская писательница и журналистка.

Пэрчес Сэмюэл (1577—1626) — английский историк и географ, составитель энциклопедий путешествий и путешественников.

«*Рамаяна*» — древнеиндийская поэма о подвигах бога Рамы.

Рамос Мехия Франсиско (1847—1893) — аргентинский историк.

Рассел Бертран (1872—1970) — английский философ, логик, математик, известный борец за мир.

Рашидаддин (1247—1318) — иранский государственный деятель, ученый-энциклопедист.

Рейес Альфонсо (1889—1959) — мексиканский поэт, эссеист, литературный критик.

Рейлес Карлос (1868—1938) — уругвайский писатель натуралистического направления.

Рембо Артюр (1854—1891) — французский поэт-новатор.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец и график.

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский философ-позитивист, историк религии.

Рескин Джон (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства.

Ривера Фруктуосо (1788—1854) — уругвайский военный и политический деятель, президент страны в 1830—34 и 1836—43 гг., борец с диктатурой Росаса.

Рильке Райнер Мария (1875—1926) — австрийский поэт, прозаик, эссеист, художественный критик.

Риттер Карл (1779—1859) — немецкий географ.

Ричард I Львиное Сердце (1157—1199) — английский король из династии Плантагенетов, позднее — герой фольклора и беллетристики.

Робертс Сесил (1892—?) — английский поэт и прозаик, автор биографической книги о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Робертсон Джон Макиннон (1856—1933) — английский историк раннего христианства.

Родригес Монегаль Эмир (р. 1921) — уругвайский историк литературы, исследователь биографии и творчества Борхеса.

Розенрот Христиан Кнуэрр фон (1631—1689) — немецкий гебраист, издатель и комментатор текстов каббалы.

Ройс Джосайя (1855—1916) — американский философ, математик и логик.

«*Роман о розе*» — французская аллегорическая поэма XIII в., начатая Гильомом де Лоррисом и завершенная Жаном де Меном.

Росас Хуан Мануэль де (1793—1877) — аргентинский военный и политический деятель, кровавый диктатор, родственник Борхеса и герой многих его произведений.

Росс Александр (1591—1654) — английский барочный поэт-аллегорик, автор поэмы «Вергилий, перетолкованный на евангельский лад» (1634).

Росетти Данте Габриэль (1828—1882) — английский поэт и переводчик.

Ростан Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург, поздний романтик.

Росцеллин Иоанн (ок. 1050 — ок. 1120) — французский философ и теолог.

Руй Лопес Де Сегура (XVI в.) — испанский теоретик шахмат.

Руми Джалаледдин (1207—1273) — персидский поэт, приверженец суфизма.

Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт-романтик, переводчик восточных литератур.

Сааведра Фахардо Дьего де (1584—1648) — испанский писатель и дипломат.

Сабато Эрнесто (р. 1911) — аргентинский прозаик, эссеист.

«*Сага о Вэльсунгах*» — памятник древнегерманской словесности.

Сайкс Перси Молворт (1867—1945) — английский ориенталист, военный, географ и путешественник.

Саладин (Салах-ад-Дин, 1138—1193) — султан Египта, возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.

Салинас Франсиско де (1513—1590) — испанский эрудит, музыкант и теоретик музыки.

Сан-Мартин Хосе (1778—1850) — национальный герой Аргентины, один из руководителей Войны за независимость.

Сантаяна Джордж (1863—1952) — американский философ, эссеист, художественный и литературный критик.

Саравия Апарисио (1855—1904) — уругвайский военный и политический деятель.

Сармьенто Доминго Фаустино (1811—1888) — аргентинский политический деятель, писатель, эмигрант при Росасе, президент страны в 1868—1874 гг.

Саторнил (II в.) — философ-гностик.

Саут Роберт (1634—1716) — английский священнослужитель, блестящий проповедник.

Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — шведский естествоиспытатель и философ-мистик.

Свифт Джонатан (1667—1745) — английский политический деятель, писатель-сатирик.

Сейерс Дороти Ли (1893—1957) — английская писательница, автор детективных произведений.

Селин Луи Фердинанд (1894—1961) — французский романист межвоенного периода.

Сенека Луций Анней Младший (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский государственный деятель, поэт, драматург и философ, воспитатель императора Нерона.

Сен-Симон Луи де Рувруа, граф (1675—1755) — французский политик, автор известных «Мемуаров» (опубл. 1829—1831).

Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — испанский писатель.

Серф Беннет Альфред (1898—1971) — американский литературовед, издатель многочисленных антологий.

«*Сефер Йецира*» («Книга творения», между III и VIII вв.) — трактат, содержащий основы философии каббалы.

Сиддхартха Гаутама (623—544 до н. э.) — индийский царевич из племени шакьев, основатель буддизма.

Скала Кангранде делла (1291—1329) — правитель Вероны (с 1312 г.), покровитель Данте.

Слатин-Пашиа Рудольф Карл фон (1857—1932) — австрийский генерал, пленник Махди, автор мемуаров о Судане.

Смердис (точнее, Лже-Смердис или Лже-Бардия) — мидийский маг Гаумата, самозванец, захвативший трон персидского царя Камбиза, воспользовавшись сходством с его братом Смердисом, тайно умерщвленным Камбизом.

Смизерс Леонард Чарлз (1863—1909) — английский литератор, коллекционер.

Смит Маргарет (1884—?) — английская исследовательница восточного и христианского мистицизма.

Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ, наставник Платона.

Солер Мигель Эстанислао (1783—1849) — аргентинский военачальник, губернатор Восточной провинции Уругвая (1814) и провинции Буэнос-Айрес (1820).

Соран Валерий (I в. до н. э.) — римский писатель и филолог, близкий к мистическим традициям орфиков и пифагорейцев.

Соррилья де Сан-Мартин Хуан (1855—1931) — уругвайский поэт-романтик.

Сотос Очандо Бонифасио (1785—1869) — испанский филолог, автор одного из проектов универсального философского языка.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и политический мыслитель, родоначальник позитивизма.

Спенсер Эдмунд (ок. 1552—1599) — английский поэт.

Спиноза Бенедикт (Барух, 1632—1677) — голландский еврейский мыслитель.

Стайн Гертруда (1874—1946) — американская писательница, центр межвоенного художественного авангарда.

Стивенсон Роберт Льюис (1859—1894) — английский поэт и прозаик шотландского происхождения, поздний романтик.

Страбон (ок. 64—63 до н. э. — ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк (труды по истории не дошли).

Стурлусон Снорри (1179—1241) — исландский историк и писатель, составитель антологий «Младшая Эдда» и «Круг земной».

Суарес Мануэль Исидоро (1799—1846) — аргентинский военачальник, прадед Борхеса.

Судзуки Дайсэцу Тейтаро (1870—1966) — японский мыслитель, пропагандист и истолкователь дзэн-буддизма.

Суинберн Алджернон Чарлз (1837—1909) — английский поэт и эссеист.

Суит Генри (1845—1912) — английский лингвист, исследователь истории английского языка.

«*Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь*» (XIV в.) — английский стихотворный роман.

«*Талмуд*» — собрание основополагающих вероучительных и правовых текстов иудаизма.

Тамберлик Энрико (1820—1889) — итальянский певец, драматический тенор.

Таниа — аргентинский бандит конца XIX в.

Тарик Ибн-Зияд (VIII в.) — арабский военачальник, правитель Танжера, разбил в бою у Гуадалете (или Саладо) войска короля Испании Родриго; фольклорный герой.

Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский композитор, скрипач, теоретик музыки.

Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.

Тейлор Иеремия (1613—1667) — английский священнослужитель и писатель, мастер церковного красноречия.

Тейлор Филипп Медоуз (1808—1876) — английский писатель, автор экзотических романов из индусской жизни.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский прозаик и поэт.

Тельес Хирон-и-Гусман Педро, герцог де Осуна (1597—1624) — испанский политический деятель и военачальник.

Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт.

Тернер Сирил (ок. 1572—1626) — английский драматург.

Тило Иоганн Карл (1794—1853) — немецкий религиовед, исследователь новозаветных апокрифов.

Тирсо де Молина (наст. имя — Габриэль Тельес, 1571 или ок. 1583—1648) — испанский драматург и прозаик.

Толуй (XIII в.) — сын Чингисхана.

Торрес Амаг Феликс (1772—1847) — испанский церковный деятель, переводчик Библии.

Трейл Генри Дафф (1842—1900) — английский писатель и историк литературы, автор биографий Стерна, Колриджа и др.

Туле Поль-Жан (1867—1920) — французский поэт, автор книги стихов «Антирифмы», изданной посмертно.

Турнер Захария — французский издатель трудов Паскаля.

«Тысяча и одна ночь» — собрание арабских сказок и легенд, памятник средневековой восточной словесности.

Уайльд Оскар (1854—1900) — английский поэт, прозаик, эссеист и драматург.

Уайтхед Алфред Норт (1861—1947) — английский философ, логик и математик.

Уиклиф Джон (1320—1384) — английский богослов, поборник церковных реформ, переводчик Библии (1382).

Уилкинс Джон (1614—1672) — английский священник, теолог и философ.

Уитмен Уолт (1819—1892) — американский поэт, глашатай универсализма и демократии.

Унамуно Мигель де (1864—1936) — испанский поэт, прозаик, философ-эссеист, педагог.

Уотс Джордж Фредерик (1817—1904) — английский художник и скульптор.

Уркварт Томас (1611—1660) — английский поэт и прозаик.

Уркиса Хусто Хосе де (1800—1870) — военный и политический деятель Аргентины, покончивший с диктатурой Росаса и гражданской войной в стране, президент в 1854—1860 гг.

Уэйт Артур Эдуард (1857—1942) — американский историк оккультных учений и мистических традиций.

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский прозаик и публицист, мастер научно-фантастического романа.

Файхингер Ханс (1852—1933) — немецкий философ-кантианец.

Фалес Милетский (624—546 до н. э.) — первый греческий философ, математик и астроном, причислялся к Семи мудрецам, учил о происхождении мира из влаги (воды).

«*Фафнисмаль*» («Речи Фафнира») — скандинавская мифологическая поэма.

Фенелон Франсуа (1651—1715) — французский священнослужитель, философ, поэт и писатель-моралист.

Феопомп (377 — после 320 до н. э.) — древнегреческий исто-

рик, автор описания Эллады и биографии македонского царя Филиппа II.

Ферма Пьер (1601—1665) — французский математик, автор трудов по теории чисел, исчислению бесконечно малых, аналитической геометрии; его теорема в общем виде не доказана.

Фернандес Маседонио (1874—1952) — аргентинский писатель-экспериментатор, наставник Борхеса в философии и литературе, друг его отца.

Филон Александрийский (ок. 26 до н. э. — до 50 н. э.) — иудейско-эллинистический философ, соединявший греческую и иудейскую мыслительные традиции, интерпретатор Пятикнижия.

Фирдоуси Абулькасим (ок. 940—1020 или 1030) — персидский поэт.

Фитцджеральд Эдуард (1809—1883) — английский поэт, переводчик восточной поэзии (Хайям, Аттар и др.).

Фладд Роберт (1574—1637) — английский врач, оккультный философ, близкий к розенкрейцерам.

Флобер Гюстав (1821—1880) — французский прозаик, мученик стиля.

Фогельвейде Вальтер фон дер (ок. 1160—1230) — немецкий поэт-миннезингер.

Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) — средневековый теолог и философ, крупнейшая фигура схоластики.

Фома Кемпийский (ок. 1380—1471) — германо-нидерландский церковный деятель.

Фор Поль (1872—1960) — французский лирик, в 1912 г. получил титул «короля поэтов».

Фосиньи де Люсенж — аргентинская аристократка, добрая знакомая Борхеса.

Франс Анатоль (1844—1924) — французский писатель.

Франциск Сальский (1567—1622) — французский богослов и деятель церкви.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский психиатр и психолог, родоначальник психоаналитического направления в исследованиях человека и общества.

Фрэзер Джеймс Джордж (1854—1941) — английский этнограф, историк религий мира.

Фуше Альфред Шарль Огюст (1865—1952) — французский индолог.

Фюсли Иоганн Генрих (1741—1825) — швейцарский живописец и писатель, предшественник романтизма.

Хабихт Максимилиан (1775—1839) — немецкий ориенталист, переводчик «Тысячи и одной ночи».

Хадсон Уильям Генри (1841—1922) — английский писатель и натуралист, уроженец Аргентины.

Хайдеггер Мартин (1889—1976) — немецкий философ-экзистенциалист.

Хакон Хаконарсон (XIII в.) — король Норвегии, по его приказу был убит исландский собиратель саг Снорри Стурлусон.

Хаксли Олдос (1894—1963) — английский прозаик и эссеист, критик рационалистического утопизма в обществе и культуре.

Хаммер-Пуригиталль Йозеф фон (1774—1856) — австрийский востоковед и дипломат, историк Османской империи.

Хань Юй (768—824) — китайский философ, поэт, государственный деятель.

Харальд Сигурдарсон, по прозвищу Хардрада (Суровый) (1015—1066) — норвежский король и скальд.

Харди Эдмунд (1852—1904) — немецкий индолог.

Харун ар-Рашид — арабский правитель (786—809) из рода Аббасидов; фольклорный герой.

Хафиз Шамседдин (ок. 1325—1389 или 1390) — персидский лирик.

Хинтон Чарлз Говард (1791—1873) — английский мыслитель, близкий к теософии.

Хенгстенберг Эрнст Вильгельм (1802—1869) — немецкий протестантский теолог.

Хенн Томас Райс — английский поэт и историк литературы.

Хеннинг Макс (1861—?) — немецкий арабист, переводчик Корана и др.

Хогбен Лэнселот Томас (1895—?) — английский биолог и математик, историк и популяризатор науки.

Хопкинс Мириам (1902—1972) — американская актриса театра и кино.

Хорн Пауль (1863—1908) — немецкий ориенталист.

Хубилай (1215—1294) — монгольский хан, внук Чингисхана, завершил завоевание Китая.

Хэзлитт Уильям (1778—1830) — английский эссеист, литературный критик.

Цао Сюэцинь (1715 или 1724 — ок. 1763) — китайский прозаик.

Цвингли Ульрих (1484—1531) — церковный деятель, вожь швейцарской Реформации.

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — римский политический деятель и полководец, император, автор записок по военной истории.

Цинь Шихуанди (259—210 до н. э.) — император Китая, гонитель конфуцианства.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор, политик, писатель и философ-популяризатор.

Черч Ричард Уильям (1815—1890) — английский священник и литератор, историк словесности.

Честертон Гилберт Кит (1874 -1936) — английский поэт, прозаик, мастер детективной новеллы, мыслитель-эссеист.

Чжуан-Цзы (ок. 369—286 до н. э.) — древнекитайский философ, основоположник даосизма, автор трактата «Чжуан-цзы» (частично).

Чингисхан (Темучин, ок. 1155—1227) — основоположник монгольской империи, завоеватель Азии и Европы.

Чосер Джеффри (1340?—1400) — английский поэт.

Шабистари Махмуд (ум. 1320) — арабский мыслитель суфийской традиции.

Шанкара (IX в.) — индийский мыслитель, крупнейший авторитет веданты.

Шекспир Уильям (1564—1616) — английский поэт и драматург.

Шеринг Эмиль (1873—1951) — немецкий литератор, переводчик А. Стриндберга.

Шлейер Иоганн Мартин (1831—1912) — немецкий пастор, создатель всемирного языка «волапок».

Шолем Гершом (1897—1982) — еврейский философ, исследователь мистицизма каббалы и др.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ.

Шоу Бернард (1856—1950) — английский драматург и публицист.

Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий мыслитель-эссеист, исследователь мировой культуры.

Шпиллер Густав (1864—?) — английский философ и психолог.

Штайнер Карло (1863—1933) — историк литературы итальянского Возрождения.

Штейнер Рудольф (1861—1925) — австрийский мыслитель-теософ.

Эберкромби Лэселз (1881—1938) — английский поэт и литературный критик.

«*Эдда Старшая*» — собрание древних исландских мифов и героических песен.

Эзон (VI в. до н. э.) — древнегреческий баснописец.

Элиот Томас Стэрнс (1888—1965) — английский поэт-неоклассик, драматург, эссеист.

Эллис Хэвлок (1859—1939) — английский литератор, публицист, пропагандист психоанализа.

Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) — американский поэт, мыслитель-эссеист.

Эмпедокл (ок. 495—435 до н. э.) — древнегреческий философ, поэт.

Эрикес Уренья Педро (1884—1946) — доминиканский историк латино-американских литератур.

Эпиктет (ок. 50 — ок. 130) — греческий философ-стоик, моралист.

Эриугена Иоанн Скот (ок. 810 — ок. 877) — ирландский философ-неоплатоник, работал во Франции, переводчик «Ареопагитик».

Эрнандес Хосе (1834—1886) — аргентинский поэт, автор известной поэмы о пастухе-гаучо «Мартин Фьерро».

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — после 127) — римский поэт-сатирик.

Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ, оппонент Беркли.

Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психиатр, психолог, ученик и оппонент Фрейда, основатель аналитической психологии, истолкователь символов мировой культуры.

Юнг Эдуард (1683—1765) — английский поэт и прозаик пред-романтического направления.

«*Яджурведа*» (Веда жертвоприношений) — книга священных текстов Древней Индии, сборник жертвенных формул и пояснений к ним.

Ямвлих (ок. 280 — ок. 330) — греческий мыслитель-неоплатоник, мистик, близкий к пифагорейцам, уроженец Сирии.

Б. Дубин

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вс. Багно. Хорхе Луис Борхес, или Тысяча и одно зеркало культуры</i>	5
---	---

Из книги «ЖАР БУЭНОС-АЙРЕСА».

<i>Роза. Перевод Б. Дубина</i>	23
<i>Конец года. Перевод Б. Дубина</i>	24
<i>Простота. Перевод Б. Дубина</i>	25

Из книги «ДИСКУССИЯ»

<i>Суеверная этика читателя. Перевод А. Матвеева</i>	27
<i>Оправдание каббалы. Перевод Вс. Багно</i>	31
<i>Повествовательное искусство и магия. Перевод А. Матвеева</i>	35

Из книги «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ БЕСЧЕСТЬЯ»

<i>Хаким из Мерва, красильщик в маске. Перевод Е. Лысенко</i>	45
<i>Мужчина из Розового кафе. Перевод М. Былинкиной</i>	51
<i>Смерть богослова. Перевод В. Резник</i>	58
<i>Палата с фигурами. Перевод В. Резник</i>	59
<i>История о двух сновидцах. Перевод В. Резник</i>	61
<i>Отсрочка. Перевод В. Резник</i>	62
<i>Чернильное зеркало. Перевод В. Резник</i>	64
<i>Двойник Магомета. Перевод В. Резник</i>	67

Из книги «ИСТОРИЯ ВЕЧНОСТИ»

<i>Приближение к Альмутасиму. Перевод Е. Лысенко</i>	69
<i>История вечности. Перевод А. Погоняйло и В. Резник</i>	76
<i>Метафора. Перевод Б. Дубина</i>	94

Из книг «ВЫМЫСЛЫ» И «ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ»

<i>Тлён, Укбар, Orbis Tertius. Перевод Е. Лысенко</i>	99
<i>Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Перевод Е. Лысенко</i>	116
<i>В кругу развалин. Перевод Б. Дубина</i>	125
<i>Лотерея в Вавилоне. Перевод Е. Лысенко.</i>	130
<i>Анализ творчества Герберга Куэйна. Перевод Е. Лысенко</i>	137
<i>Вавилонская библиотека. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	142
<i>Сад расходящихся тропок. Перевод Б. Дубина.</i>	151
<i>Фунес, чудо памяти. Перевод Е. Лысенко</i>	161
<i>Форма сабли. Перевод М. Былинкиной</i>	169

Тема предателя и героя. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	174
Смерть и буссоль. <i>Перевод Е. Лысенко.</i>	178
Тайное чудо. <i>Перевод А. Фридман</i>	190
Три версии предательства Иуды. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	196
Юг. <i>Перевод М. Былинкиной</i>	201

Из книги «АЛЕФ»

Бессмертный. <i>Перевод Л. Синянской</i>	209
История война и пленницы. <i>Перевод Л. Синянской</i>	225
Дом Астерия. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	229
Другая смерть. <i>Перевод М. Былинкиной</i>	232
Deutsches Requiem. <i>Перевод Б. Дубина</i>	238
Поиски Аверроэса. <i>Перевод Е. Лысенко.</i>	245
Заир. <i>Перевод Л. Синянской</i>	253
Письмена Бога. <i>Перевод Ю. Стефанова</i>	263
Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	268
Человек на пороге. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	277
Богословы. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	282
Алеф. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	291

Из книги «НОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ»

Стена и книги. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	307
Соловей Джона Китса. <i>Перевод Б. Дубина</i>	310
Валери как символ. <i>Перевод Б. Дубина</i>	313
Зеркало загадок. <i>Перевод Вс. Багно</i>	315
От некто к никто. <i>Перевод В. Резник</i>	320
Отголоски одного имени. <i>Перевод В. Резник</i>	323
Версии одной легенды. <i>Перевод В. Резник</i>	327
Кафка и его предшественники. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	331
От аллегорий к романам. <i>Перевод А. Матвеева</i>	334
Сфера Паскаля. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	338
Сон Колриджа. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	342
Скрытая магия в «Дон Кихоте». <i>Перевод Е. Лысенко</i>	346
О Честертоне. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	349
Аналитический язык Джона Уилкинса. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	353

Из книги «ДЕЛАТЕЛЬ»

Argumentum ornithologicum. <i>Перевод Вс. Багно</i>	359
Задача. <i>Перевод Б. Дубина</i>	360
Paradiso, XXXI, 108. <i>Перевод Вс. Багно</i>	361
Парабола дворца. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	361
Рагнарёк. <i>Перевод Б. Дубина</i>	363
Inferno, I, 32. <i>Перевод Вс. Багно</i>	364
Борхес и я. <i>Перевод Б. Дубина</i>	365

Из книги «ИНОЙ И ПРЕЖНИЙ»

Голем. <i>Перевод Б. Дубина</i>	367
Напоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса. <i>Перевод Б. Дубина</i>	370
Искусство поэзии. <i>Перевод Б. Дубина</i>	370
Читатели. <i>Перевод Вс. Багно</i>	371
Малому поэту конца века. <i>Перевод Б. Дубина</i>	371

На полях «Беовульфа». Перевод Б. Дубина	372
Загадки. Перевод Б. Дубина	372
Алхимик. Перевод Б. Дубина	373
Ewigkeit. Перевод Вс. Багно	374
Море. Перевод Б. Дубина	374
Сыну. Перевод Б. Дубина	375

Из книги «ХВАЛА ТЬМЕ»

Иоанн, 1:14. Перевод Вс. Багно	377
Джеймс Джойс. Перевод Б. Дубина	379
Июнь 1968 года. Перевод Б. Дубина	379
Легенда. Перевод Вс. Багно	380
Читатель. Перевод Вс. Багно	380
Хвала тьме. Перевод Б. Дубина	381

Из книги «СООБЩЕНИЕ БРОУДИ»

Злодейка. Перевод М. Былинкиной	385
Недостойный. Перевод М. Былинкиной	389
Другой поединок. Перевод Б. Дубина	395
Гуаякиль. Перевод М. Былинкиной	399
Евангелие от Марка. Перевод Б. Дубина	408
Сообщение Броуди. Перевод М. Былинкиной	413

Из книги «ЗОЛОТО ТИГРОВ»

On his blindness. Перевод Вс. Багно	423
Утраченное. Перевод Б. Дубина	424
Н.О. Перевод Вс. Багно	424
Гаучо. Перевод Б. Дубина	424
Четыре цикла. Перевод Б. Дубина	425

Из книги «КНИГА ПЕСКА»

Ульрика. Перевод Б. Дубина	429
Конгресс. Перевод Б. Дубина	433
Зеркало и маска. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	450
Ундр. Перевод Вс. Багно	454
Медаль. Перевод М. Былинкиной	459
Книга песка. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.	461

Из книги «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

Божественная комедия. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	467
Кошмар. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	485
Тысяча и одна ночь. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	499
Буддизм. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	511
Поэзия. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	527
Каббала. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	542
Слепота. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	553
Роза Парацельса. Перевод Вс. Багно	567
Синие тигры. Перевод Вс. Багно	571

КОММЕНТАРИЙ Б. Дубина	582
-----------------------	-----

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (Сост. Б. Дубин)	609
--	-----

Литературно-художественное издание

Хорхе Луис Борхес

КОЛЛЕКЦИЯ

Рассказы

Эссе

Стихотворения

Ответственный редактор *Георгий Орел*

Художник *Михаил Занько*

Художественный редактор *Сергей Алексеев*

Технический редактор *Елена Капитонова*

Верстка *Нины Грибеценок*

Корректоры: *Нина Смирнова, Валентина Багрий*

Подписано к печати с оригинал-макета 16.11.92.

Формат 84x108 ¹/₃₂. Гарнитура таймс.

Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6. Тираж 50 000 экз.

Изд. № 44. Заказ 68.

Издательство «Северо-Запад».

191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 18

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор».

197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15



Коллекция

В основе причудливых двусмысленностей Х. Л. Борхеса (1899—1986), построенных на литературных, религиозных или философских казусах, непременно лежит загадка, некая тайна, которую предстоит разгадать и которая, подчас, так и остается тайной.

Сборник включает избранные фантастические новеллы, эссе с неизменной детективной подкладкой и философскую лирику разных лет. Он дает значительно более полное представление о творчестве великого аргентинского писателя, чем опубликованный в 1989 г. в издательстве «Радуга» сборник его избранной прозы.

· Северо - Запад ·